

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я

Б И Б Л И О Т Е К А

А Л Е К С А Н Д Р А

П О Г О Р Е Л Ь С К О Г О



С Е Р И Я

И С Т О Р И Я

К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Я



А. С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ

МЕТОДОЛОГИЯ
ИСТОРИИ

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

2006

ББК 63.3

Л 24

СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:

*В. В. Анашвили,
А. Л. Погорельский*

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

*В. Л. Глазьев, Л. Г. Ионин,
А. Ф. Филиппов, Р. З. Хестанов*

Печатается по изданию:
Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории.
СПб., 1910–1913. Вып. 1–2.

Л 24 **Лаппо-Данилевский А. С.** Методология истории. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). – 472 с.

ISBN 5-7333-0150-3

© Издательский дом
«Территория будущего», 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	9
§1. Понятие о методологии истории и ее значение	9
§2. Теория исторического знания и методы исторического изучения	18
§3. Краткий очерк развития методологии истории в прошлой и современной литературе	20

Часть I. Теория исторического знания

Главнейшие направления в теории исторического знания	54
Отдел первый. Построение теории исторического знания с номотетической точки зрения	57
Глава первая. Главнейшие моменты в развитии номотетического построения исторического знания	58
§1. Развитие понятия о законосообразности исторических явлений	58
§2. Развитие понятия о законообразности исторических явлений в психологическом смысле	76
Глава вторая. Основания номотетического построения исторического знания	92
§1. Основные принципы номотетического построения исторического знания	93
§2. Номологические обобщения	111
§3. Типологические обобщения	126
Глава третья. Критическое рассмотрение номотетического построения исторического знания	130
Отдел второй. Построение теории исторического знания с идеографической точки зрения	143
Глава первая. Главнейшие моменты в развитии идеографического построения исторического знания	143
§1. Идеографическое построение с точки зрения эмпиризма и рационализма	145
§2. Идеографическое построение с точки зрения этического и метафизического идеализма	151

§ 3. Идеографическое построение с точки зрения позитивизма и пробабиллизма	161
§ 4. Идеографическое построение с точки зрения теоретико-познавательного идеализма	167
Глава вторая. Основания идеографического построения исторического знания	176
§ 1. Основная задача идеографического построения	176
§ 2. Понятие об индивидуальном и его историческом значении	184
§ 3. Понятие об исторической связи	202
§ 4. Понятие об историческом целом	219
Глава третья. Критическое рассмотрение идеографического построения исторического знания	225
Отдел третий. Объект исторического познания	230
Глава первая. Общий характер явлений, изучаемых историком	231
Глава вторая. Специфический характер собственно исторических фактов	251
Глава третья. Главный объект исторической науки	260
 Часть II. Методы исторического изучения	
Введение	264
§ 1. Методы исторического изучения	264
§ 2. Методы исторического изучения в современной литературе	267
Отдел первый. Методология источниковедения	275
Введение	276
§ 1. Понятие о методологии источниковедения	276
§ 2. Методология источниковедения в современной литературе	279
Глава первая. Понятие об историческом источнике	285
Глава вторая. Главнейшие виды исторических источников	295
§ 1. Главнейшие виды источников, различаемых по степени их значения вообще для познания исторической действительности	296
§ 2. Главнейшие виды источников, различаемых по содержанию, характеризующему их и пригодному для изучения данного рода исторических фактов	311

Глава третья. Историческая интерпретация источников	315
§1. Общее понятие об интерпретации исторических источников и о главных ее методах	316
§2. Психологический метод интерпретации исторического источника	322
§3. Технический метод интерпретации исторических источников	340
§4. Типизирующий метод интерпретации исторических источников	360
§5. Индивидуализирующий метод интерпретации исторических источников	383
§6. Взаимозависимость различных методов исторической интерпретации и некоторых из ее разновидностей	391
Глава четвертая. Историческая критика источников	400
§1. Общее понятие об исторической критике и главных ее разновидностях	402
§2. Критика, устанавливающая научно-историческую ценность источника как факта	412
§3. Критика, устанавливающая научно-историческую ценность показаний источника о факте	480
Глава пятая. Общее значение исторических источников	592
Дополнения	617
Приложение	
<i>О. М. Медушевская. Лаппо-Данилевский А. С.</i>	619

ВВЕДЕНИЕ¹

§1. *Понятие о методологии истории и ее значение*

Теория познания лежит в основе методологии науки: без теории познания нет возможности обосновать систему принципов научного мышления и его методов. В самом деле, теория познания устанавливает то значение, какое наше сознание должно придавать нашему знанию, его априорным и эмпирическим элементам; те конечные основания, в силу которых мы признаем его достоверным и общезначимым, а не ложным и случайным; то объединяющее значение, какое оно имеет для наших разрозненных представлений; то научное значение, какое мы приписываем нашему знанию об общем и об индивидуальном и т. п. Между тем в зависимости от того, а не иного решения вышеуказанных проблем мы, в сущности, принимаем и те, а не иные принципы, значит, и обусловленные ими методы науки, т. е. строим соответствующую методологию.

Итак, методология науки конструируется с теоретико-познавательной, а не с психогенетической точки зрения. Изучение генезиса нашего знания может, конечно, пригодиться и для выяснения его оснований, но не придает им силы: и великая истина, и великое заблуждение имеют свой генезис; но об их познавательном значении нельзя судить по их генезису. С такой точки зрения нельзя смешивать теорию познания с изучением факторов, играющих весьма важную роль в генезисе нашего знания, например, творческого воображения, «случайности» и т. п.; для анализа научных понятий психогенетическое их изучение имеет лишь вспомогательное значение. Вместе с тем, в зависимости от данной теоретико-познавательной, а не генетической точки зрения, мы в сущности принимаем и те, а не иные принципы и методы изучения данного материала, хотя и развиваем их в зависимости от объектов, которые нас интересуют.

Ввиду тесной связи между теорией познания и методологией науки последняя может развивать, исправлять или дополнять общую тео-

¹ *Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Часть I. Теория исторического знания: Пособие к лекциям, читанным студентам С.-Петербургского университета в 1909 / 10 уч. году. СПб., 1910.*

рию познания и, таким образом, оказывает ей существенные услуги, хотя бы размышления подобного рода и не представляли ничего ценного для специально-научных изысканий. Теория познания, например, долгое время строилась слишком односторонне: она принимала во внимание одно только естествознание и стояла в зависимости от одного только изучения «природы»; за последнее время, однако, теория познания обогатилась новой отраслью — теорией исторического знания, возникшей благодаря тому, что мыслители конца прошлого века обратили серьезное внимание на логическую структуру собственно исторического знания.

Методология науки имеет, однако, значение и для обоснования, а также для построения данной ее отрасли. Наше сознание, характеризующееся систематическим единством всех наших понятий, требует такого же единства и в нашем знании, особенно в науке; но без методологических размышлений нельзя достигнуть некоторого единства в области научных представлений; лишь строго придерживаясь той теоретико-познавательной точки зрения, которая всего более удовлетворяет такому требованию нашего сознания, мы можем пользоваться соответствующими принципами и методами, чтобы обосновать наше знание, объединить известные данные нашего опыта, придать единство нашему научному построению и выработать систему научных понятий, а не довольствоваться разрозненными научными представлениями. Во всяком случае, методология науки должна принимать во внимание принципы такого единства, хотя бы в области данной отрасли знания. Установить принцип — значит, однако, опознать ту истину (аксиому), на которой он основан, значит продумать его в собственном сознании; но установить один принцип независимо от другого нельзя: методология не может ограничиться изучением каждого из них в отдельности; она стремится выяснить систему общих понятий, ибо только таким образом каждое из них получает надлежащее значение: она пользуется одним или несколькими наиболее общими понятиями, субсуммирует под них менее общие и т. д. Даже в математике, науке наиболее сложившейся, вопросы подобного рода обсуждаются довольно оживленно; методологические рассуждения в области математики привели в последнее время к сближению между логикой и математикой и к критическому рассмотрению основных принципов самого математического знания². Методологические рассуждения имеют тем большее значение применительно к наукам,

² *Russel B.* The Principles of Mathematics. Cambridge U. — P., 1903; *Couturat L.* Les principes des Mathématiques. Par., 1905.

логические особенности которых далеко еще не выяснены, а к ним надо причислить и историю. Методология истории также обсуждает основания исторического знания и способствует выработке обоснованной системы исторических понятий; специальные исследования не могут дать такой системы: они только готовят материал для нее, но система согласованных между собою исторических понятий устанавливается путем рассмотрения и формулировки основных принципов исторического знания и методического их раскрытия, возможно более последовательно проводимого сквозь всю историческую науку.

Методология данной отрасли науки нуждается, однако, еще в дополнительных понятиях, без принятия которых нельзя построить ее и выяснить особенности ее метода. С такой точки зрения и методология истории должна иметь в виду, кроме вышеуказанной общей цели, свою специфическую задачу: она стремится обосновать историческое знание, т. е. возвести его к основным принципам познания, обуславливающим (в логическом смысле) самую возможность всякого знания, а значит, и исторического; но так как историческое знание не ими одними обусловлено, то она устанавливает и производные принципы или положения, которые в комбинации с основными делают возможным изучение данных нашего опыта с исторической точки зрения и придают систематическое единство историческому знанию; в силу вышеуказанной связи между принципами и методами та же методологическая дисциплина, кроме принципов исторического знания, выясняет и те методы мышления, которые зависят от них и благодаря которым известная точка зрения прилагается к данному материалу; таким образом, она оттеняет и общее значение исторического метода, что получает особенно большой вес в глазах тех историков, которые готовы признать «историю» в сущности и прежде всего методом — и главные его особенности, зависящие также от объектов исторического изучения.

Если принять предложенное выше понятие о методологии науки вообще и методологии истории в частности, то на него можно будет опереться и для того, чтобы отразить возражения, которые высказываются против нее, главным образом с точки зрения интуитивизма.

В своих возражениях против значения размышлений над принципами и методами познания ученые интуитивисты часто слишком мало принимают во внимание только что указанное различие между основаниями исторического знания и его генезисом: некоторые из них полагают, что каждый интуитивно уже пользуется известными принципами и развивает методы исследования в самом процессе работы. Само собою разумеется, что метод развивается в процессе спе-

циально-научной работы; но теоретическое обоснование его нельзя смешивать с его развитием или с частными его приложениями; между тем достигнуть такого обоснования, т. е. установить общие принципы, лежащие в основе данного метода и его оправдывающие в логическом смысле, можно только путем методологических рассуждений, а ясное сознание их значения регулирует научное мышление исследователя.

В зависимости от такого смешения понятий о теории познания и об его генезисе противники методологических рассуждений применяют, например, то, что можно сказать о научном творчестве, к научному методу: подобно тому как творческое воображение не создается, а зависит от особенностей данной индивидуальности и есть ее индивидуальный акт, так и научный метод создается, по их мнению, интуитивно и не нуждается в особых рассуждениях, которые давали бы его обоснование. Само собою разумеется, что творческое воображение не создается никакою методологией; но последняя дает понятие о критериях, в силу которых должно признать пользование им правильным или ошибочным. Человек, не обладающий достаточною силою творческого воображения, конечно, не может сделаться настоящим ученым, не будет и настоящим историком. Историк должен, например, воспроизводить в себе состояния чужого сознания, иногда очень далекие от привычных ему состояний, и ассоциировать между собою идеи, кажущиеся его современникам чуждыми друг другу; он должен обладать богатым и страстным темпераментом для того, чтобы интересоваться разнообразнейшими проявлениями человеческой жизни, ярко переживать то, что его интересует, глубоко погружаться в чужие интересы, делать их своими и т. п.; он должен быть также способным вообразить себе и более или менее смелую гипотезу, пригодную для объяснения фактов или для построения из них целых групп или серий и т. п. Без такого творчества историк, конечно, не построит какого-либо крупного исторического целого, а наличие у историка его собственного индивидуального творчества есть факт, который нельзя создать никаким историческим методом. Тем не менее историк должен сознавать и те основания, в силу которых он пользуется известными принципами и методами исследования; историк-ученый не может признать результаты интуитивно-синтетической постройительной работы правильными, не выяснив, какие именно принципы лежали в ее основе и каково их значение, а также не подвергнув методов, да и самых результатов исследования предварительной проверке. Историк, широко практикующий подобного рода «дивинацию», все же часто прибегает к помощи научного анализа, прежде чем окончательно завершить свое построение; но в таких случаях

он или пользуется им слишком мало, или выходит из своей роли историка-художника и удовлетворяется более скромной ролью историка-ученого: последний постоянно стремится систематически регулировать и контролировать силу своего построительного воображения и т. п. и думает достигнуть цели не путем исключительно интуитивно-синтетической дивинации, а путем научно-синтетического построения. Следовательно, вышеуказанное возражение, что историк работает интуитивно, при помощи творческого воображения и т. п., нисколько не умаляет значения методологии истории.

Впрочем, с точки зрения понятий о синтезе и анализе ученые интуитивисты легко подыскивают и другое возражение, проистекающее из смешения понятия о логическом их соотношении вообще с понятием о генетическом преемстве в истории наук некоторых синтетических операций вслед за аналитическими. По мнению многих ученых, анализ должен предшествовать синтезу; значит, и рассуждения об общих принципах и методах наук, отличающиеся синтетическим характером, преждевременны. В рассуждениях подобного рода ученые упускают из виду тесную связь, в какой вышеуказанные понятия находятся между собою, и в сущности говорят не о наиболее общих формах или синтетических принципах нашего мышления вообще, а о специальных научных обобщениях в данной области нашего опыта. В самом деле, ведь нельзя же проводить какой-либо анализ без каких-либо руководящих принципов синтетического характера, хотя бы применение их к более конкретному содержанию и развивалось во времени. С этой точки зрения и рассуждения о принципах и методах исторической науки нельзя считать преждевременными: такие понятия сознательно или «бессознательно» более или менее обуславливают научно-историческое исследование, хотя содержание их и может изменяться во времени, в зависимости от действительного развития самой исторической науки и получать более точную, специфически научную формулировку.

Аналогичное смешение между двумя по существу различными точками зрения — теоретико-познавательной и эволюционной — также позволяет противникам методологии наук сослаться еще на одно соображение: в истории наук методологические рассуждения обыкновенно следовали за великими открытиями, а не предваряли их. С генетической точки зрения методология науки действительно не предшествует ей, а следует за нею, ибо научное творчество не создается методологией (см. выше); но, не говоря о том, что наука складывается не сразу и последующее ее развитие зависит также от степени разработки ее методологии, можно сказать, что в данном случае речь идет

о значении методологии для науки, а не о ее развитии: с аналитической точки зрения, методология науки логически предшествует ее выводам, систематическому ее единству.

Итак, лишь различая теоретико-познавательную точку зрения от психогенетической, можно избежать того смешения понятий, благодаря которому отрицательное отношение к методологии истории становится возможным.

Впрочем, возражения против методологии истории можно отразить и с точки зрения требования обоснованности и систематического единства исторической науки. Возражая против значения такой дисциплины, историки-интуитивисты забывают, что предварительное знание принципов и приемов научно-исторического построения, черпаемое из методологии истории, имеет существенное значение для научно-исторической работы: лишь в том случае, если историк, стремящийся к исторической правде, опознал те принципы и методы, которыми ему приходится пользоваться в процессе работы, он может ясно поставить себе известную познавательную цель, придавать систематическое единство своему знанию исторической действительности, не смешивая разных понятий, и проводить свою работу систематически, путем исследования, постоянно контролируя его ход.

Следует заметить, что помимо чисто теоретических соображений, в действительности те, которые возражают против значения методологических рассуждений,разумеется, пользуются известными принципами познания и методами изучения: только они не выделяют их сознательно из общего потока своего мышления. Один из великих ученых прошлого века, например, назвал свой знаменитый труд «теорией явлений электродинамических, основанной единственно на опыте»; он, значит, думал, будто для построения своей теории он не прибегал ни к какой гипотезе; а между тем он пользовался целым рядом «гипотез»; только он делал это, сам того не замечая³. В таких случаях многие рискуют, однако, смешать разные теоретико-познавательные точки зрения или употреблять принципы и методы, точно не выяснив себе их значения; и все же с течением времени сами ученые признают необходимость разобраться в них; достаточно припомнить здесь, например, имена Лобачевского и Riemann'a, Poincaré и Russell'я – в математике, Helmholtz'a, а также Hertz'a и Mach'a – в механике и физике, Ostwald'a – в химии, Du Bois Reymond'a и Cl. Bérnard'a – в ес-

³ Poincaré H. La science et l'hypothèse, 1 éd., p. 260. Речь идет об Ампере и его сочинении «Théorie des phénomènes électrodynamiques uniquement fondée sur l'expérience».

тествознании. Историки позднее других принялись за ту же работу; насколько, однако, они в настоящее время увлекаются методологическими спорами, видно хотя бы из той полемики, которая загорелась между Lamprecht'ом, Tönnies'ом, Barth'ом и Meyer'ом, Vernheim'ом, Below'ом, а также между многими другими учеными.

Таким образом, и отвлеченные соображения, и действительное развитие науки указывают на то, что методологические рассуждения имеют положительное значение.

Обсуждение методологических вопросов не всегда, конечно, имеет видимые практические последствия, тем не менее оно может быть весьма полезным: такое обсуждение оставляет в уме привычку к систематическому, методически правильному мышлению, а оно, разумеется, продолжает действовать и в сфере специальных исследований: оно всегда отражается на методе исследования (например, на точке зрения, с которой данный объект изучается), хотя бы такое отражение явно и не обнаруживалось в самом исследовании или в его результатах.

Впрочем, изучение методологии науки может приводить и к более заметным, видимым практическим последствиям; оно имеет значение и для построения науки, и для ее развития, т. е. для дальнейшей ее разработки.

При отсутствии методологического обсуждения основные понятия превращаются в своего рода *praenotiones* (покоящиеся на традиции); они или вовсе не определяются, или определяются неправильно, а при отсутствии строго выработанной терминологии и различно понимаются собеседниками; что сказать о формуле, элементы которой каждым из обсуждающих ее определяются различно? Далее, придавая нашему мышлению в любой области возможно большее единство, последовательность и согласованность, изучение методологии делает наши заключения гораздо более убедительными и для себя, и для других: лишь при единстве основания, т. е. выдержанности основной точки зрения, последовательности в рассуждении и согласованности выводов между собою, можно рассчитывать при высказывании своих мыслей на действительную убедительность их и для себя, и для других. Наконец, очищая индивидуальное мышление от случайных *praenotiones*, оно дает возможность более быстрого понимания друг друга, благодаря которому люди или приходят к соглашению, или убеждаются в принципиальной разногласии своих построений; сколько времени и сил тратится на праздные споры только потому, что спорящие взаимно не понимают своих исходных теоретико-познавательных точек зрения!

Изучение методологии имеет практическое значение не только для построения науки, но и для ее развития. Хотя научное открытие есть акт индивидуального творчества, тем не менее в ведении исторических работ тот, кто знаком с методами изучения данных объектов, с большим успехом и меньшею затратой сил приведет их к окончанию, чем тот, кто будет руководиться только «чутьем», «здравым смыслом» и т. п.; тот, кто что-либо открыл (например, новую точку зрения на какую-нибудь эпоху и т. п.), должен будет в разработке открытого уступить первенство тому, кто получил методологическую сноровку: ведь знание методологии дает возможность ясно определить основную точку зрения, придает выдержанность данному направлению мысли, оказывает влияние на самый ход исследования и вообще ограждает исследователя от увлечений его темперамента. Вместе с тем, лишь придерживаясь теоретически продуманного метода, историк (в особенности начинающий) будет в состоянии соблюсти должную экономию в своем мышлении, может избежать излишней траты сил на самостоятельное разыскание точек зрения и путей, уже ранее установленных, и т. п. Обобщение метода работы также облегчает взаимное согласие и содействует развитию взаимопомощи между историками; оно внушает доверие данному исследователю к работам других, что дает ему возможность, не проделывая всего собственными силами, пользоваться чужими работами. Самый добросовестный историк при обработке мало-мальски обширной темы не может обойтись без дополнительных сведений, почерпнутых им из вторых рук; в противном случае наука не могла бы идти вперед: каждый историк сызнова должен был бы исполнять всю работу своего предшественника. Для того, однако, чтобы с успехом пользоваться чужими выводами, надо иметь какой-нибудь критерий достоверности; последний состоит в том, что формальная корректность мышления, методологические требования соблюдены; но пользование подобным критерием, очевидно, предполагает со стороны пользующегося предварительное знание подобных требований, а знание их он может почерпнуть из методологии истории. Таким образом, знание методологии дает возможность историку систематически проверять чужие выводы относительно исторических фактов с точки зрения их метода и лишь после удовлетворительных результатов такой проверки опираться на эти выводы, поскольку они оказываются в методологическом смысле правильными.

Вышеприведенные рассуждения об утилитарном значении методологии науки, конечно, тем более применимы, чем менее установлены исходные ее положения. Хотя они и в естествознании далеко не

вполне выяснены, но еще более спорны в такой области научного знания, как история, а потому здесь чувствуется особенная нужда в теоретико-познавательных и методологических разысканиях.

Несмотря на то что вопрос о возможности и желательности преподавания методологии легко решить уже на основании вышеприведенных рассуждений в утвердительном смысле, тем не менее против такого преподавания можно еще высказать следующее соображение: только знание, самим приобретенное, основанное на собственном опыте, только знание, которое не может быть выучено и передано, но осознано, пережито и открыто, — только такое знание достоверно. С этой точки зрения преподавание методологии науки может показаться бесполезным.

Систематическое обоснование принципов науки и методов ее изучения едва ли достижимо, однако, путем одного только практического применения их к решению частных случаев; но вместе с тем нельзя не заметить, что преподавание методологии науки вообще и истории в частности полезно лишь в том случае, когда ее выводы перепроизводятся каждым из нас в применении к материалу, собранному собственным наблюдением, и переживаются на собственном опыте. В самом деле, задача высшего образования состоит, главным образом, в том, чтобы дать методологические указания, которыми каждый мог бы руководствоваться для того, чтобы самому разобраться в собственных мыслях и получить научные средства для дальнейшей работы мысли.

Вообще значение преподавания методологии истории теоретической и в особенности технической теперь уже осознается многими. В университетах курсы по истории комбинируются с курсами по методологии истории. В Collège de France при курсе «всеобщей истории» курс методологии истории читался несколько раз (кафедра «Histoire et Morale»). В начале прошлого века (с 1819 года), например, Дону (Daupou) начал читать там лекции, в которых он пояснял своим слушателям принципы и методы исторической критики и исторического построения. Вслед за ним Мишеле в 1842–1843 гг. излагал принципы философии и методологии истории и затем применял их к истории XVI, XVII и XVIII ст. А в 1905 г. в том же Collège de France был учрежден (на пятилетие, да и то благодаря пожертвованию частного лица) дополнительный курс «всеобщей истории и исторического метода», открытый 6 декабря Моно. Во многих университетах курсы по методологии истории сводятся, однако, главным образом к преподаванию методологии технической, а сама методология смешивается с «вспомогательными историческими науками». Таким образом, по-

лучается: или кафедра (а иногда только курс) по истории и преимущественно истории Средних веков, в связи с курсом по «вспомогательным наукам истории» (*Geschichte des Mittelalters und historische Hilfswissenschaften*) – курсы подобного рода читаются, например, Бернгеймом в Грейфсвальде, Редлихом в Вене, Зелигером в Лейпциге, Шульте в Бонне, Биттерауфом в Мюнхене и т. п., или курсы по «вспомогательным наукам» (*Historische Hilfswissenschaften*), читаемые, например, Танглем в Берлине, Ланглуа в Париже, Симонсфельдом в Мюнхене и проч., или же, наконец, занятия по каким-либо специальным отраслям наук, например нумизматике, дипломатике и т. п. (*Ecole pratique des hautes études à la Sorbonne*, *Ecole nationale des Chartes* в Париже, проф. Lane Poole в Oxford'e и др.). Только в самое последнее время некоторые историки начали читать особые курсы по «историческому методу», например, Сеньобос в Парижском университете.

Таким образом, можно сказать, что преподавание методологии истории в том или ином виде уже практикуется; только тесная связь между теорией познания и методологией этой науки, между ее принципами и ее методами все еще не всегда ясно сознается, что препятствует выделению особой отрасли научно-исторического знания – методологии истории.

§2. *Теория исторического знания и методы исторического изучения*

На основании соображений, изложенных выше, легко придти к заключению, что методология науки преследует две задачи – основную и производную; основная состоит в том, чтобы установить те основания, в силу которых наука получает свое значение, т. е. выяснить значение ее принципов; производная сводится к тому, чтобы дать систематическое учение о тех методах, которыми что-либо изучается. Подобно методологии всякой другой отрасли науки, и методология истории, разумеется, ставит себе те же задачи; соответственно им она и распадается на две части; я назову их теорией исторического знания и учением о методах исторического мышления.

Теория исторического знания занимается установлением принципов исторического знания, основных и производных; например, с какой теоретико-познавательной точки зрения история изучает данные нашего опыта? какое значение историк должен придавать принципам причинно-следственности и целесообразности в исторических построениях? каков критерий исторической оценки, на основании которого историк проводит выбор материала? в каком смысле он поль-

зуются понятиями «эволюция», «прогресс», «регресс» и т.п.? Такие вопросы решаются различно. В теории исторического знания я попытаюсь выяснить, какую познавательную цель ставят себе исторические школы разных направлений и какой характер получает историческая наука в зависимости от того, будет она с номотетической или с идеографической точки зрения изучать исторический материал, и каковы основные принципы каждого из этих построений.

При обозрении методов исторического мышления последние можно, конечно, рассматривать с формально-логической точки зрения, вне их зависимости от сочетаний, пригодных для изучения собственно исторических фактов; сюда надо отнести, например, размышления о роли анализа и синтеза, дедукции и индукции в исторических науках и т.п.; но можно излагать методы исторического мышления, взятые в относительно частных сочетаниях, поскольку последние обусловлены познавательными (научными) целями, преследуемыми ученым при изучении исторических фактов. С последней точки зрения, более соответствующей задачам собственно исторической методологии, я и буду рассуждать о методах исторического изучения. Учение о методах исторического исследования исходит из той познавательной точки зрения, которая обосновывается в теории исторического знания и, не вдаваясь в рассуждение об историческом значении исторических фактов, имеет в виду более скромную цель: оно выясняет то соотношение, которое существует между принятой в нем познавательной точкой зрения и данным объектом исторического знания, т.е. зависимость данной комбинации принципов и методов от уже принятой познавательной точки зрения, а также от свойств объектов, подлежащих историческому исследованию; в связи с принципами оно дает систематическое понятие преимущественно о методах, благодаря которым историк занимается изучением исторической действительности.

Такое учение обнимает «методологию источниковедения» и «методологию исторического построения». Методология источниковедения устанавливает принципы и приемы, на основании и при помощи которых историк, пользуясь известными ему источниками, считает себя вправе утверждать, что интересующий его факт действительно существовал (или существует); методология исторического построения устанавливает принципы и приемы, на основании и при помощи которых историк, объясняя, каким образом произошло то, что действительно существовало (или существует), строит историческую действительность.

Само собою разумеется, что методы исторического изучения нельзя отождествлять с техническими приемами исследования; последние

основаны не столько на принципах, сколько на правилах работы и находятся в ближайшей зависимости от свойств изучаемых объектов. В самом деле, хотя, с генетической точки зрения, методологические принципы развиваются вместе с техническими приемами исследования, однако на основании выше сделанных замечаний легко заключить, что принцип и техническое правило не одно и то же: принцип требует своего обоснования путем опознания заключающейся в нем истины; техническое правило не обосновывается, а формулируется ввиду той утилитарной цели, которая ставится исследователем; правила подобного рода преимущественно и лежат в основе собственно технических приемов работы. Вместе с тем последние должны находиться в возможно более тесной зависимости от свойств изучаемых объектов, т. е. от особенностей исторических фактов; подобно тому как физик пользуется инструментами для производства своих работ, и историк стремится придумать наилучшие орудия для обработки данного рода исторических источников или явлений и событий. Общий курс методологии истории не может, однако, задаваться целью изложить учение о технике исторического исследования: в сущности, она всего лучше усваивается в работе над соответствующими видами сырого материала.

§ 3. *Краткий очерк развития методологии истории в прошлой и современной литературе*

В развитии методологии истории легко заметить несколько периодов. На первых порах писатели находились под обаянием классических образцов и рассуждали о таких методах, главным образом, в связи с приемами ораторского искусства, а также с правилами художественно-литературного изображения истории и исторического стиля; значит, они имели в виду не столько методологию истории, сколько «искусство писать историю», и рассматривали его в связи с ораторским или поэтическим искусством. Такой взгляд на историю стал меняться со времени Возрождения, когда гуманисты приступили к научному изучению классической древности, а также благодаря возраставшему их интересу к политическим наукам и к истории культуры: тогда и методология истории, отличаемая от ораторского искусства и поэтики, стала приобретать более научнообразный характер и самостоятельное значение. Вслед за тем под влиянием философии, углубляя и расширяя понятие о своей науке, историки начали соответственно видоизменять постановку ее задач и методов. Наконец, еще позднее ученые, принимая во внимание новые течения в области теории по-

знания, стали приближаться к более точному пониманию основных целей собственно исторического знания, благодаря которому они или с номотетической, или с идеографической точки зрения приступили к выработке методологии истории⁴. Обратимся к краткой характеристике каждого из четырех вышеуказанных периодов в отдельности.

Писатели классической древности оставили нам много образцов изображения истории, но очень мало рассуждений о методах ее построения; их приходится разыскивать преимущественно в сочинениях, имеющих отношение к ораторскому искусству. Впрочем, важнейшие составители подобного рода сочинений, например Цицерон и Лукиан, требовали от историка правдивости и беспристрастия. Цицерон формулировал известное правило, которого каждый историк должен придерживаться: «ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat...» и проч.; при изучении великих деяний историк должен оценивать намерения людей, выяснять обстоятельства, при которых действия их происходили, объяснять причины событий в их зависимости от случайностей и от человеческой мудрости или смелости, отмечать выдающихся людей, изображать человеческую жизнь в легкой и художественной форме. Лукиан уже отметил, что цели поэзии и истории различны; поэзия не связана действительностью; история, напротив, имеет в виду «полезное, добываемое из истины» и, строго говоря, не нуждается в вымышленных украшениях⁵. Тем не менее многие историки того времени излагали прошлое ввиду какой-либо посторонней

⁴ Библиографические указания на литературу предмета см. в следующих сочинениях: *Lenglet du Fresnoy N. Méthode pour étudier l'histoire* (1713), Préface и приложенный к изданию 1714 г. (rev. et augm. par J. V. Mencke Lpz., p. 5–12) «Catalogue des principaux historiens» etc. *Daunou P. E. F. Cours d'études historiques*, т. VII; *Bernheim E. Lehrbuch der Historischen Methode*, 6 Aufl. 1908 (особенно Kap. II, § 3); *Flint R. The philosophy of history in France; The philosophy of history in Germany*; есть франц. пер. L. Carrau. Par. 1878 в 2-х т.; *Barth Th. Philosophie der Geschichte als Soziologie*. Lpz. 1897. Bd. I. (есть рус. пер.); *Петров М.* Пропедевтика (введение к лекциям по истории Нового времени); последнее (посмертное) издание с добавлениями редактора; *Кареев Н.* Основные вопросы философии истории, изд. 3-е и др. Сведения о текущей литературе, касающейся методологии истории, см. в «Jahresberichte der Geschichtswissenschaft» (с т. XII, 1889 г.), а также в исторических журналах, особенно в *Rev. De synthèse historique* (до 1909 г., т. I–XVIII) и в *Hist. Zeit.* (до 1909 г. Bb. 1–103 и др.); отдельные монографии в серии «Geschichtliche Untersuchungen, herausgegeben von K. Lamprecht» и др.

⁵ *Cicero. De oratore* II, 15; *Lucian. Πως δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν*, ed. F. Fritzsche, 1860, § 8, 42. В другом месте своего сочинения Лукиан пишет, что единственное дело

науке цели, т. е. убеждали читателей в приемлемости некоторых рассуждений, или во всяком случае, должны были подчиняться требованиям художественно-литературного повествования; между тем искусство убеждать кого-либо было тесно связано с ораторским искусством; а для того чтобы удовлетворить эстетическим требованиям, историки прибегали к искусственным приемам изложения; они заставляли, например, своих героев говорить речи (Фукидид) или допускали разные отступления, поддерживавшие внимание читателя и т. п., что роднило «искусство писать историю» не только с наставлениями моралиста, но и с искусством оратора или поэта⁶.

В самом деле, старейшие из рассуждений о приемах исторической работы и исторического рассказа сохранились именно в трактатах об ораторском и поэтическом искусстве. В своем рассуждении Цицерон, например, указывал на то, что «созидание истории предполагает изучение предмета», его оценку и «искусство изложения». Лукиан, известный ритор, также требовал от историка политической прозорливости и искусства излагать события (*δύνασιν ἐρμηνευτικήν*); затрагивая понятие о построении «гармонического» целого, он облакает его в форму требования художественного повествования: рассказ историка, по его словам, не должен представляться совокупностью случайно собранных рассказов; нить его должна быть непрерывной; элементы его должны быть также тесно связаны между собою; течение его должно быть естественным, быстрым и т. п. Вместе с тем Лукиан разрешает историку хвалить и порицать исторических деятелей, впрочем, в возможно более кратких и умеренных выражениях, вставляя в уста своих героев публичные речи и таким образом обнаруживая всю силу своего ораторского искусства, а также при удобном случае (например, изображая сражение) прибегать и к поэтическому искусству⁷.

Такое же направление легко усмотреть и в позднейшей литературе: писатели Возрождения часто находились, конечно, под влиянием вышеназванных авторитетов классической древности и, преувеличивая требования своих учителей, иногда слишком мало различали искусство историка от искусства оратора или поэта. Смешение подобного

историка — сообщать о случившемся и о том, как оно случилось; но автор не останавливается на развитии последней мысли; см. § 39, 44.

⁶ *Tacit. Dial. de orat.*, с. 29, 39: «orationes et excessus».

⁷ *Lucian. Op. cit.* § 45, 58, 59 и др. Дионисий Галикарнасский также предъявляет историку требования, довольно сходные с правилами Цицерона, и ценит в нем правдивость и умение удачно выбирать сюжет своего рассказа.

рода, разумеется, особенно долго держалось в изложении правил исторического рассказа или построения: под искусством историка чаще всего разумели искусство писать историю, и такое искусство смешивали с искусством оратора или поэта. В XV в., например, Понтан признает историков своего рода ораторами и приписывает историческому знанию поэтический характер, а в связи с такими взглядами излагает и правила, «как писать историю». В следующем столетии Виперано в труде, озаглавленном «De scribenda historia», называет историческую науку «*rerum gestarum ad docendum rerum usum, sincera illustrisque narratio*»; отсюда видно, что он сводит историческое построение к откровенному и блестящему рассказу деяний; но он же допускает в нем речи и отступления и уподобляет его произведению, составленному по правилам ораторского искусства. Маскарди, бывший профессором риторики в Риме и издавший свой объемистый трактат (*Ars historica*) в 1630 г., в отделе, озаглавленном «*Struttura dell'istoria*», устанавливает естественную связь между искусством историка и искусством оратора или поэта. В довольно серьезном труде об историческом искусстве (*Ars historica*, 1623) Фосс также вполне допускает для историка употребление «речей» и «отступлений» и готов поступиться второй половиной известного правила: «*ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat*». Даже в конце того же века автор трактата «об истории» (*De l'histoire*, 1670), отличавшегося довольно видными достоинствами, Лемуан (*Le Moyné*) еще указывает на то, что историк должен быть поэтом: без поэтического дара он не будет в состоянии дать художественное изображение прошлого в историческом рассказе. С такой точки зрения естественно было сводить методологию исторического построения к правилам «об искусстве писать историю» и связывать его с искусством оратора или поэта.

Со времени Возрождения, когда ученые стали интересоваться остатками классической культуры и древними текстами, их редакциями и т. п., естественно начинать новый период в развитии исторического метода, а значит, и в историографии сочинений, посвященных научному изложению методологии истории. Приверженцы этого направления, правда, все еще иногда смешивали методологию истории с «искусством писать исторические сочинения» и риторическими-поэтическими правилами исторического стиля, что видно из вышеприведенных фактов; но в произведениях многих ученых научное настроение уже начинало крепнуть. В своем известном трактате Фосс, например, выделяет особую научную дисциплину *ιστοριχη*, которая выясняет понятие об истории и дает свод правил о том, каким образом устанавли-

ливать достоверность источников и избегать ошибок, а также какие периоды различать в истории государства, каким образом сочинять исторический рассказ, каких стилистических правил держаться и т. п.; впрочем, он сообщает мало нового⁸. Дальнейшее обособление наукообразной истории от литературы художественной произошло частью под влиянием развития методологии источниковедения и в особенности исторической критики, частью благодаря возраставшему вниманию историков к той связи, в какой история находится с юридическими и политическими науками, и усилившемуся их интересу к внутренней культурной истории. В самом деле, требования, предъявляемые исторической критикой, т. е. стремление установить подлинность и достоверность источников, заметно усилившееся в Новое время, часто могло оказываться в противоречии с приемами ораторского или поэтического искусства. Рапен, например, указывал на то, что употребление речей в рассказе далеко не всегда совместимо с требованиями его достоверности, а потому к ним можно прибегать лишь с большой осторожностью; он высказывается и против отступлений. С такой же точки зрения Даламбер, требуя от историка фанатической преданности истине, остроумно замечает, что сами историки сочли бы очень обидным для себя, если бы читатели поверили, что речи, приводимые ими, были действительно сочинены теми героями, которым они приписывают их составление; он же высказывается против употребления такого приема в историческом рассказе, долженствующем отличаться строгой достоверностью; подобного рода требования, конечно, шли вразрез и с поэтическими вольностями, допускаемыми прежними историками. Вместе с тем историки начали обнаруживать больше интереса к внутренней жизни государств: они стремились поставить изучение истории в связь с характером данной нации (Боден), с юридическими и политическими науками (Бодуэн в XVI в., позднее — Вольтер, Вегелин и др.) и с общей историей культуры (Лемуан, Вольтер и др.); они стали обращать большее внимание не только на прагматическое изложение (Рапен и др.), но и на процесс культурного развития человечества (Гердер и др.).

С такой точки зрения и прежние рассуждения об «искусстве писать историю» и о тесной его связи с приемами ораторского или поэтического искусства становились недостаточными. Уже Бодуэн (XVI в.), а затем и Бени (P. Béni. «De scribenda historia», 1614) проводят

⁸ *Voss Gerh. Joh. Ars historica sive de historiae natura et ejus conscribendae praeceptis*. Leyden, 1623. Вместе с изданием собрания сочинений Vossius'a издание 1653 г. Lugduni Batavorum считается наиболее полным и лучшим; ср. выше.

различие между искусством историка и искусством оратора или поэта. Рапен ставит исторический род даже возможно далее от поэтических родов.

Не останавливаясь на перечислении других сочинений подобного рода, вышедших в то время, я только замечу, что уже в XVII в. методология истории получила дальнейшее развитие в специальных трудах Мабильона, Конринга и некоторых других исследователей. Две попытки того времени изложить и общую методологию истории заслуживают внимания, а именно трактаты Ленглэ и Мабли; в них обнаружилось дальнейшее развитие наукообразного понимания методологии истории, главным образом, методов исторического изучения. Ленглэ преимущественно обратил внимание на методологию источниковедения, Мабли — на методологию исторического построения.

В начале XVIII в. нельзя не заметить довольно скептического отношения ученых к достоверности некоторых исторических источников, а значит, и построений, особенно в области древнеримской истории. Этот скепсис вызвал со стороны нескольких историков попытки выяснить степень достоверности исторических знаний и указать на способы пользоваться ими; автор одного из лучших сочинений того времени по методологии истории Ленглэ и преследовал такую именно цель⁹. В своей книге автор частью выясняет принципы, частью и главным образом формулирует правила исторической методологии, соблюдение которых придает достоверность историческим знаниям; смешивая методологические принципы с правилами исторической техники, он включает в свое рассмотрение и педагогику истории, т. е. излагает приемы наиболее рационального ознакомления с историей (священной, древней и «новой», а также с отдельными отраслями истории — политической и культурной).

Ввиду условий, при которых книга возникла, Ленглэ обращает внимание преимущественно на методологию источниковедения. В его трактате можно встретить намеки на то, что одни источники (например, хартии, надписи, медали) стоят ближе к историческим фактам, т. е. «современны действиям, объяснение которых можно найти в них» (Р. 339), другие — дальше от изображаемых в них фактов (что, например, часто наблюдается даже в мемуарах и т. п., р. 307 и сл.). Согласно с вышеуказанной целью книги автор мало останавливается на исторической интерпретации: он затрагивает ее, напри-

⁹ *Lenglet du Fresnoy N. Méthode pour étudier l'histoire, 1713* (ссылки относятся к лейпцигскому изданию 1714 г. с дополнениями J. V. Mencke); см. еще и «Suppléments» к тому же сочинению, 1740.

мер, рассуждая о вспомогательных науках, к которым он относит не только географию и хронологию, но и знания о религии и нравах. Главное содержание методологической части его трактата сводится, однако, к изложению оснований исторической достоверности; она заключается в личном наблюдении (*autopsie*), в не вызывающих сомнения документах, которым автор придает особенное значение, и в согласии показаний заслуживающих доверия лиц. Критерии доверия сводятся к оценке автора, сочинением которого мы пользуемся; ему можно доверять, если он сам наблюдал событие или получил сведения о нем от очевидцев, если тот отличается беспристрастием и точностью рассказа. Впрочем, Ленглэ принимает в расчет влияние разных обстоятельств (характера, состояния и проч.) на правдивость автора, а также условия, вызвавшие искажения в передаче известий о давно минувших событиях, и различие между оригиналом и копиями с него; он, сверх того, указывает и на опасность «гиперкритики» и скепсиса.

Методология исторического построения в книге Ленглэ почти не затронута; но в зависимости от общего понимания задачи истории он и историческое построение сводит к установлению причинно-следственной связи между побуждениями и действиями людей. Изучать историю, по его словам, — значит изучать мотивы, мнения и страсти людей, чтобы проникнуть во все тайные пружины его деятельности, все его пути и изгибы его души, наконец, чтобы узнать все иллюзии, которые овладевают его духом и неожиданно для него самого волнуют его сердце; одним словом, чтобы добиться познания самого себя в других. Та же мысль (за исключением последней фразы) почти дословно встречается в сочинении аббата С. Реаля¹⁰. В конце своего трактата Ленглэ припечатал его рассуждение. С. Реаль рассуждает в нем о том, что иногда маловажные причины порождают важные следствия (события), что действия человека объясняются почти всегда зложелательством его удовольствия («*par la malignité de nos plaisirs*») или тщеславием, что большинство «добродетельных» действий не всегда вызвано добродетелью, что общественное мнение регулирует действия людей, даже действия самых разумных из них.

¹⁰ *Abbé de S. Réal. De l'usage de l'histoire. Par., 1672.* Автор признает, что «знание вообще состоит в знании причинно-следственной связи, ибо знать — значит знать вещи по их причинам; также знать историю — значит знать людей, которые (своими действиями) и дают содержание историческому процессу, судить об этих людях, изучать историю... и т. д., почти дословно, как у Ленглэ, который, однако, в данном месте не ссылается на соч. С. Реаля.

Мабли, один из последних историков XVIII в., сочинивший трактат об «искусстве писать историю», также обнаружил тенденцию придать ее методологии более наукообразный характер и, главным образом, пытался установить более научные приемы исторического построения¹¹.

Действительно, под влиянием вышеуказанных новых требований исторической науки Мабли приближается и к более научному пониманию приемов исторического метода. Вообще, признавая, что историк должен стремиться к правдивости рассказа, автор трактата проводит различие между оратором или поэтом, которые задаются целью увлечь читателя, и историком, который является как бы свидетелем, обязанным давать правдивые показания. Вместе с тем автор требует от историка знания естественного права и политики, благодаря которым он может правильно оценивать начала и формы правления, государственную деятельность правительств и т. п. Уже заметно интересуясь историей культуры и права, Мабли с такой точки зрения рекомендует историку соблюдать единство построения и советует ему изучать права, законы и управление данной нации, привязывая к ним подробности, которыми факты связаны между собой.

Впрочем, в своих трудах об изучении истории и искусстве писать ее Мабли еще не пришел к определенному пониманию главной цели исторической науки, а потому и в понимании задач исторического построения он допускает довольно значительные колебания. Все же тесно связывая, например, понятие о законосообразности в истории с практической пользой черпаемого нами из исторической науки, Мабли высказывает соображения, не лишённые значения для понимания ее принципов и методов. В номотетическом, обобщающем смысле история, по его словам, должна служить школой морали и политики; но уже с такой точки зрения надо разбираться в массе исторических фактов, а не всецело подчиняться им; с политической точки зрения, история представляет интерес, если она дает правителю указания на «основные начала благоденствия или падения государств», на причины, влияющие на общественную жизнь, на средства, при помощи которых можно ускорять или замедлять их действие, и т. п.; из истории правитель черпает также понятие о том, что «одни и те же

¹¹ *Mably G. V. de. De l'art d'écrire l'histoire (1773)*; см.: *Oeuvres complètes*, Toulouse, т. XIX, 1793. Нем. перев. Т. R. Salzman'a с ученым предисловием А. L. Schlözer'a. Другое сочинение того же автора, известное под заглавием «*De l'étude de l'histoire*», — трактат, составленный им для молодого принца, сделавшегося потом герцогом Пармским и Пьяченским в 1765 г. — см.: *Oeuvres complètes*, Toulouse, т. XVIII, 1793. Русск. пер. Е. Чилиева «Об изучении истории», в 3 ч., СПб.

законы, одни и те же страсти, одни и те же нравы, одни и те же добродетели, одни и те же пороки постоянно производили одни и те же последствия». С последней точки зрения задача исторического построения, значит, сводится к установлению более или менее общих законосообразностей исторического процесса.

Мабли не удерживается, однако, на такой точке зрения: он уже предчувствует новые приемы исторического построения. Для того чтобы судить о человеке, оказавшем воздействие на народную массу, надо, по его мнению, не упуская из виду характера нации, к которой он принадлежит, определить страсть (*passion*), образующую основу его характера, господствующую его добродетель или главенствующий его порок (ср. *faculté maîtresse* Тэна) и тогда построить его характер, а затем объяснить из него и особенности его воздействия на общество. Мабли уже останавливается и на приемах построения исторического целого: историк, по его мнению, должен соблюдать единство в своем построении и выбирать важнейшие дела, оказавшие решительное влияние на историю, как бы центрами, в отношении к которым он и будет располагать остальные факты, но и не пренебрегать характерными подробностями.

Тем не менее Мабли все еще сохраняет некоторые из особенностей старинного понимания исторического построения; он полагает, например, что история без «речей» не может быть поучительной.

После появления трактата Мабли об «искусстве писать историю» методология истории вообще значительно оживилась благодаря целому ряду специальных работ в области приложения исторических методов к изучению летописного и документального материала: стоит только припомнить имена Шлецера и Гаттерера¹². В конце того же столетия Шёнemann издает уже целую «энциклопедию исторических наук», а через два десятилетия Вакмут пытается дать новый обобщающий труд по части методологии истории¹³.

Тем не менее некоторые писатели Новейшего времени все еще находились под влиянием старинных традиций и продолжали придавать большое значение рассуждениям об «искусстве писать историю».

С такой точки зрения к ближайшим преемникам Мабли можно причислить известного Дону; с 1819 г. он начал читать свои лекции

¹² *Wesendonck H.* Die Begründung der neuen deutschen Geschichtsschreibung durch Gatterer und Schlözer nebst Einleitung und Gang derselben von diesen. Lpz., 1876.

¹³ *Schönemann C.* Grundriss einer Encyklopaedie der historischen Wissenschaften. Göttingen, 1799; о Вакмуте см. ниже.

по методологии истории в Collège de France и, за исключением курса об исторической критике, все остальные посвятил, главным образом, изложению того отдела, который я называю методологией исторического построения, присоединив к нему соображения о приемах исторического повествования¹⁴.

Дону — представитель старого направления: он почитатель классической школы древности, «экспериментальной философии Бэкона» и «просвещения» XVIII в.; он не признает никакой идеально или априори построенной истории, хотя с похвалой отзывается о трактате Канта об идее всеобщей истории человечества; он отрицательно относится к эклектизму и к романтизму, борется со взглядами Кузена и Гизо и т. п.

Дону имеет довольно расплывчатое понятие об истории; он формулирует его под влиянием моральных и эстетических требований, предъявляемых историческому изображению. История, по его словам, есть «рассказ о частных поступках и в особенности о публичных событиях»; она дает картину судеб одного человека или целого народа, одного или нескольких веков; она регистрирует приключения и революции, среди которых человеческий род распространялся, цивилизовался или подвергался нравственному падению (Т. VII. P. 8). Автор не прочь оттенить, что и выбор сюжета также зависит от эстетических требований: сюжет, выбираемый историком, должен обладать единством и разнообразием; он также должен отличаться гармонией, а не монотонией (Т. VII. P. 36). Вместе с тем автор изучает применение истории, т. е. значение исторических знаний, для моральных и политических наук. Впрочем, Дону подробно излагает в своем труде приемы исторической критики и исторического построения, а именно изучает средства размещать факты в пространстве (историческая география — т. II, p. 293–525) и во времени (историческая хронология — т. 3 и 4); затем он переходит к изложению «искусства писать историю» (Т. VII). Автор признает значение «точных методов», применению которых в области моральных и политических наук он и приписывает их успехи, и усматривает связь между историей и такими науками; но в настоящем своем труде он имеет в виду изложить лишь приемы «сочинения истории» (Т. XII. P. 51), т. е. правила сочинения исторических произведений, причем исходит из известных четырех законов, изложенных еще Цицероном в его рассуждении «об ораторе», и изучает «искусство художественно изображать факты в рассказах». Автор придает существенное значение художественному изображе-

¹⁴ *Daunou P. F. C. Cours d'études historiques, t. I–XX. Par., 1842–1849.*

нию истории: слишком мало доказывая то, что он описывает, историк принужден заменять научность своего изложения художественностью изображения; вместе с тем предметы исторических изысканий имеют моральный характер и требуют «чистых и грациозных форм, а иногда и богатых красок»; наконец, сама по себе история живописна и драматична, а потому и исторический стиль должен быть живописным (*pittoresque*) (Т. VII. Р. 17, 20, 23). Старинное понимание задач исторического изображения легко заметить и в подробных рассуждениях автора об отступлениях от общего хода исторического изложения (*maximes, digressions etc*). В следующих томах своего курса Дону иллюстрирует такие правила на частных примерах (Геродот, Фукидид и др. греческие и римские историки классической древности; см. т. VIII–XIX).

Труд Дону, разумеется, значительно устарел. Нельзя согласиться ни с его пониманием истории и ее задач, ни с его методологическими рассуждениями; в сущности он и не устанавливает ни принципов, ни методов научно-исторического построения, а лишь выясняет правила, пригодные, по его мнению, для сочинения исторических произведений, а также правила историко-литературного, художественного изображения и стиля. Впрочем, Дону уже сознавал, что историк должен быть знаком с философскими системами; он излагает их главнейшие направления — идеалистическое или «созерцательное» и реалистическое или «экспериментальное» (с т. XX). Хотя Дону с похвалой отзывается о попытке Канта свести историю человечества в систему, он все же относится скептически к таким построениям и предпочитает «экспериментальный метод», но ему не удалось закончить свой труд и подробнее выяснить приложение «экспериментального метода» к построению исторического процесса — «цепи причин и следствий».

В то время, однако, философия уже начинала оказывать некоторое влияние и на развитие методологии истории: еще мало заметное до середины XVIII в., оно значительно укрепилось в течение следующего столетия. В самом деле, Декарт с его рационализмом не мог питать большого интереса к истории и ее «случайностям», да и Бэкону не удалось решительным образом изменить такое настроение: занимаясь «классификацией наук», он, правда, отводил в ней известное место и истории; но он проводил свою группировку преимущественно с психологизирующей точки зрения; в основе ее лежала известная теория о «способностях» души; из трех основных «способностей» (разума, памяти и воображения) историческое знание он ставил в за-

висимость от памяти¹⁵. Естественно, что теория подобного рода не могла оказать большого влияния на развитие исторической науки: сами историки обыкновенно оставляли теорию исторического знания в стороне и рассуждали только о специальных методах изучения материала или еще чаще — о приемах исторического повествования.

Важнейшие моменты в развитии философской мысли XVIII–XIX ст. не замедлили, впрочем, отразиться и на методологии истории. С такой точки зрения, в пределах последних полутора столетий можно различать два периода, а именно: время влияния идей, связанных со старейшими философскими системами — преимущественно с немецким идеализмом, и время влияния новейших течений в области собственно теории познания на методологию истории.

В течение старшего из указанных периодов и, главным образом, под некоторым влиянием Лейбница, Канта и Гегеля возникли и старейшие из попыток построить методологию истории; в качестве важнейших иллюстраций можно указать на труды Хладения, Ваксмута, Гервинуса и Дройзена.

Хладений был современником Вольфа. Первоначально заинтересовавшись теорией исторического знания преимущественно с богословско-полюемической и церковно-исторической точек зрения, он вслед за тем стал рассуждать о «познании истории» и с теоретико-познавательной точки зрения. Вообще, разумея под «*Vernunftlehre*» все то, что наш рассудок (*Verstand*) должен соблюдать при познании истины, Хладений признавал особою частью такого учения и правила исторического знания; рассуждая в духе Лейбница, уже указавшего на то, что старое понятие о «*Vernunftlehre*» слишком узко и должно быть расширено в противоположность рационалисту Вольфу, виттенбергский профессор пришел к заключению, что общепринятая «*Vernunftlehre*» с ее учением об общих понятиях страдает существенным пробелом: она не содержит учения о понятиях, противоположных общим, т. е. о понятиях индивидуальных (*die individuelle Begriffe*). Логическая связь между общими понятиями и историческая связь между действительно случившимися фактами, например, существенно различны: в истории нельзя логически выводить последующее из предшествующего, подобно тому как мы выводим частное из общего; задача историка, напротив, состоит в том, чтобы решить, каким образом то, что он знает о происшедшем в качестве последующего, следовало из предшествующего в той мере, в какой он также знает его; кроме того, историк имеет дело и со «случайными вещами»

¹⁵ См. ниже, отдел второй, глава первая.

и т. п. С указанной точки зрения Хладений старается выяснить особенности объекта исторического познания. Справедливо указывая на то, что под «историей» мы разумеем и случившееся в действительности происшествие, и наше представление о нем, автор признает объектом исторического знания «вещи, которые существуют или случаются». Впрочем, он вскоре приходит и к более узкому пониманию такого объекта: историк, в сущности, высказывает «исторические суждения» о переменных, действительно происшедших в мире и рассматриваемых сами по себе; но всякая переменная предполагает «субъект», к которому она относится, а субъект перемены может иметь разное значение: он может быть не только единичным существом (например, Цезарь), но и собирательным лицом (например, римская свобода). Историческое суждение и состоит частью в познании субъекта, частью в познании случающейся с ним перемены; но историк не может довольствоваться изучением таких перемен, отдельно взятых; он должен иметь в виду ряд перемен; последний и называется историей. При построении таких понятий историк обыкновенно переносит на целую группу то заключение, какое он делает на основании наблюдений над некоторыми ее членами, и, опуская множество «индивидуальных обстоятельств», преимущественно обращает внимание на чрезвычайные поступки и события; смотря по тому, какие из них он будет выбирать, какие будет считать «справедливыми» или «несправедливыми», история получит тот, а не другой вид. Вместе с рассуждениями о теории исторического знания Хладений высказывает немало соображений и касательно методов исторического изучения. Можно сказать, что Хладений впервые попытался обосновать методологию источниковедения: сами происшествия, по его мнению, мыслимы и без наличности того, кто наблюдает за ними; но нельзя сказать того же относительно знания о таких происшествиях. В последнем случае, т. е. при «познании события и вытекающих из него рассказов», следует относиться с таким же вниманием к наблюдателю и его особенностям, как и к самой «вещи». Впрочем, хотя Хладений был специально заинтересован герменевтикой, он почти не выделяет исторической интерпретации из критики. Хладений различает основные виды источников (*Privatbriefe*, *Staatsgesetze*, *Schriftsteller*, *Monumente*; последние бывают *stumme* — немые и *belebte* — одушевленные, т. е. такие, которые снабжены письменными указаниями), он обращает также внимание на различие между действительными обстоятельствами и превращениями, каким они подвергаются, с точки зрения зрителя или лица, сообщающего эти факты, в зависимости от его личных свойств, общественного положения и т. п.; он указы-

вает на перемены, каким данное известие подвергается в ряде пересказов, пока оно не дойдет до историка, а также на критерии его достоверности; он признает таковыми свойства свидетелей, степень известности событий, удостоверение событий путем свидетельских показаний и документов, обратные заключения — от настоящего к прошлому и т. п.; он не забывает отметить и разные степени вероятности известия (отличие ее от достоверности), и условия, при которых та, а не иная ее степень устанавливается; наконец, он различает и способы оценки источника в зависимости от той разновидности, к которой он принадлежит. В своем труде Хладений дает понятие и о приемах исторического построения; он пытается, например, выяснить, что разуметь под историческим фактом и каковы его разновидности (S. 76 ff.), а также рассуждает об изучении причинно-следственной связи между фактами, причем понимает ее в психологическом смысле: историк, по его словам, изучает такие события, которые зависят от воли людей и их действий, вызывающих известные последствия; с такой точки зрения он исследует причины фактов, их взаимную зависимость и связь¹⁶.

Не имея возможности здесь останавливаться на характеристике всех последующих попыток изложить методологию истории, хотя бы некоторые из них и представляли интерес, я только замечу, что после появления трактата Хладения важнейшие проблемы, столь широко поставленные им, долгое время оставались без дальнейшей разработки; лишь Ваксмут попытался подвергнуть их новому рассмотрению.

Ваксмут уже находился под влиянием Канта и его преемников; в 1820 г. он напечатал свой «Опыт теории истории», несмотря на свою краткость, довольно богатый содержанием. Автор различает «теорию истории» от «теории исторического искусства». «Теория истории», или «исторической науки», приводит в порядок объективно данный исторический материал путем «внесения» в него законов нашего разума и таким образом строит систематическое понятие о нем. Теория исторического искусства излагает учение о приемах обработки исторического материала, т. е. учит о том, каким образом историк путем исследования превращает свое субъективное знание в «собственность человеческого духа» и как он передает его в художественном произведении. С такой точки зрения Ваксмут и излагает теорию исторической науки; главный объект ее (в противоположность объекту естественных наук) — «действия человеческой свободы», осуществляемые главным образом под условием жизни человека в государстве; впро-

¹⁶ *Chladenius J. M. Allgemeine Geschichtswissenschaft. Lpz., 1752.*

чем, и природа в ее отношении к человеческой свободе, проявляющейся в пространстве и во времени, также принимается во внимание историком. Далее, определив, в чем именно состоят подобного рода действия и их разновидности, автор останавливается на выяснении более частных понятий о разных родах истории (всеобщей, специальной и т. п., истории культуры и философии истории). В теории исторического искусства Ваксмут дает понятие о вспомогательных знаниях, которыми историк должен вооружиться, о приемах исторического толкования непосредственно данных ему переживаний и разнородных источников, через посредство которых он знакомится с прошлым; далее автор рассуждает о способах изучения «пространства и времени как формы исторических фактов», а также об историческом повествовании (*Darstellung*): он признает, что историк связан требованиями исторической критики и построения фактов в их причинно-следственной связи и что ему следует, не упуская из виду характерных их особенностей, представлять их в виде некоего «целого» и определять «значение» в нем частей, образующих такое единство; наконец, автор высказывает несколько соображений и относительно способа исторического изображения «в эстетической форме». Таким образом, Ваксмут дает обозрение многих важнейших проблем методологии истории; его книга до сих пор не вполне утратила свое значение и для их постановки, и для их решения¹⁷.

После появления труда Ваксмута методология истории в ее целом долгое время оставалась без дальнейшей обработки. Учение об идеях, которое Гегель развил в своей метафизике и применил в своей философии истории, оказало влияние и на понимание исторического процесса, и на построение методологии истории. Гумбольдт уже рассуждал в таком духе о задачах историка; книжки Гервинуса и Дройзена также написаны под обаянием того же учения.

В краткой, но содержательной своей статье Гумбольдт рассуждает о задачах историка с точки зрения учения об идеях, возникшего не без влияния Канта и развитого Гегелем в величественную систему; впрочем, Гумбольдт писал свою статью и под впечатлением одного замечания Шиллера, сравнивавшего задачи историка и поэта. Понимание, по словам Гумбольдта, вообще состоит в «применении предварительно данного общего к новому — частному». Историческое понимание затрудняется, однако, тем, что историк должен «заключать» о внутреннем содержании происшедшего по разрозненным единичным данным, доступным его чувственному восприятию; он пони-

¹⁷ *Wachsmuth W. Entwurf einer Theorie der Geschichte. Halle, 1820.*

мают их, прибегая, подобно поэту, к творческому воображению; таким образом, историк перерабатывает в себе собранное в единое целое и придает ему форму. Соответственно этой теории историк для изучения «того, что произошло», должен понимать господствующую в нем, но непосредственно не воспринимаемую им идею, помня, однако, что она может быть познана только из самих происшествий. Такие идеи по существу своему лежат вне конечного: по идеям прекрасного, истинного, справедливого (*die Schönheit, die Wahrheit, das Recht*) историк может догадываться о «планах мироправления» (*die Plane der Weltregierung*); но основная его задача — изобразить стремление данной идеи, достигнуть своего обнаружения в действительности (*Dasein*), особенно в гении или «великой индивидуальности». С такой в сущности метафизической точки зрения, идея — сила и вместе с тем цель изучаемого процесса, благодаря которому какая-либо из сторон бесконечности отражается в действительности и придает ей единство и форму. Следовательно, историк должен исходить из идеи для того, чтобы при осторожном обращении с доступным ему фрагментарным материалом построить из него некое целое; лишь становясь в его центральном пункте, он может понять и изобразить истинную связь между историческими фактами. Такая постройительная работа во многих отношениях сходствует с творчеством художника, который также исходит из идей для того, чтобы постигнуть истину формы¹⁸.

Влияние того же немецкого идеализма отразилось и в труде Гервинуса, посвященного краткой характеристике «исторического искусства». В своей книжке он, правда, не ссылается на Гегеля, но во всяком случае, сочувственно относится к Гумбольдту. Хотя Гервинус и пишет, что ему пришлось основываться почти исключительно на собственных размышлениях и опыте, сам он хвалит «прекрасное» рассуждение Гумбольдта и в сущности заимствует из него учение об идеях. Гервинус рассуждает, например, о наличии некоего мирового плана в истории; о целом человечестве, о борьбе между свободой и необходимостью в истории, о значении в истории того, в чем можно усмотреть отношение к какой-либо исторической идее, о воплощении идеи в великих людях и т. п. Вместе с тем и историк, по мнению автора, не должен упускать из виду, что он изучает идеи, обнаруживающиеся

¹⁸ *Humboldt W. v. Ueber die Aufgabe des Geschichtschreibers in Abhandlungen der historisch-philolog. Klasse der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1820–1821. Berlin, 1822. Ср. J. Goldfriedrich. Die historische Ideenlehre in Deutschland. Berl., 1902. S. 107–163; Kittel O. W. v. Humboldts geschichtliche Weltanschauung u. s. w. Lpz., 1901.*

в исторической действительности. Задача истории в том, чтобы рассматривать вещи согласно данным нашего опыта только в их проявлениях в действительном мире, кажущемся нам случайным, и разыскивать их истинное отношение друг к другу. Только в том случае, если историк поставит часть, изучением которой он занимается, в отношение к целому человечеству, он будет в состоянии дать настоящее историческое произведение. С такой точки зрения автор усматривает в художественном изображении главным образом лишь средство представить историю в ее целом, ибо произведение художественное прежде всего требует внутренней законченности или цельности.

Тем не менее Гервинус не дает ни общей методологии истории, ни даже одного из ее главнейших отделов. В своем труде он устанавливает только те условия, которые, по его мнению, должны быть соблюдаемы историком для достижения «внутренней цельности» путем художественного изображения прошлого, и с такой познавательно-эстетической, объединяющей материал точки зрения намечает главнейшие роды исторической литературы. Историческое изложение начинается с простой генеалогии, затем переходит в хронику (т. е. главным образом, в запись событий), а затем в мемуары, объясняющие мотивы человеческих действий, что в свою очередь ведет к прагматической истории; не отрицая необходимости и теперь считаться с требованиями хронологического и прагматического изложения, историк не может, однако, ограничиться им: он должен стремиться к историческим комбинациям и изучать сущность тех идей, в которых он усматривает одновременно и силы, движущие человечеством, и цель его истории; историк следит за действием таких сил, проникающих собою всю историю и придающих ей внутреннее единство, за их возникновением, за их стремлением к победе и господством и за их исчезновением под напором новых идей. Следовательно, историк придает значение фактам в зависимости от того отношения, в каком они находятся к идеям; но как только историк начинает с указанной точки зрения «группировать» факты, он сообщает своему произведению «наикрасивейшее единство», благодаря которому, оно в качестве художественного произведения будет действовать на всего человека (читателя) и облагораживать все его существо¹⁹.

Таким образом, Гервинус в своей книжке применяет учение об идеях к теории исторического построения; но он слишком мало выясняет свою теоретико-познавательную точку зрения, например,

¹⁹ *Gervinus G. Grundzüge der Historik. Lpz., 1837; ср. Dörfel J. Gervinus, als historischer Denker. Gotha, 1904.*

«сущность идей», их действие и т. п.; он также смешивает научное построение исторического целого с художественным его изображением, да и самое понятие о целом (особенно об «эволюционном» целом) оставляет без надлежащего внимания.

Наконец, то же направление еще заметно и в конспекте лекций, которые Дройзен стал читать с 1857 г. в Берлинском университете по методологии истории.

Дройзен находился под некоторым влиянием Гегеля; но он не усвоил себе какой-либо определенной системы и не создал новой; склонный к метафизике, он высказывает, однако, положения, далеко не всегда согласованные между собою, например, касательно понятия о свободе. Дройзен, подобно своим предшественникам, исходит из учения об идеях; во главе их он ставит идею абсолютной целостности: «только в Боге мы можем понимать историю»; вообще он разумеет под идеями те «нравственные силы» (*sittliche Mächte*), которые порождают и оживотворяют более или менее постоянные формы социальной жизни (семья, государство, народ и т. п.); значит, он пытается комбинировать учение об идеях в истории с историко-социологическим исследованием ее явлений: обращая внимание на единичное в той мере, в какой идеи осуществляются в нем, историк сперва с такой теоретической точки зрения «понимает» единичное в его отношении к целому и описывает его, но вслед за тем изучает и общие его проявления. Впрочем, кроме понятия об истории, т. е. о «нравственном мире, рассматриваемом с точки зрения его становления (*Werden und Wachsen*)», и об историческом методе Дройзен излагает в своей книге еще учение о методике, т. е. о толковании текста, критике, интерпретации и о способах излагать историю, а также рассуждает о систематике, т. е. о тех точках зрения, с которых можно группировать исторические факты. Впрочем, и в тех случаях, когда рассуждения автора (например, о психическом характере исторических источников и фактов) можно признать правильными, они далеко не всегда ясно выражены: в своих афоризмах он не развивает высказываемых им положений, не доказывает их и не иллюстрирует примерами. Тем не менее Дройзен высказывает в своей книге немало ценных и глубоких замечаний, например, о делении источников на остатки и предания, о психологическом истолковании, об отношении этики к истории и т. п.; но систему их изложения едва ли можно признать удачной: методология источниковедения и методология исторического построения в ней смешаны²⁰.

²⁰ *Droysen J. C. Grundriss der Historik. Leipz., 1868; 2-te Aufl., 1875; 3-te Aufl., 1882.*

Таким образом, с середины XVIII в. философия начала оказывать влияние на развитие методологии истории: оно заметно отразилось уже в важнейших общих трудах, посвященных ее изложению и вышедших до 1870-х годов. В то время, однако, сама философия стала обращать особенное внимание на теорию познания; последняя вступила в более тесную связь и с логикой (Шуппе и др.), и с методологией наук; а в число научных методов, разумеется, пришлось включить и исторический метод. Благодаря вышеуказанным условиям в курсах логики, появившихся в конце 1870-х — начале 1880-х годов, можно уже найти особые отделы, имеющие близкое отношение к методологии истории. Главнейшие из таких курсов принадлежат Вундту и Сигварту.

В духе трансцендентального идеализма, рассуждая о творческой деятельности разума, Вундт признает, что последний привносит в опыт свойственные ему категории. Маститый ученый не вполне выдерживает, однако, такую точку зрения: он полагает, например, что «логические законы нашего мышления суть вместе с тем и законы его объектов»; а в своем учении о методе он слишком часто упускает из виду понятие о единстве сознания и рассуждает о разрозненных «логиках» отдельных наук, в зависимости от разнообразия их объектов. Тенденция подобного рода обнаруживается, например, уже в общем учении Вундта о методах исследования: анализе и синтезе, отвлечении и определении, индукции и дедукции, а также о форме систематического изложения, определении, классификации и доказательстве. В своей конструкции методологии отдельных наук Вундт также обращает внимание не столько на различие тех познавательных точек зрения, с которых они могут рассматривать один и тот же объект, сколько на различие их объектов или изучаемых ими «процессов». С последней точки зрения, автор и различает, помимо формально-конструктивных наук, науки о природе и науки о духе (*Naturwissenschaften* und *Geisteswissenschaften*). Явления духовного порядка характеризуются оценкой, целеполаганием и волевою деятельностью (III, 15 и след.); следовательно, общая наука о духе, т. е. психология, должна лежать в основе построения остальных наук о духе. Вслед за изложением «логики психологии» автор со свойственной ему обстоятельностью обозревает «логику» социальных наук (социологии, политической экономии и юриспруденции) и «логику исторических наук», т. е. филологии и истории. Естественно, что Вундт, исходя из вышеуказанных положений, рассматривает историю скорее с обобщающей, чем с индивидуализирующей точки зрения. Автор прилагает психологические принципы к истолкованию исторического процесса; он трактует об общих условиях

исторического развития, о принципе целесообразности в его применении к истории и — в психологическом смысле — о законах в истории. В самом деле, историческая наука — прикладная психология; наиболее общие законы истории не что иное, как законы самой психологии (III, 400). Впрочем, в свое понятие об «историческом законе» Вундт с течением времени внес существенные ограничения: исторический закон формулируется лишь относительно деятельности одного какого-либо фактора исторической жизни, выхваченного из нее, и значит, в сущности, дает лишь одностороннее понятие об исторической действительности; если же иметь в виду сложную комбинацию факторов, то «конкретный исторический закон» вообще получает характер «единичного закона»: «он имеет силу лишь применительно к тому единичному историческому течению, от которого он абстрагирован» (III, 429). Таким образом, Вундт стремится примирить обобщающую точку зрения на историю с индивидуализирующей; но в вышеприведенном рассуждении он пользуется термином «закон» в очень широком смысле и едва ли не смешивает понятие о законе с понятием о его реализации в действительности. В связи с другого рода соображениями сам Вундт даже готов признать, что историк, поскольку он имеет дело с единичными фактами, лишен возможности говорить о законах применительно к ним, а довольствуется только их психологической интерпретацией (III, 130, 138); но автор не разъясняет, на каком основании историк все же интересуется индивидуальным. Такое же колебание заметно у Вундта и в определении объекта исторического изучения: ограничивая, например, объем истории, он полагает, что дикие народы, не оказавшие влияния на общий ход развития человечества, изучаются антропологом, этнологом и народной психологией, а не историком. Но на каком основании историк должен пренебрегать изучением диких народов, между которыми столь много общего, и останавливаться на изучении исторических судеб одних только «цивилизованных народов»? Вундт мало выясняет также, в чем именно состоит историческая связь (специальный вид причинно-следственности в истории), и нередко пользуется в сущности общим понятием о законе в своих телеологических построениях. Таким образом, можно сказать, что та общая познавательная точка зрения, с которой Вундт рассуждает об истории, остается не совсем ясной. В более специальных отделах своей книги Вундт излагает методы исторического изучения; не выяснив основных познавательных целей, которые имеются в виду при их употреблении, он ограничивается довольно беглым обзором главнейших приемов исторической критики и интерпретации, употреб-

ляемых в науке, и слишком мало останавливается на характеристике методов исторического построения²¹.

Сигварт писал раньше Вундта; но в некоторых отношениях его труд оказывается более современным. Сигварт придерживается преимущественно теоретико-познавательной критической точки зрения; он выясняет критерии и основания истинности наших суждений, а не только формально-методологические приемы мышления; он признает логическую необходимость категорий и стремится к согласованности мышления в его элементах; он приходит к заключению, что необходимость единичных суждений покоится на всеобщих принципах, непосредственно очевидных; достоверность их нельзя «выводить из опыта, который только благодаря им и возможен в форме настоящего суждения» (I, 420 и др.). Вместе с тем, однако, Сигварт стремится выяснить и реальное содержание принципов нашего познания. Такое стремление автор обнаруживает и в изучении мышления, особенно в указании на волевые его основы (*Denkenwollen*), на его цели и момент оценки, и в том внимании, с каким он останавливается на специфических особенностях методологии отдельных наук, поскольку она зависит от свойств объекта данной науки. С указанной точки зрения Сигварт изучает методологию естествознания (в теории индукции он близок к Джевонсу) и много нового и ценного вносит в методологию психологии и истории. Сигварт высказывается против безразборчивого перенесения методов естествознания в психологию и историю; такого взгляда он придерживается, например, развивая свое учение о субъекте в психологии и о действительности в истории. Специально в области исторической методологии Сигварт изучает приложение тех умозаключений, в которых мы от данной наличности фактов (*Thatbestand*) заключаем о действительно вызвавших их причинах (II, 598), и выясняет те основания, в силу которых мы признаем такие умозаключения истинными (II, 610–644). Теория о том, что историк исходит из действительности для того, чтобы возвести ее к причинам, вызвавшим ее, — главным образом, к психологическим факторам, обстоятельно развита Сигвартом; из нее исходили и некоторые последующие теоретики истории как знания об индивидуальном. Исторические эмпирические законы, по мнению Сигварта, имеют нормативный характер в том смысле, что из общих свойств человеческой природы и целесообразности можно вывести, что именно человек, желающий данной цели, должен сделать для ее достижения,

²¹ *Wundt W. Logik*, 1 Aufl., в. I–II (1883); 2-te Auflage, в. I–II (в 3 кн.). Stuttgart, 1893–1895; 3-te Auflage, в. I–II (в 3 кн.). Stuttgart, 1906–1908.

предполагая разумное понимание им (субъектом) средств, наиболее пригодных для достижения данной цели. В действительности, однако, человек может вовсе и не желать данной цели и не понимать, какие именно средства ему нужны для наилучшего ее достижения (II, 637 и след.). Сигварт пользуется учением о субъекте и для построения понятия об эволюции: в отношении к данному субъекту можно говорить о его развитии (II, 661–667), что легко применить также к коллективному целому, изучаемому в его развитии. Вообще можно сказать, что при некотором консерватизме своих понятий Сигварт все же дает и много новых исходных положений, логически обоснованных и приноровленных к реальному пониманию специфических особенностей данной отрасли науки, в частности, и исторического знания²².

Таким образом, Вундт и Сигварт уже ввели в свои общие курсы логики учение о принципах и методах исторической науки; но в своих рассуждениях о ее задачах они придерживаются различных точек зрения: Вундт – скорее обобщающей, чем индивидуализирующей, Сигварт – скорее индивидуализирующей, чем обобщающей. Историки также не замедлили испытать на себе влияние вышеуказанных различных течений мысли. В семидесятых и даже восьмидесятых годах прошлого века теоретико-познавательные точки зрения, с которых они строили свои теории, однако, еще не вполне дифференцировались; точки зрения обобщающая и индивидуализирующая скорее включались в соответствующие построения, чем обосновывались, и излагались в связи с другими взглядами, например эволюционным или историко-философским.

В числе приверженцев обобщающей точки зрения можно указать, например, на Бурдо. В своем сочинении об истории и историках Бурдо полагает, что историческая наука должна формулировать «специальные» и «общие законы» («законы сходства и последовательности, закон прогресса»), пользуясь статистическим методом наблюдения над фактами, постоянно повторяющимися, и распространяя свои обобщения на прошлое и будущее человечества. В своем труде Бурдо также определяет объект исторического знания, но с эволюционной точки зрения: история есть наука о «развитиях разума»; она изучает не царство животных, а «человеческое царство», характеризуемое деятельностью разума, т. е. те факты, «которые разум направляет или влияние которых он на себе испытывает». Задача научно-исторического построения и состоит в том, чтобы формулировать «законы по-

²² *Sigwart Chr. Logik*, в. I–II, 1-те Aufl., 1873–1878; 2-те Aufl., 1889–1893; 3-те Aufl., 1904; рус. пер. в 3 т. СПб., 1909.

стоянной метаморфозы», которой человеческий вид подвергается²³. Сам Бурдо, однако, не выдерживает своей точки зрения: по его мнению, например, нельзя встретить двух людей, которые, за исключением «вещей очевидных или доказанных», «думали бы одинаково по всем вопросам, а может быть, и по одному из них». Но много ли «вещей очевидных и доказанных» и не придется ли историку, интересующемуся такими «вещами», заниматься логикой, а не историей? Вместе с тем автор готов признать, что задача исторической науки – рассказать историю человеческого вида, «великого коллективного существа, характеризуемого способностью разума». Но не оказывается ли такое «существо» своего рода индивидуальностью? И можно ли определять такой объект только с эволюционной точки зрения?

В то время, однако, несколько историков уже успели высказаться и в пользу индивидуализирующей точки зрения на историю; но они все еще не вполне ясно формулировали ее. Фримэн, например, давно уже выразил нечто подобное в виде частной формулы, имеющей характер эмпирического обобщения: в 1872 г. он выступил с лекцией, в которой развил мысль о «единстве истории» и с такой точки зрения настаивал на том, что лишь принимая во внимание отношение изучаемого периода к всему целому исторического развития человечества, можно понимать его. Указанный принцип, по мнению автора, имеет большое значение, по крайней мере применительно к истории арийских или европейских народов. Впрочем, Фримэн не обосновал своей точки зрения и слишком мало воспользовался ею для построения методологии истории, хотя и посвятил в позднейшее время целую книгу изложению «методов исторического изучения»²⁴. В русской литературе, в сущности, аналогичное понимание истории также отчасти обнаружилось, например, в трудах Н. И. Кареева. В своих «Основных вопросах философии и истории» Н. И. Кареев развивает мысль, что «философия истории» не занимается разысканием законов, но пользуется законами психологии и социологии для философского изображения всемирной истории; он касается, например, вопроса о единстве истории человечества и ее планомерности; он выясняет, что без руководящей идеи и объединяющего принципа «нельзя ни выбирать, ни группировать факты» и что историк должен пользоваться «историософическим критерием, т. е. философской меркой,

²³ Bourdeau L. L'histoire et les historiens; essai critique sur l'histoire, considérée comme science positive. Par., 1888.

²⁴ Freeman E. The Unity of history, 1872; см. «Comparative Politics». Ld., 1873. P. 296–341; ср. его же: The Methods of historical Study. Ld., 1884.

для оценки истории», причем усматривает ее в развитии личности; он занимается также изучением понятия прогресса, дает «опыт теории исторического прогресса» и даже формулирует общий его закон. Автор «Основных вопросов» писал свой труд в то время, когда чисто логическое различие между двумя познавательными целями науки или точками зрения – обобщающей и индивидуализирующей – еще слишком мало было выяснено в литературе; тот же пробел чувствуется и в его собственном труде, посвященном не столько теории исторического знания, сколько «историософии», т. е. «методологии философии истории». Вместе с тем автор связывает принятую им теоретико-познавательную точку зрения с историко-философской: он дает и «общую теорию исторического процесса, исторической эволюции и исторического прогресса», а также много рассуждает о «философии истории» в смысле «изображения всемирной истории с философской точки зрения»²⁵.

Под влиянием различных течений в области теории познания, в особенности трудов Конта и Милля, Виндельбанда и Риккерта, в последнее время интерес к проблемам методологии истории значительно оживился и их стали обсуждать с двух довольно резко противопоставляемых познавательных точек зрения на задачи истории как науки или обобщающей, или индивидуализирующей наше знание о действительно бывшем.

В числе ученых, которые придерживаются обобщающей точки зрения на историю, можно назвать Тэна, Лампрехта, Брейзина и др.; но наиболее систематическое изложение понимания истории в таком именно смысле было сделано Лакомбом. Вообще Лакомб понимает под наукой лишь такую совокупность суждений, которые высказывают общезначимые истины касательно необходимой причинно-следственной связи между явлениями в пределах однородных или сходных серий процессов; значит, история будет наукой в той мере, в какой она удовлетворит тому же требованию обобщения; в сущности она, значит, не отличается от социологии. Итак, история должна изучать явления, порождаемые человеческими действиями, поскольку они сходны между собою или вообще, или в известных пределах времени и пространства; историк интересуется, собственно говоря, человеком в той мере, в какой он производит сходные между собою действия (*l'homme général, l'homme temporaire*); человек вообще, обусловленный в своих дейст-

²⁵ Кареев Н. Основные вопросы философии истории. М., 1883, 2 т.; 2-е изд., 1887; 3-е (сокращенное). СПб., 1897; ср. его же «Сущность исторического процесса и роль личности в истории». СПб., 1890.

виях данною совокупностью условий или особою средой, и есть «исторический человек». Автор называет результаты таких действий учреждениями (*institution*) и противопоставляет их единичным фактам — событиям (*événement*); события должны привлекать внимание историка, поскольку они способны порождать учреждения. Далее Лакомб рассуждает об историческом методе: в основание его он кладет психологию; она дает понятие о человеке вообще («*l'homme général*») и о его потребностях как о факторах развития; таким образом, историк орудует гипотетически дедуктивным методом, проверяя его индукцией. Вслед за тем, прилагая вышеуказанные понятия и методы к изучению исторического процесса, Лакомб обозревает материал, пригодный для истории-науки, и переходит к характеристике человека с временно устойчивыми свойствами (*homme temporaire*) как фактора прогресса: автор занимается анализом его определяющих элементов — степени цивилизации, т. е. богатства или «возможности человеку легко производить полезные действия», нравственности и умственного развития. В последних главах своей книги Лакомб трактует о причинах прогрессивного развития человечества, причем различает психические и социальные факторы; он также останавливается на выяснении двух «идей», которыми историк пользуется при изучении развития, а именно — идеи необходимости (*détermination*) и идеи случайности, порождаемой чисто индивидуальными актами. Закон прогресса, по его мнению, состоит в сохранении энергии, ведущем к борьбе за существование и имеющем целью достигнуть счастья под условием соблюдения долга. Наконец, в заключительных главах своего труда Лакомб пытается приложить добытые им понятия к решению некоторых исторических проблем и рассуждает о «предвидении в истории». При чтении интересно и легко написанной книги Лакомба нельзя не заметить, однако, в ней довольно существенных недостатков. Автор не обосновывает своей точки зрения на задачи науки вообще и исторической науки в частности, а скорее исходит из нее в своих рассуждениях об «истории-науке»; он также не останавливается на выяснении понятий о причинно-следственности в истории и о развитии, о прогрессе и регрессе. При оценке исторических факторов автор, может быть, слишком большое значение придает факторам экономическим в ущерб духовным и, слишком изолируя их, не принимает в расчет того значения, какое каждый из них получает в зависимости от остальных, а потому и его обобщения оказываются односторонними. Законосообразности исторического процесса, устанавливаемые автором, можно назвать скорее правилами, чем законами. Не мешает заметить, наконец, что, охотно прибегая и к социологическим обобщениям, добытым на основании изучения пер-

вобытной культуры, автор слишком доверяет им, благодаря чему и впадает в некоторые ошибки (ср. р. VIII, 69, 83 и др.)²⁶.

Многие историки, также полагающие, что история — наука, усматривают, однако, главную ее задачу не в обобщении, а наоборот, в индивидуализировании нашего знания о действительности и с такой точки зрения рассуждают о теории исторического знания и о методах исторического изучения. В числе подобного рода трудов я пока ограничусь указанием на общие руководства Бернгейма, Мейера и Ланглуа-Сеньобоса.

Бернгейм склоняется к индивидуализирующей точке зрения, с которой он выясняет отношения между разными науками (в том числе народной психологией, а также социологией) и историей. Автор восстает против смешения естествознания с историей: в последнем издании своей книги он уже находится под влиянием новейших учений и проводит более резкое различие между познавательными целями естествознания и исторического знания, между обобщением и индивидуализированием, а значит, и между образуемыми ими понятиями; с такой точки зрения он и приходит к заключению, что историческое знание есть знание «всех единичных происшествий, как связанных между собою моментов эволюционных рядов, которые слагаются в пределах взятого в его совокупности социального развития человечества». Тем не менее Бернгейм дает общую характеристику исторического знания, главным образом, в его зависимости от объекта исторического изучения: имея в виду целеполагающую деятельность человека и придавая большое значение психологическому объяснению исторических фактов, история изучает явления, обусловленные «психической каузальностью» (S. 133–144). Следовательно, история не может ограничиться изучением массовых или коллективных явлений; она должна принимать во внимание значение отдельных личностей и событий в историческом процессе; занимаясь выяснением причин исторических явлений, историк должен помнить, что исторический процесс есть взаимодействие двоякого рода факторов — индивидуальных и коллективных. С такой точки зрения Бернгейм и оттеняет, что объектом исторического изучения следует признать «человека» в той мере, в какой он действует «в определенное время и в определенном месте» как социальное существо. Автор вносит те же понятия и в свое определение истории; она «изучает и изображает» временно и пространственно ограниченные факты развития людей в их (единичной, а также типической и коллективной) деятельности, как социальных существ, в со-

²⁶ *Lacombe P.* De l'histoire considerée comme science. Par., 1894.

отношении, имеющем характер психофизической причинной связи» (S. 5, 9). Хотя определение Бернгейма вызвало возражения со стороны не только противников, но и приверженцев того же индивидуализирующего направления (например, со стороны Below'a), однако все признают за его учебником крупные достоинства: он дает обстоятельное обозрение истории развития исторической науки, а также излагает приемы исторической критики и интерпретации, исторического построения и повествования. Не останавливаясь здесь на подробном разборе этого почтенного труда с массой библиографических указаний, я только замечу, что автор все же мало обосновывает свою теоретико-познавательную точку зрения и смешивает теоретические принципы с техническими правилами. По методологии источниковедения Бернгейм сообщает много ценного. При разборе вопроса о степени соответствия между «источниками» и «действительностью», например, автор не раз касается свойств самих источников, как «Geistesprodukten». Вслед за Дройзеном он пытается установить систему главнейших разновидностей источников, т. е. проводить различие между остатками культуры (все, что непосредственно осталось от происходившего и сохраняется) и преданием (все, что посредственно передается нам о происходившем). Впрочем, Бернгейм слишком мало интересуется основаниями такого деления и не применяет его принцип к систематике более конкретных групп исторического материала. Нельзя не заметить, что и дальнейшая система его изложения вызывает некоторые сомнения. Бернгейм помещает, например, интерпретацию источников в отдел исторического построения; но без понимания источника в сущности нельзя подвергать его надлежащей критике; излагая приемы последней в зависимости от разновидностей критикуемого материала, он довольно слабо развивает свою мысль и не вполне удовлетворяет компетентных судей. При изложении методологии исторического построения Бернгейму следовало бы выяснить методы построения исторического факта и исторической связи, применение статистики и психологии, а также социальных наук к истории, приемы построения эволюционных серий, периодизации и т. п.; но автор, в сущности, обходит такие вопросы молчанием, ограничиваясь изложением (кроме методов интерпретации; см. выше) учения о «комбинациях» фактов во времени и по месту или по материям, о репродукции и фантазии, и об «общих факторах» исторического процесса, а также учения об аксиологических (оценочных) суждениях и о «масштабах» в истории²⁷.

²⁷ *Bernheim E. Lehrbuch der historischen Methode*, 1 Aufl., 1889; 5–6-te Aufl., 1908; последнее издание, сравнительно с предшествующими и в особенности с пер-

Впрочем, кроме вышеуказанного общего руководства можно отметить еще труд известного историка «древности» Мейера и «введение» Ланглуа и Сеньобоса: Мейер преимущественно рассуждает о «принципах исторической науки», а Ланглуа и Сеньобос обратили главное свое внимание на методы исторического изучения.

Мейер придерживается индивидуализирующей точки зрения на историю: в противоположность обобщениям естествознания она занимается изучением «индивидуумов». Историк стремится установить действительно бывшие единичные факты, возникающие путем случайного скрещивания и совпадения во времени многих причинно-следственных рядов; столь же существенным «моментом» он признает и действие свободной целеполагающей воли человека; но и в случаях подобного рода он усматривает «каузальность», только проявляющуюся иным способом, чем в «законосообразных процессах» (S. 185); вместе с тем под историческим фактом он понимает «факт, действие которого не исчерпывается моментом его появления, но который продолжает действовать и в последующее время» (S. 186), т. е. судит о значении факта по его действительности. Далее Мейер рассуждает о неисторических и исторических прогрессирующих народах, о культурной и политической истории и о том значении, какое «индивидуальные факторы» имеют в культурной истории, а «общие факторы» — в политической (S. 195–196). Он также говорит о том целом (государстве и системе государств), которое изучается историком; об историческом методе, т. е. об объяснении, исходящем из данного следствия, восходящем к его причинам и принимающем форму заключения по аналогии; о значении «отрицательных событий» (того, что не случилось в данном месте и в данное время) для объяснения действительно случившегося; об исторической критике; об историческом изображении, долженствующем отличаться индивидуальными красками; об исторических источниках (памятниках, актах и преданиях) и т. п. Таким образом, в книге много ценных частных замечаний методологического характера, что уже видно из предшествующего обзора ее содержания; но есть и несколько недостатков. Мейер, например, не останавлива-

вым значительно переработано и дополнено. В кратком руководстве «*Einleitung in die Geschichtswissenschaft*», Lpz., 1905 (Sammlung Göschen) тот же автор дает сокращенное изложение главного своего труда, снабженное, впрочем, некоторыми дополнениями и предназначенное для начинающих; оно содержит главы о «сущности задачи исторической науки», об «области исторической науки» и о «методике исторической науки»; рус. пер. под ред. проф. С. Е. Сабина. М., 1908.

ется на обосновании своей теоретико-познавательной точки зрения и, довольно слабо установив ее, не развивает ее систематически; не входя в рассмотрение учения о ценности (cf. S. 186), он ограничивается общими и беглыми замечаниями о том, что историческими мы называем факты по их действительности, хотя сам же рассуждает о «внутренней ценности» фактов (см. s. 189, 191). Далее автор орудует понятиями о случае и о свободной воле, не установивши их (о разных значениях понятий «случай» и «свобода воли» см. ниже), а потому и его утверждение, что в таких «моментах» следует тоже усматривать «действие причинности», только проявляющееся «другим способом, чем в законосообразных процессах», остается невыясненным; на изучении понятия об историческом целом и методов его построения он также мало останавливается. Вообще отдел «элементов», озаглавленный «История и историческая наука», не обладает единством содержания: наряду, например, с довольно отрывочными рассуждениями о сущности истории, об историческом методе и об историческом повествовании, объединенными одной и той же познавательной точкой зрения, автор особо трактует о хронологии, главным образом, о различных способах летосчисления, об историографии и ее развитии и в особенности о некоторых исторических сочинениях, посвященных обозрению древней истории²⁸.

Некоторое увлечение теорией исторического знания, обнаружившееся в новейших трудах по методологии истории, успело уже вызвать противодействие со стороны Ланглуа и Сеньобоса. В своем кратком руководстве Ланглуа и Сеньобос дают понятие не столько о теории исторического знания, сколько о методах исторического изучения, а также о технике исторических работ; легко заметить, что авторы даже мало заботятся о том, чтобы обосновать принципы исторической методологии, и скорее преподают правила исторических исследований, впрочем, весьма полезные для всякого, в особенности для начинающего работника. Таким образом, с теоретической точки зрения, пособие Ланглуа и Сеньобоса мало удовлетворяет читателя; ав-

²⁸ Meyer E. Geschichte des Altertums, 2 Aufl., Bd. I, Erste Hälfte; Einleitung «Elemente der Anthropologie», Stuttgart u. Ber., 1907. В 1902 г. автор напечатал труд под заглавием «Zur Theorie und Methodik der Geschichte», Halle; но главное его содержание в «исправленном», хотя и более кратком виде вошло в «Элементы антропологии». В числе аналогичных трудов с более специальным содержанием можно еще указать на сочинения A. Grotenfeldt'a Die Wertschätzung in der Geschichte. Lpz., 1903; Geschichtliche Wertmasstäbe in der Geschichtsphilosophie bei Historikern und im Volksbewusstsein. Lpz., 1905.

торы высказывают пренебрежение к «метафизике» и, по-видимому, смешивают ее с теорией познания, а принципы и методы исторического знания — с техническими правилами; слишком мало выясняя место, занимаемое в системе наук историей и настаивая на случайности исторического знания, авторы высказывают довольно противоречивые положения относительно ее метода: они полагают, например, что «история не наука наблюдения» (р. 44), и вместе с тем ниже они утверждают, что история, подобно всякой науке, основанной на наблюдении, не имеет права, пользуясь единичным наблюдением, приходить к какому-либо научному заключению и что в лучшем случае «историческое утверждение не что иное, как наблюдение, довольно плохо сделанное и нуждающееся в подтверждении путем других наблюдений» (Р. 145, 167). В своем изложении методов исторического изучения Ланглуа и Сеньобос дают гораздо больше ценных замечаний; но и оно не свободно от возражений. Авторы разделяют свое произведение на две главные части: *opérations analytiques* (ср. методологию источниковедения) и *opérations synthétiques* (ср. методологию исторического построения). Такая терминология едва ли удачна: она подчеркивает не различие познавательных целей, а различие операций; но разные операции могут служить для достижения одной и той же цели: синтетические встречаются и в источниковедении (например, понятие о творчестве данного автора), аналитические — в историческом построении (например, анализ причинно-следственной связи). В своем курсе Ланглуа и Сеньобос не дают, однако, ясного понятия о том, что собственно нужно разуметь под источником; допуская колебания в своем взгляде на историю как «науку наблюдения», они упускают из виду весьма важный отдел источников — остатки культуры, а такой пробел приводит их к чрезмерному скепсису касательно достоверности источников (Р. 167). В дальнейшем своем построении авторы зачисляют интерпретацию источников в критику, придавая последней слишком широкое значение. Ланглуа и Сеньобос рассуждают также об исторических объяснениях (причинно-следственной связи), заключениях и обобщениях и об условиях, при соблюдении которых такие выводы могут получить достоверность; но они слишком мало обосновывают свое учение о группировке исторических фактов по разновидностям, о построении эволюционных серий и т. п. Тем не менее руководство Ланглуа и Сеньобоса может быть полезно начинающему работнику и пригодится всякому интересующемуся техникой исторических работ²⁹.

²⁹ *Langlois Ch.-V. et Seignobos Ch. Introduction aux études historiques*, 1-re éd., Par., 1898; 2-me éd., Par.: рус. пер. В. Денисова.

Впрочем, в настоящее время можно указать и на таких историков, которые пытаются комбинировать обобщающую точку зрения с индивидуализирующей; представители такого смешанного направления не всегда ясно различают вышеуказанные теоретико-познавательные цели, что приводит не столько к соединению, сколько к смешению их между собою.

В числе новейших историков, например, придерживающихся смешанного направления, Линднер занимает довольно видное место. В своем труде по «философии истории», не останавливаясь на логическом различии между обобщением и индивидуализированием, он рассуждает только о постоянстве и об изменении в истории, а также о «коллективных» и «индивидуальных» факторах исторического процесса; он полагает, что всякое становление (*Werden*) индивидуально, а историческое течение «коллективно». С указанной точки зрения автор рассуждает об историческом процессе, об исторических факторах (идеях, «массе», «великих людях») и характеризует важнейшие исторические группы («народы» и «нации»), из которых главное значение он приписывает монголам, семитам и индогерманцам; он высказывает также несколько соображений об условиях жизнедеятельности народов, о государстве, церкви и т. п. и об историческом развитии в совокупности его культурных, социальных и политических проявлений³⁰.

В русской литературе можно также отметить труд, автор которого Е. Н. Щепкин, кажется, стремится в некоторой мере примирить оба направления³¹. Автор пытается исходить из «теории познания, господствующей среди представителей критического эмпиризма» и придает употребляемым им терминам «тот смысл, который укрепился в литературе критического эмпиризма». Действительно, автор рассуждает о «коллективном опыте», о «функциональной зависимости» в смысле причинно-следственной, об «экономичном описании» явлений в смысле их объяснения и т. п. Вместе с тем, однако, автор находится под заметным влиянием Вундта, учение которого, разумеется, нельзя отождествлять с эмпириокритицизмом: соответствующий отдел в его учении о методах, по словам автора, все еще остается «лучшим» очерком логики истории. Тем не менее автора нельзя назвать и строгим последователем Вундта: «так как число причинных рядов, сходящихся для обоснования (*sic*) события, по его словам, может до-

³⁰ *Lindner Th. Geschichtsphilosophie, Einleitung zu einer Weltgeschichte seit der Völkerwanderung. Stuttgart, 1901.*

³¹ *Щепкин Е. Вопросы методологии истории. Одесса, 1905.*

ходить до бесконечности, то объекты истории и носят более или менее единичный, иногда не повторяющийся даже приблизительно характер. Только в этом смысле неповторяемости тождеств все явления могут быть названы случайными, хотя ни одно из них не разрывает нитей причинности». С такой же точки зрения, едва ли, впрочем, отличающейся определенностью (ср. выражения «может», «более или менее» и «все явления»), автор рассуждает и о личности. Вопреки Вундту он вообще как будто склоняется к отрицанию собственно исторических законов. Впрочем, в своей брошюре Е. Н. Щепкин останавливается лишь на двух вопросах, а именно: он выясняет, в чем состоит психологическое истолкование исторических фактов и значение идей в истории; в последней статье он рассуждает о «нравственных и этических идеях» с психологической точки зрения.

В числе представителей того же течения можно, наконец, указать и на Моно. Судя по его статье, озаглавленной «Метод в истории», он стремится в известной мере сочетать оба вышеуказанных направления — обобщающее с индивидуализирующим. Моно, например, пишет, что «история есть коллективная психология» (Р. 350); но в то же время он, подобно Мишелэ, признает «воскресение прошлого» наивысшей задачей историка и, под влиянием Ксенополя, рассуждает об истории, нисколько не отождествляя ее с науками обобщающими: она изучает факты последовательности и вместо формулировки законов группирует факты в серии и устанавливает между ними причинно-следственные отношения. С указанной точки зрения автор признает идеальной целью истории «реконструкцию в серии времен жизни человечества во всей ее совокупности». Впрочем, придерживаясь такой теоретико-познавательной точки зрения, Моно едва ли, однако, с должною определенностью и ясностью формулирует ее. Аналогичное колебание заметно и в других его рассуждениях: понимая под законом и «предварительную гипотезу, рассматриваемую как истинную, пока она кажется нам пригодной для объяснения всех известных нам явлений одного и того же порядка», автор как будто склоняется к мысли, что историк может достигать таких же обобщений; исторический факт, подобно всякому другому явлению природы, имеет свою причину в предшествующем факте; с такой точки зрения можно с гораздо большею надеждою на успех объяснять, комбинировать и обобщать факты, чем «воображая, что в свободной воле человека кроется автономная причина, в каждый данный момент способная видоизменить ход истории»; но несколько ниже автор поставляет историку в обязанность различать в человеческих действиях ту долю индивидуального творчества, которую

нельзя заранее предвидеть и определить. С такой же двойственной точки зрения Моно рассуждает и об объекте исторического знания: история изучает «постоянные элементы», передаваемые в человечестве путем наследственности, традиции, подражания и привычки и придающие непрерывность историческому процессу, и те «элементы изменения и обновления», которые человеческое творчество ежеминутно вносит в тот же процесс и которые «определяют собою эволюцию». В вышеприведенных довольно отрывочных замечаниях Моно не обосновывает предлагаемого им понимания истории и не разъясняет, каким образом можно примирить вышеуказанные направления в области исторического знания. В остальной части своего труда Моно дает несколько более обстоятельную характеристику анализа и синтеза в истории. Под «анализом» Моно rozumeeт «критику источников» и «критику фактов». В отделе, озаглавленном «Критика источников», он, не соблюдая единства в принципе деления, без достаточных оснований различает три главных вида источников, а именно: произведения (*ouvrages*, к которым он относит и летописи, и произведения литературы), «акты» и «памятники», и дает очень краткое понятие о критике подлинности и о критике достоверности источников. В отделе, посвященном изложению критики фактов, он обращает внимание, между прочим, на значение для нее понятий о степени согласованности изучаемого факта с остальными фактами данного периода. Под «синтезом» Моно rozumeeт «историческое построение и обобщение», оценку, психологическое истолкование и философию истории. «Построение» находится в тесной связи с оценкой фактов: она состоит в определении того значения, какое данный факт имеет в цепи причин и следствий. Далее. Психология играет видную роль в истории: ведь историк в сущности имеет дело с действиями людей, а действия людей — своего рода жесты, которыми историк интересуется лишь в той мере, в какой внутренняя жизнь обнаруживается через их посредство. Наконец, философия истории выясняет, главным образом, понятие о прогрессе, впрочем, в различных областях жизни весьма различным; такое понятие не может иметь значение закона и даже не всегда играет роль руководящего принципа: прогресс в области наук имеет совсем иной «характер», чем прогресс в области нравственности и искусства. Итак, можно сказать, что в своей статье Моно дает не столько теорию исторического знания, сколько краткое обозрение методов исторического изучения, благодаря чему и его общее обозрение последних страдает некоторой неясностью основных положений и отсутствием объединенной системы понятий; но оно может служить для предва-

рительного ознакомления в самых общих чертах с такими методами; изложение далеко не всегда отличается ясностью и точностью, что легко заметить из вышеприведенных рассуждений автора о задачах истории или о прогрессе и т. п.³²

Само собою разумеется, что вышеуказанные направления в области методологии истории отразились и во многих других произведениях философской и исторической литературы; они отчасти еще будут приняты во внимание при изучении генезиса номотетического и идеографического понимания истории, а также при изложении методов исторического изучения³³.

³² *Monod G.* La méthode en histoire; первоначально в «Revue politique et littéraire», 1908. Т. I. P. 449–455 и 486–493; вслед за тем без существенных изменений в сборнике «La méthode dans les sciences», изд. под ред. P. F. Thomas. Par., 1909. P. 319–362.

³³ В числе кратких общих руководств, кроме указанных выше, можно еще отметить *Ch. et V. Mortet.* La Science de l'histoire. Par., 1894 (отдельный оттиск из «La Grande Encyclopédie», т. XX); *Meister A.* Grundriss der Geschichtswissenschaft zur Einführung in das Studium der Deutschen Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Lpz., 1906 и след. *Bréhier L. et Desdevizes du Dezert.* Le travail historique. Par., 1907.

ЧАСТЬ I

ТЕОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

ГЛАВНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ТЕОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

С теоретико-познавательной точки зрения научное знание характеризуется его систематическим единством. Подобно нашему сознанию, отличающемуся единством, и наука должна быть объединенным знанием: в таком смысле всякое знание, претендующее на название науки, должно представлять единое целое нашего познания, приведенное на основании известных его принципов в систематический порядок. В самом деле, наука стремится соблюсти единство точки зрения, последовательно провести ее в области нашего знания, выдержать установленные благодаря ей основные положения в их последовательном раскрытии и т. п. Вместе с тем наука есть объединенная система понятий, охватывающих возможно больше данных нашего опыта; она пытается установить возможно меньшее число понятий, в каждое из которых укладывалось бы возможно большее число представлений о фактах. Такие же требования соответственно предъявляются и к отдельным наукам: и естествознание, и история одинаково стремятся выработать системы понятий, которые отличались бы единством и обнимали бы все объективно данное их содержание.

Достижение абсолютного единства всех данных нашего опыта сопряжено, однако, с величайшими затруднениями. Ведь если бы человеческому сознанию и удалось формулировать единый закон, по которому мир существует, нельзя было бы вывести из такого закона самый факт действительного его существования. Вместе с тем наука не может получить единство в явный ущерб полноте нашего знания: она должна удовлетворять наш интерес не только к общему, но и к индивидуальному; она должна выяснить значение для нас и общих понятий, и самой действительности.

При таких условиях наука не может объединить все данные нашего опыта и достигнуть единства в нашем знании одним и тем же путем: она объединяет его и с обобщающей точки зрения, образуя общие по-

нятия, под которые можно подводить частные, и с индивидуализирующей точки зрения, устанавливая понятие о едином целом и выясняя отношение к нему его частей. В самом деле, одну и ту же вещь можно изучать с двух различных точек зрения: или поскольку в ней есть нечто общее с другими вещами, или поскольку она представляется нам частью некоего целого и в таком смысле единственной в своем роде и индивидуальной. В первом случае мы изучаем вещь с номотетической точки зрения, во втором — с идеографической. Эта терминология, кажется, в достаточной мере выражает упомянутое выше противоположение¹. Слова «номотетическая точка зрения», очевидно, дают понять, что знание, построенное с такой точки зрения, стремится к законам и притом «полагает», т. е. строит их; слова «идеографическая точка зрения» указывают на то, что знание подобного рода интересуется индивидуальными фактами и состоит в их описании.

Место, отводимое в системе наук истории, будет различно, смотря по тому, какой из вышеназванных точек зрения придерживаться.

Мыслители, занимавшиеся систематикой наук с номотетической точки зрения, различали их по большей или меньшей степени их абстрактности (Конт, Спенсер) либо по характеру изучаемых ими процессов и предметов (Бентам, Ампер, Вундт); преимущественно с последней точки зрения они стали располагать науки в один ряд и делить их на науки о природе и науки о духе («*Naturwissenschaften*» и «*Geisteswissenschaften*»). Впрочем, вскоре пришли к заключению, что для построения наук о духе нужны еще добавочные принципы, которыми

¹ *Windelband W. Geschichte und Naturwissenschaft. Strassburg, 1900. S. 12.* Предлагая здесь эту терминологию, автор понимает вышеуказанные термины в несколько ином смысле, о чем см. ниже. Термин «номографический», которым предлагают заменить термин «номотетический», представляется мне еще менее удобным: νομογραφέω — «пишу, издаю законы»; да и во второй своей части он плохо выражает задачу обобщения и совпадает с термином «идеографический», где то же слово употребляется уже в другом смысле. Термин «номологический» также оказывается не совсем удобным: номология — в буквальном смысле: знание о законах (в смысле законодательства); тот же термин употребляется одним из современных мыслителей для обозначения особой «теоретической» науки, предмет которой — понятие о законе, не смешиваемое с понятием о типе и т. п.; она изучает «отношения зависимости, сами по себе взятые» и т. д. См.: *Naville A. Nouvelle classification des sciences. Par., 1901. P. 40–44.* Барт предлагает другую терминологию; см.: *Barth Th. Darstellende und begriffliche Geschichte // Vierteljahr. für Wis. Philosophie. Bd. XXIII. P. 352 и др.*: но она кажется мне менее удачной, чем терминология Виндельбанда.

естествознание не пользуется, но без которых нельзя установить понятие о явлениях духовного порядка: для их понимания приходится путем размышления догадываться о наличии особого рода факторов, действием которых такие явления и объясняются (Вундт); вместе с тем отличием их от явлений природы можно придавать разный смысл, в зависимости от того, принимать теорию взаимодействия души с телом или теорию психофизического параллелизма (Зигварт, Вундт и др.). Только что указанная схема деления наук на науки о природе и науки о духе получила особенно широкое применение и к построению истории; в числе наук о духе почетное место было отведено психологии: она была положена в основу всех остальных наук о духе, а следовательно, и социологии, и истории; в системах подобного рода, значит, социология и история, преследуя одни и те же общенаучные цели, т. е. построение общих понятий и законов, отличаются только объектом своего исследования.

В позднейшее время (особенно с конца 80-х гг.) многие под наукой стали разуметь научно-объединенное или обоснованное знание, хотя бы оно и не состояло из обобщений, т. е. знание, построенное или с номотетической, или с идеографической точки зрения. По теоретико-познавательным точкам зрения, целям познания, а не по познаваемым «предметам» или «процессам» познания стали различать науки обобщающие от наук индивидуализирующих. Таким образом получился двойной ряд наук: одни из них строятся с номотетической (натуралистической) точки зрения, характеризующей естествознание в широком смысле; другие — с точки зрения идеографической (чисто «исторической»), такова история в широком смысле, т. е. история природы и человечества (Навилль, Виндельбанд, Риккерт и др.).

Следует различать, конечно, вышеуказанные познавательные точки зрения, с которых что-либо изучается, от изучаемых объектов; но историки, и притом обоих лагерей, легко смешивают ту или другую принимаемую ими точку зрения на историю, например, с понятием о факторах исторического процесса. Историки-социологи часто рассуждают о методе «прежней», «индивидуалистической» исторической школы, представители которой преимущественно обращали внимание на единичное, на выдающиеся личности, и о методе новейшей «коллективистической» исторической школы, охотно характеризуя их различие не различием вышеуказанных точек зрения, а различной оценкой каждой школой «индивидуальных» и «коллективных» факторов истории (Лампрехт и др.). Историки, склоняющиеся к идеографической точке зрения, также иногда полагают, что спор между обоими лагерями идет, главным образом, об относительном значении

«индивидуальных и коллективных факторов в исторической жизни» (Гротенфельт и др.). В рассуждениях подобного рода гносеологическое построение смешивается с реалистическим.

В частности, смотря по тому, признавать «наукой» только одно научно-обобщенное знание или еще и такое, которое стремится к индивидуализированию, придется разное понимать соотношение между двумя науками, по предмету своего исследования (если не по точке зрения), во всяком случае, близкими друг к другу: я разумею социологию и историю. С точки зрения научно-обобщенного знания между социологией и историей не должно быть принципиального различия: обе стремятся к обобщению и разнятся только по ближайшим объектам исследования: социология обобщает преимущественно явления постоянно повторяющиеся, а история – явления развития; в таком случае легко свести социологию к социальной статике, а историю – к социальной динамике. С точки зрения научно-обоснованного знания, принимающего во внимание и наш интерес к индивидуальному, между социологией и историей нужно, напротив, признавать принципиальное различие. Социология стремится к построению общих понятий; история – напротив, к образованию понятий индивидуальных, например, понятия о едином целом, об отношении к нему частей, об историческом значении индивидуального и т. п.

Значит, и построение теории исторического знания может быть различным, смотря по тому, проводится оно с номотетической или с идеографической точки зрения; в нижеследующем изложении я и остановлюсь на рассмотрении каждого из этих типов построения научно-исторического знания в отдельности.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

ПОСТРОЕНИЕ ТЕОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ С НОМОТЕТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

В настоящем отделе, посвященном выяснению номотетического построения исторической науки, я остановлюсь и на изучении его генезиса, и на рассмотрении его оснований.

Обстоятельства, обусловившие появление данной теории, не могут, конечно, служить для ее обоснования; но изучая ее развитие, легче понять ее основания. Такое различение ближайших задач нашего исследования оправдывается еще тем, что номотетическая теория исторического знания до сих пор не получила своей окончательной фор-

мулировки: главнейшие ее представители обыкновенно переносят логические принципы «естествознания» в область исторической науки: они скорее пользуются готовыми понятиями, черпаемыми из «науки о природе», для научной обработки исторического материала, чем самостоятельно строят систему собственно исторических понятий. Естественно, что при таких условиях генезис номотетического построения исторического знания имеет существенное значение для понимания его оснований; тем не менее рассмотрение последних должно быть сделано особо, в систематическом порядке; благодаря ему легче будет подвергнуть их и критической оценке.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ГЛАВНЕЙШИЕ МОМЕНТЫ В РАЗВИТИИ НОМОТЕТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Номотетическое построение исторического знания имеет длинную историю: его зачатки можно было бы разыскать уже в литературе классической древности (например, у Полибия); я не стану, однако, следить за постепенным его развитием и коснусь в самых общих чертах лишь главнейших и наиболее характерных его моментов.

В числе таких моментов достаточно отметить следующие: номотетическое направление складывалось в зависимости от развития понятия о законосообразности исторических явлений; но последнее стали формулировать в психологическом смысле, что обусловлено было образованием особой отрасли науки — психологии; ее выводы получили существенное значение и для построения «исторических законов», и для дальнейшей разработки отдельных отраслей исторической науки в духе того же номотетического направления.

§1. Развитие понятия о законосообразности исторических явлений

Провидческая точка зрения, с которой мыслители прежнего времени смотрели на историю человечества, хотя и придавала ей некоторое единство и порядок, но сохраняла за ними трансцендентный характер и все же задерживала развитие чисто научного понятия о законосообразности исторических явлений. Правда, у представителей Возрождения, уже утративших цельность христианского мирозерцания, можно встретить взгляды, близко подходящие к современному социологическому пониманию исторического процесса: Макиавелли, например, писал, что «мир содержит одинаковую массу добра и зла», что одни и те же желания и страсти царствовали и царствуют при всякого

рода правлениях и у всех народов и что они порождают одинаковые результаты; знаменитый флорентийский политик уже готов был признать, что известные циклы развития могут быть сходными; он полагал, что тому, кто углубится в изучение прошлых событий, легко предсказывать и то, что будущее принесет каждому государству². Препрежнее мировоззрение, тем не менее, долгое время оставалось в силе: еще Боссюэт придерживался провидческой точки зрения в своей философии истории; лишь с начала XVIII в. можно заметить более решительный поворот в сторону научного понимания истории.

В числе представителей такого переходного времени нельзя не упомянуть о Вико: он исходил из положения, что Божественный разум — носитель той вечной идеи истории, которая раскрывается в действительности, и что Божественный промысел действует помимо согласия людей и вопреки их планам; но он же пытается комбинировать богословие с социологией и историей: новая наука, правда, подчеркивает особое призвание евреев, история которых не подводится под общие законы; она же занимается, однако, и изучением конкретно данной истории остальных народов. С последней точки зрения, уже отличающейся от провидческой, новая наука изучает «общую природу наций», одинаковую в разных местах и в разное время; она устанавливает аналогии между детством человека и детством человеческого рода, а также между дикими народами и начальными стадиями развития цивилизованных наций; она стремится выяснить некоторую законосообразность их историй. Ввиду сходства в природе народов, истории их, протекающие независимо друг от друга, должны быть также сходными: такое сходство обнаруживается в развитии их идей, языка и религии, нравственности, семейного строя и общественного быта. В своей истории народы проходят три стадии: «век богов», «век героев» и «век людей»; следовательно, можно усматривать сходство и в проходимых ими циклах развития. Египет, Греция и Рим одинаково прошли через цикл вышеупомянутых стадий. В позднейшее время, после падения Римской империи, народы снова оказались в состоянии, сходном с первоначальной стадией — «веком богов», а затем перешли в период «Средних веков», сходный с героическим веком Древней Греции, и в современный «век людей». Таким образом, можно сказать, что Вико во многих отношениях уже близок к тому социологическому пониманию истории, которое стремится установить ее законы. Впрочем, отмечая в общих чертах сходство в циклах развития, проходимых разными наро-

² *Macchiavelli N. Disc.*, т. I, с. 39; т. II, вступ.: т. III, с. 43.

дами, автор новой науки не утверждал, однако, их тождества, а значит, и безусловной их повторяемости во времени³.

Последующая эволюция того же понятия о законосообразности исторических явлений, главным образом, поскольку оно состояло в высвобождении историков от исключительного преобладания провидческой точки зрения, смешиваемой с научной, находилось в тесной связи с именами Вольтера и Монтескье.

Ввиду рационалистических и моральных соображений Вольтер признавал существование Бога; но он не допускал, подобно Вико, каких-либо исключений из мирового порядка: Высшее Существо правит миром через посредство общих законов и не может путем произвольного вмешательства, т. е. чудес, нарушать их течение. Мало склонный к метафизике, Вольтер пытался освободить человеческий разум и от традиционных понятий: он высоко ценил английский эмпиризм, противопоставлял относительное абсолютному и критическую точку зрения — догматической; он стремился без предвзятой системы изучать «природу» и уже до появления своего «опыта о нравах» склонялся к отрицанию свободы воли.

Таким образом, Вольтер несколько приближался к естественно-научному пониманию истории; отвергая развитие видов, он, с точки зрения своего релятивизма, все же приходил к понятию об исторической эволюции и о прогрессе, совершающемся, хотя и не без колебаний, в области науки и нравственности, а значит, и вообще в жизни человечества. В своем «Опыте» Вольтер действительно обозревает прогресс человеческого ума, зарождение и образование национальных нравов и развитие общества со времени Карла Великого до Людовика XIII. Со свойственным ему литературным талантом изображая «нравы и дух народов», Вольтер стремился дать очерк культурной истории человечества, выделив ее в особую отрасль научно-исторического ведения; при построении ее он из многообразия действительности выбирал такие факты, которые, по его мнению, имели значение для истории наций, т. е. затрагивали наибольшее число интересов и, следовательно, оказывались наиболее важными; с такой точки зрения он приписывал, однако, большое значение великим людям, особенно государям, и обращал внимание на мнения, обычаи, управле-

³ *Vico G. Principj di Scienza Nuova d'intorno alla comune natura delle nazioni*, 1725, особенно книги I, IV и V; 3-е изд. 1744. См.: *Croce B. Bibliographia Vichiana*. Napoli, 1904 и *Supplemento alla Bibliographia Vichiana*. Napoli, 1907; *Flint R. Vico*, Ed. and. Ld., 1884 и др.: о сходстве героического века Древней Греции с Средневековьем ср. *Meyer E. Geschichte des Alterthums*. Bd. II. Zweites Buch.

ние, финансы, науки, искусства и т. п. В теоретическом отношении построение Вольтера представляло, конечно, немало промахов: у него не было, например, ясного понимания исторического критерия выбора фактов, да и обобщения его не всегда удовлетворяли научным требованиям; но своим трудом он открыл целый ряд попыток построить историю человеческой культуры, разработкой которой, например, после него занимались Гердер и Геерен⁴.

Почти одновременно с «Опытом» Вольтера появился и «Дух законов»; его автор Монтескье, подобно Бодену, но с большею основательностью, попытался применить обобщающую точку зрения в области истории. Монтескье сам занимался изучением естественных наук и даже проводил специальные исследования по физике, ботанике и анатомии; благодаря им он освоился с естественнонаучным понятием «закона»: он полагал, что под законом в широком смысле следует разуметь необходимые отношения, проистекающие из естества вещей, и что в таком смысле и человек имеет свои законы; в своем сочинении он останавливался также на выяснении человеческих законов в узком смысле — в отношении их к климату и почве данной страны, ее населенности, нравам, обычаям населения и т. п. Монтескье, по словам его биографа, — гений обобщающий: в обобщении его величие и слабость. В своем «Духе законов» он желал, чтобы тот, кто читает, например, страницы, посвященные Англии или Версалю, говорил себе: «вот что случится всюду, где при таких же условиях будут поступать так же, как в Англии или Версале». Монтескье строил известные типы отношений и хотел, чтобы читатель мог подводить под них их разновидности; чтобы он (при чтении его книги) в сущности не знал, где происходило то, о чем идет речь, — в Афинах, Спарте или Риме, но только чтобы он чувствовал, что в случаях подобного рода он имеет дело с демократическим или республиканским строем; чтобы в других случаях, например, при изображении монархии, он узнавал знакомые ему черты испанского государственного строя наряду с чертами французского, но чтобы ему ни тот, ни другой конкретный случай не представлялся порознь во всей совокупности присущих каждому из них особенностей, а чтобы он усматривал в них лишь свойства, общие обоим. Таким образом, Монтескье стремится построить тип, общий республикам или монархиям, но не выводя его из идеала,

⁴ *Voltaire*. *Essai sur les moeurs et l'esprit des nations*; автор начал свой «Опыт» в 1740 г., но он вышел только в 1756 г.; ср. его же сочинения «*Le Siècle de Louis XIII*» и «*Le siècle de Louis XIV*»; *Sakmann P.* *Probleme der historischen Methode und Geschichtsphilosophie* *Voltaire* // *Hist. Zeit.* B. 98, 1906. S. 327–379 и др.

а отвлекая от действительности черты, общие тем республикам и монархиям, которые были известны ему⁵.

Понятие о законосообразности явлений общественной жизни, уже обратившее на себя внимание Монтескье, было одновременно высказано Юмом и получило дальнейшее развитие в талантливых очерках Тюрго и Кондорсэ, а также мало-помалу стало проникать и в немецкую литературу, например в сочинения Вегелина и других представителей немецкого просвещения; но они чаще занимались «философией истории», чем историей культуры.

Значительное развитие, какое точные науки, и в особенности естествознание, получили в конце XVIII—начале XIX веков (Лаплас, Гаусс, Вольт, Дэви, Бертолле, Биша, Кювье, Ламарк и др.), должно было, конечно, породить надежду найти такие же законосообразности и в явлениях психической (Кабанис) и общественной жизни: Конт, например, под обаянием открытий, сделанных в области естествознания, попытался установить начала «социальной физики»; его понятие о «развитии» и социологическое построение истории также оказало влияние на некоторых последующих социологов и историков.

Вместе с тем «социальная физика» получила возможность пользоваться и новым, статистическим методом: разработка цифровых данных о рождениях, браках, смертности людей и т. п. давала основание предполагать некоторое единообразие в явлениях общественной жизни. Зюсмилх впервые обратил внимание на тот «божественный» порядок, который обнаруживается в изменениях человеческого рода⁶. Тот самый «порядок», на который Зюсмилх указывал в своем сочинении, вскоре стали изучать и с чисто научной точки зрения, утвердившейся в области статистических исследований благодаря трудам Кетле по «социальной физике»⁷. Для того, чтобы судить о значении подобного рода исследований для развития номотетического построения исторического знания, достаточно припомнить, какое

⁵ *Montesquieu*. L'esprit des lois, 1748; см. изд. 1851, т. I и др.; *Sorel A.* Montesquieu. P. 86–87, 88; *Barckhausen H.* Montesquieu, l'Esprit des lois et les archives de la Brède. Par., 1904; *Его же.* Montesquieu, les idées et les oeuvres d'après les papiers de la Brède. Par., 1907.

⁶ *Süssmilch*. Göttliche Ordnung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts aus der Geburt, dem Tode und Fortpflanzung desselben erwiesen. Berlin, 1748; вслед за тем Зюсмилх переработал свой очерк в большое сочинение, вышедшее двумя изданиями в 1761 г.

⁷ *Quetelet A.* Sur l'homme et le développement de ses facultés ou Essai de physique sociale. V. 1–2. Par., 1835.

влияние они оказали, например, хотя бы на рассуждения Бокля о «законах истории».

Таким образом, провидчество постепенно утратило прежнее исключительное влияние на понимание истории и стало уступать свое место научному естествознанию: дальнейшая эволюция того же понятия о законосообразности исторических явлений, окончательно высвободившегося от провидчества, находилась в довольно близком отношении к развитию трех других понятий, а именно: понятию о естественной среде, о «естественной истории» человека как особого вида — *species homo* и «о культурной истории» человечества.

Понятие о естественной среде, в которой человеку приходится жить и действовать, конечно, давно уже обратило на себя внимание мыслителей и ученых: география, многим обязанная уже древнегреческим писателям, стала описывать природные условия человеческой жизнедеятельности; но после Страбона и Павсания прошло немало времени, прежде чем вслед за Себастианом Мюнстером, составившим «описание всех стран» (1544 г.), Варений начал заниматься изучением физической, а Клювер — исторической географии; знаменитые представители гёттингенской исторической школы Гаттерер и Шлецер установили тесную связь между географией и историей, а известный Риттер в начале прошлого века положил географию «в основу исторических наук» и попытался выяснить значение природы различных стран в их истории⁸. Такое «антропогеографическое» изучение постоянного действия природы на человека, ее влияния на расселение и поселение людей, на их жизнедеятельность и культуру вскрывало, конечно, некоторую законосообразность исторического развития и обнаруживало известную зависимость от географических условий даже изменчивых форм государственного устройства⁹.

Понятие о естественной среде человеческой жизнедеятельности находилось в тесной связи и с понятием о «естественной истории человеческого рода»: оно стало выясняться, главным образом, с антрополого-этнографической точки зрения и видоизменилось под влиянием эволюционной теории, которая утвердилась в естествознании с середины прошлого века и в таком виде оказала воздействие на понимание исторического процесса.

⁸ *Ritter K. Erdkunde im Verhältniss zur Natur und zur Geschichte des Menschen* и проч.; 19 B-de. Berl., 1882–1859.

⁹ *Ratzel F. Anthropogeographie*, 2 B-de. Lpz., 1882 (2-е изд. 1899) и 1891. *Ego же. Politische Geographie*, 1897.

В самом деле, уже Blumenbach, анатом и физиолог по специальности, интересовался «естественной историей человеческого рода», хотя еще и не употреблял термин «антропология». Анатом и физиолог Левелинг также стремился сделать антропологию доступной для студентов всех факультетов и вообще для каждого образованного человека; в 1799 г. он, например, читал лекции по антропологии¹⁰. В последующее время Брока и Топинар, Вайц, Ранке и др. немало сделали для ее разработки. Под антропологией первоначально разумели «естественную историю человеческого рода» (Blumenbach); но уже Кант поставил антропологию в связь с психологией, а Фихте (I. H. Fichte) в 1856 г. издал свою известную «антропологию», обнимавшую «учение о человеческой душе». Другие ученые стали связывать антропологию, поскольку она занимается изучением свойств человека (преимущественно физических), с этнографией¹¹. Несколько позднее лейпцигский профессор Шмидт под общим названием «антропологии» читал и о физической природе человека, и о его положении в природе, «всеобщую этнологию» и проч., а Тейлор включил в свою известную книгу («Anthropology») обзор всей первобытной культуры. Ввиду того что антропология вмещала столь разнообразные предметы, легко было переносить понятия, вырабатываемые естествознанием, в область социологии и истории; понятие о расе, например, получило с течением времени широкое применение в некоторых исторических построениях.

Антропология, выяснявшая понятие о естественной истории человеческого рода, развивалась, однако, в связи с разработкой этнографии. Антрополог Blumenbach уже пытался выяснить «природное разнообразие человеческого рода». Вслед за ним Притчард дал общее обозрение человеческого рода по племенам и народам с естественно-исторической точки зрения¹². Вскоре затем, по мысли Мильна Эд-

¹⁰ Blumenbach I. F. *Naturgeschichte des Menschengeschlechts*, 1777. — Возникшее в Париже в 1799 г. «общество наблюдателей над человеком» (*des observateurs de l'homme*) предполагало с сравнительно-антропологической точки зрения изучать физические, умственные и нравственные способности человека, а также местные особенности его типа; взаимодействие между душою и телом, и язык; психику глухонемых; жизнь дикарей, историю цивилизованных народов, их происхождение и переселение; мораль и законодательство и т. п.; но уже к 1805 г. общество закрылось: см. «*Rev. Scient.*». 1909. Oct. 23.

¹¹ Waitz Th. *Anthropologie der Naturvölker*, 6 B-de. Lpz., 1859–1872.

¹² Blumenbach I. F. *De generis humani varietate nativa*, 3 ed. Gottingae, 1795; Pritchard C. *Natural history of man*. Ld., 1813.

варса (1829), в Париже возникло этнологическое общество, начавшее действовать с 1839 г. Вместе с тем этнография, первоначально смешиваемая с антропологией, стала постепенно обособляться от нее: антропология изучала человека в качестве зоологического вида (*species homo*), по природе своей отличающегося известными физическими и психическими свойствами, а этнография приступила к изучению человека, поскольку он принадлежит определенному обществу, объединенному происхождением и общим языком, а также подчиненному общим обычаям. Сравнительная этнография обнаружила, что в жизни самых разнообразных народностей можно встретить много сходных проявлений¹³.

Антропология уже давала понятие о естественноисторическом виде *homo*; но все же и антропология, и этнография до середины прошлого века слишком мало останавливались на понятии о его происхождении и о его развитии; последнее получило надлежащее биологическое обоснование лишь после того, как Дарвин (одновременно с Уоллэсом) представил в Линнеевское общество свой знаменитый мемуар о естественном подборе (1858 г.); вслед за тем он систематически развил учение о факторах эволюции, об изменяемости видов, борьбе за существование и естественном отборе, а также о наследственности приобретенных свойств; благодаря таким факторам виды постепенно развиваются и приспособляются к внешней среде. Новое учение давало основание рассуждать с эволюционной точки зрения и о «естественной истории человека», его жизни в обществе, его учреждениях и т. п.; наряду с «естественной историей человеческого рода» стали изучать «эволюцию человеческих обществ». С такой точки зрения, Спенсер, например, и воздвиг свои «Основания социологии»: широко пользуясь и этнографическим материалом, и выводами этнографии, он, подобно Конту, пытался с социологической точки зрения обобщать и историю; он объяснял исторический процесс при помощи своего известного «закона эволюции», изучал развитие учреждений и, подобно Боклю, указывал на смену «воинственного типа» общества «индустриальным типом»¹⁴.

Развитие понятий о «естественной истории человеческого рода» и об эволюции человеческих обществ вызвало в историках, интере-

¹³ Müller F. Allgemeine Ethnographie. Wien, 1873. S. 1; ср. Andree R. Ethnographische Parallelen, 1878. Neue Folge 1889; Ratzel F. Völkerkunde, 3 B-de, 1885–1886 и др.

¹⁴ Spencer H. Principles of Sociology, 1876–1882; впрочем, автор «Оснований психологии», конечно, принимал во внимание и ее выводы, а также пользовался историей культуры при построении социологии.

совавшихся ими, надежду достигнуть соответствующих обобщений и в истории; они стали заниматься ими преимущественно в области истории культуры¹⁵.

Термин «культура» появился в Германии приблизительно в середине XVIII в. и был поставлен в довольно тесную связь с понятием «просвещение»; вышеуказанное развитие наук, близко соприкасавшихся с историей, конечно, оказало влияние на разработку истории культуры; в то время некоторые ученые, например Мёзер (Möser), начали так же интересоваться изучением народа, что и историки культуры позднейшего времени продолжали считать одной из главных своих задач, а Гердер приступил к изложению своей философии истории с культурно-исторической точки зрения. В самом деле, в связи с философией истории Гердер в сущности занимался и историей культуры. В своем известном сочинении он обратил внимание на то, что нации изменяются в зависимости от места и времени, а также от их «внутреннего характера»; он даже полагал, что «главный закон исторических явлений» состоит в следующем обобщении: «всюду на земле происходит то, что может на ней произойти, в зависимости частью от условий местоположения, частью от обстоятельств и случайностей времени, частью от прирожденного или благоприобретенного характера народов; последний складывается под влиянием весьма разнообразных факторов — и «климата», и образа жизни, и воспитания и первоначальных условий и обычных занятий населения; помимо географических условий и политические обстоя-

¹⁵ *Schaumkell E.* Geschichte der deutschen Kulturgeschichte von der Mitte des XVIII. J. bis zur Romantik im Zusammenhang mit der allgemeinen geistigen Entwicklung. Lpz., 1905; автор находится под влиянием Лампрехта; *Jodl F.* Die Kulturgeschichte, ihre Entwicklung und ihr Problem. Halle, 1878. В своей книге Иодль делает краткий общий очерк важнейших попыток построения истории человеческой культуры не с философской, а с научно-исторической точки зрения; автор широко понимает слово «культура», включая в нее и духовную, и материальную, и социально-политическую жизнь; но в своем обозрении он принимает во внимание лишь наиболее общие труды и общие устанавливаемые в них положения. В его обозрении можно указать и на пробелы, иногда довольно существенные; например, автор не останавливается на характеристике известного сочинения Буркгардта (*Burckhardt J.* Die Kultur der Renaissance in Italien; 3-е изд. ее вышло в 1878 г.); кроме того, теперь это обозрение, конечно, несколько устарело; автор, например, не мог еще принять во внимание историю культуры Липперта, не говоря о позднейших популярных трудах Группе, Шурца, Швейгера-Лерхенфельда и др.

тельства действуют на сложный ход истории человечества. Таким образом, в своей философии истории Гердер уже попытался формулировать «законы» исторических явлений и с вышеуказанной точки зрения приближался к научному пониманию исторического развития человечества. Почти в то же время Геерен пытался связать географию и этнографию с историей и приступил к научной разработке истории культуры¹⁶.

Помимо общего развития научного духа, проникавшего также в область исторических изысканий, выделение истории культуры в качестве самостоятельной отрасли исторической науки совершилось и под влиянием других причин: частью благодаря романтизму, а также усилившемуся интересу к народности и народным массам, частью в связи с появлением специальных отраслей культурной истории, вроде, например, исторического языкознания и истории права.

Историко-лингвистические исследования уже проводились Аделунгом (1806–1816); он пытался путем сравнительного изучения языков выяснить родство племен индоевропейских, их общую родину, расселение и т. п. Такие исследования получили твердое научное обоснование благодаря трудам Боппа, главным образом, его сравнительной грамматике (1833–1835 гг.). Вместе с тем Раск и Гримм (J. Grimm) установили известный «закон» перегласовки в германских наречиях и, следовательно, обнаружили такую законосообразность в истории языка, об открытии которой еще не мечтали в истории других отраслей культуры.

Почти одновременно с трудами по лингвистической палеонтологии возникла и историческая школа правоведения, также способствовавшая утверждению понятия о законосообразном развитии общественной жизни. С точки зрения представителей исторической школы, обычное право, ранее находившееся в пренебрежении, получило существенное значение; оно связывалось с понятием о массовой привычке, т. е. вело к понятию о повторяемости одних и тех же правоотношений; выводя к тому же право из народного духа, историки-юристы того времени стремились усмотреть закономерность в его развитии. Действительно, уже Гуго и его преемники любили сравни-

¹⁶ *Herders's Sämmtliche Werke*, herausgegeben v. Suphan; *Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit*, см. т. XII (1887); новейшее критическое издание Th. Matthias'a Lpz. u. Wien. Гердер оказал влияние и на французскую мысль: Де Жерандо (De Gerando) распространял его «Идеи» во Франции, а позднее Кинэ занялся их переводом. *Heeren A. Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt*, 1793 и др.

вать язык с правом, а Савиньи и его последователи стремились выявить закономерное развитие права¹⁷.

Самый термин «Kulturgeschichte», уже известный Клемму в широком смысле слова, окончательно вошел в употребление в немецкой литературе благодаря Друманну и Ваксмуту¹⁸; но термин «история культуры» понимался ими не одинаково.

Клемм, отличая философию истории от истории культуры, стремился, например, при построении ее соединить этнографическую точку зрения с историко-культурной¹⁹. Этнографическая точка зрения Клемма ярко видна уже в самом плане всего сочинения; в нем он придерживается такой системы изложения, которую с чисто исторической точки зрения нельзя признать удачной: много места уделяя изображению (преимущественно внешнего) быта первобытных народов, он затем дает представление о «культурных государствах» Америки, Египта, Китая, Японии и остальных культурных народов Востока и только в последних двух томах своего сочинения знакомит читателя с «языческой Европой» и с «христианским западом и востоком Европы». Аналогичная этнографическо-историческая точка зрения в наше время была положена Гельмольтом в основу редактируемой им «всемирной истории» человечества²⁰.

Влияние этнографической и историко-юридической школы сказалось и на трудах Ваксмута. В своих сочинениях по истории культуры Ваксмут обозревает ее по народностям и племенам и настаивает на тесной связи между историей народа и историей государства; он полагает, что без народности, национального духа государство лишено содержания — это пустая форма; он обращает особое внимание на государственное устройство, право и законодательство, а также на отношение народа к государству, т. е. на развитие права, и в нем видит влияние духа народного²¹.

¹⁷ *Hugo G. Lehrbuch des Naturrechts als einer Philosophie des positiven Rechts*, 1809 и др.; *Savigny F. K. v. Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Heidelberg, 1814; *System des heutigen Römischen Rechts*. В. I, 1840 и др.

¹⁸ *Drumann W. Grundriss der Culturgeschichte*, 1847; *Wachsmuth W. Allgemeine Culturgeschichte*, 3 B-de, 1850–1852.

¹⁹ *Klemm G. Allgemeine Geschichte der Menschheit*. 1–10 B-de, 1843–1852.

²⁰ *Helmolt H. F. Weltgeschichte*. Lpz.; первый том этого сочинения вышел в 1899, а девятый — в 1907 г.

²¹ *Wachsmuth W. Europäische Sittengeschichte vom Ursprunge volksthümlicher Gestaltungen bis auf unsere Zeit*, 6 B-de, 1831–1839 и *Allgemeine Culturgeschichte*, 3 B-de, 1850–1852.

С только что указанной точки зрения можно было придти к заключению, что история народа – главнейшая часть всякой истории; заключение подобного рода действительно было высказано Кольбом в его известной истории человечества и особенно развито Рилем. Хорошо знакомый с современным ему народным бытом, Риль задался целью построить «естественную историю народа» и изучить во всей полноте и разнообразии его культуры; он в особенности стремился понять жизнь низших слоев общества, жизнь крестьянскую и мещанскую, образующую как бы «подпочву нашей культуры»²². Таким образом, включая «историю народа» в историю культуры, Риль и его единомышленники еще более расширяли область исторических наблюдений и находили в ней материал, легче поддающийся обобщению, чем факты «внешней истории».

Вместе с тем объект истории культуры получил несколько более широкое значение: заменяя немецкий термин своим собственным, французская, а отчасти и английская литературы стали связывать понятие «цивилизация» с понятиями об известной степени развития «просвещения» и социального строя. Уже Сен-Симон рассуждал о социальном развитии, а Гизо построил свою «историю цивилизации» даже преимущественно с социально-исторической точки зрения. Цивилизация, по мнению Гизо, есть развитие социальных отношений, социальной деятельности в связи с развитием человека, его души, его внутренней жизни, его индивидуальной деятельности; но сам Гизо изучал преимущественно лишь прогрессивное развитие общества. Впрочем, Ру-Ферран, один из ближайших преемников Гизо, включил в свой обзор и другие проявления культурной жизни народов²³. Историки, занимавшиеся изучением развития цивилизации, также находили в ней материал для обобщений. Тьерри уже называл такие исторические труды чистою абстракцией фактов, что отчасти оправдалось на примере некоторых представителей разбираемого направления.

В связи с развитием общей истории культуры находилось и развитие отдельных ее отраслей, наступившее главным образом с середины прошлого века. На подробном рассмотрении каждой из них я, однако,

²² *Kolb G. E. Geschichte der Menschheit und der Kultur als Supplement zu allen Werken über Weltgeschichte*, 1843: новое значительно дополненное и отчасти измененное издание вышло в 1864–1870 гг.; *Riehl W. Naturgeschichte des deutschen Volks*, 4 B-de: с 1853 г.

²³ *Guizot F. Histoire de la civilisation en Europe*, 1828–1830; *Roux-Ferrand H. Histoire des progrès de la civilisation en Europe depuis l'ère chrétienne jusqu'au XIX sc.*, 1-е изд. 1833–1841, 2-е – 1847.

не могу останавливаться здесь и приведу лишь несколько примеров для того, чтобы показать, что и в разработке таких отраслей обобщение стало играть существенную роль.

С того времени, например, когда Буше де Перт стал проводить свои раскопки (1836–1841 гг.) в долине р. Соммы²⁴, а Ляйэлль вслед за тем представил геологические доказательства в пользу древности человека (1863 г.), между геологией и историей стали включать доисторическую археологию. Новой науке вскоре удалось обнаружить значительное однообразие форм подделок из камня, отчасти из бронзы и железа в разных местностях и у разных племен, а также некоторое однообразие в смене одного рода материала, подвергавшегося обработке, другим; впрочем, преждевременное обобщение делений, добытых французскими археологами, вело к распространению их на другие страны, что лишь в позднейшее время стало вызывать справедливую критику.

То же однообразие можно было наблюдать и в области истории духовной, и в области истории экономической культуры. Уже братья Гриммы полагали, что при одинаковых условиях результаты творчества должны быть одинаковы, и ссылались на единообразие человеческой психики для того, чтобы объяснить сходство некоторых сказаний, возникших независимо друг от друга у разных народов²⁵. Тэйлор, а в новейшее время Лэнг, Фрэзер и многие другие продолжают развивать ту же точку зрения²⁶. Изучение экономической истории также приводило к аналогичным выводам, но в другой сфере явлений, о чем уже отчасти свидетельствует известное сочинение Бека (Voeckh) о народном и государственном хозяйстве афинян, основанное на внимательном изучении частных случаев (1817 г.). Позднейшие работы в той же области возникали, частью пользуясь выводами исторической школы политической экономии (Рошер, Книс, Роджерс и др.), частью под влиянием экономического материализма (Маркс, Энгельс и др.). В противоположность идеологам немецкой исторической школы экономисты пытались строго провести обобщающую точку зрения; опираясь на принцип причинно-следственности, Маркс (его коммуни-

²⁴ *Perthes J. Boucher de. Antiquités celtiques et antédiluviennes* 3 vv. Abbeville, 1847–1865. De l'homme antédiluvien et de ses oeuvres. Par., 1860.

²⁵ *Grimm Gebr. Kinder und Hausmärchen* (1819), 3 Aufl., Göttingen, Bd. III, 1856. S. 405–406.

²⁶ *Tylor E. Primitive Culture*, 2 ed. (есть рус. пер.); *Lang A. Mythes, Cultes et Religions*, trad, Marillier. Par., 1896 и др.; *Frazer J. G. The Golden bough, a study in magic and religion*, 2 ed., 3 vol., Lond., 1900 и др.

стический манифест вышел в 1848 г.), а за ним и Энгельс попытались формулировать законы связи между экономическим процессом и другими социальными явлениями в их историческом развитии. В таком методологическом смысле рассуждения Маркса о том, что способы производства обуславливают социальную жизнь, а также материальную, духовную и политическую, или установленное Марксом соответствие между производительными силами, экономической структурой и «надстройкой ее» — политико-правовой ее организацией оказали существенное влияние и на номотетическое понимание исторического процесса. «Экономический материализм» послужил основанием для целого ряда номотетических построений в области истории: Каутский и Лориа (не говоря о многих других) развивали основоположения Маркса в своих работах по теории исторического процесса и в исторических монографиях. С точки зрения принятой им теории Лориа, например, старался формулировать «законы социальной эволюции», «закон» роста населения, «параллельные законы» развития собственности и труда и т. п. Лампрехт первоначально также исходил из аналогичного понимания истории, но в позднейшее время изменил свою точку зрения²⁷.

Кроме вышеуказанных областей истории культуры, многие другие обращали на себя внимание исследователей, стремившихся к обобщению исторического материала. Не перечисляя их здесь, я отмечу еще лишь историю учреждений, разработанную Мэном и Стеббсом, Вайцем и Гнейстом, а также, не говоря о многих других, Фюстель де Куланжем. Мнение последнего довольно характерно: история, по его словам, не есть накопление известий о всякого рода событиях, происходивших в прошлой жизни человечества; она есть наука о человеческих обществах; задача ее состоит в том, чтобы познать, как эти общества образовались. История разыскивает, какие силы управляли ими, т. е. какие именно силы сплотили каждое из них и придали ему единство; она изучает жизненные органы общества, т. е. его право, его хозяйство, его умственные и материальные привычки, все его мировоззрение. Каждое из таких обществ было живым существом; историк должен описывать его жизнь. С некоторого времени придумали слово «социология»; слово «история» имело тот же смысл и говорило то же,

²⁷ *Woltmann L.* Der historische Materialismus, 1900; *Massaryk Th.* Die philosophischen und sociologischen Grundlagen des Marxismus, 1899; дальнейшие указания на литературу см. в последнем труде, имеющемся и в русском переводе. *Кафеев Н.* Старые и новые этюды об экономическом материализме. СПб., 1896; Ср. *Hammacher E.* Das System des Marxismus. Lpz., 1909.

по крайней мере для тех, которые его понимали правильно. История есть наука о социальных фактах, она и есть сама «социология»²⁸.

Таким образом, историки, изучавшие историю культуры вообще или развитие важнейших ее отраслей, находили здесь материал, поддававшийся некоторым обобщениям.

В самом деле, прежде всего можно заметить, что ученые, занимавшиеся сравнительным изучением не крупных событий, а мелких проявлений культурной жизни, например «домашнего быта», приближались к своего рода историческому атомизму: вместе с тем они имели дело с фактами, повторяющимися в известных пределах пространства и времени; будучи обыденными, последние оказываются и массовыми, что дает возможность прилагать к ним обобщающую точку зрения. В одном из своих трудов (*Sittengeschichte*) Вакмут, например, при обозрении средневековой культуры изучает ее проявления, общие многим европейским народностям (рыцарство), и интересуется не только тем, что придавало ей единство или в чем оно выражалось, но и теми состояниями, которые повторялись в данных пределах времени и пространства (*gemeinsame Zustände*).

Историки культуры также стараются группировать факты с точки зрения сходства (а не различия) между ними и, например, в пределах данного периода, изучают явления, лишь общие людям того времени. Такая точка зрения уже обнаружилась в довольно ранних попытках историков культуры систематизировать изучаемый ими материал. Друманн, например, систематически расчленяет проявления культуры на группы; то же в начале 50-х годов можно заметить и у Вакмута (*Allgemeine Culturgeschichte*); последний принимает следующую группировку:

- a) религия, культ, церковь, нравственность;
- b) государственное устройство, право, военное дело, политика;
- c) материальная культура;
- d) искусство, наука и преподавание.

Такая же тенденция наблюдается и у позднейших историков; но она, разумеется, тоньше проводится: Буркгардт, например, изучает не столько генезис, сколько результаты Возрождения, проектированные на одну плоскость; он определяет господствующие в нем культурные течения и, расчленив их, получает известное число категорий, под которые он соответственно и подводит даже деятельность самых видных представителей Возрождения; впрочем, в данном слу-

²⁸ *Coulanges Fustel de*. Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. L'alleu et le domaine rural. Par., 1889. P. IV.

чае прием подобного рода, по мнению одного из позднейших представителей того же направления, оправдывается тем, что ни один из деятелей того времени не был настолько велик, чтобы повлиять своей личностью на всю совокупность развития культуры²⁹. Вышеуказанное стремление к обобщению вскоре обнаружилось и в попытках конструировать однородные серии исторических явлений. Иодль, например, рассуждая о методе, которого история культуры должна придерживаться, замечает, что при пользовании им дело сводится к тому, чтобы систематически выбрать из многочисленных «временно и пространственно разьединенных рядов развития» «однородное» и в целях «непосредственного сравнения» устранить всякое отношение и связь его с другими чужеродными, хотя бы и соприкасающимися с ними элементами. Современные представители истории культуры стремятся располагать ее проявления по однородным сериям развития. Мюллер-Лиер различает, например, историю развития «материальных средств» и работы; историю развития брака, семьи и т. п.; историю развития социальной жизни; историю духовного развития человечества: языка, знания и верований, нравственности, права и искусства³⁰.

В числе требований, предъявляемых истории культуры, ученые Нового времени ставят и обнаружение типического. Буркгардт изучал, например, тип итальянца времени Возрождения; Фрейтаг изображал немецкие типы прошлого времени и умел оттенять типическое, заключающееся в единичном случае. Риль также в сущности довольствовался построением типа немецкой культуры данного времени. Вообще изучение каждой области, отдела культуры, по словам Иодля, например, должно завершаться установлением обнаружившихся в ней типов. Аналогичные взгляды можно встретить и у новейших ученых. Шнюрер еще недавно заметил, что история культуры есть наука об изменениях в типической деятельности. Готейн в сущности придерживается той же точки зрения, когда говорит, что история культуры большею частью имеет дело с массовыми явлениями и что если среди таких однородных явлений исследователю удастся

²⁹ *Burckhardt J. Die Kultur der Renaissance in Italien*, 8-te Aufl., 1901. Автор устанавливает следующие группы: государство как произведение искусства (тирания и республика и их разновидности); развитие индивидуума; возрождение интереса к древности; открытие мира и человека; общественность и праздники; нравы и религия.

³⁰ *Müller-Lyer Fr. Entwicklungsstufen der Menschheit*: первая часть под заглавием «Phasen der Kultur». München, 1908. S. 39–44.

разыскать один типичный случай, то он один имеет значение для всех. Наконец, и Лампрехт высказывается в таком же духе³¹.

Стремление изучать «типическое» находилось в связи и с отысканием законов истории; уже Риль, например, полагал, что история культуры должна будет «обосновать законы, по которым она зарождается, цветет, зреет и умирает». Почти одновременно, хотя и независимо от него Бокль сделал попытку подобного рода в своем введении в историю цивилизации Англии³². Всякая наука, рассуждает он, стремится к обобщению конкретных фактов и к установлению законов образования вещей и бытия; история путем приложения сравнительного изучения и статистического метода также должна стремиться к обобщению. Действия людей обуславливаются лишь тем, что им предшествует; значит, при тождественных условиях они должны носить отпечаток однообразия и давать тождественные результаты. В частности, действия людей обусловлены, с одной стороны, внешними условиями, т. е. «природой», действующей на дух; с другой же стороны, воздействием его на природу; тем или иным соотношением этих факторов (реальным значением их в данном месте и в данное время) определяется и степень культурного развития. При изучении всемирной истории легко заметить, однако, «вне Европы — подчинение человека природе» и, напротив, преобладающее «подчинение природы человеку» «в Европе»; можно даже сказать, что в ее истории такое воздействие постоянно усиливается; но «быстрое движение вперед» замечается относительно «истин умственных», а не «нравственных», остающихся в «неподвижном состоянии»; значит, научное построение истории сводится к открытию законов человеческого духа — в сущности, человеческого интеллекта, ибо прогресс человечества зависит от успеха, с которым законы явлений (природы) исследуются, и от той степени, в какой знание их свободно распространяется в обществе. Таким образом, история культуры в лице Бокля уже признала необходимость установить «законы человеческого духа», что, казалось, можно было осуществить лишь после превращения интуитивно-психологической точки зрения в научно-психологическую.

После Бокля хотя и были попытки построить «законы» в области истории культуры в материалистическом смысле, но они оказались несостоятельными и только лишней раз показали, что без психоло-

³¹ *Gothein E.* Die Aufgaben der Kulturgeschichte. Lpz., 1889. S. 16.

³² *Buckle Th. H.* Introduction to the History of civilisation in England. Vol. I, 1857; V. II, 1861: рус. пер. А. Буйницкого и Ф. Ненарокова, изд. 2. С. 21, 22, 171, 202–204, 253, 254.

гии история культуры не может привести к обобщениям. Под сильным влиянием материализма и трансформизма Гельвальд, например, составил свою «историю культуры»³³: он держится того мнения, что одна и та же законосообразность обнаруживается и в природе, и в истории; «всякий культурный процесс есть только процесс природы»: борьба за существование лежит в основе истории, и даже идеалы человечества служат для нее лишь средствами или орудиями. Во всяком естественном процессе, а значит, и в историческом, можно усмотреть необходимую последовательность отдельных фазисов, не зависящую от воли человека; такая естественная механическая необходимость не только объясняется, но, поскольку она — необходимость, признается и должной; следовательно, сущее и должное, по мнению Гельвальда, одно и то же; объяснение сущего равносильно его оправданию. Подобно органической теории в социологии, такое направление нельзя было, однако, последовательно провести в истории. Действительно, вопреки своему «материализму» Гельвальд постоянно и при объяснении, и при изображении культурного развития человечества пользуется «духовными» факторами; вопреки отрицанию всякой телеологии он вносит ее в собственное построение. Таким образом, история культуры Гельвальда обнаруживает всю слабость теории, отрицающей психологические предпосылки истории, поскольку она признается наукой обобщающей.

Последующие теоретики истории культуры уже вполне определенно выставляли необходимость связать ее — в качестве науки обобщающей — с психологией. В числе задач, к разрешению которых история культуры должна стремиться, Иодль, например, указывает на открытие и объяснение всеобщих законов, обуславливающих общий ход ее; но работы в таком направлении стали давать плодотворные результаты лишь по мере того, как психологические законы, определяющие жизнь человечества, становились яснее; и если можно было бы рассчитывать на открытие законов исторического развития в общих его чертах, то все же чисто историческая обработка данного материала не была бы в состоянии (сама по себе) разрешить такую проблему: она нуждается в более глубоком психологическом основании; значит, лишь благодаря ему и история культуры могла бы надеяться на установление каких-либо законов исторического процесса³⁴.

³³ *Hellwald Fr. v. Die Kulturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung*, 1875; 3-те Aufl., 1883.

³⁴ *Jodl F. Die Culturgeschichtsschreibung etc.*, § 108, 110, 121.

§ 2. Развитие понятия о законообразности исторических явлений
в психологическом смысле

С того времени, когда психология начала складываться в особую науку, ученые – приверженцы номотетического построения исторического знания все чаще стали прибегать к ней для того, чтобы обосновать свои научные обобщения и в области истории; лишь таким путем, казалось, можно было придать им характер законов; следовательно, дальнейшее развитие изучаемого нами направления должно было пасть в зависимость от развития психологических знаний; с их помощью историки пытались превратить историю в обобщающую науку.

Уже среди писателей классической древности можно было указать и на таких, которые с метафизической или с эмпирической точки зрения рассуждали о явлениях душевной жизни или же пытались совместить оба направления (Платон, Аристотель, Плотин и др.); обозрение длинного пути, по которому прошла психология, прежде чем она стала заметно влиять на историю, однако, завлекло бы нас слишком далеко: ведь такое влияние начало явно обнаруживаться лишь в течение XIX столетия. С 1820-х годов Герbart и Милль (James Mill) много содействовали ее развитию. Герbart, правда, ставил психологию в зависимость от метафизики; но он полагал, что метафизика есть наука о «понятности опыта»; он также учил о равновесии и движении представлений, что давало ему возможность бороться против старой теории «о способностях души», и стремился выяснить закономерность явлений душевной жизни. Вскоре после появления «психологии» Гербарта психологическая литература обогатилась известным трудом Милля: вслед за Гэртли и Юмом он содействовал развитию учения об ассоциации идей и устанавливал законы ассоциации между чувствованиями и идеями.

Новый период в развитии общей психологии можно начинать со времени выхода в свет капитальных трудов Фехнера и Лотце (1851 и 1852 гг.). С того времени ученые стали проводить различие между метафизикой и (эмпирической) психологией; они приступили к разработке более точных методов психологического изучения, проверяли самонаблюдение экспериментом и прибегали к самоанализу; настаивая на непрерывности «потока мышления», они вырабатывали учение о единстве сознания, о чувствованиях, о воле, о мотивации и проч. (ср. ниже); вместе с тем они начали обращать внимание на сложные явления душевной жизни, возникающие или развивающиеся в сознании индивидуума в зависимости от социального общения и характеризующиеся таким общением, а также указывали на значение психологии для социальных наук (Бенеке и др., Вундт).

К середине 1850-х годов можно отнести и образование особой отрасли психологии, которую я назову эволюционной. В своих известных «Основаниях психологии», появившихся в 1855 г., Спенсер систематически применил учение об эволюции к исследованию явлений душевной жизни; впрочем, и он еще обращал слишком мало внимания на развитие эмоций и волевых процессов. Специальная обработка эволюционной психологии продолжалась в разных областях: Вундт изучал, например, психологию животных; Прейер – психологию ребенка; Тэйлор – психологию дикаря.

С иной точки зрения Дильтей уже в наше время попытался наметить задачи особого рода психологии, занимающейся описанием и анализом душевной жизни «развитого человека» (ср. еще ниже).

В начале того же нового периода в истории психологии следует отметить появление новой дисциплины, которую можно назвать социальной психологией; впрочем, она возникла в виде особых разновидностей, получивших свои особые названия – этологии, народной психологии и коллективной психологии; они имели большое значение для попыток обосновать теорию исторического знания с номотетической точки зрения.

Основателем «этологии» можно признать автора до сих пор известной логики Милля (J. St. Mill).

Милль во многих отношениях близок к Конту и его позитивизму: признавая, что все явления без исключения управляются неизменными законами, он желает перенести методы естественных наук в том виде, в каком они употребляются в естествознании, в науки социальные, в том числе в историю; тем не менее сам Милль много способствовал введению психологии в оборот социальных наук и истории.

«Конт, по его словам, не сделал ровно ничего для установления позитивного метода в науке о духе»: «не поместивши психологии на настоящее место ее в позитивной философии», он впал в «важное заблуждение», которое «послужило источником серьезных ошибок в его попытке создать социальную науку». Конт не объясняет, например, «каким образом должны мы наблюдать умственное [т. е. психическое] действие других или истолковывать их проявления, не узнав через познание себя [т. е. путем самонаблюдения, отрицаемого Контом] значение этих проявлений»³⁵.

Милль верил в возможность открытия законов душевной жизни и формулировал некоторые из них; хотя он мало сделал для дальнейшего построения общей психологии, но зато размышлял об особой

³⁵ Милль Д. С. О. Конт и позитивизм / рус. пер. 1897. С. 68, 71.

отрасли психологии – средней между индивидуальной психологией и социальными науками с историей; он назвал такую отрасль психологии этологией.

Психология «указывает простые законы души вообще»; этология же «обнаруживает их действие в сложных сочетаниях обстоятельств»: она устанавливает собственно средние начала, *axiomata media* (как сказал бы Бекон) науки о душе, отличные и от самых высших обобщений, и от эмпирических законов, проистекающих из простого наблюдения. Такое формальное различие между психологией и этологией соответствует и различию в их более конкретных целях и содержаниях. «Если, как это обычно и удобно, мы обозначаем словом *психология* науку об элементарных законах души, то *этология* будет служить для обозначения дальнейшей науки, которая определяет род характера, образуемого соответственно этим общим законам какой-нибудь совокупностью обстоятельств физических и нравственных». Следовательно, этология, в обширнейшем смысле слова, изучает «образование национального или коллективного характера, точно так же как и индивидуального» и формулирует его законы. В самом деле, хотя не все люди чувствуют и действуют одинаково и в одинаковых обстоятельствах, но можно определить, почему одно лицо в данном положении чувствует и действует одним способом, а другое – другим; каким путем данный образ чувств и действий, согласный с общими (физическими и душевными) законами человеческой природы, сложился или может сложиться; говоря иными словами, человечество не имеет общего характера, тем не менее законы образования характера существуют. А так как этими законами в сочетании с фактами каждого частного случая порождается вся совокупность явлений человеческого действия и чувства, то от них и должна исходить всякая рациональная попытка построить конкретно и для практических целей науку о человеческой природе.

Цель новой отрасли психологии предопределяет, конечно, и ее метод: «общие законы различных составных элементов человеческой природы уже теперь достаточно выяснены, чтобы для компетентных мыслителей стало возможным (с значительной степенью приближенности) вывести из этих законов особый тип характера, который образовался бы в человечестве вообще при данном роде обстоятельств. Итак, наука «этология», основанная на законах психологии, возможна, хотя для нее сделано еще мало, да и это немногое осуществлено вовсе не систематически. Успехи этой важной, но в высшей степени несовершенной науки будут зависеть от двоякого процесса: во-первых, от теоретического вывода этологических следствий из данной совокупно-

сти обстоятельств и сравнения этих следствий с признанными результатами эмпирически обобщенного опыта; во-вторых, от обратного процесса, а именно от усиленного изучения различных типов человеческой природы, находимых в мире изучения их лицами, не только способными анализировать и замечать обстоятельства, в которых эти типы отдельно господствуют, но также достаточно знакомых с психологическими законами, чтобы объяснить характерные черты данного типа особенными обстоятельствами: и только остаток, если он окажется, будет отнесен на счет прирожденных предрасположений»³⁶.

Таким образом, в вышеприведенных отрывках Милль предлагал изучать человеческий характер не с физиологической, а с психологической точки зрения; вместе с тем он полагал, что выводы психологии, благодаря этологии, могут пригодиться и для социолога, и для историка. Сам Милль лелеял мысль создать этологию; но ему не удалось осуществить свое намерение; оно было отчасти исполнено Бэном в его известном сочинении об изучении характера³⁷. Позднейшие ученые принялись за такую же работу: Полан, например, в своем труде об «умственной деятельности» и проч. уже пытался построить теорию «душевной жизни» и установить абстрактные законы «общей психологии», а затем приступил к изучению конкретной психологии в особом исследовании «о характерах»; здесь Полан показал, «каким образом общие законы (психологии) обнаруживаются в действительности и каким образом они порождают (соответственно) различные категории психических типов»; итак, исходя из абстрактной психологии, Полан изучал, анализировал и систематизировал различные обнаружения ее элементов в данных типах³⁸.

Выше мне уже приходилось указывать на то, что, по мнению Милля, этология — наука об образовании характера не только отдельных людей, но и целых народов; новейшие психологи занимались исследованиями подобного рода; таковы, например, не говоря об общих трудах Фулье, Лебона и других, работы Бутми о психологии англичан и американцев, Фулье — о психологии французов и т. п.

Таким образом, мысль Милля о разработке особой отрасли знания — этологии была в известной мере осуществлена в последующей литературе, преимущественно французской; но почти одновременно

³⁶ *Mill J. S. Logic*. В. VI, ch. 5; шестая книга написана в 1840 г.; но логика вышла только в 1843 г.; рус. пер. Ф. Резенера (под ред. П. Лаврова) — без добавлений, внесенных в последнее английское издание.

³⁷ *Bain A. Study of character*, 1861.

³⁸ *Paulhan E. Les caractères*. P. 1894; указания на другие сочинения см. ниже.

с «этологией» в Германии возникла отрасль психологических исследований, получившая название «психологии народов». В своих рассуждениях об этологии Милль, главным образом, настаивал на изучении той законосообразной связи, которая существует между известными условиями и соответствующим характером; Лазарус и его приверженцы, напротив, занимаясь «психологией народов», имели в виду выяснить отношение между психикой народа и соответствующими продуктами его культуры, в особенности его языком, мифами и нравами.

После подъема национального духа, обнаружившегося в Германии со времени освободительных войн 1813–1815 гг., и оживления интереса к изучению народной жизни естественно было ожидать появления дисциплины, которая стала бы изучать «народный дух», нацию в наиболее интимных проявлениях ее психики; но такое настроение не могло, однако, дать руководящих начал для построения «психологии народов»: основатель ее, известный профессор Лазарус, попытался разыскать их в учении Гербарта.

Герbart смотрел на представления как на своего рода центры сил. В его построении каждое представление не оказывалось в неразрывной связи с субъектом представляющим: оно являлось лишь атомом психической жизни; следовательно, и изучение психической жизни обращалось в изучение как бы механики представлений, независимо от их отношения к сознанию субъекта. Таким образом, не приурочивая к данному «Я» его представлений и отрывая их от отдельных субъектов, Герbart придерживался своего рода атомизма в психологии; пользуясь такою конструкцией, можно было изучать движение представлений и в целом обществе. В самом деле, с указанной точки зрения Герbart устанавливал своего рода аналогию между взаимодействиями представлений в пределах данного индивидуального сознания и теми взаимодействиями, которые обнаруживаются между представителями разных индивидуальных сознаний в пределах данной социальной группы, а психология подобного рода могла служить основанием и для построения психологии народов. Впрочем, следует заметить, что Герbart признавал и влияние нации на составляющие ее индивидуальные сознания. «Нация имеет не только господствующий темперамент, но и свою историю; эту историю единичный человек застает до известного пункта уже протекшею; степень культуры, национального чувства и знания данного времени сильно направляют, возвышают или принижают индивидуума во всех пунктах его жизненного пути». С такой точки зрения можно было рассуждать о коллективном сознании и о влиянии данной общественной группы, ее настроений

и т. п. на индивидуальное сознание каждого из ее членов — построение, также впоследствии развитое Лазарусом³⁹.

Первоначально, однако, Лазарус был гегельянцем и лишь затем склонился к философии Гербарта; он убедился в том, что «философствование Гербарта гораздо удовлетворительнее и плодотворнее философствования Гегеля: следуя Гербарту, всегда стоишь на твердой почве опыта и даже тогда, когда возвышаешься над ним, не забываешь оглядываться на его результаты и держать их перед глазами».

Значение Лазаруса как основателя особой отрасли психологического знания оспаривается теми, которые считают творцом психологии народов Штейнтала; сам Штейнталь, однако, писал, что «честь быть основателем психологии народов» принадлежит Лазарусу; в статье о нравственном оправдании значения Пруссии в Германии (*Die sittliche Berechtigung Preussens in Deutschland*, 1850) он «еще нетвердую рукою, точно ошупью, но все же вполне определенно наметил характер психологии народов», а затем установил понятие о ней в целом ряде других статей. Последние появлялись, главным образом, в основанном им (вместе с Штейнталем) журнале; вся научная деятельность по обоснованию новой школы сосредоточилась или в этом журнале, или вокруг него⁴⁰.

В самых кратких чертах не мешает выяснить, что разумели основатели психологии народов под этим термином и как считали возможным прилагать ее к истории.

Социальная жизнь, по мнению Лазаруса, объясняется психологией и описывается историей. Это положение, если бы оно было развито им, могло бы дать и особого рода понимание применения психологии к истории; но Лазарус мало остановился на развитии своей мысли и слишком скоро перешел к установлению тесной связи между психологией и историей, поскольку последняя не только описывает про-

³⁹ *Herbart J. Bruchstücke zur Statik und Mechanik des Staates* в *Werke* (Kehrbach). Bd. VI. S. 24 ff. и др. Под влиянием учения Гумбольдта и Гербарта Лазарус развил и учение об «идеях» в применении их к истории; в метафизическом смысле идеи суть преимущественно нравственные силы, осуществляющиеся в истории и порождающие или формирующие ее; гении — олицетворенные, господствующие идеи и т. п.; впрочем, Лазарус понимал идеи и в смысле психологическом, т. е. в смысле представлений с общим значением, вызывающих в нас известные влечения; здесь достаточно коснуться учения Лазаруса об идеях лишь с точки зрения его значения для развития социальной психологии.

⁴⁰ *Lazarus M. Lebenserinnerungen*, bearbeitet von N. Lazarus und A. Leicht. Berl., 1906. «*Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft*». 1860–1870.

шлую жизнь человечества, но и устанавливает (в причинно-следственном смысле) законы, по которым исторические факты происходят.

К такой точке зрения Лазарус перешел, рассуждая о том значении, какое элементарные силы, т. е. чувствования и идеи, имеют в историческом процессе⁴¹. Чувствования и идеи порождают исторические факты, учреждения, внешние столкновения, войны; историк должен восходить к чувствованиям и идеям для того, чтобы объяснить, почему такое-то изобретение или такая-то война должны были иметь успех, для того, чтобы не только понять, почему они были, но и почему они именно должны были иметь такие, а не иные последствия; следовательно, лишь законы, которые управляют чувствованиями и идеями, могут лежать в основании исторических обобщений: историк будет пользоваться ими для построения исторических законов.

Общая индивидуальная психология, однако, не в состоянии удовлетворить историка: индивидуум с точки зрения исторической представлялся Лазарусу скорее абстракцией, чем реальностью; ведь индивидуум всегда вставлен в данную общественную среду; в действительности индивидуум всегда находится под влиянием ее прошлого и настоящего; в таком смысле он оказывается продуктом общества и его истории. Значит, не столько индивидуум, сколько общество является реальностью, и не индивидуум объясняет общество, а скорее нужно исходить из общества для того, чтобы объяснять индивидуум; но такого именно объяснения нельзя найти в индивидуальной психологии: она изучает абстрактно отдельные психические процессы, могущие происходить в индивидуальном сознании, независимо от влияний существующих и взаимодействующих индивидуальных сознаний друг на друга; очевидно, нужно создать особую дисциплину, которая изучала бы групповые психические явления, тот продукт общества, который можно назвать его духом. Между индивидуальной психологией и историей надо, значит, построить социальную психологию, при помощи которой можно было бы объяснять историю народов или биографию человечества. С такой точки зрения, разумеется, можно изучать всякого рода общественные группы; но наиболее важной, устойчивой, кристаллизировавшейся общественной группой следует, конечно, признать нацию, народ; значит, и та отрасль психологии, которая изучает психологию общественной группы, должна будет обращать преимущественное внимание на на-

⁴¹ Лазарус придавал весьма широкое значение термину «идея»; в понятие о ней он включал даже бессознательные процессы или по крайней мере малоопознанные процессы психической жизни.

род; отсюда и название новой отрасли психологии — «психология народов» (*Völkerpsychologie*).

Психология народов, по мнению Лазаруса, изучает то, что обще индивидуальным сознаниям, входящим в состав данной общественной группы, данного народа и т. п.⁴² Такая совокупность — не простая сумма отдельных единиц: она оказывается «замкнутым» целым, обладающим особым рода свойствами; они не даны в каждом отдельном индивидууме, а проявляются в нем лишь в той мере, в какой он становится частью этого целого: каждое из таких сознаний относит свои состояния не к одному себе, а к тому целому, частью которого индивидуум является. Реальное единство социального целого можно понимать и в актуальном смысле: оно обнаруживается в простом сочетании индивидуальных действий, оказывающем воздействие на каждое из них, или в согласованности действий, выполняемых данной совокупностью индивидуумов, данной общественной группой ввиду более или менее общей им цели и т. п. С такой точки зрения можно говорить об общественном духе, понимая под ним не тот «объективный дух», который является стадией в диалектическом развитии абсолютного духа, а конкретные, реальные проявления психики данной общественной группы; поскольку же можно говорить об единстве общественного духа, можно говорить и о психологии народов.

Впрочем, стремясь к обоснованию исторического процесса на законах, устанавливаемых психологией народов, Лазарус, однако, нисколько не отрицал значения в этом процессе отдельных личностей; наряду с обществом, содержащим элементы для личного творчества, он признавал и самостоятельное значение последнего: «массы» никогда не отличаются творчеством; в более узком смысле слова оно принадлежит отдельным личностям; но и они способны действовать на известную общественную группу лишь постольку, поскольку последняя в свою очередь способна воспринимать их действия, поскольку оно уже содержит элементы того творчества, которое действует на нее. Взаимодействие подобного рода и составляет предмет изучения психологии народов; с такой точки зрения она объясняет историческое прошлое, в особенности психические процессы образования продуктов культуры — языка, мифа и нравов⁴³.

⁴² С точки зрения учения об «идеях» Лазарус и Штейнталь рассуждали и о «народном духе» как носителе идей: они получают в нем образы, характерные для данного народа; ср. выше с. 81, прим. 39.

⁴³ *Lazarus M. Ueber das Verhältniss des Einzelnen zur Gesamtheit* в «Zeit.», IV, 393–453 и др.

Вот в самых общих чертах то построение психологии народов, которое сложилось примерно между 1850–70 гг. в немецкой литературе. Оно завладело довольно обширным кругом почитателей и продолжателей, начиная с Штейнталя, который уже в 1852 г. присоединился к Лазарусу, и кончая Вундтом. Последний систематизировал учение Лазаруса и в своей логике, где он поставил психологию в основу всей группы наук о духе, в том числе и истории, в своем монументальном труде по народной психологии, еще не законченном⁴⁴.

В то время, однако, наряду с психологией народов уже складывалась новая отрасль психологии, также стоящая в близкой связи с номотетическим построением истории: я имею в виду «коллективную, или социальную, психологию». Последний термин прямо указывает на то, что эта новая отрасль психологии развилась не столько из индивидуальной психологии, сколько из приложения психологии к исследованию социальных явлений и проблем.

Следует заметить, что коллективная психология зародилась в связи с изучением простейших и элементарных соотношений, которые привлекали внимание мыслителей давно, хотя выводы их имели частный характер и не были своевременно оценены; достаточно припомнить здесь имя одного философа, на которого с такой точки зрения обращают слишком мало внимания, — Малебранша: в своем рассуждении о «заразительности» некоторых представлений он уже в 1675 г. дал целую теорию подражания и пытался выяснить его условия и социальное значение; многие из его замечаний до сих пор не утратили своей цены, но были основательно забыты позднейшими исследователями, даже соотечественником философа — известным Тардом, «открывшим» законы подражания⁴⁵. А между тем можно сказать, что путем изучения процесса подражания в значительной мере складывалась и та дисциплина, которая получила название коллективной психологии. Тард много сделал для ее развития в целом ряде трудов, главные идеи которых уже высказывались им (в частных беседах) с 1874–75 гг. Впрочем, самый термин «коллективная психология» появился сравнительно поздно, насколько мне известно, в трудах итальянской уголовно-антропологической школы. Уже Ферри рассуждал о «коллектив-

⁴⁴ *Wundt W. Völkerpsychologie. Lpz., 1900–1909. В. I–III: в 5 т. (Die Sprache: Mythus und Religion).*

⁴⁵ *Malebranche N. De la recherche de la vérité; «Lettres patentes du roi» на издание книги были даны уже в январе 1674 г., но книга вышла в 1675 г.; см. 1. II, troisième partie: De la communication contagieuse des imaginations fortes, особенно главы 1 и 2; Tarde G. Les lois de l'imitation, 1890.*

ной психологии»; и он, и его ученики содействовали ее разработке. Известный итальянский писатель Сигеле, например, стал отчасти высказывать те же положения итальянской школы, но в расширенном виде и, таким образом, уже затронул в общих чертах несколько проблем коллективной психологии. Тард продолжал работать в том же направлении; оно не замедлило обнаружиться и в сочинениях других ученых, например Болдвина (Baldwin); между прочим, в России уже вскоре после известных событий начала восьмидесятых годов Михайловский стал печатать свои статьи о «героях и толпе»; указывая на пагубное влияние смертной казни на зрителей, он с широкой естественнонаучной точки зрения изучал явления миметизма, внушения, подражания и т. п. и выяснял их социологическое значение⁴⁶.

Вообще, для того чтобы понять, почему ученые почувствовали надобность, наряду с вышеуказанными отраслями психологии, еще в особой отрасли психологии — «коллективной», надо иметь в виду, что последняя и по своей точке зрения, и по объекту исследования отличается от остальных психологических дисциплин.

Коллективная психология стремится подвергнуть анализу наиболее элементарные, обычные мелкие психические взаимодействия: Тард, например, посвятил целую работу исследованию простого «разговора» (*conversation*). Следовательно, можно разуметь под «коллективной психологией» научную дисциплину, которая (по словам Тарда) изучает «взаимные отношения душ» (*des esprits*) или одушевленных существ, их односторонние или обоюдосторонние влияния друг на друга; но в область коллективной психологии Тард преимущественно включал и изучение того действия, которое социальная среда оказывает на «взаимные отношения душ», или того давления, под которым элементарные психические взаимодействия происходят во всяком обществе. С такой точки зрения «психология толпы» получает особого рода интерес. Сигеле, Тард, Лебон и другие изучают, например, толпу с ее психическими свойствами, чувствованиями, идеями, с ее мнениями и верованиями, поскольку она влияет на входящие в ее состав индивидуумы и на их взаимоотношения; при этом они часто по-

⁴⁶ Sighele S. La foule criminelle. 1-е изд. 1892 (2-е изд. 1901); ср. Tarde G. Les foules et les sectes criminelles // Rev. des deux Mondes, 1893 и др.; Михайловский Н. Герои и толпа, 1882 и др. статьи в Соч. Т. II. См. еще Eulenburg F. Ueber die Möglichkeit und die Aufgaben einer Socialpsychologie // G. Schmoller's Jahrb., 1900. В отличие от того широкого значения, какое выше придано термину «социальная психология» (см. с. 77), я предпочитаю называть рассматриваемую здесь отрасль психологии «коллективной психологией».

нимают термин «толпа» в очень широком смысле; под понятие толпы они подводят, например, не только случайную совокупность собравшихся людей, охваченных известного рода настроением, а понимают и «публику» вообще, даже «публику», рассеянную по разным местам, поскольку путем разного рода искусственных средств (телеграфов, газет и т. п.) она объединяется в одно целое; может быть, несколько усиливая смысл самого понятия, они готовы называть «толпой» даже парламентские собрания (Лебон).

В числе более специальных задач коллективной психологии естественно поставить и выяснение психических свойств разных социальных образований. С такой точки зрения можно изучать, например, секты (в особенности, конечно, секты религиозные), сословные группы, разные круги общества, «салоны» и т. п. В исследованиях подобного рода «конкретная» психология привлекается наряду с «коллективной»; нет нужды распространяться здесь о том важном значении, какое такие исследования имеют для надлежащего понимания очень многих исторических фактов.

В предшествующем изложении я указал на образование психологических дисциплин, имеющих наиболее близкое отношение к социологическим и историческим построениям. До сих пор, однако, я скорее предполагал теоретически возможным такое влияние, чем наблюдал его на самом деле; но многие ученые действительно прилагали психологию к построению истории с номотетической точки зрения; не входя в последовательное изучение всех относящихся сюда случаев, я остановлюсь лишь на некоторых из них, чтобы показать, каким образом историки стали пользоваться психологией для обобщений в области истории.

Прежде всего следует заметить, что номотетическая точка зрения в связи с познавательной-психологической внесла в построение истории особый оттенок. Историческое знание получило характер более сложный, чем то можно было бы предполагать, придерживаясь исключительно натуралистического понимания исторического процесса: с точки зрения номотетико-психологической приходилось уснащать такие добавочные принципы знания, которыми социолог-историк пользуется, в отличие от натуралиста; Штейнталь, например, указывал на то, что психология есть «специальное учение о принципах», нужных для истории, и что лишь благодаря психологии история может получить научный характер, а Вундт попытался формулировать принципы подобного рода⁴⁷.

⁴⁷ Wundt W. Logik. В. II, 2, 3-te Aufl. S. 26–49.

Историки, однако, очень мало останавливались на их выяснении и, тем не менее, пользовались ими для построения особого рода исторических категорий; опираясь на них, они стремились уловить «естественную» законосообразность исторического процесса. Среди ученых, с такой точки зрения изучавших историю, для примера достаточно указать хотя бы на Тэна. Тэн сам заявил, что он ничего другого не делал, как только занимался чистой психологией или психологией прикладной. И действительно, Тэн воспользовался психологическими понятиями для установления своих исторических категорий, т. е. для выработки известного своего учения о расе, о среде и о моменте: без психологических понятий Тэн не мог бы построить их. В самом деле, раса, например, по понятию Тэна, — не только совокупность физических свойств, но и совокупность психических признаков, тех проявлений темперамента и характера, которые постепенно складывались и образовывали известного рода устойчивый психический тип, характеризующий данную совокупность людей. Среда, по мнению Тэна, — также не только совокупность физических условий, которые влияют на тот или иной характер общества, но вместе с тем и само общество (*milieu humain*) по отношению к отдельным его частям, и политические обстоятельства; с такой точки зрения в понятие о среде он включает понятия о публике, о знаменитых французских салонах XVIII в., вырабатывавших классический дух и проч. Наконец, под моментом Тэн понимает не отдельный индивидуальный факт во всей его конкретности, а скорее влияние, которое, например, разного рода произведения предшествующей литературы оказывают на последующих писателей, воспринимающих их в качестве образцов; в таком смысле, например, влияние Библии на разного рода стили последующего времени, хотя бы XVI в., можно признать «моментом»; в основу своего понятия о моменте, значит, Тэн клал психологическое понятие о процессе подражания, наступающем при известных условиях места и времени.

Историки также пользовались общей психологией для изучения «социально-психических факторов» исторического процесса и законосообразной связи между каждым из них и соответствующими продуктами культуры. Такое приложение часто делалось в историях культуры и за последнее время получило широкую известность главным образом благодаря трудам Лампрехта и вызванной ими полемики. В одном из последних своих сочинений он заявляет, что желает построить исторический процесс путем изучения значения социально-психических факторов истории в их отношении к индивидуально-психическим; в частности, Лампрехт находится под влиянием Липпса и утверждает, что «история не что иное, как прикладная психология и она изучает

развитие психических продуктов, общих данному человеческому обществу». С такой же точки зрения Лампрехт старается обосновать и свою периодизацию немецкой истории; он характеризует тип психики каждого периода преобладанием определенного социально-психического фактора, порождающего и соответствующие характерные продукты культуры: древнейший период, например, отличается «символизмом», следующие два – «типизмом» и «конвенционализмом» (преобладанием условностей душевной жизни), современный период – «индивидуализмом», наконец, будущий период – «идеализмом»⁴⁸.

Такого рода общие приложения психологии к истории с целью выяснить ее законосообразность уже приводили ученых к некоторому обоснованию номотетического построения исторического знания; аналогичный процесс можно наблюдать и в области более специальных исторических работ.

Эта точка зрения давно же получила свое приложение в языкознании. Штейнталь, например, полагал, что самонаблюдение и детская психология дадут материал, из которого путем абстракции можно будет установить основные «законы общей психической механики», а народная психология воспользуется ими для истолкования различных проявлений исторической жизни, в частности и языка. Новейшие лингвисты замечают, что в таких случаях речь идет не столько о психологии, сколько о приложениях ее к различным отраслям науки о духе; значит, надо вырабатывать на почве психологии особое учение об исторических принципах (*Prinzipienlehre*); оно должно состоять в изложении общих условий, при наличии которых психические и физические факторы изучаемых явлений, согласно своеобразным законам их действия, совместно достигают осуществления общей им цели⁴⁹.

Такое же конкретное приложение психология получила и в области истории культуры. Выше мне уже приходилось обращать внимание на то, что психология стала применяться здесь интуитивно; в позднейшее время попытки подобного рода в той же области приобрели более сознательный характер: Тэйлор и Спенсер, например, широко воспользовались психологией для построения общего психического типа первобытного человека, в частности, для объяснения крупнейшего явления его жизни – анимизма. Даже те историки культуры, которые продолжали находиться под влиянием дарвинизма, все же не могли миновать психологии. В своей истории человеческой культуры Липперт, например, признает основным фактором ее желание сохра-

⁴⁸ *Lamprecht K. Moderne Geschichtswissenschaft. Lpz., 1905.*

⁴⁹ *Paul N. Prinzipien der Sprachgeschichte, 3 Aufl. S. 5, 7 и др.*

нить свое «Я», заботы каждого «Я» о своей жизни — в широком смысле слова — и об ее полноте; высшая форма такого стремления — ее социальная форма. Хотя силы природы и действуют в ходе культурного развития, но в совокупности с «человеческими представлениями»; притом действие последних часто чрезвычайно велико и, во всяком случае, характерно для развития собственно-человеческой культуры. Последняя изучается, главным образом, в ее «социальных проявлениях»⁵⁰. Естественно, что в построении истории культуры позднейших периодов психологическая точка зрения получила еще большее развитие и приложение. Прекрасный пример ее применения можно найти в известном сочинении Буркхардта о ренессансе в Италии⁵¹.

Наконец, следует заметить, что та же тенденция воспользоваться психологией для обобщения в области истории, помимо многих других случаев, обнаружилась даже в конкретных исторических исследованиях XIX ст. В числе французских историков, придерживавшихся такого направления, можно указать, например, на Фюстель де Куланжа и на Токквилья. Сам Фюстель де Куланж заявляет, что основным предметом изучения истории является душа человека; история должна стремиться познать, что такое эта душа, чему она веровала, что она думала, что она чувствовала. В частности, в знаменитом своем сочинении о гражданской общине античного мира Фюстель де Куланж делает блестящую попытку анализа того значения, какое религиозное чувство имеет в жизни человеческих обществ. Токквиль, один из самых глубоких историков, изучавших «старый режим» в его отношении к Французской революции, в конечном итоге своих рассуждений о процессе, приведшем французов к революционному кризису, дает ему психологическую формулировку. Казалось бы, что здесь придется считаться преимущественно с социально-политическими факторами и выяснить, какие из них вызвали Французскую революцию; Токквиль действительно внимательно изучает их; но в последней части своего труда он замечает, что для понимания Французской революции надо прежде всего понять характер и свойства французского народа, и приходит к заключению, что революция находилась в тесной зависимости от развития двух его чувствований-страстей (*passions*) — «ненависти к неравенству» и «любви к равенству»; ненависть к неравенству и страсть к равенству, к свободе, оказываются двумя самыми могучими рычагами, вызвавшими Французскую революцию; возникши до известной степени независимо друг от друга, эти страсти встре-

⁵⁰ *Lippert J.* Kulturgeschichte der Menschheit, 2 B-de, 1886.

⁵¹ См. выше, с. 72.

тились при известных обстоятельствах, в известное время, а такая встреча и «воспламенила сердце Франции»⁵².

Вышеприведенных примеров достаточно для того, чтобы показать, каким образом общая психология действительно применялась и применяется историками изучаемого направления в области истории для обобщения наблюдаемых ими фактов. Нельзя не заметить, однако, что и специальные отрасли психологии стали оказывать влияние на исторические построения. Токквиль, в сущности, уже применял этологию, или «науку о национальном характере», к построению французской истории. Бутми также попытался приложить принципы той же науки к изучению политической истории английского и американского народов. Впрочем, задолго до появления его трудов главнейшие представители истории культуры в пятидесятых и шестидесятых годах прошлого века уже строили свои культурно-исторические понятия, хотя и не без некоторого знакомства с учением об идеях, но и под влиянием психологии народов. Бургкхардт, правда, реже других говорил о «*Volksseele*» и указывал на то, что установить достаточно объективное понятие о ней затруднительно; но Фрейтаг признавал главной задачей своих трудов «дать картину почти двухтысячелетнего развития нашей народной души»; Риль также постоянно имел в виду изучение той же «народной души» в обыденных проявлениях ее жизни. Вообще, все они полагали, что история культуры должна поставить себе задачей исследовать «историю народной души»⁵³. В Новейшее время можно заметить, наконец, что и «коллективная психология» начинает обращать на себя внимание историков; психологическое направление в социологии стало через ее посредство также оказывать влияние на исторические построения. После исследований Тарда и Болдвина, попытавшихся выяснить законы подражания, некоторые ученые, например Вилла (Villa), стали указывать на то, что психология социального индивидуума дает объяснение истории человечества (вида).

Не останавливаясь здесь на подробном обсуждении далеко еще не сложившихся теорий подобного рода, я замечу только, что самое слово *объяснение* в свою очередь требовало бы некоторого объяснения.

В самом деле, можно прилагать психологию к построению исторической науки с принципиально различных точек зрения, а именно в регулятивном или в конститутивном смысле.

⁵² *Coulanges Fustel de*. La cité antique, 1864; *Tocqueville A. de*. L'ancien régime et la Révolution, 7 éd. P. 306–308, 310.

⁵³ *Steinhausen G.* Freytag, Burckhardt, Riehl und ihre Auffassung der Kulturgeschichte // *Neue Jahrbücher für das Klass. Altertum*. 1898. Bd. I. S. 451–454.

Приложение психологии к истории в регулятивном смысле состоит в том, что ученый пользуется ею, т. е. принципами и понятиями, выработанными психологией, сознательно примышляя их к фактам для того, чтобы объяснять последние. С такой точки зрения я могу говорить только о психологических принципах или понятиях, поскольку я пользуюсь ими для того, чтобы конструировать те или другие данные мне в действительности факты, но без дальнейшего основания я еще не могу утверждать, что чисто психологические факторы действительно существуют и действительно порождают соответствующие результаты. В таком приложении психологии я сознательно примышляю известного рода принципы (например, чужое одушевление) для того, чтобы объяснить себе данные моего чувственного восприятия, которые я механически объяснить не в состоянии; очевидно, в случаях подобного рода приложение психологии есть приложение ее с чисто регулятивной, методологической точки зрения.

Приложение психологии к истории в конститутивном смысле, напротив, предполагает особого рода предпосылку: в таком случае психические факторы признаются реально данными в действительности. Впрочем, и с последней точки зрения можно иметь в виду или научные интересы психологии, а не истории, или цели собственно исторического построения. В самом деле, психолог, занимающийся разысканием психологических законов, может пользоваться не только материалом, черпаемым из самонаблюдения или из области экспериментальной психологии, но и наблюдать обнаружение психической жизни в конкретных фактах общественной жизни; тогда он будет пользоваться историческими фактами лишь в качестве материала, который он изучает с психологической точки зрения для того, чтобы проверить прежние свои выводы или открыть какой-либо новый закон психической жизни, действовавший в данном случае. Будет ли, однако, такого рода задача равносильна задаче построения законов истории? Очевидно, нет; я могу разыскивать в самой истории законы психологии и, тем не менее, еще не буду в состоянии построить собственно законы истории: ведь законы истории, если они существуют, бесконечно более сложны, чем законы психологии, и по меньшей мере, должны представлять своеобразную комбинацию многих законов, в особенности законов психологических. Итак, можно применять психологию к истории, имея в виду интересы психологии как науки, а не интересы истории, почему я и назову такого рода прием «психологическим изучением исторического материала». Наконец, если перенести центр научного интереса из области психологических изысканий в область истории, то и тут можно задаваться разными це-

лями: можно пользоваться психологией (в только что указанном конститутивном смысле) или для построения собственно исторических законов, или для объяснения данных исторических фактов, всегда сложных и запутанных, но не с тем, чтобы проверить или открыть какие-либо законы, а для того, чтобы научно понять конкретно данный исторический процесс. Лишь в том случае, если историк прибегает к психологии для того, чтобы построить собственно «исторические законы», он прилагает ее с номотетической точки зрения к истории; что же касается применения психологии к объяснению исторической действительности, то оно получает свое значение и в идеографическом построении исторического знания, на что представители противоположного направления не всегда обращают внимание.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ОСНОВАНИЯ НОМОТЕТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Лишь пользуясь основными предпосылками нашего разума, мы можем сделать из эмпирических данных такие выводы, которые имели бы характер логической необходимости и всеобщности. Сколько бы мы ни наблюдали факты, мы на основании наблюдаемых случаев логически не можем вывести необходимости и всеобщности сделанного нами вывода; мы можем только сказать, что по мере увеличения числа наблюдаемых случаев, подтверждающих данный вывод, пропорционально возрастает вероятность того, что и не наблюдаемые случаи также подойдут под него; с такой точки зрения мы пользуемся наведением не только для построения, но и для проверки наших гипотез: оно также служит и для последующего установления степени вероятности наших заключений относительно новых случаев подобного же рода. Ввиду вышеозначенных соображений я обращаю преимущественное внимание на те общие понятия, которые лежат в основе номотетического построения, на их значение и логическую связь и не стану рассматривать попытки эмпирическим путем доказать законосообразность исторического процесса; в некоторых случаях имея в виду выводы историков, сделанные ими на основании конкретных наблюдений, я буду пользоваться ими лишь в качестве материала для только что указанной цели.

Номотетическое построение вообще стремится объединить данные нашего опыта (понимаемого, конечно, в широком смысле), т. е. его содержание при помощи общих понятий; оно устанавливает возможно меньшее число общих понятий, в каждое из которых ук-

ладывалось бы возможно большее число представлений об отдельных фактах. В таком случае объединенное знание отождествляется с обобщенным: ведь если ограничивать понятие «наука» только что указанным его значением, то и можно сказать, что всякая наука состоит лишь в обобщении данных нашего опыта; значит, и естествознание, и история должны стремиться к обобщению.

Впрочем, можно пытаться оправдать понимание слова *наука* в обобщающем смысле, исходя из обратного положения, т. е. из того, что нельзя научно познавать индивидуальное. Научное мышление имеет дело только с общим, и даже «индивидуальная» картина прошлого, воссозданная историком, «есть уже обобщение»; напротив, «это здесь» и «это — теперь» (Гегель) «именно потому и невыразимо, несказанно, что оно есть индивидуальное»; иными словами говоря, нельзя научно формулировать индивидуальное во всей конкретности его содержания; можно пережить его, но даже изображение его, научно-ценное, не может обойтись без некоторого отвлечения от действительности, в данном случае смешиваемого с обобщением.

Итак, всякая наука, по мнению представителей номотетического направления, в сущности должна стремиться к обобщению; значит, и историческая наука должна вырабатывать общие исторические понятия. В числе таких понятий можно различать: 1) основные принципы номотетического построения; 2) номологические обобщения; 3) типологические обобщения.

§1. Основные принципы номотетического построения исторического знания

Приверженцы номотетического направления обыкновенно пользуются принципом причинно-следственности и принципом единообразия психофизической природы человека, в силу которого они и утверждают, что установленная ими причинно-следственная зависимость между *a* и *b* повторяется в действительности. Понятия о причинно-следственном отношении между *a* и *b* и о повторении *ab* в действительности, однако, еще слишком мало дают историку; он интересуется зависимостью между элементами целых групп или серий, в пределах которых он усматривает законосообразный порядок отношений или изменений; в таких случаях он, сверх того, пользуется принципами «консенсуса» и эволюции (в естественнонаучном смысле) для установления законов их соотношения или смены.

В эмпирических науках всякое обобщение стремится установить логически необходимую и всеобщую связь между причиной *a* и след-

ствием *b*, под которую можно было бы подводить реально данную последовательность, и формулирует закон такого соотношения в следующем виде: если *a* дано, то при отсутствии противодействующих условий *b* должно следовать за ним. Естествознание строит законы подобного рода; поскольку история — наука, то она должна стремиться к обобщению, т. е. (в конечном итоге) к формулированию законов в том же причинно-следственном смысле.

Дело, очевидно, обстояло бы вполне благополучно, если бы под механические законы естествознания можно было подводить и исторические факты (в узком смысле), т. е. если бы мы были в состоянии последовательно провести в области истории материалистическую точку зрения, что некоторые историки и пытались сделать. Давно уже, однако, выяснено, что материализм есть метафизическое построение и притом с познавательной точки зрения малоудовлетворительное: материалист совершенно игнорирует затруднения, испытываемые нашим разумом при отождествлении «материи» с «духом», и просто перескакивает из одной области в другую; не разрешая их и в сущности прикрывая материалистическими терминами понятия совсем иного рода, он устанавливает между ними чисто словесную связь. Во всяком случае, закрывать глаза на затруднения, возникающие при переходе из области материи в область духа, ненаучно. Вот почему попытки материалистического построения истории самопротиворечивы.

Некоторые представители номотетического построения, например, пытаются, хотя и в скрытой форме, придерживаться такого направления в психологии и в истории. В основе мирового процесса ученые вышеназванного направления признают движение; но из его анализа следует, что оно безусловно отличается от ощущения; то, что органы наших чувств воспринимают в виде движения, сознание наше называет ощущениями; значит, из группы молекулярных движений можно было бы вывести «чувствование», «рассматриваемое снаружи», и признать, что подобно тому, как в теле нет ничего реального, кроме его движений, так и в данном «Я» нет ничего реального кроме ряда событий, которые, в сущности, одинаково сводятся к чувствованиям. Если иметь в виду вышеуказанную связь между движением и ощущением, можно было бы сказать, что с той же чисто механической точки зрения надо объяснять и «Я». С такой точки зрения «все науки стремятся к тому, чтобы свестись к механике»⁵⁴, значит, и история должна превратиться в механику социальной жизни. Сами представители механического понимания истории легко попа-

⁵⁴ Nève P. La philosophie de Taine. Par., 1908. P. 72, 125, 126, 127.

дают, однако, в противоречие с основными своими положениями: они, в сущности, исходят из понятия об одном и том же явлении, но сами признают, что последнее «обречено на то, чтобы, ввиду двух различных способов, какими оно познается, представляться нам всегда двойным». Если же наше сознание никогда не может надеяться на то, чтобы превзойти такое затруднение и «всегда» познает нечто двойное, откуда может оно получить понятие об одном и том же? и что такое сознание, с точки зрения которого «событие», представляющееся нашему «чувству» в виде движения, оказывается еще «внутренним»? Вместе с тем теоретики подобного рода, приступая к историческим построениям, сами выходят из узкого круга механических понятий, неспособного охватить важнейшие части исторической действительности, и по меньшей мере принуждены обращаться к психологии для научного ее понимания: ученый, высказавший вышеприведенное механическое мировоззрение, например, очень и очень далек от него, когда рассуждает о классическом искусстве, об английской литературе, о «классическом духе» в дореволюционной Франции и т. п.

Аналогичные возражения можно было бы сделать и против того понимания исторического процесса, которое с точки зрения энергетики претендует объяснять важнейшие явления в области общей истории культуры: стремление заменить понятие о причинно-следственном отношении понятием об энергии и произвольное перенесение в область исторической науки энергетики не мешает ее приверженцам рассуждать о «психической» энергии, об «изобретении и о подражании»; о том, что человек «влияет» на внешний мир «сообразно своей воле» и даже «подчиняет» ей множество энергий в зависимости от поставленных себе «целей»; о работе ввиду «общей цели», о взаимном приспособлении друг к другу благодаря «предвидению нужных для того действий», об «интересе организованной совокупности», о значении «предвидения» в жизни человеческих обществ, о «сознательной борьбе» «энергетических комплексов», о значении «предводителя» и его «воли» в такой борьбе, о накоплении опыта в жизни данной социальной группы через посредство «общих понятий» и т. п. В случаях подобного рода такие термины употребляются без точного и ясного установления понятий, что, например, и дает возможность произвольно отождествлять понятие об «энергетически (т. е. технически) полезных свойствах» с «свойствами социальными» или из соотношения В к А, где В есть энергия, получаемая путем превращения в нее части энергии А (Güteverhältniss), выводить нравственный долг и т. п. Во всяком случае, приверженцы вышеуказанного направления, в сущности, еще не открыли каких-либо собственно «исторических» законов и, сами

того не замечая, вместо их формулировки предлагают правила, которым люди или образуемые ими союзы должны следовать⁵⁵.

Несколько менее элементарное понимание исторического закона (в причинно-следственном смысле) пытаются найти те ученые, которые придерживаются экономического материализма; но и предлагаемое ими учение не может дать нужной опоры для открытия «исторических» законов. В самом деле, против такого понимания можно все еще сделать возражение, которое относится и к предшествующим построениям. Научное объяснение предполагает установление логически-необходимой и всеобщей связи между ближайшей причиной и вызываемым ею следствием, т. е. своего рода дифференциальное изучение данной последовательности. Экономический материализм, указывая на «экономическую основу» («*Oekonomische Grundlage*») социальной жизни или на «материальное производство» как на основу социальной жизни, исключительно ими обусловливаемой, в сущности, слишком мало различает в них физические (физиологические) процессы от экономических в узком смысле слова. Между тем физические факторы далеки от последствий, которые представляются нам в виде социальных явлений. А что касается до экономических факторов в узком смысле слова (например, «технологии»), то они уж, конечно, не являются исключительно материальными; между физиологическими и экономическими процессами мы не можем уследить непосредственной связи вне свойств сознания тех субъектов, через посредство которых они совершаются; а изучение последнего рода уже основано на психологических построениях. Нельзя не заметить, что если строго придерживаться экономического материализма, пришлось бы также выводить исключительно из того, что есть, т. е. из «производственных отношений», и то, что должно быть, т. е. абсолютные ценности, нормы и т. п.; но научно обосновать такой вывод нет никакой возможности, да и сами представители «марксизма», в сущности, не в состоянии с чисто материалистической точки зрения установить этические предпосылки своего учения и решить поставленную ими проблему обновления социального строя.

Итак, номотетическое построение исторического знания не может довольствоваться понятиями механики, энергетики или экономиче-

⁵⁵ *Ostwald W. Energetische Grundlagen der Kulturwissenschaft. Lpz., 1909. S. 67, 68, 70 ff., 72, 76, 78, 111–113, 121–122, 159, 164 и др. Ср. еще Weber M. Energetische Kulturtheorien // Archiv für Sozialwissenschaft. Bd. XXIX, 1909. S. 575–598. Впрочем, приложение принципов энергетики в регулятивном смысле к пониманию истории техники имеет, конечно, большое научное значение.*

ского материализма: оно устанавливается, собственно говоря, с психологической точки зрения. Подобно остальным «наукам о духе», история имеет дело главным образом с явлениями психического порядка; для своих обобщений она должна пользоваться психологией: все явления, обнаруживающиеся в людских отношениях, зависят от действия предполагаемых психических факторов; следовательно, причинно-следственную связь между ними и их продуктами приходится строить в психологическом смысле.

С такой познавательной-психологической точки зрения легко заметить, что при объяснении одного рода объектов можно довольствоваться в качестве материала данными чувственного восприятия, т. е. опыта в широком смысле слова: они не требуют особого рода конструирования их при помощи некоторых дополнительных принципов, например, понятия о человеческом сознании; но есть и такие объекты, которые поддаются пониманию только под условием предположения, что известные психические факторы действуют в неразрывной связи с физическими и вызывают процессы, подлежащие объективному наблюдению: я наблюдаю, например, лишь внешние действия людей, но для объяснения их мне приходится делать предположение о их психике. Таким образом, различие между процессами физическими и психическими есть не результат непосредственного восприятия, а плод размышления над реальным содержанием нашего опыта. Размышление приводит нас, по мнению одного из теоретиков разбираемого направления, к установлению общих «признаков», которых нет в явлениях физических, но которыми мы отличаем от них явления психические и которым мы придаем реальное значение. Прежде всего комбинация чувства, как субъективного условия известных состояний живых существ, с разумом, как способностью взвешивать степень ценности ими испытываемого, ведет к оценке последнего (*Wertbestimmung*); например, само по себе ни одно явление не хорошо и не худо, не красиво и не уродливо и т. п., но оно становится таковым благодаря нашей оценке. Далее, в связи с оценкою следует поставить и полагание цели (*Zwecksetzung*); помимо того, что в субъективном смысле я с предполагаемой мною цели рассматриваю данное явление в природе, в объективном смысле я приписываю данному субъекту им самим (независимо от моего целеполагания) поставленную себе цель и, значит, придаю принципу целесообразности объективное значение: существо, способное руководствоваться известными мотивами (оценками), связываемыми с известными целями, осуществляет его в своей целесообразной деятельности. Наконец, такая деятельность обнаруживает и наличность воли (*Willensthätigkeit*). Признак волевой деятельности

есть последний, положительный, «закрывающий в себе два другие, как более близкие его определения»: явления духовного порядка — «царство воли». В построениях подобного рода разум (*Intelligenz*) принимается как признак психического лишь постольку, поскольку он объединяет в себе вышеуказанные три признака⁵⁶. Таким образом, область наук о духе начинается там, где существенным «фактором» данного явления оказывается человек как существо желающее и мыслящее; следовательно, нет возможности установить причинно-следственную связь между факторами подобного рода и их продуктами в чисто механическом смысле: надо строить ее с психологической, а не с механической точки зрения, т. е. изучать «общие людям свойства, поскольку ими можно объяснять и сходные их действия; в той мере, в какой историк изучает человека в его общих с другими людьми, главным образом, психических свойствах (*l'homme général*), он может объяснить и обусловленные ими сходства в соответственных действиях; но человек в его общих психических свойствах изучается психологией; следовательно, для того чтобы объяснить наблюдаемое сходство, т. е. установить причинно-следственное отношение или закон в причинно-следственном смысле, историку придется обратиться к психологии: он может возвести увиденное им сходство на степень научно-исторической истины или закона истории в причинно-следственном смысле лишь с психологической (а не с чисто механической и т. п.) точки зрения⁵⁷.

В психологическом построении понятия о причинно-следственности нельзя не заметить, однако, нескольких отличий от механического. В самом деле, причинно-следственное отношение, построенное с механической точки зрения, есть только научная конструкция, тогда как связь между психическими факторами и их результатами может непосредственно переживаться каждым из нас; ведь в одном случае я лишь проектирую во вне переживаемое мною, когда говорю, что «сила» порождает «действие»; в другом — я испытываю ее действие; поскольку и другие люди суть внешние для меня вещи, механические и психические построения и для меня с указанной точки зрения, правда, не имеют существенного отличия; но если исходить из признания чужого одушевления, надо будет признать и то, что каждый из нас в состоянии переживать такую связь. Далее, другая осо-

⁵⁶ *Wundt W. Logik. В. II, 2; 3 Aufl. S. 14–18; ср. его же «Princip der subjektiven Beurteilung».* В числе современных представителей психологизма в истории можно указать еще на Мейнонга, Липпса и др. ученых психологов, не говоря об историках вроде Лампрехта и др.

⁵⁷ *Lacombe P. De l'histoire considérée comme science. P. 2, 26, 27 и др.*

бенность причинно-следственной связи в психологическом смысле состоит в том, что взамен количественной эквивалентности между причиной и следствием приходится устанавливать качественную зависимость между ними, что и ведет к признанию принципа «творческого синтеза» и т. п.⁵⁸ Наконец, психология переносит изучение причинно-следственной связи из внешнего мира во внутренний психический мир человека и вводит понятие о внутреннем детерминизме. Человек может сам определять свои действия; его «желание само есть один из факторов образования его характера», а значит, и его действий; каждый может подчинять их известным требованиям и нормам, т. е. действовать сообразно с ними. Отсюда легко вывести и понятие о свободе как о внутренней мотивации собственных действий, поскольку последние не находятся в прямой зависимости от внешних причин и поскольку человек «свободен» не вообще, а только от внешнего детерминизма. С такой точки зрения нельзя смешивать понятие о «свободе» с понятием о «случайности»; понятие о свободе, по словам одного из представителей разбираемого учения, не имеет никакого сходства с понятием о случайности: оно означает только свободу обдумывания, т. е. способность в определенный момент познавать различные мотивы (своих действий) и выбирать между ними сообразно с характером собственного сознания, а следовательно (и действовать), в направлении, обусловленном внутреннею причинностью.

Итак, с психологической точки зрения причины превращаются в мотивы; мотивация (по словам Шопенгауэра) есть каузальность, созерцаемая изнутри; следствия же обращаются в «действия» или в поступки. С такой точки зрения надо сказать, что тождественные мотивы должны порождать при одних и тех же условиях одни и те же поступки и что законы психологии, имеющие значение для истории, должны в качественном смысле устанавливать такую именно логическую связь между определенным мотивом или комбинацией мотивов и соответствующим действием или поступком⁵⁹.

Для дальнейшего понимания разбираемого построения следует прежде всего остановиться на понятии о мотиве, тем более что его

⁵⁸ *Wundt W. Logik. B. II. 2, 3 Aufl. S. 140–141: ср. «психическую химию» Милля и т. п.; Barth P. Fragen der Geschichtswissenschaft // Vierteljahresschr. B. XXIII. 1889, 335–S. 355; Lamprecht K. Was ist Kultergeschichte? // Deutsche Zeitschrift für Geschichtswiss, 1896–97. S. 90.*

⁵⁹ *Wundt W. Logik. B. II. 2, 3 Aufl. S. 141. «Jedes Gesetz auf geistigem Gebiete enthält ein qualitatives Abhängigkeitsverhältniss, das sobald das Gesetz zu einem kausalen wird, den Character eines psychologischen Motivs annimmt».*

нельзя считать вполне установленным в науке. Под мотивом разумеют то реальное основание или то состояние сознания, которое обуславливает (вызывает, определяет) наше движение или воление, или, в частности, волевое движение. В широком смысле под мотивом некоторые действительно понимают все то, что может вызывать известного рода движение (по словам Bentham'a — «any thing»); с такой точки зрения, очевидно, слишком широкой, и чисто внешнее раздражение будет уже «мотивом». В несколько более узком смысле понимают это слово те, которые рассуждают о «потребностях», в сущности мало различая «потребность» (*Bedürfniss, besoin*) от мотива. Всякий испытывает «потребность в том, что у него недостает, если такового у него нет в наличности» (Мейнонг); «чувство недостатка» можно связывать и с «стремлением» устранить его; тогда «потребность» есть «чувство недостатка с стремлением устранить этот недостаток»⁶⁰. В таких формулах слово *потребность* часто понимается уже не в одном только физиологическом смысле; физиологическая потребность принимается во внимание лишь в том случае, если она сознается тем, кто испытывает ее, и сопряжена с «стремлением» устранить чувствительный им недостаток. От понятия о потребности (особенно в последнем смысле) легко, значит, перейти и к понятию именно о мотиве: один из сторонников номотетического построения истории называет, например, «потребностью» «все то, что внутренне побуждает человека действовать во вне» (*besoin* или *mobile*), а затем, устанавливая главные разновидности этих «движущих сил», подводит под них и мотивы в узком смысле. В последнем, тесном значении под мотивом разумеют реальное основание воления, причем ставят его в связь с «интересом», также понимаемым в узком смысле. Таким «интересом» для нас является все то, что при нормальных условиях «сообщает энергию представлению, а вследствие этого — и заключающемуся в последнем стремлению». Поскольку интерес обуславливает энергию стремления, он является побудительной причиной или мотивом. С волюнтаристической точки зрения легко назвать «интересом» и цель данного действия; вообще, понятие о «мотиве-цели» (*Zweckmotiv*) играет весьма существенную роль в подобного рода построениях⁶¹.

Следует иметь в виду, наконец, что степень энергии или настойчивости мотива ведет и к соответствующим изменениям в степени напряженности, решительности, быстроты действия и т. п.; значит,

⁶⁰ *Hermann F. B. W. Staatswirtschaftliche Untersuchungen. 2 Aufl. S. 5.*

⁶¹ *Lipps Th. Leitfaden der Psychologie. 2 Aufl., 1903. S. 248 ff.; Lacombe P. Op. cit. P. 35 et ss. ср. выше, с. 97.*

можно исследовать такую связь с точки зрения ее интенсивности; но качественные различия между мотивами обуславливают и соответственные различия в действиях; преимущественно с последней точки зрения приходится изучать комбинации мотивов и порождаемых ими поступков или деятельностей.

В самом деле, социолог или историк имеют дело не с отвлеченно взятым мотивом и соответствующим действием, а с целыми группами или рядами мотивов, которые соответственно вызывают или поступки, или деятельности; он должен, например, принимать во внимание кроме «обстоятельств» и характер действующего лица, а также его настроение и мотивы в узком смысле для того, чтобы «предсказывать его поведение»⁶². Самое понятие о мотиве-цели уже предполагает сложную комбинацию мотивов, вызывающих тот поступок или ту деятельность, которые направлены к достижению цели. Следовательно, под условием представления о цели, к достижению которой данный субъект стремится, можно комбинировать целые группы или ряды мотивов, соответственно вызывающих те, а не иные поступки или деятельность, можно говорить об определенном ее направлении. С такой точки зрения, однако, сама комбинация изучается в зависимости от связанного с нею результата или факта.

В том же психологическом смысле приверженцы номотетического направления пользуются принципом причинно-следственности и для построения целого законосообразного ряда исторических фактов: только в таких случаях субъект мотивации — данная коллективность или социальная группа, обладающая «общей волей», а ее действия — ряд исторических фактов (см. ниже).

Сами приверженцы номотетического построения истории указывают, однако, на то, что принцип причинно-следственности прилагается к ней не без ограничений: они признают, например, что из данного мотива можно вывести данное действие лишь путем отвлечения от действительности: в действительности историк всегда встречается с комбинациями мотивов, при объяснении которых он должен исходить из данного факта; из окружающих объективно данных условий он, значит, не может вывести результат действия психических мотивов в силу принципа творческого синтеза, всегда качественно отличающегося от суммы мотивов; следовательно, он должен судить о них лишь после того, как такое действие наступило на самом деле. Те из представителей разбираемого направления, которые

⁶² *Mill J. S. Logic. B. VI, ch. II, § 2; в Exam. of Sir W. Hamilton's philosophy* автор рассуждает о «desires, aversions, habits and dispositions»; см. p. 561.

не считают возможным признать личность только фокусом внешних условий, на которые она может быть разложена без остатка, готовы пойти на дальнейшие уступки: в данном факте, кроме общих свойств душевной жизни человека, по их мнению, надо иметь в виду и временные его свойства, и его индивидуальность; последняя, поскольку она вызывает данный факт, единична, да и такой факт тоже единичен, т. е. оказывается «событием», которое не поддается научно-обобщающему объяснению (*événement*). В последнем смысле событие есть случайность, которую нельзя предвидеть до ее появления и нельзя объяснить без остатка. Впрочем, можно с обобщающей точки зрения изучать и событие, поскольку оно принимается данной средой, вызывает подражание и, значит, повторяется в ней; в таком смысле событие превращается в «учреждение» (*institution*). Само собою разумеется, что возможно и обратное явление, т. е. превращение «учреждения» в «событие»: по мере его обветшания все меньшее число людей будут признавать его, подчиняться ему в своих действиях и т. п., пока круг таких людей не сузится до одного⁶³.

С обобщающей точки зрения, характеризующей вышеприведенную теорию, можно все же сказать, что если дан известный мотив, то он должен (в логическом смысле) порождать соответствующее действие, т. е. должен всегда вызывать при одних и тех же условиях одно и то же действие. С той же обобщающей точки зрения можно пользоваться известным учением о «заменяемости» данного индивидуума другим, принимаемым статистикой, и сказать, что когда дело идет об установлении общего (т. е. сходного) между людьми, действие одного из них с обобщающей исторической точки зрения признается равнозначимым действию любого из остальных⁶⁴.

Для того, однако, чтобы иметь основание утверждать, что некое соотношение между причиной и следствием повторяется в действительности, т. е. не только повторялось, но и будет повторяться, историку-психологу нужно сделать еще одну предпосылку; кроме постоянства внешних физических условий человеческой жизни, ему надо признать, что и психофизическая природа человека вообще оказывается единообразной.

Если придавать понятию о единообразии природы безусловно общее значение, то оно, подобно понятию о необходимости законов природы, не выводимо из опыта, ибо в основе понятия о единообразии уже лежит понятие о «законах» психической жизни. В самом

⁶³ Wundt W. Logik. В. II. 2, 3 Aufl. S. 108; Lacombe P. Op. cit. P. 10, 65, 249, 264.

⁶⁴ Lacombe P. Op. cit. P. 12.

деле, наблюдения говорят нам только о том, что было доселе, а закон об единообразии природы имеет в виду не только прошедший, но и будущий порядок вещей; чтобы из прошедшего делать, однако, точные заключения о будущем, нужно уже иметь заранее уверенность в единообразии порядка природы. Следовательно, «доказательство этой истины на точке зрения эмпиризма всегда предполагает ее же самую»; в частности то же, разумеется, следует сказать и относительно понятия о единообразии психической природы человека. Во всяком случае, даже относительно общее понятие об единообразии психофизической природы человека, хотя бы в известных пределах, есть своего рода предпосылка в том смысле, что не все ранее бывшие случаи действительно наблюдались исследователем и все будущие случаи им, конечно, еще не наблюдались; пользуясь статистическим методом подсчета наблюдаемых случаев, он может только установить степень вероятности того, что его предсказания оправдаются в действительности и относительно тех случаев, которых он не наблюдал. Тем не менее предпосылка о единообразии психофизической природы человека и повторяемости человеческих действий, по мнению приверженцев номотетического направления, подтверждается эмпирическим путем. С первого взгляда действительно кажется, что легко вывести из постоянного действия одной и той же внешней материальной среды единообразие физической природы человека, а следовательно, анатомических и физиологических его особенностей, в том числе и мозга; если последний окажется в известных пределах единообразным (т. е. отклонения от средней будут малозначительны), то в таком единообразии можно было бы усматривать существенный внешний признак единообразия человеческой природы и в психическом отношении. Утверждения подобного рода эмпирически, однако, все еще очень мало обоснованы⁶⁵.

Следует заметить также, что и содержание нашего понятия о единообразии человеческой психики, в сущности, конструируется нами: ведь в понятие такого единообразия мы включаем умопостигаемые свойства человеческой природы, т. е. все то, что мы покрываем термином «одушевление», а самый термин употребляем в конститутивном смысле, т. е. приписываем его содержанию объективно-реальное значение; он получает такое значение тогда, когда мы понимаем его

⁶⁵ *Topinard P. Eléments*. P. 571 и др.; автор располагал при определении веса человеческого мозга 11 000 случаями для европейских мозгов, затем 190 случаями для негров, 18 — для аннамитов и т. п.; да и вес мозга, даже относительный, едва ли можно признать вполне надежным признаком данной психики.

как постоянство известных объективно данных и наследственно передаваемых общих признаков данного вида особей; но применять подобного рода конструкцию к понятию о единообразии психической природы человека затруднительно; даже физиологи рассуждают скорее о наследственности предрасположений, а не самих психических состояний и не признают наследственной передачи сознательных актов. В настоящее время наряду с наследственностью в органическом смысле ставят подражание, воспитание и т. п. процессы в мире психическом. Каковы бы ни были, однако, факторы и процессы подобного рода, они обуславливают длительное единообразие психических свойств человеческой природы, а значит, и повторяемость человеческих действий.

Впрочем, понятие о единообразии психофизической природы безусловно связано с понятием о ее постоянстве, исключающем всякое изменение: единообразие может быть и в изменении; историк с номотетической точки зрения стремится подметить сходство в повторяющихся рядах изменений и установить в вышеуказанном смысле общие законы образования однородных эволюционных серий⁶⁶.

Таким образом, опираясь на понятие о единообразии психофизической природы человека, в сущности очень мало выясненное представителями номотетического направления, можно рассуждать об осуществлении законов, т. е. о повторяемости установленных с психологической точки зрения причинно-следственных соотношений в исторической действительности. С такой точки зрения некоторые историки охотно говорят о повторяемости фактов, подлежащих их изучению⁶⁷.

При номотетическом построении исторической науки историк не может, однако, ограничиться вышеуказанными принципами: он пользуется еще многими другими понятиями, в особенности понятиями о «консенсусе» и об эволюции; они давно уже получили существенное значение в социологии, а оттуда перешли и в историю; принцип причинно-следственности комбинируется в каждом из них с другими понятиями.

Понятие о целом, под условием которого мыслятся его части, например, находится в тесной связи с понятием о консенсусе элементов данной системы⁶⁸; но историки-социологи мало останавливаются

⁶⁶ См. ниже, § 2.

⁶⁷ *Breysig K. Einzigkeit und Wiederholung geschichtlicher Tatsachen // Jahrbuch für Gesetzgebung* и проч. В. XXIII. S. 1–45.

⁶⁸ *Comte A. Cours. T. IV, 2 éd. P. 260; Système de pol. pos. T. 1. P. 641.*

на выяснении таких предпосылок и обыкновенно пользуются понятием о консенсусе с более реалистической точки зрения, опираясь, главным образом, на принцип причинно-следственности или взаимозависимости элементов данной системы.

В самом деле, понятие о консенсусе в наиболее элементарном, механическом его значении сводится к понятию о системе, все элементы которой находятся во взаимной зависимости друг от друга; с изменением одного из ее элементов, приводящего в разные комбинации с другими, происходит изменение и во всей системе.

Понятие о консенсусе можно применять или со статической, или с динамической точки зрения. Со статической точки зрения равновесие такой системы характеризуется согласованностью координированных ее элементов, их соответствием друг с другом. С динамической точки зрения то же понятие обуславливает собою понятие о движении элементов *a, b, c, d, ... n*, не ведущем, однако, к разложению данной их группы: «без консенсуса нельзя мыслить элементы данной системы движущимися, так как в противном случае движение их привело бы к полному разложению всей системы»⁶⁹.

Понятие о консенсусе, предложенное выше, давно уже получило свое приложение и для построения понятия об организме; в самом деле, организованное существо, по словам одного из представителей естествознания начала прошлого века, есть единое целое, некая совокупность частей, которые воздействуют друг на друга: ни одна из частей организма не может быть подвергнута существенному изменению, без того чтобы оно не отразилось на состоянии всех остальных; но такое понятие конструируется при помощи еще одного принципа — телеологического; части органического целого представляются нам воздействующими друг на друга «для того, чтобы произвести общее действие».

Органическая школа социологии, конечно, способствовала перенесению такого понятия и в социологию, и в историю; но и независимо от вышеуказанного направления историки-социологи стали рассуждать о «солидарности между элементами данной социальной системы» и о «системе культуры». В самом деле, понятие консенсуса получает широкое применение для построения понятия о системе культуры, части которой находятся в взаимозависимости и в известном соответствии друг с другом; но последнее понятие нуждается еще в одном принципе: лишь возводя его к понятию о единстве сознания

⁶⁹ Comte A. Cours, 2 éd. T. IV. P. 270.

данной социальной группы, т. е. к ее самосознанию, можно придавать ему значение для построения системы культуры.

Вместе с понятием консенсуса историки-социологи постоянно пользуются и понятием эволюции для обобщений в области истории; несмотря на то что понятие об эволюции играет весьма важную роль в их построениях, оно все еще остается очень маловыясненным.

В самом деле, сторонники исторических обобщений далеко не всегда придают термину «эволюция» одинаковое значение: обыкновенно слишком мало обращая внимание на понятие об эволюционном целом, они останавливаются лишь на понятии об эволюционном процессе; с такой точки зрения они вообще называют эволюцией непрерывный ряд изменений, связанных между собой в причинно-следственном смысле, поскольку каждое последующее зависит от предшествующего, и совершающихся в определенном направлении. Такое понятие получает, однако, различное специфическое значение, в зависимости от того, конструировать его с механической, биологической или психологической точки зрения.

Один из наиболее видных представителей эволюционизма, например, скорее рассуждает о «становлении» (*Werden*), чем об эволюции, и ограничиваясь принципом причинно-следственности, пытается формулировать рассматриваемое понятие в механическом смысле: он признает причинно-следственное отношение между «силой», «преобладающей» в мире, и двумя процессами эволюции — перераспределением материи и перераспределением силы, удерживаемой в себе материей; каждое из таких перераспределений, представляющих соответственные и одинаково важные стороны одного и того же процесса, совершается тремя путями: путем интеграции и дифференциации, соотносительных между собою, а также путем перехода неопределенно-однородного к определенно-разнородному; следовательно, «эволюция есть интеграция материи, сопровождаемая расточением (*dissipation*) движения, причем материя переходит от неопределенной однородности к определенной разнородности и удержанное ею движение подвергается такому же превращению»; обратный процесс можно назвать «диссолюцией»; автор вышеизложенной теории приходит к заключению, что мировой процесс состоит, собственно говоря, не в эволюции или диссолюции, а в чередовании эволюции и диссолюции, т. е. в чередующемся повторении эволюций и диссолюций всего мира⁷⁰.

Такое понятие об эволюции слишком мало удовлетворяет, однако, запросам наук, изучающих жизнь организмов или человеческих об-

⁷⁰ *Spencer H. First Principles*, особенно § 60 и след., 92–145, 183.

шеств. При пользовании понятием развития применительно к изучению органической жизни его конструируют не без помощи телеологического принципа; под условием как бы некоей цели, результата эволюции данные изменения и представляются нам в виде непрерывного ряда, каждое последующее звено которого находится в причинно-следственном отношении к предшествующему. Такая телеология получает даже конститутивное, а не одно только регулятивное значение, если уже в организованной материи признавать наличность «стремлений», т. е. зачатков «воли»: «воля» организма становится своего рода фактором его развития; она играет роль, например, в образовании действий, которые повторяются и становятся вслед за тем привычками и инстинктами⁷¹. Вместе с тем теория эволюции в биологическом смысле выдвигает еще понятие о факторах эволюционного процесса и об его стадиях; биологи рассуждают, например, о внутренних и внешних факторах развития, о значении в нем функциональной деятельности органов, упражнения и волевых стремлений, о наследственности прирожденных или благоприобретенных свойств; о роли среды или изменений в условиях существования организма, о борьбе за существование, об отборе; о приспособлении живого существа к условиям среды и т. п.; они также принимают во внимание стадии развития данного организма, что обнаруживается хотя бы в аналогии (теперь, впрочем, принимаемой не без ограничений) между онтогенезом и филогенезом.

Вышеуказанные понятия в более или менее переработанном виде входят в состав еще более сложного понятия об эволюции, а именно — исторической. Легко было бы указать на попытки применить даже чисто биологическое понимание эволюции и к историческому процессу: самый выдающийся представитель биометрических исследований, например, полагает, что «стадии социального развития» можно свести к двум «великим факторам эволюции — к борьбе за пищу и к половому инстинкту»; но многие склоняются к построению столь сложного понятия с психогенетической точки зрения.

Впрочем, понятие психогенезиса получает разные оттенки, в зависимости от того, изучает ученый происхождение сознания или его дальнейшее развитие; если происхождение сознания можно исследовать, то, очевидно, лишь с биологической или психофизической точки зрения: в таком случае происхождение жизни и органическое разви-

⁷¹ *Wundt W. Logik. Bd. II. 1 (2 Aufl.). S. 540, 550 ff., 579 ff.*; впрочем, вместо терминологии, принятой в тексте, автор рассуждает о «субъективной» и «объективной» телеологии.

тие признаются «подготовительными стадиями» духовного развития; но если исходить из понятия о данном хотя бы в зачаточном виде сознании, то и развитие его можно представить себе преимущественно с психологической точки зрения. В сущности, те, которые пользуются далеко еще не установленными понятиями о «психической энергии» или о «психической работе» и т. п., уже приближаются к последнему пониманию; они допускают, что психическая энергия возрастает: с течением времени она вообще получает такую концентрацию и организацию, при которых ценность ее увеличивается, что, впрочем, еще не ведет к отрицанию возможности в некоторых случаях и ее убывания⁷². Такое понятие о психогенезисе, однако, слишком мало принимает во внимание особенности сознания; потребность выяснить их вызывает появление других схем. Можно характеризовать, например, развитие сознания тремя стадиями, а именно: «проективной, субъективной и элективной», смотря по тому, обнаруживает его субъект в смутном еще различении одушевленных существ от остальной среды или начинает противопоставлять себя другим, или пользуется своим внутренним опытом для понимания чужих «Я», в отношении к которым он определяет и свое собственное «Я», теперь уже получающее социальный характер⁷³. В духе волюнтаристической психологии можно было бы характеризовать развитие сознания главным образом развитием воли, находящейся в тесной связи с целеполаганием, и значит, с «объективно-телеологической» точки зрения конструировать ее эволюцию; а главнейшие моменты последней могли бы служить для характеристики главнейших стадий истории культуры.

Итак, можно сказать, что историк изучает историческую эволюцию с психогенетической, а не с чисто биологической точки зрения: он всегда предпосылает действительное существование одушевления той социальной группы, развитие которой он строит; он прежде всего и главным образом интересуется развитием ее «души»; значит, он в сущности устанавливает и принципы построения понятия об исторической эволюции с психогенетической точки зрения. Телеология в понятии об исторической эволюции получает, например, такое значение, в особенности если понятию о цели данного процесса приписывать конститутивный, а не регулятивный характер: индивиду-

⁷² *Wundt W. Logik. В. III. 3 Aufl. S. 421*; впрочем, автор с волюнтаристической точки зрения дает целый ряд эволюционных схем и для отдельных проявлений сознания — для мышления, для языка, для нравственности и т. п.

⁷³ *Baldwin J. M. Mental development in the child and race, 2 ed., 1897. P. 335. Social and Ethical interpretations in mental development. N. - L., 1897. P. 7-9, 514, 564.*

альный или коллективный субъект эволюции рассматривается в качестве целеполагающего, и с точки зрения его объективно данной цели (идеи) строится и ряд его действий, получающий вид эволюционной серии. В конструкциях подобного рода причинно-следственная зависимость между звеньями исторической эволюции характеризуется телеологической мотивацией, уже указанной выше; действия коллективного субъекта эволюции располагаются в ряд в отношении их к мотиву-цели, которую он себе поставил, благодаря чему и проявления общей данной социальной группе психики, т. е. ее действия, продукты культуры и т. п. получают соответствующее положение в эволюционной серии. Впрочем, вышеуказанная точка зрения не мешает представителям номотетического направления стремиться «возможно дальше» провести причинно-следственное понимание и в построении исторической эволюции⁷⁴.

Итак, историк-социолог, пользующийся понятием исторической эволюции, вкладывает в него очень сложное содержание. В таком случае он имеет дело с коллективным субъектом эволюции: он изучает психогенезис социальной группы, народа, государства и т. п.; подобно биологу, он интересуется факторами и стадиями эволюционного процесса; он, конечно, подчеркивает преимущественно значение в нем коллективных «социально-психических» факторов сравнительно с индивидуальными или «индивидуально-психическими» и соответственно главнейшим моментам такого психогенезиса устанавливает «типические» стадии культуры; он характеризует каждую из них присущей ей «психической механикой» и выясняет ее связь с предшествующей и с последующей в причинно-следственном смысле; он представляет себе «каждое последующее социальное состояние как необходимый результат предшествующего и столь же нужный двигатель последующего»⁷⁵; не упуская из виду данных условий внешней среды, он изучает влияние, оказываемое субъектом эволюции (народом и т. п.) вместе с порожденными им продуктами культуры на образование последующего его состояния и т. п.

Сами представители разбираемого построения предпочитают рассуждать об эволюции, изучение которой оказывается наиболее характерным для «новейшего» понимания истории, и не признают понятия о прогрессе (и регрессе) «научной категорией» исторического знания: не выясняя понятий о ценности, отнесения к ценно-

⁷⁴ *Lamprecht K.* Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft. Berl., 1896. S. 9.

⁷⁵ *Comte A.* Cours. T. IV, 2 éd. P. 263; cf. p. 282 et ss.; *Wundt W.* Völkerpsychologie. Bd. I, 1. S. 426; *Lamprecht K.* Die Kulturhistorische Methode. S. 27–28 и др.

сти и оценке, они усматривают в понятиях о прогрессе или регрессе лишь субъективные, научно не обоснованные построения. Можно указать, однако, и на таких ученых, которые ставят понятие о прогрессе в связь с принципом «возрастания психической энергии» или со стремлением «людей к счастью» и т. п., а значит, в обратном соответственном смысле конструируют и понятие о регрессе или даже придают понятию о прогрессе характер нравственного постулата, соответственно видоизменяя и понятие о регрессе⁷⁶.

Следует заметить, наконец, что понятие консенсуса можно комбинировать с понятием эволюции, предполагая его или между членами одной и той же эволюционной серии, или между несколькими эволюционными сериями. Согласованность членов одной и той же эволюции признается, например, в тех случаях, когда историки рассуждают о том, что «характер и дух расы» вместе с порожденными ею продуктами обуславливают появление какого-либо следующего за ними продукта: последний должен в некоторой мере сообразоваться с предшествующими⁷⁷. Согласованность эволюционных серий принимается во внимание, когда историки признают влияние их друг на друга, например влияние развития одной науки на развитие другой или влияние развития науки на развитие техники или обратно.

Приверженцы номотетического направления пользуются вышеуказанными понятиями для номологических и типологических обобщений, т. е. для построения исторических законов или эмпирических обобщений, а также для установления типов в области истории. В номологических обобщениях принцип причинно-следственности и понятие о единообразии человеческой природы служат главным образом для выяснения законосообразного отношения между данным племенным, в особенности национальным, или культурным типом и соответствующими продуктами культуры; понятия же о консенсусе и об эволюции нужны для формулировки «законов консенсуса» и «законов эволюции», а также имеются в виду при эмпирических обобщениях. В связи с понятием о типе (см. ниже) те же понятия о консенсусе и эволюции получают значение и для типологических обобщений.

⁷⁶ *Comte A. Cours. T. IV, 2 éd. P. 261 ss.*; в отличие от Тюрго, Кондорсэ, Гердера и др., Конт уже рассуждает, по крайней мере в общей теории, главным образом о развитии (*développement*), а не о «совершенствовании» (*perfectionnement*). Лампрехт также высказывает аналогичные взгляды. Вундт говорит о возрастании психической энергии, Спенсер и Лакомб о стремлении людей к счастью; ср. *Wundt W. Logik. Bd. II, 2, 3-te Aufl. S. 455 ff.*

⁷⁷ *Taine H. Essais de critique, 1866. Préf. P. xx-xxi.*

§2. *Номологические обобщения*

В числе номологических исторических обобщений наиболее совершенными, конечно, следовало бы признать «исторические законы», если бы таковые были открыты. Под историческими законами сторонники разбираемого направления понимают, однако, довольно различные понятия; некоторые из них рассуждают, например, скорее о перенесении законов психологии в историю, чем об «исторических законах» в строгом смысле слова; другие пытаются ближе подойти к построению собственно-исторических законов.

С психологической точки зрения, изучая исторический материал, можно придти к заключению, что «психологические законы человеческой природы общи всякому историческому бытию» и что психологические законосообразности лежат в основе тех «исторических законов», которые ученые будто бы открывали в истории. В сущности, можно в таком смысле понимать, например, законы Конта и Бокля; то же следует сказать и относительно попытки Вундта «непосредственно» перенести свои психические «принципы» в область истории; с точки зрения общей психологии, а не «характерологии» (этологии Милля) или народной психологии он строит три закона истории: закон исторических производных, закон взаимозависимости исторических явлений и закон исторических контрастов. Для примера я приведу формулировку первого и третьего «законов» Вундта. Первый получается путем приложения психологического принципа творческого синтеза к области истории и сводится к следующему положению: «каждый исторический продукт (*Inhalt der Geschichte*), будь то историческое событие, историческая личность или исторически образовавшееся состояние культуры, есть результат действия множества исторических условий, с которыми он находится в такой связи, что качественная природа каждого отдельного условия продолжает обнаруживать в нем свое действие; но вместе с тем он получает новый и своеобразный характер; последний, правда, можно вывести путем исторического анализа из комбинации этих исторических факторов, но нигде нельзя получить его путем их априорного синтеза». Благодаря «непосредственному» приложению другого принципа, а именно «принципа» взаимного усиления контрастов, к истории Вундт получает «закон», который он формулирует следующим образом: «в тех случаях, когда определенная историческая тенденция достигла при господстве наличных условий и данных предрасположений наивысшей степени (своего развития), сила, продолжающая действовать в том же направлении, побуждает противоположные ранее обнару-

жившейся тенденции стремления, что и ведет к образованию качественно новых проявлений»⁷⁸.

Нельзя не заметить, однако, что попытки подобного рода психологических обобщений еще не дают «исторических законов» в строгом смысле слова. В одном месте сам Вундт называет установленное им положение об «исторических производных» «принципом», а не законом; и действительно, не говоря о более широком приложении такого положения, его, конечно, можно признать методологическим принципом исторического исследования, но не законом исторических явлений. «Закон контрастов», в сущности, также нельзя назвать законом; Вундт едва ли правильно устанавливает в нем причинно-следственную связь между определенной причиной и действием; да ее и нельзя установить, так как данная тенденция сама по себе еще не может вызвать реакции; причина последней, например, в отвращении к прежнему состоянию, в усталости, им вызванной, что не введено в формулу «закона»; он также не определяет степени напряжения, нужной для того, чтобы ожидаемое следствие наступило: легко представить себе случаи, когда напряжение, достигшее высшей степени, ведет к кризису, к смерти и т. п., т. е. не к тому последствию, которое имеется в виду в «законе контрастов».

Впрочем, если даже и называть такие обобщения законами в строгом смысле слова, все же вопрос о том, можно ли признать их собственно «историческими законами», остается еще открытым; последние представляются, по меньшей мере, гораздо более сложными. С априорно-психологической точки зрения хотя и можно рассуждать о законосообразности в области истории, но нельзя еще чисто психологические отвлечения называть собственно «историческими законами». В самом деле, если психология строит закономерность явлений душевной жизни — ее законы и если она действительно лежит в основе наук о духе, значит, и в основе истории, то, следовательно, закономерность должна быть и в области явлений исторических; но не чисто отвлеченные «законы» психологии (т. е. законы чувств, «идей» и проч.), а сложные комбинации их должны объяснять историю, и только если предполагать, что законы комбинаций подобного рода законов могут быть установлены, можно будет говорить и о законах истории. С такой априорной точки зрения принципиально отрицать какую-либо возможность выработки исторических законов нельзя; можно только указывать на сложность комбинаций факторов, лишаящую нас воз-

⁷⁸ Wundt W. Logik. В. II. 2, 3 Aufl. S. 381 ff., 430 ff.; что же касается «закона взаимозависимости», то ср. о нем выше, с. 105 и ниже.

возможности подводить под законы такие комбинации, а значит, и связь их с порождаемыми ими продуктами.

Законосообразное отношение между комбинацией факторов и ее результатом предполагает законосообразность самой комбинации, а не только простую данность ее, и законосообразность связи ее с порождаемым ею следствием или результатом, а также наличие гораздо более сложных условий, нужных для ее осуществления и для получения данного результата: для своего осуществления простой результат нуждается, очевидно, в меньшем количестве условий, чем сложный результат; последний, значит, реже повторяется. Следовательно, установить законообразность сложного отношения, по меньшей мере, гораздо труднее, чем усмотреть законообразность простого причинно-следственного соотношения; но в случае удачи и такое обобщение, очевидно, будет менее отвлеченным, чем простое причинно-следственное отношение: даже если бы удалось установить его, едва ли можно было бы предполагать частую повторяемость его в действительности. Отсюда можно заключить, что понятие о сложном причинно-следственном отношении, в каком находится комбинация причин или факторов к их результату или продукту, будучи менее отвлеченным и обозначая последовательность, которая реже повторяется в действительности, в таком смысле будет более частным, чем понятие о простом причинно-следственном отношении.

В сущности историк-социолог превращает законы комбинаций психологических факторов в типизацию их, но он придает типическим комбинациям значение реальных факторов. При помощи такого построения историк-социолог вырабатывает понятия, которые я назову понятием о племенном (или, в более узком смысле, о национальном) типе и понятием о культурном типе (данного периода); если приравнять названные типы к реальным комбинациям причин, можно ставить их действия в связь с соответствующими культурными продуктами.

В основе обоих понятий лежит мысль о законосообразной комбинации психических факторов, соответственно производящей при тождественности условий одни и те же следствия: только постоянство такого соотношения в понятии о племенном типе строится преимущественно во времени, а в понятии о культурном типе — преимущественно в пространстве: в данный период времени культурный тип общественных групп, не принадлежащих к одному и тому же племени, может оказаться общим им⁷⁹. Различие указанных точек зрения видно из того,

⁷⁹ *Mill J. S. Logic. B. VI. Ch. 9, §4*; здесь автор уже заметил, что «политическая это-

что, рассуждая о племенном типе, мы говорим: все люди, принадлежащие данному племени, хотя бы они были разных поколений, должны иметь нечто общее между собой в психическом отношении; а рассуждая о культурном типе, мы говорим: все люди, находящиеся на данной стадии развития культуры, хотя бы они принадлежали к разным племенам (нациям), должны иметь нечто сходное или общее между собою в психическом отношении; комбинация же психических факторов, характеризующая данный племенной или культурный тип, до тех пор, пока условия ее действия остаются постоянными, должна вызывать и соответственно одинаковые последствия или продукты культуры. Познакомимся вкратце с каждым из этих построений в отдельности.

Историки-социологи охотно рассуждают о расе и ее влиянии на ход истории. Под «расой некоторые из них разумеют врожденные и наследственные наклонности (*dispositions*), которые человек приносит с собою, когда является на свет» (Тэн). В расе следует различать, однако, понятие о единообразии физических свойств от понятия о единообразии психических признаков. По примеру старых и новых авторитетов я предпочитаю употреблять термин «раса» в смысле совокупности особей, обнаруживающих единообразие физических свойств, т. е. внешнего вида, анатомической структуры и физиологических отклонений, а для обозначения понятия о единообразии преимущественно психических признаков буду пользоваться термином «племенной тип» или описательным выражением «психический тип данного племени»⁸⁰. Такое различие основано на следующих соображениях. Даже с материалистической точки зрения нельзя без дальнейших доказательств отождествлять известные нам расовые признаки с какими-либо психическими особенностями данного племени или народа; правильнее отличать последние, называя преимущественно их совокупность особым термином; далее, чистых рас теперь, пожалуй, нет: особенности данной расы рассеяны в особях, принадлежащих раз-

логия» есть «теория причин, определяющих тип характера какого-либо народа или какой-либо эпохи».

⁸⁰ Herder J. Ideen, IV, 5; Ratzel F. Anthropogeographie; последний пишет: «Die Rassen werden immer nur auf die körperliche Uebereinstimmung zu gründen sein». Не говоря о более ранних историках (например, Тьерри), заметим, что Тэн придал тому же понятию главенствующее значение в своем известном построении; что Гобино чрезмерно преувеличил, а отчасти и извратил значение «рас», их «чистоты» или помесей в истории; что Гобино оказал влияние на Гумпловича; что Ренан также увлекался рассуждениями о «гении» расы; что Лапуж (Lapouge) рассуждает о расе преимущественно в зоологическом смысле и т. п.

ным народам; наконец, в «племенном типе» наследственность осложняется подражанием и т. п. (ср. выше). Итак, не следует смешивать понятие о единообразии физических признаков особой данной совокупности с понятием о единообразии их психических свойств; такие единообразия, правда, находятся в некоторой связи между собою, и известные нам расовые различия обуславливают некоторые различия в психике, а значит, отражаются и в продуктах культуры — в языке, религии, искусстве, материальном быте, нравах и т. п.; но они отражаются в подобного рода продуктах косвенно, через посредство данной психики; следовательно, можно оттенять ту точку зрения, с которой мы интересуемся совокупностью людей, главным образом, в той мере, в какой они обладают общими им психическими свойствами, отличающими ее (в данной комбинации) от других совокупностей; в таких случаях удобно говорить о «племенном типе» или, еще точнее, о «психическом типе данного племени», например индоевропейского. В более узком смысле можно, конечно, для тех же целей пользоваться и термином «национальный тип»; но оттеняя в понятии о нем наш интерес к его психике, еще правильнее рассуждать о «психическом типе данной нации» и т. п.

Подобно тому как психолог устанавливает известные типы характеров отдельных индивидуумов, причем усматривает некоторые закономерности в соотношении между характером данного типа и соответствующими поступками, так и историк может стремиться построить психический тип данного племени или народа и его свойствами объяснять соответствующие массовые движения и продукты культуры. С такой точки зрения общие черты, характеризующие данный тип, признаются общими и постоянными причинами, обуславливающими данную культуру. Для теоретического построения такой комбинации и ее законосообразности надо брать человека с теми основными чертами психики, которые оказываются общими данному племени или данной нации, и установить ту «систему чувствований и идей», которая предопределяет соответствующую культуру, например религию, философию, поэзию, промышленность и формы общественной жизни данного племени или народа (Тэн).

Обыкновенно полагают, что расы образовались путем приспособления, отбора и наследственности; психические свойства рас развились, однако, под влиянием не только физической, но и социальной среды; последняя имеет значение в образовании племенных или национальных особенностей⁸¹. Попытки характеризовать расы та-

⁸¹ *Taine H. Histoire de la littérature anglaise. T. I. Préf.*

кими психическими признаками до сих пор, однако, оказываются довольно шаткими и вызывают сомнения. Для черной расы указывают, например, следующие признаки: чувственность, подвижность, лень, отсутствие инициативы и подражательность, влечение к удовольствиям, страстную любовь к пению и танцам, к уборам и побрякушкам, легкомыслие, непредусмотрительность, отвращение от одиночества, влюбчивость, болтливость, способность к преданности, к ненависти и мести; в результате такие свойства, неспособные образовывать какие-либо выдающиеся продукты культуры, приводили к поражению более «высокими расами» тех, кто обладает ими. «Долихокефалов» «желтой расы» также пытались характеризовать, указывая, например, на то, что они желчно-нервны (меланхоличны), с сильной волей, с большими умственными способностями, скупы и религиозны, и с вышеуказанной точки зрения считали возможным объяснять их роль в истории и т. п.⁸² Впрочем, нельзя, конечно, отрицать, что между людьми одной и той же расы, даже рассеявшимися по лицу земного шара, могут быть общие черты психики и культуры. При всей своей разбросанности в пределах очень широкого пространства индоевропейцы, например, по мнению некоторых ученых, все же представляют сходные черты в культуре — прежде всего в языке⁸³; но если между индоевропейскими языками можно установить родство в лингвистическом отношении, то, помня, что язык — уже своего рода психический продукт, позволительно предполагать, что индоевропейцы обнаруживали некоторую отпечатлевшуюся в их праязыке общность идей; сходство, вероятно, существовало и в некоторых других продуктах их культуры. Тем не менее к подобного рода выводам, касающимся глубокой древности, надо относиться с крайней осторожностью, да и прилагать их к последующему времени едва ли возможно без дальнейших ограничений: в таком случае приходится говорить не о «расе», а о народах, характер которых слагался под влиянием целого ряда исторических обстоятельств и мог обуславливать в известных пределах места и времени соответствующие продукты культуры.

Тем не менее при постоянстве данной физической среды, влиянию которой данный народ подвергался долгое время, можно говорить о некотором единообразии его психического типа в известных пределах пространства и времени и с такой точки зрения объяснять об-

⁸² *Fouillée A.* Tempérament et caractère. Par., 1895. P. 326–331; ср. еще *Taine H.* Hist. de la littérature anglaise. T. I. Préf.

⁸³ *Herder J.* Ideen, IX, 2; «In jeder Sprache ist der Verstand eines Volkes und sein Charaktergeprägt»; *Schrader O.* Sprachvergleichung und Urgeschichte, 3-te Aufl.

разование относительно устойчивых элементов и форм культуры, которые в свою очередь поддерживают единообразие самого типа. В таком виде, например, китайцы и египтяне представляются некоторым историкам культуры; или недавно англичане были охарактеризованы как тип «деятельных», т. е. такой тип, главная характерная черта которого — стремление к деятельности, нуждающееся в каком-либо удовлетворении; при этом способы удовлетворения могут быть весьма разнообразны, начиная от спорта и кончая усиленным и выдержанным трудом, без которого нельзя достигнуть высокой культуры⁸⁴.

Не мешает заметить, что особенности, прочно усвоенные данным народом, могут продолжать обнаруживаться и в изменившихся условиях физической среды; но длительное влияние новых условий не может, конечно, не отразиться на «национальном типе»; стоит только сравнить хотя бы англичан с американцами.

Наконец, можно стремиться к выяснению психического типа не народа, а отдельного сословия или класса, иногда довольно резко отличающегося от других; ведь психика разных сословий может быть различной. Такой тип признается комбинацией главнейших факторов, порождающих явления сословной исключительности, борьбы классов и т. п.

Во всех вышеприведенных конструкциях данный групповой тип (племя, народ, общественный слой и т. п.) предполагается наделенным характерной для него психикой; основываясь на ее изучении, можно выводить из нее в качестве соответствующих следствий проявления культуры и даже пытаться предсказывать их в будущем, хотя бы ближайшем. Повторяемость таких продуктов можно понимать, однако, в различных смыслах: или в том, что разные народы или разные люди, принадлежащие к одной и той же народности и сходные по типу, производят сходные продукты, сосуществующие в пространстве; или в том, что одно и то же племя, один и тот же народ представляет достаточно устойчивый тип и порождает однородные продукты культуры, возникающие благодаря людям преемственно следующих поколений и, значит, повторяющиеся во времени; вышеприведенные рассуждения о китайцах, египтянах, англичанах и т. п. ведутся с точки зрения повторяемости сходных продуктов китайской, египетской, английской и т. п. культуры или в пространстве, или во времени; но последний вывод всего более мог бы соответствовать задаче исторического обобщения.

⁸⁴ *Boutmy*. *Essai d'une psychologie politique du peuple anglais au XIX sc.*, p. 9–10, «le goût spontané la passion gratuite de l'effort pour l'effort».

Некоторые ученые смешивали понятие о национальном типе с понятием о культурном типе и придавали известным народностям значение постоянных культурно-исторических типов⁸⁵. Не говоря уже о том, что естественнонаучную предпосылку этой теории нельзя признать правильной, такое построение противоречит и собственно историческим фактам: ведь один и тот же народ в разные периоды своего развития может принадлежать разным культурным типам; вместе с тем нельзя не заметить, что и разные слои одного и того же общества могут оказаться разных культурных типов; стоит только припомнить хотя бы тип «первобытного человека» или тип «светского человека», не столько связанного с своим народом, сколько подчиняющегося условностям того международно-общественного круга, к которому он принадлежит.

Под культурным типом данной общественной группы можно разуметь то сочетание факторов ее психики и культуры, совокупным действием которых социальные течения или возникновение культурных продуктов известного периода объясняются. Понятие о культурном типе получает, однако, разные значения, смотря по тому, разуметь под ним только совокупность сходных сознаний или общее данной группе состояние сознания; сходные сознания можно, конечно, ставить в связь со сходными продуктами культуры, хотя бы они и возникали независимо друг от друга, общее же данной группе состояние сознания — с однородностью продуктов культуры, хотя бы формы их были различны.

Ввиду одинаковых условий существования члены данной группы могут испытывать сходные состояния сознания, т. е. особого рода «систему чувствований, волений, представлений» и т. п., присущую обыкновенно каждому из них или каждому из их большинства. Ученые пытались, например, характеризовать племена «дикарей» сравнительно меньшим единством сознания, еще слишком мало связывающего в одно целое все разнообразие острых чувственных восприятий, преобладанием импульсивных «стремлений» над волевыми актами, а также слишком малой устойчивостью всякого рода отношений, культурные же народы — большим единством сознания, способного образовывать общие понятия, и развитием воли, в особенности нравственной воли, а также большею устойчивостью отношений, непрерывно развивающихся; можно, конечно, проводить и дальнейшие различия подобного рода между «дикими» неосевшими племенами охотников и рыболовов и «полудикими», между народами «полукультурными» и «вполне куль-

⁸⁵ Данилевский Н. Россия и Европа. 5-е изд. СПб., 1895. С. 95 и след.

турными» и т. п.⁸⁶; в зависимости от такой группировки приходится ставить и соответствующие, сходные между собою продукты их культуры. В самом деле, культурные продукты народов даже разных рас, но стоящих на одном культурном уровне, могут быть одинаковы, например, произведения палеолитического человека и тасманийца. Однородные формы каменных орудий встречаются в самых разнообразных пунктах земного шара; многие из поделок, открытых в долинах европейских рек, сходны с теми, что найдены в одной из западноиндийских долин — нарбадской, и пожалуй, принадлежат приблизительно одному и тому же периоду; другие, встречающиеся в разных европейских, африканских и азиатских странах, хотя и не одного времени, обнаруживают сходство; можно даже указать на оригинальные и весьма древние манзанаресские (мадридские) поделки, обнаруживающие, однако, значительное сходство с мадрасскими и т. п. Аналогичные примеры легко привести и из другой области: известная загадка, предложенная сфинксом Эдипу, — какое животное, имея только одно название и будучи первоначально четвероногим, последовательно становится двуногим, а затем трехногим — встречается, по уверению ученых, не только у современных греков и испанцев, но и у финнов, бурят, армян и даже фиджийцев. С такой же точки зрения можно было бы указать на сходство многих учреждений у разных народов одинаковой культуры и т. п.⁸⁷ Нельзя не заметить, что и на более поздних стадиях развития «совпадения» продуктов культуры обнаруживаются даже в такой области, которая тесно связана с индивидуальным творчеством. История наук представляет немало примеров таких совпадений: Ньютон и Лейбниц, вероятно, независимо друг от друга открыли дифференциальное исчисление, Гаусс и Лежандр — метод наименьших квадратов, Дарвин и Уоллэс (каждый из них независимо от другого наблюдал природу тропических стран и читал известную книгу Мальтуса) — естественный отбор, Госсен и Стэнли-Джевонс — математическую теорию обмена товаров и т. п.

Впрочем, связь между культурным типом данной общественной группы и порождаемыми ею продуктами культуры получает несколько иное значение, если иметь в виду, что благодаря общему группе состоянию сознания одно и то же расположение духа («*disposition d'esprit*») сознается ее членами как общее и вызывает однородные продукты культуры, хотя бы формы их были различны. В только что указанном

⁸⁶ Vierkandt A. Naturvölker und Kulturvölker, ein Beitrag zur Socialpsychologie. Lpz., 1896. S. 1–5, 106 и след.

⁸⁷ Köhler R. Kleinere Schriften I, 115–116.

смысле можно устанавливать некое типическое соотношение между состоянием сознания, а также характером данной группы и однородностью соответствующих продуктов культуры.

В основе ее (в качестве объединяющего ее фактора) лежит общее, как бы «сверхиндивидуальное настроение», получающее наибольшее единство в тех случаях, когда одна идея (идеал) и т. п. преобладает над остальными. В самом деле, когда множество людей испытывают чувства, представления, воления, общие всем им, «общее чувство, общее представление, общее воление не тождественно с суммой отдельных факторов, а содержит еще нечто, качественно отличное от них, нечто такое, что мы называем одобрением или порицанием, общественным мнением, патриотизмом, словом, социальным настроением тех общественных кругов, которые составляют большинство этих людей»⁸⁸. Если в таком общем настроении одна идея преобладает над остальными, оно получает наибольшее единство. Один из современных ученых, например, в сущности, пытался разыскать «душевную доминанту» для каждого периода немецкой истории; вся ее периодизация, типическая и для эволюции других народов, сделана им по таким доминантам (см. выше); другой также рассуждает о «доминирующих концепциях» (понятиях) в каждом периоде, причем понимает под ними главным образом идеалы данного времени; в Средние века, например, он признает таковыми идеалы рыцаря и монаха, а в период развития «классического духа» (*âge classique*) в образованном обществе — идеалы придворного и краснобаю. Творческие идеи подобного рода оказывают влияние во всех областях мысли и деятельности данного периода, но после известного периода господства уступают место новым идеям — идеалам, в свою очередь вызывающим и соответственные продукты культуры, элементы которой при таких условиях находятся в определенной взаимозависимости⁸⁹. На основании подобных соображений историки разбираемого направления приходят к заключению, что общее данной группе состояние сознания, в особенности ее «общая воля», ведет к однородности порождаемых ею культурных продуктов; таким образом, можно объяснить, например, религиозно-церковный их характер в Средние века и рационалистический, а также ложноклассический их характер в век Просвещения и т. п., или «феодальный» характер средневековых учреждений и «государственно-полицейский» характер учреждений периода «просвещенного абсолютизма».

⁸⁸ *Lamprecht W. Was ist Kulturgeschichte, ib. S. 81.*

⁸⁹ *Lamprecht W. Moderne Geschichtswissenschaft. S. 83, cp. 119; Taine H. Hist. de la littérature anglaise. T. I (1873). Préf. P. xxxi.*

Итак, на основании вышеуказанных обобщений при единообразии в известных пределах времени данного культурного типа можно говорить о сходстве или об однородности порождаемых им продуктов культуры; но понимать их повторяемость можно различно: или в смысле одновременно данных, или в смысле последовательно возникающих продуктов культуры.

В реалистических построениях психического типа данного племени или данной нации и «культурного» типа, поскольку они рассматриваются как сложная комбинация причин, порождающая соответственные продукты культуры, можно, таким образом, усмотреть попытку установить некоторую законосообразность отношений в данной последовательности не с чисто психологической, а с историко-психологической точки зрения.

Впрочем, нельзя принимать во внимание только один из типов — или племенной, или культурный — для объяснения из него данного продукта культуры; оба вместе, конечно, оказывают в известной мере влияние на данный продукт; известное учение о расе, среде и моменте, в совокупности обуславливающих соответственные продукты культуры, уже показывает, что историк не может довольствоваться одним из вышеуказанных понятий для объяснения их возникновения; с такой точки зрения изучаемый писатель, например Лафонтэн, рассматривается как продукт не только данной национальности, но и культуры данного времени, его произведения признаются выражением общества данного периода, его настроения, его вкусов, его стремлений и т. п.

При построении номологических обобщений историки-социологи пользуются не только принципом причинно-следственности, но и вышеуказанными понятиями консенсуса и эволюции: они говорят о законах консенсуса и о законах эволюции в истории.

В силу принципа консенсуса элементы данной социальной системы признаются взаимозависящими: они стремятся к солидарности друг с другом⁹⁰. Историки-социологи в сущности рассуждают именно с такой точки зрения, когда говорят о согласованности продуктов данной культуры; в «идеальном человеке» и «человеке вообще» (*l'homme idéal et général*) они усматривают тот фактор, действиями которого они и объясняют согласованность продуктов культуры: один и тот же господ-

⁹⁰ См. выше с. 105 и 121; понятие об известном соотношении между «культурным типом» (главным образом, в смысле общего данной социальной группе состояния сознания) и соответствующими продуктами культуры уже находится в связи с понятием о некотором консенсусе между ними.

ствующий национальный или культурный тип человека, его способности или склонности отражаются во всех продуктах культуры; в таких случаях данные в одном и том же сознании способности или склонности под влиянием какой-либо одной из них, господствующей над остальными, взаимно уравнивают друг друга и приходят в известную гармонию, отражающуюся и в различных его продуктах. Автор теории об основных факторах истории, «расе, среде и моменте», формулирует «закон взаимозависимостей» (*loi des dépendances mutuelles*) следующим образом: культура данного периода во всех своих частях представляет нечто общее, придающее соответствие между ее проявлениями и единство ее ходу; «закон взаимозависимостей» комбинируется еще с «законом пропорциональных влияний», в силу которого ученый определяет степень влияния, оказываемого основными факторами на то, что общее частям данной культуры, а также на степень ее оригинальности: благодаря действию вышеуказанных факторов общее между частями данной культуры получает известное своеобразие; значит, в той мере, в какой оно входит в состав частей, они должны измениться⁹¹. С указанной точки зрения можно подметить, например, в течение данного периода известную зависимость между философией и наукой, между науками и искусствами, между наукой и практикой, между состоянием цивилизации данного общества и соответствующим ей политическим режимом и т. п.; с той же точки зрения историк открывает связь между такими продуктами культуры, которые, казалось бы, очень далеки друг от друга: он усматривает некоторый консенсус между проявлениями культуры Возрождения, носящими на себе отпечаток индивидуализма, например между тиранией, кондотьерством, образом мыслей писателей и художников, а также характером их произведений, произволом костюма, распущенностью нравов и т. п.; или между философским или богословским рассуждением Малекбранша и аллеей в Версале, между сентенцией Боссюэта о Царстве Божием, правилом стихосложения у Буало, законом Кольбера о закладе недвижимых имуществ и комплиментом, сказанным в Марли⁹².

Вместе с понятием консенсуса историк-социолог пользуется и понятием эволюции: оно служит ему для формулировки «законов» исторического развития. Впрочем, можно понимать их различно: или в смысле законов образования эволюционных рядов, или в смысле законов их повторяемости.

⁹¹ *Taine H. Hist. de la littérature Angl. T. I. Int od., § 1.*

⁹² *Burckhardt I. Cultur der Renaissance 8-te Aufl. B. I. S. 142 ff.; Taine H. Essais de Critique, 2 éd. Préf. P. IX.*

«Закон» образования ряда, т. е. закон, по которому эволюционный ряд строится, иллюстрируется хотя бы на примере развития яйца согласно формуле $2n$, где и получает последовательные значения: 1, 2, 3, ... n ; таким образом можно представить процесс сегментации яйца на 2, на 4, 8 и т. д. частей. Историк-социолог может также интересоваться процессом образования ряда и с такой точки зрения формулировать его, например, в смысле возрастающей дифференциации индивидуумов, т. е. главным образом, их «духовной свободы»⁹³.

Закон повторения эволюционного ряда формулируется или в виде повторяемости одного и того же цикла развития, или в виде спиралеобразного движения, в котором известные моменты одного цикла оказываются сходными с соответствующими моментами другого цикла.

Закон повторяемости одного и того же цикла развития признается, например, в том случае, если допустить, что каждая особь одного и того же вида проходит в своем развитии в одном и том же порядке одни и те же стадии эволюции; с менее строгой точки зрения можно рассуждать о повторяемости филогенезиса в онтогенезисе и принимать, что стадии эволюции, представленные в развитии одного и того же дикого племени, действительно происходившем или научно-конструированном, повторяются в жизни ребенка цивилизованной нации. В аналогичном смысле историки-социологи рассуждают о повторяемости известного цикла развития, например о чередовании периодов: органического и критического (Сен-Симон), о повторяющейся в истории разных сфер культуры смене трех состояний — теологического, метафизического и позитивного (Конт), о последовательном прохождении разными народами известных стадий развития хозяйства — замкнутого домашнего, городского и национального⁹⁴.

Впрочем, повторяемость эволюционного ряда понимается иногда лишь в том смысле, что известные моменты одного цикла развития оказываются сходными с соответствующими моментами другого цикла; с такой точки зрения некоторые историки говорят, например, о «средневековом» периоде в Греции времен Гомера и Гезиода или усматривают соответствие между последующими периодами греческой

⁹³ *Lamprecht K.* Die Kulturhistorische Methode. S. 28.

⁹⁴ *Bücher K.* Die Entstehung der Wirtschaft, 1 Aufl., 1893; позднейшие издания — с дополнениями. Автор прилагал свою схему к истории человечества, а не отдельных народов, что вызвало критику Э. Мейера и др.; Бюхер собственно устанавливает четыре стадии: период разрозненных индивидуальных поисков за средствами существования, далее период замкнутого домашнего хозяйства и т. д.; но первоначальная стадия кажется сомнительной Штейнметцу и другим.

истории и новым, а также новейшим периодами в развитии романо-германских народов⁹⁵.

Закон повторяемости ряда, в сущности, предполагается и в тех случаях, когда историк-социолог старается построить общий тип того ряда, который он изучает, и представляет себе последний в виде частного его случая; некоторые ученые придают, например, типическое значение эволюции немецкого народа: она повторяется и в истории других народов; периодизация немецкой истории дает схему и для периодизации истории других народов; но такое построение уже близко подходит и к типологическим обобщениям.

Сами приверженцы подобного рода построений готовы признать, однако, что их трудно формулировать в виде законов, под которые можно было бы непосредственно подводить исторические факты. Впрочем, такое затруднительное положение исторической науки, по их мнению, не исключает возможности и для истории стремиться, по крайней мере, к эмпирическим обобщениям.

Не устанавливая логически необходимой и всеобщей причинно-следственной связи, эмпирическое обобщение только формулирует некое единообразие в последовательности или в сосуществовании такого отношения, которое обнаружилось во всех случаях, подвергшихся нашему наблюдению; эмпирическое обобщение, значит, утверждает, что в нашем опыте за данным явлением *a* следовало явление *b* или что явление *a* встречалось в нем именно с явлением *b*, но в сущности говорит лишь о вероятности такой же связи в будущем. Впрочем, предположение о существовании некоей причинно-следственной связи между элементами предшествующего — *a* и последующего — *b* или о существовании некоей зависимости двух явлений — *a* и *b* — от какой-либо общей им причины, породившей их, включается в понятие об эмпирическом обобщении; но в таких случаях речь идет только о предположении, да и вопрос о том, какова именно предполагаемая связь, не получает ответа; значит, «на эмпирическое обобщение нельзя положиться за пределами времени, места и обстоятельств, в которых наблюдения проводились»⁹⁶.

Так как историк может принять пространство и связанное с ним действие физических факторов за условия постоянные, то при формулировке эмпирических обобщений он имеет в виду преимущественно последовательность явлений только во времени. Сторонники номотетической точки зрения придают им, однако, большое значе-

⁹⁵ См. выше, с. 59.

⁹⁶ *Mill J. S. Logic*. В. III, ch. 16; В. V, ch. VI, § 1.

ние; делая ударение на слове «закон» («законы эмпирические»), они забывают, что вывод, добытый на основании прошлых наблюдений над данною последовательностью, не имеет характера всеобщности и необходимости, а лишь указывает на некоторую вероятность повторения той же последовательности и в будущем. Таковы, например, эмпирические обобщения в истории языка (смена звуков, изменения в значении слов), понятие о социальной дифференциации, о смене форм семейной жизни (временное сожителство, полигамия и уклонения в сторону полиандрии, патриархат и проч.), о преемстве известных состояний в области культуры духовной (анимизм, натурализм, религиозная догма и церковь, религия, проистекающая из свободного индивидуального чувства) или в области истории культуры экономической (смена натурального хозяйства денежным, а денежного — кредитным и т. п.), в истории политической (монархия, аристократия, демократия) и проч. Впрочем, историки пытаются делать эмпирические обобщения и относительно сосуществования некоторых явлений; например, они указывают на то, что расцвет культуры (по крайней мере в некоторых странах) обнаруживается одновременно с начинающимся упадком «творческих общественных сил»⁹⁷.

Даже предполагая, что такие обобщения сделаны правильно (предположение, далеко не всегда оправдывающееся в действительности), можно будет признать их законами лишь в том случае, если в каждом из них удастся установить логически необходимую и всеобщую причинно-следственную связь между предшествующим и последующим; но ввиду всего вышесказанного такое отношение придется строить не с чисто механической, а с психологической точки зрения; только тогда, когда комбинация психических факторов сама будет подведена под закон и исторические обобщения, при объяснении которых мы пользуемся такой комбинацией, получат характер законов. Хотя попытки подобного рода относительно простейших из вышеуказанных обобщений (например, относительно перегласовки в германских наречиях) были сделаны, но вообще можно сказать, что сложных «законов истории» в строгом смысле слова никому еще не удалось установить: историкам, стремящимся к открытию их, в лучшем случае приходится пока довольствоваться гадательными эмпирическими обобщениями.

⁹⁷ Данилевский Н. Россия и Европа. С. 175 и след., 476; Нитс М. The Spanish people и проч. Ld., 1901. P. 403.

§ 3. Типологические обобщения

В тех случаях, когда ученый не может формулировать ни закона в причинно-следственном смысле, ни эмпирического обобщения всех наблюдаемых им случаев, он принужден довольствоваться типологическим их обобщением, т. е. образованием типов, под которые можно было бы подводить отдельные наблюдения.

Не будучи номологическим построением закона или даже эмпирического обобщения (в строгом смысле), тип вместе с тем, очевидно, не оказывается и единичным случаем; с логической точки зрения тип есть относительно общее понятие по преимуществу и занимает как бы среднее место между законом и единичным случаем: он не достигает всеобщности закона и даже полноты эмпирического обобщения, ибо допускает уклонение, но и не низводится до индивидуальности. С такой точки зрения можно, пожалуй, назвать тип «общим представлением»; по крайней мере, некоторые из сторонников изучаемого направления называют общим представлением всякое представление, поскольку содержание его оказывается общим многим отдельным предметам и поскольку такое представление сопровождается мыслью, что оно представляет собою целую группу однородных представлений (Вундт); но «общие представления» ребенка могут включать и случайные признаки, представляющиеся ребенку общими многим предметам, тогда как тип есть научно установленное общее представление, которое в таком именно смысле можно называть и относительно общим понятием; в последнем смысле понятие о типе близко подходит к понятию о «среднем».

Для выяснения логической природы типологических обобщений прибегнем к следующей схеме.

Вообразим несколько групп признаков, каждая из которых отличается от остальных, и обозначим каждую из них символами $abcdef$, $a'bcdef$, $ab'cdef$, где a , a' , b , b' и т. д. — признаки; положим, что изучаемые группы можно представить себе в следующем виде и размещении:

$$\begin{array}{ccc} a'bcdef & & ab'cdef \\ abc'def & abcdef & abcd'ef \\ abcde'f & & abcdef' \end{array}$$

Если мы ввиду нашей познавательной цели признаем, что разности $a - a'$, $b - b'$ и т. д. малозначительны, то пренебрегая отличительным признаком каждой группы, мы можем обозначить наше общее понятие о всей совокупности изучаемых предметов символом $ABCDEF$. Если в данной совокупности группы $abcdef$ не окажется, то и общему

понятию ничто не будет вполне соответствовать в действительности; тогда $ABCDEF$ будет «идеальным типом»; если группа $abcdef$, напротив, также дана, то понятию $ABCDEF$ будет в действительности соответствовать только центральная группа $abcdef$; так как она при этом сходна с каждой из шести групп в пяти признаках, а каждая из окружающих сходна с каждой из остальных окружающих только в четырех признаках, то очевидно, что центральная группа $abcdef$ представляет свойства общего понятия лучше всех остальных групп, почему она и называется репрезентативным типом: все остальные группы менее ее соответствуют общему понятию.

Это несоответствие может усилиться, если в числе разновидностей $ABCDEF$ (в другой, более разнообразной по своему составу совокупности) окажутся и такие: $a'b'cd'ef, \dots a'b'c'd'ef$ и т. п. Положим, что в действительности мы встречаем (на таблице не означенные) формы вроде $a'b'c'd'ef$: в таком случае, однако, может явиться сомнение, причислять $a'b'c'd'ef$ к понятию $ABCDEF$ или к другому какому-нибудь понятию $A'B'C'D'EF$. Итак, общее понятие $ABCDEF$ может оказаться или слишком широким, или слишком узким. Указанные затруднения увеличиваются, когда число признаков a, b, c, \dots возрастает, а различия между системами свойств, т. е. между $abcdef, ab'cdef$ и т. д., текучи и представляют множество переходных ступеней, т. е. когда каждая группа ($a'bcdef$ и т. д.) текучим образом переходит в другую ($ab'cdef$ и т. д.) и когда одна из этих совокупностей не обнаруживает соединения, исключительно отличающего ее от всех остальных совокупностей признаков, и ни одна из них не представляет достаточно резких особенностей для того, чтобы на ней можно было бы остановиться, не переходя к следующей.

Ученые давно уже пользовались понятием «типа», даже в то время, когда теория эволюции еще не подорвала веры в устойчивость «видов», для обозначения таких «текучих» соотношений (Blainville). Естественные группы, по словам одного из них, твердо установлены, хотя и не резко отграничены: они даны, хотя и не обведены какою-нибудь чертою; они определены данным центром, а не извне проведенною предельною линиею, т. е. (содержание их выясняется) тем, что они преимущественно включают, а не тем, что они ясно выключают (Whewell). В настоящее время слово *тип* приобрело право гражданства в науке для обозначения «видов», находящихся в текущей взаимозависимости относительно друг друга (Erdmann).

Не останавливаясь здесь на изучении общих принципов систематики, приводящей к образованию типов, я только замечу, что мы пользуемся типологическими построениями и в таких случаях, когда

нам не удастся установить основные различия между типами, т. е. когда трудно решить, признавать ли устойчивые и достаточно резко выделяющиеся признаки, пригодные, так сказать, для внешней характеристики изучаемой группы, вместе с тем и основными ее свойствами. В случаях подобного рода тип — лишь вспомогательное средство, ведущее к дальнейшей работе обобщения.

Таким образом, пользуясь типологическим приемом обобщения, историку следует иметь в виду, что тип есть его построение, а не действительность; понятие типа, если он идеальный, не обозначает реально данной вещи; лишь репрезентативный тип может обозначать единичный конкретный факт, но и последний в отношении к остальным случаям данной группы все же будет только идеальным. В таком случае историк может прибегать к типологическим построениям для обобщения изучаемого им материала и рассуждать о племенных типах, о культурно-исторических типах, о типах культуры, о типах государств (например, о типе феодального государства), о типах их развития и т. п. в данных пределах пространства и времени. Типологическое построение нельзя, однако, приравнивать к построению закона или даже эмпирического обобщения какой-либо последовательности. Лишь в том случае, когда историк имеет в виду «морфогению», а не одну только морфологию изучаемых им объектов или стремится установить, что сходство экземпляров одного и того же типа объясняется общностью их происхождения и построить «генеалогический» или «эволюционный» тип, он уже пользуется понятием о причинно-следственной связи; но и в таком объяснении он не должен смешивать принцип причинно-следственности с понятием о той конкретной связи, которою данное сходство между членами одной и той же группы объясняется, и, в сущности, обыкновенно довольствуется для установления родов и видов комбинацией достаточно устойчивых внешних признаков. В большинстве случаев историку, значит, приходится пользоваться «типами» не для объяснения материала (в номологическом смысле), а только для его систематики. С последней точки зрения историк стремится типизировать не некую комбинацию факторов, поскольку ее можно признать реальной сложной причиной соответствующего продукта культуры, а скорее пытается установить типы или самих этих комбинаций, или состояний и продуктов культуры; в вышеуказанном смысле можно говорить даже о «племенном типе», поскольку он представляется некоторым результатом исторического процесса, о «культурном типе», о типах отдельных продуктов культуры и т. п.

Такие обобщения уже обнаруживаются, например, в употреблении терминов «Восток», «классическая древность», «Средние века», «Но-

вое время» и т. п.; под ними, очевидно, часто понимают более или менее определенные типы и подводят под них несколько народов, находившихся или продолжающих находиться на соответствующей стадии развития. Впрочем, систематика подобного рода уже сама готовит индуктивное изучение систематизируемых объектов, выяснение законов, которые обнаруживаются в них, и т. п.: она дает, например, понятие о типах обществ, группируемых по степени их сходства, по степени сложности их состава (Durkheim), по степени их культурного развития (Morgan, Sutherland) и т. п.⁹⁸

Итак, «тип» есть всегда относительное обобщение; последнее может быть более или менее широким, смотря по задачам исследования; понятие типа, значит, есть понятие растяжимое, и объем типа может быть разным. Если, например, иметь в виду лишь наиболее общие признаки, то под данную типическую совокупность их подойдет и большее число объектов: можно говорить, например, о типе первобытного хозяйства или первобытной религии. Путем индивидуализирования данного типа можно достигнуть более тонкой характеристики объектов, но зато в более ограниченном их объеме; вместо вышеуказанных общих типов, например, можно попытаться построить более специализированные: тип древнегреческого ойкосного хозяйства или тип древнегреческого поклонения предкам и т. п.; в аналогичном широком смысле говорят и о феодальных отношениях у разных народов разных времен, даже у таких как гавайцы, зулусы, тангуты и проч.; но в узком смысле объем понятия о феодальном государстве ограничивается лишь европейскими народами в Средние века, и даже не всеми ими, а преимущественно только германо-романскими.

Впрочем, естественно различать несколько разновидностей типологических построений, главным образом, в зависимости от того, ввиду какой познавательной цели они проводятся: можно, например, изучать данную совокупность предметов или в их устойчивых признаках, или некоторую последовательность, относительно которой нельзя еще формулировать даже эмпирического обобщения.

Вообще, изучая данную совокупность предметов в их устойчивых признаках, мы как бы накладываем наши представления о предметах друг на друга и получаем общее им содержание; тогда мы называем понятие о группе сходных между собою объектов (конкретных предметов) типом; сюда можно отнести, например, типы животных видов и рас, национальный тип, культурный тип; если принимать во вни-

⁹⁸ Steinmetz M. Classification des types sociaux et catalogue des peuples в сборнике «L'année sociologique» за 1898–1899. Par., 1900. P. 55 и след., 76–77 и др.

мание лишь понятие о группе формальных свойств, т. е. не объекты, целиком взятые, а только их внешнюю форму, служащую достаточно характерным признаком для систематики, то с такой точки зрения мы можем получить морфологические типы, например типы кристаллов, растений (по форме листьев) или животных; типы языков изолирующих, агглютинирующих и флектирующих. Морфологический тип⁹⁹ довольно важен; он сыграл заметную роль и в естествознании, и в языкознании; пользуясь тем же построением, социологи рассуждают о «типах общественного строения», о формах правления и т. п.

При изучении данной последовательности мы можем, наконец, стремиться установить и феноменологический тип данного превращения, хотя бы внутренний ход его оставался нам неизвестным; иными словами говоря, можно типизировать данную метаморфозу в тех ее стадиях, какие наблюдаются в данной совокупности сходных случаев. Ученые пользуются таким приемом, например, уже при построении многих химических формул; в них тип не что иное, как только средство придать некоторое единство нашим знаниям при сравнении между собою тел, которые обнаруживают аналогичные разложения или оказываются продуктами аналогичных разложений. С такой же точки зрения можно типизировать и органические, и социальные процессы. Наибольшая сложность их, разумеется, обнаруживается в длинных рядах перемен, которые также пытаются изучить с типологической точки зрения; в случаях подобного рода от построения типа простого превращения можно перейти к построению генеалогического или эволюционного типа, т. е. типического ряда последовательных стадий развития; ввиду указанной цели «история культуры, изучающая типические исторические явления», признается «основною» исторической наукой, устанавливающей «типические стадии» в развитии данной культуры (Лампрехт); впрочем, такую операцию нельзя еще отождествлять с построением эволюционного типа, т. е. с построением типа самого ряда.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КРИТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ НОМОТЕТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Научно объединенное или обоснованное знание может стремиться и к обобщению данных нашего опыта, и к их индивидуализированию; смотря по познавательным целям, которые мы себе ставим, или по той точке зрения, с которой мы изучаем эмпирические дан-

⁹⁹ В. Erdmann называет их конструктивными типами.

ные, можно в одной и той же вещи разыскивать или общее ей с другими вещами, или то, что именно ее характеризует как таковую в ее конкретной индивидуальности. Следовательно, номотетическое построение, имеющее в виду одно только обобщение, не в состоянии удовлетворить нашего интереса к действительности: при помощи общих понятий оно не может объять ее многообразие и своеобразие: слишком «редуцируя» и «стилизуя» действительность, оно не дает нам знания ее индивидуальных особенностей; оно не может установить и достаточно обоснованных принципов или критериев выбора конкретных исторических фактов, имеющих историческое значение: с номотетической точки зрения историк легко упускает из виду или произвольно исключает из круга своих наблюдений факты (личности, события и т. п.), которыми история не может пренебречь¹⁰⁰. Сами приверженцы номотетического построения принуждены считаться с такими фактами, но не дают научного их построения: признавая, например, самостоятельное значение воздействия человеческого сознания на материю, они не обращают внимания на ценность его индивидуального характера; утверждая единичность всемирно-исторического процесса, они все же готовы довольствоваться его типизацией; полагая, что «одна только индивидуальность порождает новые силы общежития», они не определяют именно ее значение для истории и т. п.¹⁰¹ Впрочем, помимо теоретических соображений, номотетическое построение оказывается недостаточным и с точки зрения практической: оно не дает понятия о той совокупности реально данных условий пространства и времени, в которых протекает наша деятельность и без надлежащего знания которых человек не в состоянии ни поступать правильно, ни действовать с успехом; и в таких случаях сторонники разбираемого направления не располагают принципами, на основании которых можно было бы подойти к решению проблем, столь важных в практическом отношении¹⁰². Итак, можно сказать, что номотетическое, обобщенное знание не в состоянии дать удовлетворение нашему интересу к исторической действительности.

¹⁰⁰ *Aulard A. Taine – historien de la Révolution française. Par., 1908.* Автор приводит здесь много примеров таких упущений, сделанных Тэном; см. р. 174, 177, 178–180, 222; впрочем, общая оценка Олара уже вызвала возражения со стороны Nève'a и Cochin'a.

¹⁰¹ *Wundt W. System der Philosophie, 1 Aufl. S. 600; Lamprecht K. Die Kulturhistorische Methode. S. 44.*

¹⁰² Ср. ниже, отдел второй, глава вторая, § 1.

Приверженцы номотетического построения исторического знания отрицают, однако, возможность с идеографической точки зрения построить его научным образом; они полагают, что можно научно познавать только общее: наука в настоящем смысле слова должна состоять в построении общих понятий; индивидуальное, напротив, не может служить целью познания: оно не поддается научной обработке и формулировке. Впрочем, с аналогичной точки зрения легко было бы допустить, что в той мере, в какой индивидуальное переживается, оно уже в известном смысле познается; только оно познается в совокупности с данными ощущениями, чувствованиями и проч., также входящими в состав переживания, и значит, познание о нем, поскольку оно лично переживается, не может быть научно установлено и передано другому в том именно сложном сочетании, в каком оно переживается. Можно сказать, однако, что понятие об индивидуальном есть предельное понятие: хотя наш разум не в состоянии обнять все многообразие и своеобразие действительности, но мы можем стремиться объединить наши представления о ней путем образования возможно более конкретных комбинаций общих понятий или отдельных признаков, отвлекаемых от действительности; мы можем подвергать содержание такого понятия (в его реальном значении) анализу и с точки зрения генезиса его элементов (если не всей их совокупности, то по крайней мере некоторых из них), и с точки зрения влияния «индивидуального» на окружающую среду. Хотя понятие об индивидуальном и не может быть само по себе приведено в логическое соотношение с каким-либо общим понятием, но научный его характер обнаруживается и из приемов конкретно-исторического исследования. В самом деле, историк, занимающийся построениями индивидуального, приступает к его изучению со скепсиса: он знает, что ему приходится иметь дело со своими или с чужими суждениями о вещах, что они могут не соответствовать действительности и т. д.; он полагает, что ему можно будет выйти из своего скепсиса лишь путем критики, основанной на строго научном анализе своих и чужих суждений о данных фактах; в своей работе историк также выделяет из бесконечного многообразия действительности элементы, нужные ему для построения своего понятия об индивидуальном; если он и не обобщает их, то из этого еще не следует, чтобы он не занимался отвлечением нужных ему элементов своих представлений; вместе с тем он, в известном смысле, стремится комбинировать эти черты, т. е. дать научное построение действительности. Итак, идеографическое построение истории может иметь научный характер; история, и не будучи наукой обобщающей, все же могла бы претендовать на научное значение.

Произвольно ограничивая задачу научного знания, приверженцы номотетического построения лишают себя, однако, возможности устанавливать его разновидности по различию основных познавательных целей: они различают науки лишь по их объектам, например, по «процессам» или по «предметам»; с указанной точки зрения, по словам одного из защитников номотетической теории, история признается такою же обобщающей наукой, как и естествознание, и отличается от него только «другою областью исследования» (Барт). Различать, однако, науки не по точкам зрения, а только или главным образом по объектам затруднительно: ведь разные науки могут заниматься одним и тем же объектом; последние можно принимать во внимание при систематике наук, но лишь в качестве подчиненного признака для деления их на более мелкие группы. Аналогичное, хотя и более тонкое смешение обнаруживается и в других рассуждениях представителей школы; едва ли строго различая гносеологическую проблему приложения психологии к истории от психологической, некоторые из них говорят, что область наук о духе начинается там, где существенным «фактором» данного явления оказывается человек как желающий и мыслящий субъект. Такие обобщения, однако, предпосылаются нами: чужое «Я», чужие желания и мысли как таковые не даны в нашем чувственном восприятии. Выражения «*wollendes und denkendes Subjekt*» или «*denkendes und handelndes Subjekt*» (Вундт) не однородны, ибо «*wollendes*» — примышляется, а «*handelndes*» — дано в опыте. Следовательно, в вышеприведенной формуле две разные точки зрения смешиваются: в основе всякого исторического построения лежит, конечно, признание чужого одушевления, и притом переносимого на раньше бывших людей; но наше заключение о реальном существовании психических «факторов», порождающих известные продукты культуры, требует особого обоснования, а именно обоснования признания реальности факторов чужой психики, а также причинно-следственной связи между ними и соответствующими продуктами культуры. Смешение подобного рода легко может привести к различению наук не по познавательным точкам зрения, а по объектам, что, в свою очередь, облегчает возможность признавать в науке вообще одну только обобщающую точку зрения, различая отрасли науки (например, естествознание и историю) лишь по «объектам» изучения.

Приверженцы номотетического построения делают свои обобщения, постоянно пользуясь принципом причинно-следственности. Стремление установить причинно-следственную связь между наблюдаемыми фактами, конечно, вполне научно, но в нем часто смешиваются

вают два понятия — понятие о логически необходимой и понятие о фактически необходимой связи между двумя фактами — предшествующим и последующим. Под логически необходимой связью между фактами мы разумеем связь, которая мыслится нами как логически необходимая и всеобщая (принцип причинно-следственности): если дано a (т. е. дано в том смысле, что действие его не встречает в действительности противодействующих ему условий), то за ним должно следовать b . Под фактически необходимой причинно-следственной связью между фактами можно разуметь связь, которая констатируется нами как конкретно данная: дано B , вызванное A , причем A получается благодаря «случайной» встрече или скрещиванию многих обстоятельств — $a_1, a_2, a_3, \dots a_n$ в данное время и в данном месте. Сторонники разбираемого направления признают причинно-следственность лишь в логическом смысле: индивидуальное, по словам одного из них, не способно стать причиной в научном смысле слова. И действительно, мы с полным основанием можем говорить о необходимости и всеобщности причинно-следственной связи между a и b , лишь пользуясь принципом причинно-следственности; только на его основании мы в полной мере можем построить логически необходимое и всеобщее причинно-следственное отношение между a и b . Тем не менее в действительности каждому из нас приходится иметь дело с фактически необходимой связью, которую мы не в состоянии признать логически необходимой и всеобщей: такие случаи бывают, когда мы имеем дело с комбинациями причин, «случайно» столкнувшихся или совпавших; в сущности, лишь исходя из уже вызванного ими сложного продукта, мы в состоянии заключить о той совокупности обстоятельств, которая породила столь сложный результат (продукт): из взятых порознь причин нельзя еще вывести данной комбинации причин и придать ей, таким образом, логически необходимый и всеобщий характер; значит, с точки зрения логики данность такой комбинации — простая «случайность». Вместе с тем исторический «фактор», разложенный на его элементы (если нечто подобное осуществимо), уже не будет реально данным фактором, именно им, а не другим; да и из таких разложенных элементов, порознь взятых, нельзя вывести данного продукта, поскольку он фактически получился в результате «случайной» (с логической точки зрения) встречи множества обстоятельств в данное время и в данном месте. Далее следует заметить, что из числа тех причин, которые в общей совокупности порождают данный продукт, лишь те из них, которые всего дальше отстоят от результата, поддаются научному анализу, например, физические условия, повлиявшие на данную личность или

группу людей, а значит (косвенно), и на их поступки или деятельность; но такими отдаленными причинами, отвлекаемыми от действительности, нет возможности удовлетворительно объяснить реально данные продукты; надо взять непосредственно предшествующее им, а таковым придется признать весьма сложную совокупность условий, породивших данный результат. Положение, например, что кислород обуславливает жизнь животных, а значит, и жизнь людей, человеческих обществ и их историческое развитие, мало имеет значения для объяснения собственно исторического процесса: никто не станет называть кислород историческим фактором; причинно-следственное отношение нужно устанавливать между непосредственно предшествующим и следующим так, чтобы предшествующее непосредственно переходило в следующее; но такой непрерывной связи между предшествующим фактом и последующим в области истории установить нельзя, не исходя из заранее данного фактического отношения: ведь между элементом, отвлекаемым от действительности, и продуктом — множество посредствующих звеньев, не располагающихся в линейный ряд. Наконец, из таких соотношений нельзя еще с достоверностью предсказать, каков будет их продукт. Итак, не будучи в состоянии логически построить данную совокупность причин и вывести из нее данный продукт в его целом, нам остается только исходить из конкретно данного результата и пытаться объяснить, каким образом он возник в действительности; но рассуждать в таких случаях о «единичном законе» изучаемого процесса едва ли целесообразно¹⁰³.

Последовательное применение принципа причинно-следственности в области истории представляет и другие затруднения. Сами приверженцы номотетического направления признают, например, что здесь нельзя говорить о чисто механической связи, а приходится рассуждать о причинно-следственности в психологическом смысле (т. е. о мотивах и действиях); но в таком построении нельзя говорить о количественной эквивалентности между причиной и следствием, а лишь о качественной зависимости. Далее, если бы можно было исходить из понятия о своего рода «механике представлений», то с такой атомистически-психологической точки зрения можно было бы устанавливать причинно-следственные отношения между отдельными представлениями; но в случаях подобного рода субъект с его единством сознания всегда предполагается и, может быть, даже в ассоциации двух идей каждая из них не находится в непосредственном

¹⁰³ Ср. выше, с. 39.

отношении к другой, а только через представляющего их субъекта, что чрезвычайно осложняет их отношение. Наконец, такое психологическое построение (мотив-действие) легко ведет к превращению причинно-следственной связи в телеологическую (ср. *Zweckmotiv* Вундта). В тех случаях, однако, когда мы считаем цель мотивом своих поступков, а последние — действием ее, под понятие о таком соотношении мы можем подвести и совсем иное: ведь цель можно рассматривать как требование субъекта; нормативная оценка (мотивировка) лежит в основе наиболее ценных наших действий.

Приверженцы номотетического направления стремятся миновать это затруднение, рассматривая всякое воление с точки зрения его мотивации или ссылаясь на «законы» статистики; но такие построения вызывают новые возражения.

Если каждое наше действие мотивируется и мотивация приравнивается к причинению его известными (внешними) факторами, то нечего говорить и о свободе воли: она — простая фикция; но в таком случае нет различия между действием, вызванным стремлением к удовольствию или отвращением от страдания, и актом, совершаемым в силу требования сознания самого действующего лица; признавать свободу его воли можно лишь в последнем смысле: человек свободен не тогда, когда он — игралище своих страстей, а тогда, когда он свободно подчиняет себя идее должного, которую он черпает из собственного сознания; человек свободен от внешнего давления природы, когда он поступает не под впечатлением мгновенного аффекта, а на основании им самим предъявляемой себе нормы. Приверженцы номотетического направления легко забывают о нормативном характере нашего сознания и смешивают закон природы с законом в нормативном смысле; между тем история получает совершенно особое, самостоятельное по отношению к природе значение, если рассматривать ее как постоянное осуществление некоего долженствования; в нем всего ярче и обнаружится наиболее характерное воздействие человеческого сознания на материю.

Сторонники номотетической точки зрения ссылаются еще на взаимное ограничение свободной воли отдельных лиц, в итоге уничтожающее индивидуальные ее колебания, что будто бы и можно доказать статистикой. Статистические выводы («законы»), однако, в данном случае малоубедительны: статистическое среднее — научная фикция, а не действительность; даже если под нею разуметь тип и притом репрезентативный, за исключением одного случая (или нескольких), он все же будет идеальным по отношению ко всем остальным, т. е. фикцией; но для того чтобы последняя имела некоторое

научное значение, надо, чтобы исчисляемые объекты можно было признать совершенно однородными; чтобы слагаемые были всех возможных значений между 0 и $\pm \infty$, иначе разности при их сложении взаимно не уничтожатся, т. е. чтобы число их было бесконечно в математическом смысле, и наконец, чтобы сравниваемые действия происходили одновременно. Ни одного из только что указанных условий мы, в сущности, не имеем в явлениях, изучаемых в моральной статистике. Следует также обратить внимание на то, что статистический «закон» — просто эмпирическое обобщение, а выяснение причинно-следственной связи между данными последовательностями изменений приводит нас к затруднениям, уже изложенным выше: объяснение «коллективных» явлений все же сводится в конечном итоге к объяснению обнаруживающихся в них состояний индивидуальных сознаний, а без установления такой причинно-следственной связи нельзя говорить и о законе.

Во всяком случае, кроме вышеуказанных теоретических соображений следует заметить с научно-практической точки зрения, что в действительности в сложной душевной жизни данная причина (мотив) может очень часто встречать «противодействие» со стороны другой, и значит, «закон» здесь будет гораздо более фиктивным. В области сложных явлений подобного рода оговорка, неразрывно соединяемая со всяким естественнонаучным законом, — «если нет препятствий» — повторяется гораздо чаще и в более сгущенном виде: поскольку в душевной жизни скрещивание разных причин бывает чаще, чем в области «мертвой» природы, постольку законосообразность психических явлений реже обнаруживается. По мнению некоторых мыслителей, за исключением области психофизических исследований, в области собственно душевной жизни, пожалуй, и не удастся установить «точных всеобщих законов» (Зигварт). Таким образом, уже в психологии конкретного индивидуума приходится говорить о фактически не-обходимой связи между субъектом и его продуктами.

Впрочем, если бы даже психологические законы были вполне установлены, все же «непосредственное» перенесение их в область истории не могло бы еще дать исторических законов, ибо подобно тому, как разложение комбинации причин на отдельные причины уничтожает самую комбинацию или фактор в его целостности, так и выискивание психологических законов возможно лишь при разложении исторического процесса на его элементы, а отвлечение последних от действительности упраздняет наличность самого процесса, поскольку он представляется нам индивидуально данным. Некоторые из таких психолого-исторических законов, например «принцип твор-

ческого синтеза» или «закон гетерогонии целей», — просто принципы истолкования социальных явлений: но в таком случае из них нельзя выводить закона роста духовной энергии; или они, в лучшем случае, эмпирические обобщения, например, «закон контрастов», ибо следование одной тенденции за другой, хотя бы между ними и существовал контраст, еще не объясняет, почему такое следование имело место: ведь одна из них сама по себе не в состоянии вызвать другую; первый момент может быть условием, благоприятным для наступления второго, но между ними нужно вставить посредствующие звенья. Наконец, некоторые из таких исторических законов, выведенных психологическим путем, представляют из себя обобщения, с психологической точки зрения скорее указывающие на иррациональность исторического процесса, на его непредвиденность, чем на его законосообразность; таков, например, принцип гетерогонии целей: человек ставит себе определенную цель, но ему не всегда возможно рассчитать средства, вполне пригодные для ее достижения, и легко натолкнуться на неожиданный для него результат; представление о нем при положительном отношении к нему может в свою очередь стать целью, что и приводит «к гетерогонии» целей¹⁰⁴.

Перейдем к рассмотрению тех номологических обобщений номотетической школы, которые сводятся прежде всего к попытке усмотреть относительно-устойчивую комбинацию причин в племенном или культурном типе, порождающих соответственные продукты.

Построения подобного рода в сущности слишком мало различают номологическое обобщение от типологического и приписывают «типу» значение реальной комбинации факторов, порождающих соответственные продукты культуры. Между тем всякий тип есть наше построение, а всякий продукт культуры есть результат индивидуальной деятельности; но в данной личности черты данного типа комбинируются с личными, и только пренебрегая последними и оставляя без внимания отражение их в продукте, можно говорить о нем вообще как о продукте целой группы; с такой точки зрения, однако, легко упустить из виду наиболее характерные особенности самого продукта.

Впрочем, понятие племенного типа имеет некоторое значение, но в пределах данного времени и пространства, строго установленных путем наблюдения; последнее должно выяснить, в каких именно пределах можно говорить о некоторой устойчивости данного племенного

¹⁰⁴ Wundt W. Logik. Bd. II, 2, 3-te Aufl. S. 281 ff.; ср. выше, с. 39, его же рассуждение о «единичном законе».

типа, а тогда уже можно пользоваться им в вышеуказанном смысле. В противном случае понятие племенного типа может ввести исследователя в заблуждение: ведь даже у ученых, склонных к обобщению в номотетическом смысле, оно весьма условно; один из них, например, сам указывал, что социология — история, и придерживался теории расы, но затем он пришел к заключению, что «раса» — продукт истории, а не природы. По его мнению, чем дальше мы углубляемся в древность, тем более мы замечаем сходства между народами; время устанавливает между ними различия и свойства, которые мы видим в них, не врожденные, а приобретенные. Ни один из них сам по себе не отличается ни воинственностью, ни миролюбием: «склонность к миру или к войне одерживает в них верх, смотря по тому политическому устройству, при котором им приходится жить». Если в настоящее время существуют народы, имеющие, по-видимому, особую склонность к тому или другому образу правления, к тому или другому виду деятельности, то этим они обязаны долговременному влиянию тяготеющих над ними веков¹⁰⁵.

Таким образом, понятие о племенном типе сужается и само еще недостаточно для объяснения причинно-следственной связи; даже в данных пределах времени и пространства племенной тип не является причиной, постоянно действующей единообразно; он скорее типологическое построение¹⁰⁶.

Понятие о «культурном типе» как комбинации факторов, порождающих соответственные продукты культуры, по мнению историков-социологов, допустимо в качестве предварительного и приближенного обобщения в области культурной истории; но и им можно пользоваться лишь в строго ограниченных пределах пространства и времени, которые далеко не всегда можно установить с желательной точностью, а при таких условиях легко образовать культурный тип из признаков, характеризующих различные периоды, и придавать ему произвольное значение.

Во всяком случае, соотношение между типом данной нации или культуры и соответственными продуктами культуры ввиду вышеуказанных соображений не отличается той логической необходимостью и всеобщностью, которая характеризует понятие закона в строгом смысле.

Номологические обобщения, опирающиеся на понятия о консенсусе и эволюции, в области истории также оказываются недостаточ-

¹⁰⁵ *Coulanges Fustel de*. La Gaule romaine. P. 8, 134–135 и др.

¹⁰⁶ *Finot J.* Le préjugé des races. Par., 1905.

ными и вызывают некоторые сомнения. Эти термины можно употреблять различно, придавая им или общее, или индивидуальное значение; но представители разбираемого направления упускают из виду последнее: они слишком мало останавливаются на понятии о данной системе культуры, или о данной эволюции как о некоем целом; они не дают конструкции субъекта консенсуса или эволюции и не выясняют, какова логическая природа той связи, которая устанавливается между целым и его частями, т. е. элементами культуры или звеньями эволюции, хотя сами иногда готовы признать, что «всемирная история есть единичный и единственный в своем роде процесс»¹⁰⁷. Вообще стремление к обобщению сильно затрудняет его построение: не обращая внимания на те единичные конкретные факты, влиянием которых один исторический момент отличается от другого, историк-социолог, например, часто ограничивается изучением истории со статической точки зрения: в таком случае он легко смешивает факты, случившиеся в разное время, и забывает, что в зависимости от разного положения во времени факт может получить и разное значение; он останавливает ход истории и не в силах представить ее в движении. Впрочем, и историк-социолог, казалось бы, может дать о нем надлежащее понятие путем построения эволюционных серий; но и тут стремление к обобщению ведет к образованию отвлеченно взятых, типических серий, а такая конструкция может удовлетворить собственно историческое понимание лишь при смешении логически конструируемого (с номотетической точки зрения) ряда с действительным историческим рядом; в последнем нельзя элиминировать индивидуальное (лица, события); нельзя без него понять, почему в данном пункте пространства и в данный момент времени одно состояние общества сменилось другим; нельзя подвергнуть такую связь дифференциальному изучению. Наконец, при построении понятий о прогрессе и регрессе историк-социолог встречает не менее, если не более, затруднений: он либо отрицательно относится к научности таких понятий, придавая им чисто субъективный характер, либо ставит в связь понятие о прогрессе с нравственным постулатом, соответственно изменяя и свое понятие о регрессе, и таким образом, в сущности исходит из принципов, не находящих себе места в номотетическом построении.

Во многих случаях приверженцы номотетического построения, тем не менее, считают возможным рассуждать об «исторических за-

¹⁰⁷ *Lamprecht K.* Die kulturhistorische Methode. S. 44: «Die Weltgeschichte ist ein einzigartiger, singulärer Prozess»...

конах» благодаря тому, что они этим термином обозначают лишь эмпирические или даже типологические обобщения. Некоторые из них, например, или слишком мало различают закон от эмпирического обобщения, или последнему придают слишком большое обобщающее значение; но смешивать закон, устанавливающий логически необходимое и всеобщее причинно-следственное отношение между предшествующим и последующим, с установлением простой последовательности их, наблюдаемой в опыте, конечно, нет никакого основания. Попытки установить причинно-следственную связь между эмпирически необходимыми последовательностями проводились, но таких случаев очень немного, даже в языкознании¹⁰⁸.

Если не все исторические обобщения, то во всяком случае большинство их представляется нам даже не строго эмпирическими: в действительности отступления от них встречаются; а потому такие обобщения могут быть названы скорее феноменологическими или эволюционными типами, чем настоящими эмпирическими обобщениями; таков, например, «закон» смены форм правления и т. п.

С социологическо-исторической точки зрения такие типологические построения можно признавать главным образом подходящими техническими средствами для систематики материала; но более широкое употребление их может вызвать целый ряд возражений.

Нельзя забывать, например, что история человечества, взятая в целом, — единственная в своем роде; между тем факторы ее играют роль и в образовании типов. С такой точки зрения генезис их сам не имеет типического значения¹⁰⁹.

Далее, если, с одной стороны, тип — понятие относительно общее по отношению к тем «экземплярам», которые субсуммируются под него, то с другой — поскольку данный тип противопоставляется остальным, он уже индивидуален; мы приписываем ему, в отличие от других типов, некоторые свойственные ему особенности, что и придает ему индивидуальный характер. Построение «социальных типов», например, ограничивает некоторые обобщения пределами данного типа; с такой точки зрения можно говорить о разных типах развития культуры и, значит, приходиться к заключению, что далеко не все народы проходили одни и те же стадии эволюции; но в случаях подобного рода понятие типа уже употребляется для некоторой индивидуали-

¹⁰⁸ *Wundt W. Völkerpsychologie. Bd. I, 1. S. 413 и след.*; здесь автор делает попытку объяснить «закон» Гримма.

¹⁰⁹ *Hintze O. Ueber individualistische und kollektivistische Geschichtsauffassung* в «Hist. Zeit». Bd. 78 (1897). S. 67.

зации исторических данных. В своем стремлении к обобщению сторонники разбираемого направления легко забывают, однако, ограниченное значение своих выводов: они произвольно распространяют объем типа за пределы места и времени, в которых он только и имеет значение, часто не различают типического от случайного и т. п.¹¹⁰

Наконец, приверженцы номотетического направления упускают из виду то значение, какое тип получает в зависимости от отнесения его к данной ценности и в качестве средства для индивидуализирования наших исторических знаний. Такие ученые забывают, что можно образовывать известный тип и не в естественноисторическом смысле слова: в естествознании он употребляется в качестве относительно общего понятия, обозначающего такую совокупность экземпляров, которую можно характеризовать общими им признаками; в истории тип может получить определенное значение путем отнесения его к известной ценности и может стать нормой; тогда речь идет уже не о том, что обще, а что должно быть общим; это типы, образуемые в зависимости от понятия о должном; нравственная или правовая норма, например, не есть тип поведения, а тип должного поведения. В номотетических построениях тип иногда явно образуется путем отнесения к ценности или к какому-либо единичному факту с крупным историческим значением «маленьких фактов, имеющих значение» (*petits faits significatifs*); в таких случаях «значение» последних, однако, уже признается, но тот критерий, в силу которого оно признается и который обуславливает построение именно данного типа, не устанавливается¹¹¹.

Вместе с тем представители номотетического направления не отрицают значения типологических обобщений в качестве средства для изучения индивидуального; тип может служить как бы штемпелем, приложение которого к данной индивидуальности обнаруживает, в чем именно она отличается от типа, а такие отличия, в свою очередь, требуют объяснения, что и ведет к индивидуализированию данного случая.

¹¹⁰ Aulard A. Op. cit; здесь можно найти много примеров таких именно ошибочных заключений, сделанных Тэном в его известном труде о Французской революции: см. р. 32, 52–53, 83, 111, 113, 125, 286–287, 296, 325–326 и др.

¹¹¹ Индивидуализм (в качестве типа) имел религиозное значение у средневековых мистиков, прежде чем секуляризировался в эпоху Возрождения; или, положим, образ жизни парижан во время осады столицы прусскими войсками в декабре 1870-го и в январе 1871 годов, в зависимости от такого именно факта можно характеризовать «маленькими фактами, имеющими значение» и т. п.

С такой точки зрения приверженцы идеографической точки зрения готовы даже прямо отрицать самостоятельное значение типологических построений¹¹².

Критическое рассмотрение номотетического построения исторического знания уже обнаруживает законность и другой точки зрения на историю — идеографической; приступим к ее изучению.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

ПОСТРОЕНИЕ ТЕОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ С ИДЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

При изучении построения теории исторического знания с идеографической точки зрения следует также различать его генезис от его оснований. Помимо общих соображений, уже высказанных в пользу такого различения в предшествующем отделе (с. 68), достаточно заметить здесь, что разбираемое построение сложилось не сразу: оно почти бессознательно применялось задолго до его обоснования и обнаружилось в довольно разнообразных попытках выяснить значение некоторых из его основоположений, прежде чем получило более систематическую формулировку и стало сознательно применяться к научной обработке исторического материала. Предварительное знакомство с главнейшими из таких попыток прояснит разнообразные точки зрения, с которых наша проблема обсуждалась, и облегчит усвоение именно той точки зрения, с которой идеографическое понимание может быть систематически установлено в его применении к задачам собственно исторического знания. Впрочем, такую систему нельзя еще признать окончательно установленной, что и дает основание подвергнуть ее критическому рассмотрению.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ГЛАВНЕЙШИЕ МОМЕНТЫ В РАЗВИТИИ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Развитие теории исторического знания, построенной с идеографической точки зрения, можно было бы начинать с классической древности. Древние мыслители, много рассуждавшие о бытии и бывании,

¹¹² *Ritschl O.* Die Causalbetrachtung in den Geisteswissenschaften. Bonn, 1901. S. 32: «Das typische gehört... nicht mehr in die Geschichte selbst hinein».

правда, высказывались в том смысле, что наука трактует только об общем и что нет науки о частном, об индивидуальном или о случайном; но греки умели постигнуть ценность жизни, и античная историография уже внесла в ее понимание несколько идей, оказавших влияние и на идеографическое ее построение. Не задаваясь целью подвергнуть их всестороннему рассмотрению, я ограничусь указанием на две из них, тесно связанные с понятием об исторической действительности. Историки того времени уже стали сознательно сосредоточивать свой интерес на том, что действительно было, и в сущности, выбирали из известных им фактов то, что казалось им важным для истории преимущественно греческой цивилизации; естественно, что при таких условиях элементы идеографического построения можно уже встретить у некоторых из наиболее выдающихся представителей античной историографии (например, у Фукидида); после водворения римского господства они не чуждались и универсально-исторической точки зрения (например, Полибий).

Такая универсально-историческая точка зрения перешла и к Отцам Церкви, переработавшим ее согласно с христианским мирозерцанием, а через их посредство и к составителям средневековых хроник (св. Иероним, св. Августин, Исидор Севильский и др.). С религиозно-трансцендентной точки зрения, которой придерживались христианские мыслители даже позднейшего времени, история человечества получала особого рода единство: Божественный промысел руководит ею, «воспитывает» человечество в его истории и т. п.; вместе с тем Боговоплощение — центральный ее момент; люди предуготовляются к нему или пользуются его плодами (Боссюэт).

После падения исключительного авторитета Церкви и по мере секуляризации человеческой мысли религиозно-философское влияние на понимание истории стало сменяться, однако, влиянием философским. В самом деле, тот эмпиризм, который возник почти одновременно с основанием знаменитой иезуитской конгрегации, уже исходил из противоположных ей начал и оказал заметное влияние на идеографическое понимание истории; вслед за тем и другие философские системы начали влиять на такое же понимание и даже (например, в виде учения об идеях) несколько отразились в современной им историографии. Вместе с тем интерес к индивидуальному вообще усилился, главным образом, в эпоху Возрождения, а затем и в эпоху романтизма; романтики уже пытались выяснить основания своего интереса к индивидуальности: они ценили ее преимущественно с эстетической точки зрения. Впрочем, нельзя упускать из виду, что развитие конкретно-исторических построений последующего времени

находилось в связи не только с культурными, но и с политическими условиями действительной жизни: отвлеченность принципов Французской революции и Наполеоновские войны, грозившие стереть многие нации с лица земли, вызвали реакцию; она обнаруживалась в сильном подъеме национального духа: целый ряд крупных исторических трудов, главным образом, немецкой школы, написанных согласно идеографическому пониманию истории, возникли под влиянием такого именно настроения; связь подобного рода заметна и в позднейшее время, время политического объединения Германии. Под влиянием вышеуказанных условий понятие об исторической действительности получило в Новое время и новую формулировку, в известной мере объединявшую прежние понятия о ней: ученые стали понимать под историческою действительностью все важное для истории человечества; вместо всемирной истории они стали преимущественно говорить об истории всеобщей, не всегда, впрочем, сознавая смысл такой терминологической перемены (Ранке).

Подробное изучение генезиса идеографического понимания истории не входит, однако, в задачи настоящего очерка; я укажу лишь на главнейшие моменты в развитии систематического построения исторического знания в Новое время, т. е. на те попытки, которые характеризуются стремлением выяснить его основания и, опираясь на них, выработать целую систему исторических понятий.

Такие системы конструировались преимущественно с философской точки зрения; значит, главнейшие попытки подобного рода построений естественно различать в зависимости от того именно направления в развитии философии, к которому они примыкали: можно последовательно остановиться на характеристике, хотя бы в самых общих чертах, попыток дать идеографическое построение, главным образом, с точки зрения эмпиризма и рационализма, далее с точки зрения этического и метафизического идеализма, а также позитивизма и пробабализма и, наконец, с точки зрения теоретико-познавательного идеализма.

§1. Идеографическое построение с точки зрения эмпиризма и рационализма

После падения исключительного авторитета Церкви и благодаря секуляризации человеческой мысли интерес к науке и преимущественно к эмпирическим знаниям усилился; под его влиянием, а также ввиду развития некоторых эмпирических наук, в особенности астрономии и естествознания, мыслители XVII–XVIII вв. приступили и к систематике наук; с такой точки зрения они должны были заинтересоваться

и историческим знанием; выясняя его положение в системе наук, они пришли к эмпирическому построению исторического знания в идеографическом смысле; историю его можно начинать со времени появления известного сочинения Бакона «*De dignitate et augmentis scientiarum*».

Занятый мыслью улучшить то соотношение, какое философия устанавливает между человеческим умом и вещами, и желая выяснить взаимную связь между науками, Бакон попытался отвести в системе их особое место наукам историческим.

В своей системе Бакон исходил из известного деления «способностей человеческой души» (познающего субъекта) на три главные: разум, память и воображение (*ratio, memoria, phantasia*), причем противопоставлял науки, основанные на «разуме», наукам, пользующимся «памятью и воображением»¹¹³. Разум лежит в основе наук обобщающих, в совокупности называемых «философией»: «философия» пренебрегает индивидуумами и понятиями, через посредство которых мы представляем только их; она обнимает лишь такие понятия, которые отвлекаются (абстрагируются) от них, и занимается тем, что соединяет или разделяет понятия подобного рода согласно законам природы и очевидности самих вещей. «Наука», пользующаяся памятью и воображением, противоположна «философии» в том смысле, что она интересуется не общим, а индивидуумами; история, основанная на «памяти», в отличие от «поэзии», пользующейся «воображением», есть все же эмпирическая наука; «история и опыт одно и то же»; историк изучает действительных индивидуумов, а не воображаемых, свободно построенных (художественным) творчеством человека; воображение, напротив, «имеет отношение к поэзии»; она не что иное, как «мнимая история».

Таким образом, определив место, которое история занимает в системе наук, Бакон переходит далее к выяснению ее содержания. «Индивидуумы, поскольку они отграничены временем и пространством» — «настоящий предмет истории». Под такое понятие легко подвести и «естественную историю» (*historia naturalis*), и «гражданскую историю» (*historia civilis*). В самом деле, хотя кому-либо и может показаться, что естественная история занимается изучением «видов», а не индивидуумов, но такое впечатление получается лишь оттого, что под видом разумеют совокупность предметов, во многих отношениях сходных между собою, так что кто знает один из них, знает и все осталь-

¹¹³ Бакон перечислял способности в обратном порядке (память, воображение, разум).

ные; тем не менее и в природе мы можем наблюдать индивидуумы, единственные в своем роде, например солнце или луну, или такие индивидуумы, которые сильно уклоняются от данного вида; с наименьшим основанием можно описывать их в естественной истории, чем и «человеческих индивидуумов» в истории гражданской. Таким образом, к области естественной истории можно отнести изучение действий и подвигов природы, а к области гражданской — действия и подвиги человека.

В область истории природы должны войти три рода предметов. Первый отдел истории природы изучает генезис тел и форм природы (*historia generationum*), связанный с изучением самой природы вещей; сюда нужно отнести, например, историю небесных тел, метеоров, в том числе и комет, а также историю ветров, дождей, бурь и т. п. (исключительных, единичных) феноменов; историю (образования) земли и моря, гор, рек, приливов и отливов, песков, лесов, островов, самой конфигурации материков и их очертаний; историю основных элементов (*massae sive collegia, majores; vulgo elementa*) — огня, воздуха, воды и земли, их движений, действий (*operibus*) и влияний (*impressionibus*); историю таких соединений (*collegia sive massae minores*), которые известны под названием «видов» (*species*). Второй отдел истории природы составляет изучение более или менее значительных уклонений, «errores» природы (*historia praetergenerationum*), т. е. тех произведений природы, которые представляют уклонения от обычного ее хода; сюда можно причислить произведения (*productiones*), свойственные только известным областям и местностям; исключительные происшествия, случившиеся в данное время; такие события, которые историки иногда называют игрою случая; следствия действия скрытых сил (*proprietatum abditarum effectus*); вещи, единственные в своем роде, встречающиеся в природе. Наконец, третий отдел истории природы (*historia artium, sive mechanica experimentalis*) обнимает изучение техники, т. е. вещей, возникших благодаря искусству человека; они отличаются от произведений природы по причинам, вызвавшим их, но не по существу и не по форме; в таких случаях к действию природы прибавляется действие человека; но он может только перемещать тела природы, сближать их друг с другом или удалять их друг от друга, а не создавать что-либо новое по существу. История природы во всех трех ее областях, рассмотренных выше, должна не только рассказывать, т. е. удовлетворять потребности знать то, что было, но должна стремиться сделаться индуктивной, т. е. должна готовить материал для «философии» и питать ее своим «молоком».

История гражданская изучает действия и подвиги человека не вообще, а взятого в его индивидуальности; она стремится к изучению специфических особенностей и характера данной личности; нельзя, однако, достигнуть научного построения такой действительности без изучения причинно-следственной связи событий. Душа гражданской истории состоит в том, чтобы выяснять, какие именно причины произвели данное событие, чтобы углубиться в изучение «движения веков, характера деятелей, свойств подземных течений, вызвавших их действия» и истинных их мотивов, а не одних только внешних, которыми они прикрывались, и т. п.; она выясняет принципы, которыми они руководились, — совокупности обстоятельств, обусловивших возможность совершения их действий, и т. п. Следовательно, история «специфицирует» природу народов, действовавших в данных пределах времени и пространства, и таким образом, достигает понимания данного периода времени или какой-либо личности, какого-либо действия или подвига, достойных внимания, что возможно лишь при известном «выборе фактов»¹¹⁴.

Теория Бакона не вполне исчезла из оборота европейской научной мысли. Лейбниц, уже в молодости ознакомившийся с его трудом, относился с сочувствием к предложенному им делению наук. Бакон оказал довольно сильное влияние и на французскую философию XVIII в., о чем свидетельствует известная французская энциклопедия Дидро и Даламбера. Последний в своей системе наук в сущности придерживается основных положений Бакона и, подобно ему, рассуждает об истории, которая, по его мнению, делится на историю природы (с ее разновидностями) и историю гражданскую.

В то же время, однако, под влиянием развития эмпирических наук мыслители-ученые стали яснее сознавать, что из научно-рационалистической конструкции нельзя еще вывести реально данного мира и что всякой эмпирической науке, конструирующей действительность, приходится считаться с ее данностью, по крайней мере, в один какой-либо момент ее существования. В своем известном введении к французской энциклопедии Даламбер, кажется, уже выразил нечто подобное: Вселенная, по его словам, представлялась бы тому, кто сумел бы обнять ее с одной точки зрения, великой истиной и единым фактом. Во всяком случае, успешное приложение точных наук к разработке эмпирических данных не давало еще ученым права пренебре-

¹¹⁴ *Bacon F. De dignitate et augmentis scientiarum. Lib. II. C. 1-12*; издание 1605 г. в дополненном виде вышло в 1623 г. Бакон перечислял «способности» души в ином порядке, а именно: память, воображение, разум.

гать действительностью: напротив, один из великих математиков Нового времени, Лаплас, приступая к изложению теории вероятностей, сам признал, что вместе со знанием законов (*les forces*) надобно еще принять данное состояние системы тел, т. е. некоторое положение их в пространстве под условием времени, хотя бы в один какой-либо момент ее существования, для того чтобы достигнуть полноты научного знания и иметь возможность не только понимать прошедшее, но и предсказывать будущее¹¹⁵.

Вышеизложенные эмпирические построения не давали, однако, прочных оснований для идеографического понимания исторической действительности: они все еще очень мало выясняли ту теоретико-познавательную точку зрения, с которой наука может интересоваться индивидуальным, и скорее довольствовались указанием на особого рода объекты, подлежащие такому исследованию. Перемещение нашей проблемы в область теории познания совершилось не без некоторого влияния рационализма.

Универсальный гений «века Просвещения» Лейбниц старался примирить религию с наукой и различал рациональное от эмпирического, но придавал значение обоим; он попытался выяснить различие между истинами логическими и фактическими и, таким образом, дал основание проводить грань между философией и историей, не отрицая последней. Лейбниц полагал, что есть два рода истин: «вечные» истины, основанные на рассуждении, и фактические истины, представляющиеся нам в виде «действительного бытия существ». «Вечные» истины абсолютно необходимы, и понятия, им противоположные, невозможны; фактические же истины суть истины случайные (*vérités contingentes*) и их противоположность возможна¹¹⁶; они оказываются как бы реальными скрещиваниями «истин необходимых»; но нельзя вывести их из таких истин: реальные факты никогда не проистекают из одних законов, а всегда предполагают другие реальные факты, которыми они необходимо обусловлены, и т. д. до бесконечности.

Вместе с тем Лейбниц пытался выяснить и значение индивидуального. В своем рассуждении о принципе индивидуальности (*Disputatio de principio individui*, 1663), облеченном еще в схоластическую форму,

¹¹⁵ *D'Alembert J.* Discours prélim. в *Encycl.* Т. I, 1751 г.; *Laplace P. S.* Oeuvres. Т. VII. P. VI–VII.

¹¹⁶ *Leibnitz G. W.* Phil. Schriften, hrsg. v. C. J. Gerhardt. Bd. VI. S. 612 (Monad., § 33). Монадология сочинена в 1714 г. (напечатана в 1720 г.); см.: *Davillé L.* Leibniz histoire, p., 1909. P. 337–340; ср., впрочем, о провиденциализме Лейбница *ib.* P. 375, 703, 720.

Лейбниц выступил на защиту индивидуального; он отвергнул средневековое учение о том, что универсальное имеет высшую степень реальности, чем единичное (*singulare*): напротив, *individuum* есть «*ens positivum*»; его нельзя конституировать путем отрицания (*negation non potest producere accidentia individualia*) — положение, разумеется, получившее дальнейшее развитие в учении о монадах. Отсюда Лейбниц делает заключение, что мир (*Universum*) в его действительности есть существование определенного случая общих истин; цель такого осуществления (руководившая Божественным выбором) есть индивидуация; через ее посредство возможно большее число всех форм и стадий индивидуального бытия получает свое осуществление. Вместе с тем, представляя себе мир в виде целого, Лейбниц указывал и на то, что каждый человек «должен понимать другого в качестве как бы его части» («*velut partem universi*»).

Такие же начала Лейбниц пытался применить и к изображению конкретной истории. В числе целей исторического знания главная, по его мнению, состоит в нашем интересе к индивидуальному (*voluptas noscendi res singulares*), а при выборе исторических фактов следует отдавать преимущество тем, которые имеют всеобщее значение; впрочем, в силу «закона непрерывности», или всеобщей связи фактов между собою, даже мелкий факт получает свое значение в историческом процессе¹¹⁷.

Под влиянием Лейбница и Вольф определял философию как науку о возможном, поскольку оно может быть (*die Wissenschaft des Möglichen liefern es sein kann*); а возможным он признавал то, что не содержит в себе никакого противоречия, независимо от того, есть оно в действительности или нет. Философии Вольф противопоставлял знание историческое; последнее обнимает лишь то, что случилось или есть в действительности¹¹⁸. Возможно, что под тем же влиянием Лейбница витенбергский профессор Хладениус уже развил целое учение об «индивидуальных понятиях» в их применении к историческому знанию¹¹⁹.

Итак, идеалистическое обоснование идеографической точки зрения было уже подготовлено Лейбницом и Вольфом; но Лейбниц

¹¹⁷ *Bodeman E. Leibnizens Entwürfe zu seinen Annalen. Ham., 1885. S. 7, 18, 26; «j'ay taché sur tout de mêler [т. е. включить в «Annales Imperii Occidentis Brunswicensis»] des choses qui tirent sur l'universel et qui puissent contenter un peu la curiosité générale».*

¹¹⁸ Вольф, впрочем, утверждал, что «*essentia entis possibilitate eius absolvitur*».

¹¹⁹ См. выше, с. 31–33.

и Вольф (а отчасти еще и Кант), в сущности, противопоставляли рациональное эмпирическому, с которым они и отождествляли «историческое»; следовательно, они смешивали историю-бывание с историей-наукой. Такое построение не могло оставаться в силе, после того как основные начала критической философии, установленные Кантом, получили дальнейшее развитие, и тем более с того времени, когда Фихте попытался выяснить особенности собственно исторического знания.

§2. *Идеографическое построение с точки зрения этического и метафизического идеализма*

В конце XVIII в. стремление приложить научную концепцию, выработанную в естествознании, к истории, правда, несколько задержало дальнейшее развитие идеографического построения; но представители немецкой романтической школы не замедлили высказаться против натуралистического понимания истории.

Критика Фр. Шлегеля на известное сочинение Кондорсе может послужить довольно яркой иллюстрацией такого протеста. В своей «*Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain*» Кондорсе постарался возвести историю на степень «науки». Талантливый очерк Кондорсе вызвал глубокое сочувствие многих мыслителей, и с того времени окончательно обозначилось стремление их с естественнонаучной точки зрения построить историческую науку. Между тем в философском журнале Нитгаммера за 1795 г. уже появилась критика одного из известных представителей немецкой романтической школы, Фр. Шлегеля, на труд Кондорсе. В своей статье Фр. Шлегель выразил совсем иную точку зрения на задачи истории и высказался против того естественнонаучного ее понимания, какого придерживался Кондорсе. «Постоянные свойства людей, — писал критик его очерка, — составляют предмет чистой науки, тогда как задачей научной истории человечества должно признать изучение перемен, происходящих и в отдельных личностях, и в целой их массе»¹²⁰. Поскольку Шлегель противопоставал в вышеприведенном отрывке общие и чистые («*reine*») понятия о законах природы человеческой, а следовательно, и о законах повторяющихся явлений человеческого общения, изображению перемен, происходящих в человеческой жизни, он, по-видимому, готов был признать, что история занимается изуче-

¹²⁰ *Schlegel Fr.* Рецензия на сочинение Condorcet в «*Niethammer's Philosophisches Journal*», 1795; Heft 10. S. 164.

нием единичных фактов. Впрочем, и другие романтики придерживались аналогичных взглядов. Шлейермахер, например, полагал, что «разум» («die Vernunft») проникает собою природу и что задача исторического знания состоит в понимании единичного путем определения того положения, какое оно занимает в целом¹²¹.

Новая точка зрения установилась однако не сразу. Кант, например, лишь подготовил ее обоснование, но не обратил на нее достаточного внимания. Великий основатель «критицизма» стремился выяснить рациональные основы нашего знания, его формы, общие понятия, законы и принципы и отличал их от иррациональности того, что просто дано в чувственном восприятии, т. е. от того, чего нельзя вывести из таких рациональных оснований и что оказывается для нашего разума «случайным»; он также желал «рационально отграничить иррациональный остаток действительности», но все еще слишком мало принимал в расчет ее значение для нас; Впрочем, он уже стал оттенять ту регулятивно-телеологическую точку зрения, с которой «как бы» ввиду цели, преследуемой творческим разумом, можно объяснять себе единичное в природе; вместе с тем он дал развитое учение о нравственном достоинстве человеческой личности и о свободе ее воли, в силу которой она самопроизвольно предписывает себе закон, который должен иметь всеобщее значение. Таким образом, Кант уже установил те общие основания, в силу которых можно было рассуждать о значении индивидуального; но все же он еще слишком мало останавливался на выяснении теории собственно исторического знания и на логике исторических наук; придавая ценность единичному в истории лишь постольку, поскольку оно содержит нечто общее и разумное, он не мог установить принципиального различия между знанием «естественнонаучным» и знанием «научно-историческим». Тем не менее с Канта можно начинать новый период в развитии идеографического построения истории: главные методологические принципы критического идеализма легли в основу последующих теорий об идеографическом характере исторического знания. Сам Кант указал также и на то, что построение истории человечества нуждается в какой-либо руководящей точке зрения (Leitfaden) и в каком-либо масштабе: он разыскивал их в разумной природе человека, которая может вполне развернуться только в совершенном государстве; в сущности, он полагал, что с точки зрения моральной можно построить

¹²¹ *Schleiermacher F. Geschichte der Philosophie. Berl., 1839. S.16; ср. Mulert H. Schleiermacher-Studien, I: Schleiermacher's geschichtsphilosophische Ansichten in ihrer Bedeutung für seine Theologie. Giessen, 1907.*

философию истории как целесообразное осуществление нравственности. В одном из своих рассуждений, между прочим, задавая себе вопрос о том, каким критерием историки позднейшего времени будут руководствоваться при выборе фактов, Кант отвечает, что они, без сомнения, будут интересоваться теми из них, которые оказали полезное или вредное влияние на ход всемирной истории¹²².

Дальнейшее движение немецкой философско-исторической концепции характеризуется, напротив, стремлением придать ценность индивидуальному в истории как таковому. «Вместе с развитием великого исторического мировоззрения – идеализма интерес к истории усилился; благодаря романтизму он распространился среди образованных кругов общества и приобрел такую серьезность и глубину, о которых ранее люди и не мечтали»; философам предстояло обособить и развить такое настроение: историки были слишком заняты специально-научной разработкой своего предмета в его конкретном содержании.

Во главе таких мыслителей можно поставить Фихте; по его словам, он придерживался в сущности «той же точки зрения, что и Кант»; но он пытался вывести из сущности мышления принцип, который объединял бы теоретическую и практическую философию, и шел своим путем; он также близко сошелся с романтиками, с братьями Шлегелями и другими. Вообще Фихте хотел дать систему, которую справедливо называют «этическим идеализмом».

За несколько лет до своей смерти Фихте, правда, стал резче подчеркивать понимание «абсолютного» в метафизическом, а не в теоретико-познавательном смысле; он стал признавать Божество, или абсолютное «Я», единственным абсолютным бытием, обнаруживающимся в каждом эмпирическом «Я», в его свободной деятельности и придающим единство множественности сознаний; с такой точки зрения он представлял себе исторический процесс непосредственным осуществлением Абсолютной Ценности в действительности и пытался построить «философию истории»; но главное значение Фихте для развития идеографического построения состоит не в трансцендентных его предпосылках, а в том учении, которое привело его к этическому идеализму и к новой теории исторического знания.

С последней точки зрения Фихте исходит из телеологического построения понятия о сознании, высшая цель которого состоит в том,

¹²² *Kant I. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in Weltbürgerlicher Absicht // Werke. V. IV (1838). S. 39.* Влияние Канта уже обнаружилось в сочинении *C. Fölitz'a Geschichte der Kultur der Menschheit nach kritischen Prinzipien, 1795.*

чтобы мыслить самого себя, т. е. из понятия о «чистом Я, изначально безусловно полагающем свое собственное бытие»; значит, свободная деятельность чистого «Я», его акт самосознания обуславливает собою «бытие»; наше «Я» в качестве «теоретического Я», или познающего субъекта, правда, определяет себя в отношении к объекту, т. е. противопоставляет себя «не – Я», и таким образом ограничивает себя в каждом отдельном акте сознания его содержанием; но в сущности наше «Я» становится теоретическим для того, чтобы быть практическим: ведь оно стремится сделать чувственный мир лишь материалом для своей свободной деятельности, а последняя в качестве самоцели может быть только нравственной деятельностью. Ни из теоретического, ни из практического разума нельзя, однако, вывести данность единичного его содержания: наше «Я» переживает последнее благодаря бессознательной и свободной деятельности представлвания; она глубже заложена в надындивидуальном «Я», чем сознательная деятельность.

Такой момент имеет тем большее значение, что свободная деятельность нашего «Я» может обнаруживаться только через индивидуальное посредство: она проявляется в каждом отдельном индивидууме, в каждом в совсем новой, никогда ранее не бывшей форме («die ideale Individualität oder, wie es richtiger heisst, die Originalität»). Каждый без исключения должен участвовать в планомерном осуществлении нравственной цели, «но в ему одному присущем и ни одному другому индивидууму недоступном виде; такое соучастие раз навсегда развивается в нем так, как оно не может развиваться ни в каком другом индивидууме, и обнаруживается в постоянной деятельности его (духа), что и можно было бы назвать индивидуальным характером его высшего определения». Итак, в силу присущей каждому «Я» свободы и его «оригинальности» каждый человек должен реализовать идею долга, заложенную в его сознании, лишь ему одному свойственным путем; совесть повелевает: «мысли и действуй согласно твоему назначению»; таким образом, нравственная свобода становится и основным принципом индивидуальности.

Вместе с тем понятие об отдельной личности получает полноту своего значения только в отношении к чужим «Я»; каждое «Я» побуждается к свободной деятельности под условием признания таких же свободных чужих «Я», в взаимодействии с которыми оно только и способно реализовать себя, т. е. обнаруживать свободу своей деятельности в действительности. Таким образом, общество оказывается необходимым условием осуществления человеческой деятельности и само получает форму государства.

Учение о «нравственном определении» приводило Фихте и к изучению логических особенностей понятия об историческом: сам он говорит, что философия должна позаботиться о выяснении «логики исторической истины». Вместо того чтобы противопоставлять, в сущности, рациональное (философию) эмпирическому (истории-быванию), Фихте, напротив, стремился выяснить логические особенности науки о действительности, т. е. исторического знания о ней, или научного построения осуществления всеобщего долженствования (абсолютной ценности) в историческом процессе; поскольку каждый должен мыслить и действовать согласно своему назначению, момент «индивидуально-нравственного определения» в действительности становится необходимым; само понятие о долженствовании в вышеуказанном его смысле требует конкретной реализации формально-должного в действительности.

В той мере, однако, в какой конкретное содержание индивидуального и каждое такое осуществление единичное и единственное в своем роде, оно иррационально; его нельзя подвести под общие понятия; человеческую жизнь нельзя исчерпать ими; в человеческой жизни получается остаток — нечто, что должно быть непосредственно пережито. Эмпирически данное единичное должно, однако, иметь положительный смысл: оно получает его не путем рационалистической дедукции, а с телеологической, этической точки зрения благодаря своему значению или ценности; то единичное и (в теоретико-познавательном смысле) «случайное», которое нельзя подвести под рациональные «общие законы», но которое само по себе получает в наших глазах значение или ценность благодаря его собственному самоопределению, называется «свободой» и становится историческим. С такой точки зрения нельзя смешивать историю-бывание с нашим построением ее: история-бывание — нечто иррациональное; она только переживается; но поскольку она оценивается нами, мы можем построить ее. В самом деле, так как «откровение нашего индивидуального нравственного определения», или осуществление ценностей, совершается лишь в конкретной действительности, то с такой точки зрения следует признать и ценность конкретно данного исторического процесса. Хотя индивидуальность получает ценность лишь в той мере, в какой она представляется частью ценного реального целого, осуществляющего абсолютную ценность, но такая часть должна стать «единственным в своем роде членом целого», т. е. незаменимым для него членом; значит, она сохраняет свое самостоятельное значение (ценность), поскольку она незаменима никакой другой. Впрочем, человеческая личность делается незаменимым членом целого лишь через

посредство нации; в самом деле, нация воплощает в себе государство; она характеризуется единством и целостностью, которые реализуются в ее индивидуальности и ее истории; вместе с тем она получает присущее ей одной значение в качестве части еще более крупного целого — человечества. Таким образом, и личности, и нации, развертывающие свою свободную деятельность ввиду этической цели, получают ценность и становятся историческими, если они делают свой способ осуществления ценностей длительною составною частью последующего развития человечества. Этот процесс в его целом совершается однажды и единственный в своем роде¹²³.

Метафизическая конструкция, к которой Фихте склонялся в последние годы своей жизни, не прибавила ничего особенно ценного к вышеприведенному пониманию познавательной цели исторической науки и главной задачи исторического построения; тем не менее его метафизика оказала существенное влияние на последующее развитие немецкого идеализма, получившего преимущественно метафизический характер. Шеллинг, например, смотрел на историю в ее целом как на непрерывное раскрытие Абсолютного и в нем искал примирения между субъективной свободой и объективной необходимостью; оно достигается в государственном правопорядке; но с точки зрения субъективно свободной действительности человеческого духа Шеллинг не мог сочувствовать перенесению понятия о законе в механическом смысле в область истории; он писал: «Возможна ли философия истории? невозможна; можно ли представить себе историю часов, никогда не нарушающих своего правильного хода? Поэтому и человек, превратившийся в машину (он ел, пил, был женат и умер), не представляет достойного объекта даже для простого рассказа; то, что можно рассчитать а priori, что происходит по необходимым законам, не есть объект истории; наоборот, все, что составляет объект истории, не должно принадлежать априорному умозрению». Таким образом, Шеллинг полагал, что задача исторического знания не состоит в обобщении.

Дальнейшая эволюция идеографического построения стала в некоторую зависимость и от философии Гегеля: в его системе можно указать несколько существенных положений, которыми приверженцы идеографического построения воспользовались.

¹²³ *Fichte J. G.* Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, 1794 и след. годов; *Naturrecht*, 1796; *System der Sittenlehre*, 1798 и др. в S. W. Bd. I, III u. IV; *Lask E.* Fichtes Idealismus und die Geschichte. Tüb., 1902; *Wiener M.* J. G. Fichtes Lehre vom Wesen und Inhalt der Geschichte. Kirchhain, 1906.

Гегель понимал историю в смысле процесса, которым Мировой Дух достигает сознания самого себя, а таким образом и свободы («Drang des Geistes das Absolute, d. h. Sich selbst zu finden»); эта свобода конкретно осуществляется в государстве.

Следовательно, поскольку Мировой Дух раскрывается в мировом историческом процессе, последний получает значение единого целого; но если Дух раскрывается в истории в самой конкретной своей действительности¹²⁴, то и задача исторической науки состоит в изучении действительности как целого, в котором каждая вещь, являясь моментом одного и того же процесса раскрытия идеи, не есть случайность и может иметь в нем только одной этой вещи присущее место; историк, занимающийся ее изучением, должен раскрывать разумное даже в мельчайших частях бывания¹²⁵.

Согласно учению Гегеля Дух, выходя из стадии чистой субъективности, на которой он отождествляется только с психическим, противопоставляется природе и становится объективным в праве, морали и нравственности, абсолютным — в искусстве, религии и философии (ср. *Geisteswissenschaften* Гегеля с современной *Kulturwissenschaft*); но поскольку Дух объективировался в «культуре», она представляется целым, имеющим ценность. С такой точки зрения, исходя из учения Гегеля об абсолютном духе, поскольку он раскрывается в мировом историческом процессе, можно было придавать последнему ценность и в его целостности, и в его частях: они ценны и отличаются от «несущественного», случайного в той мере, в какой Мировой Дух через их посредство (путем «отрицания») достигает сознания своей свободы¹²⁶. В самом деле, Гегель признавал ценность того целого, частями которого он считает отдельные народности: единый Мировой Дух «в необходимой последовательности» раскрывается в их истории; подобно личности, и каждый народ есть часть, в которой Дух обнаруживает одну из своих сторон; с такой точки зрения индивидуальность отдельных народов получает свое значение; культурное целое представляется ценным реальным целым, части которого — индивидуальности — находятся не в логическом, а в реальном отношении к целому и тоже имеют ценность.

¹²⁴ *Hegel G. W. F. Werke. Bd. IX (Philosophie der Geschichte). 3-te Aufl. S. 21. «Der Geist ist in der Weltgeschichte in seiner concretesten Wirklichkeit».*

¹²⁵ Впрочем, сам Гегель различал «существование» (Existenz) от действительности и строил свое понятие о разумной действительности не без оценки ее значения; см., например, *Hegel G. W. F. Werke. Bd. VI. 2-te Aufl. S. 9–10.*

¹²⁶ *Hegel G. W. F. Werke, IX. 3-te Aufl. S. 80–81.*

В связи с вышеуказанными положениями Гегель выдвинул и теорию развития: его понятие о «диалектическом» развитии все же получило значение; правда, преимущественно методологическое. «Диалектическая философия указывает на необходимость движения и перехода, разрушающих замкнутость отвлеченных понятий. В отрицании (антитезис) она видит принцип движения мысли и приветствует противоположность суждений как залог конкретной полноты описываемых определений.» Благодаря такому приему Гегель в своих известных курсах умел ценить конкретное в его деталях. В своей характеристике процесса диалектического развития Гегель также обратил внимание на то, что он совершается через посредство живых индивидуальных сил; ведь индивидуум дан не в виде человека вообще, а в виде определенного человека с присущими ему индивидуальными особенностями; такая реализация совершается, значит, через посредство отдельных людей со свойственными им интересами и страстями, служащими, тем не менее, для раскрытия Мирового Духа в истории; из них «великим» человеком оказывается тот, воля которого «содержит» волю Мирового Духа и который действует сообразно с ней; то же, разумеется, следует сказать и о целых народах, играющих роль в едином всемирно-историческом процессе¹²⁷.

Следует заметить, однако, что Гегель в сущности ценил всеобщее (абсолютное) в индивидуальном, а не последнее, само по себе взятое; что он диалектическим путем строил мировой процесс; и что, настаивая на разумности действительности и вместе с тем утверждая, что только то и действительно, что разумно (а остальное — случайность), он слишком мало выяснил иррациональность истории.

Гегель имел огромное влияние не только в Германии, но и за пределами ее; косвенно оно отразилось и в других направлениях. Ученые, принадлежавшие к весьма разнообразным лагерям, считали исторический процесс откровением абсолютно ценных идей. Под влиянием вышеозначенного учения историки стремились понять существенную связь событий и вообще господствующие над нею духовные силы — «идеи».

В числе мыслителей, подвергшихся обаянию немецкого идеализма, можно, кажется, указать и на Гумбольдта; нередко его связывали лишь с романтиками; но он в сущности с метафизической точки зрения рассуждал об идеях, «лежащих вне конечных пределов», в качестве движущих сил и целей истории, и полагал, что каждый человек — момент их осуществления; историк должен сознавать «внутреннюю духовную свободу» (действующих лиц); действительность, несмотря на ее кажущуюся

¹²⁷ *Hegel G. W. F. Werke. Bd. IX. S. 29, 30, 37, 38.*

случайность, все же представляется ему «связанной внутреннею необходимостью». Историк, заслуживающий это название, должен изображать каждое событие как часть целого или общее значение ее для истории. С последней точки зрения историк не может разлагать данную часть на составные элементы, ибо характер ее в таком случае теряется из виду и нельзя определить соотношение ее к целому. Установление причинно-следственной связи между фактами, хотя бы оно было принципиально возможно, не достигает основной цели, преследуемой историком, и даже в известном смысле отдаляет его от исполнения главной его задачи: настоящие творческие силы, обнаруживающиеся в живых существах, не поддаются такому объяснению; оно оказывается бессильным перед явлениями, в которых не механически, а свободно действующие импульсы получают главенствующее значение. Это заключение в особенности относится к понятию об индивидууме: разложение его на элементы не дает понятия об его единстве и глубине, собственно о его существе; в «индивидуальности лежит тайна всякого существования». В аналогичном смысле можно говорить и об индивидуальности целых народов. Эти индивидуальности — носители идей. «Идеи могут довериться только духовной индивидуальной силе»; они не существуют сами по себе, а осуществляются в каждом отдельном индивидууме. Каждый человек — проявление, коренящееся в идее, и ясно, что она принимает лишь форму индивидуума, чтобы в нем открыться¹²⁸.

Немецкий идеализм оказал влияние на немецкую историографию, а через ее посредство и на некоторых других историков. Ранке уже находился под некоторым влиянием Шеллинга и в особенности Гумбольдта; по словам одного из новейших историков, Гумбольдт — «великий теоретик», а Ранке — «великий практик» учения об идеях. Гервинус также придерживался, в сущности, взглядов Гумбольдта, а Дройзен склонялся к метафизике Гегеля¹²⁹.

¹²⁸ *Humboldt W. Ueber die Aufgabe des Geschichtsschreibers 1820–1821 // Gesammelte Werke. Bd. I. Berlin. (1841). S. 1–25. См. выше, с. 34–35; на с. 34, стр. 14 снизу вместо слов «статью и под впечатлением»... следует читать «статью под влиянием романтиков и, в частности, под впечатлением»...*

¹²⁹ *Winckler A. Leopold von Ranke, Lichtstrahlen aus seiner Werken. Berl., 1885. Впрочем, Ранке не дал развитого учения об идеях; он энергически высказался против учения Гегеля и не всегда выдерживал свою точку зрения: он рассуждает, например, об «allgemeine Tendenzen» (общих тенденциях), о «moralische Kräfte» (моральных силах), о «Kampf der Ideen» (борьбе идей), об «Invasion und Expansion der Ideen» (проникновении и распространении идей) и т. п. В последнем выражении Ранке даже сходится с Лампрехтом. См. еще выше, с. 34–37.*

В несколько позднее время влияние того же направления отразилось и в социологической литературе, прежде всего в русской школе социологов. Лавров, по словам одного из его друзей, пытался совместить «субъективизм» Канта и его преемников, философию Гегеля, на изучении которой он особенно долго остановился, а также антропологизм Фейербаха и теорию Прудона о человеческой личности, если не о прогрессе. Во всяком случае, принимая во внимание свойства познающего субъекта, наделенного нравственным сознанием, и свойства изучаемых явлений, особенно «поставление целей и стремление к ним», Лавров, в сущности, признавал момент оценки в выборе и в построении всякого социального или исторического факта; таким образом, он и пришел к известному «субъективному методу», в силу которого этика и психология получают существенное значение для постановки и разрешения социальных и исторических проблем; с той же точки зрения Лавров настаивал и на значении цельной личности в истории: она действует на общество «на основании научного знания необходимого и нравственного убеждения о справедливейшем» и оказывается «источником истории»; вообще история представляет процесс, в котором требуется определить последовательную связь явлений, один лишь раз представляющихся историку в данной совокупности, в каждый момент процесса; такие факты располагаются по их «важности», т. е. в перспективе, по которой они «содействовали или противодействовали нравственному идеалу»; с той же точки зрения можно построить теорию прогресса или установить смысл истории, но не ее «закон»¹³⁰. Аналогичного направления в сущности придерживался и Михайловский; подобно Лаврову, он стремился найти такую точку зрения, с которой «правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука об руку, одна другую пополняя», и прилагал «субъективный метод» к социологии и истории, «контролируя» им «объективный метод»; последний не должен быть совершенно удален из области таких исследований¹³¹. Впрочем, представители русской школы все еще смешивали теоретико-познавательную точку зрения с психологической, а также отнесение к ценно-

¹³⁰ Лавров П. Очерк вопросов практической философии, отд. изд. 1860 г.; Исторические письма (1870 г.); 4-е изд. СПб., 1906 г. и др.; *Раннопорт Х.* Социальная философия П. Лаврова, рус. пер. СПб., 1906; *Русанов Н. П. Л. Лавров // Былое.* 1907. Февраль. С. 243–287.

¹³¹ Михайловский Н. Сочинения. Т. I. СПб., 1896; ср. *Кареев Н.* О субъективизме в социологии в его «Историко-философских и социологических этюдах». СПб., 1895. С. 114–134 и выше, с. 43; *Кистяковский Б.* Русская социологическая школа и проч. в сборнике «Проблемы идеализма». СПб., 1902. С. 297–393.

сти с оценкой и продолжали рассуждать с естественнонаучной, психолого-этической точки зрения о «возможности» наступления тех, а не иных человеческих действий; с принятой ими точки зрения они также не различали социологических исследований от исторических. Позднейшие представители критицизма пытаются устранить такое смешение в своих социально-философских построениях, существенно отличающихся от позитивной социологии¹³².

Впрочем, влияние того же идеалистического направления обнаружилось и в новой школе историков, продолжавших исходить от Ранке; они признают историю наукой индивидуализирующей действительность и, подобно ему, отрицательно относятся к мысли о законах истории; Мейер, например, отчасти высказался в таком смысле уже в введении к своей древней истории¹³³; к тому же направлению можно причислить Рахфала, Белова, Сореля, Эктона и др.; воззрения некоторых из них слагались уже и под влиянием теоретико-познавательного идеализма (см. ниже).

Таким образом, в этическом и метафизическом идеализме можно усмотреть немало элементов последующего идеографического построения: без Фихте не могло бы возникнуть и того теоретико-познавательного идеализма, с точки зрения которого идеографическое построение получило наиболее систематическое свое развитие; Фихте, а затем и Гегель перешли, однако, в область метафизики и все еще мало выяснили значение «случайности» в истории; реакция «метафизики» не замедлила обнаружиться в позитивизме, но теория «случайности» еще не получила в нем надлежащего места; такое понятие обратило, наконец, на себя внимание в философской теории, которую можно назвать «пробабилизмом».

§ 3. *Идеографическое построение с точки зрения позитивизма и пробабилизма*

Главнейшие представители позитивизма и пробабилизма Конт и Курно уже придавали значение той познавательной точке зрения, с которой можно изучать конкретно данную историческую действительность; но их теория познания, однако, противоположна критическому идеализму; Конт называл «попытку» Канта «призрачной» и ограничился догматическим констатированием самого факта от-

¹³² *Stammler R.* Wirtschaft und Recht. Lpz., 1896 г., 1-те Aufl.; *Natorp P.* Sozialpädagogik. Stuttgart, 1899, 3-те Aufl.; ср. ниже, отдел второй, глава вторая, § 4.

¹³³ *Meyer E.* Geschichte des Alterthums. Bd. I (1884).

носительности познания, а Курно полагал, что «наши представления устанавливаются соответственно феноменам (*se règlent sur les phénomènes*), а не феномены — соответственно нашим представлениям», т. е. что «порядок, который имеется в наших представлениях, происходит от порядка, который есть в феноменах, а не наоборот»¹³⁴.

Конт еще тесно примыкал к французской научной философии XVIII в.; но он уже различал два рода наук:

1) науки обобщающие и абстрактные; они занимаются открытием законов явлений, приложимых ко всем возможным случаям;

2) науки частные и конкретные; они описывают факты и прилагают законы (добытые науками обобщающими и абстрактными) к объяснению истории действительно «существующих существ»; изучать, например, вообще законы жизни или определять способы существования каждого живого существа в частности — две совершенно различные задачи¹³⁵.

Сам Конт занялся, однако, только философией обобщающих, а не описательных наук, соответственно чему и его философия истории есть в сущности философия обобщающей истории — социальной динамики (ср. динамическую социологию и т. п.).

Впрочем, и в своем социологическом построении Конт (под влиянием Паскаля) пришел к пониманию исторического процесса как единого эволюционного целого, части которого получают значение в их отношении к нему. «Вся совокупность человеческого рода и в его настоящем, и в будущем» представляется Конту в виде все более осуществляющейся «социальной единицы, различные органы которой (индивидуальные или национальные) постоянно связываемые внутренней и всеобщей солидарностью между собою, неизбежно содействуют, каждый согласно определенному способу и в известной степени, основному развитию человечества»¹³⁶. Таким образом, Конт приходит к заключению, что возрастающая солидарность между элементами социальной системы, как бы они ни были сложны сами по себе, приводит к образованию «коллективного организма», элементы которого получают значение лишь постольку, поскольку они оказываются частями данного целого: последнее приобретает все более индивидуальный характер, а следовательно, и все большее единство: оно достигается не

¹³⁴ *Cournot A. Essai sur les fondements de nos connaissances etc. Т. II. P. 380*; сам автор заявляет, что он высказывает такое положение «contrairement à l'assertion de Kant».

¹³⁵ *Comte A. Cours. Т. I, 2 éd. P. 56–60.*

¹³⁶ *Comte A. Cours, IV, 2 éd. P. 293*; ср. *Лаппо-Данилевский А. Основные принципы социологической доктрины О. Конта // Проблемы идеализма. С. 394–490.*

только механическим процессом, но и сознанием общей цели, которую преемственно следующие поколения достигают в человечестве.

В своем научно-историческом построении сам Конт, однако, сосредоточился преимущественно на исторических обобщениях и, отрицательно относясь к теории вероятностей, не остановился на понятии о случайности в истории; вместе с тем он не находил в своей естественнонаучной теории достаточно твердых принципов для того, чтобы удовлетворить им же самим глубоко чувствуемым запросам практической философии.

Только что указанный пробел в теоретическом построении позитивизма вскоре был отчасти заполнен: Курно попытался выяснить значение индивидуального, главным образом, с научной точки зрения теории вероятностей; с такой именно точки зрения оно оказывается «случайным»; Курно, специально занимавшийся теорией вероятностей, преимущественно и указывал не на ценность индивидуального, а на его случайность, и в духе пробабилизма хотел установить значение «случая» в истории.

Курно находился, собственно говоря, под влиянием двух течений, скрестившихся в его сознании, — учения «Средней академии» об относительности нашего знания и теории вероятностей. Учение Средней академии, в особенности Карнеада, о пробабилизме наших знаний и о его степенях, а также о том, что в практической жизни нам приходится довольствоваться известною верою в правдоподобность наших представлений, возродилось благодаря аббату Фуше, шануану в Дижоне; он также рассуждал о вероятности наших знаний; во второй половине XVII в. он пользовался некоторою славою; его воззрения были известны ректору Дижонской академии Курно. Теория вероятностей (Паскаль и Ферма заинтересовались ею в 1654 г.) также не осталась без влияния и на философские течения того времени: с точки зрения пробабилизма уже Лейбниц высказывал понимание истории, в некоторых отношениях аналогичное с тем, которое вслед за тем развивал Курно, знакомый с учением Лейбница; в одном из своих трудов Курно попытался выяснить философское значение понятий о случайности и вероятности (*chance, hasard, probabilité*), которыми он впоследствии широко воспользовался и в своих рассуждениях об истории¹³⁷.

¹³⁷ *Cournot A. Exposition de la théoïre des chances et des probabilités, 1843.* Курно находился и под влиянием Александра фон Гумбольдта: в своем «Космосе» последний развивал учение о том, что существующий мир в его характерных особенностях нельзя вывести из законов; некоторые фактические данные надо принять; ср. *Mentré P. Cournot et la Renaissance du Probabilisme au XIX sc. Par., 1908.*

Случай, по убеждению Курно, есть нечто данное в природе, а не исключительно только наше построение. В действительности мы встречаемся с реально данными «системами вещей», не зависимыми друг от друга. Пока мы остаемся в пределах одной из них, мы можем построить замкнутую серию причинно-следственных соотношений; в ней мы из первой причины выводим ее следствие; из него, поскольку оно в свою очередь получает значение причины, дальнейшее следствие и т. д. Нельзя не признать, однако, что в действительности много замкнутых рядов дано единовременно; их скрещивания нет возможности аналитически вывести из одного такого ряда; «встречи» подобного рода также представляются нам данными в действительности, а поскольку они даны — случайными. В историческом процессе Курно усматривает постоянные случайности подобного рода; их нельзя вывести из законов образования одного из рядов. Таким образом, в истории приходится считаться со случайным: никакой закон не объяснит случайной встречи двух серий причин, несолидарных между собою; такая встреча — просто факт¹³⁸; случай, как бы вмешивающийся в образование изучаемого ряда, внешние «иррегулярные» влияния, вызывающие в нем пертурбации, можно назвать «историческими данными». Следовательно, история не может обобщать изучаемых ею явлений действительности; историк должен обращать свое внимание на индивидуальное, на частные факты с характерными их особенностями; в его науке такие частности («великие индивидуальности», «удары судьбы» и т. п.) выступают даже на первый план¹³⁹.

Возможно ли, однако, при таких условиях объяснять действительность? и если возможно, то в каком именно смысле? Не представляется ли исторический процесс с указанной точки зрения, напротив, своего рода лотереей, в которой события наступают совершенно случайно, без всякой связи друг с другом? Курно отвечает на эти вопросы сопоставлением исторической случайности не с лотереей, а с шахмат-

¹³⁸ *Cournot A. Traité de l'enchaînement des idées fondamentales dans les sciences et dans l'histoire* (1861). Т. I. P. 94: «un pur fait».

¹³⁹ *Cournot A. Essai*. Т. I. P. 49 и след.; в своей группировке «человеческих познаний» автор различает три серии: теоретическую, «космологическую и историческую» и «техническую или практическую»; но проводя различие между социологией и историей, он не признает последнюю «наукой»; историческое знание не наука, хотя может быть «философией», когда занимается «этиологическими» исследованиями (см. ниже); по приемам изображения, которого она достигает при помощи воображения, а не графическим путем, история близка к поэзии; см.: *Essai*. Т. II. P. 270 и след., 211–213.

ной игрой, положим, между А и В. Допустим, что А играет идеально последовательно. Если бы его ходы не зависели от ходов В, то его игру можно было бы признать замкнутой серией ходов, каждый из которых выводился бы из предшествующего. Нельзя, однако, утверждать, что такое построение исполнимо, так как каждый последующий ход А зависит не только от его соображений, но и от хода В, который нет возможности вывести из игры А: каждый из шагов последнего надо учитывать в зависимости от соответствующего хода В. Следовательно, в данном соотношении мы не имеем дела с лотереей; в лотерее каждый случай не зависит от предшествующих ему; в шахматной же игре, напротив, ход каждого партнера зависит от предшествующих ходов противника, от тех идей, которые возникают в его уме при скрещивании его комбинаций с комбинациями его противника. Таким образом, следует отличать случайную последовательность фактов от той, которая получается путем некоего непрерывного «сцепления случаев»; последнее обнаруживается и в историческом процессе¹⁴⁰.

Изучение его с только что указанной точки зрения вообще имеет, по мнению Курно, логический интерес: проводя различие между «существенным» и «случайным», историк вырабатывает самое понятие о существенном, в отличие от понятия о «случайном»; такие понятия логически зависят друг от друга: понятие о «существенном» устанавливается под условием понятия о «случайном». Изучение «простых фактов» представляет логический интерес и в другом отношении: оно состоит в переходе от частного к частному, в установлении связи между такими фактами, данной в действительности.

С такой же точки зрения Курно выясняет и основные задачи исторического изучения: оно состоит в исторической этиологии. Благодаря «вмешательству случая» историк имеет дело с фактами, которые не поддаются выведению: значит, он должен объяснять последующий факт влиянием предшествующего факта, пока не дойдет до первоначального факта, который принимается без объяснения его каким-либо предшествующим. Итак, историческая этиология состоит в изучении не только тех явлений, которые совершаются в пределах данного замкнутого ряда, но и фактов скрещивания его с другими рядами; в подобного рода соотношениях она исходит из понятия о законах явлений, но рассматривает, каким образом действие их подвергается случайным влияниям; она стремится учесть влияние общих и влияние частных фактов (*faits généraux, faits subordonnés*). Историческая этиология не только различает необходимое от случайного, но и важное от незна-

¹⁴⁰ Cournot A. Essai. Т. II. P. 201–202.

чительного; она устанавливает не только, в каких случаях серии причин, встретившихся и произведших явление, зависели от более общей системы и были солидарны и в каких они были, напротив, действительно независимы, но отмечает и те из последствий данной встречи подобного рода серий, которые сохраняют свое значение, и те, которые преходящи. Благодаря влиянию одного факта на другие данный факт может породить обширные и длительные последствия и получить столь же большое значение, какое приписывается и какому-либо закону. Следовательно, историческим фактом мы называем случайный факт, теоретически непредвидимый, но последствия которого продолжают обнаруживаться в течение времени, не имеющего предела (*indéfiniment dans le temps*); напротив, факт, не оказавший такого влияния, позволительно в историческом отношении признать незначительным, могущим вызвать одно только «смутное любопытство».

Впрочем, историк должен помнить, что нигде нет в отдельности ни общих, ни частных причин, а существует лишь смешение их; они осуществляются в личностях. Теоретически различая причины существенные от случайностей, он усматривает действительную нераздельную комбинацию их в отдельных личностях, воплощающих в себе такое смешение, и лишь проводит учет тем общим причинам, которые содействовали или препятствовали исполнению воли отдельных лиц. Тем не менее историк может составить себе понятие об «общем ходе событий».

Нельзя отождествлять, однако, понятие о действительности с понятием об истории. Настоящая область собственно исторических исследований лежит между до-исторической и по-исторической эпохами: в до-исторической эпохе скорее действуют биологические законы, чем собственно исторические случайности; в по-исторической эпохе общество механизмуется и вместе с тем достигает «цивилизации», которая все более и более дает преобладание тому, что называется «общим» в человеческой природе (*ce qu'il y a d'universel dans la nature humaine*); тогда история мало-помалу будет поглощена «научкой социальной экономии»¹⁴¹.

¹⁴¹ Сам Курно, впрочем, в реалистическом духе делал типологические построения, например, в своих рассуждениях о соответствии между протестантским типом христианства и англосаксонским темпераментом, или между католическим типом и темпераментом латинских рас, или в своих замечаниях об общем ходе политического развития, поскольку оно обнаруживается в «политической морфологии»: но такие рассуждения не характеризуют его основной точки зрения собственно на историю; см.: *Cournot A. Traité*. Т. II. P. 196.

Итак, Курно попытался приложить начала пробабиллизма к построению теории исторического знания; но он все же придерживался эмпирического реализма и не принял во внимание ценности индивидуального, в сущности рассуждая только о его случайности.

Влияние Курно на своих современников было очень ограничено; для примера можно, пожалуй, указать на известного социолога Тарда; подобно Курно, произведения которого ему были известны, он рассуждал об исторических фактах: факты «новые» и единичные он называл историческими по преимуществу¹⁴². Впрочем, можно сказать, что в настоящее время вышеизложенное учение обращает на себя все большее внимание.

§ 4. *Идеографическое построение с точки зрения теоретико-познавательного идеализма*

Немецкий идеализм тридцатых годов прошлого века преимущественно выдвинул понятие о той абсолютной ценности, в отношении к которой историческая действительность получает значение, а французский пробабиллизм в особенности настаивал на значении случайности в историческом процессе; но оба направления в сущности отличались метафизическим характером: абсолютная ценность понималась в смысле Божества, или Мирового Духа, а случайность представлялась реально данной в действительности.

Критика подобного рода построений с теоретико-познавательной точки зрения наступила, однако, не сразу. Временное увлечение естествознанием и его новейшими открытиями в области трансформизма породило во многих стремление всецело применить естественнонаучную точку зрения к истории; но и такое стремление в свою очередь вызвало протест и призыв к построению «критики исторического разума» в духе того философского критицизма, который отошел на задний план в построениях позднейших идеалистов и пробабиллистов.

В новейших попытках идеографического построения исторического знания теоретико-познавательная точка зрения действительно получила преобладание над остальными. В 1870-х годах Сигварт уже попытался установить те принципы познания, которые обуславливают правильность дискурсивного мышления, а также обратил внимание на ту зависимость, в какой его методы находятся от объектов нашего изучения; с той же точки зрения он подошел и к выяснению особен-

¹⁴² *Tarde G. Les Lois de l'imitation, 2 éd. (1895). P. 14; ср. еще его же Fragment d'histoire future, 2 éd.*

ностей исторического познания¹⁴³. Такое направление не осталось без продолжателей: Дильтей, известный биограф Шлейермахера, высказался против смешения познавательных принципов естествознания с познавательными принципами «наук о духе»: «условия познания» природы далеко не тождественны с условиями познания тех явлений, которые изучаются в «науках о духе», да и объект последних «понимается еще прежде, чем он познан», и переживается нашим сознанием во всей целостности нашего духа; в науках подобного рода «факт, закон, чувство оценки и правило» стоят в особой внутренней связи. С такой гносеологической точки зрения Дильтей проводил резкое различие между науками о природе и «науками о духе», имеющими целью «познание исторически-социальной действительности» в ее целом (*die geschichtlich-gesellschaftliche Wirklichkeit*); следовательно, та социология, которая стремится изучать ее с естественнонаучной точки зрения, ошибочна и, преследуя такую цель, впадает в логическое противоречие с ею же употребляемыми средствами; и социологические, и историко-философские теории, усматривающие в единичном лишь сырой материал для своих обобщений, заблуждаются; история хотя и пользуется общими понятиями для объяснения действительности, должна, однако, «устремлять свои взоры не на то, что оказывается общим разным эпохам, а на то, что отличает изучаемую эпоху от остальных, на единичное», ибо в сознании историка, отображающем в себе весь исторический мир, однажды случающееся и единичное имеет совсем иное значение, чем во внешней природе. С такой точки зрения историк изучает человека, воздействующего на природу, совершенно им же самим свободно полагаемым себе целям и стремится изобразить «исторический мир, в котором над объективной необходимостью природы во многих его пунктах сверкает свобода»¹⁴⁴.

Таким образом, Дильтей уже наметил — правда, лишь в самых общих и беглых чертах — ту «критику исторического разума», разработка которой стояла на очереди; но сам он все еще слишком мало различал логическую противоположность познавательных точек зрения

¹⁴³ См. выше, с. 34–35.

¹⁴⁴ *Dilthey W. Einleitung in die Geisteswissenschaften. Bd. I. Lpz., 1883*; на с. 147 сам автор указывает на значение Сигварта, а в своей полемике против социологии имеет в виду главным образом Конта и Миля. С 1905 г. Дильтей стал печатать статьи, служащие как бы продолжением названного труда; впрочем, оттеняя значение описания «психической структуры», он уже находится под влиянием Гуссерля; см.: *Dilthey W. Studien zur Grundlegung der Geisteswissenschaften in Sitzungsberichte der K. Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1905* и след.

от противопоставления объектов научного исследования и последнее ставил в основу своей группировки наук, в которой «науки о духе» сливаются с историей.

Впрочем, за несколько лет до появления вышеназванного труда берлинский профессор Гармс, в некоторых отношениях довольно близко стоявший к Фихте, выступил с более ясным делением «частей философии»: с теоретико-познавательной точки зрения он различал не науки о природе и «науки о духе», а науки естественные и исторические («Naturwissenschaften» и «geschichtliche» Wissenschaften) — по действительному различию «между формами и методами их познания»; в отличие от обобщающего естествознания, признающего индивидуумы только экземплярами, исторические науки имеют дело с индивидуальными и личными отличиями; то же самое, что мы понимаем как природу, можно понимать и как «историю»; она может избрать своим объектом хотя бы «целый мир». Следует заметить, однако, что Гармс ставил «форму познания» в тесную зависимость от его «содержания»; он полагал, что каждая наука обладает истиной лишь в согласованности (Uebereinstimmung) формы познания с его «предметом»; он различал «содержание природы» от «содержания истории» и противопоставлял «природе» «историю»¹⁴⁵.

В дальнейшем развитии того же направления, представители которого уже строже придерживались теоретико-познавательной точки зрения, можно различать несколько оттенков. Навилль, например, выступивший вскоре после Дильтея с трудом по классификации наук, еще находился под влиянием скорее рационализма и пробабелизма, чем критицизма; Виндельбанд и Риккерт, напротив, исходят из его начал и принимают во внимание этический идеализм; наконец, Ксенополь придерживается довольно смешанных воззрений, в которых эмпирический реализм играет непоследнюю роль. В дальнейшем изложении главнейших оснований разбираемого построения мне придется часто иметь в виду их учения, почему я и ограничусь здесь лишь несколькими краткими указаниями.

В своем рассуждении «о новой классификации наук»¹⁴⁶ Навилль заявляет, что оно более похоже на известный трактат «De dignitate et

¹⁴⁵ Harms O. Geschichte der Psychologie, 1878; указание на сходство взглядов Гармса с учением Виндельбанда принадлежит Г. Ительсону, см.: *Koigen D. Jahresbericht über die Literatur zur Metaphysik in Arch. für System. Phil.* Bd. XIV, 1908. S. 555, 560–564.

¹⁴⁶ Naville A. De la classification des sciences в журнале «Critique philosophique» Рену-вье 1888 г. и отдельно; 2-е, значительно измененное издание: «Nouvelle classification des sciences». Par., 1901.

augmentis scientiarum», чем на «Novum Organon», и обращает внимание на деление наук в зависимости от познавательной точки зрения, уже предложенной Контом (науки абстрактные, конкретные и прикладные) и Курно (три серии наук – теоретическая, историческая и техническая); но у Навилля, пожалуй, можно еще заметить следы старинного противоположения рационального эмпирическому.

Навилль, в сущности, с идеографической точки зрения рассуждает об исторических науках: история, по его мнению, изучает не то, что может быть, а то, что есть (или было) в действительности. Вопросы о том, «что может быть», решаются «теорематическими» науками (математикой, физикой, биологией, психологией, социологией) путем формулирования законов, «противоположное которым признается невозможным»; законы высказываются в виде теорем; многие из них устанавливают «необходимые отношения между возможностями». Вопросы о том, что действительно есть (или было), решаются историческими науками (минералогией [описательной], астрономией, геологией, историей); они изучают «реальные существа или такие же события, занимающие известное положение во времени и в пространстве, совокупность их особенностей и их превращения. Впрочем, то же различие можно формулировать и с точки зрения формальной логики: науки теорематические высказывают суждения условные и всеобщие; науки же исторические – суждения категорические и частные. Возьмем, например, открытие пшеничных зерен в египетских саркофагах и испытание их способности произрастания. Относительно указанного факта можно поставить два вопроса, а именно:

1) могут ли зерна пшеницы сохранять такую способность в течение 2000 лет?

2) правда ли, что зерна пшеницы, найденные в египетских саркофагах, действительно дали ростки и породили новые колосья?

Или относительно процесса централизации управления можно также поставить два вопроса:

1) какие результаты могла бы произвести централизация управления у народа, который был бы такого, а не иного характера, находился бы на известной стадии развития культуры и т. п.?

2) какие результаты действительно произвела централизация управления во Франции в XVII–XVIII вв.?

Ответы на первого рода вопросы даются теорематическими науками, а ответы на второго рода вопросы – историческими; следовательно, история по самому существу той познавательной точки зрения, которой она придерживается, не задается целью формулировать законы. Тем не менее Навилль признает историю наукой лишь в той мере, в какой она

образует относительно общие понятия (о действительности), подводит факт под приближенные обобщения, средние, типы и т. п.

Таким образом, Навилль стоит уже на познавательной точке зрения; но он не вполне выяснил ее: под влиянием, может быть, противоположения рационального эмпирическому он едва ли достаточно ясно различает вопрос о том, что должно мыслить, от вопроса о том, что, может быть, и еще не выясняет того критерия, с точки зрения которого определяется то, что заслуживает исторических изысканий: изучение «возможностей, которые хорошо было бы реализовать», принадлежит совершенно особой группе наук об «идеальных правилах действия» (*canonique*); в области же исторических изысканий он считает возможным ограничиться другим признаком; важным оказывается то, что повторяется, но такой критерий нельзя признать достаточным (см. ниже).

Новейшие приверженцы теоретико-познавательной точки зрения исходят из более строго выдержанной системы трансцендентального идеализма; под влиянием Канта и Фихте они пытаются объединить теоретическую философию с практической в отношении к проблемам познания и вводят в идеографическое построение учение об абсолютных ценностях в теоретико-познавательном смысле¹⁴⁷.

В живом и общедоступном изложении Виндельбанд пользуется такими именно понятиями для построения своей теории. В чисто «теоретическом» отношении следует различать то, что соединяется на практике, и обратно. Познавательное значение естественных и исторических наук различно: «формальный характер познавательных целей» естественных наук принципиально отличается от таких же целей исторических наук; хотя и те и другие, в противоположность «рациональным» наукам (философии и математике), стремятся к эмпирическому знанию, но каждая группа пользуется им различно: естественные науки — с номотетической точки зрения, исторические — с точки зрения идеографической; одна имеет в виду как бы обобщение нашего опыта путем отвлечения, другая как бы его индивидуализацию.

В силу номотетической точки зрения естественные науки стремятся к познанию отвлеченных законов бытия (*Gesetze des Geschehens*); в силу идеографической точки зрения исторические науки, напротив, пытаются «ясным и исчерпывающим образом изобразить единичное более или менее ограниченное в пространстве бытие или пере-

¹⁴⁷ Теория ценности (*Werttheorie*), но не в чисто познавательном смысле была систематически развита Мейнонгом (1894), Эренфельсом (1887, 1897–1898 гг.) и другими учеными, например, Урбаном (*Urban*, 1909).

мену однажды случающейся и ограниченной во времени действительности»; иными словами говоря, историческое познание имеет в виду воспроизведение и понимание данного факта в его действительности. Итак, принцип деления вышеуказанных групп наук должен иметь гносеологический характер: естественные науки строят общие, аподиктические суждения; исторические науки – суждения частные (*singuläre*) и ассерторические¹⁴⁸. Следует иметь в виду, однако, что историк интересуется индивидуальным в той мере, в какой оно имеет ценность; значит, в сущности, этика лежит в основе истории.

Теория Виндельбанда требовала пересмотра и развития, чем и занялся его талантливый ученик – Риккерт.

Риккерт строго различает теорию познания и логику от психологии, форму от содержания: свое понятие о сознании вообще, «не могущим быть объектом», он противопоставляет всему эмпирически данному бытию; последнее и есть то содержание сознания, которому мы приписываем реальность и которое мы признаем эмпирической действительностью; но наше познание или наши суждения о ней, в сущности всегда утвердительные или отрицательные, истинны или ложны, смотря по тому, соответствуют они тому «логическому идеалу» суждения, к достижению которого оно должно стремиться для того, чтобы получить значение истинного, или не соответствуют. С такой точки зрения наши суждения о действительности имеют познавательный смысл лишь в отношении к ценности; ведь суждение наше получает характер безусловной необходимости, если мы сознаем, что мы «должны» судить так, а не иначе. С такой точки зрения Риккерт приходит к заключению, что «признание трансцендентных норм» «долженствование», или «понятие долга», лежит в основе тех суждений о действительности, которые мы считаем истинными, в отличие от тех, которые «должны быть» отклонены в качестве ложных¹⁴⁹. Действительность представляется нам, однако, в экстенсивном и интенсивном многообразии черт; естествознание и история изучают ее с принципиально различных, противоположных познавательных точек зрения или целей. В самом деле, естествознание есть «генерализирующее понимание действительности», а историческая наука – «индивидуализирующее понимание действительности». Естествознание стремится к научному ее познанию «в от-

¹⁴⁸ *Windelband W. Geschichte und Naturwissenschaft* (Rectoratsrede der Un. Strassburg), 1894; 2-te Aufl., 1900 (без перемен); рус. перевод в «Прелюдиях». Ср. еще его доклад на Женевском конгрессе; фр. перевод: «La science et l'histoire devant la logique contemporaine в Rev. de Synth. hist., 1904.

¹⁴⁹ *Rickert H. Der Gegenstand der Erkenntnis*, 2 Aufl., особенно Kap. III.

ношении к общему»; оно вырабатывает понятия, выражающие то общее, что множество отдельных вещей заключает в себе; логическое содержание каждого из таких понятий характеризуется его определенностью и общезначимостью; такое общезначимое понятие, в сущности, состоит из суждений, выражающих какой-либо закон природы; благодаря вышеуказанным свойствам естественнонаучных понятий естествознание приводит их в систему, т. е. образует систему общих понятий, в которой представление о любой вещи или любом процессе находит себе соответственное место. История, напротив, стремится удовлетворить наш интерес к действительности в ее индивидуальных особенностях; она есть «наука об индивидуальном, о том, что происходит только один раз»; она не стремится изучить то, что происходит всюду и всегда, а только точно изобразить частное, поскольку оно действительно существует с его индивидуальными чертами в различных точках пространства и различных моментах времени. Всякое индивидуализирующее понимание действительности возможно, однако лишь под условием отнесения к ценности; понятие об «историческом индивидууме» также образуется в зависимости от отнесения его к известной ценности; историк упрощает бесконечно разнообразное содержание данных своего исторического опыта и должен иметь критерий для такого упрощения; последний находится в связи с отнесением индивидуального к общеобязательной ценности; лишь то индивидуальное, своеобразная единичность которого признается ценной, получает всеобщее значение, т. е. «значение для всех»; «культура» и представляет в истории «ту ценность, по отношению к которой вещи получают свое индивидуальное значение». Впрочем, историк пользуется, конечно, и общими понятиями (законами и проч.), вырабатываемыми обобщающими науками, например антропологией, психологией и социологией, но в сущности, только для объяснения индивидуального, для построения индивидуальной причинно-следственной связи между историческими фактами и т. п.¹⁵⁰ Вообще, хотя «при разработке одного и того же материала различные методы бывают тесно сплетены между собою», но все же, принимая во внимание конечную цель истори-

¹⁵⁰ *Rickert H.* Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung (eine logische Einleitung in die historische Wissenschaft) Tüb. und Lpz., 1902, русский перевод Водена. Краткое изложение тех же основоположений см. также в статье «Les quatre modes de l'universal» в *Rev. de Synth. hist.*, 1901, II, № 2 и особенно в статье «Geschichtsphilosophie»; она была напечатана в сборнике *Die Philosophie im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts*. Bd. II (1905). S. 51–136; 2-е доп. изд. 1907; пер. С. Гессена. СПб., 1908; там же указания на литературу. С. 149–154.

ческого знания, можно сказать, что история есть «индивидуализирующая наука о культуре».

В целом мировоззрении, характеризованном мною лишь в самых общих чертах, Риккерт имеет в виду, однако, преимущественно философию, а не историческую науку, и интересуется лишь формой наших понятий, а не их содержанием, хотя в редких случаях рассуждает и о содержании исторических понятий, а именно о нации. В сущности, сводя философию к теории познания, основания ее он усматривает в ценности истины: но, отождествляя понятие о «требовании», или нормативности сознания, с «понятием долга», он приходит к заключению, что «ценность истины основана на понятии долга», и таким образом, склоняется к признанию этических оснований наших суждений о действительности и о ее историческом значении. В своих рассуждениях об индивидуальном, получающем значение в отношении к ценности, Риккерт едва ли достаточно останавливается на выяснении индивидуального — в смысле индивидуального положения чего-либо данного, хотя бы, например, материальной точки, и в учении об отнесении к культурным или к общепризнанным ценностям, может быть, не всегда достаточно различает между отнесением к абсолютной или обоснованной ценности и отнесением к общепризнанной ценности. Нельзя не заметить, что и понятие об историческом значении Риккерт устанавливает в зависимости от одного только понятия о ценности индивидуального; но собственно историческое значение ценной своеобразной единичности тесно связано и с понятием о действительности индивидуального в его реальном отношении, как части к историческому целому.

В числе новейших мыслителей, на рассуждения которых новое учение уже оказало некоторое влияние, можно указать на Зиммеля; в первом издании своего труда он еще не вполне придерживался идеографической точки зрения; во втором — теоретико-познавательное построение в духе теоретико-познавательного идеализма и идеографического направления уже оттеснило прежний психологизм на задний план; но и в таком виде автор не выработал еще полной системы; он не выясняет конечных ее оснований и не делает из нее последних выводов. Задача сочинения — выяснить, каким образом наш разум достигает того теоретического построения непосредственно переживаемой нами действительности, которое мы называем историей. Зиммель пытается установить те априорные понятия (признание чужого одушевления, объясняемое им и с генетической точки зрения), которыми историк пользуется, и степень их априорности, а также и понятие об истории как «науке о действительном» и «установлении» индивидуального; самое осуществление закона в данном месте и в данное

время есть исторический факт. Лишь такие факты, которые представляют интерес, подлежат историческому изучению. Впрочем, построение Зиммеля нельзя признать чисто идеографическим; он, например, рассуждает о приближенных обобщениях истории и о некоторых философско-исторических законах; последние представляются ему особого рода «познавательными формами» того направления, в каком, положим, дух или нравственность раскрывается в мировом целом¹⁵¹.

Влияние того же идеографического построения стало обнаруживаться и в области новейшей историографии, но не без некоторых колебаний. Мейер, например, готов признать задачей исторической науки индивидуальное, но его значение он определяет главным образом тем, продолжает ли данный факт действовать и в последующее время¹⁵². Другой историк, специально занявшийся «теорией истории», — Ксенополь, питает некоторую склонность к метафизическому гипостазированию законов, что видно, например, из его рассуждений о времени и о «силах эволюции», и еще менее выясняет свою теоретико-познавательную точку зрения; хотя в принципиальном отношении Ксенополь отчасти примыкает к учению Виндельбанда, но он отклоняет его учение о ценности применительно к истории; полагая возможным заменить понятие о ней понятием об «исторической серии», он готов перейти прямо к эмпирическому реализму: история, по его мнению, изучает данный процесс, реальность которого он, в сущности, бессознательно принимает. Главнейшие положения Ксенополя следующие: в действительности существует два рода явлений: явления повторяющиеся и явления, следующие друг за другом (единичные); «мы рассматриваем это различие между явлениями сосуществования и преемства как данное самими явлениями, а не тою точкою зрения, с которой мы их изучаем». Отсюда два ряда наук: естествознание, изучающее явления повторяющиеся, и исторические науки, объектом которых служит последовательная смена единичных явлений, изучаемых в их причинно-следственной зависимости. Вообще можно сказать, что достоинство работ Ксенополя, особенно его главного труда, состоит в обилии библиографических данных и в подборе исторических примеров, но обоснование его взглядов в теоретико-познавательном отношении представляется мне довольно слабым¹⁵³.

¹⁵¹ *Simmel G.* Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Lpz., 1892; 3 Aufl. Lpz., 1907.

¹⁵² *Meyer E.* Zur Theorie und Methodik der Geschichte. Halle, 1902; ср. выше, с. 47; еще *Seignobos Ch.* La méthode historique appliquée aux sciences sociales. Par., 1901.

¹⁵³ *Xénopol A. D.* Les principes fondamentaux de l'histoire. Par., 1889; ср. еще несколько его статей, преимущественно в журналах *Revue Philosophique* и *Rev. de Synth.*

Вышеизложенные теории показывают, что философия и наука стремились обосновать наш интерес к конкретной действительности; но для того чтобы выяснить принципы, которые с идеографической точки зрения полагаются в основу научного ее построения, следует более внимательно остановиться на систематическом их рассмотрении.

ГЛАВА ВТОРАЯ ОСНОВАНИЯ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Идеографическое построение стремится к объединению наших исторических знаний с той познавательной точки зрения, которая обнаруживается в нашем «интересе» к конкретной действительности. Ввиду такой именно познавательной цели историк не может довольствоваться обобщением и образует особого рода индивидуальные понятия. Во главе их можно, конечно, поставить понятия об индивидуальном и его историческом значении; благодаря им множество представлений об отдельных чертах действительности уже получает некоторое единство. Этих понятий, однако, недостаточно для того, чтобы установить реальное отношение между историческими фактами: оно конструируется при помощи понятия о фактически необходимой причинно-следственной связи между ними. Впрочем, и последнее понятие слишком мало охватывает сложную историческую действительность: в сущности, лишь понимая ее как целое, в котором отдельные факты получают значение частей и занимают определенное положение, можно достигнуть высшей степени объединения изучаемых нами исторических данных.

§1. Основная задача идеографического построения

В обыденном мышлении легко вскрыть тот интерес, удовлетворение которого мы стремимся достигнуть путем идеографического построения: человек интересуется не одними только научными обобщениями; сам будучи индивидуальностью, он питает интерес и к конкретной действительности. Правда, человек ценит не всякого рода действительность, а только ту, которой он придает какое-либо значение; но если бы он не мог признать действительность того, чему он же придает значение, то и смысл последнего изменился бы для него; он мог бы ценить

hist., подготовивших и новое, переработанное издание его книги под заглавием «La théorie de l'histoire». Par., 1908.

лишь свои идеи; а между тем всякому известно, что многие идеи получают интерес или приобретают особого рода интерес лишь под условием мыслить действительное существование их содержания; например, одно дело сознать, что слушаешь сказку, и иное дело — принимать рассказ за изложение действительно бывшего; между тем последний и называется «историческим». Итак, можно сказать, что познавательная цель идеографического построения уже обнаруживается в нашем интересе к конкретной действительности; «настоящий» историк лишь ярче других переживает такое настроение: он «вообще должен испытывать непосредственное участие и радость к единичному, самому по себе взятому; он должен чувствовать влечение к живым проявлениям каждого отдельного человека и, даже без всякого отношения к ходу вещей, радуется тому, как человек во всякое время пытался жить...»¹⁵⁴.

Ввиду нашего интереса к конкретной действительности мы и стремимся к научному ее познанию: оно имеет для нас и теоретическое, и практическое значение. В самом деле, с теоретической точки зрения мы придаем значение идеографическому построению прежде всего в той мере, в какой оно вообще объединяет наше знание; нельзя объединить совокупность наших знаний хотя бы об одном данном объекте, при помощи принципов одного только номотетического построения: ведь в состав такой совокупности мы должны включить знание индивидуальных особенностей данного объекта. Далее, если признать, что без данности исходного момента научного построения действительности эмпирические науки немислимы, то и такой момент, т. е. конкретно данная, хотя бы в один известный момент, действительность требует самостоятельного обследования. Наконец, легко заметить, что мы интересуемся не только законом, но и его осуществлением в зависимости от действительности: лишь идеографическое построение, однако, может ответить на вопрос о том, где именно и когда именно он осуществлялся. С практической точки зрения мы также испытываем потребность не в одном только обобщающем знании, но и в его коррективе, каковым можно признать знание «историческое» в идеографическом смысле. В самом деле, если придавать категорическому императиву ту индивидуализирующую форму, которая уже была установлена основателем идеографического построения, то и осуществление ее предполагает наличность такого же индивидуализирующего знания — и не только в качестве логического требования, но и нравственного постулата. С такой точки зрения этика находит существенную поддержку в истории, занимающейся построением понятий с ин-

¹⁵⁴ *Ranke L. v. Weltgeschichte. Bd. IX. Abt. II (1888). Vorw. S. IX ff.*

дивидуальным содержанием. В самом деле, при выработке этики с вышеуказанной точки зрения нельзя довольствоваться формальными свойствами долженствования вообще; она должна определять должное в отношении его к человеку как индивидуальности в ее социально-историческом значении. Сказать: «поступай так, как должно», — слишком мало; надо еще добавить: «если ты хочешь поступать хорошо, ты должен исполнить то, что, в силу твоей индивидуальности и условий места и времени, т. е. того определенного положения, какое ты занимаешь в действительности, ты один только в состоянии исполнить»¹⁵⁵. Впрочем, такое же знание получает значение и в чисто утилитарном смысле: вся наша практическая деятельность в сущности сводится к совершению определенных действий в данное время и в данном месте; следовательно, она требует знания тех именно условий пространства и времени, в которых мы действуем; с такой точки зрения, без точного знания, например, того, а не иного распределения минералов, растений, животных, человеческих обществ и их учреждений, а также степени их развития во времени, нет возможности действовать с наименьшей затратой сил и с надеждой на успех. Итак, в совокупность нашего знания мы должны (и с теоретической, и с практической точки зрения) включать знание индивидуального; но для такого именно знания номотетической точки зрения недостаточно: надо прибегнуть к идеографическому построению; оно должно дать научное удовлетворение нашему интересу к конкретной действительности.

Познавательная цель, уже обнаруживающаяся в нашем интересе к конкретной действительности, еще яснее определяется при научном его удовлетворении.

В противоположность номотетическому построению, которое все более отдаляет нас от действительности, идеографическое построение стремится возможно более приблизиться к ней: оно изучает объекты как таковые; тогда как во всяком номотетическом построении ученый отвлекает от объекта черты, общие ему с другими объектами, и значит, не имеет в виду изучать его в его индивидуальности, а пользуется им лишь в качестве материала, пригодного для обобщения; историк в своем идеографическом построении признает индивидуальное целью своего изучения. Следовательно, идеографическая (или историческая в идеографическом смысле) точка зрения тем и отличается от номотетической, что с идеографической точки зрения ученый интересуется индивидуальным целым или единичными составными частями действительности не как познавательными средствами,

¹⁵⁵ *Rickert H. Grenzen. S. 716–717; ср. выше, с. 154–155.*

а как такими ее частями, каждая из которых сама по себе уже заслуживает внимания в качестве объекта познания¹⁵⁶.

Таким образом, идеографическое построение ставит себе особого рода познавательную цель, а не особого рода объекты исследования; напротив, один и тот же объект можно рассматривать не только с номотетической точки зрения, но и с идеографической. Значит, в случае если наш интерес направлен именно к данному объекту, не поскольку у него есть общие с другими объектами свойства, а поскольку сама его индивидуальность представляет интерес, естественно прибегнуть и к построению особого рода — идеографическому; оно должно получить преобладающее значение и предопределять собою весь характер исследования, предпринимаемого для того, чтобы удовлетворить интерес подобного рода.

Научное удовлетворение нашего интереса к конкретной действительности и дается особого рода науками — науками историческими в широком смысле слова. С логической точки зрения можно говорить даже об истории физических процессов: например об истории света, о том, всегда ли был свет; когда и где он впервые появился, сколько существует очагов света и в каких местах они существуют и т. п.; то же можно сказать и относительно истории химических элементов (ср. генетическое значение периодизации элементов), а также небесных тел и Земли (космогония, геология), органических тел (биогенетические исследования, происхождение видов и проч.) и, наконец, человечества, т. е. его культуры¹⁵⁷.

Следует заметить, однако, что поскольку действительность нам дана, она представляется нам конкретно данной. В самом деле, действительность всегда представляется нам в данной конкретности; значит, если история занимается научным построением действительности, она должна заниматься таким построением ее в ее конкретности: «только частное и есть то, что действительно происходит». Следовательно, историю, в таком именно смысле можно назвать наукой о действительности, рассматривающей ее в отношении ее к конкретному¹⁵⁸.

Если, однако, основная задача исторического знания состоит в научном знании действительности в ее конкретности, то историк не может довольствоваться не только обобщением фактов, но и отвлече-

¹⁵⁶ *Simmel G. Probleme...* S. 139 ff.; *Weber M. Kritische Studien* и проч. // *Arch. für Sozialwiss.* Bd. XXII. S. 162.

¹⁵⁷ *Rickert H. Grenzen...* 274 и др. Ср. ограничительные замечания. *F. Gottl'я: Die Grenzen der Geschichte.* Lpz., 1904; особенно S. 16–29.

¹⁵⁸ *Rickert H. Grenzen...* S. 250–251, 255, 277.

нием от нее таких фактов; он не может ограничиваться изучением однородных серий явлений. С такой точки зрения «история» элементов и т. п. есть уже своего рода абстракция. То же можно сказать и относительно истории в узком смысле; историк человечества не может ограничиваться изучением, например, истории хозяйства или истории идей, истории нравов, учреждений и т. п.: ведь каждая из таких серий — абстракция; в действительности нет отдельных серий, а только сплетения их. Мало того: реальную связь их надо искать в реальных людях, т. е. в индивидуумах, каждый из которых, однако, обладает еще своею индивидуальностью, или в событиях, про которые можно сказать то же самое; принимая во внимание такие «индивидуальности», можно говорить и о конкретно данной исторической действительности.

Вышеуказанная познавательная цель идеографического построения обнаруживается и в том значении, какое историк-идеограф приписывает обобщению: ввиду научного удовлетворения нашего интереса к конкретной действительности он стремится возможно больше воспользоваться выводами обобщающих наук для научного ее понимания; нет сомнения, что в своих построениях он пользуется и номологическими, и типологическими обобщениями; но их установление не составляет цели исторического знания: историк прибегает к готовым обобщениям в качестве средств, пригодных для понимания конкретно данной ему действительности.

В самом деле, «тот факт, что всякая наука нуждается в общих понятиях, еще не доказывает, что каждая наука одинаково должна стремиться к построению системы общих понятий». Хотя естествознание и история нуждаются в общих понятиях, но они делают из них разное употребление. Для естествознания образование общих понятий есть цель, для истории они служат средством, а целью оказывается понимание индивидуального. История достигает такой цели обходным путем, сообразуясь с требованиями нашего мышления и нашего языка; ведь и в последнем мы постоянно пользуемся общими терминами для изображения индивидуального; в истории они также употребляются для обозначения действительно бывшего¹⁵⁹. С такой точки зрения историк широко пользуется законами, и в особенности «законами душевной жизни», поскольку таковые действительно установлены¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Rickert H. Les quatre modes de l'universel // Rév. de S. H. 1901. II. № 2, 124–126; ср. его книгу «Die Grenzen». S. 340 ff.

¹⁶⁰ Windelband W. Nat-w und Gesch.-w. S. 23; автор, однако, сомневается в полезности для историка подобных знаний, по крайней мере до нынешнего времени; он также сомневается в научности большинства так называемых законов

Законами ритма историк объясняет, например, производство и организацию хозяйственных работ у древних египтян (Бюхер); законами ассоциации (положим, ассоциации идеи движения с идеей одушевления) — анимизм первобытных верований данного древнегерманского или древнеславянского племени (Тейлор) и т. п.; историк может пользоваться общими законами психической мотивации и для объяснения действий определенных исторических деятелей, например Петра Великого, Наполеона и т. п.; или, принимая во внимание психологию толпы, объяснять отдельные эпизоды из Французской революции, революции 1848 г. (например, последствия выстрела на дворцовой площади в Берлине) и т. п.

В аналогичном смысле историк может пользоваться и типологическими обобщениями.

Какая-нибудь программа уроков, дающая понятие о том, чему и как кантор XII в. учил своих воспитанников или какой-нибудь кухонный счет XIV в. сами по себе, положим, не оказали существенного влияния на исторический процесс; но поскольку они могут служить для познавательных целей, такие типические для данного времени факты (если они типичны) получают значение и с идеографической точки зрения; можно пользоваться знанием таких «типов» для истолкования индивидуальных фактов, характеризующих Позднее Средневековье, о чем иногда забывают даже приверженцы изучаемого понимания истории. Возьмем еще один пример, на котором легче показать различие между познавательным значением типа и реальным значением конкретного факта. Положим, например, что при изучении возникновения государства у тлинкитов и ирокезов мы обнаружим такие процессы возникновения государства из родового устройства, которые имеют репрезентативно-типическое значение. Такое их значение нельзя, однако, смешивать с реальным значением типизируемых фактов, поскольку они важны с причинно-следственной точки зрения: факту возникновения вышеназванных государств, процессу их образования нельзя приписывать «почти всемирно-историческое значение», так как они в действительности оказали очень малое влияние на всемирно-историческое развитие человечества: ведь они существенно не повлияли на позднейшую культурную или политическую историю человечества, т. е. в качестве причины, фактора не играли в ней заметной роли. Следовательно, познавательное значение подобного рода фактов нельзя смешивать с реально-историческим влия-

душевной жизни и возлагает (может быть, слишком поспешно) много надежд на интуицию историков. Ср. выше, отдел первый, глава вторая, с. 92–130.

нием их: факты, подобные вышеприведенным, очевидно, важны для познания хода образования государств, т. е. тех процессов, путем которых они вообще возникают; их познание, независимо от общего учения о государстве, может весьма пригодиться и для историка, поскольку он будет пользоваться им для истолкования конкретно данного случая возникновения известного государства; следовательно, такое знание может иметь для него познавательное значение, но не играет роли реального основания (т. е. причины), которым с причинно-следственной точки зрения объяснялось бы возникновение другого государства, например Северо-Американских Соединенных Штатов. С точки зрения реального значения несравненно большее (собственно историческое) значение можно приписать, например, хотя бы известному решению Фемистокла, действительно повлиявшему не только на ход древнегреческой истории, но (через ее посредство) и на развитие всемирной истории¹⁶¹.

Итак, историк может пользоваться понятием «типа» в только что указанном познавательном его значении и с идеографической точки зрения. Историк принимает его, например, во внимание в тех случаях, когда он употребляет «тип» как своего рода критерий для установления степени отклонения от него данной индивидуальности, что в свою очередь указывает ему и дальнейшую задачу: выяснить, почему в данном конкретном случае такие отклонения действительности имели место. С только что указанной точки зрения, пользуясь, например, понятием о типе, положим, французского солдата революционной эпохи, он с большею легкостью отметит индивидуальные особенности Гоша (Hoche) или Наполеона. В аналогичном смысле можно применять научно установленный для данного периода тип материальной или духовной культуры (типы хозяйства, религии и т. п.), общественного строя, учреждений и т. п. для выяснения индивидуальных особенностей культуры данного народа в тот же (или иной соответственный) период времени. В средневековой Германии, например, сословный ландтаг обыкновенно состоял из прелатов рыцарей и горожан (тип); но на вюртембергских ландтагах рыцарей не оказывается¹⁶²; такой факт сам по себе (с историко-идеографической точки зрения) требует объяснения, а объясняя его, историк лучше входит и в изучение тех индивидуальных особенностей социально-политического устройства, которые именно для Вюртемберга и характерны.

¹⁶¹ *Breysig K.* Die Entstehung des Staates bei Tlinkit und Irokesen in Schmollers Jahrb., 1904. S. 483 f.; ср. *Weber M.* Op. cit. Arch. für Sozialw. Bd. xxii. S. 159–160.

¹⁶² *Below G. v.* Territorium und Stadt. Münch., 1900. S. 214, 278–282.

Всякий раз, однако, когда историк имеет дело с каким-либо общим комплексом, со «средою» или коллективным существом, он, казалось бы, должен прибегать к образованию общих понятий, обнимающих их общее содержание (а не только значение); в таком случае он должен был бы признавать отдельные элементы подобного рода комплексов экземплярами, представления о которых обобщаются им в понятие о самом комплексе. Если, однако, историк рассматривает каждый из таких элементов как индивидуальную (в историческом смысле) часть данного целого, то, очевидно, он не выходит из идеографического построения и, в сущности, не оперирует над общими понятиями; правда, не все элементы, взятые порознь, могут и должны обращать на себя внимание историка, почему он и располагает их по группам, образующим данное целое, но каждой группе он приписывает индивидуальное значение как особой части целого комплекса.

В самом деле, понятие об этих группах имеет для историка лишь относительно общее значение; сравнивая относительно общее понятие с более общим понятием, мы, в сущности, тем самым получаем понятие о некоем индивидуальном объекте, т. е. по отношению к более общему можем рассматривать его, поскольку оно своими относительно индивидуальными чертами отличается от последнего; сравнительно с общими понятиями естествознания вышеуказанное понятие о группе, занимающей определенное место в пространстве и времени, уже можно считать частным. Выше было уже указано и на то, что в идеографическом построении такое понятие употребляется с целью выразить индивидуальность самой группы, а не общую природу вида, т. е. с целью выяснить ее значение как части данного целого, занимающей определенное положение по отношению к остальным частям данного комплекса; следовательно, понятие о данном государстве, народе, обществе, городе и т. п. группах может получить, смотря по точке зрения, не только относительно общее, но и относительно индивидуальное значение. Впрочем, во многих случаях то, что важно для данной группы (т. е. имеет общее значение), совпадает с тем, что встречается во всех элементах данной группы (т. е. с тем, что имеет общее содержание; ср. ниже). В таких случаях понятие о группе может получить общее содержание, но совпадения подобного рода, с логической точки зрения, должно признать простою случайностью: они не вызваны сознательным стремлением историка к образованию общих понятий, а тем паче к построению целой их системы.

Таким образом, и историк, придерживающийся идеографической точки зрения, постоянно обращается к общим понятиям; но он поль-

зуется ими не для обобщения, а для индивидуализирующего понимания действительности.

Итак, основная задача исторической науки в идеографическом смысле состоит в том, чтобы с индивидуализирующей точки зрения достигнуть научного понимания конкретно данной нам действительности: история хотя и пользуется общими понятиями, но стремится изучить не то, что происходит всюду и всегда, а индивидуальное; она желает дать научное построение данных в различных точках пространства и различных моментах времени «индивидуальностей», в их реально-индивидуальном отношении к целостной исторической действительности и таким образом пытается конструировать понятие об историческом целом.

§2. Понятие об индивидуальном и его историческом значении

Научное удовлетворение нашего интереса к конкретной действительности достигается прежде всего путем образования индивидуальных понятий, объединяющих наше знание о ней.

Каждое из таких понятий есть понятие, содержание которого рассматривается с точки зрения его отличия от содержания других понятий и признается единичным; значит, такое понятие характеризуется ограниченностью своего объема: в предельном смысле можно сказать, что каждое индивидуальное понятие годится лишь для обозначения одного объекта.

Понятие об индивидуальном, однако, шире понятия об индивидуальности: ведь под понятием об индивидуальном можно разуметь и понятие об индивидуальном положении, и понятие об индивидуальности, занимающей такое положение. Данная материальная точка, например, может занимать индивидуальное положение в данной системе, определяемое методом координат; но взятая сама по себе, не в отношении (по ее положению) ко всем остальным элементам той же совокупности, она может быть заменена любой другой материальной же точкой, так же самой по себе взятой, и значит, не представляется нам индивидуальностью; субъект, занимающий определенное положение в обществе, напротив, признается нами индивидуальностью в той мере, в какой он, в силу присущего ему своеобразия, не заменим другим субъектом и должен занять то, а не иное положение в целом. С такой точки зрения понятие об индивидуальности уже связывается и с понятием о ее значении.

Действительно, можно сказать, что понятие об индивидуальности есть понятие о некоем единстве своеобразия, характеризуемом

известною совокупностью признаков и, значит, не заменимым другим каким-либо комплексом в его значении; следовательно, оно есть наше построение, производимое нами с точки зрения того значения, какое мы приписываем данной индивидуальности; в таком же смысле можно сказать, что историческая индивидуальность конструируется с точки зрения ее исторического значения.

Впрочем, и под индивидуальностью можно разуметь или понятие о целом, поскольку его содержание единично, или понятие о части целого, не заменимой никакой другой его частью; в последнем смысле можно также рассуждать о значении индивидуальности в ее отношении к целому и соответственно формулировать понятие о ее историческом значении (см. ниже).

Понятие об индивидуальности характеризуется богатством своего содержания и ограниченностью своего объема: оно содержит множество представлений о разнообразных элементах конкретной действительности, объединяемых в одну совокупность, что отражается и в словоупотреблении¹⁶³: под индивидуальностью в более частном значении слова можно разуметь и личность, и событие, и социальную группу, и народ в той мере, в какой они отличаются от других личностей, событий, социальных групп, народов и т. п. Человеческое сознание, однако, не в состоянии обнять всю множественность конкретно данных элементов: сама по себе конкретная действительность настолько многосложна, что исчерпать ее до дна нет возможности. Ведь каждая мельчайшая частица данного тела, поскольку она занимает определенное место в нем и не проницаема для другой, представляется нам уже частью, материальной точкой данной массы; но представить себе реальную совокупность такого бесчисленного множества мельчайших частиц и, таким образом, воспроизвести данную массу в ее конкретности нет возможности; с указанной точки зрения нельзя представить себе материальной массы во всей ее конкретности: мы затерялись бы в ней. То же заключение с тем большим основанием можно сделать, если обратиться к изучению данного целого с качественно разнородными частями. Положение исследователя оказалось бы безвыходным, если бы он ввиду своих познавательных целей не имел возможности упрощать, т. е. схематизировать, содержание действительности, особенно в тех случаях, когда оно рассматривается не с количественной, а с качественной точки зрения.

¹⁶³ *Newcomb M. S. L'univers comme organisme // Rev. Scient. 1903. Mars 14. P. 323: «Parmi les milliers d'étoiles qui ont été examinées spectroscopiquement il n'y en a pas deux, pour lesquelles ont ait trouvé absolument la même constitution physique».*

Итак, действительность слишком разнородна для того, чтобы можно было изобразить ее во всей полноте ее индивидуальных черт; то же, разумеется, с тем большим основанием можно сказать и о той действительности, которую мы называем психической. Даже ограничивая свои наблюдения какою-нибудь мелкою частью человеческого рода, историк принужден сознаться, что содержание ее все же слишком разнообразно для того, чтобы он был в состоянии выразить все входящие в ее состав индивидуальные черты; при изображении исторических личностей и событий он, в сущности, должен отказаться от полного воспроизведения индивидуального во всей его совокупности и пользуется некоторым отвлечением для упрощения действительности: какое-нибудь сражение или осада представляются ему только в сокращенном виде, в основных своих чертах; иной раз он даже довольствуется простым регистрированием данного факта (в таком-то году происходила такая-то война и т. п.), не входя в подробное его описание¹⁶⁴. Следовательно, историк, подобно естествоведу, очевидно, нуждается в упрощении конкретного содержания данных своего исторического опыта; он образует своего рода «исторические понятия»; он не берет, например, всех людей или события со всеми индивидуальными чертами, а принимает во внимание лишь некоторых людей и некоторые события в их индивидуальности. Впрочем, и последнюю он представляет не в совокупности всех ее черт, а выбирает из них известные черты, которые он и соединяет в индивидуальный образ.

Итак, построение действительности уже обнаруживается в процессе ее упрощения. Нельзя, однако, признать всякое упрощение чувственно воспринятого особенно характерным процессом научного знания; ведь таким же стремлением характеризуется и вся наша деятельность — и даже, пожалуй, в еще большей мере практическая, чем теоретическая; без него мы не могли бы действовать. В данном случае следует рассуждать не об упрощении вообще, а о научном упрощении, т. е. квалифицировать процесс: научный характер построения действительности зависит не столько от упрощения ее, сколько от научно-критического обоснования той точки зрения, с которой оно проводится.

На каком же основании историк «упрощает» действительность и признает, что одно событие имеет историческое значение, а другое его не имеет?

Вообще, для того чтобы распознать в данной многосложности те индивидуальные состояния, события, комплексы или серии, которые должны быть признаны существенными, историк нуждается в критике

¹⁶⁴ *Hegel G. W. F. Werke*, IX, 3-te Aufl. S. 8.

рии, с помощью которого он мог бы выбирать из многосложной действительности то, что имеет историческое значение. Так как научное построение истории, условием которого оказывается такой принцип, должно быть принято всеми, то последний не может иметь индивидуального характера; надобно, чтобы он был одинаково признаваем «всеми» и в таком смысле отличался бы общим значением.

Правда, что и естествознание нуждается в принципе выбора; но здесь принципом подобного рода служит общее содержание образуемого понятия: с такой точки зрения объекты рассматриваются лишь постольку, поскольку они содержат общие между собою черты. Указанный принцип пригоден для социологических исследований, но не для идеографического построения истории. Ведь история в идеографическом смысле придает значение не тому, что в данном объекте оказывается у него общим с другими, а самому объекту, поскольку он представляет особенности, ему одному свойственные, и поскольку с телеологической точки зрения для сохранения его индивидуальности (в целом ее виде принимаемой в расчет) ее должно признать единственной в своем роде. С такой индивидуализирующей точки зрения рассматриваемый объект, поскольку он имеет индивидуальный характер, а не общее с другими содержание, тем не менее, может получить всеобщее значение; мало того, по мере возрастания индивидуального характера объекта, особенностей, отличающих его от остальных и лишаящих историка возможности заменить его другим объектом, всеобщее значение его возрастает.

Следовательно, различая понятие об общем содержании от понятия о всеобщем значении, можно сказать, что с историко-идеографической точки зрения общность содержания данного объекта не может еще служить критерием для исторического выбора: историк должен принимать во внимание индивидуальный характер изучаемых им объектов; между тем если он будет придавать значение общему с другими содержанию объекта, он именно лишен будет возможности с такой точки зрения придавать значение самому объекту в его индивидуальности.

Впрочем, оставляя в стороне критерий «общности содержания» и имея в виду лишь всеобщее значение данного объекта, можно еще попытаться судить о нем по объективно данному признаку, а именно по числу вызванных данным фактом последствий. Положим, что чем больше (в количественном смысле) данный факт вызовет последствий, тем он будет иметь большее значение. Можно ли с идеографической точки зрения принять такой количественный критерий всеобщего значения факта по числу его последствий?

При ответе на этот вопрос следует прежде всего иметь в виду, что историк может или исходит из данного факта и выяснять его послед-

ствия, или, наоборот, начинать с изучения его последствий и восходить к тому факту, влиянием которого они были вызваны.

Если исходить из факта (причины), то уже надо иметь критерий для выбора того, а не иного факта; раз историк остановился на одном из них, значит, он уже выбрал его (хотя бы гипотетически) по его (предполагаемому) значению для всей общественной группы, которая им изучается. С указанной точки зрения историк принимает во внимание не всякий факт, а такой, который, по его мнению, сам по себе уже имеет значение и мог оказать реальное влияние на данную общественную группу, и только проверяет свою гипотезу путем индуктивного наблюдения над численностью последствий; но в таком случае критерий численности последствий не определяет всеобщего значения данного факта, а играет только контролирующую роль при установлении его исторического значения. Следовательно, критерий по числу последствий не дает еще основания для исторического выбора данного факта, если исходить из него при выяснении его значения. Нельзя применять его и в том случае, когда на основании всеобщего значения какого-нибудь «выдающегося» факта предпринимаются разыскания таких его последствий, которые сами по себе в качественном отношении могут быть малозначительны и ускользают от внимания историка; иными словами говоря, иногда ему удобнее исходить из ярко-бросающегося в глаза факта, чем из его последствий, часто рассыпанных по разным периодам и как бы затерянных в многообразии действительности; но и в данном случае он уже признает его значение и пользуется таким понятием для того, чтобы разыскать и выяснить его последствия.

Если историк исходит не из данного факта, а из его последствий, то все же на основании числа их он не достигнет цели. В самом деле, приступая к изучению таких последствий, он уже делает предпосылку: с идеографической точки зрения он должен принимать во внимание последствия такого факта (предполагаемого), который (в смысле логического предела) оказывается единственным в своем роде, а потому и получает особое значение; но в таком случае последнее должно обнаруживаться и в его последствиях, иначе самая связь между данным фактом (в его индивидуальной целостности) и его последствиями утрачивается и последние становятся обособленными фактами, по которым нельзя судить о их причине, поскольку ее характерные особенности отразились на ее последствиях. Вместе с тем следует иметь в виду, что каждый факт — причина, которая в сущности порождает беспредельное число последствий; Аустерлицкое сражение, например, вызвало массу сотрясений воздуха; каждая новая волна воздуха являлась одним из следствий, порожденных выстрелами; историк не

принимает, однако, во внимание этих последствий: он интересуется Аустерлицким сражением с точки зрения его влияния на судьбу Священной Римской империи, на падение политического значения Австрии, на русско-французские отношения и т. п.; словом, он выбирает из бесчисленного множества следствий данного факта те, которые уже имеют (или имели), по его мнению, всеобщее значение; а для такого выбора он, очевидно, уже должен пользоваться некоторым критерием. Если же он будет выбирать следствия по их качественному значению, то он уже выйдет за пределы количественной их оценки: или поскольку она дает ему возможность выяснить всеобщее значение вызвавшего их факта, или поскольку он каждому из таких последствий будет придавать всеобщее значение для новой группы результатов. Итак, в том случае если историк будет исходить из последствий данного факта, он не окажется в состоянии, пользуясь одним только критерием численности (объема) последствий, построить историческую действительность. Наконец, при определении всеобщего значения данного факта по числу его следствий всегда будет возникать вопрос о том, какое именно число их признать достаточным для того, чтобы данный факт причислить к тем, которые имеют всеобщее значение; но трудно подыскать объективный критерий для такого определения. Ведь можно признавать «всеобщее значение» за таким фактом, который имел относительно меньшее число последствий, если только они были важны; «важность» последствий, однако, уже предполагает качественную их оценку. В сражении при Лютцене, например, шведы одержали победу над немцами; тем не менее «Валленштейн был доволен исходом дня, потому что хотя ему пришлось отступить, но Густава Адольфа уже больше не было в живых, и он считал, что теперь никто не может померяться с его армией».

Итак, всеобщее значение факта нельзя установить с точки зрения количественного критерия — численности его последствий; надобно принять во внимание качественный критерий: данный факт приобретает всеобщее значение, когда «важность» его должна быть признана или одинаково признается всеми; а историческое значение он получает лишь в том случае, если он имеет не только всеобщее, но и действительное значение, т. е. если он в своих характерных особенностях оказал действительное влияние на развитие человечества.

С только что указанной точки зрения нельзя смешивать два разных понятия, а именно ценность индивидуальности и ее историческое значение. Личность, например, получает значение в истории не только как ценная сама по себе, но и с причинно-следственной точки зрения, поскольку она становится фактором исторического процесса;

данная личность может иметь очень большую ценность, но в то же время может быть совсем лишена или почти лишена исторического значения. Следовательно, личность получает значение в истории не во всей полноте ее содержания, а в тех ее проявлениях (действиях), которые фактически оказывали влияние на исторический процесс; то же можно сказать, конечно, и относительно события. Лишь комбинируя понятия о ценности и о действительности индивидуального, историк получает основание признать за ним историческое значение; такое сочетание и служит ему в качестве критерия выбора исторических фактов.

Итак, для того чтобы признать всеобщее значение данного факта, надобно прежде всего признать его ценность; но такое признание получает разный смысл, в зависимости от того, придерживаться теоретико-познавательной или психологической точки зрения.

С теоретико-познавательной точки зрения мы называем «ценностью» то значение, которое сознание вообще приписывает данному переживанию. Нельзя не заметить, что сознание вообще опознает такие состояния, которые сами по себе имеют для него определяющее его значение и характеризуются моментом некоего требования, предъявляемого нашим «Я» к собственному сознанию; такие «ценности» имеют для него абсолютное значение и, смотря по характеру требования, оказываются или познавательными, или этическими, или эстетическими. В зависимости, однако, от соблюдения или нарушения подобного рода требований или общезначимых норм и их характера мы образуем понятия, имеющие положительное или противоположное ему отрицательное значение, — истину, добро, красоту или ложь, зло, безобразие; мы, конечно, легко переносим понятия подобного рода на самые объекты, которые и получают в наших глазах соответствующее значение; в таком смысле, т. е. путем отнесения к ценности, мы и признаем за ними положительное или отрицательное значение.

С психологической точки зрения мы в сущности рассуждаем об оценке. Простое переживание эмоциональных состояний нельзя еще назвать оценкою вызывающего их объекта или самих этих состояний в качестве объектов: ведь оценка вообще характеризуется волевым отношением нашего «Я» к данному объекту; в таком случае субъект испытывает некоторое влечение к объекту, или обратно; он сознает, что данный объект нравится или противен ему, что он его хочет или не хочет, что он хочет своего хотения или не хочет его. Волевой характер оценки обнаруживается и в главнейших ее видах. В самом деле, в основе евдемонической оценки всегда лежит целеполагание; при оценке подобного рода субъект всегда ценит данный объект с телеологической

точки зрения как средство для достижения удовольствия или пользы. В основе нормативной оценки, т. е. оценки, производимой на основании какой-либо нормы, всегда лежит признание нормы как высшей цели; само признание нормы как чего-то должного предполагает волевой акт, направленный на осуществление долженствующего быть.

Уже из вышеприведенных положений легко вывести, что аксиологическое суждение нельзя смешивать с обобщением. В самом деле, под оценочным суждением надо разуметь не субсуммирование под какое-либо общее понятие (например, понятия «государство», «религия», «искусство» и т. п.), а определенное отношение моего «Я» к определенному объекту, взятому в его конкретности; основанием такого моего отношения, моей оценочной точки зрения, оказывается не общее понятие, а понятие о ценности в качестве критерия оценки. Общие ценности, правда, вместе с тем оказываются и общими понятиями; но для историка общие ценности, как, например, государство и т. п., не имеют значения таких общих понятий, которые содержали бы то, что общеиндивидуальным ценностям и не придавали бы значения индивидуальным объектам: историк лишь относит к ценностям индивидуальные объекты для выяснения того, какое значение приписать им в силу именно их индивидуальности, признать их существенными или нет и т. п. С такой точки зрения и следует различать подведение под общее понятие или под закон (без всякого отношения к ценности) от «подведения» под общую ценность путем отнесения к ней индивидуального объекта: последнее лучше называть просто отнесением к общей ценности¹⁶⁵; оно, очевидно, служит не для того, чтобы отвлечь от объекта черты, общие ему с другими объектами, а для того, чтобы, напротив, построить его индивидуальность, т. е. ту именно комбинацию его особенностей, которая и получает ценность.

Самая законность приложения аксиологических суждений к научному построению действительности может вызвать некоторые сомнения¹⁶⁶; но большинство приверженцев идеографического построения истории указывают на то, что понятие ценности вообще лежит в основе науки. Уже сама истина как таковая (т. е. независимо от практического ее значения) представляется нам чем-то ценным; следовательно, момент отнесения к ценности есть и в естествознании, и в ис-

¹⁶⁵ Rickert H. *Geschichtsphil.* S. 80–81.

¹⁶⁶ Xénopol A. *Op. cit.* P. 102 и след.; ср. La notion de «valeur» en histoire // *Rev. de S. H.* T. XI (1905) и след.; автор отрицательно относится к включению понятия об отнесении к ценности в историческую конструкцию, но без достаточно убедительной аргументации.

тории. Впрочем, оно применяется в естествознании лишь к конечной его цели, а не к объектам изучения, и не получает значения критерия для выбора материала, т. е. не кладется в основу научного исследования, что, напротив, имеет место в истории; в самом деле, естествознание вовсе не подвергает самих реально данных объектов своего изучения как таковых отнесению к ценности; оно ценит объект своего знания лишь в качестве материала, пригодного или непригодного для своей ценной в познавательном отношении задачи, состоящей в обобщении; история, напротив, стремится определить ценность самого объекта для целого и только такие объекты и подвергает дальнейшему собственно историческому изучению. Далее, отнесение к ценности не знания об объектах, а самих объектов, представляющихся субъекту реально данными в их конкретной индивидуальности, допускает со стороны историка признание их ценности не с одной только познавательной, но и с других точек зрения; такая операция и проводится путем отнесения данного объекта к познавательным, этическим и эстетическим ценностям и т. п. Наконец, историк, в узком смысле слова имеет дело (в отличие от естествоиспытателя) с такими индивидуальными объектами, которые он признает одновременно и субъектами, способными опознавать ценности, в отношении к которым данный факт получает свое значение.

Установление ценностей или их обоснование в сущности есть дело философии (в частности, философии истории), а не собственно научно-исторического построения. Действительно, философское мышление стремится опознать критерий ценностей и обосновать их путем нормативных оценок: оно вырабатывает систему абсолютных ценностей, т. е. с логической, этической или эстетической точки зрения признает абсолютную ценность истины, добра и красоты; полагая их в основу, оно может указать, какое значение (положительное или отрицательное) данные в сознании людей известного времени ценности имеют по отношению к такой системе, какое место они должны занимать в ней и т. п. Поскольку философ-историк или историк-философ, например, признает ценность научного знания, он будет признавать и ценность свободной мысли, «свободы совести», «свободы печати» и т. п. и с такой точки зрения оценивает государство; поскольку он опирается на абсолютную ценность нравственного начала, он с этической точки зрения может обосновать положительную ценность (идеального) государства: последнее становится в его глазах наилучшим формально-политическим условием для осуществления нравственности в человеческом обществе; с такой же точки зрения он будет придавать отрицательное значение общественно-по-

литической дезорганизации и т. п.¹⁶⁷; поскольку он ценит «облагораживающее» значение искусства, он будет соответственно рассуждать и о функциях государства и т. п.

В таких случаях историк-философ прибегает к операции, которую можно назвать аксиологическим анализом: он стремится прежде всего выяснить, к какой именно ценности он может отнести изучаемый им объект, в отношении к какой из ценностей его индивидуальность получает наибольшее значение. Возьмем пример из области аксиологических суждений хотя бы о «Полтаве» Пушкина; можно изучать ее не с какой-либо обобщающей точки зрения, а с точки зрения ценности данного единственного в своем роде продукта культуры. Следует заметить, что ценность его связана с его единственностью в своем роде, т. е. с его индивидуальностью; что такая его ценность служит и основанием для того, чтобы данный факт стал достойным для нас предметом размышления и истолкования. Последнее может прежде всего состоять в опознании тех возможных точек зрения, с которых данный объект представляется ценностью, расчленением их и т. п.; при чтении «Полтавы», например, мы переживаем известные впечатления, но темно и неясно; задача истолкования может состоять просто в том, чтобы выяснить такое переживаемое нами или другими настроение, разъяснить его и опознать критерии оценки; в таком истолковании мы не имеем в виду придумывать какие-либо новые критерии или точки зрения, с которых можно было бы судить о факте; они только констатируются путем анализа; на основании его можно, как, например, в вышеприведенном случае, смотря по принятой нами точке зрения, отнести «Полтаву» или к логической (правда художественного изображения действительности), или к этической, или к эстетической ценности; но лишь с последней точки зрения индивидуальный ее характер получает наибольшее значение. Таким образом, установив аксиологический критерий, можно вслед за тем выяснить степень ценности изучаемого объекта, например степень художественной ценности данного продукта культуры и т. п.

Такой аксиологический анализ не направлен ни на установление причинно-следственной связи между данным фактом и другими, ни на выяснение его реального значения для истории человечества; сле-

¹⁶⁷ Виндельбанд и другие идут еще дальше, когда утверждают, что «этика составляет теорию исторического знания», что она должна проводить анализ принципов, без которых историческое разыскание шагу ступить не может для того, чтобы разобраться в выборе фактов из среды того множества их, которые случаются в действительности.

довательно, аксиологический анализ, занимающийся истолкованием ценности для нас данных объектов, рассматривает их с иной точки зрения, чем специально историческое исследование: правда, аксиологический анализ для понимания ценности, приписываемой нами объекту, должен обращаться к историческому его изучению; но последнее служит лишь средством для аксиологического анализа. С такой точки зрения переживание и понимание ценности объекта становится необходимой предпосылкой всякого исторического объяснения и построения; путем аксиологического анализа мы и определяем, какие именно объекты подлежат научно-историческому объяснению и построению.

Итак, историк-ученый в специальных своих исследованиях не занимается обоснованием ценностей: он признает, положим, ценность государства обоснованную и только относит к такой «культурной ценности» отдельные факты; каждый из них получает большее или меньшее значение (положительное или отрицательное) в его отношении к подобного рода культурной ценности; само индивидуальное нельзя признать существенным вне отношения его к какой-либо ценности: чем, например, человек приносит больше пользы или больше вреда государству (понятие, которое, разумеется, следует отличать от понятия о правительстве), тем он в глазах историка, принимающего ценность государства, получает большее положительное или отрицательное значение; значит, история изучает человека, поскольку он содействует (или препятствует) реализации социальных, политических и т. п. ценностей; то же самое можно сказать и про событие.

Таким образом, в отнесении данного факта к данной ему культурной ценности историк-ученый получает критерий для выбора тех, а не иных фактов из многосложной действительности: он оценивает объект путем отнесения его к таким культурным ценностям, как наука, нравственность и искусство, церковь и государство, социальная организация и политический строй и т. п. В частности, признавая, например, ценность государства, он, смотря по значению для него (т. е. государства) данной индивидуальности, придает ей соответствующую ценность, но не подвергает саму индивидуальность, взятую вне такого соотношения (как таковую), одобрению или порицанию и т. п.

Самая обоснованность культурных ценностей может, однако, не быть для историка данной. Само собою разумеется, что культурные ценности, обоснование которых принимается историком-ученым в качестве уже данного, на самом деле могут оказаться еще не обоснованными; тогда и отнесение к ним фактов будет также не обоснованным, а только гипотетическим или относительным. В таких случаях или историк принимается за обоснование тех культурных ценностей,

к которым он будет относить отдельные факты, т. е. сам занимается задачей философской, логически отличной от простого отнесения к принятой уже культурной ценности, производимого историком-ученым; или, не пускаясь в ее обоснование, он просто ограничивается констатированием относительной ценности, т. е. той культурной ценности, которую данная общественная группа признавала тогда-то и там-то (например, ценность венецианского государственного устройства в XVI–XVII вв.), и занимается отнесением к ней изучаемых фактов с точки зрения людей того времени; но подобного рода историческую работу нельзя, конечно, признать окончательной.

Впрочем, если бы историк даже располагал обоснованными ценностями, то все же путем отнесения к ним изучаемых фактов он еще не мог бы достигнуть научного построения исторической действительности: с точки зрения принимаемого им критерия он выдергивал бы из нее известные факты. Историк, пользующийся обоснованными ценностями, должен, кроме того, выяснить, в какой мере они стали исторической действительностью, т. е. в какой мере они действительно признавались той общественной группой, которую он изучает. Следовательно, даже при обоснованности принимаемых им культурных ценностей историк не может устраниваться и от отнесения изучаемых им фактов к общепризнанным ценностям: лишь с последней точки зрения он будет вправе говорить о реализации данных ценностей в действительности. Реализация их получает, однако, своеобразный характер, если принять во внимание, что объекты исторического исследования оказываются одновременно субъектами, которые могут сами признавать некие ценности, и что последние, значит, объективно даны историку в психике изучаемой им социальной группы; в отношении к ним он может придавать значение и тем, а не иным фактам. С такой точки зрения ему приходится отличать вышеуказанные виды отнесения к обоснованной ценности от отнесения к общепризнанной ценности: отнесение к обоснованной ценности требует обоснования той производной ценности, в отношении к которой отдельным фактам приписывается известное значение, а отнесение к общепризнанной данным обществом ценности предполагает только наличность ее признания в той самой общественной группе, которая изучается историком; общепризнанная ценность, значит, может не совпадать с обоснованной и в таком смысле признается лишь относительной.

Во всяком случае, если сам историк не устанавливает ценности целей и не обосновывает ее, а принимает их за ценные, поскольку ценность их уже дана в сознании людей, действующих из-за их достижения, он в таком случае судит о значении фактов в их отношении к уже

данным ему, специалисту-историку, ценностям, поскольку они признаются данными людьми. Таким образом, «действительность становится историей», когда мы рассматриваем ее с точки зрения того значения, какое частное получает, благодаря своей единичности, для существ, наделенных волей и способных к действию¹⁶⁸. Понятие об общепризнанной ценности легко разъяснить хотя бы на следующем примере. Возьмем один из крупных фактов новейшей политической истории — объединение Германии под гегемонией Пруссии. Можно оценивать самую цель этого объединения и признавать «важным» или «неважным» вытеснение Австрии из Германии, на что Бисмарк и решился; но можно не входить в оценку данной цели, а принимать ее во внимание, поскольку она представлялась ценной немцам 1860-х годов, и только изучать, было ли решение Пруссии объявить войну Австрии в тот именно момент пригодным средством для достижения вышеуказанной цели, т. е. для объединения Германии, и если история ответит на такой вопрос утвердительно, то почему это решение действительно оказалось таким средством. С последней точки зрения историк и будет выбирать данный факт (положим, решение Бисмарка касательно разрыва с Австрией) путем отнесения его к общепризнанной ценности (т. е. к объединению Германии).

Итак, отнесение к общепризнанной данной общественной группой ценности сводится прежде всего к психологическому анализу тех критериев оценки, которыми данное общество действительно руководилось или руководится для того, чтобы выяснить, какой из них оказывался общепризнанным или признанным в большей или меньшей мере¹⁶⁹. По выяснении той именно ценности, которая оказывается в данной общественной группе общепризнанной, историк и будет выбирать факты путем отнесения их к такой ценности, эмпирически данной, т. е. к ценности, которую вообще люди признавали в данное время. Словом, историк будет пользоваться найденным таким образом критерием для того, чтобы, с точки зрения самого общества, судить о значении фактов, его касающихся.

Следует заметить, однако, что историк не может ограничиться изучением одних общепризнанных ценностей, хотя они одни, казалось бы, имеют объективное значение. Без обоснования их такие ценности все же оказываются результатами субъективной оценки, только с тем различием, что она проведена целю группой, а не от-

¹⁶⁸ *Rickert H.* Grenzen... S. 349, 355, 359, 372.

¹⁶⁹ Ср.: *Dilthey W.* Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie in Sitz. — Ber. der Ber. Akad. d. Wiss., 1894.

дельною личностью; но коллективная оценка может быть гораздо более субъективной, чем личная: психический уровень массы часто бывает ниже среднего, особенно в области отвлеченной мысли; без обоснования их такие ценности, в сущности, становятся, значит, проявлениями психики данной общественной группы, т. е. психическими фактами; а для выбора из них историк все же будет нуждаться в критерии, на основании которого он мог бы признать их значение и который, очевидно, он не может почерпнуть из самих фактов. Следовательно, историк-идеограф отказывается от установления какой-либо связи между обоснованными и общепризнанными ценностями лишь в том случае, если фактически лишен возможности приступить к такой работе и принужден в качестве критерия довольствоваться относительной по своему значению общепризнанной ценностью.

Впрочем, различие между отнесением к обоснованной ценности и отнесением к общепризнанной ценности может сглаживаться. Если исходить из того положения, что сознание человеческое способно опознавать абсолютные ценности, то можно допустить и такие случаи, когда критерий нормативной оценки у историка и у той общественной группы, которую он изучает, окажется общим. Люди не только подлежат отнесению к ценности в индивидуальном значении каждого из них, но и сами могут становиться в определенное отношение к той именно ценности, с точки зрения которой они и получают значение. В самом деле, хотя историк-ученый не занимается обоснованием ценностей и признает их данными, но он все же опирается на абсолютную ценность, по отношению к которой данная культура (положим, государство) и получает (производную) ценность, а если та же ценность признается (или признавалась) и общественной группой, изучаемой историком, то принимаемая им обоснованная ценность может совпасть с объективно данною, и следовательно, сама будучи обоснованной, вместе с тем становится объективной и общепризнанной.

В таком совпадении следует различать по крайней мере два вида. В известных случаях обоснованный критерий историка может совпасть с общепризнанною ценностью; в таком случае данный исторический деятель (личность, группа и т. п.) не сознает (или, может быть, лучше сказать: смутно сознает) связь между некоей абсолютной ценностью и общепризнанной, но не обосновывает ее; припомним, например, хотя бы борьбу греков с персами или объединение Германии в смысле процессов, нужных для сохранения и развития общечеловеческой культуры. Возможно, однако, представить себе, что обоснованный критерий историка совпадает с таким же обоснованным критерием исторического деятеля; для примера можно указать, положим,

на историю Гусса или Галилея, на борьбу французов с коалицией из-за общечеловеческих начал и т. п.

Во всяком случае, следует всегда отличать отнесение к ценности от субъективной оценки фактов, проводимой самим историком; последняя отличается тем, что ее критерий не обоснован, и тем, что он не научно-эмпирического характера, поскольку он действительно признается «всеми». В субъективно-исторической оценке критерий обыкновенно берется под влиянием какой-либо субъективно-индивидуальной точки зрения – национальной, сословной, научно-цеховой (с точки зрения данного ученого направления, школы) и т. п.

Таким образом, историк получает возможность установить всеобщее значение индивидуального путем отнесения его к ценности, которая получает наибольшее объективное значение в том случае, если она может быть обоснована; впрочем, и общепризнанная ценность в качестве относительной может служить для предварительного выбора фактов; как бы то ни было, отнесение к ценности следует строго отличать от субъективно-индивидуальной оценки; тем не менее в действительности отнесение к ценности и субъективная оценка, разумеется, часто смешиваются в одном и том же субъекте – историке.

Понятие об историческом значении индивидуального нельзя, однако, ограничивать понятием о его ценности; ведь понятие об общепризнанной ценности уже находится в тесной связи с понятием о ответственности индивидуального: историк интересуется вневременной ценностью в процессе ее реализации; а ценность тем полнее реализуется, чем более факт, в котором она воплотилась, имеет последствий.

В самом деле, если без признания индивидуального имеющим значение в его отношении к данной культурной ценности «настоящий» историк не примется за его изучение, ибо в противном случае выбор фактов будет иметь случайный характер, то и без наличности реальных последствий такого факта для развития человечества (данной группы его и т. п.) он не станет изучать его; индивидуальность, сама по себе очень ценная, но не оказавшая в качестве таковой фактического воздействия на данный процесс, в сущности лишена полноты своего значения и, во всяком случае, еще не имеет того значения, которое можно назвать собственно «историческим»¹⁷⁰. Факт, сам по себе важный, но не имевший никаких исторических последствий, может, конечно, получить познавательное значение и в глазах историка, но поскольку он, благодаря такому его значению, обратит внимание не

¹⁷⁰ Ср., например, характеристику ученого Ментелли у *Ribot Th. La psychologie des sentiments*. P. 364–365.

на него самого, а на значение вызвавших его причин; даже в том случае, если этот факт сам по себе имеет обоснованную ценность, историк еще не будет иметь достаточных оснований для того, чтобы признать в полной мере его реально-историческое значение. Лишь в том случае, если факт окажет реальное действие на развитие человечества и его последствия (путем отнесения к данной культурной ценности) будут признаны имеющими некоторую ценность, он получит и собственно историческое значение. В самом деле, если данный факт не имел заметных исторических последствий, то даже при самой высокой его ценности нет возможности вставить его в основной эволюционный ряд и, таким образом, выяснить его реальное значение для всего целого; и чем выше его ценность, тем вероятнее, что при отсутствии дальнейших исторических следствий, вызванных им, эволюция, приведшая к нему, есть особая боковая отрасль основного эволюционного ряда. Наоборот, если факт представляется историку не только следствием, но (с другой точки зрения) и причиной новых результатов, он может так или иначе вставить его в основной эволюционный ряд; а такое его значение он устанавливает лишь путем исторического исследования его действительности; оно может получить даже социологический характер, поскольку историк будет задаваться изучением объединяющего и уравнивающего влияния данного факта на последующие поколения.

Нельзя, однако, назвать факт историческим, принимая во внимание лишь то, что он имел вообще какие-нибудь последствия: сотрясения воздуха, производимые при представлении в определенном месте и в определенное время известной трагедии Шекспира на сцене, например, — тоже своего рода последствия его; но факт, уже признанный ценным, поскольку он как таковой имел последствия, получает особого рода историческое значение именно благодаря своим последствиям; последствия чтения или представления трагедии Шекспира, если они последствия ее как таковой ввиду признания ее ценности, также признаются ценными и оказываются производными ценностями: историческое исследование устанавливает лишь действительность и объем такого влияния и его дальнейшие результаты¹⁷¹.

¹⁷¹ Meyer E. Geschichte des Altertums, 2 Aufl. Bd. I. Einl. S. 186: «historisch ist derjenige Vorgang der Vergangenheit, dessen Wirksamkeit sich nicht in dem Moment seines Eintretens erschöpft, sondern auf die folgende Zeit weiter wirkt und in dieser neue Vorgänge erzeugt»; нельзя, однако, согласиться с автором, что достаточно действительности факта для того, чтобы признать его «историческим». Ср. еще рассуждения Карлейля, Зибеля, Готейна и других об «успехе» (Erfolg) или успешности

Понятие о действенности индивидуального с последней точки зрения уже обусловлено понятием о человеческом обществе. В самом деле, ценная индивидуальность получает историческое значение только под условием ее действенности; но последняя мыслима лишь в обществе, ибо специфический характер такого действования, также ценного, может обнаружиться только в том случае, когда оно будет обращено на среду, способную воспринимать его в его специфичности, что в свою очередь предполагает наличность некоего общества.

С точки зрения социальной сферы влияния индивидуального и индивидуальное его положение получает значение. Историк должен принимать во внимание такое положение, т. е. местные и временные условия действования. Личность, сама по себе и не особенно ценная, но благодаря данным обстоятельствам оказавшаяся в известном положении, обнаруживает большую действенность и получает иногда сравнительно большее историческое значение (например, Робеспьер, если принять характеристику его, сделанную Сорелем). Исторический факт также имеет тем большее историческое значение, чем сфера его действия больше; вот почему в истории данного периода факт, сам по себе важный (например, открытие дифференциального исчисления Ньютоном не позднее 1665 г.), тем не менее может занять относительно менее видное место, чем другой факт, сфера влияния которого в данное время оказалась гораздо шире (например, английская революция 1688 г.).

Коррективом к только что указанному понятию о сфере действия можно признать понятие о длительности последствий. С такой точки зрения, например, открытие дифференциального исчисления (и притом скорее в той форме обозначения, какая принадлежит Лейбницу, открывшему самый метод, по-видимому, независимо от Ньютона) может получить весьма важное значение.

С той же точки зрения индивидуальность или факт, своевременно не оказавшие действия, могут, тем не менее, начать влиять или сильно влиять на людей позднейшего времени и, следовательно, тогда и получают или приобретают новое историческое значение. Такое явление можно назвать зарождением или возрождением действенности данной индивидуальности или факта. Под понятие о зарождении или возрождении действенности данного продукта можно подвести и такие случаи, когда некая ценность становится общепризнанной не

последствий, как критерии исторического значения факта; в таких рассуждениях они едва ли не смешивают понятия о ценности с понятием о действенности факта; см. также изложение их учений о прогрессе и т. п. в соч. *Grottenfelt A. Geschichtliche Wertmasstäbe.* и проч. Lpz., 1905. S. 170–178.

в то время или не только в то время, когда она возникла, а и в последующее время. Известно, например, что целый период европейской истории получил название «Возрождение» именно потому, что в нем указанный процесс возрождения действительности данной индивидуальности (т. е. античной культуры, в частности, положим, влияние философии Платона) обнаружился очень рельефно.

Таким образом, историк судит об историческом значении индивидуального не только по ценному его содержанию, но и по его действительности, т. е. по объему его влияния: принимая во внимание реализацию ценности в действительности, он получает возможность рассматривать вневременную ценность в данных условиях пространства и времени. Историк в узком смысле слова изучает, однако, лишь часть вселенной — человечество; значит, он всегда может понимать влияние индивидуального в смысле воздействия части на целое; с последней точки зрения, интересуясь сферой влияния индивидуального, он должен иметь в виду и общее содержание элементов данного целого или той группы, которая испытывает на себе данное действие: это содержание становится объективно данным критерием действительности индивидуального. В той мере, например, в которой человеческое сознание (человечество) влияет на историю мира, в нем есть нечто общее; в той мере, в какой данная индивидуальность — личность или событие — оказывает влияние на социальную группу, в ней оказывается общее ее членам содержание; а в таком содержании историк находит объективно данный критерий для того, чтобы судить о действительности индивидуального.

Следует иметь в виду, что понятие об историческом значении индивидуального, выясненное выше, служит не только для упрощения, но и для объединения наших представлений об исторической действительности. В самом деле, историк образует свое понятие об исторической индивидуальности в ее отношении к ее историческому значению; таким образом, он достигает «обозримости» или некоторого объединения своих представлений о разрозненных ее чертах; с той же точки зрения историк устанавливает и те важнейшие центральные факты, с высоты которых он может усмотреть группы и ряды второстепенных фактов и разместить их вокруг главных.

Следовательно, можно сказать, что понятие об историческом значении индивидуального уже служит для объединения наших знаний об эмпирически данной действительности и обуславливает возможность научно-исторического ее построения; но для достижения такой цели историк нуждается и в других понятиях; перейдем к рассмотрению одного из них, тесно связанного с только что установленным: я разумею понятие об исторической связи.

§ 3. Понятие об исторической связи

Понятие об историческом значении индивидуального, в сущности, легко комбинировать с понятием об исторической связи. В самом деле, отнесение к ценности нисколько не устраняет изучение тех именно фактов, которые путем такого отнесения признаны нами ценными с точки зрения связи их с вызвавшими их причинами или порожденными теми же фактами следствиями. Отнесение к ценности лишь дает основание выбрать из многообразия действительности те факты, которые затем подлежат изучению с причинно-следственной точки зрения; признавая данные цели ценными, историк-ученый может выяснять и причины, почему данные средства (действия и т. п.) привели или не привели к осуществлению таких целей. Изучение действительности данной индивидуальности, длительности ее последствий и возрождения ее действительности также приводит историка к изучению причинно-следственной связи между историческими фактами; лишь понявши, почему изучаемый факт оказался в данном месте и случился в данное время, можно объяснить себе, почему он в качестве части получил такое, а не иное реальное значение для данного целого: ведь один и тот же факт может иметь разные значения, в зависимости от его индивидуального положения, т. е. в зависимости от места, где он возник, и времени, когда он произошел; и только представивши его в определенном индивидуальном положении в пространстве и во времени, можно судить о его реальном значении для того целого, частью которого он оказывается.

Понятие об исторической связи, тем не менее, заслуживает особого рассмотрения: оно имеет большое объединяющее значение; благодаря ему мы связываем между собою исторические факты и получаем возможность представить себе непрерывность исторического процесса.

Ввиду познавательной цели идеографического построения историк не может, однако, ограничиться вышеуказанным понятием о причинно-следственном отношении¹⁷²; ведь он должен объяснить с причинно-следственной точки зрения не то, что у данного объекта оказывается общим с другими объектами и обусловлено общими ему с ними условиями, а то, что именно характеризует его и что может быть объяснено только тою именно комбинацией условий в данном месте и в дан-

¹⁷² Ср. выше, с. 94–104; об «исторической причинности», кроме сочинений Курно и Риккерта, см. еще написанные под его влиянием «этюды» С. Гессена: *Hessen S. Individuelle Kausalität*. Berl., 1909.

ное время, благодаря которой возникновение данного индивидуального объекта в таком именно его индивидуальном положении и становится понятным; следовательно, он интересуется не обобщением отвлеченно взятых и дифференциально изученных причинно-следственных отношений, а данною в действительности индивидуальной связью между сложным комплексом условий и их результатом; он не может, значит, удовлетвориться общим суждением вроде: «если a дано, то при отсутствии противодействующих условий b должно следовать за ним (во времени)», а стремится определить, какова именно та совокупность условий и обстоятельств $a_1, a_2, \dots a_n$, которая вызвала данный конкретный результат b_x ; но он не в состоянии ни заключать о нем по каждой из причин, взятых в отдельности, ни логически вывести фактическое их соотношение и такую же связь с данным конкретным результатом; словом, он должен принимать во внимание данность их встречи в их отношении к результату, уже данному в действительности.

С такой точки зрения понятие об исторической связи тесно связано с понятием о «случае»¹⁷³; но последнее может иметь разные значения: понятие о случае в метафизическом смысле нельзя смешивать с понятием о случае в теоретико-познавательном смысле.

С метафизической точки зрения можно рассуждать о действительности, ничем не вызванной, и называть ее абсолютной случайностью; разумееется, с таким понятием о случае в науке не приходится иметь дело.

С теоретико-познавательной точки зрения мы вообще называем случаем то, причину чего мы не знаем; но такое утверждение можно понимать двояко — в абсолютном и относительном смысле.

В теоретико-познавательном смысле мы говорим об «абсолютном» случае, когда утверждаем абсолютную невозможность для нашего разума установить причинно-следственную связь, что имеет место, например, если такая предпосылка принимается в числе самих условий задания: в теории вероятностей мы принципиально считаем невозможным познать причины уклонений; они признаются нами абсолютно случайными, и чем их больше, тем больше вероятность взаимного уничтожения таких уклонений в конечном итоге.

В теоретико-познавательном смысле можно, однако, рассуждать и об «относительном» случае или об относительно случайном с причинно-следственной точки зрения: если ученый не может на основании принципа причинно-следственности логически вывести из предшествующего последующее и строит совокупность причин только как данную в отношении их к уже данному результату, он пользуется поня-

¹⁷³ *Windelband W. Die Lehren vom Zufall. Berl., 1870.*

тием об относительном случае. Подобно тому как из свойств данной прямой линии, например, можно вывести, что если она будет продолжена, то она пересечет известную точку, но нельзя вывести, что она будет пересечена другою линией, и значит, с такой (относительной) точки зрения, исходя из свойств одной прямой линии, придется признать это пересечение ее другой (в действительности) случаем, так и факт пересечения действия одной причины другой представляется нашему разуму относительно случайным; а между тем его надо принимать в расчет для объяснения данного результата.

Идеографическая теория знания принимает во внимание понятие об «относительной случайности» в теоретико-познавательном смысле слова при объяснении исторических фактов; его я и буду иметь в виду при изложении учения об объяснении действительности с идеографической точки зрения.

Иногда с понятием о случайности (в причинно-следственном смысле) смешивают, однако, понятие о маловажности данного факта; или, различая понятие о случайности в причинно-следственном смысле от понятия о случайности в телеологическом смысле, последнее приравнивают к понятию о маловажности. При образовании, например, ввиду данной познавательной цели какого-либо понятия, когда нам приходится от существенных составных частей действительности различать части или признаки несущественные, последние мы называем «случайными». Такое словоупотребление применяется и в практическом отношении: при обсуждении средств, пригодных для осуществления данной цели, известные вещи или свойства вещей, безразличные в практическом отношении, называются в указанном смысле случайными. Во избежание недоразумений я, однако, не стану называть таких «несущественных» или «безразличных» фактов «случайными». Ведь они признаются нами «случайными» или безразличными с какой-либо аксиологической точки зрения; их лучше называть маловажными, причем они могут оказаться таковыми или в теоретическом, или в практическом отношении (см. выше).

Итак, вышепоставленный вопрос сводится к вопросу о том, каково познавательное значение понятия об относительном случае для историка, желающего объяснить действительность. Попытаемся выяснить, в каком смысле он все же может стремиться к ее объяснению, несмотря на то что признает относительную случайность конкретных фактов.

Если бы в конце концов нам и удалось возвести к единому мировому целому данные замкнутые «системы вещей», его реальность все же представлялась бы нашему разуму данной и в таком смысле

относительно случайной; да и самое направление движения его частей, поскольку оно дано, признавалось бы нами относительно случайным: теория происхождения нашей планетной системы уже принимает в качестве данного направление, в котором родившая ее туманность вращалась; мало того: наша наука в сущности имеет дело не с мировым целым, а с разрозненными его частями, действия которых скрещиваются. Такое понятие о данном скрещивании замкнутых рядов причинно-следственных соотношений, представляющемся нашему разуму относительно случайным, и, видимо, затрудняет научное объяснение исторической действительности.

Для того, чтобы лучше выяснить себе такое понятие, вообразим, что данный шар *A* (масса), получивши толчок, с известною скоростью (и в однородной среде) движется по плоскости; тогда, зная в какой-либо момент движения шара его положение, а также скорость его движения и принимая во внимание трение и т. п. условия, можно будет вывести определение того места, которое в известный момент шар занимал или займет на плоскости, а также соответственную его скорость, вплоть до того момента, когда он окажется в состоянии покоя, и таким образом, действием данной причины объяснить ее результат (следствие); но если в скорости или в направлении движения произошло видоизменение, вызванное, положим, столкновением шара *A* с шаром *B*, двигающимся по линии, пересекающей линию, по которой шар *A* следует, то видоизменение в скорости и направлении движения последнего, очевидно, нельзя вывести из закона его собственного движения, если факт столкновения между шарами *A* и *B*, оказавший влияние на последующее движение *A* (движение *B*, само по себе взятое, можно оставить без внимания), нельзя возвести к какой-либо общей причине, объясняющей его возникновение, и обратно, из нее вывести этот факт, то последний и представляется нам относительно случайным: движение каждого шара по известной линии можно вывести независимо от движения другого, но интересующие нас изменения в их движении можно объяснить, лишь принимая данность обоих и их столкновения, притом в точно определенном смысле. Если, однако, нельзя предвидеть действительного наступления их встречи (хотя бы вероятность ее и можно было установить), то реальный факт такой встречи представится нам относительно случайным. В таком случае пересечение причин, действующих независимо друг от друга, придется признать относительно случайным; а так как сама встреча подобного рода в свою очередь оказывается одним из условий, влияющих на дальнейшую «историю» шара *A* (и шара *B*), то последняя (в качестве следствий результата встречи *A* с *B*) представится нам относительно случайной.

Возьмем другой пример: кирпич, отвалившийся от карниза высокого дома, падает на голову проходящего мимо человека и пробивает ему череп. Можно установить причины, вызвавшие падение кирпича; плохая кладка карниза, влияние бури, расшатавшей кладку и т. п., положим, обусловили падение кирпича. Можно установить причины, вызвавшие то, что человек пересек линию падения кирпича, — ему нужно было пройти по данной улице, положим, потому, что он привык проходить по ней, когда идет в университет, и т. п. Можно, наконец, установить причины, вызвавшие при «встрече» кирпича с черепом человека его поранение. Сколько бы мы, однако, ни восходили в каждом ряде причин от ближайших к более отдаленным причинам, вызвавшим падение кирпича (в отдельности взятом), мы не будем в состоянии вывести из них тот факт, что он должен был ранить именно данного человека, и из причин, вызвавших его прохождение мимо данного места, что данный кирпич должен был упасть именно на него. Словом, ни из одного ряда, в отдельности взятого, нельзя вывести, что именно этот кирпич должен был ранить именно этого человека. Поскольку и кирпич, и человек даны в их конкретной индивидуальности, поскольку направления их движений даны, постольку дано и пересечение их в данном месте, в данное время; данность совокупности подобного рода условий представляется нам относительно случайной: таковою мы и считаем действительно происшедшую встречу¹⁷⁴. А между тем последняя (например, если проходивший — гениальный ученый) могла повлечь за собою (в случае его смерти) весьма «важные» последствия для истории человеческой культуры.

С формальной точки зрения подобное же рассуждение можно применить и в том случае, если говорить о реальном соотношении двух индивидуумов — I_1 и I_2 . Положим, что I_1 наделен настолько развитым разумом и характером, что из них можно было бы вывести ряд его действий; последние зависят, однако, не только от его психических свойств, но и от встречи его с действиями I_2 , I_3 ; поскольку нельзя предвидеть наступление конкретно данной их встречи в данном месте и в данное время, встреча с ними, оказывающая влияние на последующую деятельность I_1 , представляется нам относительно случайной.

Между тем «встречи» подобного рода и должны быть, в сущности, признаны теми историческими событиями, которые оказывают влияние на ход истории, иногда весьма существенное, и которые, значит, нельзя выбросить из ее научного построения. «Встречу» двух или большего числа причинно-следственных рядов — «относительный случай» —

¹⁷⁴ Meyer E. Op. cit. S. 18 и след.

мы называем событием. Политическая история и занимается главным образом событиями; их нельзя исключить из исторического построения, ибо они оказывают влияние на дальнейший ход истории. С такой точки зрения историку приходится считаться, например, с фактами, что Рафаэль и Шиллер рано умерли, а Микель-Анджело и Гете достигли глубокой старости; что Александр Великий и император Фридрих III умерли от болезни в цвете лет; что в обеих ветвях Габсбургского дома мужская линия быстро прекратилась; что семейство Лотаря вымерло и что то срединное царство, которое составляло как бы переход от Франции к Германии, упразднилось, а исчезновение такого царства оказало решительное влияние на образование двух обособленных наций — французской и немецкой; что посягательства на жизнь Вильгельма I и Бисмарка не удались, а посягательства на жизнь Филиппа Македонского, Цезаря и Александра II удались и т. п.

Для выяснения понятия об исторической случайности не мешает указать на отличие его от понятия о свободе воли, тем более что такие понятия иногда смешиваются. С идеографической точки зрения нет нужды прибегать к отождествлению свободной воли человека с обусловленной ею иррациональностью действий. Только сумасшедший отличается специфической непредвиденностью своих действий, столь же, впрочем, большой (но не большей), как и непредвиденность «слепых сил природы». Каждый из нас, напротив, испытывает наибольшее чувство свободы при совершении тех именно действий, которые представляются нашему сознанию рациональными, т. е. исполненными не под влиянием физического и психического «принуждения», страстных аффектов или «случайно» замутившихся суждений, а ввиду ясно сознанный «цели», которую мы преследуем, применяя к тому наиболее адекватные средства. Если бы науке истории пришлось иметь дело лишь с «рациональным» и в таком именно смысле «свободным» действием, то задача ее была бы значительно облегчена: она могла бы по средствам, примененным данным деятелем, заключить о его цели, о «максиме» или о мотиве действующего лица. Так как всякое строго телеологическое действие есть применение правил, добытых путем опыта и указывающих на наиболее пригодные средства для достижения данной цели, то история (т. е. реально протекающий процесс) была бы не чем иным, как применением таких правил¹⁷⁵. Итак, нельзя смешивать понятие о случайности с понятием о свободе воли, по крайней мере в том смысле, в каком оно только что употреблялось. Вообще, можно сказать, что поскольку

¹⁷⁵ Weber M. Op. cit. в Arch. für Soziol. Bd. xxii. S. 153.

историк исходит из действительности, он не может не принимать во внимание и волевого воздействия данного индивидуума на возникновение какого-либо факта, но и такие явления он может рассматривать с точки зрения относительно случайной «встречи» данных условий и обстоятельств с волей данного индивидуума. Даже в том случае, если бы историку удалось доказать, что данный факт мог возникнуть без такого воздействия, нельзя отрицать, что в действительности он «случился» при наличии этого воздействия; оно, значит, должно быть включено в число причин, случайная встреча которых породила данный факт. В таком смысле историк и рассуждает, говоря, например, что Вторая Пуническая война разразилась благодаря решению Ганнибала, Семилетняя война — благодаря решению Фридриха Великого, австро-прусская 1866 г. — благодаря решению Бисмарка. С такой же точки зрения можно рассуждать и о «случайной» встрече данных обстоятельств с нравственной волей лица, которое при наличии этих условий признало за должное поступать соответствующим образом, что в совокупности и повело к известным результатам; припомним хотя бы появление Иоанна Гусса на констанцком соборе или Лютера — на вормском сейме.

На основании вышеприведенных соображений уже можно придти к заключению, что историк должен исходить из конкретно данной действительности, поскольку она дана ему в его чувственном восприятии или переживается им; значит, историк не предсказывает факт, а исходит из совершившегося уже факта; но он пытается возможно дальше углубить анализ фактов в причинно-следственном смысле: он стремится выяснить, какого рода причины встретились в данном месте и в данное время и какие последствия имела данная встреча. Иными словами говоря, историк дает научное объяснение действительности, поскольку он объясняет соотношение элементов, в совокупности вызвавших данный результат.

Такое объяснение сводится прежде всего к тому, что историк должен определить, какие из причин, в совокупности породивших данный факт, зависят от более общей или друг от друга и какие, напротив, не могут быть поставлены им в такую зависимость и, значит, представляются ему данными независимо от других; к числу последних можно относить, например, и самый факт скрещивания или встречи действия одной причины (или нескольких) с другой (или несколькими), поскольку она не выводится из какого-либо закона и просто признается данной в действительности. С такой точки зрения естественно, например, различать общие условия и причины, долженствовавшие вызвать известный факт, при наличии подходящей индивидуаль-

ности и данность последней в данном месте и в данное время; встреча обеих групп обстоятельств и ведет к тому результату, возникновение которого объясняется.

Если историку удалось в данной совокупности обстоятельств различить зависимые от независимых, то он может пойти еще далее и попытаться выяснить значение в данной группе причин тех из них, которые он назвал случайными. В действительности вся совокупность условий с фактической необходимостью вызвала, конечно, данный факт и только; но историк может пользоваться категорией возможности при взвешивании относительного значения данной исторической причины, в совокупности с другими породившей данный результат. С такой точки зрения он может задаваться, например, вопросом, что было бы, если бы данной причины не было или если бы она была заменена другою, т. е. могла ли бы она быть заменена другой, равнозначимой или нет, изменился ли бы при таких условиях результат или, точнее, собственно то его значение, которое мы признаем историческим, и т. п. Лишь в последнем смысле данная причина приобретает чисто исторический характер. Категория возможности может, значит, служить своего рода критерием для определения значения, причин, вызвавших интересующий нас результат; таким путем можно выяснить, в какой мере данное обстоятельство было действительно исторической причиной данного события и т. п. Ответ на вопрос подобного рода можно дать, однако, лишь пользуясь отвлечением и обобщением исторического материала: отвлекая данную причину или отвлеченно рассматривая другую, мы на основании общих понятий, установленных антропологией, психологией, социологией и т. п., рассуждаем о том, какое действие она могла бы иметь.

Таким образом, историк может обсуждать степень вероятности исторического события, поскольку отвлеченно рассматриваемые условия вообще признаются в большей или меньшей степени благоприятными для ожидания наступления известного (а не данного единичного) события. Вообще, если событие y порождено совокупностью (x, w) , причем x сложное и не зависит от w , а w можно заменить и другим обстоятельством, то x уже можно считать совокупностью условий, в значительной степени благоприятствующих наступлению y . Если при присоединении к x какого-либо условия (w или другого) нам представляется, что вероятность иного по его историческому значению результата, чем y , очень ограничена или мала, то такое причинение y можно назвать адекватным; и обратно: если бы без w результат (в историческом смысле) получился бы другой, то причинение, поскольку оно уже прямо зависит и от w , можно назвать «слу-

чайным». Смотри по тому, например, какое из вышеуказанных значений приписывать двум выстрелам перед замком, в совокупности с другими условиями вызвавшим мартовскую революцию в Берлине, придется и наступление ее признать результатом адекватного или «случайного» причинения¹⁷⁶.

Уже в вышеприведенных операциях историк постоянно пользуется понятием о причинно-следственной связи для выяснения того комплекса причин, который породил данный результат; но он может попытаться уразуметь и ту связь, которая обнаруживается между таким комплексом и его результатом. В самом деле, понятия о причинно-следственной связи (но не о законе в причинно-следственном смысле) и об относительно случайной встрече двух (или нескольких) фактов, из которых один оказал реальное влияние на другой, соединимы между собою, поскольку мы пытаемся объяснить фактически необходимую причинно-следственную связь между такими фактами. Для достижения указанной цели историк обращается к анализу своего понятия об индивидуальном объекте, который представляется ему фактически необходимым последствием действия на него другого индивидуального объекта; он разлагает такое понятие на его элементы, всегда остающиеся общими; далее он совершает подобную же операцию относительно индивидуальной причины и, наконец, устанавливает связь между общими элементами своего понятия об индивидуальном объекте — следствии и соответствующими такими же элементами своего понятия об индивидуальном объекте — причине. Если историку удастся совершить ряд таких операций, он затем снова соединяет общие элементы своего понятия о причине в одно понятие, представляющее ему индивидуальность этой причины, и таким образом, как бы обходным путем достигает научного понимания той фактически необходимой связи, в какой данная индивидуальная причина находится с порожденным ею индивидуальным объектом — следствием. Таким образом, историк выясняет, какого рода обстоятельства совпали и в совокупности произвели данный результат; самое стечение таких, а не иных обстоятельств в данном месте и в данное время остается для него относительно случайным, но он может объяснить себе, каким образом возник тот, а не иной результат.

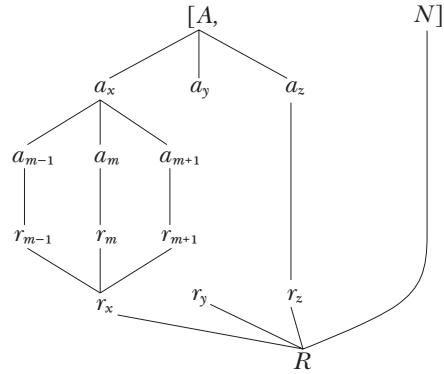
Само собою разумеется, что идеальная цель, преследуемая путем подобного рода исследований, может и не быть достигнута в действительности. В самом деле, историку обыкновенно приходится констатировать в изучаемом им результате такой остаток, который он не

¹⁷⁶ Weber M. Op. cit. в Arch. für Soz. xxii, 203.

может разложить на элементы и путем логической конструкции возвести к соответствующим элементам причины¹⁷⁷.

Вышеизложенную операцию можно представить себе в виде следующей схемы, где $[A, N]$ — индивидуальная сложная причина (данное стечение обстоятельств, а не только стечение данных обстоятельств), а R — находящийся с нею в связи сложный результат.

Вообще разыскивая, какие обстоятельства вызвали R , и найдя $[A, N]$, историк мысленно разлагает R и $[A, N]$ на составные их элементы и пытается порознь установить связь между ними; различая зависимость R от A и от N , которое не зависит от A , он стремится выяснить зависимость R от A и зависимость R от N каждую в отдельности. Положим, что, восходя от R к A , исследователь сразу усматривает соотношение между r_z и a_z ; но так как он не может сделать того же относительно r_x и a_x , то подвергнув их дальнейшему разложению и получив, таким образом, r_{m-1}, r_m, r_{m+1} и a_{m-1}, a_m, a_{m+1} , он устанавливает между ними иско-мое соотношение и т. п.; очевидно, что в вышеприведенной схеме причинно-следственное соотношение между r_y и a_y совсем не удалось установить. Вместе с тем, однако, историк констатирует, что R зависит не от одного только A , но и от N , причем строит такую комбинацию $[A, N]$ в отношении к уже данному в действительности результату R .



Итак, этиологическое исследование начинается с R ; от него историк последовательно восходит к $[A, N]$, поскольку и R , и $[A, N]$ — его понятия, разлагаемые на их элементы; а затем он снова идет от $[A, N]$ к R , что и объясняет ему причинно-следственную зависимость между $[A, N]$ и R . Такое построение, разумеется, далеко не всегда удастся сделать в полной мере.

Всякое историческое объяснение и состоит в том, чтобы возможно далее проследить историческую связь последующего факта с предшествующим, последнего с его предшествующим и т. д., пока историк не дойдет до первоначального факта, который принимается в качестве данного без объяснения его влиянием какого-либо предшествующего факта.

¹⁷⁷ Rickert H. Geschichtsphilosophie. S. 73.

Для наглядной иллюстрации вышеуказанного хода мыслей возьмем несколько частных примеров, при разборе которых будет высказано и несколько дополнительных замечаний касательно существа дела.

Открытия, представляющиеся с первого взгляда актами индивидуального творчества, тем не менее могут подлежать некоторому объяснению. Открытие закона тяготения, например, сделано в сущности последовательными работами двух рядов ученых: «система небесной геометрии» была создана Коперником, Тихо-Браге, Кеплером и Ньютоном, а математическая теория движения, впоследствии приложенная и к движению небесных тел, — Галилеем, Гюйгенсом и Ньютоном. Оба ряда работ привели Ньютона к открытию закона тяготения, но при изучении истории открытия закона тяготения, очевидно, нельзя не принять в расчет самого Ньютона; между тем Ньютона как Ньютона, во всей полноте его творческой индивидуальности, конечно, нельзя логически вывести из вышеуказанных отдельно взятых рядов. Таким образом, при разложении понятия о полученном им результате (т. е. закона тяготения) историк замечает, что он включает в себя два понятия: систему небесной геометрии и математическую теорию движения и что оба понятия встретились и взаимно оплодотворили друг друга в творческом уме Ньютона. Аналогичное рассуждение можно применить и к другим проявлениям творческой мысли человека. Большинство сложных изобретений имели свою длинную историю, в созидании которой многие участвовали. Автор истории паровой машины (R. Thurston) пришел, например, к следующему заключению: «Великие изобретения никогда не являются созданием одного человека, они — результат накопленных усилий целого ряда работников». Обыкновенная машина не есть результат размышлений одного человека, многие исследователи содействовали ее построению, каждый из них приносил свой камень для постройки общего здания, например, Frey, Dufay, Wilke, Canton, Franklin; но каждый из них являлся творческой индивидуальностью, комбинировавшею предшествующие течения мысли; ее, значит, также надо принимать во внимание при объяснении уже данного в действительности результата.

Возьмем еще один пример из другой области; положим, что историк встречается с фактом Декларации прав человека и гражданина, сделанной французским Учредительным собранием 26 августа 1789 г. (дальнейшие ссылки — на §§ Декларации). Для объяснения факта Декларации историк исходит из нее как из данного факта; он подвергает свое понятие о нем анализу и добытые таким образом элементы старается поставить в связь с соответствующими элементами

своего понятия о той сложной совокупности факторов, которая породила Декларацию. Историк обращает внимание, например, на наиболее общие черты, характеризующие Декларацию, — на ее рационализм и естественно-правовую конструкцию (§ 2 и др.), на ее индивидуализм и эгалитаризм (§ 1, 2, 7, 17), на выдвинутое ею понятие о народном суверенитете и теорию «общей воли» (§ 3, 6 и др.), а отчасти также на упоминаемое в ней учение о представительстве (§ 6) и о разделении властей (§ 16). Перечисленные общие элементы он пытается поставить в связь с такими же факторами, объясняющими их наличие в Декларации, например, с картезианской философией, с взглядами и деятельностью «философов века Просвещения», с появлением известной французской энциклопедии и т. п., с распространением учений Гроция, Локка, Руссо и других о естественном праве среди французского общества, с увлечением многих из его членов известными политическими теориями Монтескье, Руссо, Мабли и других писателей и т. п. Нельзя, однако, признать такое объяснение факта Декларации достаточным; историк должен принять во внимание и более частные его особенности; он должен объяснить, почему данный факт произошел именно во Франции XVIII в., а не в другой стране и в другое время; кроме некоторых из указанных выше обстоятельств, он замечает, например, что сама Декларация говорит о «презрении прав человека» (в связи с «незнанием» и «забвением» их) как о причине «общественных бедствий и порчи правительств»; это утверждение он ставит в связь с социальным и политическим строем «старого режима» и с признанием Декларацией права человека «сопротивляться угнетению» (§ 2); вместе с тем он принимает в расчет и то влияние, которое недавно возникшая американская конституция, частные «declarations of rights» и проч. оказывали на французов того времени. Тем не менее и такого объяснения будет еще недостаточно для понимания того, почему Декларация состоялась именно в данном месте и в данный момент французской жизни XVIII в.: для полного его исторического понимания историку нужно еще будет выяснить, каким образом все вышеуказанные факторы реализовались в данном месте и в данное время, т. е. каким образом они в совокупности встретились с людьми, реально синтезировавшими их в себе, что и повело к самому факту Декларации. С такой точки зрения историк припоминает, например, что Париж был центром Франции, в котором вся политическая жизнь страны была сосредоточена, что некоторые указы 1789 г. требовали провозглашения Декларации, что определенные члены собрания — Сийес, составитель проекта декларации, Лафайэт, увлекавшийся декларацией 1776 г. — и другие встречались в Национальном собрании,

произносили там речи или участвовали в прениях; словом, что они способствовали осуществлению того самого факта, который называется Декларацией прав человека и гражданина, и т. п. И только после такого исследования, дальнейшие подробности которого можно оставить здесь без рассмотрения, объявление ее в французском Учредительном собрании 26 августа 1789 г. станет понятным для историка.

Таким образом, при объяснении исторической связи историк исходит из конкретного факта, интересующего его ввиду его исторического значения, и от него восходит к той конкретной совокупности условий и обстоятельств, которыми в такой именно комбинации он затем и объясняет уже данный в действительности результат, т. е. тот самый индивидуальный факт, который его интересует.

Следует заметить, однако, что вышеуказанная операция, состоящая в расчленении наших понятий о сложном комплексе причин и элементов результата для того, чтобы по возможности усмотреть законосообразность связи между порознь взятыми причинно-следственными отношениями, не может еще удовлетворить идеографическое понимание действительности: выясняя генезис явления, т. е. то, каким образом данный факт возник, почему он оказался на данном месте и появился в данное время, она еще не дает построения данного факта в его конкретности; а без такого построения нельзя рассуждать и о влиянии его в его целостности на окружающую его действительность; лишь благодаря научному построению факта в его целостности, а не одному только объяснению его с точки зрения причинно-следственной связи, можно достигнуть понимания его влияния на данный процесс, его последствий и его «исторического» значения для данного целого.

В самом деле, сколько ни разлагать факт на составные его элементы, путем такого анализа нельзя еще установить его в его целостности. Как бы ни был совершен, например, исторический анализ «Сикстинской Мадонны», как бы ни объясняли ее возникновение из общих условий культуры того времени, в частности из религиозного настроения рафаэлевской эпохи и самого Рафаэля, из художественной школы, к которой он принадлежал, из его художественного развития и т. д., все же такой анализ не заменить «Сикстинской Мадонны» в ее целостности, да и не объяснить того влияния, которое она именно в ее целостности оказывает на зрителя.

Как бы совершенно ни были объяснены причины, вызвавшие сражения при Марафоне или при Ватерлоо, эти факты должны быть приняты во внимание в их целостности, поскольку один оказал влияние на последующее возвышение Афин и на развитие античной гре-

ческой культуры, а другой повлиял на образование германской империи и породил другие политические последствия. Следует также заметить, что и практически, обыкновенно, нет возможности в полной мере провести такой анализ до конца и получить чисто научный синтез добытых элементов.

Таким образом, при изучении действительности историк не может ограничиться ее разложением: для воспроизведения ее в ее целостности, поскольку последнее имеет историческое значение, историк должен научно построить ее путем синтеза, совершаемого с известной, критически установленной точки зрения и зависящего от данности в действительности того, по отношению к чему он проводится. Поскольку задача исторической науки состоит в научном построении действительности, историк не может ограничиться тем, что он исходит из действительности и путем анализа разлагает ее на те составные элементы, из которых она образовалась; историк не только исходит из действительности, но он стремится возвратиться к ней: разложив ее на элементы, он пытается представить их себе в известном синтезе.

Понятие об исторической связи между смежными фактами уже дает, однако, возможность проводить такой синтез, т. е. объединять множество представлений о разрозненных элементах действительности.

В самом деле, сложная совокупность многих условий и обстоятельств получает некоторое единство в отношении к уже данному в действительности конкретному результату; но даже если рассматривать последний как своего рода «случайный взрыв», все же можно изучать его последствия: в отношении к нему совокупность их также получает некоторое единство.

Вообще для того, чтобы с исторической точки зрения рассуждать о встрече двух или нескольких причинно-следственных рядов и о последующем влиянии ее на них, нужно признать реальность такой встречи; значит, надобно, чтобы она предварительно реализовалась в действительности, т. е. в данном индивидууме или в данном «событии». В только что указанном смысле значение индивидуума состоит в том, что он является реализацией элементов «встречи», признаваемых нами за действительность. В сущности, можно уже самый индивидуум назвать своего рода событием, поскольку каждый индивидуум представляется нашему разуму относительно случайной встречей множества причинно-следственных рядов, реальным центром скрещивания между собой нескольких серий, каждая из которых может быть построена согласно закону в причинно-следственном смысле. Мало того, благодаря своему волевому воздействию на внешний мир (ср. выше) личность может соединить воедино данные, но разрознен-

ные условия и, таким образом породив их встречу, вызвать новое событие, которое в свою очередь может повести к новым результатам. В таком смысле, например, Юлий Цезарь, Лютер, Петр Великий, Наполеон оказывали влияние на ход истории. Люди, даже те, которые называются «великими», правда, реализуют в себе в значительной степени лишь синтез уже данных социальных сил; но подбор социальных сил, да и самый синтез их может быть проведен весьма различными способами; пользование того, а не иного из них в действительности зависит от той индивидуальности, в которой он получит осуществление; сама индивидуальность в качестве таковой обладает ей одной присущими свойствами; введенная в совокупность данных условий, она содействует образованию того синтеза, который происходит чрез ее посредство и благодаря ей.

В качестве иллюстрации к положению, высказанному выше, возьмем несколько примеров из истории наук. Все условия и факторы синтезируются в акте индивидуального творчества, привносящего от себя нечто новое, объединяющее и оживотворяющее их совокупность. В действительности факторы производят данный результат все вместе, а не каждый порознь; реальный синтез их получается в индивидуальности, или точнее, в самом акте индивидуального творчества. Всякая научная теория, открытие или изобретение может возникнуть лишь путем индивидуального научного творчества; нельзя учесть все факторы последнего, если не иметь научного, т. е. вполне точного, понятия о данном и едином мировом целом; нельзя, например, логически вывести Ньютона из окружавшей его среды; да если бы и можно было это сделать, нельзя было бы не говорить о Ньюtone; фактически приходится считаться с индивидуальностью Ньютона и признавать индивидуальность его научного творчества. Само собою разумеется, что чем выше индивидуальное творчество, тем менее оно зависит от обстоятельств и тем больше масса нуждается в нем, а не оно в ней. Нельзя, например, заменить Дарвина некоторым количеством второстепенных естествоиспытателей; из суммы их индивидуальных творчеств мы не получим индивидуального творчества Дарвина, ибо индивидуальности не экземпляры, которые поддаются подсчету, а сама индивидуальность не есть простая сумма элементов; последняя не даст еще единичной комбинации, известной нам из истории. Данная индивидуальность и проистекающий из ее существа акт научного творчества есть факт, данный в действительности; некоторые из его элементов, раз он дан, можно объяснить и вывести из окружающих условий; общие последствия такого факта можно также предвидеть, если иметь понятие о свойствах среды, в которой он имел место; но

историк не может предсказать появление в данный момент и в данном месте данной, именно этой, а не иной ученой индивидуальности или данного ее акта индивидуального научного творчества, а значит, и его последствий в данном месте и в данный момент. Существо вышеизложенного рассуждения не изменится, если применить его не к гениальным ученым, а к средним людям науки: правда, в посредственном ученом всегда больше элементов, общих у него с другими посредственными учеными, но комбинация всех элементов, представляемая данной личностью, фактически все же остается единственной в своем роде. Заметим еще, что индивидуальное творчество обнаруживается уже в той именно комбинации, для которой ученый из массы элементов проводит выбор некоторых из них; эта масса все возрастает; тем больше творчества нужно в самом выборе их; и тут есть творчество, только характер и направление его изменились. Если, однако, в истории науки индивидуальное творчество всегда будет иметь значение и логическое раскрытие существа ее в действительности будет зависеть от такого творчества, то и наука должна будет иметь свое реальное, а не одно только логическое развитие, причем реальное ее развитие далеко не всегда будет совпадать с логическим уже потому одному, что оно будет зависеть от всех «случайностей», которым подвергнуто индивидуальное его осуществление.

В аналогичном смысле можно рассуждать и о целых народах, поскольку они в известном месте и в известное время выступали деятелями в истории: например, о греках (в частности, афинянах) в эпоху греко-персидских войн, о французах в эпоху великой революции и т. п.

Историку приходится, однако, обыкновенно иметь дело не с относительно случайной встречей обстоятельств, поскольку она стоит в связи с появлением данной индивидуальности, или встречей данных обстоятельств с данной индивидуальностью, а с встречей нескольких данных индивидуальностей (или, точнее, их действий), что он и называет событием в более узком, историческом смысле слова; под «событием» можно, следовательно, разуметь индивидуальное понятие, объединяющее множество представлений о разнородных фактах, образующих конкретное сцепление, в состав которого входит встреча последнего рода, причем совокупность их действительно дана и действительно влияет (или влияла) на ход развития человечества; поскольку такая совокупность представляется нашему разуму данной и, значит, относительно случайной, она и называется событием в узком смысле слова.

Итак, синтетическое построение действительности прежде всего сводится к установлению реализации встречи данных элементов

в данной индивидуальности (личности, событии). Подобно индивидуальности, и «событие» в качестве такового может оказывать влияние на дальнейший ход истории, т. е. на последующее развитие каждой из тех серий, которые сплелись в нем. Данное событие, например переселение, открытие или изобретение, война, революция, влияет на людей: они все вместе подвергаются влиянию такого события; оно становится общей причиной перемен, происходящих в специальных эволюциях разнородных серий явлений, и становится как бы связывающим их узлом. Изобретение паровой машины, например, оказало влияние на развитие хозяйства (применение ее в разных отраслях фабричной промышленности, быстрое обращение товаров и проч.), на развитие просвещения (легкое передвижение и общение людей друг с другом, распространение известий, корреспонденции и проч.), на политическое развитие (стратегическое значение железных дорог и т. п.); французская революция оказала влияние на подъем национального духа французов (ср. войны из-за «естественных границ»), на социально-политический строй (а в связи с ним и на некоторые другие стороны культуры) во Франции, на территориальные захваты, произведенные некоторыми другими державами во время революционных войн, на последующую историю их политики и т. д.

«Всеобщая» история и занимается главным образом изучением событий, оказавших влияние на развитие человечества, и его результатами. С указанной точки зрения «политическая» история получает особого рода смысл: ведь она стремится выяснить значение воздействия индивидуумов на общий ход развития и событий, отразившихся на жизни всех людей (данной группы, народа, человечества), и на разных проявлениях их жизни, т. е. событий, касавшихся массы населения и видоизменивших ее жизнь.

Таким образом, понятие об исторической связи между смежными фактами уже служит для объединения наших представлений о действительности; вместе с тем оно в сущности лежит в основе понятия о непрерывности исторического процесса: помимо взаимозависимости фактов между собою в данном состоянии культуры, историк получает возможность пользоваться им для установления непрерывной связи между фактами, следующими во времени; лишь принимая во внимание историческую связь между индивидуальными событиями и развитием культуры, можно представить себе непрерывную цепь соотношений, в противном случае между ее звеньями оказывается разрыв, который остается реально не заполненным. Такая связь часто обнаруживается, например, между историей учреждений и событиями «внешней истории»; случаи подобного рода можно припом-

нить и из древней, и из новой истории. По словам одного из древних мыслителей-политиков, «Саламинская победа, виновником которой был народ, служивший на кораблях, доставила Афинам гегемонию и вместе с развитием морского могущества государства усилила в нем демократический элемент»; и наоборот, «в Аргосе знатные граждане, прославившись битвой с Лакедемонянами при Мантинее, тотчас приступили к ослаблению национальной демократии» и т. п.; или история французских политических учреждений времени революции не может быть надлежащим образом построена в виде непрерывного процесса, если не принять во внимание влияние на них европейской коалиции и т. п.¹⁷⁸ Итак, не пользуясь понятием об исторической связи в вышеуказанном смысле, историк не может установить и понятие о непрерывности исторического процесса; но понятие об исторической связи получает еще более широкое значение для объединения исторических данных при комбинации его с понятием об историческом целом.

§4. Понятие об историческом целом

Нельзя достигнуть научно-исторического построения конкретной действительности путем одного только ее объяснения с точки зрения исторической связи между смежными ее элементами. Хотя такое объяснение есть уже своего рода построение, объединяющее наше знание о ней, но оно еще не дает возможности охватить ее во всей ее целостности, т. е. по возможности достигнуть того предела, к которому идеографическое знание стремится, а не от которого оно удаляется, подобно номотетическому; для того чтобы приблизиться к такому пределу, историк пытается образовать понятие о целом: он признает, что каждый отдельно взятый исторический объект входит в одно целое вместе с другими такими же объектами и что каждый из них тем самым определяется в своей индивидуальности как незаменимая часть целого.

В сущности понятие о целом, т. е. о некотором реальном единстве многообразия, тесно связано с понятием об индивидуальном: ведь своеобразное целое есть уже нечто индивидуальное, а с исторической точки зрения в узком смысле слова его единство существует лишь в данной индивидуальности, в субъекте консенсуса или эволюции; он полагает себе цель, общую для всех по своему значению, обладает общей волей и самоопределяется в объединенной деятельности членов целого; но такое понятие все же получает особого рода смысл,

¹⁷⁸ Aristot. Pol., I. VIII. C. 3; Aulard A. Op. cit. P. 170, 174, 177.

если рассматривать данное целое не в отношении его к другим целым, а в отношении его к своим частям, только в нем приобретающим полноту своего значения. С последней точки зрения можно рассуждать о том, в какой мере понятие о целом обуславливает собою понятие об индивидуальном характере его частей.

Предельное понятие о целом, т. е. о таком целом, которое уже не мыслится в качестве части другого, более обширного целого, заключает все эмпирически данные нам представления в качестве его частей; оно есть понятие о мировом целом; оно представляется нам целостною действительностью, части которой, однако, мы можем в свою очередь называть относительными целыми; мы называем их относительными в том смысле, что мы или не в силах довести объем нашего понятия до конечного предела и довольствуемся его частями в качестве своего рода целых, или ввиду цели данного исследования считаем возможным пренебречь значением данного комплекса в качестве части вселенной, а берем его в качестве целого. Наша Солнечная система, например, есть целое в отношении к образующим ее планетам; человечество есть целое в отношении к составляющим его народам и т. п. С такой точки зрения чем часть дробнее и чем она менее рассматривается в отношении к целому, тем она оказывается более отвлеченной, и можно сказать, что отдельно взятый индивидуум есть абстракция. В исторической действительности (понимая ее в узком смысле), например, каждый индивидуум (поскольку он признается именно индивидуумом) есть часть некоего целого: он житель данной страны, член семьи, общества, государства, человечества. То же самое можно сказать и про событие; и оно представляется нам в полноте его реальности, лишь если вставить его в действительность, частью которой оно оказывается.

Выше мы, правда, признали как бы некоторую общность между историческими объектами данной реальной совокупности, поскольку все они входят в состав ее одной; с такой точки зрения можно было бы заметить, что включение индивидуальности в данное целое грозит уничтожением ее особенностей; но тут следует различать отношение между экземпляром и общим понятием от отношения между частью и целым, ее обнимающим. Смешение между такими отношениями ведет к ошибке, известной в логике под названием *quaternio terminorum*. В самом деле, представление о каждом экземпляре, мыслимом независимо от остальных, субсумируется под общее понятие об их совокупности, тогда как каждая из частей данного целого в своем реальном положении зависит также от остальных и занимает определенное место в данном целом; из того, что историк вставляет индивидуальный

объект в качестве части целого в такое целое, также индивидуальное, вовсе не следует, что он подчиняет представление об этом индивидуальном объекте общему понятию; историк не выделяет мысленно свойства или процессы изучаемых им объектов, а напротив, рассматривает последние как индивидуальные части данного целого; каждая из них становится именно частью данного целого лишь в той мере, в какой она незаменима другой, и следовательно, получает в нем свое индивидуальное значение.

Легко было бы, конечно, возразить, что едва ли каждый индивидуум имеет настолько значения в обществе, чтобы быть признанным особою самостоятельную частью этого общества как целого; но такое возражение, в сущности, касается не формальных признаков понятия о части, а только его содержания. Действительно, в понятие части можно включать группу из нескольких индивидуумов, приблизительно одинаковых по своему значению для данного целого. Тем не менее, сравнивая «группу» с тем целым, в состав которого она входит, историк придает понятию о ней индивидуальный характер; он пользуется относительно общим содержанием своего понятия о группе только для того, чтобы представить индивидуальный характер данной группы, отличающий ее от остальных групп как частей данного целого.

Вообще можно сказать, что идеографическое объединение нашего знания стоит в тесной связи с его индивидуализированием: составной элемент данного целого мы признаем частию его с тем большим основанием, чем в меньшей мере можно заменить его другим элементом, т. е. чем в большей степени он обладает индивидуальным характером.

С такой точки зрения историк, например, может изучать все (культурное) человечество как единственное в своем роде целое, частями которого он признает отдельные (исторические) народы; данный народ — государство с его культурой, общественными слоями, провинциями, городами и т. п., каждый или каждая из которых представляется ему частью данного целого; или данный город, в индивидуальном облике которого он также различает отдельные его части и т. п. Впрочем, то же самое можно сказать и об эволюционных сериях. Каждая из исторических серий представляется историку в виде части единой эволюции человечества и в таком смысле также получает наибольшее значение при наибольшей степени ее индивидуализации как части, не заменимой никакой другой частью данной эволюции.

На основании только что сделанных замечаний естественно придти к заключению, что под «целым» можно разуметь два разных понятия: за отсутствием лучших терминов я назову одно коэкзистенциальным целым, а другое — эволюционным целым. Под понятием о ко-

экзистенциальном целом я разумею такое понятие, которое строится с статической точки зрения: оно относится к устойчивой системе элементов, каждый из которых занимает определенное положение в пространстве, т. е. место в топографических пределах данного целого. Под понятием об эволюционном целом я разумею такое понятие, которое строится с динамической точки зрения; оно относится к последовательной смене элементов, каждый из которых занимает определенное положение во времени, т. е. момент в хронологических пределах данного целого. Реальное соотношение частей в каждом из таких целых понимается различно. Положим, что некое целое S имеет значение S_k в качестве коэкзистенциального целого и значение S_e в качестве эволюционного целого; и что $S_k = \Sigma_k (A, B, C, D...)$ и $S_e = \Sigma_e (A, B, C, D...)$. Тогда объяснение реального соотношения $A, B, C, D...$ в S_k и S_e будет разным: в S_k элементы $A, B, C, D...$ как данные мыслятся независимо друг от друга; в S_e те же элементы мыслятся, напротив, в необратимой зависимости друг от друга. В S_k достаточно выяснить причины, вызывающие $A, B, C, D...$ порознь, а также взаимное влияние A на $B, C, D...$, B на $A, C, D...$ и т. п. и обратно $(S_k - A)$ на A , $(S_k - B)$ на B и т. д. Здесь хотя $A, B, C, D...$ приводятся в зависимость друг от друга, но поскольку каждый из них мыслится независимо друг от друга, и зависимость их обратима. В S_e соотношение элементов иное. Здесь в числе причин, вызвавших B , приходится иметь в виду и предшествовавшее ему во времени A ; в числе причин, вызвавших C , предшествовавшие ему во времени B , а может быть, и A и т. д.; таким образом, элементы системы S_e , предшествующие данному, могут влиять на него, что ведет к изучению зависимости между B и $[S_e - (B, C, D...)]$, между C и $[S_e - (C, D...)]$ и т. п.¹⁷⁹ Достаточно принять во внимание только что указанное различие между коэкзистенциальным целым S_k и эволюционным целым S_e , чтобы прийти к заключению, что изучение реального соотношения между частью и целым будет различным, смотря по тому, какое значение приписывать самому целому: строить его в виде коэкзистенциального или эволюционного целого.

При образовании понятий об одном из таких целых историк пользуется, конечно, вышерассмотренными принципами консенсуса и эволюции, но с идеографической, а не с номотетической точки зрения¹⁸⁰:

¹⁷⁹ См. выше, с. 104–110 и 219.

¹⁸⁰ *Pascal B. Pensées*, éd. 1843. P. 68: «Toute la suite des hommes, pendant le cours de tant de siècles, doit être considérée comme un même homme qui subsiste toujours et apprend continuellement»; о разных понятиях исторического развития см. еще *Rickert H. Grenzen*. S. 436–480 и 281.

он не упускает из виду ни понятия о субъекте, ни понятия об индивидуальной целостности консенсуса или эволюции, благодаря которым совокупность элементов каждого из них и получает наибольшее свое единство и значение, а понятие о ней – наилучшее приложение к построению исторической действительности; впрочем, интерес собственно исторического построения сосредоточивается, главным образом, на установлении понятия об эволюционном целом.

Понятие об эволюционном целом, разумеется, находится в тесной связи с понятием о развитии; как указано было выше, последнее конструируется не без помощи телеологического принципа, но только в регулятивном его значении.

В самом деле, понятие о развитии строится ученым под условием понятия о некоем телеологическом единстве; в его формальном значении оно оказывается и для историка логическим *præius*, под условием которого он устанавливает причинно-следственную связь между звеньями и располагает их в необратимый ряд; части этого целого он представляет себе в качестве причинно-связанных между собою и непрерывно сменяющихся во времени стадий данного процесса, как бы направленного к осуществлению известной цели; с собственно исторической точки зрения он признает, однако, такой данный в действительности процесс единичным и единственным в своем роде.

Понятие о развитии, как видно, связывается с понятием об общем направлении, или «общей тенденции», которая в нем предполагается, всякий ряд представляет известную планомерность; значит, между его звеньями можно установить нечто общее, поскольку данная тенденция обнаруживается в них и как бы сводится к достижению некоего общего результата; тем не менее в историческом развитии каждая из таких стадий сохраняет свое индивидуальное значение, поскольку она в ее реальном отношении к целому не заменима никакой другой и способствует реализации в регулятивном смысле приписываемой ему цели.

Общее понятие о развитии можно, конечно, вообще прилагать к действительности, поскольку она изменяется; но понятие об индивидуальном историческом развитии уже содержит понятие о фактах с историческим значением; кроме того, такое развитие само представляется историку ценным, поскольку он относит его цель к ценности, а значит, и процессу ее реализации также придает историческое значение.

Понятие об историческом развитии, например о развитии человечества, служит историку для объединения своего знания об отдельных фактах (хотя и не для обобщения их); изучая, каким образом то, что есть, стало именно тем, что оно есть, он размещает факты по их

историческому значению и в их реальной связи в данном эволюционном целом; но он может понимать историческую эволюцию и в качестве целого, в состав которого частные эволюции входят в виде частей; тогда последние представляются ему как бы продольными разрезами или нитями, из которых сплелась общая эволюция. С такой точки зрения историк может изучать, например, историю религии, историю хозяйства, историю учреждений и т. п., хотя и знает, что ни одна из таких «историй» сама по себе, отдельно от других не существует в действительности. Понятие о частной эволюции, иногда называемое «исторической серией», служит для таких же познавательных целей, как и понятие об общей эволюции человечества (или данной общественной группы и т. п.), но, разумеется, применительно к более узкой области исторического материала.

В таких рассуждениях, однако, легко преступить границы, за которыми теоретико-познавательное построение превращается в метафизическое: гипостазируя цель исторического развития, историк уже признает ее объективно данной в действительности ценностью. Впрочем, понятие о прогрессе образуется не без некоторого субъективизма и в том случае, если оно связывается с понятием о непрерывном возрастании ценности; придерживаясь такого понимания, историк, в сущности, забывает об эволюционном целом, состоящем из частей, и обезличивает стадии эволюции: он придает им значение одних только средств для достижения ценного результата и считает каждую последующую стадию более ценной, чем предшествующую, так как она по времени своего возникновения ближе к конечной цели, и т. п. Понятие о регрессе, построенное с такой же субъективной, но соответственно обратной точки зрения, вызывает те же замечания. В зависимости от степени субъективности избранного историком критерия оценки значение таких понятий о непрерывном совершенствовании или упадке, улучшении или ухудшении для объединения исторических фактов в серии, конечно, уменьшается: оно может оказаться совсем непригодным для научного построения исторической действительности.

На основании вышеприведенных соображений можно придти к заключению, что историк интересуется главным образом не индивидуальным, самым по себе взятым, а индивидуальным как целым или индивидуальным как частью: историк в узком смысле слова сосредоточивает свое внимание лишь на той части мирового целого, которую мы называем человечеством, и преимущественно изучает ее в качестве относительного эволюционного целого, выясняя, какое именно реальное значение каждая его часть имела или имеет в историческом процессе его образования.

В таких построениях историк заменяет обобщающее понятие о законе объединяющим понятием об историческом развитии, хотя бы оно было понятием о единичном и единственном в своем роде процессе (например, о развитии человечества). С эволюционной точки зрения он, конечно, в состоянии будет указать на то общее направление, которое примут факты, но он не может говорить о его реализации в действительности (т. е. именно об истории осуществления такого направления) прежде, чем факты действительно не наступят, и прежде, чем предполагаемое общее направление, которое без них будет голой схемой, не осуществится в действительности.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КРИТИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

В предшествующем отделе я попытался систематически изложить то построение теории исторического знания, которое получается, если придерживаться идеографической точки зрения; мне казалось желательным развить систему основных ее принципов в том виде, в каком я понимаю их, не стесняя себя ни изложением одного какого-либо построения, предложенного данным мыслителем, ни критикой его выводов. Теперь не мешает, однако, войти в рассмотрение некоторых отдельных положений, вызывающих разногласие даже среди самих приверженцев идеографического построения истории.

Сами основатели разбираемой теории, например, слишком мало обращают внимания на то общее, что оказывается между знанием в номотетическом смысле и знанием в идеографическом смысле. Выше мне уже пришлось заметить, что научное знание стремится к объединению разрозненных эмпирических данных и что такая задача должна быть общей для обоих видов нашего знания, хотя и достигается нами разными путями. Приверженцы идеографического направления, однако, слишком увлекшись логическим противоположением «естествознания» истории, преимущественно настаивают на различии тех познавательных задач и точек зрения, с которых такое объединение проводится.

В теории задача, преследуемая научным знанием вообще и общая обеим его областям, остается в тени, что уже дает не совсем правильное понимание собственно идеографического построения: увлечение тем же противоположением оттесняет на задний план и ту объединительную функцию, которую история должна отправлять с идеографической точки зрения, а пренебрежение ею ведет и к дальнейшим последствиям.

В самом деле, если история в идеографическом смысле объединяет наше знание о действительности, то поскольку она научно строит не только целое, но и реальное соотношение между частью и целым, она должна представлять себе последнее в виде такой индивидуальности, которая вместе с тем состоит из частей; историк, значит, должен научно устанавливать их значение для индивидуального целого, принимаемого им в качестве данного. С последней точки зрения, если бы историк стал рассматривать хотя бы весь мир или весь мировой процесс как данное индивидуальное целое, он должен был бы признать своей задачей в самом широком смысле слова и изучение реального соотношения между частями и таким целым; само собою разумеется, что ту же точку зрения он может применять и к более узкому содержанию, например, к истории человечества и т. п.

В только что указанном, чисто формальном смысле все же можно, пожалуй, сказать, что история занимается изучением «индивидуального»: ведь связь между частями и целым в известном смысле также признается «индивидуальным». Не следует забывать, однако, что упуская из виду объединительную функцию исторического знания, легко придать понятию «индивидуального» гораздо более узкое значение, отчасти уже поставленное в зависимость от его содержания; под индивидуальным в последнем смысле можно разуметь конкретно данные в действительности индивидуальности, т. е. личности и события; но уже на основании вышеприведенных соображений естественно прийти к заключению, что, за исключением разве предельного случая, нельзя ограничивать область истории изучением таких «индивидуальностей» (т. е. личностей и событий), отдельно взятых, вне их отношения к данному целому. Вышеприведенные соображения, однако, не всегда достаточно принимаются во внимание приверженцами идеографической теории; напротив, они слишком мало настаивают на том, что само целое представляется историку такою индивидуальностью, которая мыслится в качестве состоящего из частей целого, и что с последней точки зрения задача истории-науки и состоит в объяснении того реально-индивидуального отношения, которое обнаруживается между частями и данным историческим целым.

В связи с только что приведенными рассуждениями можно рассмотреть и другое положение основателей теории: в задачу истории-науки они включают «изображение единичного», или «изображение индивидуального» и т. п.; но мне не раз приходилось уже указывать на то, что история-наука занимается прежде всего научным построением конкретной действительности, а не ее «изображением». Научное ее построение обнаруживается, например, и в установлении ис-

торического значения фактов, и в аналитическом изучении ее с точки зрения причинно-следственной связи, и в синтетической ее конструкции, хотя бы, положим, в образовании понятия об историческом целом. Итак, лучше отличать научно-историческое построение от изображения действительности, легко смешиваемого с художественным воспроизведением ее с чисто эстетической точки зрения.

В сущности, сводя понятия о требованиях сознания вообще и о системе абсолютных ценностей в области исторических построений к понятию об этической ценности, основатели идеографической теории полагают, что самое установление системы абсолютных ценностей не входит в специально-историческое изучение, что историк исходит из «данного ему» (и значит, не чисто личного) «интереса» к той действительности, которую он изучает, и что самый процесс ее изучения проводится путем научно-исторического метода, который (в специально-научном его значении) можно применять к какому угодно объекту; следовательно, историк может выбрать его и путем отнесения его к одной только общепризнанной ценности, объективно данной ему в опыте. Такое положение, однако, нисколько не устраняет необходимости и для того, кто занимается исторической работой, сознательно различать отнесение данного объекта к обоснованной ценности от отнесения его к ценности общепризнанной, а не довольствоваться лишь простою интуицией. Ведь в случае отнесения объекта к ценности без ее обоснования историк будет признавать общепризнанную ценность только фактом, критерий выбора которого нельзя почерпнуть из него самого; такой факт можно подвергать лишь «психологическому анализу». Итак, вышеприведенная конструкция в сущности предполагает опознание со стороны историка абсолютных ценностей, с точки зрения которых он мог бы обосновать ценность общепризнанную. Слишком мало останавливаясь на выяснении этой связи, представители разбираемого направления так же мало обращают внимание и на совпадение между отнесением к обоснованной ценности и отнесением к общепризнанной ценности.

Недостаточно оттеняя только что указанное положение, основатели идеографической теории также пренебрегают различием между всеобщим значением данной индивидуальности (личности, события) и ее историческим значением; последнее связано с вышеуказанным понятием о действительности индивидуального и, значит, с понятиями о численности и о длительности его последствий. История действительно должна считаться с индивидуальным; она должна научно построить его, т. е. объяснить, каким образом из общего возникло частное; но историк не может остановиться на такой стадии своей ра-

боты. Индивидуальное получает историческое значение в его глазах, поскольку оно становится «общим достоянием», следовательно, поскольку оно отпечатлевается, или повторяется, в других индивидуумах. И чем число таких повторений больше, тем и «всеобщее значение» факта, уже за ним признанное, становится важнее (в положительном или отрицательном смысле) и в историческом отношении. Таким образом, с точки зрения действительности индивидуального следует признать, что объективный признак общего значения данного конкретного факта, отнесенного к ценности, состоит в общем содержании данной общественной группы, поскольку оно характеризуется именно этим фактом.

Вообще, несколько упуская из виду понятия о численности и длительности последствий, основатели идеографической теории не могут отметить и связь между этими понятиями и понятиями о консенсусе и об эволюции; они также едва ли достаточно заботятся о том, чтобы в понятие свое об историческом развитии включить понятие об историческом значении звеньев данного необратимого эволюционного ряда, мыслимых как части одного эволюционного целого, да и слишком мало останавливаются на выяснении того, каким образом понятие о человеческом развитии конструируется в зависимости от такого именно его значения.

При оценке разбираемой теории следует еще иметь в виду, что она мало интересуется свойствами объектов, изучаемых историей. В самом деле, с чисто логической точки зрения, из нашего научного знания легко выделить целую группу исторических наук, занимающихся изучением конкретно данной действительности; но с такой точки зрения, в противоположность «естествознанию», включающему и психологию, и социологию, к группе исторических наук придется причислить, например, и геологию, и историю культуры. Деление наук, проводимое с указанной точки зрения, вовсе не считается со свойствами изучаемого объекта: принимая его во внимание, можно сказать, однако, что социология, например, все же ближе к истории, чем геология, и т. п.; геолог может свободно игнорировать принцип чужого одушевления; социолог и историк, напротив, исходят из такого принципа в своих построениях, что обуславливает и сходство в некоторых методах их исследования; геолог пользуется исключительно законами физики (в широком смысле), а социолог и историк — в значительной степени законами психики для научного построения действительности.

Такие перекрестные соотношения часто слишком мало принимаются во внимание основателями идеографического построения: резко различая «естествознание» от исторической науки, они забы-

вают, что некоторые отрасли «естествознания» пользуются принципами, общими с теми, которые употребляются историками, не говоря о том, что вышеуказанная терминология («естествознание» и «история-наука») представляется во многих отношениях искусственной.

Ввиду только что указанного перекрестного соотношения между науками, изучающими более или менее общие им объекты, логическое противоположение между общим и частным трудно осуществить на практике в полной его исключительности: ведь термины «естествознание» и «история» давно уже ассоциировались с фактическим содержанием сложившихся наук, каждая из которых фактически занимается частью обобщением, частью индивидуализированием и, значит, по своему содержанию не может быть резко противопоставлена другой, а характеризуется разве только преобладанием одной из таких точек зрения. Следовательно, принимая во внимание фактическое содержание наук, можно сказать, что история, подобно естествознанию, в сущности, может иметь дело с относительными обобщениями хотя бы потому, что историк, за отсутствием нужных ему относительно общих понятий, сам вырабатывает их применительно к изучаемым им объектам и в зависимости от тех именно познавательных целей, которые он преследует.

Понятие о процессе образования «группы», например, представляется историку относительно общим, поскольку он изучает возникновение ее путем установления общих между ее элементами черт хотя бы, например, в тех случаях, когда он следит за повторением в сознаниях индивидуумов данной группы одного и того же индивидуального факта, открытия, изобретения за его постепенным распространением в данной общественной среде и т. п.

Историк может также образовывать относительно общие понятия, поскольку он рассуждает о чем-то общем между частями одного и того же целого (коэксистенциального или эволюционного).

Следует иметь в виду, что такие же понятия с относительно общим содержанием историк может конструировать и с чисто эволюционной точки зрения. Трудно представить себе возможность построения эволюционного ряда, обыкновенно предполагающего известную степень отвлечения, без «закона» образования такого ряда (см. выше); каждое из звеньев его может отличаться от остальных, и тем не менее, в процессе образования их одного из другого должно оказаться нечто общее, некая «общая тенденция», обнаруживающаяся в данном ряде. Далее изучение совпадения логического построения некоторых рядов с объективно данной последовательностью исторических фактов (например, в истории наук) тоже может выяснить то общее, что

в данном ряде заключается, хотя бы он в действительности и был известен нам лишь по одному данному случаю. Наконец, самое понятие непрерывного развития данного ряда предполагает построение относительно общего понятия о повторяемости данного культурного фонда в целом ряде поколений.

Таким образом, фактически историк может сам вырабатывать и относительно общие исторические понятия. В логическом отношении сознательно различая номотетическую точку зрения от идеографической, он, конечно, не должен смешивать их, но в действительности он может соединять их в своей исторической работе. Само собою разумеется, что практические условия такой работы над сырым материалом (например, трата времени и сил, сопряженная с его изучением, совершенно раздельна с каждой из указанных точек зрения разными исследователями и т. п.) естественно приводят к тому, что один и тот же исследователь обрабатывает его и с номотетической, и с идеографической точки зрения.

Впрочем, теория исторического знания, построенная с идеографической точки зрения, ничего не имеет против такой фактической комбинации; но она не должна приводить к смешению двух принципиально разных точек зрения, с которых один и тот же ученый может изучать эмпирически данную ему действительность.

Примечание. Отдел третий — об объекте исторического познания (не читанный в нынешнем академическом году) — будет напечатан во втором выпуске курса.

ОТДЕЛ ТРЕТИЙ

ОБЪЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ¹⁸¹

С познавательной точки зрения, принятой выше, историк, интересующийся действительностью, может, конечно, приступать к изучению весьма разнообразных объектов: ведь он уже занимается историей, когда задается вопросом о том, каким образом нечто, данное в действительности, возникло в определенном месте и в определенное время.

¹⁸¹ Печатается по изданию: *Лаппо-Данилевский А. С.* Методология истории. Выпуск II. Часть 1–2. Пособие к лекциям, читанным студентам С.-Петербургского университета в 1910/11 году. СПб., 1913.

В указанном смысле свет, химический элемент, наша планетная система, земля, какой-либо естественноисторический вид, человечество и т. п. могут служить объектами исторического изучения. Все ли они, однако, в одной и той же мере заслуживают названия «исторических»? и не чувствует ли каждый из нас, что человечество можно назвать с большим основанием историческим объектом, чем, например, свет?

Действительно, историк, признающий «историческое значение» индивидуального, не может с одинаковым вниманием относиться ко всякого рода объектам и преимущественно интересуется историей человечества; благодаря вышеизложенному учению он может обосновать свое предпочтение: убежденный в том, что человеческая культура имеет особенно важное историческое значение, он ввиду последнего и изучает, главным образом, историю человечества.

Такое решение проблемы, в сущности уже вытекающее из предшествующих рассуждений, не дает, однако, достаточного понятия об объекте собственно исторического познания; для того чтобы выяснить его содержание, я попытаюсь наметить хотя бы в самых общих чертах характер явлений, изучаемых историком, и выделить из них факты, преимущественно интересующие его, а затем укажу и на главный объект исторической науки, включающий все остальные, т. е. на историю человечества.

ГЛАВА ПЕРВАЯ ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ЯВЛЕНИЙ, ИЗУЧАЕМЫХ ИСТОРИКОМ

При выяснении понятия об объекте исторического познания я буду исходить из представления о действительности, содержание которого каждый из нас строит из эмпирических данных. В том случае, когда я высказываю ассерторическое экзистенциальное суждение о построенном мною из таких данных содержании моего представления, я и рассуждаю о действительности. В самом деле, если я стану высказывать суждение только о действительном существовании своего представления, а не о действительном существовании его содержания, я должен буду иметь представление о своем представлении и приписывать действительное существование последнему; во всяком случае, в таком суждении я еще не буду утверждать действительное существование чего-либо, имеющего для меня объективно-реальное значение и «данного» моему сознанию, я не буду формулировать суждение о действительном существовании объекта внешнего мира; поскольку я испытываю свое представление, я, конечно, всегда имею основание утверждать его существование в моем сознании, но отсюда до утвер-

ждения действительного существования того, что именно я себе представляю, т. е. до утверждения действительного существования содержания моего представления, еще далеко; лишь обоснование такого утверждения ведет к правильному понятию о действительности.

Итак, для того чтобы признать, что данное представление обозначает действительность, я должен признать его содержание реально существующим; я должен иметь основание высказать относительно такого содержания экзистенциальное суждение, т. е. ассерторическое суждение, что оно действительно существует (или существовало). Следовательно, мое знание о действительности есть прежде всего обоснованное экзистенциальное суждение о содержании моего представления, т. е. о том именно, что в нем содержится.

С номотетической точки зрения, только что приведенная формула, однако, не может быть раскрыта до конца: придерживаясь ее, я принимаю во внимание реальное существование только общего содержания моего представления; но с идеографической точки зрения, я могу говорить о реальном существовании содержания своего представления в полной мере, не упуская из виду и его индивидуальных черт. В самом деле, утверждая реальное существование чего-либо, я, в сущности, всегда включаю в такое утверждение представление о существовании данного определенного конкретного содержания в данном месте и в данное время.

Какое именно содержание моего представления о действительности я, однако, должен признать реально существующим для того, чтобы назвать ее исторической?

Приступить к решению такой проблемы можно, лишь исходя из различия между бытием и быванием и несколько выяснив себе понятие об изменении.

В вышеуказанном широком смысле всякое бытие представляется мне действительностью: все то, о чем я имею основание говорить, что оно существует, я могу назвать действительным фактом; но можно употребить тот же термин, придавая ему более узкое значение, относя его не к бытию, а к быванию, не к тому, что пребывает, а к тому, что бывает, к тому, что происходит или случается в действительности.

В таком случае мое знание о действительности состоит в экзистенциальном суждении не о всяком содержании моего представления, а прежде всего о том его содержании, которое называется изменением.

Понятие об изменении можно формулировать следующим образом: в том случае, если я (на основании принципа тождества) отношу к одному и тому же объекту два различаемых мною (на основании принципа противоречия) содержания моего сознания и признаю

такие содержания объективно существующими и сменяющимися друг друга во времени, я, в сущности, и говорю об «изменении».

Таким образом, изменение в объективно-реальном его значении, т. е. в качестве факта, происходящего (или происходившего) в действительности, мыслится во времени. Впрочем, передвижение вещи в пространстве мы также называем «изменением»; но в таком случае мы или не приписываем «изменению» объективно-реального значения (ибо сама «вещь» не изменилась) и рассуждаем о нем только в смысле преемства испытываемых нами при наблюдении за ее движением состояний нашего собственного сознания, или должны приписывать его той среде, часть которой перемещается на наших глазах; но в последнем случае, говоря об изменении в размещении частей данного целого, мы представляем его себе изменяющимся во времени, т. е. в объективно данной последовательности состояний этого целого: мы различаем предшествующее его состояние от последующего, так как размещение его частей в предшествующем было иное, чем в последующем.

Итак, историк интересуется понятием не о постоянном пребывании того, что изменяется, а об изменении в состояниях того, что пребывает, т. е. понятием об изменении, действительно происходящем (или происходившем) во времени¹⁸².

Вышеуказанное понятие об изменении или о факте в смысле изменения входит и в понятие об историческом объекте: хотя и в него, разумеется, должно включить понятие о том, что именно изменяется,

¹⁸² *Kant I. Kritik der R. V., 2-te Aufl. S. 230.* Кант писал: «Возникновение и прекращение не есть изменение того, что возникает и прекращается, а изменение только его состояния». В своем рассуждении о границах истории Готтль пытается доказать, что такие науки, как космография, геология и эволюционная биология, существенно отличаются от истории, ссылаясь на то, что она изучает не бытие, а преходящее во времени (*Geschehen*); геология, например, пользуется последним, положим, происхождением слоев для того, чтобы представить их себе в известном порядке, она «интерполирует» преходящее во времени для того, чтобы понять порядок расположения бытия в пространстве; история, напротив, «интерпретирует» бытие для того, чтобы из него заключить о некоем процессе изменения (*Geschehen*). Не входя в обсуждение, правильна ли вышеприведенная характеристика историзирующих дисциплин естествознания, можно, во всяком случае, сказать, что хотя Готтль и не всегда выдерживает принятую им познавательную точку зрения, но все же решительно признает «*Geschehen*», т. е. изменение или некий процесс изменения объектом исторического познания; см.: *Gottl Fr. Die Grenzen der Geschichte. Lpz., 1904, особенно S. 25 и др.*

например понятие о совокупности живых существ, обнаруживающих признаки психической жизни, о человечестве, о народе, о государстве и т. п.; но то, что пребывает, поскольку оно не изменяется, очевидно, не составляет предмета собственно исторического изучения; в сущности, только бывание, изменение того, что пребывает, интересует историка: он обращает внимание не столько на то, что есть, сколько на то, что было в его отношении к тому, что есть; он изучает «судьбы» человечества, народов, государств и т. п.

Можно, однако, интересоваться изменением или с номотетической, или с идеографической точки зрения. С номотетической точки зрения, историк изучает то, что есть общего между изменениями, с идеографической — то, что характеризует данное изменение, отличает его от других и, таким образом, придает ему индивидуальное значение в данном процессе. Следовательно, в объективно-реалистическом смысле можно сказать, что историк-номотетик интересуется лишь теми изменениями, которые повторяются в действительности, а историк-идеограф, напротив, обращает внимание главным образом на изменения единичные, если они имели или имеют историческое значение.

В зависимости от той точки зрения, которой историк придерживается, значит, он интересуется фактами, поскольку он может мыслить их повторяющимися во времени или в пространстве или же случающимися один раз. В нижеследующем изложении я попытаюсь выяснить то значение, какое они могут иметь для историка, причем не забывая только что сказанного, для упрощения терминологии я уже буду говорить просто о повторяемости или единичности фактов, а не о том, что я мыслю их повторяющимися или случающимися один раз¹⁸³.

Можно представить себе такие факты, которые повторяются во времени, а не в пространстве; факт прохождения данной кометы данной точки небесного меридиана или ее орбиты в данный момент времени, например, может повторяться бесконечное число раз, хотя бы интервалы повторения были велики, но он будет происходить только в одной точке мирового пространства.

Такие факты, однако, не могут интересовать историка, поскольку он имеет в виду, главным образом, построение эволюционного целого: факт, постоянно повторяющийся во времени (а не в пространстве), не может быть помещен в эволюционную серию, в которой факты следуют один за другим именно во времени же (а не в пространстве). Ис-

¹⁸³ *Xénopol A.* La théorie de l'histoire, 2 éd. P.381–483; автор придерживается, однако, реалистической точки зрения и допускает ряд ошибок в дальнейшей своей конструкции.

торик не имеет основания признать факт, постоянно повторяющийся во времени, именно эту, а не иною определенной частью данного эволюционного целого; значит, он не будет в состоянии поместить такой факт именно в это, а не в иное положение в целом. В самом деле, если представить себе, положим, что данная совокупность *S* образована из ряда элементов, расположенных во времени, например *A, B, C, D, ... N*, и если *A, C, ...* повторяются, то историк не будет в состоянии точно расположить их, самих по себе взятых, во времени; такой ряд будет постоянно пересекаться повторением одних и тех же фактов. Только принимая во внимание элементы *B, D, ...*, которые, положим, не повторяются, историк получит основание, предварительно построив ряд... *B, ... D, ...* и усмотрев в нем пробелы, расположит группы (*A, A, A, ...*) и (*C, C, C, ...*) относительно... *B, ... D, ...* и т.п.; но в таком случае историк будет, в сущности, оперировать для построения интересующего его целого не фактами, повторяющимися во времени, а наоборот, фактами, которым он не приписывает такой именно повторяемости. Возможно, однако, что историку не удастся сделать подобного размещения; тогда вышеуказанный ряд представится ему, положим, в следующем виде:

A, B, C, A, D, C, E, ...

При таких условиях изучаемый ряд будет прерываться повторением *A, C, ...* и историку придется отказаться от построения одного линейного ряда: он, может быть, даже не окажется в состоянии усмотреть в нем единство и будет рассуждать только об отдельно взятых последовательностях вроде *A, B, C*, далее *E, F, G* и т.п.

Впрочем, повторяемость во времени может интересовать историка с точки зрения действительности и «длительности последствий» данного факта; но в таком случае он не может приписывать всем *A, A, A, ...* или *C, C, C, ...* и т.п. равнозначного значения; он может говорить только об относительной повторяемости во времени в том смысле, что индивидуальный факт влияет на последующий процесс и, в силу подражания и т.п., повторяется более или менее продолжительное время в жизни данной общественной группы.

Можно представить себе, однако, факты, которые повторяются в пространстве, а не во времени, но в другом смысле, чем мы мыслим факты, повторяющиеся во времени, а не в пространстве. В сущности, нельзя мыслить один и тот же факт повторяющимся только в пространстве, а не во времени. Ведь одновременное возникновение одного и того же факта в разных местах, собственно говоря, нельзя себе представить: в таком случае мы мыслим несколько фактов, возникаю-

щих единовременно ввиду тождества или сходства условий, тождественных или более или менее сходных между собою; то сходное, что данный факт имеет с другими, мы и называем повторяющимся в пространстве, а не во времени, т. е. обнаруживающимся в каждом из фактов, единовременно возникающих в разных пунктах пространства; но в таких случаях мы всегда имеем дело с несколькими фактами, хотя бы и вполне сходными, а не с одним. Тем не менее в известном смысле можно мыслить повторяемость «одного и того же факта» в пространстве, но только под условием, что пределы времени, в течение которых он повторяется, невелики и что мы, признавая их неважными, можем пренебречь ими. Действие, возникшее в данной среде, например, вызывает подражание. Если историк полагает, что такой процесс заслуживает внимания лишь с точки зрения его распространения в данный период времени, причем он считает возможным пренебречь временем, потребным на его распространение, то он в таком именно смысле и признает факт повторяющимся в пространстве, а не во времени.

Факты подобного рода историк, очевидно, легко может расположить и в эволюционный ряд: раз они представляются ему повторяющимися в пространстве, а не во времени, они могут быть расположены друг за другом во времени; значит, они могут представляться ему в виде частей одного и того же эволюционного целого; следовательно, с относительно идеографической точки зрения, историк может интересоваться ими, но, главным образом, лишь в том смысле, что данный оригинальный факт оказывает влияние на окружающую среду, что он распространяется в пространстве хотя бы, например, путем подражания и т. п.

Следует заметить, однако, что при изучении изменений, повторяющихся в действительности, ученый все же преимущественно интересуется лишь тем, что есть между ними сходного, значит, тем, что относительно постоянно, поскольку оно повторяется в каждом изменении; но, с такой точки зрения, интерес, в сущности, перемещается на то общее, что оказывается между изменениями, на их повторяемость и т. п., а не на самый процесс изменения; следовательно, если последний преимущественно считать объектом собственно исторического изучения, то историк и должен иметь, главным образом, в виду не изменения, повторяющиеся в действительности, а единичный процесс изменения как таковой, хотя бы историческое значение отдельных изменений и выяснялось путем исследования их повторяемости или влияния их во времени и в пространстве¹⁸⁴. Во всяком случае,

¹⁸⁴ См. выше. В. I. С. 198–201.

положение таких фактов в данном эволюционном целом, очевидно, может быть только одно, и историк, конечно, займется его определением, если он может признать за фактами подобного рода некоторое значение для изучаемого им целого.

Вышеустановленное понятие об объекте исторического познания как об изменении, происшедшем в действительности, однако, все еще недостаточно для того, чтобы характеризовать понятие о таком объекте в специфически историческом смысле.

Легко придти к заключению, что хотя историк и обращает внимание на количественные изменения (например, рост или убыль населения), он все же, главным образом, интересуется качественными изменениями. По крайней мере с идеографической точки зрения, он изучает именно такие изменения: лишь качественно отличному от остальных факту он может приписать значение самостоятельной, индивидуальной части данного целого.

Впрочем, и такое определение объекта исторического познания для целей собственно исторического исследования все еще слишком широко: ведь многие науки занимаются изучением качественных изменений; превращение энергии, наступающее лишь при невознагражденном различии в «интенсивностях», есть уже качественное изменение¹⁸⁵; историку необходимо выяснить, какого рода качественные изменения во времени он разумеет, когда он рассуждает об исторических фактах. В таких случаях он, подобно психологу и социологу, обыкновенно имеет в виду какое-либо изменение в состоянии данного субъекта (индивидуального или коллективного), например его переход от состояния душевного покоя к душевному возбуждению или от горя к радости, от отчаяния к надежде и т. п. В случаях подобного рода ученый — психолог, социолог или историк — имеет дело с такими качественными изменениями, которые происходят в чужой психике; рассуждая о них, он уже опирается на особого рода принцип: он предпосылает наличность чужой одушевленности, с точки зрения которой он и конструирует такие перемены в чужой психике, в сущности недоступной эмпирическому его наблюдению.

Между тем проблема чужой одушевленности до сих пор остается еще очень мало выясненной, и самые точки зрения, с которых она выясняется, не всегда различаются¹⁸⁶.

¹⁸⁵ *Ostwald W.* L'énergétique moderne в *Rev. Scient.* 1908. Août 15. P. 201, 202.

¹⁸⁶ *Kafka G.* Versuch einer kritischen Darstellung der neueren Anschauungen über das Ichproblem // *Arch. für Gesamte Psychologie.* Bd. XIX (1910). S. 1–242; *Латшин И.* Проблема «чужого Я» в новейшей философии и в *Жур. Мин. нар. просв.* 1909.

В самом деле, нельзя смешивать метафизическую постановку проблемы «чужого Я» с теоретико-познавательной: метафизик рассуждает о «сущности души», о «вещи в себе», называемой «чужое Я» и т. п.; гносеолог же задумывается лишь над теми основаниями, в силу которых он считает себя вправе признавать «чужое Я».

В метафизическом смысле можно или отрицать чужую одушевленность, или утверждать ее существование, смотря по тому, придерживаться материалистической или спиритуалистической точки зрения. Материалист полагает, например, что душа есть функция материи и что сознание рождается из телесных процессов; значит, он, собственно говоря, не интересуется самостоятельным значением чужого «Я». Спиритуалист, исходящий из представления об «абсолютном Я», или о «всеобщем сознании», отражающемся в каждом индивидуальном «Я», напротив, признает за каждым «Я» известное значение, хотя бы производное, и в одинаковом реальном отношении всех эмпирических «Я» к абсолютному «Я» усматривает основание для взаимного признания каждым из них «чужого Я». Не останавливаясь на подробном рассмотрении подобного рода теорий, получающих дальнейшие разветвления, например, в гилозоизме и монадологии, я замечу только, что при метафизической постановке проблемы решение ее, в сущности, уже опирается на такие состояния сознания, как вера, и что оно, во всяком случае, выходит за пределы тех эмпирических данных, какими наука располагает; вместе с тем нельзя не заметить, что материалист, отрицающий самостоятельное значение чужого «Я», часто признает его на практике; а спиритуалист, по убеждению которого, чужое «Я» есть лишь отражение высшего начала, подрывает самостоятельное значение растворяющейся в нем чужой индивидуальности; можно также сказать, что гилозоист атомизирует сознание, а монадолог признает его абсолютную замкнутость, что едва ли вяжется с признанием чужого «Я».

При теоретико-познавательной постановке проблемы можно также решать ее или в отрицательном, или в положительном смысле.

Последовательный солипсист, например, признающий существование лишь собственного своего «Я», собственных своих представлений (*praeter me ens aliud non est*), с такой точки зрения, теорети-

№ 8 и 1910. № 8 и 9 и отдельно. СПб., 1910; автор последнего сочинения дает обстоятельное обозрение множества теорий; отсылая желающих ознакомиться с ними к его любопытному труду, я ограничусь только несколькими общими и краткими указаниями на важнейшие из высказанных точек зрения, присоединяя к ним и некоторые критические замечания.

чески отрицает и наличность чужих сознаний: на основании моего представления о чужом «Я», говорит солипсист, я не могу утверждать его объективной реальности, ибо каждое чужое «Я» есть только содержание моего же собственного представления; значит, мое представление о чужом «Я» еще не дает мне основания утверждать наличность чужого сознания, данного в действительности. В качестве методологического приема такая теория, конечно, ограждает мыслителя от догматического утверждения существования чужого «Я»; но сама она еще не выходит за пределы скепсиса относительно действительного его существования и, значит, слишком мало удовлетворяет запросам нашего «Я»: ведь солипсист не может представить самого себя только представлением другого (если бы он существовал), хотя последнего и считает только своим представлением; кроме того, в числе своих же представлений солипсист встречает и такие, содержание которых он черпает из бывших состояний своего сознания; но оставаясь вполне последовательным, он не может различать свои представления о действительно бывших состояниях своего же сознания от испытываемых им в данный момент представлений о таком содержании и не имеет возможности говорить о своем «Я» в полноте его значения и о непрерывности своего сознания: оно распадается на множество мгновенно преходящих «Я», «чужих» друг другу, что с точки зрения солипсизма, однако, неприемлемо. Помимо указанных затруднений, солипсизм представляет еще одно неудобство: в теории отрицая чужую одушевленность, солипсист признает ее на практике; он поступает так, как если бы люди были одушевлены; но такое расхождение теории с практикой не свидетельствует в пользу самой теории и лишает ее последователя возможности применять ее на практике.

Итак, можно сказать, что отрицание чужой одушевленности вообще приводит к целому ряду затруднений; но и обоснование такого принципа, с теоретико-познавательной точки зрения, представляется затруднительным. Впрочем, интуитивист легко решает нашу проблему: чужое «Я», говорит он, «дано мне непосредственно, оно инстинктивно познается мною вместе с чувственно воспринимаемым, но нечувственным образом»¹⁸⁷. Гносеолог, придерживающийся другого, критического направления, не может, однако, удовлетвориться вышеприведенным решением: он должен выяснить те основания, в силу которых он приписывает такому своему переживанию

¹⁸⁷ *Lipps Th. Das Wissen von fremden Ichen* в *Psychol. Unters.* Bd. I. H. 4 (1907). S. 709, 710; ниже автор говорит и о том, что мы «веруем в то, что мы мыслим»; см. S. 721. Ср. *Лосский Н.* Осн. инт. С. 65, 85, 73, 100, 102.

объективное значение: если «чужое Я» не оказывается непосредственно данным в моем опыте и я заключаю о нем по наблюдениям над телесными процессами, то и возникает вопрос, на каком основании я делаю такое заключение¹⁸⁸? При его обосновании следует различать теоретическую точку зрения от регулятивно-телеологической или практической.

С теоретической точки зрения, можно, казалось бы, утверждать, что понятие о «сознании вообще» уже включает признание чужого «Я». В той мере, в какой я, например, сознаю сверхиндивидуальность общезначимых категорий моего мышления, я уже считаю их обязательными для всякого сознания, что как бы предполагает признание его существующим и помимо моего собственного сознания; то же можно заметить и относительно общезначимости научных суждений: она предполагает признание их таковыми всяким другим познающим субъектом; аналогичные рассуждения легко сделать и относительно нравственных и эстетических понятий. Следует иметь в виду, однако, что понятие о сознании вообще в его трансцендентности, т. е. внепространственности и вневременности, не дает основания признавать реальное существование чужого «Я» в его конкретной индивидуальности.

В связи с вышеприведенным соображением можно поставить и другое, исходящее из понятия о соотносительности между понятиями о субъекте и объекте, о «Я» и о «не Я». Всякий, кто сознает свое «Я», т. е. кто обладает самосознанием, вместе с тем мыслит его в его отношении к содержанию сознания, т. е. к объекту или к «не Я»; в таком смысле, понятие о «Я» предполагает и соотносительное ему понятие о «не Я»; но соотношение «Я» — «не Я» получает наиполнейший свой смысл лишь в том случае, если «не Я» однородно с «Я»,

¹⁸⁸ *Descartes R. Discours de la méthode, ch. v; ср. рус. пер. Н. Любимова. С. 174–175, 176–177, 331–334.* В сущности, Декарт отрицал наличие объективных признаков одушевленности у животных и, с такой точки зрения, пришел к заключению, что «мы не можем доказать присутствие души в животных», но не думал, чтобы можно было «доказать», что у них нет «мыслей»; Декарт, напротив, полагал, что мы располагаем двумя «очень верными средствами» для признания одушевленности в человеке; таковы способность речи, т. е. способность «соединять слова различным образом, чтобы ответить на смысл сказанного» и способность «действовать так, как нам позволяет действовать разум», приспособляясь ко всякого рода «случаям жизни». Кант уже старался показать, что таких признаков мы не имеем; см.: *Kant I. Kritik der R. V., 1 Aufl. S. 351–361.* Ср. еще *Введенский А. О пределах и признаках одушевления. СПб., 1892.*

т. е. если я ставлю свое действительно существующее и одушевленное «Я» в соотношение с действительно существующим и одушевленным «не Я» или чужим «Я»; иными словами говоря, «самосознание есть вместе с тем сознание другого», сознание своего «Я» достигает наибольшей своей характерности лишь под условием его соотношения с другим «Я»: они мыслятся как взаимно обуславливающие друг друга части одного целого. С такой точки зрения, сознание своего «Я» логически, а не только психологически требует его противоположения чужому «Я», т. е. ведет к утверждению, что и последнее существует¹⁸⁹. Рассуждение подобного рода, однако, все же не дает возможности установить объективные признаки, на основании которых познающий субъект мог бы утверждать одушевленность той, а не иной конкретно данной ему индивидуальности.

Если отрицать возможность теоретически доказать чужую одушевленность, то при фактическом признании ее всяким нормальным сознанием приходится искать его обоснование в другой области. Принцип признания чужой одушевленности действительно гораздо тверже устанавливается в его регулятивно-телеологическом значении: категорически не утверждая его в данное время в качестве безусловно доказанной истины, можно пользоваться им для целей познания в качестве научной гипотезы, нужной для объяснения некоторой части действительности; но можно принять его и в качестве нравственного постулата, без которого нельзя представить себе «другого» как самоцель, в отношении к которой наше поведение и должно получить нравственный характер.

Принцип признания чужой одушевленности можно признать гипотезой; она нужна психологу, социологу или историку для того, чтобы объединять свое знание о наблюдаемых им чужих поступках и деятельности¹⁹⁰. Такая гипотеза, не противореча опыту, более вероятна, чем

¹⁸⁹ *Hume D.* A treatise of human nature. В. II. P. II. Sec. 2 (ed. 1896). P. 340–341: «Ourself, independent of the perception of every other object, is in reality nothing. For wick reason we must turn our view to external objects: and 'tis natural for us to consider with most attention such, as lie contiguous to us or resemble us». Ср. *Kant I.* Kritik der R. V., 2 Aufl. S. XXXIX–XL, 275 ssq. В числе позднейших представителей аналогичных учений см., например, *Schuppe W.* Erkenntnisstheoretische Logik, 1878, § 23; *Schubert-Soldern R. v.* Über Transcendenz des Objects und Subjects. S. 86–91: «Das fremde Ich ist nothwendiger, concreter Theil des Bewusstseinganzen, ohne welchen dieses Ganze überhaupt nicht denkbar wäre»: ср. *Cohen H.* Ethik des reinen Willens, 1907. S. 211–214.

¹⁹⁰ *Kant I.* Kritik der R. V., 2 Aufl. S. 354, 356, 673–676, 709, 714, 836.

обратное положение. В самом деле, положим, что я (А) высказываю гипотезу об одушевленности *B, C, D, ...*; она более приемлема, чем гипотеза о том, что *B, C, D, ...* — механизмы: ведь при высказывании гипотезы об одушевленности *B, C, D, ...* я (А) не попадаю в постоянное противоречие с своим опытом, в котором я переживаю собственную свою одушевленность, данную вместе с испытываемыми мною раздражениями, с моими движениями и т. п.; между тем при высказывании гипотезы об отсутствии одушевленности в *B, C, D, ...* я принужден исключить себя (т. е. А) из сферы ее приложения, ибо я не могу признать самого себя только механизмом. Следовательно, гипотеза о чужой одушевленности в ее приложении к известной части действительности оказывается в большем соответствии с данными нашего опыта, чем обратное положение, что и придает ей большую вероятность¹⁹¹.

В качестве гипотезы принцип признания чужой одушевленности действительно предпосылается и в психологии, и в социальных науках, и в истории; в теории и на практике, когда мы имеем дело с подобными нам существами, этот принцип оправдывает то доверие, какое наше сознание инстинктивно питает к нему, выдерживает проверку в его разумном приложении к эмпирическим данным и служит для их объединения и для их объяснения. Само собою разумеется, что такую гипотезу нельзя смешивать с мнимоэмпирическим знанием «чужого Я»: ведь всякий познает «чужое Я» при помощи подстановки самого себя в условия его душевной жизни и, значит, строит ее исходя из представления о собственной своей индивидуальности, как некоего единства, а также из элементов собственной своей жизни; но гипотетически конструируя «чужое Я» для объяснения его действий, нельзя забывать, что познающий субъект не обладает эмпирическим знанием «чужого Я» и принужден ограничиваться наблюдением над «внешними» обнаружениями его душевной жизни, телесными процессами, значение которых он толкует на основании собственного своего «внутреннего» опыта; только благодаря такому допущению, например, целесообразности данных действий, он получает, однако, возможность установить некоторую непрерывность в их ряде, представить себе развитие данной деятельности, а значит, и соответствующих событий и т. п.¹⁹²

Наконец, с точки зрения «практического разума», принцип признания чужой одушевленности принимается в качестве нравственного постулата. В самом деле, нравственное сознание моего «Я» тре-

¹⁹¹ *Avenarius R. Der menschliche Weltbegriff, 1891. Ab. I. Kap. I, § 2; рус. пер., 1909 г. С. 6–9.*

¹⁹² *Simmel G. Probleme etc., 2 Aufl. S. 6–9; третье издание без существенных перемен.*

бует, чтобы я признавал чужую одушевленность: ведь нравственно свободная деятельность моего «Я» не может быть деятельностью без объекта; но такой объект должен побуждать меня к нравственно свободной деятельности, а не механически «связывать» ее в причинно-следственном смысле; значит, он должен мыслиться мною таким же нравственно свободным, признающим мою свободу субъектом, как и я сам, что нельзя высказать, не признавая «чужого Я», не считаясь с его индивидуальностью как самоцелью, не уважая в нем самобытной человеческой личности; следовательно, с указанной точки зрения каждое «Я» должно признавать чужую одушевленность, хотя бы оно и не могло доказать действительное ее существование. Таким образом, с точки зрения безусловного требования нравственного своего сознания, каждое «Я» постулирует одушевленность именно того, в отношении к кому оно в данном месте и в данное время свободно предъявляет себе такое требование¹⁹³.

Впрочем, понятие о чужой одушевленности можно рассматривать и с точки зрения его психогенезиса, т. е. интересоваться не основаниями, в силу которых каждый из нас признает чужую одушевленность, а тем, каким образом представление о ней возникает в нашем сознании. С такой точки зрения, приходится сказать, что представление о чужом «Я» уже дано в инстинктивном переживании чужой одушевленности; следовательно, принцип признания чужой одушевленности фактически включен в «сочувственное» ее «переживание» и развивается через его посредство.

Сочувственное переживание до сих пор еще мало выяснено; может быть, оно есть результат особого рода «конгениальности» или «созвучия» между однородно организованными существами. Вообразим, что *A* вслед за *B*, благодаря «симпатии» (в широком смысле) и подражанию, безыскусственно воспроизводит в себе внешние телодвижения *B*; но воспроизводя его действия хотя бы в зачаточном их виде или даже испытывая только тенденцию к их воспроизведению, *A* переживает соответствующие им и более или менее прочно связанные со своими собственными телодвижениями состояния сознания; значит, *A*, не противопоставляя себя *B*, может без всякой задней мысли

¹⁹³ *Kant I.* Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Ab. II. S. 53–54 (herausg. von J. von Kirchmann); Kr. der P. v. B. II. Kap. v, VI, VIII. S. 158–159, 173, 175 и др. (herausg. von J. von Kirchmann); *Fichte J. G.* Sämtliche Werke. Bd. III. S. 17–40, 47; ср. Bd. IV. S. 230 ff.; Bd. VI. S. 305. Ср. еще *Введенский А.* О пределах и признаках одушевления. СПб., 1892; Тезисы и Вторичный вызов на спор о законе одушевления в «Вопр. филос. и психол.», кн. 16. Спец. отд. С. 115–118 и кн. 18. Спец. отд. С. 120–149.

(например, без научной цели) отдаться сочувственному переживанию, его одушевленности и провести подстановку состояний своего сознания под телодвижения *B*; вместе с тем *A* испытывает ассоциированные с ними состояния своего сознания как «чужие» и приписывает их *B*, полагая, что последний «выражает» их во внешних проявлениях своей жизни¹⁹⁴.

В случаях подобного рода *A* гораздо легче и полнее переживает, однако, те психические состояния, которые он сам уже ранее испытывал в связи с соответствующими им обнаружениями и которые он инстинктивно ассоциирует с внешними обнаружениями психических состояний *B*.

Такая ассоциация — двойная, а именно:

- 1) *A* ассоциирует свои состояния сознания с соответствующими своими же действиями;
- 2) благодаря установившейся у него ассоциации подобного рода *A* ассоциирует чужое действие *B*, отождествляемое им со своим собственным, с соответствующим ему собственным состоянием своего сознания.

Такая двойная ассоциация, а затем и простое воспоминание о ней, надо думать, обыкновенно лежат в основе процесса «сочувственного переживания».

Однородный психический процесс, вероятно, происходит и в случаях еще более сложного «сочувственного переживания»; его можно представить себе в виде следующей схемы. Положим, что *A* переживает связь между своими представлениями и словами; вместе с тем, различая своя «Я» от чужого, *A* сознает, что он (*A*) воспринимает такие же самые сочетания звуков от другого лица — *B*; благодаря вышесказанному двойному ряду ассоциаций *A* получает возможность сочувственно переживать то, что говорит *B*. Нечто подобное происходит и при восприятии со стороны *A* вещественного образа с конкретным содержанием (а не символа), под условием если он признает его произведением чужого творчества — *B*. Наконец, при наличности еще нового (третьего) ряда ассоциаций между своими словами и вещественными их символами, им самим начертанными, *A* может испытывать

¹⁹⁴ *Ribot Th.* La psychologie des sentiments. P.1896, ch. IV: la sympathie et l'émotion tendre; *Lippis Th.* Leitfaden. Kap. XIV; Aesthetik. Bd. I. Hamburg u. Lpz., 1903; употребляемый мною термин «сочувственное переживание» близко подходит к термину Липписа «Einfühlung» («вчувствование»); возражения против его теории см. в соч. *Worringer W.* Abstractoin und Einfühlung. München, 1909; *Prandtl A.* Die Einfühlung. Lpz., 1910.

сочувственное переживание при восприятии однородных знаков, начертанных *B*; в таком случае *A* связывает чужие начертания с состояниями собственного своего сознания.

Впрочем, воспроизведение чужой одушевленности связано не только с ассоциированием известных представлений, но и с заключением по аналогии, хотя бы оно и не всегда ясно сознавалось. В сущности, заключение по аналогии, которому многие приписывают значение в качестве доказательства чужой одушевленности, вряд ли может претендовать на такую роль. В самом деле, лишь в том случае, если я подменяю понятие о моем «Я» понятием об «одном Я», я могу по аналогии сделать заключение о «другом Я», т. е. перенести свое представление об «одном Я» (в данном случае отождествляемом с моим «Я») на «другое Я»; но в таком случае я уже исхожу из признания чужой одушевленности, ибо оно лежит в основе моего понятия об «одном Я» как о некоем экземпляре, по которому я могу путем заключения по аналогии судить о другом экземпляре того же вида¹⁹⁵. С такой точки зрения, заключение по аналогии уже предполагает признание чужой одушевленности; но оно все же, кажется, не теряет своего специфического значения при его квалификации: *A*, утверждающий наличность одушевленности в *B*, в сущности, по аналогии заключает лишь о специфическом виде одушевленности *B*, о его горе или радости и т. п., т. е. связывает их с теми телодвижениями, в которых *B* выражает их; допуская душевную жизнь *B*, *A* судит только о переменах, происходящих в ней, по знакомым ему из собственного опыта специфическим внешним признакам; например, по слезам или смеху «другого», действующих на него более или менее заразительным образом *A* заключает о тех состояниях сознания *B* — горе или радости, которые он выражает.

В психогенезисе признания чужой одушевленности легко различить элементы, которые уже были вскрыты при анализе того же понятия с теоретико-познавательной точки зрения, но в качестве факторов, а не оснований. Каждый из нас, например, тем более утверждает в мысли об общезначимости истины, чем более замечает ее общепризнанность: самое объективирование наших восприятий находится в тесной зависимости от нашего же сознания, что данный объект признается реально существующим и другими «Я»; каждый из нас постоянно ссылается и часто принужден ссылаться на чужое мнение или чужой вывод относительно таких объектов; следовательно, и в данном случае общепризнанность истины становится

¹⁹⁵ *Lipps Th. Op. cit., ib. S. 709.*

фактором ее общезначимости и как бы социальным продуктом: объективное существование чужого «Я» признается с тем большею убежденностью, чем больше утверждающий сознает, что то же «чужое Я» и другими признается объективно существующим¹⁹⁶. Развитие самосознания находится также в тесной зависимости и от противоположения своего «Я» «чужому Я»: ребенок на втором месяце по рождении уже различает прикосновение к нему матери или няни даже в темноте, от других раздражений и приспосабливается к ним: он дает себя держать, ласкать и т. п.; но его самосознание растет в зависимости от его собственных усилий расширить свое «Я» и подражать тому «другому», которого он уже различает от вещей, лишенных одушевленности; развитие его личности, однако, продолжается и в последующее время: он замечает, что окружающие его люди суть «чужие Я», аналогичные с его собственным «Я», и таким образом, начинает ясно сознавать оба понятия в их взаимозависимости¹⁹⁷. Регулятивно-телеологическое значение признания чужой одушевленности можно также представить себе в виде его генезиса. Такой принцип развивается, например, в зависимости от стремления любознательного ребенка или дикаря почерпать из собственной одушевленности элементы, пригодные, по его убеждению, для объяснения движения разных предметов, существ и других явлений (анимизм); всякий из нас постоянно воспроизводит чужую одушевленность, когда имеет дело с людьми и т. п. Вместе с тем то одобрение или порицание, которое более или менее резко высказывает наше «Я» о чужих действиях, естественно предполагает одобрение или порицание того именно, кто действует, т. е. способствует развитию чувства чужого «Я»: оно ярче переживается в подобного рода оценке, что легко заметить даже в трудах некоторых ученых социологов и историков; они более или менее ярко воспроизводят одушевленность людей в зависимости от более или менее резкой оценки их действий.

Следует заметить, однако, что воспроизведение чужой одушевленности во всей ее полноте представить себе нельзя хотя бы уже потому, что в таком акте всегда соучаствует то сознание, в котором чужая оду-

¹⁹⁶ *Clifford W. K. Lectures and Essays. V. II. P. 74–76*; впрочем, сам автор едва ли достаточно выясняет, какой именно точки зрения он придерживается — гносеологической или психогенетической. Ср. *Schuppe W. Erkenntnisstheoretische Logik, 1878, § 23. S. 78, 80.*

¹⁹⁷ *Baldwin J. M. Social and ethical interpretation in mental development. N.-Y., 1897. P. 7–9*; впрочем, автор не говорит о «расширении своего Я», заметном, например, в интересе ребенка к своим игрушкам, ученого к своим книгам и т. п.

шевленность воспроизводится: «Я» не могу перестать быть «Я» даже в момент сочувственного переживания чужого «Я». Такое переживание, ассоциирование и заключение по аналогии обыкновенно сводится к воспроизведению в себе не чужого «Я», а более или менее удачной комбинации некоторых элементов его психики или даже просто отдельно выхваченных состояний чужого сознания, игнорируя остальные¹⁹⁸.

Итак, и с гносеологической, и с психогенетической точки зрения, принцип признания чужой одушевленности может получать весьма разнообразные значения, не всегда, однако, различаемые учеными: постоянно применяя его в психологии и других науках, они редко выясняют, в каком именно смысле они его признают. В таких науках психолог, социолог или историк пользуются принципом признания чужой одушевленности для научно-психологического понимания изучаемых ими объектов, что и придает ему особого рода оттенок. Следует заметить, например, что подобно другим ученым, имеющим дело с аналогичными объектами, и историк в сущности уже противопоставляет себя как познающего субъекта познаваемому им объекту, т. е. тому именно объекту, которому он и приписывает некую одушевленность. Вместе с тем он основывает такое свое истолкование на предпосылке о единообразии природы вообще и единообразии психической природы человека в частности; эта предпосылка постоянно делается ученым: в ее общем виде — в естествознании, в ее квалифицированном виде (единообразии психической природы человека) — в психологии. Историк также пользуется понятием о единообразии психики, например, в тех случаях, когда он рассуждает о единообразии в единстве и цельности человеческих сознаний; исходя из положения, что единство и целостность сознания, например, у *A* (историка) и *B* единообразны, историк может заключить, что он на основании единства и целостности своего сознания сумеет понять значение освоенного им элемента сознания *B* в сознании самого *B*¹⁹⁹. Лишь опираясь на такую предпосылку о единообразии психической природы человека, историк может сознательно пользоваться заключением по аналогии (в вышеуказанном его смысле) для того, чтобы действием известных психических факторов объяснять внешние обнаружения чужой жизни, которые доступны его собственному чувственному восприятию. Впрочем, не мешает заметить, что смотря по тому, каких воззрений ученый придерживается на отношение «души» к телу — учения о психофизическом параллелизме или учения о взаимодействии души с телом, и заключе-

¹⁹⁸ *James W.* The principles of psychology. V. II. P. 332–333.

¹⁹⁹ *Droysen J. G.* Grundriss. §10.

ние его о чужой одушевленности получает различные значения. Если историк, например, остается верным учению о психофизическом параллелизме, он судит по внешнему действию субъекта о сопровождающем его состоянии сознания, но не может предполагать причинно-следственное соотношение между ними; он, значит, не считает себя вправе мысленно восходить от внешнего действия субъекта к состоянию его сознания, как от следствия к причине, а рассматривает внешнее действие субъекта лишь как признак, в соответствии с которым последний и должен испытывать то, а не иное состояние сознания. Если историк, напротив, склоняется к учению о взаимодействии души с телом, он может сказать, что внешнее действие субъекта есть следствие сложной причины, в составе которой состояние его сознания играет известную роль; он, значит, имеет основание мысленно восходить от внешнего действия субъекта к состоянию его сознания, как от следствия к причине, что, разумеется, придает его заключению более аподиктический характер. Во всяком случае, процесс собственно научного психологического понимания характеризуется не инстинктивным воспроизведением чужой одушевленности, а возможно более научнообразным заключением по аналогии; на основании аналогии с тою связью, какую ученый стремится возможно более точно установить между данным состоянием своего сознания и внешним его обнаружением, он заключает о наличии у постороннего лица состояния сознания, соответствующего тому внешнему его проявлению, тождество которого (по крайней мере, в известном отношении) с собственным его обнаружением предварительно установлено; он заключает, например, о тех, а не иных состояниях сознания (т. е. «души») постороннего лица по его внешним действиям — движениям, выражению лица, жестам, словам, поступкам и т. п. Таким образом, историк стремится перевоспроизвести в себе то именно состояние сознания, которое ему нужно для научного объяснения изучаемого им объекта; он анализирует пережитые им состояния и выбирает то из них, которое, судя по чисто научному исследованию внешних его признаков (внешнему обнаружению), всего более подходит к данному случаю; он как бы примеряет наиболее подходящие состояния своего собственного сознания к проанализированному и синтезированному им внешнему обнаружению чужой одушевленности, подделывается под нее и т. п.; ему приходится искусственно (в воображении или в действительности) ставить себя в условия, при которых он может вызвать его и т. п., хотя бы и несколько раз. Лишь после таких исследований он может перевоспроизвести в себе то именно состояние сознания, которое он считает нужным для надлежащего понимания чужих дей-

ствий. Наконец, следует иметь в виду, что ученый, в частности и историк, постоянно подвергает свое научно-квалифицированное психологическое построение чужой душевной жизни научному же контролю; он признает его лишь гипотезой, сила которой зависит от степени ее пригодности и области ее применения; он принимает ее лишь в том случае, если факты ей не противоречат и если она помогает ему объяснить эти факты.

Само собою разумеется, что в тех случаях, когда ученый стремится научно применить принцип признания чужой одушевленности к построению коллективного, а не единичного субъекта, содержание его осложняется: ведь подобно психологу, занимающемуся коллективной психологией, или социологу, историк, изучающий жизнь или историю человеческих обществ, часто подставляет свою одушевленность под чужие действия целой социальной группы; он стремится представить себе чужую одушевленность в смысле коллективного сознания: он должен построить, например, понятия о единстве коллективного сознания данной группы, хотя бы временном и не распространяющемся в одинаковой мере на всех ее членов, — об уровне ее сознания, об общей ее воле, об объединенном ее действии или организованной ее деятельности и т. п.

Понятие о чужой одушевленности в его применении к конструкции объекта исторического познания окажется, однако, еще более сложным по своему содержанию, если припомнить особенности собственно исторического знания и его задач.

Историк занимается научным построением действительности; значит, он должен установить, что переживаемое им представление о чужой одушевленности есть вместе с тем воспроизведение реально данной одушевленности той именно индивидуальности, которой он приписывает известные действия или в зависимости от которой он изучает данный исторический факт.

Далее следует заметить, что при применении разбираемого принципа историк переносит общее понятие о своей одушевленности на предшествовавшие ему поколения. Помимо сознательного применения вышеуказанного принципа в одном из общих его значений, он, следовательно, должен еще установить те основания, в силу которых он применяет его к объяснению прошедшего. Вообще можно сказать, что историк предполагает некоторое сходство между своей одушевленностью и одушевленностью изучаемого им исторического деятеля, общественной группы и т. п. Если историк исходит из предположения, что его психика и психика некогда бывшего другого индивидуума разнятся лишь в интенсивности комбинированных эле-

ментов, то соответствующие видоизменения в интенсивности элементов психики историка (например, при мысленном погружении его в среду, где жил изучаемый им некогда бывший индивидуум) приближат его к пониманию психики последнего; но даже приняв такую гипотезу, он может сомневаться в ее приложимости: она требует сохранения полного соответствия между обеими комбинациями, фактическое осуществление которого едва ли может иметь большую вероятность. Вообще при перенесении своей одушевленности на ранее бывших людей осторожный историк все же будет различать понятие о сходстве между своей одушевленностью и одушевленностью прежде бывшего субъекта от понятия о сходстве между некоторыми элементами, общими обеим одушевленностям; лишь в последнем смысле он может говорить с достаточным основанием о перенесении своей одушевленности на человека прежнего времени; историк может приблизиться к научно-психологическому пониманию прежде бывшей психики лишь путем научного анализа элементов своей собственной душевной жизни и признаков чужой, уже признанной им, с тем чтобы установить общие им элементы; самая же комбинация последних между собою и с другими элементами чужой душевной жизни может представиться настолько своеобразной, что полное и живое понимание ее все же будет еще очень ограниченным, даже если вообразить, что историк сумел постигнуть те из них, которые отличались от его собственных; но вероятность такого постижения все же может быть мала, и его результаты окажутся гадательными.

Во всяком случае, историк уже пользуется принципом признания чужой одушевленности для того, чтобы построить понятие о качественном изменении в психике того лица (индивидуального или коллективного), деятельность которого он наблюдает в действительности; он судит об одушевленности данного субъекта по его действиям и их результатам и обратно исходит из предположения о его одушевленности для понимания его действий и их продуктов.

Такое понимание объекта исторического познания, однако, все еще слишком широко; правда, оно дает основание различать объект историзирующих дисциплин естествознания от объекта истории в узком смысле; но оно вместе с тем сближает ее с психологией и социальными науками, недостаточно отграничивая от них область собственно исторического исследования: ведь историк интересуется не столько изменениями в чужой психике, сколько индивидуальным ее воздействием на окружающую среду; не столько отдельно взятыми изменениями, сколько единичным и непрерывным рядом изменений, т. е. становлением или происхождением того, что действительно ока-

залось в результате подобного рода воздействий; не столько порознь изучаемыми группами или сериями фактов из истории культуры, сколько развитием человечества и т. п. Лишь в том случае, если понятие о качественном изменении рассматривать в связи с такими гораздо более сложными понятиями, можно точнее установить область собственно исторического исследования и ближе подойти к понятию об объекте собственно исторического познания.

ГЛАВА ВТОРАЯ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР СОБСТВЕННО ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ

Понятие об изменении естественно связывать с понятием о той причине, которая его вызывает и действие которой в нем обнаруживается. С только что указанной точки зрения понятие об историческом объекте уже включает понятие о некоем причинно-следственном отношении: само изменение ставится в зависимость от действия некоей причины, вызывающей данное следствие, т. е. появление того именно, что дает основание говорить об изменении в вышеуказанном смысле; лишь принимая во внимание (хотя бы гипотетически) факторы, «действию» которых историк приписывает данное изменение или характерные его признаки, он может признать в нем то, что нужно для того, чтобы считать данное изменение историческим фактом.

С такой точки зрения, всякое историческое изменение можно рассматривать как взаимодействие между средою и индивидуумом. В той мере, в какой действие среды предполагает некоторую воспринимающую его деятельность индивидуума, а воздействие индивидуальности на среду – восприимчивость последней и ее содействие, нельзя, конечно, представить себе каждое из таких реальных соотношений порознь; но в зависимости от той познавательной цели и согласно с только что предложенным пониманием исторического изменения историк может преимущественно рассуждать или о действии среды на индивидуума, или о воздействии индивидуальности на среду; изменение, вызываемое таким влиянием, он, значит, может называть фактом; для того, однако, чтобы последний признать историческим фактом, ему нужно еще квалифицировать свое понятие о подобного рода влиянии, иначе он не будет иметь основания называть и вызываемое им изменение историческим фактом. После того, что уже было сказано о принципе признания чужой одушевленности, ясно, что историк, рассуждающий о таких действиях или воздействиях, не может ограничиться пониманием их в механическом смысле; он преимуще-

ственно интересуется «психическим» их характером, так как имеет в виду соответственный характер вызванных ими изменений. С последней точки зрения, историк понимает под «средою» преимущественно одушевленную «надорганическую» или «общественную среду», а под «индивидуальностью» — живую человеческую индивидуальность; он изучает влияние среды на индивидуума или индивидуальности на среду, главным образом, в той мере, в какой подобного рода взаимодействие вызвало соответствующие перемены в душевной жизни данной личности или целого общества, или даже всего человечества, а значит, и соответствующие перемены в продуктах их культуры.

Впрочем, смотря по тому, ввиду какой познавательной цели ученый интересуется фактом, он преимущественно изучает или действие среды на индивидуума, или, наоборот, воздействие индивидуальности на среду.

Историк, изучающий прошлое человечества с номотетической точки зрения, интересуется преимущественно действием среды на индивидуумов в ее уравнительном значении, т. е. в той мере, в какой она производит такие изменения в психике индивидуумов (а значит, и в их действиях, и в их продуктах), благодаря которым они делаются сходными в некоторых отношениях; вообще социальные явления, возникающие под давлением общественной среды, он может подвести под такое понятие.

Историк, изучающий действительность с идеографической точки зрения, разумеется, объясняет ее при помощи тех обобщений, которые получаются путем изучения подобного рода социологических фактов; но для научного построения индивидуальной конкретно данной действительности он нуждается и в другом понятии о факте; по своему содержанию оно ближе всего подходит к вышеуказанному понятию о воздействии индивидуальности на среду.

В самом деле, говоря о воздействии индивидуальности на среду, историк уже включает в свое понятие о нем и понятие о реальном его существовании: он представляет себе изучаемое им воздействие «данным» ему, действительно существующим. Такой характер с гораздо большим основанием можно преимущественно приписывать понятию о воздействии индивидуальности на среду, а не наоборот — понятию о действии среды на индивидуум; ведь с понятием о воздействии данной индивидуальности на среду историк всегда связывает и понятия о вполне определенном месте и времени ее воздействия, значит, и о совершении его в конкретных условиях данного пункта в пространстве и данного момента во времени, чего нельзя сказать относительно понятия о воздействии среды на индивидуумов, если самую

среду не представлять себе с индивидуальными особенностями, отличающимися ее от какой-либо другой среды. Вместе с тем воздействие индивидуальности на среду должно признать индивидуальным ее воздействием на среду²⁰⁰; и чем больше такой деятель обладает индивидуальностью, тем более и воздействие его на среду или продукт, в котором оно обнаруживается, будет отличаться индивидуальным характером, т. е. окажется «случайным» в относительно познавательном смысле, единственным в своем роде фактом, подлежащим научно-историческому объяснению и в его генезисе, и в его последствиях для данной социальной группы, претерпевшей соответствующие изменения. Таким образом, можно сказать, что под историческим фактом в его наиболее характерном, специфическом значении историк преимущественно понимает воздействие индивидуальности на среду.

Обратимся к дальнейшему выяснению того общего содержания, которое историк вкладывает в свое понятие о факте в вышеуказанном смысле слова.

Самая этимология слова заслуживает внимания: слово *factum* означает то, что сделано; но историк не может довольствоваться таким чисто механическим пониманием факта: для него *factum* означает то, что кем-либо сделано; под фактом он преимущественно понимает воздействие индивидуальности на окружающую его среду — мертвую и в особенности живую. В таком смысле, например, скребок, сделанный из кремня, есть факт; удар, нанесенный А его врагу В, есть факт; слово, сказанное А его другу С, есть факт.

Воздействие индивидуальности на среду не представляется историку механическим процессом уже потому, что такая индивидуальность понимается им в смысле субъекта, который характеризуется единством сознания, придающим единство и его действиям; значит, и воздействие такого субъекта на среду характеризуется не механическими, а психическими его особенностями. Следовательно, можно сказать, что историк изучает те факты, которые состоят в психофизическом воздействии индивидуальности на среду, и обращает внимание преимущественно на психический характер такого воздействия; даже воздействие субъекта на мертвую среду характеризуется теми превращениями энергии и перемещениями материальных точек, которые

²⁰⁰ Воздействие данной среды на индивидуума можно также назвать индивидуальным, поскольку она отличается от другой среды, а значит, и ее воздействие будет отличаться от воздействия другой среды на того же индивидуума; но с такой точки зрения, сама среда, дифференцирующая экземпляры данного вида, получает индивидуальное значение.

субъект производит ввиду какой-либо цели; тот же психический характер его воздействия, разумеется, обнаруживается еще яснее в его отношении к живой человеческой среде.

Итак, нисколько не отрицая механического воздействия человека на среду, я думаю, что оно не представляет самостоятельного интереса для историка; в качестве историка ученый специально интересуется психическим воздействием индивидуальности на среду; но психическое воздействие индивидуальности характеризуется воздействием ее сознания на среду, и оно всего лучше обнаруживается в ее воздействии на одушевленную же общественную среду; значит, можно придти к заключению, что под историческим фактом в наиболее характерном, специфическом его смысле следует преимущественно разуметь воздействие сознания данной индивидуальности на среду, в особенности на общественную среду.

Предложенная формула для правильного ее понимания нуждается, однако, в некоторых дополнительных разъяснениях.

Следует заметить прежде всего, что под понятием «индивидуальности» можно разуметь и коллективное лицо, поскольку оно в каком-либо отношении может быть представлено в виде индивидуальности; значит, под «индивидуальностью» в вышеприведенной формуле можно разуметь и все человечество, поскольку оно в качестве носителя сознания воздействует на окружающую его среду, а его воздействие признавать главным историческим фактом, обнимающим все остальные. В зависимости от того более или менее широкого значения, какое историк приписывает тому же термину (например, смотря по тому, будет он разуметь под индивидуальностью группу народов, между собою родственных (или государств), или отдельный народ (или государство), или общественный слой, или город, или союз, или, наконец, отдельное физическое лицо), он может говорить о факте воздействия такой индивидуальности на среду в более или менее широком смысле.

Понятие среды можно также расширять или суживать в зависимости от его содержания: историк может говорить, например, о воздействии человечества на окружающую его среду вообще или на мертвую, или на органическую, или на общественную среду в частности; о воздействии данного народа или государства на данную группу соседних народов или государств, о воздействии данного индивидуума на общество.

Понятию о самом воздействии индивидуальности на среду можно также придавать различные значения в зависимости от его содержания. Последнее может быть чрезвычайно разнообразным, но легко заметить, что историк обращает наибольшее внимание на волевое

воздействие данной индивидуальности. В самом деле, всякое действие тем менее чисто механическое, чем в большей мере оно оказывается результатом психических, а не одних только физических факторов; но наиболее характерным в психическом отношении фактором действия должно признать волю; без воли, в частности, без волевого решения, нельзя представить себе и целесообразное действие, т. е. действие, сознательно направленное самим действующим субъектом к известной цели; вместе с тем наиболее непосредственное воздействие индивидуальности на среду имеет характер волевого воздействия. В «первобытных» обществах можно уже встретить людей, обладающих довольно резко очерченной индивидуальностью и воздействующих на своих соплеменников²⁰¹. «Исторические деятели» обыкновенно также оказываются людьми, наделенными сильной волей, благодаря которой они бывают в состоянии с большей, чем другие, решительностью, настойчивостью и постоянством преследовать свою цель и, таким образом, воздействуют на общественную группу; достаточно припомнить имена хотя бы, например, Фемистокла, Юлия Цезаря, Лютера, Петра Великого, Фридриха Великого, Наполеона, Бисмарка и приписываемое им значение в истории для того, чтобы придти к заключению, что историк интересуется преимущественно волевым воздействием таких индивидуумов на данное целое, т. е. на ход истории²⁰². В аналогичном смысле можно рассуждать, конечно, и о целом народе как о своего рода индивидуальности, воздействие которой на окружающие народы также находится в зависимости от степени волевого ее напряжения: историк обращает внимание, например, на ту силу воли, какую французы обнаружили в эпоху революции в борьбе против коалиции.

Впрочем, и факты с индивидуальным характером, в свою очередь, могут оказывать подобного рода воздействие; но последнее все же сводится к воздействию коллективного лица (например, войска) на среду; следовательно, и к явлениям подобного рода можно прилагать вышеуказанное построение, только объект его отличается большей сложностью.

Следует заметить, однако, что с точки зрения того понятия о факте, которое включает понятие о результате некоего действия, характери-

²⁰¹ *Verkanndt A.* Führende Individuen bei den Naturvölkern in Zeit. für Socialwissenschaft. Bd. IX (1908). S. 542–553, 623–639.

²⁰² *Кареев Н.* Сущность исторического процесса и роль личности в истории. СПб., 1890; здесь можно найти обзор мнений о подобного рода воздействиях и критический их разбор.

зующем изменение или, точнее, перемену; не само воздействие человеческого сознания на среду, а продукты такого воздействия и могут быть преимущественно названы историческими фактами.

Даже если называть наличие самого воздействия историческим фактом, все же нельзя рассматривать это воздействие вне его отношения к данному результату. В самом деле, не всякое воздействие индивидуума на среду признается историком заслуживающим названия исторического факта: мне уже выше приходилось указывать на то, что лишь факт, которому историк приписывает ценность, а также действительность, численность и длительность его последствий, получает в его глазах значение собственно исторического факта; следовательно, уже с такой точки зрения, историк, пользующийся термином «факт» в его узком специально историческом смысле (факт из истории человечества), связывает его с понятием о некотором результате. Сверх того, такое воздействие ведь доступно чужому наблюдению только в его результатах. Следовательно, *factum* можно понимать и в смысле того, что кем-то сделано, т. е. не в смысле процесса его воздействия, а в смысле вызванного им результата. Само воздействие обнаруживается, конечно, в его результате; последний и становится обыкновенно доступным восприятию историка или — в громадном большинстве случаев — стороннего наблюдателя, по показанию которого историк судит о факте.

Предлагаемое несколько измененное понимание термина «исторический факт» удобно и в том отношении, что под него легко подвести понятия о продукте или о состоянии культуры: в своих исходных моментах они всегда не что иное, как результаты воздействия индивидуальности на среду.

Таким образом, легко объяснить, почему историк часто разумет под фактом результат данного воздействия индивидуальности на среду в вышеустановленном его значении. Во всяком случае, такая спецификация содержания исторических представлений сама может также служить поводом для употребления термина «факт» в более узком смысле.

При выяснении понятия об историческом факте в вышеуказанном его значении следует еще принять во внимание, что его содержание может быть или сравнительно простым, или очень сложным.

В научном исследовании, разумеется, важно иметь дело с возможно более элементарными простейшими фактами; но столь же важно не терять из виду характерных признаков собственно исторического факта, что и мешает полному его разложению на простейшие элементы, даже если бы это и было возможно. С такой точки зрения,

под простейшим историческим фактом можно разуметь самое элементарное, происходящее в данном пункте пространства и в данный момент времени преимущественно психическое воздействие индивидуальности на один из элементов окружающей ее среды, в особенности общественной среды.

В большинстве случаев, однако, факты, изучаемые историком, оказываются не простейшими, а относительно весьма сложными. Каждый из них можно представить себе в виде целой системы воздействий данной индивидуальности на среду, объединенных единством цели, или даже их результат. Данное орудие есть, например, сложный факт, ибо оно есть результат целой системы воздействий его творца на данное вещество (положим, на кремень), объединенных единством цели, ввиду которой он и подверг его обработке. Субъект, в котором такая система воплощается, может быть или физическим, или коллективным лицом; отряд, который берет приступом крепость, систематически выполняет группу или ряд действий, результат которых, положим, состоит во взятии крепости: историк называет взятие крепости фактом.

Впрочем, во многих случаях историк изучает не одну систему таких воздействий, а производную систему воздействий, которую он представляет себе образованной по крайней мере из двух более простых систем воздействий. Субъект, в деятельности которого каждая из них воплощается, находится в противодействии или взаимодействии с другим и т. п. и может мыслиться или в единичном, или в собирательном смысле. Сражение представляется, например, историку такой именно производной системой воздействий: каждая из враждебных сторон (субъектов — в собирательном смысле) совершает ряд воздействий, направленных на противника. В случаях подобного рода можно или говорить о сложном воздействии (т. е. о системе воздействий) на среду, в частности, разумея под нею и того, на кого подобного рода воздействие направлено (например, на противника), или представлять себе систему воздействий, которые субъекты оказывают друг на друга (например, самое сражение), своего рода воздействием противодействующих групп субъектов, находящихся во взаимодействии на среду, т. е. на соответствующие народы или государства, представителями которых сражающиеся оказываются, или на совокупность народов или государств, частями которых можно считать вышеназванные народы или государства и т. п.

Следует иметь в виду, однако, что историк, даже тот, который придерживается идеографической точки зрения, не может ограничиться исключительно тем пониманием исторического факта, которое пред-

ложено в предшествующих рассуждениях; нельзя забывать, что он пользуется понятием об историческом факте и в относительно обобщающем смысле.

В самом деле, понятие о воздействии индивидуальности на среду уже предполагает понятие о влиянии среды: человеческая личность складывается в общественной среде и не может воздействовать на нее без ее содействия, на что уже было указано выше. Вместе с тем историческое изучение преимущественно психического воздействия данной индивидуальности на среду тесно связано с изучением распространения такого воздействия в той же (или более широкой) среде; припомнив, что историк понимает под историческим значением факта (его действительность и проч.), можно сказать, что последнее находится в прямом отношении к сфере данного воздействия (или к его результату).

С такой точки зрения, под вышеустановленное понятие об историческом факте можно подвести факты, которые представляются нам повторяющимися в пространстве и даже во времени. В самом деле, положим, что изобретение, сделанное данным лицом, распространяется в данном обществе или передается последующим поколениям путем внушения, подражания, авторитета и т. п.; но такой факт есть все же факт воздействия изобретателя на среду: сила его обнаруживается в объеме его действия. Само собою разумеется, что в случаях подобного рода историк прибегает к обобщению, поскольку он, например, изучает степень всеобщего увлечения данного общества этим изобретением; но с идеографической точки зрения, он пользуется обобщением, главным образом, лишь для того, чтобы судить об историческом значении (в частности, силе) индивидуального воздействия по объему его действия, о культуре, характеризующей данную социальную группу или ее развитие, в отличие от других, и т. п. В известном смысле историк может даже самое распространение или передачу данного (а не другого) изобретения в данной сфере признать индивидуальным фактом. Если иметь в виду, что термин «изобретение» можно понимать в очень широком смысле, то и вышеприведенное рассуждение получит широкое применение. Само собою разумеется, что в тех случаях, когда изобретение одного субъекта путем подражания и других способов воспроизводится другими субъектами с изменениями, зависящими от индивидуальных свойств воспроизводителя, повторение его может оказаться в значительной мере фиктивным.

Следует заметить, однако, что историк изучает данное целое в реальном его отношении к частям; с такой точки зрения, он также пользуется понятием о действии среды на индивидуальность. Действительно, историк не может построить цельный исторический процесс

из одних только фактов воздействия индивидуальности на среду: для его построения он должен поставить их в связь с фактами действия среды на индивидуальность, т. е. принять во внимание взаимодействие между ними; пренебрегая им, он не объяснит влияния, оказанного на деятеля данным состоянием культуры, и значит, не усмотрит непрерывности изучаемого им исторического процесса, так как не будет в состоянии из отдельно взятых индивидуальных воздействий построить непрерывную эволюционную серию. Итак, ввиду того, что деятельность индивидуальности, а тем более преемственная деятельность нескольких индивидуальностей (единичных или коллективных) развертывается в известной зависимости от окружающей их среды, историк-идеограф также принимает во внимание факт ее действия; но он пользуется таким понятием об историческом факте в смысле действия некоего целого, т. е. среды (в особенности общественной среды), на ее часть, т. е. на данного деятеля, или на преемственную деятельность нескольких деятелей, в каком бы смысле каждый из них ни понимался.

С такой же точки зрения историк может представить себе и воздействие индивидуальности на среду как воздействие части на то целое, к которому она принадлежит; но и в последнем случае он изучает, главным образом, факты воздействия данной индивидуальности или данного «Я» на ту общественную группу, членом которой оно оказывается, и конечно, имеет в виду преимущественно такие его воздействия на «чужие Я», которые вызывают в психике совокупной их группы изменения, имеющие историческое значение.

Впрочем, кроме исторического факта, можно было бы указать и на другие, еще более сложные объекты исторического познания: всякий исторический процесс образования более или менее значительного целого, тесно связанный с процессом взаимодействия между средою и индивидуумом, т. е. с чередованием между действием среды на индивидуума и воздействием индивидуальности на среду, может служить таким объектом. В числе объектов своего изучения историк признает, например, «историю народа», т. е. процесс образования данной народности с характеризующей ее культурой, одним из главнейших; но говоря о процессе подобного рода, историк, в сущности, разумеет под ним конкретно данный процесс образования некоей индивидуальности: в понятие о постепенной ее «индивидуации», или обособлении от окружающей ее среды, он уже включает те понятия об индивидуальном ее воздействии на среду и о действии среды на ее деятельность, которые были выяснены в предшествующих рассуждениях. Понимание такого объекта зависит, конечно, и от мно-

гих других понятий; едва ли не главнейшее из них состоит в понятии о том реальном отношении, в каком «история народа» находится к самому главному из объектов исторического изучения — к истории человечества; на выяснении ее нельзя не остановиться: она представляет такие особенности исторического объекта, которые еще не были рассмотрены выше.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ГЛАВНЫЙ ОБЪЕКТ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Вообще можно сказать, что историк интересуется целостною «действительностью», или совокупностью исторических фактов, связанных между собою, а не разрозненными или оторванными друг от друга обломками действительности²⁰³.

В самом деле, приступая к изучению действительности с идеографической точки зрения, историк, в сущности, представляет себе ее в виде как бы единого целого, которое вмещает в себе все ее части, связанные между собою, в котором каждая из них находит свое положение; тогда он может представить себе и исторические факты или

²⁰³ В трактатах, посвященных рассуждениям о «философии истории», можно найти немало соображений касательно понятия об историческом целом, хотя бы и под другими названиями; но термин «философия истории» употребляется в слишком различных смыслах: и в смысле рассуждений о providentialном плане истории человечества (Боссюэт и др.) или о таком же «воспитании» человечества (Лессинг и др.), или в смысле метафизической концепции мирового развития в идеалистическом или в материалистическом духе, т. е. в смысле «диалектического» развития (раскрытия) единого абсолютно духа (Гегель и др.), или чисто механического процесса (Маркс и др.), или в смысле телеологического построения общего плана истории (Конт); в Новейшее время под «философией истории» понимают и теорию исторического знания вместе с обсуждением «материальных проблем философии истории», т. е. выяснением тех факторов, которыми историческое развитие осуществляется, и его значения (Бернгейм) или «планомерное рассмотрение действительной истории, т. е. рассмотрение ее с точки зрения заранее выбранных руководящей идеи и объединяющего принципа» (Кареев) и т. п.; см.: *Flint R. Philosophy of history in France and Germany. Edinb. and Lond., 1874* (франц. пер. Л. Саггау в 1878 г. в 2 т.); *Кареев Н. Основные вопросы философии истории. М., 1883; в 2 т. (новые издания 1887 и 1897 гг.); Barth P. Die Philosophie der Geschichte als Sociologie, 1-г. Theil. Lpz., 1897; Bernheim E. Lehrbuch. Kap. V, § 5; рус. пер. этого отдела (гл. V, § 5) А. Рождественского. М., 1910.*

целые группы и серии их в виде как бы более или менее значительных частей единой совокупности, в которой они и располагаются.

С такой точки зрения, только мировое целое, единое и единичное, представляется в полной мере действительностью, каждая из частей которой лишь искусственно может быть извлекаема из реального его единства для научного ее рассмотрения. Следовательно, историк, научно строящий действительность, должен стремиться к образованию понятия о ней как о таком целом; он изучает его в соотношении его частей и в совокупности заключающихся в нем исторических фактов.

Впрочем, понятие о мировом целом — предельное: даже в том случае, если ученый принимается за исследование с обобщающей точки зрения, он не должен забывать, что имеет дело только с частью или частичкою действительности; тем менее может историк упускать из виду подобного рода ограничения, научно строя историю в идеографическом смысле. Понятие о мировом целом, кроме того, стоит слишком далеко от собственно исторических исследований; историк понимает объект своего специального изучения в более узком смысле: ему достаточно принять во внимание такой объект, который мог бы включить совокупность исторических фактов в вышеустановленном их значении. С последней точки зрения, историк-специалист рассуждает не о мире как о целом и не о воздействии на него каждой его части, а ограничивает объект своего изучения именно тою индивидуальной частью мирового целого, которая преимущественно известна ему как носительница сознания, воздействующая в качестве таковой на мировое целое и в зависимости от него действующая.

Само собою разумеется, однако, что историк может представить себе эту часть и в виде относительного исторического целого, понятие о котором уже было затронуто выше²⁰⁴.

Действительно, он признает главным объектом собственно исторического познания содержание своего понятия об историческом целом, под условием которого он только и может установить историческое значение каждого отдельно взятого факта, группы, серии, народа и т. п. в надлежащей полноте; но такое содержание он, в сущности, может свести к истории человечества.

Вообще, рассуждая об истории человечества, историк прежде всего характеризует его некоторым реальным единством его состава: человечество состоит из индивидуальностей, способных сообща сознавать абсолютные ценности, что и может объединять всех; по мере объединения своего сознания человечество все более становится «великой

²⁰⁴ См. выше, отдел второй, глава вторая, § 4.

индивидуальностью»; она стремится опознать систему абсолютных ценностей и осуществить ее в истории, воздействуя, таким образом, и на тот универсум, частью которого она оказывается; такое воздействие предполагает, однако, наличие цели, общей для всех по своему значению, существование общей воли и проявление объединенной и организованной деятельности членов целого, созидающих культуру человечества, разумеется, в зависимости от той мировой среды, в которой им приходится действовать.

Понятие об историческом целом строится, однако, преимущественно с эволюционной точки зрения; значит, оно получает и соответствующее содержание в истории человечества. Человечество, более или менее полно представляемое одним или многими народами, оказывается субъектом индивидуальной эволюции, совмещающей в себе и те единичные события, которые оказали влияние на общий ход его развития, и те отдельные исторические группы и серии, из которых оно складывается. В самом деле, пристально всматриваясь в историю человечества, историк замечает все более и более возрастающую взаимозависимость между ее частями: он все менее способен понять историю, например, вне ее зависимости от ряда событий — положим, от тех открытий и изобретений, движений народных масс и переселений, реформ, сражений и т. п. фактов, которые оказывают все большее влияние на целую совокупность народов, т. е. на дальнейший ход их развития; мысленно переходя от предшествующего периода в истории человечества к последующему ее периоду, он все менее в состоянии изучать один без другого историю одного народа вне ее связи с историей другого народа, историю его культуры вне ее отношения к культурным влияниям других народов и т. п.

Вместе с тем субъект такой эволюции, взятый в одном из своих состояний, представляется частью того эволюционного целого, которое образуется из их ряда и осуществляется в историческом развитии; значит, историк может рассуждать и о воздействии этой части, взятой во времени, на осуществление исторического целого, а через него и на универсум, с которым оно находится во взаимодействии.

Таким образом, историк восходит к тому понятию об объекте исторического познания, которое можно назвать «историей человечества»: несколько не устранив рассмотренных выше понятий об изменении и историческом факте, об истории народа и т. д., оно, напротив, предполагает их, только подвергая их дальнейшей индивидуализации.

В самом деле, понятие об истории человечества, конечно, включает понятие об изменении в том его значении, какое оно получает благодаря применению к его построению принципа признания чу-

жой одушевленности: ведь развитие человечества есть индивидуальный ряд изменений, состоящих прежде всего в конструируемом нами процессе постепенно возрастающего единства человеческого сознания в коллективном субъекте — человечестве, благодаря которому оно и приобретает все большее историческое значение. Понятие об истории человечества включает также и понятие о собственно «историческом» факте: ведь всякое целое можно мыслить состоящим из частей, а реальное отношение части к целому — и в виде ее воздействия на целое; таким образом строя наше понятие об историческом объекте, можно сказать, что оно преимущественно состоит в понятии о воздействии части на то историческое целое, к которому она принадлежит; и каково бы ни было конкретное содержание нашего понятия о части, будет оно, например, отождествляться с понятием о данной исторической личности или о целом народе и т. п., самый акт воздействия такой индивидуальности на целое, в зависимости от которого она действует, да и результат такого взаимодействия есть уже исторический факт.

Развитие человечества представляется нам, однако, не разрозненными историческими фактами и даже не группами или сериями их, а единым непрерывным процессом, звенья которого связаны изнутри, т. е. образуются не в одной только зависимости от внешнего воздействия такой индивидуальности на окружающую ее среду или от действия на нее среды; человечество является, конечно, индивидуальной частью, все более сознательно воздействующей на мировое целое; но вместе с тем, взятое в одном из временных состояний своей культуры, оно же становится частью, образующей все с большею сознательностью и то историческое целое, которое по содержанию своему оказывается историей человечества и получает приписываемое ему значение в его взаимодействии с мировым целым.

ЧАСТЬ II

МЕТОДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

§1. *Методы исторического изучения*

В предшествующей части я попытался изложить общую теорию исторического знания; я рассмотрел, каким образом обосновывается та точка зрения, с которой оно строится, и изучение какого-либо объекта становится историческим; я также выяснил, какой именно объект всего более заслуживает такое название. В связи с изложением общей теории исторического знания мне, разумеется, приходилось касаться и методов исторического мышления, например, той роли, которая принадлежит в нем анализу и синтезу, дедукции и индукции.

Не останавливаясь на более подробном развитии вышеприведенных положений в их общем значении, я прямо перейду к той части методологии истории, которая хотя и не пренебрегает производными принципами исторического познания, однако занимается преимущественно рассмотрением главнейших методов исторического изучения. Такое учение исходит, конечно, из той познавательной точки зрения, которая устанавливается в теории исторического познания, и из вышеизложенных рассуждений об его объекте; постоянно пользуясь производными проистекающими отсюда принципами, оно все же сосредоточивается на изложении методов изучения тех фактов, значение которых признается историческим: оно выясняет ту зависимость, которая существует между принятой в нем познавательной точкой зрения и производными принципами, обуславливающими те, а не иные методы, а также между объектом исторического познания и соответствующими приемами его изучения; преследуя задачи подобного рода, оно и получает относительно специальный характер. Таким образом, принимая во внимание ту точку зрения, которая была обоснована в общей теории исторического познания, да и самый его объект и опираясь на некоторые производные принципы, специальная методология истории дает понятие об общих ме-

тодах изучения, главным образом, в их зависимости от данного объекта, т. е. от истории человечества, что и дает основание назвать ее специальной.

Предлагаемое учение все же отличается довольно общим характером: оно должно принимать во внимание производные принципы, а не одни только методы исследования; и рассматривает то общее, что обнаруживается в научных приемах самых разнообразных исторических дисциплин, например в истории языка, в истории философии, религии, науки, искусства и литературы, в истории хозяйства и финансов, в истории права.

Общий характер той части методологии истории, которая занимается изложением методов исторического изучения, явствует также из того, что она не смешивает их с техническими приемами исторической работы. В самом деле, специальная методология истории все еще далека от простой техники исторических работ, а потому ее содержание нуждается в систематическом рассмотрении; она пытается, например, обосновать общий принцип научного сомнения в достоверности заключений, делаемых историком о психическом значении материальной, внешней стороны источника, а не довольствуется только правилом «сомневайся в достоверности исторических источников, не подвергнутых исторической критике» или просто даже формулой «критикуй источник прежде, чем приняться за реставрацию тех исторических фактов, к которым он имеет отношение» — формулой, часто выражаемой лишь в квалифицированном виде применительно к данным разновидностям источников; она стремится выяснить методологические принципы, в силу которых историку приходится пользоваться психологией для реконструкции исторических фактов, и обосновывает ими те именно методы, которые нужны ему для научного построения данного рода исторических фактов, а не ограничивается высказыванием правил, хотя бы, например, правила, что историк должен прибегать к выводам психологии, касающимся учения о самовнушении, для объяснения, положим, факта появления стигматов у известного исторического лица, и т. п.

Впрочем, указывая на общий характер рассматриваемого учения, не следует упускать из виду, что оно дает понятие о самостоятельном, собственно историческом методе, применяемом к изучению истории человечества, и таким образом, охраняет историю от слишком легкого преобладания в ней методов, свойственных другим наукам, но малопригодных для собственно исторического исследования, и затемняющих характерные его особенности; оно также предостерегает исследователя и от слишком поверхностных аналогий и выводов.

Понятие о той части методологии истории, которая посвящена изложению методов исторического изучения, получит дальнейшее выяснение, если обратить внимание на главнейшие ее отделы; они отличаются друг от друга и по познавательным целям, и по объектам изучения.

В самом деле, учение о методах исторического исследования состоит из двух отделов, уже намеченных выше, — методологии источниковедения и методологии исторического построения¹. Методология источниковедения устанавливает главным образом те производные принципы и методы, на основании которых историк считает себя вправе утверждать, что факт, известный ему из данных источников, действительно существовал; она рассматривает, что именно источники дают для нашего знания об исторической действительности и в какой мере оно доступно нам при данных условиях. Методология исторического построения рассуждает о производных принципах и методах построения истории из фактов, данные о которых уже были предварительно истолкованы и проверены; она не задается вопросом о том, в силу какого рода соображений историк признает, что они действительно были, а предполагая его решенным в утвердительном смысле, только выясняет, каковы производные принципы и методы, которыми историк пользуется для того, чтобы научно конструировать историческую действительность.

Следует иметь в виду, что вышеуказанное различие между методологией источниковедения и методологией исторического построения проводится с точки зрения аналитической, а не генетической; в действительности изучение исторических источников идет, конечно, рука об руку с изучением исторического процесса и, значит, могут быть случаи, когда историк уже пользуется методами исторического построения для того, чтобы выяснить научную ценность данного источника; вообще можно сказать, что в тех случаях, когда источник сам рассматривается как исторический факт, к его изучению уже прилагаются методы исторического построения; но с принятой выше точки зрения, все же можно и должно различать методологию источниковедения от методологии исторического построения: и задача, и предмет их изучения различны.

Ввиду соображений, уже изложенных выше, в состав той части методологии истории, которая рассматривает методы исторического изучения, нет нужды включать рассмотрение технических приемов исторических исследований: особый круг знаний, который можно

¹ См. выше, с. 19.

было бы назвать исторической технологией или техникой исторических работ, должен был бы давать понятие о весьма разнообразной совокупности специальных дисциплин, нужных для производства подобного рода работ².

§2. *Методы исторического изучения в современной литературе*

В общем очерке развития методологии истории я уже указал на главные периоды, которые можно различать в нем, и на важнейшие из сочинений, авторы которых частью затрагивали теорию исторического познания, частью излагали и методы исторического изучения.

В известных своих сочинениях Лукиан и Тацит, например, уже преподали несколько наставлений касательно таких приемов. Фосс и последующие писатели, а в Новейшее время Бернгейм, Ланглуа-Сеньобос и Мейстер с его сотрудниками даже преимущественно останавливались на их рассмотрении, впрочем, далеко не всегда отличая их от техники исторических работ³. В настоящем отделе, не возвращаясь к сказанному выше, я ограничусь кратким обзором одних только общих трудов по исторической методологии в узком смысле, появившихся в Новейшее время; они обыкновенно дают более или менее широкое понятие о методологии источниковедения и о методологии исторического построения⁴.

² Ср. выше, с. 19–20. К области техники исторических работ можно было бы отнести, например, следующие отрасли знаний: 1) правила собирания и хранения исторического материала, в частности — музееведение, архивоведение, библиотековедение и т. п.; 2) правила воспроизведения или издания исторического материала, источников вещественных и письменных; последнее — задача археографии в узком смысле; 3) правила наведения исторических справок, т. е. библиография, важная и для источниковедения, и для исторического построения; 4) правила исторического построения, т. е. составления историко-географических карт, синоптических таблиц разного рода и т. п. С исторической техникой не следует смешивать так называемые «вспомогательные науки»; замечания о них см. ниже.

³ См. выше. Введ., § 3.

⁴ Wachler L. Geschichte der historischen Forschung und Kunst seit der Wiederherstellung der litterarischen Cultur in Europa. Göttingen, 1812–1820: в 2 т. и 5 частях; в разных отделах автор сообщает указания на некоторые из старейших сочинений, касающихся методов исторического изучения; новейший обстоятельный, хотя и не лишенный пробелов очерк см. у Bernheim E. Lehrbuch. Kap. II, § 3. Historische Entwicklung der Methode (S. 205–250); текущая литература — в Jahresberichte der Geschichtswissenschaft с 1880 г., когда вышел первый том, посвя-

Вышеуказанное развитие теории исторического познания, конечно, имело некоторое влияние и на соответствующее понимание методов исторического изучения; но и развитие филологических, а также собственно исторических знаний давно уже получило существенное значение в их разработке: филологи и историки также выясняли приемы исторической науки; они подходили к ним не столько с общей философской, сколько со специальной научно-исторической точки зрения, и вносили в учение о них результаты своих собственных конкретно-исторических исследований.

В начале прошлого века, когда Бёк приступил к своим чтениям по «энциклопедии и методологии филологических наук», рассматриваемое учение стало приобретать более систематический характер: методы исторического изучения получили в его труде более прочное обоснование и более широкую постановку. Вообще, Бёк испытал на себе некоторое влияние немецкого идеализма: сам он, например, указывал на то, что воспользовался идеями Шлейермахера. В своем построении Бёк исходил из понятия о филологии как о «познании познанного», что, разумеется, предполагало признание его объективно данным; с такой точки зрения, он пришел к заключению, что «цель» филологии — «чисто историческая», и в сущности, не отграничивал от нее истории; подобно учителю своему, Вольфу, он в таком же широком смысле понимал и классическую филологию: она должна познавать классическую древность в ее совокупности⁵. Впрочем, различая форму познания от «материального» его содержания, Бёк проводил соответственное различие между методами изучения, логически предшествующими содержанию науки, и ее результатами; но знаменитый эпиграфист не мог довольствоваться изложением одних формальных методов, которые он отождествлял преимущественно с герменевтикой и критикой; он особенно интересовался «филологической реконструкцией» классической древности, т. е. древностей частного и государственного быта греков и римлян; в связи с характеристикой «материальных дисциплин учения

щенный обозрению исторической литературы за 1878 г. (отдел методологии истории — лишь с XII т.), а также в исторических журналах, особенно в *Rev. de synthèse historique* (с 1900 г.) и в *Hist. Zeit.* (с 1859 г.; отдел «Notizen» с указаниями на литературу по философии и методологии истории — с 1893 г.) и др.

⁵ *Wolf F. A. Vorlesungen über die Alterthumswissenschaft. B-de I–V, herausgegeben von J. D. Gürtler und S. F. W. Hoffmann. Lpz., 1839; см. vd. I. S. 13; Supplementband (VI). S. 6–76.* План труда, однако, теоретически слишком мало обоснован и слишком приноровлен, по словам Бёка, к «эмпирически данному», что и лишает его внутреннего единства.

о (классической) древности» он, разумеется, часто касался и приемов ее реконструкции, но не выделил их в особое учение о методах исторического построения. Хотя Бёк не успел сам окончательно выработать систему, свободную от недостатков, и, в сущности, посвящал свои лекции изложению методов исторического изучения только применительно к классической древности, но все же его курс по полноте и разносторонности содержания долгое время оставался единственным в своем роде и, наконец, уже по смерти автора появился в печати⁶.

Черезмерно широкое понимание филологии, предложенное Бёком, вызвало, однако, сомнения среди тех филологов, которые не решались сводить филологию на историю, и разумеется, не могло удовлетворить самих историков⁷. Между тем задолго до напечатания вышеназванного труда потребность в разработке методов исторического изучения стала ощущаться и среди историков. Во главе их можно, конечно, поставить Нибура, с таким успехом применившего филологию к истории: подобно Ф. А. Вольфу, «герою и эпониму» немецких филологов, он пользовался критическим методом при изучении исторических преданий. В своей «Римской истории» Нибур, благодаря широкой эрудиции, привлек самый разнообразный материал для их истолкования и показал, какое значение «разносторонняя и глубокая» критика имеет для их оценки; он также обнаружил великую способность представлять себе живые образы «людей и предметов» и постигать действительную жизнь в полноте ее индивидуальных особенностей; вместе с тем он следил и за ее развитием, особенно в области социально-экономических отношений, в «учреждениях и администрации» и т. п. Постоянно отвлекаемый от науки, Нибур не дал, однако, какого-либо цельного изложения своих теоретических взглядов, хотя и обнаружил многие из них на деле в своей «Римской истории»; она надолго стала образцом исторического исследования⁸.

⁶ *Boeckh A. Encyclopädie und Methodologie der philologischen Wissenschaften, herausgegeben von E. Bratuschek. 1 Aufl. Lpz., 1877; 2 Aufl., besorgt von R. Klussmann. Lpz., 1886; см. S. II, 18, 55 ff., 255 ff. и др. Книга снабжена значительным количеством библиографических указаний, доведенных Клуссманом до Новейшего времени, а также указателем. Впрочем, отдел «государственных древностей» не вошел в книгу, так как лекции о греческих государственных древностях должны были выйти особым изданием.*

⁷ *Usener H. Vorträge und Aufsätze. Lpz., 1907. S. 10, 14, 16, 21 ff.; о G. Hermann'e см. там же. С. 17.*

⁸ *Niebuhr B. Römische Geschichte, N.A. Berl., 1873. 3 B-de; Classen I. Barthold Georg Niebuhr. Gotha, 1876; Грановский Т. Соч. Ч. II. С. 7–118 и др.*

Впрочем, материалы для курсов по методологии истории в узком смысле начали подбирать преимущественно с 1820-х годов и большей частью лишь в связи с ведением крупных научных предприятий, вроде «*Monnmenta Germaniae Historica*», или с теми серьезными историческими занятиями, которые стали практиковаться, например, в *École des Chartes* и в германских университетах, главным образом, с того времени, когда Ранке в 1834 г. учредил свое известное «историческое общество» в Берлине; потребность в научных пособиях по методологии, разумеется, стала возрастать после того, как аналогичные порядки возникли благодаря реформе, предпринятой Дюрри в 1868 г., во французских университетах, а затем и в университетах других стран.

До позднейшего времени, однако, достаточно общего руководства по методологии истории не появлялось, хотя бы в вышеуказанном узком смысле. В своих вступительных лекциях к курсу новой истории Арнольд, большой поклонник Фукидида и Нибура, правда, уже коснулся некоторых важнейших положений подобного рода: он высказал, например, несколько замечаний о степени доверия, с каким должно относиться к истории, особенно о степени достоверности современных свидетельских показаний, и попытался в общих чертах выяснить «метод исторического анализа» и синтеза в приложении его к периодизации истории и к пониманию прошлого его Родины с того времени, когда в ней появились политические партии; но талантливый автор лекций затронул такие темы слегка и не успел подвергнуть их систематической разработке⁹. Значительно позднее, в 1886 г., один из видных английских историков, Фримэн, преданный ученик Арнольда и почитатель Мэколея, выступил с книгой, специально посвященной обзору «методов исторического изучения». В интересных лекциях, из которых возникла книга, названная выше, Фримэн, почти одинаково знакомый и с «древней», и с «новой историей», касается самых разнообразных предметов. Слишком мало останавливаясь на понятии об истории, которая, по его мнению, изучает человека, главным образом, как «существо политическое», автор прежде всего говорит о вспомогательных науках, например о геологии, с родственными ей дисциплинами, и в особенности о филологии, а также об изучении права; далее он указывает на затруднения, с которыми связано изучение истории, не имеющей своей выработанной технической терминологии; он также рассуждает о степени достоверности исторического знания: историк с меньшим доверием, чем натуралист, может

⁹ *Arnold Th. Introductory lectures on Modern History*; лекции были читаны в 1842 г.; новое издание с примечаниями Н. Reed'a. N.-Y., 1845.

сказать, что факт действительно произошел или что дело происходило таким-то образом, но зато он ближе подходит к «истинному знанию» причин данного факта или того, почему дело произошло именно так, а не иначе; вслед за тем он еще говорит о подлинности и достоверности источников, различая между ними «повествовательные», «монументальные» и «документальные», а также характеризует важнейших классических и средневековых писателей, не забывая, впрочем, и выдающихся английских и некоторых немецких историков позднейшего времени. В своей книге Фримэн, кроме того, обращает внимание на «единство истории» и на значение путешествий для реконструкции исторического прошлого¹⁰. При ознакомлении с разбираемым сочинением легко заметить, что Фримэн слишком мало интересуется теоретическим обоснованием своих правил и иллюстрирует их примерами, почерпнутыми преимущественно из древней и английской истории; система его изложения представляется несколько случайной, а некоторые из предлагаемых им правил производят довольно «банальное» впечатление. Тем не менее труд Фримэна имеет некоторое значение: в нем можно найти живую характеристику конкретных типов источников, несколько замечаний об исторической достоверности и соображения о «единстве истории», в силу которого необходимо соблюдать и единство исторического построения.

Ни Фримэну, ни некоторым другим ученым, в то время занимавшимся исторической методологией, не удалось, однако, вполне утвердить в среде ученых специалистов сознание в необходимости подобного рода научной дисциплины. Возраставший интерес к ней вызвал даже протест со стороны почтенного историка Лоренца¹¹; он полагал, что трактаты по методологии истории не могут создать исторических трудов, так как основание для правильного суждения о каком-либо предмете лежит в особенностях судящего, а не в правилах исторической критики; он указывал на то, что историческая методология развивалась путем целого ряда колебаний, что отрицаемое через несколько лет утверждали, и проч. Такой скепсис не помешал, однако, самому Лоренцу предложить несколько правил исторической критики и подвергнуть критическому рассмотрению несколько исторических сочинений, что, очевидно, предполагало наличие у самого критика какой-либо руководящей точки зрения на задачи и на приемы исторического изучения. Лоренц был, конечно, прав, когда утверждал,

¹⁰ *Freeman E.* The methods of historical study. Ld., 1886.

¹¹ *Lorenz O.* Die Geschichtswissenschaft и проч. Zweit. Theil. Berl., 1891; III Abschnitt: Forschungslehre und Unterricht (S. 279–416).

что талант не создается, а создает; но он напрасно не хотел принять во внимание, что обоснование методологических приемов не менее важно, чем практическое усвоение их в процессе самой исторической работы; что и талант и в особенности рядовые работники, очень полезные для науки, все же воспитываются и на методологических курсах; что с такой точки зрения, методологические курсы должны служить частью введением, частью заключением к серьезным историческим занятиям.

Последующее развитие литературы по методологии истории также мало оправдало скептическое отношение к ней Лоренца: помимо более или менее общих трудов, уже рассмотренных выше, можно упомянуть здесь о лекциях, читанных Сеньобосом в Вольной школе социальных наук в Париже.

Сеньобос попытался изложить методы исторического изучения в применении их к социальной истории (главным образом, экономической)¹². В первой части своего труда Сеньобос, в сущности, дает понятие о методологии источниковедения в применении ее к изучению «документов социальной истории»: здесь автор предлагает, например, «теорию о документе», разумея под ним «след предшествующих ему действий», и дает понятие о психологическом его толковании; он так же хорошо сводит правила критической обработки и оценки статистических данных. Во второй части Сеньобос останавливается на методологии исторического построения социальной истории: он обстоятельно излагает здесь приемы группировки сосуществующих и последовательных фактов.

Вообще в книге Сеньобоса можно найти весьма полезные советы; он предостерегает всякого от чрезмерного доверия к статистическому и другому материалу, касающемуся социальной истории, и от увлечения обобщениями в ее области. Некоторые из замечаний, высказанных мною относительно «Introduction aux études historiques», тем не менее остаются в силе и применительно к разбираемому труду: и в своей новой книге Сеньобос, например, все же не дает теоретического обоснования многих своих положений (хотя и в меньшей степени, чем раньше), а также не останавливается на выяснении логического сходства или различия между науками социальными и историческими; он преувеличивает субъективный характер исторического метода, что, может быть, объясняется пренебрежением его к тому разряду исторических источников, которые можно назвать ос-

¹² *Seignobos Ch. La méthode historique appliquée aux sciences sociales. Par., 1901.* Рус. пер. П. Когана. М., 1902.

татками культуры; он довольствуется чисто эмпирическими определениями (например, эволюции) и т. п.

Впрочем, кроме более или менее общего рассмотрения принципов и методов исторического изучения, можно обсуждать те же проблемы и в более конкретной их постановке, т. е. в приложении тех, а не иных методов к источниковедению, и к построению истории данного народа или более или менее крупного исторического периода.

В трудах подобного рода можно найти или общие введения, в известной мере затрагивающие принципы и методы исторического изучения, или применение их к обозрению источников и пособий, имеющих отношение к той, а не иной области истории.

Общее введение в изучение истории, например, можно найти отчасти в монументальном труде В. С. Иконникова: он касается в нем даже некоторых проблем, входящих в область теории исторического познания (например, понятия об историческом законе, о роли личности в истории и т. п.), но не выделяет ее и останавливается, главным образом, на обозрении методов исторического изучения. Автор, правда, мало затрагивает учение об интерпретации, но отводит много места учению о критике: он следит за ее развитием преимущественно со времени Болингброка, Вольтера и Шлецера и обстоятельно выясняет ее приложение к разным по своему значению видам исторических источников, впрочем, уделяя слишком мало внимания памятникам вещественным и произведениям литературы. В одной из последующих глав автор дает понятие о «внутренней критике» и рассматривает некоторые из методов понимания исторических фактов в «необходимой» их «связи» и приемов «исторического искусства»; он характеризует сравнительный метод и предупреждает против чрезмерного увлечения статистическим методом, обезличивающим историю; он рассуждает также о «теории прогресса», с точки зрения которого строится исторический процесс; наконец, он переходит к разбору условий, при соблюдении которых историк может достигнуть возможно более объективного и художественного изображения прошлого. Таким образом, в своем введении В. С. Иконников касается целого ряда вопросов, имеющих самое близкое отношение к методам исторического изучения: хотя он и не дает систематического учения о них, но сообщает много полезных библиографических указаний, выписок и соображений ввиду главной цели его труда, разумеется, приносивших преимущественно к потребностям русской исторической науки¹³.

¹³ *Иконников В.* Опыт русской историографии. Киев, 1891. Т. I. Кн. I. С. 1–269.

В других сочинениях, представляющих введение в данную конкретную область истории, методология источниковедения получает характер обозрения источников данной истории, приемов их изучения и т. п., а методология исторического построения превращается в обозрение пособий, касающихся той же истории, точек зрения, с которых они написаны, приемов группировки или периодизации, которые в них приняты, и т. п. В числе трудов подобного рода, имеющих, конечно, весьма важное значение для правильной постановки исторических работ в известной области, я укажу для примера на «Введение» в изучение истории Древней Греции и Нового времени, составленные В. П. Бузескулом и Г. Вольфом. В своем «Введении в историю Греции», главным образом, доэллинистического периода В. П. Бузескул с большим знанием дела частью обозревает источники, понимая их в самом обширном смысле слова (язык, предания, памятники вещественные, надписи, а также другие документы и «литературные произведения»), частью дает очерк разработки греческой истории преимущественно в прошлом веке. При обзоре источников автор обращает внимание на приемы их истолкования и критики, а также на их значение, касаясь их, впрочем, лишь применительно к отдельным видам источников и в особенности к сочинениям важнейших греческих историков; а в очерке историографии Нового времени он не упускает из виду ни общих течений исторической мысли, ни открытий, оказавших влияние на развитие исторического понимания древнегреческой жизни, ни приемов ее построения у разных авторов¹⁴. В своем «Введении в изучение новой истории» Г. Вольф также обозревает источники новой истории, разделяя их на «предания» и «остатки»; в части, посвященной обзору «преданий», особенно ценным должно признать отдел о мемуарах, а в известной мере — и о повременной печати; в части, озаглавленной «Остатки», многое заслуживает внимания, в особенности отдел о государственных договорах; в книге можно найти и такие главы, которые касаются развития историографии и, следовательно, имеют отношение к методологии исторического построения. Впрочем, автор едва ли вполне переработал собранный им обширный материал и преимущественно остановился лишь на обзоре источников новой истории, а не на ее построении в современной историографии; он напрасно оставил без достаточного внимания такие источники, как письма (не

¹⁴ Бузескул В. Введение в историю Греции, изд. 2-е. Харьков, 1904; ср. *его же*. Краткое введение в историю Греции. Харьков, 1910 с более или менее значительными сокращениями во многих отделах.

говоря о менее важных), и несколько пренебрег дипломатикой актов Нового времени; вместе с тем он, главным образом, имел в виду лишь «политическую» историю и не может удовлетворить того, кто стал бы искать в его книге хотя бы краткое обозрение попыток построить историю культуры Нового времени¹⁵.

«Введения» подобного рода не могут, однако, заменить собою систематического рассмотрения методов исторического изучения в вышеуказанном смысле: оно имеет свои задачи, постановка и решение которых предлагается в нижеследующих отделах, посвященных изложению методологии источниковедения и методологии исторического построения.

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ

Методология источниковедения до сих пор еще не представляет цельного и систематически развитого учения: одни предлагают, например, взамен такого учения только обозрение конкретно данных исторических источников, их коллекций и изданий в связи с «эвристикой» и отводят особое место критике; другие готовы отождествить методологию источниковедения с «критикой», понимая ее в широком смысле; третьи изучают исторические источники в их генезисе, например в зависимости от тех условий и форм общественной жизни, благодаря которым они возникли, и т. п.

В настоящем отделе я и попытаюсь прежде всего выяснить понятие о методологии источниковедения в связи с тою целью исторического познания, которую она стремится достигнуть; вслед за тем я перейду к систематическому рассмотрению главнейших ее частей, в основных своих положениях все еще очень мало разработанных даже в современной литературе, и остановлюсь на учении об источниках исторического познания, т. е. о том, что именно следует разуметь под источником и каковы главнейшие разновидности источников, а также на учении о главнейших критериях и методах их интерпретации и критики; в заключение я коснусь и того значения, какое исторические источники имеют для нашей науки.

¹⁵ Wolf G. Einführung in das Studium der neueren Geschichte. Berl., 1910.

ВВЕДЕНИЕ

§1. *Понятие о методологии источниковедения*

Между общую часть методологии истории и той частью, которая посвящена изложению учения об объективно данных источниках исторического знания, нельзя не заметить довольно тесной связи, благодаря которой легко установить и принципиальное значение вышеназванного учения.

Общая часть методологии истории обосновывает, главным образом, ту познавательную точку зрения, с которой историк должен изучать действительность вообще, но не предрешает вопроса о действительном существовании тех именно фактов, которые известны историку из данных источников; решение такой задачи и выпадает на долю методологии источниковедения.

В самом деле, хотя историк, признающий эмпирически данную действительность, не может сомневаться в действительном существовании факта, доступного непосредственному его наблюдению, но он не в состоянии подвергнуть собственно «исторический» факт непосредственному наблюдению в том именно, что всего лучше характеризует его: чужие состояния сознания сами по себе не поддаются наблюдению историка; он только заключает об их существовании¹⁶. С последней точки зрения, значит, основательность наблюдений, производимых историком даже над фактом, совершающимся перед ним, представляется ему проблематичной: утверждение, что такой факт действительно совершается (поскольку оно касается внутренней, психической его стороны), требует обоснования, т. е. нуждается в каких-либо научных критериях, на основании которых можно было бы признать действительное существование тех внутренних психических факторов, действие которых в данной индивидуальной их комбинации обнаруживается во внешних формах, доступных восприятию историка.

В сущности, однако, историку обыкновенно приходится иметь дело (поскольку речь идет об истории в наиболее характерных ее особенностях) не с совершающимися, а с совершившимися фактами: историк занимается научным построением исторического целого; но всякое эволюционное целое в известный момент действительно существует только в одной из своих частей; для того чтобы представить себе такое эволюционное целое, историк должен восстановить путем научной конструкции состояния, пройденные данной индивидуально-

¹⁶ См. выше, с. 237–252.

стью (личностью, народом и т. п.); если данная индивидуальность сама уже перестала существовать, он конструирует вообще все ее состояния, поскольку они оказались частями пройденного ею развития; если она продолжает существовать, то все уже пройденные ею состояния и т. п.

Восстановление прошлых, ранее существовавших стадий развития находится, однако, в самой тесной зависимости и от тех источников, на основании которых такое восстановление может быть сделано: пользуясь наличным историческим материалом, характеризующим (или в отдельности или вместе с другими фактами) прошлое состояние культуры, историку приходится восстанавливать факты; значит, восстановление их зависит от наличия исторических источников в самом широком смысле; а так как самих фактов уже нет, то и пользование историческими источниками, которые нельзя, конечно, отождествлять с исчезнувшими фактами, требует довольно изощренных методов их изучения.

Итак, если иметь в виду, что лишь самая незначительная часть действительности, протекающей пред историком, непосредственно доступна личному его чувственному восприятию, а остальная все же известна ему лишь по ее остаткам или из чужих наблюдений, то понятие о его задаче сильно осложнится. Свое знание о большинстве сложных исторических фактов, например, историк принужден черпать из чужих наблюдений, воспоминаний и оценок, доступных его собственному чувственному восприятию. В случаях подобного рода историку приходится предварительно выяснять значение не самого факта и даже не его остатков, а данного о нем показания или известия, очень часто восходящего к лицу, которое вовсе не было подготовлено к научному наблюдению над заинтересовавшим его фактом; а при таких условиях вопрос об основательности его знаний касательно изучаемого факта встает с еще большею силою и в еще большей мере нуждается при своем решении в принципах и методах, излагаемых в методологии источниковедения.

В самом деле, можно ли без всяких критериев пользоваться историческим источником и утверждать, что факт, восстановленный на его основании без предварительного его рассмотрения, действительно существовал? Помимо чисто субъективных условий, затрудняющих вообще научное изучение всякого материала, достаточно здесь представить себе (пока хотя бы в самых общих чертах), что надо разуместь под историческим источником, для того чтобы ответить на такой вопрос отрицательно; в сущности, историк признает его психическим продуктом, т. е. продуктом человеческого творчества в широком смысле слова; с такой точки зрения, например, он различает какой-либо *ludus*

naturae от каменной поделки, в которой запечатлелось хотя бы слабое проявление человеческого творчества, или бессмысленные знаки — от начертаний первобытной письменности. В связи с вышеуказанным пониманием источника историк полагает, что такая психика, построенная им, разумеется, на основании принципа признания чужой одушевленности в качестве ранее бывшей, могла быть иною, чем теперешняя; что она далеко не полно отразилась в источнике, особенно если он сохранился только в обломках или в отрывках; что правильное понимание ее требует особого рода предосторожностей при обращении с ними и т. п.; не выяснив их научного значения, историк, очевидно, не может пользоваться таким материалом и не решится утверждать, что факт, знание о котором он черпает из него, действительно существовал. Вместе с тем историк может утверждать нечто подобное лишь в том случае, если он признает показания о фактах, заключающиеся в историческом источнике, «истинными»; но так как чужие показания, очевидно, могут и не удовлетворять такому условию, то, не зная *a priori*, какое из них удовлетворяет ему, а какое не удовлетворяет, историк, значит, должен подходить к каждому показанию с научным сомнением; он должен подвергнуть его рассмотрению, благодаря которому он и получает возможность хотя бы в некоторой степени приблизиться к знанию действительности. Следовательно, историку надо установить критерии, на основании которых он мог бы утверждать, что факт, известный ему из данного источника, действительно совершился; установление таких критериев, а также связанных с ними методов изучения исторических источников и проводится в методологии источниковедения.

Итак, основная задача методологии источниковедения — установить те критерии, на основании которых историк считает себя вправе утверждать, что факт, известный ему из данных источников, действительно произошел в настоящем или в прошлом развитии человечества; опираясь на них, он с такой точки зрения изучает объективно данные источники исторического знания; специальные методы, при помощи которых историк исследует источники, складываются в зависимости от указанной точки зрения и применительно к тем свойствам, которые он приписывает им.

В самом деле, от логических методов в их чистом виде (положим, чистой дедукции или чистой индукции) методы исследования собственно исторических источников отличаются большею сложностью и конкретностью: несколько отвлеченных, логически отдельных методов мышления сплетаются в каждом из них в одно целое; историк, интересующийся данным источником, пользуется не абстрактными

методами дедукции или индукции вообще, а более или менее сложной их комбинацией, приуроченной к изучению данных своего исторического опыта, т. е. данного рода источников. Таким образом, принцип группировки подобного рода способов историк разыскивает не только в формальных (логических) особенностях мышления, ибо разные, с логической точки зрения, методы приложимы к одному и тому же роду источников; означенный принцип он ставит и в зависимости от своего представления об эмпирически данном ему историческом материале; он группирует методы подобного рода, имея в виду различие комбинаций логических способов изучения в зависимости от того или иного рода источников и вытекающем отсюда различии соответствующих для того способов исследования; каждый такой способ исследования может совмещать несколько методов, различных с логической точки зрения, но комбинируемых вместе для достижения одного и того же результата.

В зависимости от свойств изучаемого материала, который историку человечества представляется психическим продуктом, и такие комбинации методов его изучения оказываются, значит, преимущественно комбинациями психологических методов изучения психических продуктов, называемых историческими источниками.

§ 2. *Методология источниковедения в современной литературе*

Долгое время методология источниковедения развивалась в тесной зависимости от филологии и науки о классической древности: самые понятия об «источнике», а также о герменевтике и критике возникли в связи с филологической интерпретацией и критикой важнейших произведений литературы классической древности, интересовавших древних «грамматиков» — экзегетов и «критиков», а также гуманистов и позднейших представителей науки о классической древности. Вместе с тем, однако, такая зависимость задерживала самостоятельное развитие методологии источниковедения: лишь с начала прошлого века она стала приобретать значение особой научной дисциплины; с того же времени можно начинать и обозрение посвященной ей литературы.

Великий представитель религиозного идеализма Шлейермахер впервые попытался выработать и общее учение об основных принципах методологии источниковедения; правда, и он, подобно Эрнести и Морусу, не разрывал их связи с экзегетическим изучением Нового Завета; но он и не следовал примеру Волфа, все еще рассматривавшего их лишь в довольно отрывочном их приложении к изучению класси-

ческой древности¹⁷; напротив, он попытался выделить и систематически изложить общие принципы, лежавшие в основе таких работ, и тем самым много содействовал образованию особой научной дисциплины — методологии источниковедения. Вместе с тем Шлейермахер выяснил и главнейшие составные ее части: хотя он и оставил в стороне учение об источниках исторического познания, но ясно указал на значение «герменевтики» в ее отношении к критике. До того времени герменевтика часто поглощалась критикой или слишком тесно связывалась с чисто практическими, педагогическими целями: Клерикус, например, разумел под «критикой» искусство понимать произведения древности и различать подлинные от неподлинных, а также судить об их достоинстве¹⁸; Эрнести полагал, что герменевтика должна содержать учение о понимании мыслей, выраженных в словах, и об искусстве излагать или передавать их другим¹⁹. В своем любопытном курсе «Герменевтика и критика, особенно в их отношении к Новому Завету» Шлейермахер освобождает герменевтику от двойной ее зави-

¹⁷ *Wolf F. A. Vorlesungen über Encyklopädie der Alterthumswissenschaft, herausgegeben von J. D. Gürtler, 1839. I-r. Bd. S. 271–349.* Сам автор, правда писал: «So wie es mit der Erklärungskunst ist, dass sie eine philosophische Wissenschaft auf unsern Zweck angewandt, philologisch ist, so muss man es auch mit der Kritik machen» (S. 305); но он едва ли осуществил такой принцип на деле; он еще не выработал систематического учения о герменевтике и критике вообще; его отрывочные замечания часто носят характер практических указаний. Впрочем, общее понятие о герменевтике, а пожалуй и о критике, высказанное Вольфом (см. *ib. Bd. I. S. 24–25, 49, 271 и 305*), близко подходит и к тем определениям, которые были предложены Шлейермахером; последний начал читать свой курс с 1804 г.

¹⁸ *Clericus J. Ars critica. Amstelaedami, 1697, 3 vv. (изд. 1699 г.: в 2 т.);* автор понимает под «критикой» и интерпретацию, и собственно критику; см.: *Praefatio. Sec. I, § 1: «Criticen vocamus artem intelligendorum veterum scriptorum et dignoscendi quaenam eorum genuina scripta sunt. quae spuria»;* сочинение содержит три части: «*primo, monita ac consilia attinentia ad ordinem quo legendi veteres secundo canones de interpretatione verborum et loquutionum; tertio praecepta de iudicio, quod de antiquorum scriptorum libris et locis tam genuinis, quam spuriis ferri oportet»;* третья часть содержит учение «*de emendandi ratione, libris suppositis et scriptorum stylo».*

¹⁹ *Ernesti J. A. Institutio interpretis novi testamenti. Lip., 1775. P. 4: «Est autem interpretatio facultas docendi, quae cujusque orationi sententia subjecta sit, seu efficiendi, ut alter cogitet eadem cum scriptore quoque... Interpretatio igitur omnis duabus rebus continetur: sententiarum (idearum) verbis subjectarum intellectu, earumque idonea explicatione»...*

симости: он ставит ее наряду с критикой, ибо «правильное понимание текста» обуславливает возможность критически оценить его показание, и не смешивает «герменевтики» с искусством изложения понимаемого. С такой точки зрения Шлейермахер разделяет свой трактат на две части: на учение о герменевтике и учение о критике, взаимно дополняющие друг друга. В учении о герменевтике, т. е. об «искусстве понимать чужую речь», автор различает «грамматическое» толкование от «психологического»; последнее состоит в том, чтобы понять данный комплекс мыслей как «жизненный момент» в развитии того, а не иного «определенного человека»; далее автор переходит к учению о критике, возникающей под влиянием подозрения, что (в источнике) «есть нечто такое, что не должно быть»; в зависимости от предположаемого им понятия о том, каким образом ошибки, вызывающие такое подозрение, происходят, он делит критику на критику «механических» ошибок (например, описок) и на критику ошибок, зависевших от свободной воли того, кто признается автором данного произведения. Таким образом, Шлейермахер попытался построить целое учение, находившееся в тесной связи с методологией источниковедения; но все же и он не отделил ее в качестве самостоятельной научной дисциплины от изучения новозаветных текстов, а такая связь отозвалась и на общем ее построении. Возможно, что под ее влиянием, например, Шлейермахер не остановился на выяснении главной цели исторического познания, в зависимости от которой ему предстояло, конечно, установить и более частные задачи герменевтики и критики, а также их сходство и различие; под тем же влиянием он, минуя общее понятие об источнике, сосредоточил свое внимание на одних только памятниках письменности и гораздо более внимательно отнесся к учению о герменевтике, чем к учению о критике; понимая, однако, герменевтику в довольно узком смысле, он и при изложении учения о критике преимущественно ограничился рассмотрением критики подлинности или неподлинности источника, а не критики достоверности или недостоверности его показаний²⁰.

²⁰ *Schleiermacher Fr.* Hermeneutik und Kritik mit besonderer Beziehung auf das Neue Testament, см.: Werke zur Theologie. Bd. VII (1838), hrsg. von F. Lücke. S. 2, 7, 12, 148, 278–283 и др.; ср. еще его же статьи «Über den Begriff der Hermeneutik» и «Über den Begriff und die Eintheilung der philologischen Kritik» // Sämtliche Werke zur Philosophie. Bd. III. S. 344–402; о чужой речи или языке как исключительном объекте герменевтики см. там же, с. 381; о предпосылках критики — с. 401; в той же статье автор говорит и об исторической критике как искусстве «добывать факты из рассказов и известий» — с. 396.

В области богословской мысли Шлейермахер создал направление, под влиянием которого Христиан Баур в свою очередь выступил с целым рядом научно-критических трудов по истории Нового Завета и первоначального христианства. Шлейермахер оказал влияние и на Августа Бёка с его филологической школой, подобно тюбингенской, много содействовавшей развитию исторических методов и знаний²¹. Впрочем, Нибур, Савиньи и другие ученые также немало способствовали развитию учения об источниках, герменевтике и критике или об отдельных их частях в частном применении их к изучению некоторых памятников письменности. В то же время интерес к методологии источниковедения не замедлил обнаружиться и в среде французских историков: Дону, например, не раз посвящал свои чтения изложению правил «исторической критики»²². Вслед за тем, однако, учение о ней долгое время оставалось без дальнейшей систематической обработки.

С довольно общей, но очень мало определившейся точки зрения, такие проблемы отчасти уже затрагивались в старинных курсах логики и «критики». Бальмес, например, рассуждал об «искусстве достигать истины», между прочим, и в области исторических разысканий; Мазарелла, вообще разумевший под критикой «способность» обсуждать и взвешивать те основания, в силу которых мы признаем наши суждения истинными, также касался приложения ее и к истории: критика, по его мнению, должна дать понятие о значении «морального принципа» в его отношении к истории, а «искусство критики» состоит, между прочим, в интерпретации, в установлении подлинности и в оценке чужих показаний²³. Впрочем, широко ставя проблему, писатели указанного направления все же не подвергали методы собственно исторического изучения систематическому рассмотрению и продолжали смешивать герменевтику с критикой.

Такое же смешение обнаруживается и в позднейшей литературе, посвященной общей методологии источниковедения, все еще очень

²¹ Zeller E. Christian Baur et l'école de Tubingue, trad. Ch. Ritter. Par., 1883. P.5–6, 9 и др.; о Бёке см. выше, с. 268–269; о более частных работах филологов — ниже, в главах об интерпретации и о критике.

²² Daunou P. C. T. Cours d'études historiques. T. I. Par., 1842: Critique historique (лекции, читанные автором в Collège de France в 1819, 1821, 1822, 1824–1825 гг.).

²³ Balmès J. Art d'arriver au vrai, 1845; 8-me éd., trad. E. Manec, 1874; особенно chap. VIII, XI, XX; Mazarella B. Della critica libri tre. Genova, 1868; 2 ed., Roma, 1878–1879, 2 vv., особенно v. II, lib. II, cap. XIII; lib. III, cap. VIII–IX. Ср., впрочем, Prantl C. von. Verstehen und Beurtheilen. M., 1877.

скромной по объему и слишком мало различающей общую методологию источниковедения от технических правил исторической работы. В числе сочинений подобного рода можно указать на книгу Смедта, посвященную, главным образом, изложению принципов исторической критики, т. е. «искусства отличать истину от лжи в научных разысканиях». Хотя автор не всегда может совладать с религиозным чувством католика, ставшего «болландистом», он все же дает в своей книге систематическую обработку правил «научно-исторической критики». Смедт указывает на те условия, в которых ученый должен находиться при проверке известных данных, и предлагает советы касательно пользования произведениями знаменитых авторов; вслед за тем, показав, какое различие существует между метафизической, физической и моральной достоверностью, а также между разными видами источников, он излагает критические приемы, при помощи которых историк определяет подлинность текстов, подвергает их толкованию и устанавливает степень достоверности показаний; тут же он выясняет и значение отрицательного заключения, т. е. заключения о несуществовании факта по молчанию о нем современников, а также гипотетических и априорных заключений, к которым историк приходит, когда он строит конъектуру, основанную на связи между известным ему фактом и фактом, который ему предстоит узнать, или когда на основании «метафизических, физических и моральных законов» он заключает о достоверности или о ложности факта. Таким образом, довольно широко намечая задачу исторической критики, Смедт дает понятие о характере исторической достоверности и тех умозаключений, на основании которых степени ее достигаются, а также рассуждает о специфических приемах исследования главнейших видов источников — письменных, устных и вещественных; но сочинение его не чуждо и некоторым недостаткам: он обращает слишком мало внимания, например, на учение об интерпретации исторических источников и придает чрезмерное значение устному преданию, несомненную достоверность которого будто бы можно восстановить²⁴.

Смедт оказал некоторое влияние на последующую литературу, касавшуюся методологии истории; Тардиф, например, воспользовался многими его соображениями в своем кратком своде элементарных правил исторической критики текстов и фактов²⁵, а Фортинский пополнил их библиографические указания, изложил «основные их воз-

²⁴ *Smedt Ch. de. Principes de critique historique. Liège, 1883.*

²⁵ *Tardif A. Notions élémentaires de critique historique. Par., 1883, рус. пер. М. Агеева. Воронеж, 1893.*

зрения» и высказал еще несколько дополнительных замечаний, например, касательно значения географии для истории²⁶.

Ввиду тесной зависимости, какая существует между специально историческими методами изучения и тем родом материала, в применении к которому они развиваются, самое учение о них можно, конечно, найти и в более специальных руководствах, особенно в рассуждениях о задачах и методах филологии, археологии и дипломатики. В области филологии, например, после Бёка, отождествлявшего филологию с историей, учение о методах филологического исследования получило свое самостоятельное значение и развитие в трудах Бласса, Пауля и Тоблера²⁷. Впрочем, до появления их руководств многие ученые уже касались и тех приемов исследования, которых археолог должен придерживаться; Преллер, например, широко понимал область археологии и наметил главнейшие методы изучения «монументальных памятников»; вслед за ним Зиттль, также понимавший археологию в смысле изучения вещественных памятников древности, попытался составить целый учебник, в котором весьма обстоятельно изложил приемы собирания и группировки предметов древности, а также обратил внимание на применение герменевтики и критики к археологическому материалу²⁸. Довольно значительное развитие получила и та отрасль методологии источниковедения, которая связана с дипломатикой; Зиккель, Фиккер, Бреслау, Жири, Редлих и другие много сделали для того, чтобы установить способы разработки актов (в особенности публичных, императорских и папских грамот) в связи с историей их возникновения в известных канцеляриях, их интерпретацией и критикой²⁹.

²⁶ *Фортинский Ф.* Опыты систематической обработки исторической критики в Киевск. унив. изв. 1884, авг. С. 1–32.

²⁷ *Blass Fr.* Hermeneutik und Kritik, см.: *Iw. Muller's Handbuch der Klass. Alterthumswissenschaft.* Bd. I. 4 Aufl. München, 1910; рус. пер. Л. Воеводского. Од., 1891; *Paul H.* Grundriss der germanischen Philologie, 2 Aufl. Strassburg. Bd. I (1910). S. 159–247; *Gröber G.* Grundriss der Romanischen Philologie. 2 Aufl. Strassburg. Bd. I (1904–1906) II–I Teil.

²⁸ *Preller L.* Ueber die wissenschaftliche Behandlung der Archaeologie (1845), см.: *Ausgewählte Aufsätze.* Berl., 1864. S. 384–425; *Sittl K.* Archäologie der Kunst, см.: *Iw. Müller's Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft.* Bd. VI. München, 1895 (с множеством библиографических указаний). Ср. еще *Hostmann Chr.* Studien zur vorgeschichtlichen Archäologie. Braunschweig, 1890 и др.

²⁹ *Giry A.* Études de critique historique // *Rev. Hist.*, 1892, Mars-Avril (о развитии дипломатики, в особенности с XVI в., когда руководства по дипломатике стали

Впрочем, обозрение вышеназванных и многих других, еще более специальных трудов потребовало бы слишком много времени и места, да и содержание их часто касается не столько общих, хотя и производных принципов методологии источниковедения, сколько специальных ее областей или даже техники исторических работ, практикуемых в каждой из них.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОНЯТИЕ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ИСТОЧНИКЕ

С теоретико-познавательной точки зрения, под эмпирически данным «источником» можно разуметь всякое данное нашего чувственного восприятия. В научно-эмпирическом смысле, однако, естественно несколько ограничить такое понимание и называть источником всякий реальный объект, который изучается не ради его самого, а для того, чтобы через ближайшее его посредство получить знание о другом объекте.

Итак, в области эмпирических наук, а значит, и истории, предлагаемое определение включает понятие о реальности данного объекта и понятие о его пригодности для познания другого объекта.

В самом деле, такой объект представляется всякому историку-специалисту «данным» его сознанию: историк не только признает его своим представлением, но приписывает его содержанию реальное существование; в противном случае источник не мог бы служить объектом чувственного восприятия историка; последний, значит, не мог бы познавать действительность на основании источников; а между тем каждое историческое исследование преследует такую именно цель — по данному источнику познать действительность.

Вместе с тем данный объект становится источником лишь в той мере, в какой он может служить пригодным средством для познания другого объекта. Против только что приведенного положения можно, казалось бы, высказать следующее соображение: ведь данный объект может служить источником для ознакомления с ним самим. Такое суждение, однако, двусмысленно: оно значит или то, что можно познать данный объект путем чувственного восприятия его же свойств, или

впервые появляться); *Sickel Th.* Die Urkunden der Karolinger, 2 B-de (1867) и др.; *Ficker J.* Beiträge zur Urkundenlehre, 2 B-de (1877 и 1878); *Bresslau H.* Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien. Bd. I (1889); *Giry A.* Manuel de diplomatique. Par., 1894; *Erben W., Schmitz L.* — Kallenbery und *Redlich O.* Urkundenlehre, 1 Teil. München u. Berlin (1907).

то, что по одной части объекта можно судить о другой; но в обоих случаях нет противоречия с вышепринятой формулой. В самом деле, если объект познается путем чувственного восприятия, то данные нашего чувственного восприятия и служат материалом или, если угодно, источником для того, чтобы составить себе представление о вещи. Если же под объектом-источником понимать часть реально данного объекта, по которой мы судим о какой-либо другой его части, то такую часть мы признаем своего рода данным нам объектом, который изучается не ради его самого, а для того, чтобы получить знание о какой-либо другой части изучаемого объекта; но ее тоже можно назвать в данном случае объектом и т. п., что и приводит нас к определению, уже сформулированному выше.

Следовательно, всякий реально данный объект в той мере, в какой он служит для познания другого объекта, можно назвать источником.

С указанной точки зрения, легко провести некоторое различие между понятиями об историческом факте и историческом источнике. Правда, если включать в понятие об историческом факте понятие о воздействии индивидуальности на материальную среду, то можно назвать историческим фактом и всякий исторический источник; но историк пользуется таким фактом в качестве источника, т. е. для познания другого факта; следовательно, он может оставить за подобного рода фактом название «источник», приберегая термин «исторический факт» в более узком его смысле для обозначения того понятия о действительно бывшем, которое он восстанавливает на основании одного или (обыкновенно) многих источников.

Итак, можно удовлетвориться (по крайней мере для наших целей) вышеприведенным общим определением и, применяя его в области исторической науки, назвать источником исторического знания всякий реальный объект, который изучается не ради его самого, а для того, чтобы получить знание о другом объекте, т. е. об историческом факте.

Вышеприведенное понятие об источнике исторического знания может, пожалуй, показаться какому-либо мыслителю-историку настолько широким, что он испытает желание подвести под него даже явления «природы» (в номотетическом смысле), поскольку он пользуется своим знанием о них для построения некогда бывшей исторической действительности.

Такой историк будет рассуждать следующим образом: я пользуюсь явлениями природы в качестве источника для изучения факторов, действие которых в прошедшем я предполагаю тождественным или приблизительно одинаковым с тем, какое они обнаруживают на моих глазах; перенося действие их в прошедшее, я, подобно геологу, стрем-

люсь объяснить и прежде бывшие исторические факты; и только тогда, когда такое объяснение недостаточно или неудовлетворительно, я допускаю возможность других факторов, действие которых лучше объясняет тот же факт. Следовательно, я могу признать явления «природы» — физической или психической — источником, из которого я черпаю свое знание о физических и психических факторах; перенося действие их в прошедшее время, я объясняю ими и прошлое. Таким образом, я изучаю, например, условия природы данной местности для того, чтобы на основании своих наблюдений заключить о действии подобных же факторов в прежнее время на образование характера некогда появившегося в этой местности населения, о влиянии их на особенности местной его жизни, давно уже сложившиеся, и т. п.; я также исхожу из изучения психики современного мне человека, народа, класса, отдельной личности для того, чтобы заключить о действии таких же психических факторов в прежнее время и их действием объяснить прежде бывшие исторические факты.

С интересующей нас точки зрения, рассуждение подобного рода нельзя, однако, признать методологически правильным: явления природы, если угодно, могут служить источниками для научного знания естествоведа, но не историка; естествовед изучает их и заключает о возможности действия в прошлое время тех же факторов, которые действуют и на его глазах, а историк лишь пользуется выводами естествоведа для построения исторической действительности; то же замечание можно, конечно, высказать и о выводах психолога, которые принимаются во внимание историком, и т. п.

Следует заметить, кроме того, что если явления чужой душевной жизни никем не наблюдаются непосредственно, а всегда только через посредство внешних их обнаружений, доступных чувственному восприятию наблюдателя, например, через посредство языка (жестов, слов и проч.), то, значит, «явления» душевной жизни сами по себе не могут служить источниками знания (в смысле эмпирически данных); для ознакомления с ними наблюдатель нуждается в источниках; но последние в таком именно смысле уже оказываются не явлениями природы, а продуктами индивидуальной психики или культуры, каковы, например, язык, мифы, нравы, обычаи и т. п.; такие «источники» могут, конечно, получить значение и для психологического, а не только для исторического знания; но в случаях подобного рода психолог уже зависит от историка, т. е. пользуется его выводами касательно данного рода материала, плодами исторической интерпретации и критики; считаясь с ними, психолог может, однако, обращаться к таким историческим источникам для того, чтобы сделать новые выводы психо-

логического характера, которыми историк в свою очередь может воспользоваться, и т. д.

Общее понятие об источнике, намеченное выше, обыкновенно не включается в существующие в литературе определения понятия о собственном историческом источнике. Составитель одного из лучших руководств по методологии истории, например, предлагает следующее определение: «Источники суть результаты человеческих деятельностей, или непосредственно служащие или все же через посредство собственного существования, возникновения и в других отношениях преимущественно пригодные для познания или для доказательства исторических фактов»³⁰. Предлагаемая формула едва ли достаточно определена. Под «человеческою деятельностью», например, можно разуметь и физиологические отправления человека: сам автор, однако, в другом месте своей книги замечает, что «человек является объектом истории лишь постольку, поскольку он действует как разумное, сознательное существо, испытывающее ощущения, мыслящее и волящее»; но автор не включает такого ограничения в свое определение. Далее, результаты «человеческой деятельности», если понимать ее в смысле проявления душевной жизни человека, могут быть вовсе не доступны историку; для того чтобы стать источником, они должны быть доступны чувственному его восприятию, т. е. реализованы. Нельзя не заметить, наконец, что разбираемое определение переобременено дополнительными понятиями, значение которых остается довольно темным: в нем, например, автор определяет не только понятие источника, но, по-видимому, и его разновидности, а также имеет в виду методы их исследования. Вышеуказанные недочеты отчасти исправлены в другом определении того же понятия — об историческом источнике: оно высказано в новейшем руководстве, также касающемся методов исторического изучения. Источники, по словам его составителей, — следы, которые мысли и действия людей прежнего времени оставили (по себе)³¹. Такое определение подкупает своею кажущеюся ясностью и краткостью; но и оно вызывает недоумения. Авторы не выясняют, например, в какое соотношение они ставят «мысли» и «действия» людей. Надо думать, что только «мысль», сопровождаемая действием, через посредство которого она осуществляется, и становится источником; с такой точки зрения, однако, нельзя ставить «мысли» и «действия» на одну доску. Да и понятие о «следе» слишком мало установлено авторами: мысли и действия, оставляю-

³⁰ *Bernheim E. Lehrbuch*, 5–6 Aufl. S. 252.

³¹ *Langlois Ch. V. et Seignobos Ch. Introduction...* P. 1.

щие «след» в мыслящем и действующем субъекте, могут, тем не менее, не быть доступными восприятию историка; ниже авторы сами прибавляют: «всякое действие, видимые следы которого исчезли, потеряно для истории; оно как будто бы никогда и не существовало»; в данном случае, лишь мимоходом затрагивая существенный признак понятия об источнике, они, однако, слишком специфицируют его: народная песня, словесный рассказ о чем-либо и т. п., доступные только слуху, а не зрению, историк все же может признать источниками. Наконец, историческим источником нельзя назвать любой «след» мысли или действия человека, а лишь такой «след», который нужен для восстановления факта, историческое значение которого предпосылается или уже обосновано.

Таким образом, на основании замечаний, сделанных выше, можно прийти к заключению, что новейшие определения понятия о собственно историческом источнике не вполне удовлетворительны: упуская из виду понятие об источнике вообще, их авторы слишком мало принимают во внимание и ту психологическую точку зрения, с которой понятие об источнике вообще получает значение исторического источника. Попробуем развить это положение и, опираясь на него, добыть более правильное понятие об историческом источнике.

Каждый из нас сознает различие, какое существует между «произведением природы» и «произведением человека». Произведение природы — результат действия «сил природы»; мы строим действия их на основании принципа причинно-следственности и представляем себе такие силы действующими по законам механики, физики и т. п. «Произведение человека» — объект, рассматриваемый с точки зрения причинно-следственности в психологическом смысле. В самом деле, «произведение человека» — результат его деятельности; но последняя строится ученым не без помощи психологии: он объясняет ее наличием не одних только физических, но и психических факторов, порождающих данный результат; наиболее характерною особенностью последнего он, очевидно, признает то, что такой результат всегда представляется ему и психическим продуктом; он приходит к заключению, что психические факторы в комбинации с физическими вызвали данный результат и могут обнаруживаться в нем; в той мере, в какой он признает, что такие факторы запечатлелись в нем, он и называет его психическим продуктом.

С указанной точки зрения, историк отличает произведения природы от произведений человека, хотя не всегда ясно сознает делаемую им предпосылку. Кремни, найденные ученым Буржуа в третичных пластах эоцена или миоцена в Thénay (Beauce), например, при-

знавались то произведениями природы, то произведениями человека: на них заметны следы какой-то работы; если полагать, что форма их — результат естественного действия природных сил (например, резких изменений в температуре, химических или геологических процессов, положим, действия воды и т. п.), то они представляются нам продуктами природы; если же предполагать, что кремни, найденные в Thénaud, подверглись искусственной оббивке (что, впрочем, едва ли более вероятно), т. е. истолковывать видимые результаты в том смысле, что они вызваны человеческою деятельностью, и притом, очевидно, не одною только физическою стороною последней, словом, если можно доказать, что человек намеренно сделал их, то их можно будет признать произведениями человека. Между тем если вопрос будет решен в последнем смысле, открывается возможность говорить о человеке третичного периода, о его культуре в виде поделок из кремня и т. п. Другой пример можно взять из иной области: если при надлежащем освещении и постановке хорошенько взглянуть в некоторые из доисторических кремней, то, пожалуй, обнаружится, что они представляют грубые зачатки скульптурных изделий³²; представляется ли такой вид их простой игрой природы или результатом намеренной обработки кремня? Если удастся доказать, что вышеназванные кремни — результат художественной техники, хотя бы и в самых зачаточных ее формах, то перед глазами историка откроется целая область доисторической культуры, до сих пор совершенно не исследованная. Возьмем еще один пример: вся письменность (идеографическое, силлабическое и обыкновенное письмо) признается произведением человека, так как его мысль выразилась в них; лишь благодаря такому предположению историк может объяснить смысл данных начертаний и ценит их как важнейший исторический источник.

Следовательно, произведением человека можно назвать объект, значение которого объясняется лишь при помощи предпосылки чужой одушевленности, обнаружившейся в его особенностях; в таком смысле произведение человека или результат его деятельности следует признать психическим продуктом.

Впрочем, можно употреблять тот же термин и в чисто реалистическом смысле, если приписывать понятию о чужой одушевленности не гевристическое, а реальное значение; тогда легко рассуждать и о психических факторах, породивших (в вышеуказанном смысле) объективно данный продукт человеческой психики. С такой психологиче-

³² Harroy E. L'art préhistorique // Rev. Scient., 1902 Juillet 12 и 1903 Févr. 28; выводы автора, разумеется, подлежат проверке.

ской, а не гносеологической точки зрения, можно сказать, что исторический источник есть прежде всего продукт человеческой психики и что «лишь то, чему человеческий дух и человеческий смысл придали форму, в чем они отпечатались, чего они коснулись, лишь человеческий след может получить значение исторического материала»³³.

Не всякий психический продукт доступен, однако, чужому восприятию: мысль есть психический продукт мыслящего субъекта, но она становится доступной восприятию постороннего наблюдателя лишь в том случае, если она реализована, т. е. выражена в каких-либо действиях или в их результатах, т. е. если она обнаружена и запечатлена в каком-либо материальном образе; значит, историк может судить о чужой мысли только по реализованным ее продуктам.

Таким образом, хотя сама реализация в глазах историка получает значение, главным образом, в той мере, в какой она обнаруживает состояния чужого сознания, можно сказать, что лишь тот психический продукт, который реализован, становится историческим источником. Под историческим источником, следовательно, должно разуметь доступный чужому восприятию, т. е. реализованный, продукт человеческой психики.

На основании вышеприведенных рассуждений легко придти к заключению, что в понятие об историческом источнике входят, во-первых, понятие о психическом его значении, и во-вторых, понятие о материальном его образе, в котором такой продукт реализуется.

С принципиальной точки зрения, можно было бы, пожалуй, остановиться на только что сформулированном определении исторического источника, если бы полное понятие о нем не находилось в естественной связи и с телеологическим, или практическим, моментом, составляющим дальнейшее ограничение вышеприведенного понятия об историческом источнике.

В самом деле, самое понятие об источнике вообще включает уже понятие о нем как о средстве для достижения некоей познавательной цели; лишь в том случае, если данный объективированный продукт человеческой психики может служить ему материалом для ознакомления с каким-нибудь фактом из истории человечества, историк называет его историческим источником.

С такой точки зрения, следует сказать, что всякий реализованный продукт человеческой психики, поскольку он представляется историку пригодным для того, чтобы получить знание о каком-либо факте из прошлой жизни человечества, называется историческим источником.

³³ *Droysen J. G. Grundriss. § 7.*

Добытое нами определение, однако, все еще слишком широко: в вышеуказанном смысле, пожалуй, удобнее говорить об историческом материале, чем об историческом источнике; но развивая далее телеологический момент (момент пригодности), включенный в понятие об историческом материале, легко придти к дальнейшему его ограничению, которое, наконец, и приведет нас к достаточно точному понятию об историческом источнике: лишь тот материал, который оказывается пригодным для изучения факта с историческим значением, а не для изучения какого бы то ни было факта из прошлой жизни человечества, в сущности, заслуживает наименование исторического источника.

Следует заметить, что понятие об историческом источнике в только что установленном виде построено с аналитической, а не с генетической точки зрения и что оно в таком именно смысле и включает понятие о пригодности данного материала для познания факта, имеющего историческое значение; но с генетической точки зрения, напротив, лишь тот исторический материал, который уже подвергнут предварительному исследованию и после такого исследования оказывается пригодным для познания одного или нескольких фактов с историческим значением, становится историческим источником; само собою разумеется, что в действительности оценка подобного рода может и не быть достигнута сразу: гипотетически признавая данный материал ценным, можно после изучения его придти к противоположному выводу; и обратно — сначала придавая ему слишком мало цены, потом убедиться в его большом значении.

Таким образом, легко упразднить тот кажущийся ложный круг, который мог бы получиться при мысли, что значение исторического источника предпосылается его исследованию, хотя само оно достигается лишь путем его исследования.

Итак, на основании всех вышеприведенных рассуждений можно придти к заключению, что исторический источник есть реализованный продукт человеческой психики, пригодный для изучения фактов с историческим значением.

Если принять такое определение понятия об историческом источнике, то можно сделать из него несколько выводов, не лишенных значения; они проистекают, главным образом, из понятия об источнике как о реализованном продукте человеческой психики и из понятия о его пригодности для изучения фактов с историческим значением.

Всякий кто утверждает, что исторический источник есть продукт человеческой психики, должен признать, что исторический источник, в известной мере, есть уже его построение. В самом деле, то психи-

ческое значение, которое историк приписывает материальному образу интересующего его источника, в сущности, не дано ему непосредственно, т. е. не доступно его непосредственному чувственному восприятию; он строит психическое значение материального образа источника, заключая о нем по данным своего опыта; но если под источником он понимает психический продукт, то, очевидно, включая в понятие о нем и его психическое значение, он тем самым всегда имеет дело с некоторым своим построением, без которого у него не окажется и исторического источника.

Далее, нельзя не заметить, что исторический источник в качестве продукта человеческой психики есть, конечно, результат человеческого творчества (в широком смысле). Последнее в сущности оказывается индивидуальным актом; но автор его часто остается безымянным; если продукт такого творца воспроизводится целой группой, творчество получает название «массового»; тогда можно сказать, что такой продукт (например, язык, народная песня и проч.) — результат творчества данного коллективного лица (народа, города, кружка и т. п.); тем не менее можно, в известном смысле, признать его продукт индивидуальным, хотя бы, например, противопоставляя его продуктам творчества других коллективных лиц, другого народа, города, кружка и т. п. В аналогичном смысле можно рассуждать и в тех случаях, когда данное индивидуальное творчество в более или менее слабой степени отражается и в репродукциях данного индивидуального продукта (т. е. в фабрикатах и т. п.). С тем большим основанием, конечно, приходится придерживаться такой же точки зрения применительно к единоличному индивидуализированному творчеству: его продукты также должны отличаться индивидуальным характером; каждый творец, правда, подчинен среде; но на воспроизведении ее психики он накладывает собственную свою индивидуальность. В таком смысле, можно сказать, что каждый источник есть индивидуализированный результат творчества данной общественной группы или данного лица и что то, в чем оно выражает свою индивидуальность, и становится историческим материалом по преимуществу. Впрочем, индивидуальность источника подчинена его историческому значению, т. е. его пригодности для исторического знания. Во всяком случае, историк постоянно пользуется понятием об индивидуальности источника и в интерпретации, и в критике.

Понятие об источнике как об индивидуальном продукте психики находится в тесной связи и с понятием о телеологическом единстве источника, т. е. о единстве его с точки зрения его назначения. Такое единство дано, конечно, в представлении о нем его творца; творческий акт придает единство источнику; источник — целое телеологиче-

ское, с точки зрения его цели, т. е. цели творца; но и историк может достигнуть представления о его цели или назначении; с такой точки зрения, он, конечно, интерпретирует, а также критикует источники.

Против выводов, сделанных выше, можно было бы, пожалуй, возразить ссылкой на такие объекты исторического изучения, которые, по-видимому, не обладают вышеуказанными свойствами; но хотя бы сам историк и не усматривал в них целостности, он, тем не менее, может найти ее в чужом представлении о данном объекте. Вообразим, например, предмет, который получился путем множества культурных наслоений, как будто малосвязанных между собою, положим, собор св. Марка в Венеции, целый город, например Рим и т. п.; но историк может установить связь между ними, если мысленно построит коллективный субъект, создававший в продолжение известного времени данный продукт и, с такой точки зрения, соединит последовательные отложения в нем культуры в одно целое; он может искать такую связь и в представлении, какое данная социальная группа имеет о данном источнике, например, в религиозно-национальном представлении венецианцев о соборе св. Марка; или, положим, в литературном и национальном интересе русского народа к былинам Владимирова цикла, хотя бы в состав подобного рода источников входили элементы, далеко не всегда тесно связанные между собою, и т. п.

Итак, можно сказать, что объективно данный исторический источник представляется историку в виде некоторого единства и целостности; такие свойства он приписывает, например, и предмету древности, и произведению письменности; в противном случае он говорит об обломках предмета древности или об отрывках произведения письменности, — выражения, которые сами уже указывают на то, что понятие о предмете древности или произведении письменности связывается у него с понятием о некоторой их целостности.

Впрочем, не только из понятия о психологическом характере, но и из понятия о пригодности источника для историко-познавательных целей можно сделать несколько выводов, которые имеют некоторое значение и для методологии источниковедения. С такой точки зрения, естественно различать основные источники от производных: основной источник по месту и времени своего возникновения ближе остальных стоит к изучаемому факту, возникает под его влиянием и непосредственно свидетельствует о нем; производный источник, напротив, дальше отстоит от того же факта и сообщает о нем известия, которые уже прошли одну или несколько передаточных инстанций, прежде чем попасть в его состав; следовательно, историк может почерпнуть сведения о факте или непосредственно из основного ис-

точника, или через посредство производного источника. Само собою разумеется, что от источника, хотя бы и производного, следует отличать научную обработку данных известий, в нем и в других источниках заключающихся, т. е. пособие; но при утрате источника, сохранившегося лишь в каких-либо отрывках или косвенных упоминаниях в посьбии, последнее также может стать в глазах историка производным источником, поскольку он в состоянии выделить его из научного построения, включенного, однако, в то же пособие.

Момент научной «пригодности» источника для историка получает существенное значение и при подборе исторического материала. Если бы историк должен был иметь в виду весь материал, какой только имеется, для изучения каких бы то ни было фактов прошлой жизни человечества, он при всей его фрагментарности легко мог бы затеряться в нем; при работе над материалом историк должен иметь какую-нибудь руководящую точку зрения; но раз исторический материал есть только средство для ознакомления с фактами, то, очевидно, такой руководящей точки зрения нельзя найти в нем; критерий подбора материала зависит от той познавательной цели, для которой он должен служить, а таковою оказывается познание не какого-либо факта, а такого факта, который имеет историческое значение. Следовательно, подбор материала зависит от того, в какой мере он пригоден для изучения факта с историческим значением.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГЛАВНЕЙШИЕ ВИДЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Вообще для того чтобы лучше выяснить себе понятие об историческом источнике, его содержании и объеме, следует еще остановиться на характеристике главных видов исторических источников; впрочем, и в другом отношении можно с пользою заняться предварительною их систематикой: давая возможность разобраться «в очень большом и разнообразном материале», она обуславливает и довольно существенные оттенки в методах его изучения.

Само собою разумеется, что можно систематизировать исторические источники с весьма различных точек зрения, в зависимости от целей исследования. Самая общая из них состоит в том, чтобы ценить исторические источники по значению их для исторического познания. В таком смысле легко различать источники или по степени их ценности вообще для познания исторической действительности, или по степени ценности характеризующего их содержания для изучения данного рода исторических фактов.

§1. *Главнейшие виды источников, различаемых по степени их значения вообще для познания исторической действительности*

При группировке исторических источников по их главнейшим видам следует, конечно, исходить из понятия об основной задаче методологии источниковедения и находящегося от него в зависимости понятия об историческом источнике.

Так как основная задача методологии источниковедения состоит в том, чтобы установить, действительно ли существовал тот самый факт, который известен из источника, то и познавательная ценность последнего, его значение для познания исторической действительности вообще оказывается тем большим, чем в большей мере он пригоден для того, чтобы служить цели такого именно знания.

Между тем историк, судящий о бывшей действительности на основании источников, в сущности, заключает о внутреннем содержании источника только на основании его материального образа, доступного его чувственному восприятию. При производстве заключений подобного рода историк замечает, однако, что не все материальные образы источников способны вызывать в нем одинаковое впечатление реальности изучаемого им факта; следовательно, он может различать источники по большей или меньшей пригодности их материального образа для того, чтобы путем его восприятия испытывать впечатление реальности тех фактов, к которым они относятся.

В самом деле, можно указать на такие источники, при чувственном восприятии которых историк испытывает с большею непосредственностью реальность отразившегося в них факта, чем при чувственном восприятии других: он лучше, например, испытывает такое чувство, когда сам проникнет в древний склеп какого-нибудь царя и увидит его погребение во всех деталях его обстановки, чем когда читает описание того же погребения, хотя бы оно и заключало те же подробности; такое же различие в своих впечатлениях он замечает при созерцании картины, положим, представляющей какое-либо сражение, и при чтении только рассказа о нем.

С указанной точки зрения, следует различать источник, изображающий факт, от источника, обозначающего факт. При восприятии источника, материальная форма которого изображает факт в его остатках, например, в красках или звуках, историк испытывает впечатление, однородные с теми, какие он испытывал бы, если бы воспринимал самый факт, а не один только источник; приступая к его изучению, он уже переживает более или менее цельный чувственный

образ, в большей или меньшей мере соответствующий бывшему факту. При восприятии источника, материальная форма которого служит лишь для обозначения факта путем каких-либо символических знаков (большею частью письменных), историк, напротив, не воспринимает более или менее сохранившегося образа данного факта; на основании знаков, символизирующих бывший факт в материальной форме, историк должен конструировать в себе его образ для того, чтобы получить возможность приступить к научному исследованию бывшего факта. Само собою разумеется, что и при восприятии «изображения» факта историк строит его из апперципируемых им данных своего опыта; но такое построение он производит путем восприятия конкретных элементов данного материального образа; при восприятии же условных знаков ему приходится подставлять под них мысленные образы прежде, чем приниматься за исследование бывшего факта. Итак, с вышеуказанной точки зрения, можно делить источники на две группы; я назову их источниками изображающими и источниками, обозначающими факт³⁴.

Только что обоснованному делению источников в довольно значительной мере соответствует чисто эмпирическая группировка их на памятники вещественные и памятники словесные и письменные, отличающиеся друг от друга по их внешнему виду. Источники, изображающие факт, в сущности совпадают с памятниками вещественными

³⁴ *Ampère M. A. Essai sur la philosophie des sciences, 2-de partie. P. 49–50.* Автор — один из ученых физиков прошлого столетия, давно уже мимоходом отметил различие между источниками изображающими и источниками, обозначающими данный факт, хотя и не выяснил ни основной точки зрения, с которой такое деление должно быть установлено, ни его значение для источниковедения. «Средства, которыми один человек действует на мысль ему подобных, по словам Ампера, — двоякого рода. Средства первого рода действуют сами по себе: картина или гравюра предмета дают нам идею о нем или напоминают ее нам, причем могут внушить нам чувствования и страсти, какие сам этот предмет мог бы вызвать; созерцая, например, готическую церковь, мы испытываем некоторое религиозное чувство; гробница внушает нам меланхолическое настроение, а украшающая ее эмблема — идею о быстротечности нашего существования; гармоничная музыка очаровывает наш слух и т. д. Средства второго рода действуют на нас, как условные знаки в силу связи, установленной между ними (знаками) и идеями или чувствами, которые они внушают, связи, подкрепляемой привычкою и сохраняемой по традиции; такое значение передается от отцов к детям, или приобретает путем изучения знаков, бывших в употреблении у разных народов».

(в широком смысле), источники, обозначающие факт, — с памятниками словесными и письменными³⁵.

Впрочем, можно указать и на такие источники, в которых оба момента смешиваются. Более или менее конкретный символ, например, представляет ассоциацию некоей совокупности мыслей с материальным образом, который частью изображает, частью обозначает ее; такой символ оказывается источником, который более или менее наглядно изображает мысль, ассоциированную с главной, но преимущественно обозначает последнюю; припомним, например, что христианская церковь символизировалась в виде корабля. В вышеуказанном смысле человек может замещать реальное явление (предмет или действие) символом, возникающим не как результат внутреннего развития самого явления, а как следствие сознательного отношения к нему того, кто пользуется символом и кто, конечно, может чувствовать различие между символизируемым явлением и его символом. Вместе с тем последний не навязывается людям одной только силой инерции, а охотно принимается ими в качестве ассоциируемого с известным значением условного изображения: оно может, значит, вовсе не совпадать со знаменуемым им явлением (по крайней мере, с существенными его чертами); благодаря условному своему характеру оно легко может и сосуществовать с обозначаемым им объектом, а иногда даже получает в качестве символа новое, более общее значение³⁶.

Деление источников на изображающие и обозначающие факт перекрещивается другим: оно принимает во внимание значение источ-

³⁵ Деление источников, рассмотренное выше, слишком мало обосновано в литературе: историки или не задумываются над его основаниями, или довольствуются делением источников на вещественные и письменные, или «неписьменные и письменные» и т. п. Бергейм называет его «чисто внешним, неточным» (S. 256). Ланглуа и Сеньобос пишут: «Можно различать два вида документов (т. е. источников): иногда бывший факт оставил материальный след (монумент, фабрикованная вещь), иногда, и притом чаще всего, след факта оказывается психологического порядка: он состоит в описании или писаном сообщении» (р. 45). Авторы рассуждают несколько яснее, когда называют первого рода «документы» «документами материальными изобразительными», а «документы» второго рода — «символическими»; но они не обосновывают того деления, которым постоянно пользуются, и смешивают его с делением источников на остатки культуры и исторические предания, которое вовсе игнорируют.

³⁶ *d'Alviella G.* La migration des symboles. P. 3. «Par le symbolisme, les objets les plus simples les plus vulgaires se transfigurent, s'idéalisent, acquièrent une valeur nouvelle et pour ainsi dire illimitée ср. еще ниже, о пережитках.

ника в его реконструированном целом, а не только в его материальной форме для исторического знания. При восприятии некоторых из источников, изображающих факт, историк получает более непосредственное знание о факте, чем при восприятии других: источник, изображающий факт и вместе с тем оказывающийся его остатком (например, склеп и проч.), с такой точки зрения, представляется историку более ценным, чем источник, тоже изображающий факт, но в виде предания о нем (например, в виде картины, изображающей тот же склеп, и проч.); то же можно сказать и про источники, обозначающие факт; и между ними есть такие, которые все же можно признать остатками, например, юридический акт, международный трактат и т. п., и такие, которые содержат лишь предание о факте, хотя бы, положим, рассказ о заключении той же юридической сделки или международного договора.

С только что указанной точки зрения, можно получить деление источников на остатки культуры и на исторические предания; оно также имеет свои основания.

В самом деле, историк может изучать факты двояким образом: или через посредство собственного восприятия остатков того именно факта, который его интересует; или через посредство результатов чужих восприятий данного факта, реализованных в тех или иных формах и таким образом доступных его собственному восприятию и изучению. С такой познавательной-исторической точки зрения, значит, нужно различать два основных вида источников.

В тех случаях, когда историк может смотреть на источник как на остаток изучаемого им исторического факта, он получает возможность по нему непосредственно заключить о том, что и факт, остаток которого доступен его исследованию, действительно существовал; такого рода источники я буду называть остатками культуры.

В тех случаях, однако, когда историк усматривает в источнике только предание об историческом факте, а не его остаток, он по нему еще не может непосредственно заключить о том, что и факт, о котором он знает нечто через посредство чужого о нем показания, сохранившегося в источнике, действительно существовал; прежде чем утверждать действительность его существования, историк должен установить, на каком основании и в какой мере он может доверять преданию о факте; такого рода источники я буду называть историческими преданиями.

Итак, с познавательной точки зрения, по степени близости познающего субъекта, т. е. историка, к объекту его изучения, по степени непосредственности знания историка о таком историческом факте

следует различать два основных вида источников: остатки культуры и исторические предания.

Только что указанное деление источников проведено с теоретико-познавательной точки зрения и допускает возможность рассматривать хотя бы один и тот же объективно данный конкретный источник или в качестве остатка культуры, или в качестве исторического предания.

Легко даже указать на целую группу источников смешанного характера, которые, смотря по задачам исследования, можно признавать или остатками культуры, или историческими преданиями. Дело в том, что среди остатков культуры немало таких, которые хотя и оказываются результатами деятельности людей данного периода, но создаются и ввиду будущих поколений. Историк может непосредственно судить по ним о тех факторах, которые их вызвали, но вместе с тем должен приписывать им значение исторических преданий, поскольку они, в сущности, уже не представляют только остатков прошлой культуры, но одновременно оказываются и преданиями об исторических фактах, рассчитанными на то, чтобы производить желательное для деятелей данного времени впечатление на их современников или потомство. К таким смешанным источникам можно причислить, например, прозвища царей и других лиц, монументы или медали в честь деятелей и событий, описания торжеств.

Наличие подобного рода смешанных источников несколько не упраздняет, однако, деление исторических источников вообще на остатки культуры и на исторические предания, так как в основе его прежде всего лежит различие в точках зрения, с которых исторические источники изучаются, а не различие самих источников.

С реалистической точки зрения, легко, однако, включить в такое деление и положительное различие объективно данных источников, что обыкновенно и делается при смешении вышеуказанной точки зрения с реалистической, позитивной. Тогда деление источников на остатки культуры и исторические предания ставится в зависимость от того, что именно разуметь под объективно данным историком остатком культуры или историческим преданием, и может быть характеризовано следующим образом.

Под остатком культуры можно разуметь непосредственный результат той самой деятельности человека, которую историк должен принимать во внимание при построении исторической действительности, включающей и означенный результат; остаток культуры есть в сущности остаток того самого исторического факта, который изучается историком; следовательно, можно сказать, что в случаях подоб-

ного рода исторический факт как бы сам о себе отчасти свидетельствует перед историком.

Под историческим преданием можно разуметь отражение какого-нибудь исторического факта в источнике: последний — не остаток данного факта, а результат того впечатления, которое он произвел на автора предания, реализовавшего его в данном материальном образе.

В самом деле, остаток культуры есть, конечно, непосредственный результат некоей психофизической деятельности человека, ее след, запечатленный в образе, доступном восприятию историка. Древний храм, например, есть прежде всего результат почитания того бога, в честь которого он сооружен; первобытное орудие — результат хозяйственной потребности, для удовлетворения которой он служил; документ, укреплявший какую-нибудь юридическую сделку или содержащий какой-нибудь договор между двумя державами, есть тоже остаток старины, в котором непосредственно выразилась и застыла гражданская или политическая деятельность частных лиц или государств; устаревший обычай или обветшавшее учреждение — также результаты общественного и политического строя прежнего времени. Следовательно, историк может исходить из остатков старины, сохранившихся до его времени, для того чтобы по ним непосредственно судить о психических факторах и культурных силах, в свое время их вызвавших: он признает остатки старины, доступные его наблюдению, следствиями тех причин, о действии которых он заключает по ним; он, значит, может судить по ним о тех именно психических факторах и деятельности, которыми он объясняет историческую действительность данного периода, т. е. те его факты, которые действительно были и имеют историческое значение.

Остаток культуры — следствие причин, в совокупности с другими вызвавших изучаемый факт; предание же есть следствие этого факта: факт влияет на данную личность, под его впечатлением она запоминает его или оценивает его в предании.

Таким образом, исторический факт не сам собою обнаруживается в историческом предании, а через посредство его творца (автора), изображающего его, например, в картине или описывающего его в каком-либо произведении литературы. Благодаря посредничеству автора историческое предание обыкновенно содержит не только воспоминание о факте, но и ту или иную его оценку. В самом деле, автор сообщает данный факт в предании на том основании, что сам он признает его заслуживающим внимания; значит, он уже включает в предание и момент оценки факта — положительной или отрицательной. Кроме того, автор предания чаще всего воссоздает факт не для себя

только, а и для потомства; ясно, что и с такой точки зрения, автор предпосылает некую оценку передаваемого им факта: он не стал бы говорить о нем, если бы не приписывал ему более или менее общего значения; летописец заносит в свою летопись, мемуарист — в свои мемуары то, что он считает достойным внимания читателей, и т. п.

Само собою разумеется, что оценка также входит в число факторов образования остатка старины; но здесь она играет роль более или менее значительного фактора и в образовании того самого факта, остаток которого изучается; оценка, обуславливающая появление исторического предания, напротив, может не играть такой роли: ведь она обнаруживается по совершении факта со стороны автора предания о нем и часто затрудняет его понимание.

Соответственно только что указанному различию между остатком культуры и историческим преданием естественно различать два основных вида исторических источников и называть их теми же терминами.

Понятие о каждом получит дальнейшее разъяснение, если обратиться к изучению объема каждого из них.

Вышеустановленное общее понятие об остатке культуры обуславливает и дальнейшие его разновидности: чем более такой остаток может дать историку непосредственное знание о факте, тем большее значение он имеет для него; следовательно, по степеням последнего можно различать и несколько групп остатков культуры: по одним можно судить о действующих и довольно характерных факторах, вызвавших факт и продолжающих обнаруживаться в его остатке; по другим можно заключать о наличии таких факторов лишь по устаревшим проявлениям их в данном остатке; по третьим приходится догадываться о факторах, некогда действовавших, теперь же известных лишь по тому остатку культуры, который они вызвали, но в котором они уже перестали действовать. Итак, принимая во внимание вышеуказанные соображения, можно различать несколько главнейших разновидностей остатков культуры; я назову их (за отсутствием лучших терминов) воспроизведениями, пережитками и произведениями культуры.

Воспроизведения культуры — те остатки ее, которые воспроизводятся, т. е. способны, благодаря некоторой устойчивости психофизического типа «*homo sapiens*», воспроизводиться вновь и, значит, в указанном смысле повторяются. Вообще, к таким отчасти еще живым остаткам культуры можно более или менее отнести язык, некоторые нравы, обычаи, учреждения и т. п., возникшие до времени их изучения, но продолжающие жить во время их изучения.

Пережитки культуры — те остатки ее, которые переживают, т. е. продолжают сохранять, некоторые следы прежней жизненности и в тот

период развития культуры, с которым они уже далеко не находятся в полном соответствии и в течение которого они подвергаются изучению. К таким мертвеющим остаткам культуры можно отнести некоторые элементы языка, разные игры, обряды, нравы, обычаи, учреждения и т. п.

Произведения культуры – те остатки ее, которые сохранились до времени их изучения со стороны историка: они оказываются результатами некогда бывшей культуры; они не воспроизводятся в вышеуказанном смысле, т. е. не воссоздаются, хотя копии с них могут, конечно, фабриковаться; они не переживают, поскольку факторы, породившие их, продолжают действовать; они только сохранились, но в качестве таких произведений культуры, которые сами по себе не продолжают жить и развиваться, хотя и могут оказывать влияние на последующие поколения. К произведениям культуры можно причислить предметы древности, произведения литературы (поскольку они рассматриваются как остатки фактов из истории творчества, остатки человеческих идеалов и т. п.), документы и т. п.

Рассмотрим каждую из намеченных групп в отдельности хотя бы в самых общих чертах.

Вообще воспроизведения культуры могут дать историку наиболее непосредственное знание о факторах, породивших факт; сам он может воспроизводить и обыкновенно воспроизводит их инстинктивно; вместе с тем он объясняет их действием факторов, все еще в значительной мере продолжающих действовать в подобного рода остатках.

В таком смысле естественно признать язык, хотя бы в известной степени, воспроизведением культуры: будучи одним из самых непосредственных результатов психофизической деятельности человека, язык способен воспроизводиться по крайней мере в течение целого ряда поколений. Хотя язык – не чисто физиологический процесс, ибо жесты и слова не то же самое, что движения и звуки, хотя он и оказывается результатом сложной ассоциации между мыслью и внешнею формою ее обнаружения в движениях или звуках, но и такая ассоциация может отличаться сравнительно большою устойчивостью, а иногда надолго сохраняет, по крайней мере отчасти, то значение, которое установилось за нею и знаменуется данною кристаллизовавшеюся формою. Язык целой группы родственных между собою народов или язык одного и того же народа, да и весь его строй отличаются некоторою устойчивостью; в позднейших периодах его развития можно найти в нем немало слов, а значит, и понятий, сохранившихся от прежних времен и тем не менее поддающихся воспроизведению; следова-

тельно, их можно признать воспроизведениями культуры, по которым позволительно (разумеется, при строгом соблюдении требований историко-лингвистического исследования) судить о культуре предшествующих более или менее отдаленных поколений, говоривших тем же языком. «Лингвистическая палеонтология» и занимается подобного рода исследованиями, пока, главным образом, лишь применительно к древнейшей культуре индоевропейцев, дополняя и проверяя те заключения, какие она делает на основании сравнительного изучения индоевропейских языков, разысканиями в области «доисторической» (особенно неолитической), а также «первобытной» культуры³⁷. Само собою разумеется, что языки современных народов служат гораздо более надежным источником для изучения «жизни слов», а вместе с нею психики и культуры соответствующих этнических групп за время, предшествующее данному; обращаясь к изучению языка данного народа в качестве воспроизведения культуры ближайших его поколений в соответствующих звуковых формах и не упуская из виду возможности тех изменений, какие могли произойти в значении слов и оборотов речи в течение изучаемого периода времени, можно пользоваться составом воспроизводимых слов и оборотов речи для живого понимания того культурного фонда, который перешел от прежних поколений к современному; с такой точки зрения, например, «психология языка» данной нации стремится выяснить ее психический тип и особенности ее душевного склада, что, разумеется, может получить весьма важное значение и для объяснения ее истории, по крайней мере ближайших ее периодов³⁸. Вообще, лишь в той мере, в какой историк признает язык воспроизведением культуры, он получает возможность переносить значение произносимых им слов на однородные с ним сочетания звуков или на те начертания, с которыми он связывает такие значения; читая, например, рассказ летописца, повествующего о том, как

³⁷ *Schrader O.* Sprachvergleichung und Urgeschichte, 2 Aufl. Iena, 1890. S. 209–212, 351 и др.; 3-te Aufl. Iena, 1906. S. 208–232.

³⁸ *Paul H.* Grundriss der Germanischen Philologie. Bd. I (1901). S. 182: «Viele Wörter bleiben längere Zeit sowohl in ihrer Lautform als in ihrer Bedeutung im wesentlichen unverändert oder verändern sich doch nur soweit, dass die verschiedenen Gestaltungen leicht an einander erinnern, so dass wenn die eine bekannt ist, die anderen dazu leicht in Beziehung gesetzt werden. So kann jemand mit blosser Kenntnis des Neuhochdeutschen viele mittelhochdeutsche und selbst manche gotische oder altnordische Wörter als Vorstufen oder Verwandte ihm geläufiger Wörter erkennen. Was von den Wörtern gilt, das gilt auch von den formalen Elementen und den Konstruktionsweisen»...

князя варяжские, «три братья придоша» к славянам и другим племенам, историк почти инстинктивно, не задумываясь, связывает начертания «три», «братья», «придоша» и т. п. соответственно с теми их значениями, которые сам он привык приписывать воспроизводимым им словам; без такого перенесения, хотя бы и ограниченного известными условиями, историк не мог бы понять фразу летописца: он не мог бы проникнуть в смысл даже знакомых ему начертаний, не мог бы приступить и к выяснению тех из них, значение которых изменилось.

Впрочем, к воспроизведениям культуры можно отнести, кроме языка, и многие другие проявления современной историку культурной жизни, разумеется, в той мере, в какой он обращается к ним в качестве источника для изучения по существу однородных факторов, действовавших несколько ранее и порождавших результаты, аналогичные с теми, которые он наблюдает в позднейшее время; он может пользоваться, например, повериями или приемами «житейской техники», продолжающими существовать в настоящее время, для понимания прошлого; он может проводить наблюдения над обычаем или даже учреждением, продолжающим действовать, для понимания того, каким образом оно действовало несколько ранее, если только его механизм остался без существенных перемен; с той же точки зрения, он может изучать даже разные акты (частные и государственные), если они до времени их изучения не утратили своей юридической силы, и т. п.

Во многих случаях историк не располагает воспроизведениями культуры для изучения прошлого: с течением времени воспроизведение культуры легко превращается в пережиток; тогда историк судит о действительно бывшем факте лишь по переживающему его остатку: он пытается восстановить интересующий его факт по его пережитку.

Понятие о пережитке культуры можно прежде всего установить с познавательной точки зрения: остаток культуры, который историк ценит, поскольку он может служить ему для изучения все еще действующих факторов культуры данного периода, но который он не может объяснить действием главнейших факторов того же периода, придающих последнему его характерные особенности, он, с такой точки зрения, и называет пережитком культуры.

Можно, однако, придти к формулировке понятия о пережитке и с реалистической точки зрения. Возьмем любую систему культуры Σ (a, b, c, d, \dots), в состав которой входят, положим, элементы a, b, c, d, \dots , реально связанные между собою. Если при развитии такой системы скорость развития отдельных ее элементов не одинакова и если, положим, на степени n ее развития элементы a, b, d, \dots достигли той же степени ее развития, а элемент c , в известной мере реально связанный с остальными

ми, только степени m , причем $m = n - k$, то с точки зрения степени развития, которой вся система уже достигла, можно признать $Ст$ пережитком. Следовательно, остаток прошлой культурной жизни, сохранившийся в современной, но представляющий уже устаревшим по отношению к окружающим его явлениям новой культуры, называется пережитком. Действие тех психических (точнее, социально-психических) факторов, которое обнаружилось в данном пережитке, нельзя, однако, признать утратившимся: в противном случае данный остаток потерял бы значение пережитка, т. е. остатка культуры, доживающего свой век; прежние факторы, хотя и очень слабо или в иной форме, продолжают действовать в пережитке, но они уже неглавные факторы нового периода; кроме того, самый процесс переживания данного факта служит также объектом исследования для историка, а между тем этот процесс совершается на его глазах: историк может подвергнуть его непосредственному наблюдению. С такой точки зрения, пережиток есть также непосредственный результат той деятельности человека, которая порождала историческую действительность; прежние факторы, хотя иногда и в очень слабой мере или в измененной форме, все же продолжают действовать в пережитке; значит, историк получает возможность непосредственно изучать по нему явление прошлой культурной жизни. Вместе с тем всякий пережиток есть продукт культуры, уже утративший свою цельность: действие в нем прежних факторов, например, ясное понимание его цели и значения, во всяком случае ослаблено или изменилось, и с такой точки зрения, всякий пережиток — только остаток прежней культуры, доживающий свой век в среде явлений новой культуры.

Вообще, комбинируя обе точки зрения, можно придти к следующему положению: если историк имеет дело с таким остатком культуры, который он еще может использовать для ознакомления с действующими факторами культуры, но уже не может объяснить его действием тех главнейших факторов, которым он объясняет характерные особенности данного периода культуры, и если такой остаток представляется ему данным в реальной связи, но не в достаточно полном соответствии с остальными элементами той же группы, то он и называется последним пережитком культуры.

Понятие «пережиток» действительно употребляется в только что указанных двух его значениях; но его можно переносить и на такие остатки культуры, о которых историк знает лишь из исторического предания, хотя бы сами они уже перестали существовать³⁹. В качестве

³⁹ Tylor E. Primitive Culture. V. I. P. 15–23, 63–145; автор один из первых обратил серьезное внимание на пережитки.

иллюстрации понятия о пережитке в первом из указанных его значений приведем хотя бы следующий: в древнейшее время человеческие жертвоприношения существовали и у римлян; но в позднейшее время они ежегодно приносили в жертву богу неба луковые и маковые головки, а водяному богу Тибра – тридцать чучел из тростника; положим, что жертвоприношения последнего рода (головок и чучел) можно объяснить действием устаревших и ослабевших представлений о кровожадности богов, требующих себе человеческих жертв, теперь заменяемых, однако, головками лука и мака или чучелами и т. п.; но их нельзя объяснить действием главнейших факторов позднейшего времени; следовательно, обычай приносить в жертву богам головки лука и мака или чучела – пережиток. Возьмем пример, иллюстрирующий понятие пережитка во втором из указанных его значений. В Европе поклонение камням продолжали переживать даже по введении христианства: в период раннего Средневековья синоды и епископы во Франции и в Англии боролись против литолатрии⁴⁰: явно не соответствуя христианскому мировоззрению, она была пережитком, по которому историк может судить о языческих верованиях предшествующих поколений. Обе точки зрения, указанные выше, часто комбинируют, например, при объяснении обоснования в древности права собственности на имущество, добытое путем обмена, действиями, связанными с его захватом, и т. п.

На основании предлагаемого определения к пережиткам можно отнести довольно разнообразные остатки культуры, например слова со следами прежнего значения, хотя бы звуковая форма их воспроизводилась в прежнем виде (*villanus-villain*, «пошлые обычаи, пошлые люди» и т. п.); игры, открывающие возможность участникам дать волю некоторым примитивным инстинктам своей природы и упражнять их (игры детей в подражание, охоту, войну, соревнование и т. п.); обряды – религиозные, светские – церемониальные⁴¹, юридические, например, передачу куска дерна из рук в руки при совершении сделки купли-продажи земли «одерень»; «народные книги», обращавшиеся в прошлом веке, но ведущие свое начало от Альберта Великого с братией, и т. п.

В некоторых случаях понятие о пережитке естественно сближать с понятием о символе, занимающем место того, что он должен был бы

⁴⁰ *Chantepie de la Saussaye P. D.* Lehrbuch der Religionsgeschichte. Bd. I (1887). S. 61.

⁴¹ *Spencer H.* Principles of sociology. P. IV (1879), trad. E. Cazelles. Т. III (1885); сокращенное изложение на русском языке см. в «Развитии политических учреждений». СПб., 1882.

представлять: остаток культуры может переживать в символе. Понятие, например, о кровожадности богов переживает в частичных жертвоприношениях, когда вместо целого богу жертвуют только часть: припомним хотя бы весьма распространенный обычай приносить богу в жертву не человека, а его палец; оно переживает и в замене человеческой жертвы или ее части приношением животного, в замене зверей их изображениями, сделанными из теста, и т. п. Аналогичные превращения можно наблюдать и в тех случаях, когда смертная казнь преступника заменяется отсечением его пальца и т. п.⁴²

В очень многих случаях, однако, историку приходится обращаться к изучению интересующего его факта не по его пережитку, а по сохранившемуся от него остатку, называемому «произведением культуры».

Историк не может пользоваться произведением культуры для познания факторов, еще действующих в его остатке; он не может объяснить его действием современных ему факторов культуры: факторы, обнаружившиеся в нем, уже перестали действовать в нем, но результаты их действия все же сохранились и доступны непосредственному наблюдению историка. В самом деле, произведение культуры тем и отличается от пережитка, что в таком произведении историк уже не может непосредственно наблюдать игру культурных сил, а принужден о них догадываться только по кристаллизовавшемуся их результату или другим данным, имеющим еще более косвенное соприкосновение с изучаемым объектом: жизненный процесс в таких остатках, самих по себе взятых (а не в их отношении к человеку, воспринимающему их), уже закончился.

Историк, собственно говоря, непосредственно не знает, какую цель имел в виду тот, кто сделал данную вещь, как он ее делал и т. п., но догадывается о ее назначении и т. п. по самому характеру изучаемого произведения; то же можно сказать и про другие разновидности произведений культуры — произведения литературы, документы и т. п.

Действительно, в произведения культуры нельзя не включать и произведения литературы, в том числе автобиографии, повести и романы, стихи, театральные пьесы; и они ведь оказываются, с известной точки зрения, остатками культуры и обладают вышеуказанными признаками произведений культуры. Каждое произведение литературы (в широком смысле) есть такой остаток, по которому можно судить об идеях, волновавших автора, его настроениях и вкусах, его

⁴² *Ferrero G. Les lois psychologiques du symbolisme. Par., 1895. P. 93 et ss.*; впрочем, автор едва ли ясно установил цель своего труда; между прочим, он смешивает понятия о знаке, символе и пережитке.

интересах и идеалах, его исканиях и т. п.; следовательно, данное произведение литературы может иметь большое значение для истории человеческой психики и не иметь никакого положительного значения в качестве исторического предания — для исторического построения того факта, который в нем рассказывается и который, может быть, никогда не существовал в действительности.

К той же группе произведений культуры можно причислить и деловые бумаги разного рода, в том числе письма, приходо-расходные и нотариальные книги, канцелярские бумаги. Некоторые виды документов, правда, могут иногда вызвать сомнение в исследователе — причислять ли их к остаткам культуры. Ложные дипломатические депеши или донесения о ходе военных событий (положим, депеши Наполеона I о ходе Отечественной войны) настолько извращают события, что, казалось бы, не могут быть признаны реальными результатами войны Франции с Россией 1812–13 гг.; но в таких случаях историк легко забывает, что документы подобного рода суть все же результаты реально действовавших исторических факторов — военно-дипломатической деятельности Наполеона I, его воли представить факты в том, а не в ином виде; в только что указанном смысле и документы, подобные ложным депешам Наполеона I, все же могут быть названы остатками культуры: они остатки того факта, что в то время во главе французских войск стоял именно Наполеон I, а не кто иной, и что он хотел представить руководимые им военные действия в таком, а не ином виде; эти депеши остаток факта — военно-правительственной деятельности Наполеона I, но не того факта, который в них описывается. Следовательно, заведомо извращенный, «сочиненный» кем-либо документ может оказаться по тому самому скорее остатком личного творчества, произведением литературы, чем остатком того исторического факта, который в нем описывается; он должен быть зачислен скорее в разряд произведений литературы, чем в разряд документов; тем не менее и последняя квалификация возможна, если принять во внимание, что извращенный документ, положим, публичного характера, есть все же результат такой, а не иной деятельности правительства. Во всяком случае, наряду с произведениями литературы следует признавать еще одну группу произведений культуры, а именно законы и акты в широком смысле, уже утратившие свою юридическую силу; историк может непосредственно заключать о степени развития правосознания данной общественной группы и т. п. по его остаткам в законах, а также в частных и государственных актах.

Перейдем к выяснению понятия о тех исторических источниках, которые называются историческими преданиями.

Вообще историческое предание дает историку гораздо менее непосредственное знание о факте, чем остаток культуры: в историческом предании факт не воспроизводится в вышеуказанном смысле, а только припоминается; предание есть лишь мысленное (а не действительное) воспроизведение факта, или воспоминание о нем; но для того, однако, чтобы стать доступным историку, такое воспоминание должно быть реализовано; можно, значит, сказать, что чужое воспоминание о факте, реализованное в каком-либо источнике, называется историческим преданием о таком факте; вместе с тем следует иметь в виду, что в той мере, в какой автор считает факт интересным для себя и для других, он уже включает в свое предание момент его оценки, положительной или отрицательной.

Под понятие об историческом предании можно подвести, конечно, и понятие о воспоминании, касающемся остатка культуры; ведь последний — также своего рода исторический факт, о котором можно составить предание; иными словами говоря, можно назвать историческим преданием и предание о каком-либо остатке культуры, например какое-нибудь изображение вещественного памятника древности, рассказ о совершении какого-либо частного или публичного акта. Предания подобного рода получают даже весьма важное значение в тех случаях, когда объект их уже утрачен или изучение его затруднительно без помощи предания, хотя оно часто затемняется его оценкою.

Так как историческое предание есть мысленное воспроизведение факта (а не его остаток), то, очевидно, деление исторических преданий на главные их разновидности зависит от того, в какой мере чужое мысленное воспроизведение исторических фактов основано на более или менее непосредственном знании их. Следует различать, например, чистые предания от смешанных: в той мере, в какой автор предания вспоминает факты на основании собственных своих восприятий, оно признается чистым, свободным от посторонней примеси; в той же мере, в какой он сообщает о них по чужим преданиям, — смешанным. К более или менее чистым преданиям естественно отнести рисунки и рассказы очевидцев, а также мемуары, надписи, отчасти былины, сказания и т. п., к смешанным преданиям — жития, биографии, сказания, летописи и т. п. Вышеуказанный принцип нетрудно применить и к группировке преданий на дальнейшие их разновидности. Чистые предания можно делить, смотря по зависимости автора от собственных его восприятий, т. е. смотря по тому, характеризуются они преимущественно воспоминанием или оценкою, на описательные и оценочные: легко заметить, например, что «анналы», т. е. записи по годам или по десятилетиям случившихся фактов, вообще отличаются

более описательным характером, чем «хроники», обнаруживающие иногда тенденциозность, или чем произведения полемики и публицистики, в которых момент оценки (в психологическом смысле) может получить преобладающее значение. Помимо вышеуказанного деления, смешанные предания всего удобнее различать по степени зависимости автора от чужих восприятий: такие предания могут быть или производными, когда автор пользуется не только своими, но и чужими восприятиями как материалом для составления своего предания в качестве таковых, или составными, когда он без достаточной переработки включает в свое предание чужие предания или образует из них новое смешанное предание; с такой точки зрения, можно усмотреть различие, например, между картиной, писанной известным художником под влиянием чужих преданий, и картиной, составленной им вместе с его учениками; между хроникой и летописным сводом, который мог быть составлен и из одних только чужих преданий, и т. п.

Впрочем, можно было бы указать и на другие деления исторических преданий, например в зависимости от той формы, в какой они запечатлелись; но известное деление их на устные и письменные едва ли много дает для выяснения самого понятия об историческом предании и скорее служит для различения некоторых приемов их интерпретации и критики⁴³.

§ 2. *Главнейшие виды источников, различаемых по содержанию, характеризующему их и пригодному для изучения данного рода исторических фактов*

Помимо вышеуказанной общей познавательной точки зрения, историк может различать источники по их конкретному содержанию, т. е. по тому, что именно они содержат, и с такой точки зрения выяснять их значение для построения данного рода исторических фактов.

В настоящем отделе я только в самых кратких чертах коснусь деления источников, которое можно получить таким путем, отложив

⁴³ *Bernheim E.* Lehrbuch. Kap. III, 1; здесь автор различает предания изображающие (bildliche), устные и письменные; легко объединить, однако, последние два вида под названием обозначающих преданий и, таким образом, обнаружить возможность деления преданий на вышеуказанные две группы источников: изображающих и обозначающих; автор причисляет к устным преданиям «рассказы, сказания или саги (Sage), анекдоты, поговорки, исторические песни», а к письменным — «надписи, генеалогии, календари, анналы, хроники, биографии, мемуары и т. д.»; но он не выясняет принципов своей группировки.

до одного из последующих отделов выяснение значения, какое каждая группа источников имеет для построения той, а не иной части исторической действительности.

В сущности, вышеуказанная точка зрения уже принимается во внимание при делении источников по роду творчества, породившего их, например при группировке их на произведения народного творчества и индивидуального творчества; но в делениях подобного рода историк исходит скорее из своих заключений об отличительных особенностях факторов, породивших данные источники, чем из их содержания в строгом смысле.

Деление по содержанию, конечно, также предполагает и наличие различных видов творчества, которым объясняется то, а не иное содержание источников; но все же деление по содержанию, характеризующему их, строится не с чисто генетической, а с аналитической точки зрения: содержание источника подвергается анализу; на основании последнего историк и приходит к заключению, что данный источник характеризуется тем, а не другим содержанием, пригодным для исторического построения.

С последней точки зрения, едва ли не самым общим делением следует признать то, которое различает источники, характерное содержание которых преимущественно имеет значение для познания того, что было, от источников, содержание которых преимущественно служит для познания того, что признавалось должным; или, говоря короче, можно различать источники с фактическим содержанием от источников с нормативным содержанием.

Впрочем, такое деление легко обосновать, пользуясь и генетическим методом, но для целей аналитического определения разновидностей источников, отличающихся по характерному своему содержанию. В самом деле, все источники можно, кажется, разбить на две группы в зависимости от того, какого рода факторы человеческой психики принимаются во внимание для объяснения их характерных особенностей; историк признает всякий источник продуктом человеческого творчества, но приписывает последнему или самопроизвольный, или регулирующийся характер. Под самопроизвольным творчеством можно разуметь такое, которое естественно порождает данный источник, не имея в виду нормативных целей, а под регулирующим — такое, которое сознательно задается целью или установить нормы (истины, добра, красоты), или подчинить себя данным нормам, что отражается и в соответствующем роде источников. С указанной точки зрения, можно, значит, также различать источники с фактическим содержанием от источников с нормативным содержанием.

Группу источников с фактическим содержанием можно делить на второстепенные группы, например, на источники с идейным содержанием и на источники с бытовым содержанием.

Под источниками с идейным содержанием можно разуметь те, которые преимущественно дают материал для изучения мыслей и чувств людей, живших в данном месте и в данное время, например, предметы культа, произведения поэтической и прозаической литературы. Источники подобного рода естественно группировать в зависимости от различия характеризующих их идей и настроений или представляющих их сюжетов: таковы, например, попытки классифицировать произведения литературы по сюжетам, в частности попытка установить деление народных сказок в зависимости от тех комбинаций, в каких коренные их элементы встречаются⁴⁴.

Под источниками с бытовым содержанием можно разуметь те, которые преимущественно касаются быта людей, живших в данном месте и в данное время, например, предметы житейской техники, разные бумаги делового характера. Источники подобного рода легко подвергнуть дальнейшей группировке, различая, положим, те, которые относятся к частному быту, от тех, которые дают понятие о государственном быте, и т. п.

Источники с нормативным содержанием в свою очередь распадаются на несколько второстепенных групп, а именно на источники с чисто нормативным и источники с утилитарно-нормативным содержанием.

Такое деление, конечно, находится в связи и с теми различиями, какие можно усматривать в нормативном творчестве, наличность которого предпосылается для понимания соответствующих продуктов-источников. В самом деле, творчество, направленное к установлению норм, может иметь в виду или установление чистых норм, или составление правил. Под установлением чистых норм можно разуметь опознание тех абсолютных ценностей, которые даны в нашем сознании, а под установлением правил — выработку таких норм, которые хотя и могут приближаться к чистым, но имеют в виду какую-либо утилитарную цель; установление правил легко переходит в простую их формулировку. Следовательно, можно различать источники с чисто нормативным содержанием от источников с утилитарно-нормативным содержанием.

Источники с чисто нормативным характером могут содержать изложение логических и научных норм, т. е. трактаты по логике или по

⁴⁴ *Hahn J. G. Griechische und albanesische Märchen. Lpz., 1864. Bd. I. S. 45–64; автор различает Familienformeln, Vermischte Formeln и Dualistische Formeln.*

другим наукам и т. п., или изложение этических норм, например какое-либо моральное учение, систему законодательства, принимающую их во внимание; или изложение эстетических норм в виде рассуждений по эстетике и т. п. В качестве источников, более или менее приближающихся к таким типам и служащих для суждения о том, какие именно чистые нормы были опознаны, а также где, когда и кем именно они были признаны, достаточно указать хотя бы на «Аналитику» и «Топику» Аристотеля, на «Naturalis philosophiae principia mathematica» Ньютона, на «Римскую историю» Нибура и т. п., или на «Размышления Марка Аврелия» и «Декларацию прав человека и гражданина» 1789 года, или на ряд произведений Альберти по теории живописи, скульптуры и архитектуры (1404–1472 гг.) и т. п. Впрочем, чистые нормы воплощаются иногда и без особого их высказывания, в образцовом произведении (особенно в художественном), по отношению к которому другие произведения группируются⁴⁵.

Источники с утилитарно-нормативным характером могут содержать правила техники; таковы, например, средневековые сборники правил мышления (ср. *Ars Magna* Раймунда Луллия), правила стихосложения, правила индустриальной техники, например «*Compositiones ad tingenda*» и т. п.⁴⁶ К источникам с утилитарно-нормативным характером можно также причислить правила данного общежития, обязательные для его членов, например памятники обрядового характера, обычного права, акты юридические, а также памятники законодательства и т. п.; правила подобного рода отличаются характером внешнего принуждения и обыкновенно сопровождаются какой-либо санкцией, что видно, например, из «Салической правды» и т. п.

В сущности, для того чтобы зачислить данный источник в одно из вышеуказанных делений, историк уже пользуется особыми приемами его изучения, которые принято называть интерпретацией и критикой. Эти приемы имеют, однако, и вполне самостоятельное значение; историк прибегает к ним для того, чтобы обосновать свое утверждение, что факт, его интересующий, действительно существовал; последнее он может утверждать, лишь подвергнув источник, содержа-

⁴⁵ Произведения вроде «Аналитики» и т. п. легко, конечно, причислить и к источникам с идейным содержанием (т. е. к произведениям прозаической литературы); но такая группировка, проводимая с иной точки зрения, несколько не устраняет возможности признавать «Аналитику» и т. п. источниками с более или менее нормативным содержанием в той мере, в какой последнее состоит из того, что высказывалось в них, как долженствующее быть признанным.

⁴⁶ *Berthelot M. La chimie au Moyen âge. T. I. Par., 1893. P. 7–22.*

щий сведения о таком факте, надлежащей интерпретации и критике. Обратимся к краткому рассмотрению методологического значения каждого из таких способов исследования в отдельности.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ

Общее учение об исторической интерпретации источников, несмотря на свое значение, долгое время оставалось без систематической обработки: оно применялось только в конкретных случаях, при истолковании данного рода источников. В древности, например, интерпретация находилась преимущественно в связи с изучением произведения Гомера и других писателей, которые древнегреческие «грамматисты» объясняли в школах, а глоссографы — в своих «глоссах»; она продолжала развиваться преимущественно благодаря «грамматикам» александрийской эпохи и при толковании христианских древностей и Священного Писания, особенно в богословско-полемической литературе, а также получила новую и широкую область применения к произведениям классического искусства и литературы, заинтересовавшим гуманистов и позднейших писателей⁴⁷. Тем не менее учение об историче-

⁴⁷ *Aristotelis* [?]. *Περὶ ἑρμηνείας* содержит скорее учение о выражении мыслей в форме предложений и суждений, чем теорию интерпретации; ср. его же «Риторику», где, особенно в кн. III (о стиле), можно найти замечания и об интерпретации. Квинтилиан, а также юристы Павел и Ульпиан уже различали два вида интерпретации — грамматическую и логическую. Сочинения Оригена (*Περὶ ἀρχῶν*, lib. IV) и Августина (*De doctrina christiana*, особенно lib. III), основанные на «правилах» и «законах аллегории», уже известных Филону, едва ли не старейшие из сохранившихся трактатов об интерпретации. Ориген рассуждал: «*Περὶ τοῦ θεοπνεύστου τῆς θείας γραφῆς καὶ πῶς ταύτην ἀναγνώστειον καὶ νοητέον τίς τε δὲ τῆς ἐν αὐτῇ ἀσαφείας λόγος καὶ τοῦ κατὰ τό δητόν ἐν τισιν ἀδυνάτου ἢ ἀλόγου*». Бл. Августин дает в первой главе третьей книги вышеназванного трактата «*summam superiorum librorum et scopum sequentis*»; последний сводится главным образом «*ad ambigua scripturarum discutienda atque solvenda*». В числе позднейших трактатов особого упоминания заслуживает сочинение, также возникшее на почве толкования Св. Писания, а именно: *Flacius M. Clavis scripturae sacrae seu de sermone sacrarum literarum in duas partes divisaе, quarum prior singularum vocum, atque locutionum sacras scripturae, usum ac rationem ordine alphabetico explicat; posterior de sermone sacrarum literarum plurimas generales regulas tradit*, 1567; новое, допол. изд. *Francofurti et Lipsiae*, 1719. Часть вторая содержит трактаты «*de ratione cognoscendi sacras literas, ... de stylo sacrarum*

ской интерпретации долго не получало достаточно самостоятельного значения и часто поглощалось критикой или даже входило в состав методологии исторического построения⁴⁸.

Такое отношение к исторической интерпретации объясняется частью тем, что общее понятие о ней до последнего времени оставалось не вполне выясненным, частью же зависело от того, что не все принципы и методы ее обращали на себя достаточное внимание тех, которые рассуждали о ней. В настоящей главе я и попытаюсь прежде всего выяснить общее понятие об исторической интерпретации источников, а затем уже перейду к рассмотрению принципов и приемов, характеризующих каждый из ее методов в отдельности.

§1. *Общее понятие об интерпретации исторических источников и о главнейших ее методах*

Всякий, кто стремится к познанию исторической действительности, черпает свое знание о ней из источников (в широком смысле); но для того чтобы установить, знание о каком именно факте он может получить из данного источника, он должен понять его; в противном случае он не будет иметь достаточного основания для того, чтобы придавать своему представлению о факте объективное значение; не будучи уверенным в том, что именно он познает из данного источника, он не может быть уверенным и в том, что он не приписывает источнику продукта своей собственной фантазии. С такой точки зрения, историк, в сущности, приступает и к изучению различных видов источников: он пытается установить, например, остатки какого именно факта или

literarum» (между прочим, *stylus Paulinus*. P. 507–528 и др.) и т. п.; автор обращает внимание на то, что путем толкования можно достигнуть понимания источника и что при его толковании нужно исходить из представления о нем как о целом — принцип, впоследствии значительно развитый Шлейермахером. См. еще нижеследующие примечания. Краткая история учения об интерпретации изложена в сочинении *Blass F. Hermeneutik und Kritik. Einleitung*, 1 (только до XVI в. включительно; ср. выше, с. 283) и в статье *Dilthey W. Die Entstehung der Hermeneutik (до XIX в.)* // *Philosophische Abhandlungen Christoph Sigwart...* gewidmet. Tübingen, 1900. S. 187–202.

⁴⁸ *Bernheim E. Lehrbuch*. Kap. V. §1 (S. 566–613); автор излагает учение об исторической интерпретации в отделе «историческое построение», что нельзя признать правильным. *Langlois Ch.-V. et Seignobos Ch. Introduction*, liv. II, sec. 2, ch. 6; здесь в отделе «внутренней критики» авторы рассуждают о «critique d'interprétation»; но задачи интерпретации и критики различны, о чем см. ниже, с. 317 и след.

предание о каком именно факте заключаются в данном источнике, что и становится возможным лишь при надлежащем его понимании.

Впрочем, если припомнить, кроме того, те принципы, которые лежат в основе понятия о собственно историческом объекте изучения, то и с такой более специфической точки зрения понимание источника станет еще более настоятельной потребностью историка: ведь приступая к изучению исторического материала, он уже исходит из признания того «чужого Я», деятельности которого он приписывает возникновение данного источника, и из соответствующего понятия о последнем; следовательно, каждый исторический источник оказывается настолько сложным психическим продуктом отдельного лица или целого народа, что правильное понимание его дается не сразу; оно достигается путем его истолкования.

Итак, в широком смысле, можно сказать, что интерпретация состоит в общезначимом научном понимании исторического источника⁴⁹.

Научное понимание исторического источника, в свою очередь, нуждается, однако, в некотором разъяснении. Вообще, научно понимать исторический источник — значит установить то объективно данное психическое значение, которое толкователь должен приписывать источнику, если он желает достигнуть поставленной себе научной цели его исторической интерпретации; но в сущности, истолкователь может придавать объективно данное психическое значение своему источнику лишь в том случае, если он имеет основание утверждать, что он приписывает ему то самое значение, которое творец (автор) придавал своему произведению. С такой точки зрения, истолкователь и интересуется, главным образом, психическим значением или смыслом исторического источника и устанавливает его путем интерпретации.

Предлагаемое понятие об интерпретации можно несколько дополнить, если обратить внимание на то, что именно интерпретируется в источнике. Само собою разумеется, что при интерпретации историк прежде всего стремится подыскать то психическое значение источника, которое более всего соответствует данным его чувственного восприятия, т. е. материальному образу источника. В большин-

⁴⁹ Ср. выше, с. 243 и след. Общая проблема «понимания» другого затронута в статьях *Swoboda H.* *Verstehen und Begreifen* // *Vierteljahrsschrift für Wiss. Phil.* Bd. XXVII (1903). S. 131–188, 241–295; *Elsenhans Th.* *Die Aufgabe einer Psychologie der Deutung.* Giessen, 1904. Такое учение, в сущности, предпосылается и в исторической интерпретации; см. о ней, кроме вышеназванных трудов Флациуса, Вольфа, Шлейермахера, Бёка, Штейнталя, Бласса, Бернгейма и других, дополнительные указания в гл. V.

стве случаев, однако, историк имеет дело с источниками, содержание которых получает надлежащий смысл лишь после дальнейшего его истолкования, что особенно заметно, например, при изучении источника с иноказательным смыслом, который может быть косвенно изображен в условно связанных с ним представлениях или аллегорических образах, в свою очередь запечатленных в данном материальном образе. Впрочем, хотя смысл источника и его материальный образ не всегда непосредственно связаны друг с другом, тем не менее, без некоторой связи между ними не может быть и источника; следовательно, в конечном итоге, все же можно сказать, что историк, занимающийся интерпретацией, устанавливает объективно данное значение или смысл исторического источника более или менее непосредственно по его материальному образу.

Идеальная интерпретация источника, разумеется, состояла бы в том, чтобы истолкователь достиг такого состояния сознания, при котором он мог бы самопроизвольно обнаружить его в произведении, тождественном с данным, и при котором он, значит, мог бы понимать его как свое собственное; но ввиду того понятия об интерпретации, которое дано было выше, легко заметить, что она не может претендовать на абсолютную точность всех своих заключений: исходя из гипотезы о чужой одушевленности и далеко не всегда располагая всеми объективными признаками, при помощи которых она могла бы квалифицировать ее проявления, интерпретация источника дает лишь более или менее приблизительное его понимание, да и степень такой приближенности далеко не всегда можно установить с надлежащею точностью.

Понятие об интерпретации нельзя, конечно, смешивать с условиями ее возникновения: она обыкновенно возникает применительно к тем сложным объектам, психическое значение которых не дано в чувственном восприятии наблюдателя, а конструируется им и сознательно прилагается при какой-либо задержке или сомнении в их понимании; интерпретация вызывается, например, двусмысленностью или недостаточностью целого источника или его частей, форм и выражений, излишним его многообразием или многословием, употреблением деталей, слов или терминов, сразу не поддающихся пониманию, и т. п.; она также нужна во всех тех случаях, когда источник вызывает разноречивое понимание, что особенно заметно в спорах сторон, обуславливающих возникновение юридической интерпретации того акта, который укрепляет их сделку⁵⁰.

⁵⁰ *Gauguier J.* De l'interprétation des actes juridiques. Par., 1898. P. 38, 49 et ss.

Вообще, приступая к рассмотрению главнейших принципов исторической интерпретации источников, можно сказать, что всякая интерпретация исторического источника исходит из понятия о некоем единстве чужого сознания, обнаружившегося в нем, а также должна принимать во внимание и то целое, к которому он относится, и ту индивидуальность, через посредство которой он получил свое существование. Такая интерпретация состоит в построении заключений частью субсуммирующего, частью аналогизирующего характера: при помощи интерпретации историк или подводит под известные ему понятия свои представления о фактах, подлежащих познанию, или данные знания распространяет на новое, аналогичное с ними и обогащающее их содержание; в обоих случаях он пользуется и гипотетически-дедуктивным методом, проверяемым опытом и наблюдением, и эмпирически-индуктивным методом, готовящим дальнейший анализ и синтез источника⁵¹.

Действительно, с познавательной точки зрения, можно сказать, что собственно историческая интерпретация начинается с психологического толкования источника: если бы историк не исходил (хотя бы инстинктивно) из предпосылки о существовании «чужого Я» и его одушевленности, единообразной с его собственной, если бы он не выводил из нее, что носитель ее сознательно породил объект, доступный его чувственному восприятию и обладающий известными признаками, он не мог бы назвать такой продукт историческим источником и подвергнуть его собственно исторической интерпретации.

Заключения подобного рода, проводимые, конечно, в связи с эмпирическим наблюдением внешних признаков реально данного объекта,

⁵¹ *Wundt W. Logik. Bd. III, 3 Aufl. S. 78–109.* Впрочем, автор едва ли не слишком широко пользуется терминами «индуктивный» и «дедуктивный» и, хотя сам придает основное значение в науках о духе «психологическому объяснению» (S. 94; ср. S. 312), предварительно рассматривает «сравнительный» метод, а затем уже психологический анализ и психологическую «абстракцию». Само собою разумеется, что и в психологическом методе толкования чувственное восприятие готовит материал, подлежащий интерпретации; но с познавательной точки зрения, можно сказать, что в области социальных и исторических наук ученый приступает к ней не иначе как при помощи психологического метода; о нем см. ниже, § 2. Штейнталь, также указывавший на значение «сравнения» и «дедукции» в интерпретации, пришел, однако, к заключению, что «sein Verständniss (т. е. филолога) ist eine mehr oder weniger reiche deductive Erkenntniss»; см.: *Steintal H. Die Arten und Formen der Interpretation // Verhandlungen der xxxii Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner in Wiesbaden. Lpz., 1878. S. 29.*

дополняются технической его интерпретацией; последняя применяется в тех случаях, когда историк интерпретирует источник вообще с точки зрения тех технических средств, которые автор употребил для осуществления своего произведения; подыскивая точный его смысл, историк с такой именно технической точки зрения и обращается к изучению объективно данных его признаков, судит о его цели по средствам его исполнения и т. п.

Впрочем, пользуясь результатами, добытыми технической интерпретацией, для того чтобы точнее определить характер той одушевленности, которая запечатлелась в данном источнике, можно подвергать его дальнейшему психологическому истолкованию, в свою очередь, дополняя его технической интерпретацией, и т. д.

Итак, различая психологический метод толкования источника от технического метода его интерпретации, не следует забывать, что в действительности, т. е. в самом процессе работы, они постоянно переплетаются: в исторической интерпретации каждый из них прилагается, конечно, лишь в комбинации с другим, и самый порядок их приложения и чередования может отчасти изменяться в зависимости от данного конкретного случая.

При толковании источника таких операций, однако, еще недостаточно: для того чтобы понять источник, нужно различать типические признаки отразившейся в нем культуры от индивидуальных его особенностей; толкование нуждается в еще более сложных методах исторической интерпретации, которые я назову типизирующим и индивидуализирующим.

Таким образом, каждый из вышеуказанных методов имеет свою задачу, отличную от остальных⁵².

⁵² Предлагаемая группировка отличается от прежних, впрочем, весьма разнообразных и далеко не общепринятых делений Шлейермахера, Аста, Вольфа, Бёка, Штейнталя, Бласса и др. (ср. *Blass F. Op. cit.*, 1891. S. 172 ff.). Та группировка, которой я придерживаюсь, может быть, нуждается в дополнительных разъяснениях, но они будут даны ниже. Здесь я замечу только, что без психологического толкования нельзя приступать к интерпретации любого источника, памятника вещественного, письменного и т. п.; учение об интерпретации последнего рода источников часто начинают, например, с изложения приемов «словесной», или грамматической, интерпретации, т. е. установления значения слов, взятых отдельно, или элементов речи в их соотношении; но такая операция уже предполагает психологическое их истолкование и в сущности включает и технический метод интерпретации, часто обращаясь, сверх того, к остальным методам — типизирующему и индивидуализирующему, что видно хотя бы

Впрочем, отличая каждый из вышеуказанных методов от остальных по задаче, которую он преследует, а значит, и по его приемам, нельзя упускать из виду, что каждый из них в известной мере дополняется другими; психологический метод, например, не только обуславливает индивидуализирующий, но в свою очередь завершается в нем: только в нем он и получает полноту своего значения для интерпретации исторического источника. Вместе с тем каждый из более сложных методов более или менее включает все остальные, менее сложные, комбинируя их для решения предстоящей ему задачи: с такой точки зрения, например, историк пользуется и психологическим, и техническим, и типизирующим методами для интерпретации путем индивидуализирующего метода индивидуальных особенностей данного источника.

Постоянное упражнение во взаимном пояснении психического значения одного источника данного культурного периода психическим значением другого источника того же культурного периода может выработать в историке особое «чутье» того именно душевного склада, который характерен для людей данного культурного периода. Благодаря своему историческому чутью историк может постигать значение даже нового для него исторического источника инстинктивно: не прибегая к сознательному и систематическому употреблению вышеуказанных принципов и методов, он сразу подыскивает соответ-

изучения Бёка о «грамматической интерпретации»; см.: *Boeckh A.* Op. cit. S. 93–111. Остальные общеизвестные разновидности интерпретации также не представляют достаточно ясного разграничения методологических задач: уже Шлейермахер справедливо заметил, что известное в его время деление интерпретации на «грамматическую», «историческую», «по содержанию» (*sachliche, interpretatio rerum*) и «эстетическую» имеет в виду скорее различие тех знаний, какие предварительно нужны толкователю, чем различие самих методов собственно интерпретации источников; ср. выше, с. 279 и *Gauguier J.* Op. cit. P. 72–73; иными словами говоря, такое деление слишком мало связано с принципами общей методологии источниковедения и преимущественно имеет в виду одни только различия в технике работы. Бернгейм (не говоря о более ранних попытках) также различает не столько методы интерпретации исторических источников, которые в сущности можно применять, хотя и в неодинаковой мере, к одному и тому же источнику, сколько способы применения интерпретации к пониманию остатков культуры или исторических преданий, или же взаимного толкования остатков – преданиями, преданий – остатками, одного или целой группы источников – другой группой источников и т. п.; см.: *Bernherin E.* Lehrbuch. Kap. v. § 1.

ствующее психическое содержание тому материальному образу, который он имеет перед глазами.

Привычка подобного рода нисколько не устраняет, однако, необходимости с методологической точки зрения различать вышеуказанные операции: «чутье» историка лишь придает им при их употреблении то единство настроения, без которого он при исполнении своей задачи не мог бы более или менее ярко переживать содержание источника и находить в таком переживании опору для его научной интерпретации.

§ 2. *Психологический метод интерпретации исторического источника*

Психологическое толкование основано, конечно, на принципе признания чужой одушевленности⁵³: оно исходит из понятия о чужом сознании, обнаружившемся в данном продукте, и применяется ко всякому реальному объекту, значение которого не может быть установлено с чисто «механической» точки зрения и признаки которого по предварительном их наблюдении дают повод предполагать, что его значение более, чем «механическое». Вообще исторический источник можно признать объектом подобного рода; в самом деле, с генетической точки зрения, понятие об историческом источнике уже тесно связано с психологическим его толкованием; историк не может достигнуть такого понятия, не прибегая к психологическому толкованию материального образа того объекта, который он, благодаря этой операции, и получает возможность признать историческим источником.

Психологическое толкование источника сопряжено, однако, с большими затруднениями: полное и взаимное понимание двух субъектов предполагает, собственно говоря, тождественность их психики (по крайней мере, в отношении к высказываемому) в тот самый момент, когда они общаются, что уже маловероятно; но историк опрашивает субъекта, который высказался ранее его; при таких условиях тождественность их психики, разумеется, еще менее вероятна; следовательно, с последней точки зрения, можно сказать, что если бы даже историк сам мог вступать в непосредственное общение с людьми прошлых веков, он должен был бы подвергать их высказывания психологическому толкованию. Историк имеет дело, однако, не с живым субъектом, а только с источником, который лишь более или менее отражает его одушевленность, что еще более затрудняет ее понимание. В самом деле, в языке жестов или слов общающегося с ним субъекта наблюдатель еще может следить за живым выражением чужой одушевленно-

⁵³ См. выше, с. 244–251.

сти и предполагает непосредственную связь между нею и соответствующими жестами, интонациями, словами и т. п.; но в тех случаях, когда историк лишь заключает о некогда бывшей одушевленности по какому-нибудь памятнику вещественному или произведению письменности, такие объекты представляются ему уже как бы сорванными со своего корня, чисто внешними ее обнаружениями, лишенными прежней полноты высказывания; и ему приходится восстанавливать чужую одушевленность без того непосредственного чутья действительности, которое может помочь ему разгадывать чужую психику, в его присутствии «переходящую» в соответствующие движения, жесты и т. п.; в таких случаях он пользуется только относительно слабым сочувственным переживанием и принимается за интерпретацию источника на основании сухого научного анализа, который в большинстве случаев оказывается не в состоянии дать все элементы, нужные для синтетического построения чужой одушевленности во всей жизненной полноте ее характерных черт, лишь отчасти запечатленных в материальном образе источника. Впрочем, можно, пожалуй, усмотреть и некоторые преимущества подобного рода материала перед скоро преходящими, изменчивыми и конкретными обнаружениями чужой одушевленности; тем не менее психологическое его толкование все же представляет немало затруднений.

Как бы то ни было, но без психологического толкования нельзя приблизиться к пониманию исторического источника: историк придает ему более, чем «механическое», значение или известный смысл лишь благодаря тому, что он, пользуясь собственными аналогичными психическими переживаниями, подвергает его психологическому толкованию. Само собою разумеется, что историк приписывает такое значение или смысл источнику гипотетически и при помощи интуиции, проверенной дальнейшим применением его гипотезы к толкованию источника, или прибегая к эмпирическому его исследованию, после которого он, положим, приходит к заключению, что данный объект имеет более, чем «механическое», значение и сознательно подставляет свою одушевленность под данный материальный образ, получающий, таким образом, известный смысл; но в качестве историка он, собственно говоря, пользуется только результатами такого исследования и приступает к интерпретации исторического источника, лишь обращаясь к психологическому его толкованию⁵⁴.

⁵⁴ См. ниже, § 3; такое эмпирическое исследование объекта, нужное для того чтобы приписать ему более чем «механическое» значение, я отличаю от технической интерпретации источника, в сущности уже признанного «историческим», хотя бы смысл его оставался еще неясным.

Принципы психологического толкования находятся в тесной связи с понятием о единстве чужого сознания, в частности, с понятиями об ассоциирующей и целеполагающей его деятельности: они применяются к весьма разнообразным историческим источникам, хотя и не в одинаковой мере; они получают особенное значение в интерпретации реализованных продуктов индивидуальной психики, но пригодны и для понимания произведений коллективного творчества, в последнем случае, впрочем, чаще обнаруживаясь в связи с одним из приемов типизирующего метода⁵⁵.

В числе принципов психологического толкования едва ли не главнейшим следует признать понятие о единстве чужого сознания: толкователь, в сущности, исходит из гипотезы, что оно обнаружилось в своем продукте — источнике, и придает ему известную целостность; с такой точки зрения, он понимает каждую его часть лишь в ее отношении к целому или к другим частям. В самом деле, полагая, что чужое сознание в его единстве отражается в источнике, всегда представляющем из себя уже довольно сложный его продукт, истолкователь, в сущности, с такой точки зрения, понимает и его части, например, при толковании тех чужих мускульных сокращений, которые понадобились для совершения данного жеста, тех движений и отдельных звуков или письменных знаков, которые потребовались для произнесения или написания данного слова, и т. п. Принцип единства чужого сознания, разумеется, получает еще более широкое значение в том случае, когда историк имеет дело с источником, отражающим целую совокупность движений, нужных для выделки данного предмета, или целый ряд знаков, обозначающих чужую речь в словесной или в письменной форме; он понимает, например, каждое слово в его соотношении с другими словами, благодаря которому каждое из них и получает более конкретный смысл. В связи с тем же принципом можно поставить и многие более частные правила герменевтики, давно уже обратившие на себя внимание исследователей; он лежит, например, в основе предположения, в силу которого толкователь признает, что один и тот же автор употребляет одно и то же слово в одном и том же комплексе слов в одном и том же смысле, т. е. что данное слово оказывается тою же самою частью одного и того же целого, воспроизведенного несколько раз, и следовательно, должно иметь одно и то же значение, и т. п.⁵⁶ С точки зрения того же принципа, наконец, можно

⁵⁵ См. ниже, § 4.

⁵⁶ *Schleiermacher F. Sämmtliche Werke, III Abt. Zur Philosophie. Bd. III. S. 366 ff.*: Шлейермахер не возводит, однако, таких правил к принципу единства сознания.

толковать и отдельные части данного произведения, и отдельные сочинения одного и того же автора. В тех случаях, например, когда историк имеет дело с цельным мировоззрением, он может понять отдельные его части, лишь вставляя их в такое целое; один из самых талантливых представителей немецкого романтизма, например, толковал творения Платона, исходя из представления о нем как о философствующем художнике: отсюда он выводил понимание его философии, совокупности его диалогов, каждого из них — как части целого, каждого значительного слова — понятия как одного из его элементов, например слова *δόξα*, и т. п.⁵⁷

Вышеуказанный принцип остается, конечно, в силе и в тех случаях, когда толкователь обращает более специальное внимание на более частные проявления чужого сознания в той мере, в какой он объясняет источник одним из них: ведь говоря о проявлениях чужого сознания, он уже представляет себе то, что действует в виде некоторого единства. Аналогичные предпосылки историк делает, например, когда он стремится понять ассоциацию между состоянием чужого сознания и данным материальным образом из ее положения в комплексе ассоциаций данного лица; или когда он выясняет цель автора, с точки зрения которой отдельные части и даже детали его произведения становятся понятными; или когда он определяет «главную идею» произведения, отношение к ней второстепенных его идей и т. п.

Впрочем, при толковании источника историк не должен, конечно, упускать из виду, что единство отражающегося в нем чужого сознания в действительности может быть более или менее относительным. Такое понятие, например, легко подметить в тех случаях, когда толкование опирается на сравнении «параллельных мест»; оно иногда дает возможность выяснить смысл отдельного выражения, если последнее в одном «месте» поставлено в связь с данным целым более удачно, чем в другом «месте», и т. п.

В связи с вышеуказанным основным принципом психологического толкования историк часто пользуется и более частными его разновидностями: он интересуется, например, чужим сознанием в той мере, в какой последнее обнаруживает ассоциирующую или целеполагающую деятельность; он, главным образом, и принимает их в расчет при интерпретации того источника, в котором чужое сознание обнаружилось: он стремится, например, усвоить мысли, которые автор ассоциировал с данным материальным образом источника, выясняет его цель или главную идею и т. п. С такой психологической точки зрения

⁵⁷ *Schleiermacher F. Platons Werke. Berl., 1804 ff.; 2 Aufl. Berl., 1817 ff.*

на ассоциирующую и целеполагающую роль чужого сознания, историк и толкует его продукт — источник.

В самом деле, при психологическом толковании источника историк часто исходит из понятия об ассоциирующей деятельности того чужого сознания, которое отразилось в нем; он должен не только установить некоторую ассоциацию между своими представлениями и данными своего чувственного восприятия, но и воспроизвести в себе такие представления, которые он имеет основание признать соответствующими «чужим», ранее бывшим представлениям, т. е. тем представлениям, которые сам автор произведения ассоциировал с данными их обнаружениями, доступными чувственному восприятию историка. Итак, историк должен сознавать, что переживаемое им представление есть вместе с тем воспроизведенное им чужое представление, и притом именно то, которое в чужом сознании ассоциировалось с наблюдаемым им материальным образом. Такое сознание лежит в основе утверждения, что между ассоциацией представления данного творца (автора) и его внешним обнаружением — и ассоциацией представления данного историка с тем же обнаружением, доступным его чувственному восприятию, существует соответствие.

При установлении подобного рода соответствия историк пользуется несколькими второстепенными приемами, которые я назову установлением реального объекта, доступного чувственному восприятию творца (автора) и историка и общего им обоим, и установлением соответствия между психическим значением данного материального образа у его творца и психическим значением, какое историк приписывает тому же материальному образу.

Вообще, для того чтобы установить соответствие между чужой и своей ассоциацией, историк должен прежде всего быть уверенным, что реальный объект, с которым он связывает свои представления, тот самый, что и у автора источника, оказывающегося таким объектом.

Высказанное положение может, пожалуй, показаться само собою разумеющимся: ведь по крайней мере, тот вещественный образ, в который автор облек свою мысль, должен быть доступен чувственному восприятию историка; иначе последний будет поставлен в невозможность исходить из него для подыскания соответствующего ему психического значения; следовательно, вышеуказанное условие само собою понятно.

В таком рассуждении, однако, понятие об объекте смешивается с понятием о данной вещи — предмете, письменном знаке и т. п.; сама по себе взятая, она действительно всегда оказывается общей и автору, и историку; но с познавательной точки зрения, всякая вещь доступна

каждому из них только в виде представления о ней; а представление о ней или материальный образ источника, в сущности, часто бывает весьма сложным построением, и историк может умотреть в нем не тот (или не совсем тот) материальный образ, с которым автор ассоциировал свою мысль. Только тогда, когда объект (в смысле представления о данном материальном образе) оказывается действительно общим и автору, и историку, последний может установить и то психическое значение, с которым он ассоциировался у автора. Всего труднее, конечно, историку решить такую задачу, когда он имеет дело с источником, не вполне сохранившимся, и когда ему приходится прибегать к реконструкции того вещественного образа, который предполагается данным его чувственному восприятию: сама реконструкция может оказаться не соответствующей оригиналу, как, например, в известных случаях восстановления статуи Лаокоона или исправления текста какой-либо из трагедий Эсхила.

Перейдем к краткой характеристике другого приема психологического истолкования источников, а именно к установлению соответствия между психическим значением данного образа у его творца и у историка, т. е. к установлению того факта, что одно и то же или, по крайней мере, приблизительно однородное психическое значение ассоциируется с одним и тем же вещественным образом и у его творца, и у историка. Если припомнить, сколько представлений сами собою подразумеваются при любом из внешних обнаружений нашей мысли, сколько разнообразных чувствований может быть связано с каждым из представлений и насколько бледным и обезличенным становится каждое из их внешних обнаружений (например, какое-либо начертание слова), в случае когда оно берется без того, что в нем подразумевается, то даже при тождестве психики историка и автора далеко не всегда можно ожидать, что он правильно истолкует такое обнаружение; но если иметь в виду, что при вероятном различии в психике автора и историка, поставленных, положим, в разные условия культуры, подразумеваемое автором и подразумеваемое историком не тождественны, задача психологического истолкования, предстоящая историку, окажется еще более сложной.

Естественно, что с такой точки зрения, психологическое толкование рассматриваемого типа прежде всего должно быть обращено на выяснение того комплекса состояний сознания, которые сам автор ассоциировал с данным материальным образом. Вообще, толкование чувствований может оказаться более затруднительным, чем толкование умственных представлений: напряженные, «чистые» или «глубокие» чувства иногда слишком мало поддаются выражению; другие,

правда, тесно связаны с их разрядом во внешних их обнаружениях, но только в очень малой степени запечатлеваются в источнике; представления или понятия, содержащие элементы, общие с нашими собственными представлениями и понятиями, напротив, сравнительно более понятны позднему интерпретатору и легче ассоциируются с соответствующим материальным образом; но и в последнем случае задача сильно осложняется, если толкователь примет во внимание ту зависимость, в какой интеллектуальные процессы находятся от эмоциональных. Вообразим, например, что толкователь данного исторического источника должен выяснить, с какими чувствованиями автор связывал тот материальный образ, который доступен его чувственному восприятию под видом написания: «Ах!» и что автор прибегнул к нему, желая выразить удивление, для чего и написал: «Ах!»; он придал ему вышеуказанное значение, очевидно, связывая «ах!» не только с зрительным его образом, но, положим, хотя бы только со слуховым, с тою интонацией, с которою он мысленно произнес «Ах!»; положим далее, что такого именно сочетания зрительной ассоциации со слуховой достаточно для того, чтобы придать конкретно-данному написанию «Ах!» его значение, и что можно пренебречь теми жестами, которыми произнесение его могло сопровождаться. Историк не может, однако, сразу установить такое именно его значение: он знает, что можно произносить: «Ах!» и с чувством угрозы, и с чувством гнева, и с чувством горя или радости, и с чувством нетерпения, и с чувством мечтательности, и с чувством удивления и т. п.; значит, при психологическом толковании письменного образа «Ах!» он должен иметь в виду, что автор мог ассоциировать его с весьма разнообразными чувствованиями и что из них надо выбрать то самое, которое действительно было ассоциировано с этим образом: лишь тогда тот, кто его видит (но уже не слышит), будет в состоянии понять его. С аналогичной точки зрения, историк истолковывает и другие элементы психического значения данного ему образа. Положим, например, что объектом подобного рода оказывается «книга»; но материальному образу книги или написанию «книги» можно придавать весьма различные психические значения: если под «книгой» разуметь обозначение некоторого умственного содержания, то толкователь данного материального образа «книга» будет стремиться выяснить, с каким именно умственным содержанием этот образ ассоциируется; если под «книгой» разуметь продукт некоторой работы типографского стенка, то толкователь данного материального образа будет стремиться выяснить, какие представления о числе ее печатных листов, о ее цене и т. п. ассоциируются с этим образом.

Такое соответствие между психическим значением, с которым творец и толкователь данного образа его ассоциируют, устанавливается двумя путями: или преимущественно аналитическим, или преимущественно синтетическим; рассмотрим их главным образом применительно к интерпретации тех умственных представлений, которые ассоциированы с данным материальным образом.

С аналитической точки зрения, изучение ранее бывшего чужого представления по его материальному образу сводится к анализу тех элементов, из которых могло образоваться соответствующее ему представление, что и облегчает воспроизведение их комплекса в представлении историка по данному материальному образу.

В самом деле, чужое представление, в особенности если оно возникло в совсем иное время, гораздо ранее его исторического исследования, редко сразу становится понятным исторiku; старинное слово, например, особенно если оно записано на каком-нибудь иностранном, чуждом исторiku языке, требует толкования. Тогда историк принужден разлагать чужое представление на отдельные его элементы или признаки и переводить каждый из них на свой язык, а затем уже комплекс этих элементов или признаков подразумевает под тем письменным начертанием слова, которое он находит в историческом источнике. Путем такого анализа историк, значит, может образовать ассоциацию между комплексом проанализированных им элементов мысли с данным материальным образом, приближающуюся к действительно бывшей у данного автора. Процесс подобного рода легко заметить в особенности при психологическом толковании письменного образа, обозначающего довольно сложное понятие в таком термине, который сам по себе не способен вызвать в исследователе надлежащую ассоциацию его с соответствующим психическим содержанием, хотя бы, например, при толковании слова *ἐντελέχεια* в том смысле, в каком Аристотель употреблял его.

Следует заметить, однако, что в действительности понимание чужой ассоциации можно достигнуть, лишь дополнив такое исследование изучением психического значения источника с синтетической точки зрения, т. е. выяснив значение того представления, которое ассоциируется с данным материальным образом, например, с данными письменными знаками в том комплексе представлений, который содержится в целом предложении, в целом сочинении, в целом мировоззрении данного автора или народа в данный период его существования.

Смысл слова, например, часто становится вполне понятным лишь в том случае, если представить его себе в том комплексе, в котором оно дано исследователю: слова такого комплекса взаимно поясняют

друг друга. Взаимное пояснение значения одного слова значением другого становится вместе с тем средством контроля в понимании каждого из них в отдельности; тот же принцип применяется, конечно, и к толкованию письменного образа слова, вставленного в соответствующее предложение или период и т. п. Само собою разумеется, что пределы такого исследования зависят от того, когда получится достаточно подходящее значение для данного слова; выяснится оно уже из одного предложения или из целого периода и т. п.: нельзя, например, достигнуть правильного понимания вышеприведенного слова ἐντελέχεια, не сопоставив того значения, какое Аристотель придает ему в разных местах своей метафизики, трактата о душе и т. п.

Психологическое толкование не исчерпывается, однако, установлением ассоциаций, рассмотренных выше; оно получает телеологический характер, когда историк предполагает, например, наличие известной цели, которую человек осуществлял в данном продукте — источнике, и с такой точки зрения пытается объяснить себе его назначение, т. е. то, для чего он мог служить, что и ведет к дальнейшему его пониманию. В таких случаях историк рассуждает о «цели» в том же смысле, в каком он принимает и наличие чужих ассоциаций, т. е. придает ей объективное значение: он не может довольствоваться признанием такого принципа в его регулятивном значении, хотя и должен помнить гипотетический характер признания объективно данной целеполагающей деятельности чужого сознания; он стремится воспроизвести в себе то состояние сознания, которое он имел бы основание признать соответствующим чужому целеполаганию; лишь в том случае, если он ясно сознает, что испытываемая им цель может быть приписана автору и что она объективирована в его произведении, историк получает возможность подвергнуть его собственно телеологической интерпретации⁵⁸.

В самом деле, так как всякий источник — реализованный продукт человеческой психики, то историк может сказать, что такой самостоятельный продукт (поскольку он обладает характерными особенностями, отличающими его от произведения природы) вместе с тем оказывается результатом целеполагающей деятельности человека или намеренным его продуктом: он признает самый элементарный источник — какую-нибудь простейшую поделку из кремня или какие-нибудь «черты и резы» — уже продуктами преднамеренной деятельности человека; с такой точки зрения, он и стремится точнее установить его смысл и истолковывает те, а не иные особенности продукта⁵⁹.

⁵⁸ См. выше, с. 90 и след.

⁵⁹ Впрочем, толкование древнейших источников сопряжено иногда с фактически-

Следовательно, историк может исходить из общего положения, что реализованный продукт человеческой психики имеет некоторое назначение. В остатке культуры историк может предполагать назначение, состоящее, положим, в удовлетворении какой-либо из ближайших жизненных потребностей данного общества: сосуд удовлетворяет потребность общества в сохранении пищи и более удобном ее потреблении; икона удовлетворяет потребность общества данного времени в конкретном образе чтимого им божества; юридический акт укрепляет чьи-либо права и т. п. В историческом предании историк также может усматривать известное назначение хотя бы, например, в том, что оно сохраняет воспоминание о данном факте (летопись) или прославляет чьи-либо подвиги (надпись, монумент, ода и т. п.), или порицает чьи-либо поступки (памфлет, сатира и т. п.). Таким образом, определяя назначение данного источника, историк уже получает понятие об особенностях того творчества, которое обнаружилось в нем и подходит к пониманию данного остатка культуры или данного исторического предания.

Впрочем, историк выясняет цель автора лишь в связи с тою «главной идеей», которая составляет ее содержание и объективирована в его произведении; имея в виду, что назначение источника тесно связано с главной его идеей, он с такой точки зрения и подвергает его дальнейшей интерпретации: он пытается понять «главную идею» источника, придающую ему внутреннюю его цельность, и интерпретирует отдельные его части, выясняя то отношение, в каком они стоят к главной идее; он стремится определить, имеется ли главная идея в данном произведении и в чем она состоит, насколько она сознается и самостоятельна, а также насколько она преобладает над остальными и развита в деталях; в какой мере автор сумел выразить ее абстрактно или конкретно в соотношении с второстепенными мыслями

ми затруднениями и нуждается в особом рода предосторожностях: некоторые кремни, например, получают вид искусственных поделок путем естественного процесса в речной воде, наталкивающей одни на другие; можно даже искусственно добывать такие предметы, подвергая куски кремня действию воды, приводимой в движение системою колес и достигающей известной скорости движения; после более или менее продолжительного промежутка времени эти куски, сталкиваясь и взаимно оббивая друг друга, приобретают вид эолитов, и т. п. Во всяком случае, понятие о намеренной деятельности не следует смешивать с понятием о преднамеренности источника: остаток культуры — непреднамеренный источник; историческое предание, напротив, может быть составлено с целью служить источником.

или искусственно выдвинул ее в ущерб остальным и т. п. Впрочем, не во всяком произведении он может усмотреть одинаково ясное выражение его главной идеи: в некоторых памятниках варварского искусства или в старинных произведениях иконографии эффект подобного рода достигается, например, чисто внешним образом; в церковных памфлетах XI–XII вв. мысль автора часто прерывается выписками из произведений Отцов Церкви и т. п.; и только после внимательного рассмотрения настроения данного творца историк может иногда разыскать ту нить, которая служит для понимания хода его мыслей и связи их если не в логическом, то по крайней мере в психологическом смысле слова; лишь в выдающихся произведениях человеческого духа историк может заметить и то высшее единство, с точки зрения которого он понимает каждую его часть и придает смысл даже мелким его деталям. С такой точки зрения, он толкует, например, «Критику чистого разума», «*Naturalis philosophiae principia mathematica*» или *Анналы Тацита*; «Размышления Марка Аврелия» или *Евангелие*; «*Фауста*», «*Сикстинскую Мадонну*» или «*Мейстерзингеров*» и т. п.⁶⁰

Соответственно характеру «главной идеи», какую историк приписывает автору источника, он истолковывает и его особенности; смотря по тому, например, признает историк цель автора нормативной или утилитарной, он с нормативной или утилитарной точки зрения интерпретирует его произведение: он, конечно, не поймет источника, возникшего ввиду нормативной цели, если будет интерпретировать его содержание в утилитарном смысле, или, наоборот, станет оценивать его утилитарное назначение с нормативной точки зрения.

В зависимости от того, какое назначение гипотетически приписывается источнику, и ход дальнейшей его интерпретации может получить весьма различное направление. Положим, что историк-археолог при раскопке какой-либо могилы находит в ней монету; назначение ее в древней могиле (например, назначение какой-нибудь изящной античной монеты в могиле варвара) может быть различно: она могла, конечно, служить орудием мены, мерою и посредником при покупке и продаже товаров; но она могла служить и для орнаментальных целей; или, вообразим, что историк, знакомый с историческими рабо-

⁶⁰ Такая точка зрения суживается, едва ли, впрочем, с достаточным основанием, если вместе с Тэнном считать художественным произведением то, которое (в отличие от других?) выражает «*quelque idée importante plus clairement et plus complètement que ne le font les objets réels*»; тогда и вышеуказанный прием толкования получит, конечно, особенно широкое применение лишь к пониманию предметов искусства; см.: *Taine H. Philosophie de l'art*. P. 64.

тами Вальтера Скотта, впервые берет в руки его «Woodstock»; смотря по тому, будет он полагать, что Вальтер Скотт желал развлечь читателя или сообщить ему исторические сведения, он признает его «Woodstock» романом или историческим произведением; и только потому, что вторая гипотеза гораздо менее правдоподобна, чем первая, он подвергнет «Woodstock» интерпретации с точки зрения его значения для истории литературы, а не историографии, и не станет пользоваться им в качестве исторического труда, касающегося некоторых событий из жизни Карла II.

Само собою разумеется, что историк может усмотреть в данном продукте-источнике и несколько целей или идей; в таких случаях он принимает во внимание их комбинации, например комбинацию религиозной цели с утилитарной в каком-либо предмете культа и т. п.; зная, положим, что древние употребляли при совершении религиозных обрядов и при почитании умерших сосуды из глины (за исключением, впрочем, больших сосудов для хранения жидкостей), он, с такой двойственной точки зрения, толкует их назначение: они должны были служить для культа, но редко или вовсе не употреблялись, а потому делались из более дешевого материала, обработка которого требовала менее сложной техники, чем выделка металлических сосудов и т. п.⁶¹ В аналогичном смысле историк может различать, например, комбинации наукообразной цели с эстетической в данном историческом рассказе и т. п.

Наконец, в некоторой зависимости от назначения, или главной идеи, источника или той, а не иной комбинации нескольких идей, можно толковать и подбор того, а не иного материала, из которого источник составлен, а также приемов техники, понадобившихся для выражения мысли автора в соответствующей форме и т. п., в свою очередь оказывающих известное влияние на содержание источника; но в таких случаях телеологическое толкование обыкновенно комбинируется с техническим и другими методами интерпретации⁶².

Вышеуказанные принципы и приемы психологической интерпретации были выяснены, главным образом, применительно к произведениям индивидуального творчества; но они прилагаются, конечно, и к интерпретации произведений коллективного творчества: историк исходит, например, из того же понятия о некотором единстве коллективного сознания, когда рассуждает о «народе» как о творце данного произведения, когда выясняет его «народный характер». Ввиду боль-

⁶¹ *Sittl K. Archäologie.* § 197. S. 187.

⁶² См. ниже, § 3.

шей сложности и меньшей определенности коллективного сознания исследователь не всегда может, однако, точно установить тот коллективный субъект, с точки зрения которого данное произведение толкуется, и определить степень объединенности его сознания, в разных случаях весьма различной. В самом деле, произведение народного творчества, в сущности возникая благодаря инициативе какой-либо отдельной личности, особенно благодаря ее свободной фантазии⁶³, становится «народным» лишь после более или менее продолжительного обращения в пределах данной социальной группы: совокупное действие многих ее членов сглаживает индивидуальные особенности такого продукта, если он обладал ими, или попавшие в него заимствования и, во всяком случае, приспособляет его для общего употребления; следовательно, произведение народной словесности создается не путем единого акта творчества, а рядом более или менее продолжительных попыток безвестных лиц, запечатлевающих в нем типические черты народного характера, мировоззрения и т. п., и образуется путем более или менее заметных наслоений разновременного происхождения. При толковании таких источников принцип единства сознания не всегда оказывается достаточным и даже непрерывность его применительно к данному коллективному творчеству получает довольно условный характер. Миф, например, часто продолжает повторяться, но не в качестве религиозного предания, а лишь в виде народной, волшебной или детской сказки, уже утратившей древнейшее и важнейшее свое значение⁶⁴; басня часто теряет прежний характер популярного разъяснения одного частного случая другим, рассказанным в ней частным же случаем, обнаруживает несколько разных актов творчества, не отличается единством действия, касается подменных лиц и действий; старинное оригинальное содержание былины с течением веков также иногда изменяется, стирается и уступает место новому содержанию⁶⁵.

Ввиду вышеуказанного процесса возникновения произведения народного творчества историк при истолковании его гораздо более пользуется понятием об ассоциирующей, чем понятием о целеполагающей деятельности коллективного сознания; с такой точки зрения, он и интерпретирует, например, народные былины, представляющие

⁶³ *Wundt W. Völkerpsychologie. Bd. II, 1. S. 3-4 и др.*

⁶⁴ *Hartland E. The science of Fairy Tales. Ld., 1891. P. 3-4, 22-23; Gomme G. L. Folklore as an historical science. Ld., 1908. P. 148-150.*

⁶⁵ *Потебня А. Из лекций по теории словесности. Харьков, 1894. С. 17-20, 37, 46, 51; ср. с. 54 и след.; Пытин А. Ист. лит. Т. III. С. 36; ср. с. 39.*

иногда довольно сложную смесь разнообразных элементов — своих народных и заимствованных; он усматривает в них некоторое единство ассоциирующей деятельности народного сознания⁶⁶.

При изучении таких же произведений с точки зрения цели историк встречает гораздо больше затруднений. Ведь даже для понимания какого-либо обоюдостороннего акта, вроде например, купчей, он далеко не всегда в состоянии установить «общее намерение» сторон: замечая, что каждый из контрагентов преследует свою цель, он не всегда может определить «общую» их волю, хотя бы в одном только юридическом ее смысле⁶⁷; тем с большим трудом он разыскивает цель, общую тому собирательному лицу, творчеству которого он приписывает изучаемое им произведение; он полагает, например, что древнейшая поэзия была, по крайней мере, иногда «просто игрою» и сознательно не преследовала чисто эстетических целей; он легче понимает какую-либо былинку Владимирова цикла с точки зрения общего данной социальной группе чувства, положим национального, общеземского настроения киевлян, а затем и русских вообще, чем с точки зрения какой-либо общей им воли, направленной к исполнению ясно сознаваемой политической цели, и т. п. Впрочем, и произведения коллективного творчества интерпретируются, конечно, с точки зрения более или менее ясно сознаваемой их цели или назначения: историк, положим, исходит из предположения, что мифы составлялись для окрашенного религиозным чувством объяснения какого-либо более или менее крупного явления; что мифы и легенды представляли «в богах и героях не только религиозные, но и нравственные идеалы добра и зла» или прославляли героев и их подвиги; что древнейшая поэзия могла служить и средством для достижения практических целей, тесно связанных с обрядом или даже с повседневной работой; что в особенности песня получала такой именно характер; что народная былина или сказка имела в виду иногда (особенно в позднейшее время) национально-политические или даже социально-политические цели и т. п. С такой точки зрения, историк толкует, например, космогонические мифы о сотворении мира, известные у фиджийцев и у других народов; или наши былины о Владимире Красном Солнышке и о князе Романи (Мстиславиче), правившем в самую блестящую пору развития галичского княжества, или известные рассказы (едва ли, впрочем, возникшие без заимствований) о Лисе, олицетворявшей иногда ловкого, смелого и веселого парня

⁶⁶ См. выше, с. 294–295.

⁶⁷ *Gauguier J.* Op. cit. P. 123; *Dereux G.* De l'interprétation des actes juridiques privés. Par., 1905. P. 312–325; ср. p. 386.

из простонародья, и о ее проделках над Волком, т. е. над грубою силой средневекового сеньора⁶⁸.

В зависимости от того, приписывать произведению коллективного творчества то, а не иное назначение или несколько различных целей, интерпретация его, подобно интерпретации произведений индивидуального творчества, может получить разные направления или осложнения: смотря по тому, например, признавать данную басню научно-популярным объяснением одного случая другим случаем или рассказом, преследующим нравоучительную цель, самый ход ее интерпретации окажется различным; но можно одну и ту же басню, например, известную индийскую басню «Турхтан и море», толковать как более или менее искусственную комбинацию обеих целей⁶⁹.

Само собою разумеется, что в зависимости от цели или назначения таких источников содержание и приемы техники их могут меняться: обрядовая песня, например, благодаря своему назначению приобретает строго традиционный характер, который всего лучше сохраняется при помощи ритма и напева; но удовлетворительное объяснение таких данных уже комбинируется и с другими методами интерпретации.

Итак, можно сказать, что психологическое толкование исторических источников основано, главным образом, на понятиях о единстве сознания и о его ассоциирующей или целеполагающей деятельности и что такие принципы служат для толкования произведений и индивидуального, и коллективного творчества; но психологическая интерпретация применяется к разнообразным историческим источникам далеко не в одинаковом смысле.

Следует различать, например, интерпретацию изображающих источников от интерпретации обозначающих источников.

Психологическая интерпретация изображающего источника сводится, главным образом, к пониманию не столько материала, сколько той формы, которая придана образующей его материи: исходя из представления о продуктивной деятельности человека, реального отношения живого, свободного творчества человека к материи, историк усматривает ощутимый результат такого отношения в «форме» источника; с последней точки зрения, он и приступает к его толкованию⁷⁰.

⁶⁸ *Gomme G. L.* The Handbook of Folklore. Ld., 1890. P. 136–139, 146–149; ср. *его же.* Folklore as an historical science. P. 129 и след.

⁶⁹ *Потебня А.* Там же. С. 18–20.

⁷⁰ *Кондаков Н.* Русские клады. Т. I. С. 7–8; автор очень широко понимает термин «форма»: «не только внешний вид предмета есть форма, но, точнее говоря, и сам предмет есть только известная форма материи».

Впрочем, психологическая интерпретация условного вещественного образа или символа уже довольно близко подходит к интерпретации символических знаков. В самом деле, ввиду условного характера такого образа историк при интерпретации его, подобно интерпретации чисто символических знаков, стремится выяснить то психическое содержание, с которым данный символ ассоциируется, и его назначение; иначе он не будет в состоянии по наличию данного символа судить о наличии того психического значения, которое приписывалось ему. С такой точки зрения, историк может принимать во внимание и тот смысл, какой имеет материал данного вещественного образа, например, то значение, которое в Средние века придавали драгоценным камням той, а не иной породы, даже независимо от их искусственной формы, вырезанных на них изображений и т. п.⁷¹ В большинстве случаев, однако, историк изучает преимущественно значение данной, условно понимаемой формы символа; но ввиду условного его характера он часто испытывает большие затруднения при установлении ассоциации, существовавшей между предполагаемыми идеями и данным символом, а также при выяснении его назначения. До сих пор, например, ученые далеко не согласны относительно того значения, какое следует приписывать символу, известному под названием «свастики», или гаммированного креста; ввиду большого распространения его изображений, например, в Гиссарлике, в пещерах Франции и на буддийских надписях такое объяснение затрудняется еще тем соображением, что один и тот же условный вещественный образ мог служить для различных целей (например, религиозных и орнаментальных), причем значение его могло меняться в разных местностях и в разное время.

Психологическая интерпретация обозначающих источников уже тем отличается от предшествующей, что имеет дело с источниками, смысл которых только обозначен при помощи условных символических знаков; в сущности, она состоит в интерпретации языка, т. е. словесных или письменных знаков, условно обозначающих искомое внутреннее содержание источника. Впрочем, если бы возможно было придерживаться теории происхождения языка из звукоподражания, то между словом и его звуковой формой легко было бы признать и реальную связь; но звукоподражаний в языке мало: многие из них предполагают уже довольно развитую наблюдательность со стороны звукоподражающего, да и непригодны для выражения сложных состояний сознания; значительная часть лексического состава изучен-

⁷¹ *Fernie W. T. Precious stones for curative wear and other remedial uses. Ld., 1907.*

ных языков не возводится к звукоподражаниям. Следует иметь в виду, кроме того, что даже если бы удалось вполне обосновать теорию происхождения языка из звукоподражания, все же пришлось бы согласиться с тем, что последующее свое значение как средства общения он получает в той мере, в какой известные формы прочно ассоциировались с некоторым мысленным содержанием, т. е. поскольку такие звуки уже стали символическими знаками. То же можно сказать и про письмо: каково бы ни было его происхождение (т. е. даже если полагать, что идеографическое письмо есть прототип всякого последующего условного письма), оно получает присущее ему значение лишь благодаря тому, что оказывается системой общепризнанных символических знаков, с комбинациями которых люди успели прочно ассоциировать известное значение. Следовательно, психологическая интерпретация языка, т. е. речи и письма, состоит в выяснении того значения, какое придавалось известным лицам, т. е. отдельным индивидуумом, народом и т. п., в данное время (период, возраст и т. п.) данной словесной или письменной форме; для того, однако, чтобы установить эту связь, надо определить, с каким именно значением или внутренним содержанием данные знаки ассоциировались, для какой цели они служили и т. п.

Психологическая, и в особенности телеологическая, интерпретация получает, конечно, разные значения, не только смотря по тому, состоит она в понимании изображающих или обозначающих источников, но и в зависимости от того, прилагается она к пониманию остатков культуры или исторических преданий.

В том случае, когда историк располагает остатком культуры, он может выяснить, какого рода цель преследовал человек при совершении факта, остаток которого сохранился в источнике; он признает, что назначение предмета более или менее овеществлено в остатке культуры и с такой точки зрения интерпретирует его; изучая генезис источника, он знает, что между творцом, породившим его, и данным остатком нет посредника, творчество которого отразилось бы на том же источнике. В том случае, когда историк имеет дело с историческим преданием, он прежде всего стремится выяснить цель, которую имел в виду автор данного источника; следовательно, при изучении исторического предания историк обращает внимание на цель того, кто создал исторический источник, а не только на цель того деятеля, который содействовал возникновению факта, интересовавшего его и отразившегося в источнике.

Впрочем, в той мере, в какой всякое понимание чужой душевной жизни предполагает личное переживание и воспроизведение ее, а не

только пассивное восприятие ее продуктов, историк, в сущности, едва ли может довольствоваться чисто теоретическим толкованием источника; он всего лучше усваивает его, возможно полнее переживая то впечатление от источника, которое он не смешивает с его оценкой и по характеру которого он догадывается о его содержании; он сам воспроизводит в себе и ту совокупность состояний своего сознания, в которой его представление о данном отрывке чужого сознания, по возможности, занимает положение, аналогичное с тем, какое соответствующее ему чужое представление должно было бы занимать в чужом сознании, породившем источник. Благодаря такому творчеству историк может придавать изучаемому им отрывку ту полноту его значения, которое, конечно, не сохранилось в источнике, а тем более в каких-либо его фрагментах; и только при последнем условии он может в полной мере использовать теоретические операции, рассмотренные выше; но он нуждается в их помощи и контроле, так как без них не может придать своим догадкам характер научных выводов.

Вообще, можно сказать, что психологическое толкование лежит в основе всех остальных методов исторической интерпретации источников. Дальнейшее выяснение того именно психического значения, какое следует приписывать конкретно данному источнику, проводится, однако, не без помощи последних. В самом деле, если бы психика того, кто породил данный продукт (источник), и психика историка были тождественны, последний мог бы удовлетвориться психологическим толкованием для понимания источника; но если между чужою психическою деятельностью, с точки зрения которой данный источник толкуется, и психикой историка есть различия (что обыкновенно бывает), то психологическое толкование дополняется технической и собственно исторической интерпретацией; последняя преимущественно имеет в виду толковать такие различия и делать как бы более или менее близкий перевод образа мыслей автора с особенностями его культуры и индивидуальности на образ мыслей, свойственный историку. Такое стремление в возможно большей степени индивидуализировать психологическое толкование источника находит удовлетворение в дальнейшей его интерпретации: историк ставит психологическое толкование источника в связь с другими методами, прежде всего с методом, который можно назвать техническим, а затем при помощи остальных методов — типизирующего и индивидуализирующего — пытается достигнуть еще более точного исторического понимания его содержания.

§ 3. *Технический метод интерпретации исторических источников*

Психологическое толкование в известной мере обуславливает применение остальных методов исторической интерпретации к собственно историческому материалу: ведь без психологического толкования, хотя бы самого элементарного, нельзя назвать данный объект «историческим» источником, а значит, и применять какой-либо другой метод исторической интерпретации к такому именно объекту. Для дальнейшего выяснения предполагаемого психического его значения или смысла историк обращается, однако, и к другим методам: он, правда, исходит из понятия об источнике как о реализованном продукте человеческой психики и признает наличность той ассоциирующей или целеполагающей деятельности, которою источник был вызван; но он может интерпретировать источник, т. е. судить о его смысле и назначении, и по техническим средствам их обнаружения, т. е. по тем специальным приемам, которыми автор воспользовался для осуществления своего произведения и благодаря которым он придал ему тот, а не иной специфический вид⁷².

Таким образом, техническая интерпретация сводится к толкованию тех технических средств, которыми автор воспользовался для обнаружения своих мыслей и благодаря пониманию которых можно приблизиться и к пониманию смысла или назначения его произведения. В числе подобного рода средств следует, однако, различать несколько видов. В той мере, в какой автор источника реализует в нем продукт своей психики, он уже пользуется известными средствами для ее обнаружения; но он может обнаруживать ее различно: или более или менее самопроизвольно употребляя лишь «внешние» средства технической обработки материала, пригодные для реализации продукта своей психики в материальном образе источника; или, напротив, более или менее сознательно придерживаясь известного рода творчества, стиля и тому подобных «внутренних» средств для стилистической обработки содержания, реализованного в источ-

⁷² Рассматриваемый род интерпретации выделяется преимущественно филологами, но часто смешивается с типизирующим методом и даже с эстетической критикой. Вольф называл такую интерпретацию «риторической» (см. ниже), Бёк — «родовой» («generische»), Штейнталь — «стилистической», Бласс — «технической»; но и Бласс не различает ее от типизирующего метода; он также совершенно упускает из виду техническую интерпретацию материальных свойств источника, да и интерпретацию стиля источника понимает только в смысле изучения «писательского искусства» (schriftstellerische Kunst).

нике. Судить о таких средствах можно или по источнику как материальной вещи, послужившей автору для обнаружения своих мыслей, т. е. по ее материальным свойствам; или по источнику как продукту данного рода творчества, обнаружившегося в его стиле, в стилистически обработанном его содержании. Соответственно вышеуказанному различию можно говорить о технической интерпретации материальных свойств источника или о технической интерпретации стиля источника.

Техническая интерпретация материальных свойств источника состоит в толковании его смысла и назначения по техническим средствам, послужившим автору для осуществления своих мыслей, т. е. по его материалу, по его форме и т. п. Такое истолкование включает, конечно, эмпирическое наблюдение изучаемой вещи, но не исчерпывается одним только чувственным восприятием ее свойств: оно находится в тесной связи с эмпирическим исследованием источника; с такой точки зрения, ограничиваясь возможно меньшим числом предпосылок и гипотез, оно пользуется и естественнонаучными методами для того, чтобы подвергнуть исследованию его материал, его форму и т. п.⁷³

Область приложения такого метода, казалось бы, довольно ограничена: ведь большинство вещей мы обыкновенно толкуем, не прибегая к эмпирическому исследованию их свойств; если внешние средства обнаружения чужих мыслей тождественны или аналогичны тем, значение которых уже известно толкователю, он приступает к психологической интерпретации источника на основании данных своего чувственного восприятия, не прибегая к особой технической интерпретации материальных его свойств; он интерпретирует, например, предметы древности, по форме своей сходные с современными, положим, котел, меч и т. п., или знакомые ему письменные знаки, интуитивно подставляя или сознательно подыскивая те состояния сознания, которые с ними были связаны и ими изображены или обозначены, но не подвергая их материальные свойства особому исследованию. Такое заключение, однако, едва ли можно признать вполне правильным: историк не может удовлетвориться поверхностным пониманием данных своего чувственного восприятия; в сущности, он не может вполне научно, т. е. с надлежащею точностью, установить реально данный объект своего психологического толкования без изу-

⁷³ Ср. выше, с. 324. Сравнительно недавно, например, одна из фэйумских мумий была подвергнута исследованию при помощи рентгеновых лучей с целью выяснить, не находится ли на костяке каких-либо металлических украшений.

чения материальных его признаков, тем более что внешний вид доступных ему исторических источников большею частью нуждается в интерпретации; он менее рискует ошибиться в своем представлении о данном источнике после толкования его материальных признаков, положим, свойств того, а не иного металлического сплава или характера письма и т. п.; он иногда легче поймет назначение источника, если он изучит его материал, изображающую или обозначающую его форму и т. п.; вместе с тем он не может принять те из своих выводов, которые явно противоречат данному материальному образу источника или его свойствам: он не может сказать, например, что предмет, сделанный из очень хрупкой бронзы, действительно служил золотом, или толковать какой-либо памятник письменности вопреки объективно данному в нем расположению знаков.

Итак, можно сказать, что вышеуказанный метод вообще прилагается к историческим источникам; но он получает различное применение прежде всего, конечно, в зависимости от тех условий, в какие познание источника поставлено. Во многих случаях технический метод интерпретации служит, собственно говоря, лишь для квалификации и проверки тех выводов, которые делаются благодаря психологической интерпретации достаточно знакомого материального образа источника: материал, из которого сделаны котел, меч и т. п., можно, например, подвергнуть анализу с целью более точного выяснения их назначения; то же самое легко сделать и относительно письменных знаков, материала, на котором они писаны, и способа, которым они начертаны, для того чтобы также пополнить или проверить заключения о их назначении. В других случаях, однако, историк имеет дело с источниками, материальные свойства которых сами нуждаются в интерпретации; предмет или начертания совершенно неизвестной формы, например, могут вызвать вопрос, считать их историческими источниками или не считать; если историк и предпосылает, по предварительном наблюдении, гипотезу, что такие объекты могли быть продуктами чужой психики, он все же нуждается в технической интерпретации материальных их свойств для того, чтобы окончательно принять или отвергнуть высказанную им гипотезу. При таких условиях технический метод интерпретации, очевидно, получает гораздо более самостоятельное значение: внимательное изучение материальных свойств источника существенно облегчает понимание того именно значения, которое ему приписывалось, но которое нельзя вывести из слишком общего предположения о том, что он есть реализованный продукт человеческой психики; в связи с другими методами интерпретации такое изучение облегчает возможность сде-

лать заключение о том значении, какое данный источник имеет, а не только квалифицирует или контролирует его.

В той мере, однако, в какой техническая интерпретация материальных свойств источника связана со строго эмпирическим их исследованием, она, в сущности, непосредственно прилагается лишь к остаткам культуры, а не к историческим преданиям. В самом деле, если источник оказывается остатком культуры, то историк может уже сделать некоторые заключения о его смысле и назначении по внешним средствам его осуществления путем непосредственной интерпретации материального образа источника; он может, конечно, рассматривать и предание как остаток деятельности того, кто сообщает о факте, и, с такой точки зрения, подвергать его эмпирическому исследованию; но в той мере, в какой он признает предание остатком культуры, он уже упускает из виду характерные его особенности, да и не всяким источником он интересуется в качестве такого остатка.

Следовательно, можно сказать, что техническая интерпретация материальных свойств источника вообще применяется в той мере, в какой всякий источник признается некоею вещью, свойства которой могут подлежать точному исследованию, иногда достигающему значительной сложности; но значение такого метода ограничено, так как он непосредственно прилагается лишь к остаткам культуры, а не к историческим преданиям.

Техническая интерпретация материальных свойств источника применяется к остаткам культуры в разной степени, в зависимости от того, имеет она дело с изображающими или обозначающими остатками культуры; на основании вышесделанной их характеристики легко уже придти к заключению, что интерпретация изображающего остатка культуры, материальный образ которого непосредственно доступен чувственному восприятию историка, отличается от интерпретации внешнего вида обозначенного остатка культуры, содержание которого символизируется материальными знаками — жестами, словами, письменами и т. п.

При технической интерпретации материальных свойств изображенного остатка культуры историк обращает преимущественно внимание на его материал и на его форму; и по его материалу, и по его форме он может судить о его назначении; делая на основании изучения материальных его свойств дальнейшие заключения о его технике в ее связи с культурой, а также о месте и о времени, к которым источник относится, историк может достигнуть еще лучшего его понимания⁷⁴.

⁷⁴ *Hostmann Chr. Studien zur vorgeschichtlichen Archäologie. Braunschweig, 1890.*

Действительно, такая интерпретация изображенного остатка культуры сводится прежде всего к научно-эмпирическому анализу того материала, из которого данный предмет сделан; пользуясь его результатами, историк толкует источник.

Анализ материала, из которого данный предмет сделан, может, например, дать некоторые указания на его назначение: между материалом и назначением вещи можно обыкновенно установить известную связь. Ясно, например, что из глины легко сделать горшок, но нельзя сделать нож, пригодный для резания. Такая связь далеко не всегда, однако, может быть установлена сразу: для того чтобы вполне понять, почему первобытный человек выделывал ножи из кремня (а не, положим, из песчаника), археолог, собственно говоря, должен изучить свойства гидратов окиси кремния, т. е. кремнезема, не растворимых в соде и содержащих малое количество воды; в частности, он должен знать по крайней мере некоторые свойства кремня, например коэффициент его твердости и его строение, благодаря которому рядом ударов или давлением при помощи орудия, положим, сделанного из дерева или рога, можно от данного кремня откалывать куски, пригодные для употребления их в качестве скребков, стрел; для того чтобы выяснить себе значение бронзовых котлов в древности, он должен знать, что в то время человек при условиях его примитивной техники еще не мог пользоваться для их изготовления медью, которая поддается соответствующей для данной цели обработке, т. е. выковке в тонкие листы, лишь при наличии в ней вполне определенного процента окиси меди и т. п. Вообще, изучивши свойства материала, историк-археолог может понять, почему человек, эмпирически несколько узнавший их, по преимуществу употреблял тот, а не иной материал для данного рода поделок; лишь после такого исследования он получает возможность лучше установить и ту связь, которая существовала между материалом предмета и его назначением.

Анализ материала (в связи с другими исследованиями) дает понятие и о генезисе данной материальной формы, т. е. о технических приемах, которые были употреблены человеком для того, чтобы сделать данную вещь; и по ним можно также судить о ее назначении: по материалу данной поделки, например, историк догадывается о том, в какой мере техника ее изготовления была развита, т. е. прибегал ли человек при употреблении кремня к оббивке или к полировке его и т. п.; по составу глины, смешанной с дресовой, или просеянной он заключает о степени развития гончарной техники; по составу древнейших вещей из золота с примесью серебра ($\delta \eta \lambda \epsilon \chi \tau \rho \varsigma$) или по составу бронзового сплава он судит о степени развития металлургической техники.

Если, например, сплав содержит много посторонних примесей («случайных»), то историк имеет основание предположить, что человек неолитического периода или сходных с ним состояний культуры мог получить такие сплавы случайно, из смешанной руды весьма малосовершенными способами ее выплавки: бронза в некоторых местностях была, вероятно, получена путем выплавки медной руды, содержавшей олово, или смеси медной руды с оловянным камнем задолго до того времени, когда человек стал получать ее, сознательно сплавляя медь с оловянным камнем или медь с металлическим оловом; в тех случаях, когда сплав содержит, положим, менее 5 % олова в предмете, который, видимо, должен был бы обладать возможно большею твердостью, историк заключает, что человек еще не различал мягких бронз от твердых или не умел добывать последние; в тех же случаях, когда в таком предмете окажется более 25 %, он полагает, что человек еще не отличал твердых бронз от хрупких, малопригодных для обычного употребления⁷⁵. Таким же образом историк может судить о степени культуры по остаткам разного рода сооружений или по технике данных рисунков, картин и по другим источникам, поскольку он признает их остатками культуры, а не историческими преданиями.

Вообще, изучая материал данного источника и способы его технической обработки, историк может путем его интерпретации делать весьма разнообразные заключения: он догадывается, например, о степени развития эмпирических знаний людей, оставивших по себе данные остатки культуры (положим, бронзовые изделия), и полагает, что они уже имели некоторое смутное представление о кое-каких свойствах тел — их плотности, твердости, ковкости и вязкости, упругости, плавкости, теплоте, окислении и т. п.; историк может путем такой же интерпретации делать выводы и касательно степени развития материального быта данного населения: с такой точки зрения он придает значение остаткам хлебных зерен в свайных постройках, кладкам монет и других ценных предметов, зданиям и сооружениям разного рода, обстановке домов или погребальных камер; по наличности, положим, олова в бронзовых изделиях древних египтян, восходящих к шестой династии, он судит о торговых их сношениях с теми центрами, из которых они могли получать олово уже за несколько тысяч лет до нашей эры, и т. п.

⁷⁵ *Gowland W. Copper and its alloys in prehistoric times; см.: Journal of the Anthropological Institute. V. XXXVI, 1906. P. 19–21, 31, 32. В одном бронзовом топоре из Кобани, например, оказалось меди 95,8 %, олова — 4,2 %; см.: Chantre E. Т. II, texte, p. 97. Ср. еще о применении «металлографии» к археологии статью Matignon M. Les sciences expérimentales et l'archéologie // Rev. Scient, 1909. Sept. 18. P. 354 ss.*

Техническая интерпретация материала дает иногда возможность определить (хотя бы очень приблизительно) также место и время возникновения данного продукта.

В тех случаях, когда материал изображенного остатка культуры или один из заметных элементов такового находится в некоторой функциональной зависимости от местных условий, историк может пользоваться ею для выяснения месторождения источника. По свойствам или по составу материала историк иногда может, например, заключить о том, местного происхождения данный предмет или нет. В Казанской губернии, в Свияжском уезде, в 45 верстах от Казани и в 4½ верстах от Волги, в селе Буртасах, например, один ученый нашел кремневый наконечник стрелы; но порода этого кремня оказалась неместной; отсюда он заключил, что кремень или самый наконечник стрелы был привезен из другого места. По составу бронзы (медь и олово или медь и свинец) некоторые ученые судят о европейском или азиатском (древнесумерийском) ее происхождении⁷⁶. Древнейшие венгерские бронзы отличаются своеобразным составом: в него входит сурьма, иногда в довольно заметном количестве; между тем в Трансильвании можно встретить сурьмяные руды совместно с медными в двух видах: в виде сульфосурьмяных соединений и в виде механической смеси медных и сурьмяных минералов, а также следы старинной разработки местных залежей; отсюда можно, пожалуй, заключить, что предметы, сделанные из подобного рода сплавов, могли быть местного происхождения.

При сравнении материала, из которого изображенные остатки культуры (по возможности туземные изделия одного и того же типа) сделаны, а также при сравнительном изучении их техники историк может придти к кое-каким заключениям и касательно времени, к которому они принадлежат, т. е. относительной их древности или новизны. Поделки из камня, например, он относит ко времени преимущественно древнейшему, предметы из железа, служившие для тех же целей, — к позднему времени; принимая во внимание относитель-

⁷⁶ Головкинский Н. Древние останки человека в Казанской губернии; см.: Труды первого съезда естествоиспытателей в СПб., 1868. Отдел минералогии и геологии. С. 33. Впрочем, и в числе европейских бронз, которые Вирхов характеризовал примесью олова, можно указать предметы со значительной примесью свинца; см., например, *Gowland W. Op. cit., ib. P. 30, 31*; по мнению Ю. Опперта (Oppert), в очень древнем шумерийском гимне говорится об огне: «ты смешиваешь медь с свинцом», что могло бы дать основание характеризовать такие бронзы сплавом меди и свинца, а не меди и олова; см.: *Hostmann Chr. Studien. S. 59.*

ную сложность техники, он также может судить и об относительно позднейшем происхождении предмета: оббивные вещи из камня, например, он считает более древними, чем полированные; впрочем, делая заключения подобного рода, он не должен упускать из виду, что деление каменных поделок на оббивные и полированные, например, еще не дает ему права говорить вообще об относительной древности неполированных вещей, особенно если материал и назначение их другие, чем материал и назначение вещей полированных: камень, обработанный путем оббивки, может быть современным полированному молоту из диорита, так как при обработке кремня легко обойтись без шлифовки, а при обработке диорита — нельзя. Аналогичные заключения историк делает, конечно, и относительно другого рода изделий; историк искусства, например, признает черепки от нерасписных сосудов более древними, чем расписные, или считает картину, писанную сухими красками, которые разведены на белке, более древней, чем картину, писанную масляными красками, если только он не встретит указаний на какие-либо особые условия, которыми он мог бы объяснить себе применение более раннего приема художественной техники в сравнительно позднейшее время.

Ввиду той связи, какая существует между формой предмета и его назначением, можно при технической интерпретации его материальных свойств преимущественно обращать внимание, кроме материала, и на форму изображенного остатка культуры, и по последней естественно судить о его назначении: достаточно взглянуть, например, на камень с округлыми или тупыми конечностями и вставленной в него рукоятью, чтобы признать его молотом, а не скребком, и приписать ему соответствующее назначение. Само собою разумеется, что такой анализ может доходить до очень большой сложности и разнообразия приемов толкования, например, в тех случаях, когда он прилагается к какому-нибудь усовершенствованному механизму или высокохудожественному произведению; впрочем, в таких случаях историк уже пользуется и многими другими методами понимания источника.

По форме предмета можно также судить и о технике, например, о том, в какой мере творец его умел приспособить его к наиболее целесообразному (при данных условиях) употреблению энергии для выполнения известной работы, в какой степени сознательно он придал своему изделию форму, благодаря которой энергия работника могла бы сосредоточиться в одном пункте (острие) или на одной линии давления (лезвие) или же сама работа превращалась бы в двигательную энергию, в свою очередь превращающуюся в работу (молот и т. п.); в какой мере он сумел усилить данный объем энергетиче-

ской деятельности механическим путем благодаря применению того, а не иного способа передачи энергии на известное расстояние (копье, меч, метательные снаряды) и т. п.⁷⁷; по форме известных предметов, например мечей, позволительно заключать о сравнительно развитой технике (в данном случае — металлургической), по форме глиняного сосуда — о том, сделан он от руки или при помощи гончарного круга и т. п.

Наконец, форма дает основание заключать и о месте, и о времени возникновения источника. Предметы простейших форм, правда, не всегда можно приурочить к определенному месту или времени; медные кельты, например, имеют простой вид потому, что их нельзя было отливать в закрытых литейных формах; значит, судя по форме, они могут относиться к различным местам и временам; но и форма во многих случаях действительно дает некоторые указания на место и время возникновения источника. В сущности, такой прием в связи, впрочем, с другими методами лежит в основе многих приблизительных датировок предметов искусства; на основании той, а не иной формы или образов, положим, на какой-либо миниатюре историк может судить о принадлежности ее к данной местности — например, к итальянским, фландрским, французским, немецким или английским изделиям и к данному периоду времени, по крайней мере, в пределах XII—XVI вв., когда миниатюры были в большом употреблении; при взгляде, например, на те византийские миниатюры, которые украшены стереотипными фигурами евангелистов и характеризуются суровым конвенционализмом своих форм, он относит их к X—XIII столетиям и т. п.

Следовательно, благодаря технической интерпретации материальных свойств изображающих источников по форме так же, как и по материалу, в связи с техникой можно судить (разумеется, не без помощи других методов) о данной культуре, духовной и материальной, остатком которой изучаемый источник оказывается, и с такой точки зрения достигать лучшего его понимания.

Техническая интерпретация материальных свойств источника в гораздо меньшей мере применима к обозначенным остаткам культуры: она сводится к изучению таких остатков, главным образом, в палеографическом отношении; письменные начертания представляются историку, конечно, продуктами психики, но в разбираемом случае он интересуется преимущественно внешней формой таких знаков и пытается выяснить ее зависимость от свойств материала, а также основные особенности разных способов письма. Историк видит, напри-

⁷⁷ Ostwald W. Die Grundlagen der Kulturwissenschaft, 1909. S. 71–73.

мер, что люди писали на скалах и камнях или каменных плитах, на металле, на дереве, на растительных веществах (*surgus parugus*), коре и листьях, на восковых табличках, на тканях (холсте и др.), на кожах (в частности на пергаменте), на бумаге; он замечает, что одна и та же потребность закрепить слово письменными знаками повела к образованию различных алфавитов, между прочим в зависимости от того материала, на котором люди писали, и от того, что разные народы не владели одинаковыми техническими средствами для ее удовлетворения: буквы, выводимые на камне или на папирусе, на навощенной дощечке или на бумаге, резцом или палочкой, стилетом или кисточкой с тушью и т. п., не могли, конечно, иметь одинаковых очертаний: на камне легче было вырезать буквы угловатых очертаний (ср. греческие надписи), а на папирусе или древесном листе, наоборот, буквы округленной формы⁷⁸. В частности, например, так называемые «руны» — древние германские письмена (особенно скандинавские) — представляют любопытный пример такой зависимости: благодаря тому, что в качестве материала для их написания часто пользовались деревом, буквы, в отличие от латинских, вырезывались на нем не горизонтально, т. е. соответственно расположению древесных волокон, что неудобно для начертания письмен, которые в таком случае плохо держатся, а несколько наклонно; таким образом, руны состоят из одних только вертикальных и несколько наклонных по отношению к ним черт⁷⁹. Итак, можно сказать, что форма букв находится в некоторой зависимости от свойств материала и техники, а не только от времени, когда они писаны, что следует иметь в виду при заключениях, какие делаются иногда относительно древности письма на основании эпиграфических наблюдений.

Техническая интерпретация материальных свойств памятника письменности не ограничивается, конечно, изучением материала, служившего для письма; она имеет в виду также форму материала и начертанных на нем изображений. Историк-палеограф интересуется, например, форматом бумаги: судя по тому, писано данное произведение в книге или на отдельном клочке, на александрийском листе или на столбце, состоящем иногда из нескольких «составов» и т. п., он уже может делать некоторые заключения и о его содержании; он принимает во внимание также те водяные знаки, или филигранные, ко-

⁷⁸ *Steinthal H.* Die Entwicklung der Schrift. Berl., 1852; *Berger Ph.* Histoire de l'écriture dans l'antiquité, 1891; *Maire M.* Les matériaux sur lesquels on écrivait dans l'antiquité; см.: *Rev. Scient.* 1904. Т. II. № 7–8.

⁷⁹ *Montélius O.* Les temps préhistoriques en Suède. P. 188.

торые свидетельствуют о принадлежности данной бумаги известной фабрике; он изучает и форму букв, и характер слагающегося из них почерка — устава, полуустава, скорописи и т. п.⁸⁰

На основании палеографического изучения источника историк может делать некоторые заключения относительно места и времени возникновения источника: на основании материала, служившего для письма, он уже может иногда высказывать догадки подобного рода; по бумажным водяным знакам он также выясняет принадлежность бумаги известной фабрике, а значит, место и приблизительно время возникновения того материала, на котором источник написан⁸¹; но еще чаще он изучает для таких целей характер письма: по системе письма и форме букв он, например, судит о времени написания древнегреческой надписи до эллинистического периода; по внешнему виду почерка позднейшего произведения или документа он заключает о том, что последний писан в такой-то стране, иногда даже в такой-то канцелярии и в такое-то время⁸²; по известным восковым табличкам он следит за развитием римской скорописи из устава, по старопечатным изданиям — за развитием типов печатных букв и т. п.

Впрочем, при исследованиях подобного рода историк не может ограничиться технической интерпретацией материальных свойств источника; изучая, например, характер письма, он уже имеет в виду его «стиль», выясняет его особенности в зависимости от условий культуры данного места и времени, от характера самого писавшего и т. п.

При интерпретации обозначенного источника историк прибегает, однако, и к более сложному толкованию его с психофизической точки зрения — в том случае, когда он изучает его, например, в графологическом отношении и рассматривает письмо как результат психофизи-

⁸⁰ *Bernheim E.* Lehrbuch. S. 289–299: здесь обстоятельные указания на литературу; не входя в подробное рассмотрение технических приемов палеографических исследований, я укажу лишь на новейшие работы, касающиеся палеографии Средних веков и Нового времени: *Briquet C.* Les filigranes, Dictionnaire historique des marques de papier (1282–1600). Par., 1907, vv. I–IV; *Лухачев Н.* Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч. I–III и приложение: таблицы. СПб., 1899 (Общ. люб. др. писм. Издания 1899 г., СХVI); *Erben W., Schmitz-Kallenberg L. und Redlich O.* Urkundenlehre, 3 Teile, München und Berlin, 1907–1911.

⁸¹ *Briquet C.* Op. cit. T. I. P. XX et ss.

⁸² *Sickel Th. v.* Programm und Instruction der Diplomata Abtheilung // Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. S. 451 и след. (весьма любопытное исследование внешних признаков группы документов первых годов правления Оттона I с подписью: «*Poppo cancellarius advicem (illius) subnotavi*» и др.).

ческого состояния писавшего: ведь писание зависит от деятельности головного мозга, в особенности от одного из центров его коркового вещества, а не только от деятельности конечностей; следовательно, о некоторых состояниях сознания можно судить по сохранившимся остаткам письма.

В самом деле, нельзя отрицать, что психика пишущего может отражаться в его почерке. Соотношение между психическими и физическими процессами в письме, по мнению одного из новейших исследователей «психологии писания», обнаруживается более явственно, чем в каких бы то ни было других произвольных движениях; ибо ни одно из них не оставляет по себе столь явных следов, которые остаются без изменений в течение продолжительных периодов времени и вдали от того, кто их начертал, все же дают возможность [пропуск в тексте источника] людей в зависимости от нормального или патологического состояния их организмов, например между почерками здорового человека и паралитика; пользуясь достаточным количеством графологических данных, можно также делать некоторые общие и не совсем случайные заключения о поле, возрасте и умственных способностях писавшего, пожалуй, судить о его национальности или о том, каково было его общественное положение, был он человеком высшего или низшего класса, ученым или писцом и т. п., а с еще меньшею уверенностью говорить и о характере того лица, которое писало; ведь в почерке можно разыскивать даже отражение некоторых индивидуальных его особенностей: не вскрывая письма, по одному только адресу, писанному знакомою рукою, легко догадаться, кто его писал⁸³.

Для историка такие выводы могли бы, конечно, иметь значение, если бы, принимая их во внимание, он мог, например, делать некоторые заключения о возрасте, настроениях, условиях жизни, манере работать и т. п. разных людей; если бы он мог судить о некоторых различиях в психике народов по различию в манере их письма или даже о психике какого-нибудь крупного исторического лица по внешнему

⁸³ *Preyer W.* Zur Psychologie des Schreibens. Hamburg und Leipzig, 1895. S. 1–4, 44 и др.; *Binet A.* Les révélations de l'écriture d'après un contrôle scientifique. Par., 1906. P. 252 и др. Впрочем, не следует упускать из виду, что почерк зависит и от многих других условий, например от положения тела, руки, кисти и пальцев, обладающих более или менее значительной мускульной силой, часто в зависимости от профессии и от положения орудия письма, а также свойств материала, бумаги и т. п.; кроме того, эстетически каллиграфическое чувство, вызывающее желание соблюдать нажимы, делать завитки и т. п., традиция и другие условия также влияют на характер почерка.

виду его писаний; но в таких случаях историк должен был бы пользоваться, однако, разными видами технической интерпретации, а также другими методами — типизирующим и индивидуализирующим⁸⁴.

Впрочем, технический метод интерпретации, рассмотренный выше, по крайней мере в некоторых случаях, не ограничивается эмпирическим изучением материальных свойств данного исторического источника: для понимания источника можно прибегать к искусственному воспроизведению его материальных признаков или даже его содержания в его связи с данным материальным образом. При толковании изображенного остатка культуры можно, например, воспроизводить технические приемы его изготовления или способы его употребления. Один из современных ученых-металлургов построил в своей лаборатории первобытную плавильную печь, при помощи которой он только и мог понять, каким образом человек получал из смешанной руды те сплавы (главным образом, меди и олова), из которых он делал древнейшие бронзовые вещи⁸⁵. При толковании обозначенных остатков культуры тот же способ, в сущности, также употребляется: надлежащее понимание свойств чужой речи или письма в случае нужды легче усвоить путем их искусственного воспроизведения, например, при изучении нового языка или при разборе чужой рукописи, писанной каким-либо своеобразным почерком.

Итак, можно прийти к заключению, что историк пользуется техническим методом интерпретации материальных свойств изображенных и обозначенных остатков культуры, главным образом, для того, чтобы квалифицировать свою предпосылку о чужой одушевленности, обнаружившейся в данном источнике: при помощи такого метода он стремится научно и возможно более точно определить те объективно данные признаки, по которым он судит о чужой одушевленности, о свойствах чужой психики, о происшедших в ней переменах и т. п., благодаря чему он и получает возможность представить себе соответствующую данному источнику одушевленность в более квалифицированном виде и контролировать ее понимание.

⁸⁴ Собрания автографов имеются в различных музеях и библиотеках, например в музеях Британском в Лондоне, Германском в Нюрнберге и Румянцевском в Москве, а также в Парижской национальной библиотеке, С.-Петербургской публичной и др. Проф. Дармштедтер недавно подарил крупную коллекцию автографов Берлинской королевской библиотеке (около 10 000 номеров, до 7000 имен ученых начиная с XVI в.) и т. п.; ср. издания автографов Деларю, Вейгеля, Шлотмана и др.

⁸⁵ *Gowland W. Op. cit., ib. P. 20–21.*

Впрочем, кроме вышеуказанной роли можно приписывать технической интерпретации материальных свойств источника и более самостоятельное значение в тех случаях, когда она дает возможность принять гипотезу о некотором психическом характере данного объекта и пойти далее самого общего предположения, что он есть продукт чужой одушевленности. В том случае, например, когда историк имеет дело с непонятным ему предметом или неизвестным ему способом письма, вышеуказанные приемы эмпирической интерпретации нужны для предварительного исследования материальных признаков источника и играют сравнительно большую роль в его понимании; но для того чтобы разгадать содержание таких источников, историк уже пользуется историческими преданиями и другими методами интерпретации.

В самом деле, вышеуказанная интерпретация остатков культуры сама по себе приводит лишь к приближенным заключениям, и историк придает им несколько большую точность лишь благодаря историческим преданиям: во многих случаях он даже не в состоянии понять остаток культуры, не обратившись к историческому преданию; и чем важнее остаток культуры, тем более вероятно, что для его понимания историк не может ограничиться вышеуказанным методом. В частности, такая зависимость особенно наглядно обнаруживается при установлении времени возникновения остатка культуры, без которого историк не может придать достаточной историчности и всем остальным своим выводам, добытым путем технической интерпретации материальных его свойств. При помощи последней историк может выяснить только относительную древность или новизну изображенного остатка культуры: он может сказать, что ножи или стрелы из кремня, сделанные путем оббивки, вероятно, древнее туземных и однородных по материалу ножей и стрел, подвергшихся полировке и т. п.; но он не может установить их дату, т. е. то именно время, к которому выделка их относится. Лишь в том случае, когда ученый получает возможность комбинировать вышеназванный метод интерпретации со сведениями, уже почерпнутыми им из исторических преданий, он делает более точные заключения и касательно датировки остатка древности. Историк полагает, например, что первоначально египтяне делали некоторые предметы из золота с довольно значительной естественною примесью серебра, процентов в 20–25 (егип. «asm» и «asem», греч. «δῆλεχτρος»), и что, значит, предметы из «электрона», находямые в Египте и соседних странах, вероятно, древнее собственно золотых вещей; но точнее установить, когда именно такая перемена произошла, он может, разве только принимая во внимание, что в Лидии

монеты с такою же примесью, судя по известным ему экземплярам, уступают место собственно золотым монетам в эпоху Креза⁸⁶; это заключение отчасти основано, однако, уже на предании — на тех знаках или надписях, благодаря которым изучаемые монеты можно приурочить к эпохе Креза. Историк искусства таким же образом рассуждает, например, об относительной древности интересующей его картины: если он знает, например, что употребление лака на картинах начинается, положим, со времени Иоанна из Брюгге, то и картину, покрытую лаком, он относит к позднему времени. При датировке обозначенных остатков культуры историк еще чаще может пользоваться преданием и в таких случаях, конечно, предпочтительно к нему и обращается: при определении времени, к которому, например, относится греческая надпись, он прежде всего принимает во внимание название эпонима, характерное ее содержание и т. п., если только они имеются и достаточны для датировки; и тогда значение внешних признаков отходит, в его глазах, на второй план; в своих палеографических исследованиях он также по возможности прибегает к преданию, например, при определении возраста бумаги, т. е. времени обращения бумажных знаков (филиграней), или при сравнении недатированной рукописи с датированными и, конечно, пользуется преданием в виде точной даты, выставленной на документе, что, впрочем, еще не предвещает того значения, какое внешние признаки датировки все же могут иметь для исторической критики.

При толковании «загадочных» остатков культуры историк, разумеется, также обращается к историческим преданиям и, прибегая иногда к весьма сложным гипотезам, пользуется другими методами интерпретации: при дешифрировании египетских иероглифов, например, известные *tabulae bilingues* на Розеттском камне доставили возможность высказать гипотезу о смысле подобного рода начертаний; затем при помощи новой гипотезы относительно родства коптского языка с древнеегипетским удалось установить значение некоторых элементов египетской речи, что в свою очередь доставило возможность выяснить соответствующее значение других ее элементов и т. д.

Итак, техническая интерпретация материальных свойств остатков культуры часто дает ценные результаты лишь в том случае, если историк может при их толковании пользоваться историческими преданиями; но толкование последних в той мере, в какой они отличаются

⁸⁶ *Berthelot M.* Introduction à l'étude de la chimie des anciens et du moyen âge. Par., 1889; немец. пер. с примеч. F. Sturz'a. Lpz. und Wien, 1909. S. 6; ср. *Rev. Scient.*, 1900. Septembre. 8. P. 313.

от остатков культуры, на основании соображений, уже приведенных выше, не находится в столь тесной зависимости от их материального образа: оно достигается преимущественно при помощи других методов интерпретации, частью уже рассмотренных, частью еще подлежащих рассмотрению.

В числе последних можно указать на метод, который также имеет характер технической интерпретации источника, но не ограничивается изучением материальных его свойств: он состоит в толковании источника с точки зрения того рода творчества, которое обнаружилось в его «стиле» и через посредство которого автор при помощи более или менее выдержанных и изощренных приемов подверг стилистической обработке содержание, реализованное в источнике. В таких случаях историк определяет, какого рода творчество при данных условиях могло породить данный источник, и затем, исходя из своей гипотезы, проверяет ее приемлемость, поскольку она пригодна для объяснения самого источника; если гипотеза окажется приемлемой, он может прийти к заключению, что такого-то рода творчество при данных условиях породило изучаемый продукт — источник, и значит, получает возможность правильнее понять его содержание. С указанной точки зрения, интерпретация источника сводится к тому, что историк, исходя из психологии данного типа творчества и из понятия о соответствующем ему стиле самого произведения, пытается объяснить родовые признаки изучаемого им источника.

Вообще, занимаясь подобного рода интерпретацией, историк действительно пользуется понятием о том роде творчества, которое обнаружилось в стиле данного произведения; в связи с «главной идеей» последнего он обращает внимание на идею о соответствии, какое автор устанавливал между нею и приличными для ее осуществления средствами, а не только на форму произведения; на техническое его назначение, а не только на его содержание; на правила его осуществления, а не только на процесс его реализации; на регулированные способы его выражения, а не только на материальные свойства источника⁸⁷.

В самом деле, при интерпретации стиля данного произведения историк имеет в виду, например, кроме общей цели автора, поэтический или прозаический характер его творчества: изучив поэтический или прозаический стиль его продукта, он соответственно интерпретирует источник с точки зрения стилистической обработки его содержания.

⁸⁷ *Semper G.* Der Stil in den technischen und tektonischen Künsten, 2 B-de, Frankfurt a. M. — München, 1860–1863; см.: Bd. I. S. VII и др.; *Elster E.* Prinzipien der Literaturwissenschaft. Bd. II. S. 6–8 и др.

Вместе с тем историк принимает в расчет и техническое назначение источника, т. е. назначение его стиля, то, для чего такой стиль должен был служить, впечатление, на которое последний был рассчитан и т. п. Он толкует особенности данного здания, положим, его фасады, смотря по тому, какой из них был построен для декоративных целей; он задается вопросом о том, предназначалась данная песня для пения, и если она пелась, то не сопровождалось ли пение каким-либо инструментом и каким именно, или она сочинялась только для чтения; писалась данная драма для представления на сцене или для декламации; составлялась данная речь для публичного ее произнесения или только для распространения ее в списках; оказывается данная летопись отдельным произведением или объяснительным текстом к каким-либо рисункам и т. п.

В числе общих принципов стилистической обработки источника историк обращает особенное внимание на симметрию и пропорциональность, на гармонию и ритм: он считается, например, с более или менее установившимися «каноническими пропорциями» дорийского, ионийского или коринфского ордена, соблюденных при постройке какого-нибудь храма; он не пренебрегает напевом, без которого песня, особливо лирическая, теряет «половину своей жизни и цены», и не упускает из виду размера песни, тем более что некоторые разряды ее имеют свой постоянный размер⁸⁸; он интересуется напевом, ритмом и рифмой, благодаря которым Священное Предание, древний обычай и даже закон сохраняются в памяти длинного ряда поколений, или гармонической и ритмической прозой, заметной также в некоторых произведениях позднейшей историографии и т. п.⁸⁹

В связи с вышеуказанными понятиями историк выясняет, конечно, и те технические средства, которые послужили автору для того, чтобы выразить свои мысли и вызвать соответствующее настроение в публике: какой материал он употребил, в какую форму он его облек, какого рода способами, красками или звуками, образами и «фигурами» он воспользовался и т. п.; в частности, толкователь обращает внимание на те орнаментальные детали, которые придают известный характер памятнику вещественному, или на те обороты речи, метафоры и метонимии, эпитеты и антитезы, символы и аллегории, а также на многие другие средства разнообразить и усилить действие челове-

⁸⁸ *Collignon M. Manuel d'archéologie grecque, nouv. éd. P.46 et ss.; Потебня А. Разбор народных песен Головацкого; см.: XXII Отчет о присуждении Уваровских премий 1880 г. С. 106.*

⁸⁹ *Gomme G. L. Folklore etc. P.84–100; Monod G. Renan Taine, Michelet. P.259–266: о стиле Мишелэ.*

ческой речи, которые применяются в произведениях письменности⁹⁰; с такой точки зрения он толкует и юридический документ с его специальной терминологией и формулообразным текстом, и исторический рассказ, более или менее уснащенный разными стилистическими фигурами, монологами, речами действующих лиц, драматическими сценами, «похвалами» (elogium) и т. п.

Техническая интерпретация стиля, как видно, применяется к разным видам источников. Таким образом, историк интерпретирует, например, памятники вещественные: он исходит из общего понятия о том стиле, какого данный творец придерживался для понимания некоторых родовых свойств его произведения. В вышеуказанном смысле разумея, положим, термин «дорийский стиль», историк пользуется его элементами для интерпретации памятников архитектуры, возникших в разных местах и в разное время. В случаях подобного рода он исходит из следующего общего положения: если творец действительно избрал дорийский стиль для осуществления своей идеи, то он «должен был» придать ей и соответствующую форму, с точки зрения которой известные ее оттенки становятся понятны; строя задуманное им здание в дорийском стиле, он «должен был» придерживаться известных правил, естественно связанных с той именно архитектурной идеей, которая его характеризует; «должен был» украсить его хотя бы известными дорийскими колоннами, с такой точки зрения вполне «понятными», например, в храме Нептуна в Пестуме, но «непонятными», если бы они украшали парижский дворец Тюльери вместо известных «французских колонн», и т. п. В аналогичном смысле историк может, конечно, толковать и памятники письменности: исходя из положения, что в зависимости от того, в каком литературном стиле данное сочинение написано, и содержание его получает ту, а не иную окраску, он объясняет себе особенности данного источника. При толковании, например, произведений ораторского искусства историк должен иметь в виду, что для «возбуждения» соответствующего его цели и нужного ему в данном случае мнения или решения оратор стремится вызвать доверие и подходящее настроение в слушателях, подействовать на их страсти, придать своей речи характер убедительности и т. п.; что он хочет не только знать все нужное для его цели, но и сказать его так, как следует; что он подыскивает «способы убеждения», употребляет те, а не иные выражения и интонации, способствующие тому, чтобы речь произвела желательное для него впечатление на тех именно слушателей, к которым он обращается; что он заботится о правильном

⁹⁰ См. выше, с. 355 прим. 87.

построении своей речи, т. е. о расположении ее частей, и т. п.⁹¹ С такой точки зрения историк толкует, положим, какую-нибудь речь Демосфена или историческое произведение, написанное согласно с правилами ораторского искусства, например историю Тита Ливия.

Следует заметить, что техническая интерпретация стиля источника приводит к лучшему пониманию не только остатков культуры, но и исторических преданий: пользуясь таким методом, историк замечает, что автор различно изображает один и тот же факт, смотря по тому, сообщает он о нем в форме научного сочинения или в виде поэтического произведения, эпического, драматического или лирического, в виде ораторской речи, сатиры, аллегии и т. п.; что в каждом из таких случаев он подбирает выражения, подходящие для данной формы и соответствующим образом обуславливающие ее содержание. Историк приходит к заключению, например, что в зависимости от данного рода творчества и литературной формы личность Сократа и его мнения представляются в философском диалоге иначе, чем в комедии: Платон изображает Сократа в виде философа, руководящего философским диспутом и разрешающего споры в том смысле, в каком то было желательно самому автору; Аристофан, задаваясь, положим, целью развеселить своих слушателей, напротив, представляет Сократа в комическом виде.

Впрочем, при технической интерпретации стиля источника можно прибегать и к искусственному воспроизведению стилистических приемов данного произведения: для того чтобы лучше понять его содержание, естественно стремиться испытать соответствующий род творчества, искусственно воспроизводя источник согласно с теми именно правилами его реализации, какие соблюдались его автором. С такой точки зрения, лишь тот, кто сам несколько испытывал соответствующий род творчества или сам знаком, по крайней мере, с соответствующей техникой, может, подобно артисту, воспроизводить, а не только представлять себе содержание данного произведения. В воспроизведении подобного рода собственно метод технической интерпретации стиля уже отступает, однако, на задний план: чем оригинальнее произведение, тем труднее оно поддается воспроизведению во всей полноте характерных его черт и тем более оно отличается от простого подражания ему, а значит, тем менее допускает применение к нему вышеуказанного приема⁹².

Техническая интерпретация стиля источника не исключает, конечно, технической интерпретации его материальных свойств; напротив,

⁹¹ *Аристотель*. Риторика. Кн. II. Гл. 1 и 10; Кн. III. Гл. 1 и 12 и др.; рус. пер. Н. Платоновой. СПб., 1894.

⁹² Ср. *Lipps Th. Ästhetik*. Hamb. u Lpz. T. I, 1903. S. 110, 127 и др.

она комбинируется с последнею и находится в некоторой зависимости от нее, а именно в той мере, в какой стиль зависит от материала и техники. При толковании памятников вещественных такая связь часто обнаруживается: изучая, например, стиль древнегреческого храма, можно объяснять его элементы тем, что он возник из деревянной постройки, послужившей его прототипом, или выводить их из свойств собственно каменных сооружений, что, однако, вызывает некоторые возражения⁹³; но и при толковании памятника письменности можно иногда наблюдать соотношение подобного же рода: в некоторых случаях (например, при известной впечатлительности пишущего) стиль его речи может находиться под влиянием качества или формата бумаги, техники письма, скорописи или стенографирования и т. п., что уже было удостоверено некоторыми писателями путем самонаблюдения⁹⁴. Впрочем, и техническая интерпретация стиля источника в свою очередь может обуславливать техническую интерпретацию его материальных средств в той мере, в какой принятие известного стиля влияет на подбор технических средств. Примеры чему уже были приведены выше.

Технический метод интерпретации источника вообще, а в частности — и его стиля легко переходит, однако, в еще более сложные методы толкования⁹⁵: ведь понятие о стиле в качестве отвлеченного вида творчества, стоящего в связи со способами его обнаружения, само по себе еще слишком обще и гораздо более применяется в эстетике, чем в собственно исторической интерпретации; для того чтобы с достаточным основанием пользоваться им, историк нуждается в более частном его понимании: он преимущественно интересуется стилем известного места и времени, характеризующем данную культуру, или индивидуальным стилем данного автора. Вообще, приступая к интерпретации исторического источника с одной из таких точек зрения, историк уже комбинирует техническую интерпретацию с методами типизирующего или индивидуализирующего толкования исторического источника.

⁹³ Collignon M. Op. cit. P.45–46. Легко заметить, например, такую зависимость и в древнейших продуктах ткацкого искусства, строго соответствующих особенностям сырого материала относительно формы и окраски и т. п., о чем см.: Semper G. Op. cit. B. I. S. 9–12, 95–97 и вообще отдел «Von dem Stil als bedungen durch die Rohstoffe» und «durch die Bearbeitung der Stoffe» — S. 97–209 и др.

⁹⁴ Swoboda H. Op. cit., ib. S. 252: «Ich habe gefunden dass das Papierformat, dessen ich mich beim Schreiben bediene, einen Einfluss auf meine Satzbildung ausübt; desgleichen der Umstand ob ich kurrent schreibe oder stenographiere».

⁹⁵ См. выше, с. 351–352 о значении преданий для толкования остатков культуры.

§ 4. *Типизирующий метод интерпретации исторических источников*

Ввиду сложного характера исторических источников при интерпретации их нельзя довольствоваться одним из вышеуказанных методов: обыкновенно комбинируя психологический метод с техническим, историк пытается при помощи типизирующего метода интерпретации придать толкованию источника более исторический характер; он исходит из понятия о том культурном типе, к которому источник относится, и сообразно с ним понимает его содержание. Впрочем, объем понятия о той культуре, к которой данный источник относится, может быть, конечно, весьма различным: смотря по цели своего исследования, историк расширяет его или ограничивается совокупностью ближайших фактов, источников и т. п., соответственно изменяя и приемы подобного рода интерпретации.

Вообще исходя в таких случаях из понятия о данной культуре, можно по аналогии с нею толковать источник или подводить под нее источник, для того чтобы объяснить свойства последнего как представляющего ее экземпляра, что и дает возможность понять типические его признаки: с такой точки зрения, историк пользуется, например, известиями о современных дикарях для того, чтобы интерпретировать, положим, некоторые из древних греческих сказаний или принимает во внимание признаки, характеризующие продукты разнообразных очагов или слоев греческой культуры для того, чтобы понять источник, соответственно относящийся к одному из них.

Понятие о той культуре, к которой источник относится, получает, однако, различные значения, смотря по тому, представлять ее себе в виде некоей системы ее элементов или в виде некоей стадии ее эволюции, т. е. принимать во внимание «состояние культуры» или «период культуры» для толкования источника; значит, можно различать и два вида типизирующей интерпретации источника – систематическую и эволюционную. В том случае, например, когда историк изучает язык данного источника, он может найти ключ к правильному пониманию некоторых его выражений или в диалектологических особенностях языка той области, страны, местности и т. п., в которой источник написан, или в особенностях языка того более или менее продолжительного периода времени, когда источник написан.

Систематический метод интерпретации исторического источника состоит в понимании его с точки зрения его отношения к данному состоянию культуры; пользуясь этим методом интерпретации, историк стремится, однако, в отличие от вышеуказанных, выяснить не только общие особенности источника, но и те, которые характерны для куль-

туры данной местности, национальности, слоя общества, кружка или школы и т. п.

В исследованиях подобного рода систематический метод употребляется в довольно различных смыслах: в более широком, типологическом или в более узком, культурно-историческом.

В самом деле, историк может пользоваться каким-либо общим типом культурного состояния, с которым изучаемый источник не находится в реальной связи, для его интерпретации. С точки зрения общего понятия о феодализме, исследователь русских древностей толкует, например, источники, относящиеся к удельной Руси, и в частности, по аналогии с западноевропейским иммунитетом, выясняет многие черты старинных наших жалованных грамот и других известий⁹⁶.

Систематическая интерпретация источника не может, однако, ограничиться выяснением данного источника с одной только типологической точки зрения: она принимает во внимание реальную связь его с той средой, в которой он возник, и с такой точки зрения, подвергает его интерпретации, тем более нужной, чем сложнее источник, интересующий историка. В самом деле, зная, например, пропорции, которые обыкновенно соблюдались при постройке древнегреческого храма, положим, ионийского стиля, историк соответственно толкует изучаемый им источник того же типа; пользуясь правилами древнегреческой грамматики или стихосложения, он объясняет то, а не иное словоупотребление в данном произведении литературы. Такие случаи часто бывают, когда историк обращается к систематическому методу интерпретации для реконструкции источника: исходя, например, из гипотезы о симметричности частей, соблюдаемой древнегреческими художниками при расположении фигур на фронтонах храмов, и в частности о «схематическом их соответствии», он пытается построить сцены, представленные на фронтонах «так называемого» храма Афины на острове Эгине; или, исходя из правил стихосложения, он восстанавливает искаженный стих данного поэтического произведения, например, одного из стихов комедии, приписываемой Менандру и сохранившейся в «Порфириевских отрывках»⁹⁷. Анало-

⁹⁶ Павлов-Сильванский Н. Феодализм в Древней Руси. СПб., 1907. С. 80 и след.; ср. *его же*. Иммунитет в удельной Руси. СПб., 1900.

⁹⁷ Lange K. Die Composition der Aegineten; см.: Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Phil. Hist. Cl., 1878. Bd. xxx (1878), II Abt. S. 1–95; Мальмберг В. Древнегреческие фронтоновые композиции в Зап. клас. отд. Арх. общ. СПб. Т. I. 1904. С. 135–191, 458; Эрштедт В. Порфириевские отрывки из Агтической комедии. СПб., 1891. С. 48.

гичное правило давно уже было высказано и относительно толкования частных актов: полагая, что условия, которые относятся к нравам и обычаям, часто молчаливо подразумеваются в договорах, толкователь на основании местных нравов и обычаев считает возможным дополнять писанный текст соответствующими им условиями; впрочем, он принимает во внимание в случае нужды и те из них, которые признаются известным слоем общества или социальной группой выходящими за пределы данной местности, например духовенством или купечеством и т. п. при заключении толкуемой сделки⁹⁸. Такое же замечание можно сделать и относительно другого рода источников, например, истории Тацита: заставляя героев своих говорить сочиненные им речи, он следовал литературным приемам своего времени и имел в виду потребности своих читателей; они придавали большое значение красноречию и привыкли выслушивать речи в сенате и даже на поле брани; при чтении истории без речей они чувствовали бы, что в ней чего-то недостает, и не могли бы удовлетвориться ею: она казалась бы им менее правдоподобной, чем история с речами⁹⁹.

Вообще, лишь с точки зрения той реальной зависимости, в какой данный источник находится от среды или культуры, в которой он возник, можно иногда истолковывать некоторые из составных его элементов. Положим, например, что историк изучает один из распространенных сюжетов средневековых миниатюр — искушение Адама и Евы. Если историк обратит внимание на тот вид, в каком древо познания добра и зла изображается на таких миниатюрах, он заметит, что последний меняется в зависимости от климата и местности, а значит, и обусловленной ими культуры; следовательно, по виду дерева, представленного на миниатюре, он будет в состоянии судить (хотя бы приблизительно) о той среде, в которой изучаемый тип мог возникнуть. В Греции, например, художники в таких случаях изображали обыкновенно фиговое дерево, отличающееся здесь сладостью и другими качествами своих плодов; на итальянских миниатюрах с аналогичным сюжетом можно встретить изображения фигового или помаранцевого дерева; в «Зеркале человеческого спасения» — латинском манускрипте, исполненном в Италии в XIV в., древо познания представлено в виде фигового дерева, а в итальянской Библии, миниатюра

⁹⁸ L. 31. § 20. D. 21, 1: «In contractibus tacite veniunt ea quae sunt moris et consuetudinis»; тот же принцип принимается и во многих современных законодательствах; см.: *Danz E. Die Auslegung der Rechtsgeschäfte*, 2-те Aufl. S. IV, V, 33, 93–111, 178–186; *Gauguier J. Op. cit.* P. 141.

⁹⁹ *Boissier G. Op. cit.* P. 88–91.

туры которой относятся к следующему столетию, — в виде померанца; в Бургундии и Шампани, где фиговое дерево дает плоды, лишенные приятного вкуса, а померанца не знают, художники взамен их в некоторых случаях уже изображают виноград, а еще далее — в Нормандии, где нет и винограда, он заменяется яблоней; наконец, в Пикардии, по-видимому, в подобных же случаях не пренебрегали и вишней. Таким образом, на основании вышеприведенных фактов (если только они действительно таковы) историк может делать некоторые предположения о месторождении источника в его зависимости от той, а не иной культуры и соответственно интерпретировать аналогичный сюжет, происхождение которого он еще не знает. Само собою разумеется, что историк пользуется аналогичным приемом и применительно к толкованию другого рода источников, в частности, к сказаниям, сходным между собою по сюжету и возникшим или независимо, или в зависимости друг от друга; сюжет «Золушки», например, передается в сказках разных народов, но с подробностями, которые, надо думать, отчасти находятся в соответствии с условиями данной культуры: в древнеегипетских, каффирских и сантальских (Santhal) версиях мотив «башмака» не встречается; здесь он заменяется в качестве приметы прядью волос и, наоборот, играет большую роль в всем нам знакомой версии¹⁰⁰. Вообще, лишь принимая во внимание данное состояние культуры и ее специфические особенности, можно правильно понять и то произведение, которое возникло в ней; исходя, например, из понятия о «классическом духе» («l'esprit classique»), можно толковать то или другое произведение французской «классической» литературы, его характер, его оттенки, его намеки и т. п.¹⁰¹

В тех случаях, когда историк не в состоянии понять источник с точки зрения той культуры, в которой он находит его, он стремится подыскать ту именно культуру, в реальной связи с которой данные особенности источника объясняются. На заглавном листе старинной книги, ходившей у нас в XVIII в., например, мы читаем: «Прохождение нового увеселительного шута и великого в делах любовных плута Совестдрала»; оно становится понятным, если обратить внимание на то, что эта повесть переведена с польской книги, в свою оче-

¹⁰⁰ Bernheim E. Lehrbuch. Kap. III, § 3. S. 315–323 (библиографические указания); Kötzschke R. Quellen und Grundbegriffe der historischen Geographie Deutschlands und seiner Nachbarländer // Grundriss A. Meister'a. Bd. I. Lief. 2. S. 396 ff. Ср. еще ниже, отдел второй.

¹⁰¹ Lang A. Cinderella and the diffusion of tales см.: Folk-Lore. V. IV (1893). P. 414, 420 ssq., 423; Taine H. Les Origines de la France contemporaine. T. I (1887). P. 240–265.

редь представлявшей не что иное, как перевод немецкой народной книги «Eulenspiegel»; немецкое «Eulenspiegel» превратилось в польское «Сови-зрцядло» («совиное зеркало»), откуда и получилось русское искаженное «Совестдрал», лишь с такой точки зрения и получающее смысл; текст, за исключением некоторых дополнений, также оказывается во всем сходным с тою же немецкой народной книгой¹⁰².

Впрочем, выяснение типических признаков источника, преимущественно с точки зрения реального его отношения к данному состоянию культуры, проводится не без помощи целого ряда более частных исследований: историк стремится, например, возможно точнее определить место возникновения источника, по которому ему уже легко судить и о принадлежности его к той, а не иной местной культуре; он также изучает те разнообразные условия культуры, под влиянием которой источник возник, и пользуется ими для его толкования; наконец, он принимает в расчет и то отношение, которое общество обнаружило к данному источнику, так как суждения о нем современников вскрывают иногда черты в источнике, важные для его понимания, но легко ускользающие от внимания позднейшего исследователя.

В самом деле, место возникновения или место нахождения источника уже может указать на то направление, в каком следует выяснять его значение. Если, например, историк знает, что известные фрески с изображением каких-то процессий найдены на месте древнего Кносса, т. е. на перепутье между Древним Востоком и классическим миром, он уже получает тем самым и отправную точку зрения для их интерпретации, сравнивает найденные изображения хотя бы с аналогичными фигурами вельмож страны Кефта на египетских памятниках и т. п.; зная происхождение материала папирусов и местонахождение их, положим, в Фаюме или Оксиринхе, историк уже подходит к их интерпретации с точки зрения той культуры, в которой элементы восточной цивилизации переплетались с элементами греко-римского быта и права, и т. п.

В зависимости от того места, какое источник занимает в целом, хотя бы оно ограничивалось довольно узкими пределами, можно придавать ему различный смысл. С такой точки зрения, историк принимает во внимание местонахождение остатка культуры: он приписывает иное значение, например, бусине из янтаря, найденной в местности, где этот минерал встречается в изобилии, положим, между Данцигом и Мемелем, чем такой же бусине, попавшей в какую-либо могилу Приднепровского края или Кавказа, вероятно, в качестве при-

¹⁰² См. с. 363, прим. 100. *Буслаев В.* Лекции; см. Стар. и Нов. Т. XII. С. 288 и след.

возной редкости; в других случаях, зная, положим, что изучаемая им монета найдена в могиле, он может с большей вероятностью принять ее за украшение, чем монету, найденную вместе с другими в горшке; он интересуется также тем, в каком месте могилы монета была найдена — подле челюстей данного костяка или подле его лобной и теменной костей, шейных позвонков, ключицы, лопатки, или подле его подвздошной кости, бедра и т. п., и смотря по месту находки, различно толкует ее значение — или в смысле религиозного символа (ср. обол, ὄβολός в качестве провозной платы, ναυλον, χατιστήριον, δανάχη для Харона), или в смысле украшения, или в смысле орудия мены и т. п.; при исследовании документальных остатков культуры он также вставляет источник в соответствующие условия местного быта, в то, а не иное делопроизводство и т. п. и, исходя из понятия о них, интерпретирует содержание документа; он изучает, например, какой-нибудь частный акт в связи с тем судебным делом, из которого юридическое его значение выясняется. В том же духе историк толкует и историческое предание: он связывает его с тем местом, в каком оно возникло, какое оно занимает в данном сборнике и т. п.; он получает возможность, например, лучше понять средневековую немецкую хронику, если определит, принадлежит она к числу саксонских или франконских, или швабских, или баварских, или лотарингских летописей; в частности, он придает различное значение летописным текстам, положим, в одном из позднейшем сборников рейхенауских летописей, смотря по тому, в какой части его они оказываются, и т. п.

Само собою разумеется, что нельзя успешно пользоваться вышеуказанным методом систематической интерпретации, т. е. по возможности точно установить место возникновения или, по крайней мере, место нахождения источника без помощи исторической географии и исторической топографии¹⁰³. В том случае, когда при нахождении вещественного остатка культуры, положим, какой-либо вещи в данной могиле или какого-либо памятника письменности в данном фонде, деле, или сборнике место его нахождения точно отмечается, задача уже отчасти решена; но в тех случаях, когда столь нужной предосторожности своевременно не было принято, приходится разыскивать местонахождения изучаемого предмета; исторические предания еще чаще остатков культуры нуждаются в таком же определении. В случаях подобного рода место возникновения источника устанавливается по разным косвенным признакам, например по материалу, особенностям техники изучаемого памятника, по языку и палеографи-

¹⁰³ См. выше, с. 363, прим. 100.

ческим признакам, по стилю, по формам делопроизводства той канцелярии, из которой данный источник вышел, или по литературным приемам, наконец, по упоминаемым в данном источнике географическим названиям известной местности, именам лиц, в то время живших в ее пределах, и проч.

Во многих случаях знание фактов, уже предварительно добытое путем изучения других источников, также служит для интерпретации данного источника: такие факты могут иметь отношение к его генезису или становятся известными и через его посредство, например, в тех случаях, когда сведения о факте, который уже отчасти знаком на основании других, предварительно изученных источников, черпаются и из данного источника. Следует иметь в виду, что в обоих вышеуказанных случаях факты, знание которых оказывается пригодным для интерпретации данного источника, могут быть и не вполне однородными с теми, о которых историк узнает из данного источника, а только сходными или связанными с ними; тогда сравнительное изучение фактов, уже известных, с теми, о которых историк узнает из изучаемого им источника, тоже становится средством для его понимания. В некоторых случаях содержание источника получает достаточно разумительный смысл лишь после такого сопоставления; историк прибегает к нему, например, при чтении первой главы «Анналов» Тацита: без некоторого знакомства с переменами, происшедшими в римском государственном строе того времени, он едва ли может правильно толковать ее содержание¹⁰⁴.

Систематическая интерпретация получает особого рода оттенок в тех случаях, когда толкователь исходит скорее из состояний сознания того общества, к культуре которого он относит данный источник, чем из «фактов»; он принимает во внимание, например, идеи о справедливости, об «общем интересе» или об «общей пользе» в том общепризнанном смысле, в каком данная социальная группа понимала их. С такой точки зрения историк интерпретирует, например, юридический акт, укреплявший сделку между двумя из ее членов, если общая воля их недостаточно ясно проявилась в нем¹⁰⁵; в аналогичном смысле

¹⁰⁴ Ср. еще: *Fustel de Coulanges D. Recherches etc.* 2 éd. P. 190, 248, 249, 315.

¹⁰⁵ *Dereux G. De L'interprétation des actes juridiques privés.* Par., 1905. P. 6, 13–14, 17, 358 et ss., 450, 466–482. Иеринг, казалось бы, должен был развить такой взгляд; но он придерживается скорее традиционной точки зрения; см. *ib.*, p. 376–377. Впрочем, и Салейль, и Дерэ едва ли достаточно различают абсолютную ценность таких идей от той общепризнанной их ценности, которая принимается во внимание в систематической интерпретации.

он принимает во внимание и более узкие интересы данной социальной группы, положим, клерикально-партикуляристические интересы некоторых итальянских, швабских и саксонских летописцев для толкования их известий об императоре Генрихе IV.

Следует заметить, наконец, что и то отношение, какое данная общественная группа обнаружила к источнику, может служить для его толкования: с такой точки зрения историк интересуется тем, как современники понимали данный источник, что именно они ценили в нем и т. п. При изучении «Илиады» и «Одиссеи», например, он, конечно, изучает сопровождающие их схолии, хотя бы они были и несколько позднейшего происхождения; при толковании творения Тита Ливия он пользуется теми отзывами, которые Тацит высказал о его характере, и т. п.¹⁰⁶

Само собою разумеется, что вышеуказанные положения можно применять и к интерпретации отдельных частей источника, например отдельных слов памятника письменности, даже такого, в котором они должны были бы употребляться в возможно более общепризнанном смысле. Правильное толкование, положим, частного акта зависит иногда от знания диалектологических особенностей и местного значения тех слов, которые употреблены в нем; правило подобного рода применяется и в современном учении о юридической интерпретации частных актов, в особенности духовных завещаний, а также тех обоюдосторонних сделок, контрагенты которых принадлежат к одной и той же местности. Слово *masure* в нормандском акте, например, употребляется в таком значении, какое оно не имеет в общепризнанном литературном языке французов: оно может означать деревенское жилище, «окруженное двором, засаженным фруктовыми деревьями», а не обветшалую постройку, готовую развалиться, или «то, что осталось от развалившейся постройки». Слово *рубль* в новгородских летописях и других памятниках обозначает ценность, вдвое превосходящую ту, которая под тем же названием известна в московских источниках.

Вместе с тем нельзя не заметить, что в зависимости от данного круга понятий и отношений, слова источника могут получить иногда особое техническое значение, понятное лишь в такой именно связи: вопреки обычному словоупотреблению термин *fruit* (ср. лат. «fructus»), например, в современном французском праве может обозначать и естественные продукты почвы, и наемную плату, и прибыль с капитала; выражения *posterité* или *descendants*, напротив, не применя-

¹⁰⁶ Boissier G. Op. cit. P. 130–131. Ср. Fustel de Coulanges D. Op. cit. P. 295–307.

ются для обозначения незаконнорожденных детей; слова *князь* и *княгиня* в русских свадебных обрядах часто употребляются для обозначения жениха и невесты¹⁰⁷.

Впрочем, историк пользуется тем же методом систематической интерпретации в еще более ограниченном смысле, в тех случаях, например, когда он принимает во внимание не более или менее цельное состояние культуры, а собственно говоря, только другие источники в их отношении к данным. Историк интерпретирует некоторые роды источников при помощи других, хотя бы они и не были реально связаны между собою: данные «праязыка» индоевропейцев, например, он может толковать, принимая во внимание другие остатки культуры или первобытных, или даже современных «дикарей»¹⁰⁸. В большинстве случаев, однако, историк пользуется для такой цели источниками, более или менее реально связанными между собою общностью культуры: он стремится понять, например, «немые» остатки культуры при помощи исторических преданий, или наоборот, и т. п. Вообразим, что историку попалось украшение в виде змеи, кусающей себе хвост; лишь принимая во внимание известия (тексты) о космогонии Египта, Халдеи, Греции и Индии, по которым Земля представляется окруженной океаном или небесною рекою, окружное течение которой сравнивается со змеею, он может высказать догадку, что под вышеназванным украшением надо разуметь символ Вселенной¹⁰⁹; или положим, что он на основании анализа данной монеты узнал, сколько в ней примеси, но отсюда он еще ничего не может заключить о том, какова была ее нарицательная стоимость: для того чтобы судить, в какой мере монета была фальсифицирована, ему нужно знать, почему она условно ходила, т. е. обратиться к ее легенде, к исследованию известий о ценах золота и серебра, к изучению современных указов и распоряжений, установивших принудительный курс монеты по нарицательной ее стоимости, к переписке или мемуарам о таких переменах и т. п.¹¹⁰ Нередко исследователь понимает и данные исторического предания при помощи соответствующих остатков культуры; он сопоставляет, например, известия новгородских летописей об отношениях между Новгородом и князьями с подлинными договорами Новгорода с теми же

¹⁰⁷ *Gauguier J.* Op. cit. P. 114–119; *Рыбников П.* Песни. Ч. III. С. 347, 377 и др.

¹⁰⁸ *Schrader O.* Sprachvergleichung und Urgeschichte, 3 Aufl. S. 209 ff.

¹⁰⁹ *d'Alviella G.* Op. cit. P. 121.

¹¹⁰ *Riedel F.* Der Brandenburgisch-Preussische Staatshaushalt in den beiden letzten Jahrhunderten. Berl., 1866. S. 82–91: история порчи монеты при Фридрихе II в 1755–63 гг. и др.

князьями или рассказ Оттона Фрейзингенского о Вормском конкордате с соответствующим актом конкордата, благодаря чему лучше понимает самые документы и т. п. В других случаях историк может ограничиться одним родом источников: имея в виду, например, закон, он толкует темные выражения написанного согласно с ним акта; принимая во внимание, положим, влияние римского права после появления «*Constitutio Antonina*» на составление греческих частнопроводных документов в Египте, он, с такой точки зрения, может понять и ту estipуляционную клаузулу, которая встречается в них, даже в тех актах, где она совершенно неуместна, например в духовных, и т. п. Вообще, историк гораздо лучше понимает и произведения литературы (в широком смысле), принадлежащие к данной культуре, если рассматривает их в отношении друг к другу: замечая, например, «высокий» стиль трагедии Эсхила, оды Пиндара и речи Фемистокла или возвышенный и изящный стиль произведений Софокла, Лизия и Фукидида, или несколько изнеженный стиль Эврипида, Исократы и Ксенофонта и т. п., он пользуется некоторыми общими данному стилю признаками для интерпретации каждого из соответствующих ему произведений одного и того же состояния культуры¹¹¹.

Систематический метод интерпретации комбинируется с анализом источника в тех случаях, когда историк пытается понять его с точки зрения того отношения, в каком части его находились к данной группе источников. В самом деле, часто исходя по предварительном изучении материала из понятия о некоем идеальном или репрезентативном типе целой группы источников, историк отмечает, какие из элементов данного источника соответствуют этому типу, какие уклоняются от него и т. п.; разложив, таким образом, источник на составные его элементы, он получает возможность яснее толковать его значение; впрочем, он придерживается типизирующего метода интерпретации лишь в той мере, в какой он выясняет значение тех элементов источника, которые оказываются общими целой группе источников. Положим, что историк уже имеет понятие о некоем типе источников *Q* и усматривает в нем наличие элементов *ABC*; если он встретит источник *Q_n* и, судя по некоторым его признакам, заметит, что он может подвести его под *Q*, он стремится путем аналитической интерпретации *Q_n* определить точное отношение его к *Q* и устанавливает, напри-

¹¹¹ *Mitteis L. Reichsrecht. Lpz., 1891. S. 485 ff.; Boeckh A. Encyklopaedie. S. 137–138.* В частности, источники, взаимно дополняющие друг друга, разумеется, толкуются в связи друг с другом: ответ часто нельзя понять без вопроса, критику — без того мнения, относительно которого она была высказана и т. п.

мер, что Q_n состоит из элементов, которые частью близки к AB , частью представляют уклонение от Q в элементе C ; тогда он имеет возможность представить себе сочетание элементов Q_n , положим, в виде $abcn$, благодаря чему и достигает более совершенной интерпретации источника Q_n в его составных элементах. Несколько лет тому назад один из известных фольклористов применил указанный метод к изучению переживающего в Англии обычая однажды в год разводить огонь на домашнем своем очаге, заимствуя его из «огня сельского» (*village fire*), с совершением известных обрядов¹¹².

В том случае, если Q (в вышепринятом его значении) оказываются более или менее общепризнанной нормой, историк получает возможность исходить из готового типа, элементы которого уже более или менее установились благодаря традиции или закону, для толкования Q_n ; при рассмотрении отдельного экземпляра такого вида он, значит, уже предполагает некоторую реальную зависимость его от той нормы или от того формуляра, с точки зрения которого он и подвергает анализу данный экземпляр, положим, Q_n . Метод подобного рода часто применяется к изучению актов, толкуемых путем анализа клаузуального их состава, и может привести к различению нескольких местных типов: при просмотре старинных наших служилых кабал XVI–XVII вв., например, легко заметить, что до 1680 г. они писались по одному типу, но с местными отличиями; следовательно, лишь принимая во внимание ту именно подгруппу, к которой данная служилая кабала относится, положим рязанскую, московскую, новгородскую или псковскую, можно квалифицировать состав данной служилой кабалы и, таким образом, разложив ее на клаузулы, подойти к надлежащему пониманию местных особенностей текста¹¹³.

Аналогичный метод систематически-аналитической интерпретации употребляется и для понимания произведений литературы, композиция которых должна была соотносываться с известными правилами. Средневековое житие обыкновенно писалось, например,

¹¹² *Gomme G. L.* On the method of determining the value of Folklore as Ethnological Data; см.: Report of the Brit. Soc. for Advanc. of Science 1896. P. 626–657; автор насчитывает здесь до 19 элементов: 9 — основных (radicals) и 10 позднейших; в разных местностях они, конечно, не все встречаются. Сам автор дал краткую характеристику своего метода в *Folklore as an historical science*. P. 167–168; я воспроизвожу его не без некоторых изменений и по возможности не вдаваясь в изложение технических его приемов.

¹¹³ *Лапте-Данилевский А.* Служилые кабалы позднейшего типа // Сборник статей, посвященных В. О. Ключевскому. М., 1909. С. 719 и след.

по определенному шаблону; при изображении жизни какого-нибудь святого епископа принято было, положим, рассказывать о том, как он не желал вступить в высокое звание архипастыря, как он проливал слезы умиления при совершении молитв и таинства евхаристии, как он отличался аскетическими подвигами при жизни и чудесами по смерти и т. п. Даже исторические сочинения писались согласно с требованиями «ораторского искусства» и, с такой точки зрения, могут быть подвергнуты разложению на общие им части и элементы, что и облегчает их понимание; произведения историков классической древности, да и позднейшего времени, например, обыкновенно содержали «общие места», риторические украшения, монологи, речи, «отступления» и т. п., которые современный историк не может не принимать в расчет при интерпретации данного источника в составных его элементах¹¹⁴. Впрочем, источники подобного рода отличаются, конечно, гораздо более индивидуальным характером и, значит, меньше поддаются типизирующей интерпретации их состава; в таких случаях она сменяется индивидуализирующей интерпретацией и еще чаще, чем в предшествующих, переходит в критику их состава; последняя, в свою очередь, обуславливает более правильное понимание их текста в зависимости от того, представляется данная его часть подлинной или неподлинной, из какого источника она в последнем случае заимствована и т. п.¹¹⁵

Систематический метод интерпретации, как видно, имеет большое значение для выяснения тех элементов источника, которые оказываются у него общими с данным состоянием культуры; но он еще не дает понимания тех его особенностей, которые объясняются преимущественно условиями времени, а не места: с такой точки зрения, гораздо важнее метод эволюционной интерпретации исторических источников.

Эволюционный метод интерпретации исторического источника состоит в понимании его с точки зрения его отношения к данному периоду культуры.

Вообще, известный тип эволюции может служить для толкования какого-либо звена реально данного развития: если ученый имеет основание подвести под такой тип интересующий его процесс, он может пользоваться типическими признаками, характеризующими звено типической эволюции, для того чтобы, исходя из понятия о них, толковать сравниваемое с ним звено реально данного развития. С точки зрения общей эволюции формы изучаемого орудия (по-

¹¹⁴ Ср. выше, с. 22–23

¹¹⁵ См. ниже, глава пятая, § 2.

ложим, меча или плуга), историк интерпретирует типические особенности конкретно данного предмета, например датского меча «бронзового века» или древнеегипетского плуга, не утратившего сходства с мотыгой¹¹⁶; или, исходя из понятия об эволюции данного литературного рода (положим, драмы), он выясняет типические особенности данной ложноклассической трагедии, хотя бы, например, «Софонизбы» Триссино.

Без такой интерпретации источника с точки зрения типа той эволюции, в которой он по родовым своим признакам может занимать соответствующее положение, смысл его во многих случаях остается неясным или непонятным: можно придавать разное значение источнику, смотря по тому периоду времени, к которому он относится и в соответствии с которым он подвергается толкованию.

В зависимости от того периода культуры, к которому, например, данный идол причисляется, можно признавать его или фетишем, который содержит Божественное и вместе с тем оказывается его изображением, или одним только символическим его изображением и т. п.¹¹⁷ Смысл некоторых стилизованных украшений или символов также часто выясняется лишь благодаря подобного рода толкованию. Многие из них возникли, по-видимому, путем некоторой стилизации реальных растительных или животных сюжетов, постепенно приобретавших условные формы; последние становились понятными лишь с точки зрения эволюционной интерпретации. Изображение цветов лотоса с листьями (*Nymphaea lotus*), которому египтяне придавали религиозное значение в связи с культом Солнца и верою в загробную жизнь, встречается, например, на вазах мемфисской некрополи четвертой-пятой династий; здесь оно носит еще вполне реальный отпечаток, хотя уже несколько стилизовано; на предметах фиванского некрополя тот же сюжет сочетается попарно: изображение лотоса симметрически приставлены друг к другу одно цветком вверх, другое цветком вниз, причем стебель каждого из членов такой пары представляет завиток, с вставленной в него розеткообразной верхушкой лotosовой коробочки лицом к зрителю; описанная комбинация дает спиралевидный орнамент, в котором то же реальное содержание (цветок лотоса) продолжает преобладать; но на милоских вазах стилизация его пошла еще дальше: цветок лотоса уже теряет свое реальное значение, он изображается в условном виде сверху и снизу четырьмя запятообразными знаками, а спиралевидный ор-

¹¹⁶ Тайлор Э. Антропология (рус. пер.). С. 189, 215.

¹¹⁷ *Chantepie de la Saussaye P. D.* Op. cit. Bd. I. S. 54, 62, 64.

намент получает гораздо более заметное развитие¹¹⁸. Таким образом, лишь благодаря вышеуказанной эволюционной интерпретации орнамент милосских ваз, да и многие другие аналогичные с ним мотивы античного декоративного искусства становятся понятными. Впрочем, интерпретация подобного рода не всегда исходит из фитоморфических или зооморфических представлений; но и в других случаях она придерживается той же эволюционной точки зрения, например, при объяснении превращения «ключа жизни» в хризму и т. п. Эволюционный метод интерпретации применяется, конечно, и к изучению «исторических преданий». Известное предание о Персее, например, было истолковано с такой точки зрения: автор новейшего исследования о нем исходит из некоторых понятий, встречающихся у дикарей, например из предположения, что первобытные люди, подобно детям, собственно говоря, хорошо не знали, как происходит зачатие, т. е. могли не приписывать его половому общению, — предположения, блестящим образом подтвердившегося новейшими наблюдениями над некоторыми из австралийских племен; с такой точки зрения, он и интерпретирует предание о сверхъестественном рождении Персея и сходные с ним сказки¹¹⁹. Аналогичный прием интерпретации легко заметить и в тех случаях, когда историк пользуется, например, общим понятием о первобытном дикаре, хотя бы оно было построено на основании наблюдений над современными дикарями Австралии и т. п., для того чтобы истолковать известия классических писателей о древних обитателях Европы, положим рассказы Цезаря, Диодора и Страбона о древнем населении Великобритании и т. п.¹²⁰

Эволюционный метод интерпретации получает, однако, наибольшее свое значение лишь в том случае, когда историк объясняет источник с точки зрения его реальной зависимости от предшествующей культуры и такого же его влияния на последующую. В некоторых случаях нет возможности понять предание, не прибегнув к такому его толкованию; жители городка Говика, например, до сих пор поют обрядовую песню,

¹¹⁸ *Haddon A.* Evolution in art as illustrated by the life-histories of designs. Ld., 1895. P. 133–139; много других примеров — там же.

¹¹⁹ *Hartland E. S.* The legend of Perseus. Ld. v. I (1894). P. 180–181; ср. *его же*. Primitive Paternity. Ld., 1909–10. V. I. P. 1–29; V. II. P. 274–297 и др.; примеры аналогичной интерпретации народных сказок см.: *Gomme G. L.* Folklore as an historical science. Ld., 1908. P. 59–65. Впрочем, стремление объяснить такие пережитки при непонимании их само иногда вызывало образование новых народных сказаний, о чем см., например, *Gomme G. L.* Op. cit. P. 77.

¹²⁰ *Gomme G. L.* Folklore. P. 112 ssq.

заканчивающуюся припевом: «Teribus ye teri Oden»: но историк понимает его, лишь припомнив древнейшие представления германцев о Тире и Одине; с такой точки зрения, он и толкует загадочный припев в смысле молебного обращения к Тиру и Одину с просьбой о покровительстве, от поколения к поколению перешедшего и к современным жителям городка Говика¹²¹. Впрочем, при такой интерпретации можно придерживаться и обратноэволюционной точки зрения: мелкие особенности источника становятся понятными в качестве зачатков последующего развития; историк средневекового письма обращает внимание, например, на незначительные черточки при буквах XI–XII вв. ввиду того, что в них он усматривает признаки последующего превращения их в то ломаное письмо, которое известно по рукописям XII в., и т. п.

С указанной точки зрения, момент возникновения изучаемого источника представляет особого рода интерес: историк стремится определить относительную древность источника или при помощи только что указанных типологических обобщений, или обращаясь к изучению реально данного положения его во времени.

С типологической точки зрения, историк действительно может иметь в виду то положение, какое данный источник должен занимать в соответствующем эволюционном ряду, и по такому именно его положению заключает об относительной его древности; археолог судит, например, об относительной древности предметов по степени пригодности материала для данной вещи или по развитию ее техники и формы, или по изяществу последней; историк литературы может рассуждать об относительной древности недатированного памятника письменности по форме букв, по грамматическим и стилистическим особенностям его речи, по приемам его композиции и т. п. Впрочем, историк придает своим заключениям различную степень убедительности, например, в зависимости от того, какого рода эволюционным рядом он располагает; в таких случаях археолог имеет в виду преимущественно предметы туземного, а не иноземного происхождения, и, положим, заключает об относительной древности двух могильников по гончарным изделиям; историк литературы также с большим основанием может устанавливать древность недатированного памятника письменности, если он не заимствован относительно однородных с ним произведений той же национальной литературы и т. п.

¹²¹ *Gomme G. L. Folklore etc.* P. 98–99; весьма вероятно, что эта формула — искаженный англосаксонский стих «Tyr habbe us, ye Tyr ye Oden», который автор переводит как «May Tyr uphold us, both Tyr and Odin»; городок Hawick — в Северной Англии.

В вышеуказанных исследованиях историк уже исходит, однако, из реально данного положения источника во времени: такое положение он определяет или по положению его в пространстве, или по его датировке согласно данной системе летосчисления.

В самом деле, историк часто принужден довольствоваться лишь приблизительным установлением времени возникновения источника по положению его в пространстве: представляя себе положение во времени соответствующим положению в пространстве, он в сущности судит об относительной древности источника по его положению в пространстве, в вертикальном его разрезе. В тех случаях, например, когда историк имеет дело с остатками культуры «каменного века», он определяет тот слой, в котором предмет был найден, а затем судит и об относительной его древности. Такой слой он, конечно, устанавливает прежде всего с геологической и палеонтологической точки зрения и, например, особенно ценит находки вроде «киевской», «гонцовой» (Лубенского уезда) и «карачаровской» (Муромского уезда), обследованные в геологическом и палеонтологическом отношениях, а не с одной только археологической точки зрения; но он, вместе с тем, имеет в виду и последнюю, когда говорит о последовательности собственно культурных слоев: в одном и том же поселении, обитаемом в течение многих веков, он различает, например, такие слои. Раскопки, проведенные на Хиссарлыке, т. е. на месте древней Трои, могут служить хорошей иллюстрацией такого приема: здесь обнаружено не менее девяти наслоений. В низшем, т. е. «древнейшем» из них, найдено много предметов из камня (между прочим, из нефрита), а в высшем, т. е. «позднейшем», — немало разнообразных вещей из бронзы и несколько — из железа; следовательно, можно пользоваться знаменитым кладом, открытым в слое, следующем за древнейшим, в качестве источника, пригодного для характеристики догомерической и домикенской эпох троянской культуры. Историк обращает внимание на такие же культурные слои и в могильниках, например Гальштадтском и других, и даже в отдельных курганах; несколько времени тому назад, например, один из шведских археологов, исследуя курган в Центральной Швеции, открыл в середине его покой, содержащий много скелетов и предметов каменного века; выше он нашел две гробницы бронзового века и, наконец, сверх камней, образующих крышу, увидел еще скелет с оружием, принадлежавшим к железному веку; таким образом, ему удалось обнаружить в одном и том же кургане три периода культуры, последовательное размещение которых одного над другим в пространстве наглядно обнаружило, в каком порядке они следовали друг за другом во времени. В другой области источников, т. е. среди

памятников письменности, историк реже обращается к подобного рода исследованиям, частью потому что они уже датированы, частью и ввиду того, что каждый из них легко перемещается, утрачивая то естественное положение, по которому можно было бы судить о времени его возникновения. Впрочем, и тут историк может иметь в виду, например, старинную регистрацию, или нумерацию, рукописей или книг, сделанную по мере поступления их в данный архив или библиотеку и сохранившуюся или в виде помет на рукописях и книгах, или в виде особого каталога; он изучает также расположение бумаг в данном деле или сборнике, например в сборнике писем Герберта¹²².

С точки зрения эволюционной интерпретации, надлежит, однако, возможно более точно определить время, к которому данный источник относится, а значит, и тот момент, когда он возник; но такой цели можно достигнуть лишь при знакомстве с принятой в то время системой летосчисления: она изучается в технической хронологии¹²³. Пределы времени, к которым относятся вещественные остатки культуры позднейших периодов, например, поддаются иногда более точному определению на основании совместного с ними нахождения монет, время чеканки которых известно. Припомним хотя бы знаменитую находку, сделанную в Нидамском торфянике (Nydam): о значительной древности деревянных лодок, сохранившихся в нем, оказалось возможным судить по найденным в них римским монетам II в. по Р.Х.¹²⁴. Впрочем,

¹²² *Dörpfeld W.* Troja und Ilion. Athen, 1902. S. 26–35, 326–331, 412 ff.; *Montélius O.* Le temps préhistoriques en Suède. P. 4. Впрочем, судить о древности орудий по месту их нахождения иногда рискованно: вместе с костяком они могли, например, попасть при его погребении в какой-нибудь слой третичной эпохи, хотя вовсе не принадлежали ей по времени своего возникновения. Известное деление на века «каменный, бронзовый и железный» также нельзя принять без существенных ограничений. Знакомство человека с тем, а не другим металлом находится в зависимости от условий его месторождения: эскимосы, например, перешли от «каменного века» к «железному», некоторые из североамериканских индейских племен рано узнали употребление меди и т. п.; материал предмета стоит также в связи с его назначением (ср. выше, с. 344 и след.), его происхождением (туземным или иноземным) и т. п.; ср. *Gowland W.* Op. cit., ib. P. 12–14 и др. Сбор. грам. бывшей кол. эк. Т. I. № 1–38; *Бубилов H.* Сборник писем Герберта. Ч. I. С. XIX, 206–210; Ч. II, 2. С. 939.

¹²³ *Bernheim E.* Lehrbuch. Kap. III. § 3. S. 312–315 (библиографические указания); *Giry A.* Manuel, liv. II и др. См. еще *Ginzel F. K.* Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, 2 B-de. Lpz., 1906–1911. Ср. ниже, отдел второй.

¹²⁴ *Montélius O.* Les temps préhistoriques en Suède. P. 184.

такие определения далеко не всегда отличаются точностью; монеты могут обращаться более или менее продолжительный период времени не только в тех случаях, когда употребляются в качестве украшений, но и тогда, когда служат орудиями мены; в Швеции, например, медные монеты, чеканенные в XVIII в. и украшенные изображениями римских божеств, продолжали обращаться в середине следующего столетия. Применительно к монетам позднейшего времени можно, по крайней мере, иногда вычислить даже степень приближенности таких определений. Двадцатифранковые монеты 1803–1812 гг., например, ходили в десятых долях % во Франции еще в 1891 г.; следовательно, вероятность заключения, что предмет, найденный совместно с такою монетою, принадлежит к концу прошлого века, мала; современная нам статистика монетного обращения во Франции, может быть, докажет, что такая вероятность теперь уже почти равна или равна нулю. Рассуждения подобного рода применительно к вещественным остаткам культуры позднейшего времени имеют, однако, скорее методологическое, чем практическое значение: историк часто определяет возраст таких предметов на основании более точных данных исторического предания, например по датированной надгробной надписи. Документальные остатки культуры ввиду самой цели их чаще предметов древности дают определенные указания на время их составления. В противном случае датировка их проводится по косвенным признакам: за отсутствием более точных указаний историк принимает во внимание, например, палеографические и сфрагистические особенности, язык и формулы, клаузульный состав, формы делопроизводства, канцелярские пометы, имена государей и правителей, а также контрагентов или свидетелей частной сделки. В числе исторических преданий многие также содержат точные сведения о времени их возникновения, но немало и таких, которые не датированы: время составления весьма известных сочинений (например, Пятикнижия), многих летописей и т. п. не поддается точному определению. В случаях подобного рода историк определяет время возникновения или написания исторического предания по косвенным признакам: по языку и письму, стилю и литературным приемам автора, по характеру принятого им построения (плана), по разным его намекам на факты, дата которых уже известна, по биографическим данным и т. п.

Благодаря более или менее точному определению времени, к которому возникновение источника относится, историк устанавливает его положение в данном эволюционном целом, что и дает ему возможность подвергнуть источник дальнейшей эволюционной интерпретации с точки зрения реальной его зависимости от предшествующего и последующего развития.

В самом деле, для того чтобы понять данный источник, следует, конечно, толковать его с точки зрения тех людей, среди которых он возник, и того времени, когда он появился, т. е. принимать во внимание современные ему чувствования, понятия и другие проявления душевной жизни той общественной группы, в которой он зародился и среди которой он стал обращаться; но в некоторых случаях его приходится понимать и с точки зрения того значения, какое данная общественная группа стала придавать ему в позднейшее время. В вышеуказанном смысле историк интерпретирует, например, чужую речь, в которой он встречается слова, уже вышедшие из употребления¹²⁵; но он изучает и те выражения, которые получили новое значение, хотя и продолжают сохранять прежнюю форму, например, термины, обозначающие разного рода идеи или предметы обычного употребления, классы общества или состояния (*miles, colonus, servus*), обычаи и правоотношения (*alleu, bénéfice, élection*), учреждения (*principes XII в., conventus, justitia, judex*), порядок управления («*régime, révolutionnaire*» Великой французской революции) и т. п.; даже самое обыденное слово, например какой-нибудь союз «*seu*», может иметь в разное время разное значение («или» и «и») и, следовательно, нуждается в предварительном толковании¹²⁶.

Эволюционная интерпретация источника, с точки зрения его реальной зависимости от предшествующих и последующих состояний культуры, не ограничивается, однако, изучением тех из них, которые находились в ближайшей связи с ним; она стремится вставить источник в соответствующий эволюционный ряд, в его зависимости от общих исторических условий и фактов, происходивших в действительности. При интерпретации, например, стилистических особенностей греческого и латинского языков историк принимает во внимание историю греческой национальности, в сущности слагавшейся из различных племен, далеко не вполне сходных между собою по началам своей

¹²⁵ *Godefroy F. Dictionnaire général de l'ancienne langue française (1880 г. и след.)*; этот словарь, составленный на основании старейших произведений французской литературы IX–XV вв., содержит только исчезнувшие из оборота слова и был рассчитан не менее как на 10 томов.

¹²⁶ *Wundt W. Völkerpsychologie. Bd. I (1900). Teil 2. S. 420–583; Darmsteter A. La vie des mots, Par. nouv., éd. 1889. Ср. критику его книги в соч. Bréal M. Essai de sémantique, 3-е éd. P. 279–308 и др. Поучительный случай неправильного понимания известным Дёллингером союза «*seu*» в предании о даре Константина, повлекшего за собою и целый ряд ошибочных заключений, см.: Bernheim E. Op. cit. S. 578.*

культуры, и историю римской государственности, соответственно которой и национальный стиль латинского языка отражал в себе, собственно говоря, господство римской гражданской общины над остальными; сходные моменты он замечает и в образовании немецкого литературного языка сравнительно с процессом развития французского стиля, давно уже получившего свое единство и отличительные особенности; лишь с такой исторической точки зрения интерпретируя произведения, написанные одним из вышеуказанных стилей, он может достигнуть понимания их национальных особенностей. Аналогичной точки зрения историк придерживается и при изучении собственно исторических источников в узком смысле слова, например летописей: лишь вставив их в соответствующее историческое развитие, он подвергает их и более глубокой интерпретации. Историк, изучающий анналы и хроники периода Гогенштауфенов, например, может надлежащим образом истолковать их только в том случае, если он обратит внимание на зависимость летописания того времени от развития и упадка императорской власти, от зарождения обособленных государственных территорий и последующего возвышения городов; лишь с такой точки зрения, он ясно поймет тенденции и содержание, положим, хроники Оттона Фрейзингенского, в которой личность Фридриха I играет столь видную роль, или Вормской летописи, или, принимая в расчет последующее возвышение Аугсбурга, лучше объяснит известную хронике Буркарда Цинка, и т. п.¹²⁷

Эволюционный метод интерпретации, подобно систематическому, комбинируется с анализом источника в тех случаях, когда историк пытается понять его с точки зрения того отношения, в каком части его находятся к данному эволюционному процессу, в особенности к данному ряду источников. Возвратимся к схематическому примеру, предложенному выше¹²⁸. Если тип Q развивался, то можно попытаться установить и стадии его развития, положим Q_a , Q_b , Q_c . С такой точки зрения подводя какой-нибудь конкретный источник Q_3 под соответствующую стадию развития Q , т. е. Q_c , можно в отношении к нему интерпретировать составные части изучаемого источника — Q_3 . Вообразим, что исследователь после предварительных разысканий напал на источник Q , который оказывается репрезентативным типом группы аналогичных с ним источников Q_1 , Q_2 , Q_3 , что он может расчленить Q , равное Q_1 , на шесть элементов — a , b , c , d , e , f — и что, благодаря их

¹²⁷ *Jansen M. Historiographie und Quellen der deutschen Geschichte bis 1500; см.: Grundriss der Geschichtswissenschaft A. Meister'a. Bd. I. S. 494–495, 510, 525.*

¹²⁸ См. выше, с. 369–370.

характерным признакам, он имеет основание признать их основными в том источнике, в котором они переживаются. Положим далее, что исследователь, соответственно представив себе Q_1 , Q_2 и Q_3 в известном разложении, встречается источник Q_4 , обнаруживающий некоторое сходство с Q_3 ; принимая во внимание развитие типа Q и случаи Q_1 , Q_2 , Q_3 , он может яснее представить себе состав Q_4 в связи его с Q_1 , Q_2 , Q_3 , положим, в следующей таблице.

Q_1	содержит	элементы	a, b, c, d, e, f, \dots
Q_2	»	»	$a, b, c, d, \dots g, h, \dots$
Q_3	»	»	$a, b, \dots g, h, i, k, \dots$
Q_4	»	»	$\dots g, h, i, k, l, m$

В полученной таблице легко заметить, что Q_1 , Q_2 и Q_3 суть лишь видоизменения одного и того же типа, с более или менее значительными отклонениями g, h, i, k . Ввиду непрерывно убывающего сходства в основных элементах и возрастающего сходства в отклонениях от Q_1 к Q_4 можно, однако, предположить, что источники $Q_1 \dots Q_4$ дают понятие об одном и том же, все слабее переживаемом явлении; с такой точки зрения и принимая в соображение, что Q_4 естественно продолжает Q_3 , позволительно предполагать, что Q_4 принадлежит к той же группе Q , хотя и существенно разнится от Q_1 . Таким образом, лишь вставив данный источник Q_4 в ряд Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 , историк может установить, в какой мере источник Q_4 представляет данный тип Q и каково именно значение состава Q_4 , что именно в нем имеется и чего в нем нет, в какой мере им можно пользоваться для изучения факта, отразившегося в Q , и т. п.; вместе с тем, замечая убывающее сходство в основных признаках от Q_1 к Q_4 с соответствующим возрастанием отклонений и объясняя его более слабым переживанием явления, запечатленного в данном источнике, он усматривает в элементах g, h, i, k, l, m материал для дальнейшего толкования Q_4 с точки зрения развития типа Q , т. е. той его стадии, которая более или менее представлена в Q_4 . При интерпретации вышеуказанного обряда зажигания домашнего огня в Англии толкователь встречается, например, эйршайерский обычай, в котором многие из основных элементов обряда уже выпали; но сближая оставшиеся с теми, более полными комплексами, в которых они встречаются в лучше сохранившихся обычаях того же рода, например бёргхэдовском, он может интерпретировать и эйршайерский в составных его элементах как один из позднейших пережитков того же обычая¹²⁹.

Метод эволюционно-аналитической интерпретации прилагается

¹²⁹ См. выше, с. 369–370.

и к таким случаям, когда можно заметить реальное влияние, оказываемое развитием известной нормы или нормального более или менее общепризнанного типа на состав данного источника. При изучении известных нам русских «служилых кабал» XVI–XVII вв., например, можно придти к предположению, что формуляр их постепенно упрощался и сложился не сразу: несмотря на общие законодательные нормы, под давлением которых такой тип складывался, в действительности каждый из местных типов (московский, новгородский и псковский) прошел несколько стадий развития, может быть, следовавших во времени ($M_1... M_4$, $N_1... N_4$ и $P_1... P_4$), прежде чем все они объединились под влиянием центрального правительства в одну форму, постепенно получившую перевес над остальными. Следовательно, лишь принимая во внимание ту именно стадию его развития, к которой данная служилая кабала относится, историк может ясно представить себе ее состав и, таким образом разложив ее на клаузулы, подходит к надлежащему пониманию ее текста¹³⁰.

Аналогичный метод можно применять и к интерпретации тех исторических преданий, которые подводятся под какой-либо тип: с точки зрения известной стадии его развития, исследователь толкует данное произведение в составных его частях; зная, положим, что биография появляется сперва в виде надгробной надписи у египтян, затем в виде погребальной речи у римлян, жития мученика или святого у христиан и т. д., он должен считаться при интерпретации данного источника того же типа с тою стадией развития, какую он занимает в нем; или, различая «анналы» от «хроник», он выясняет, принадлежит данная часть источника, положим, летописи известного Гобелина Персона к той или другой стадии развития летописания и, таким образом, достигает лучшего ее понимания¹³¹.

В случаях подобного рода можно, однако, заметить иногда и реальную зависимость данного источника от другого, наглядно воплотившего в себе известные правила и послужившего образцом, который подвергся дальнейшим изменениям в изучаемом источнике. В самом деле, известно, например, что жалованные грамоты королей и пап часто повторяют с более или менее значительными изменениями аналогичные акты их предшественников; но еще чаще такие же соотношения встречаются между памятниками литературы: пользуясь, например, правилами римского классического стиля, отразившимися в известном труде Светония о римских кесарях, историк различает элементы, вошедшие в состав биографии Карла Великого, написанной Эингартом, и т. п.

¹³⁰ Лаппо-Данилевский А. Там же. С. 725–739.

¹³¹ Cosmidromius Gobellini Person etc., ed. M. Janssen. Münster, 1900. S. XLIII, LV.

Эволюционная интерпретация не довольствуется, однако, изучением той связи, в какой источник находился с предшествующими стадиями развития данного типа или группы источников: она принимает в расчет и то влияние, которое он оказывал на последующие источники. Старинный закон, например, интерпретируется не без внимания к его толкованиям, произведение литературы – при помощи разъясняющих его «схолий». В некоторых случаях можно понять влияние, оказанное источником, лишь в связи с тем толкованием, которое придало ему тот, а не иной смысл: известное толкование пророком Даниилом сна, виденного Навуходоносором, например, вызвало в свою очередь комментарии епископа Ипполита, а также Оригена Александрийского, Евсевия Кесарийского и других; благодаря продолжателю его хроники – Иерониму окончательно утвердилось мнение, что, согласно пророчеству Даниила, римское царство – последнее на Земле, а такая концепция оказала самое решительное влияние и на последующее разделение всемирной истории на четыре периода, по числу четырех мировых монархий; оно долго держалось в историографии и еще принимается Слейданом и Беконом¹³².

Впрочем, типизирующий метод легко переходит в индивидуализирующий хотя бы в тех случаях, когда источник толкуется с точки зрения интересов той именно общественной группы, которые автор обнаружил в нем; интерпретируя, например, рассказ Григория Турского о похождениях Сисера, легко впасть в целый ряд ошибок, если не принять во внимание церковно-христианские воззрения автора и «оригинальность» его рассказа; но «оригинальность» его рассказа можно понимать и в смысле тех его особенностей, которые связаны с индивидуальностью данной социальной группы или автора, составившего источник, т. е. самого Григория Турского¹³³.

Вообще, можно сказать, что методы интерпретации, рассмотренные выше, взаимно дополняют друг друга: и систематический, и эволюционный методы, конечно, часто прилагаются в различных ком-

¹³² *Пр. Даниил*. Гл. II, ст. 36 и след.; ср. гл. VII, ст. 3 и след.; *Schoene A. Die Weltchronik des Eusebius in ihrer Bearbeitung durch Hieronymus*. Berlin, 1900. S. 5 ff., 45, 55 и др.

¹³³ *Fustel de Coulauges D. De l'analyse des textes historiques*; см.: *Rev. des Questions historiques*. Т. 41 (1887). P. 15–35; резко настаивая на преимуществе рекомендуемого им приема «анализа текстов», автор слишком мало различает, однако, вышеуказанные разновидности типизирующего метода и смешивает его с индивидуализирующим, не говоря о том, что «анализ текстов» получает еще совсем иное приложение в критике источников, в особенности в критике их состава. Ср. еще с. 362 и ниже, глава пятая, § 2.

бинациях к изучению одного и того же источника; толкуя его с точки зрения того типа, к которому данный источник относится, историк не упускает из виду развитие самого типа; он стремится выяснить, к какой из стадий его развития данный источник относится, и понимает такое отношение не только в типологическом, но и в реально-историческом смысле, примеры чего уже были указаны выше¹³⁴.

Таким образом, благодаря типизирующему методу интерпретации историк получает возможность с систематической или эволюционной точки зрения выяснить те родовые признаки источника, которые объясняются реальной его зависимостью от среды, т. е. от данного состояния или периода культуры; но пользуясь вышеизложенными методами, он все еще не может охватить содержание источника в наиболее характерных его чертах.

В самом деле, если историк имеет в виду только те общие условия, в которых жила данная социальная группа, он еще не будет в состоянии интерпретировать наиболее характерные особенности произведения и принять в расчет его именно влияние для понимания его же оттенков; он справедливо полагает, что чем более индивидуально произведение, тем более оно в качестве источника нуждается и в особом методе индивидуализирующей интерпретации, существенно дополняющем остальные.

§ 5. *Индивидуализирующий метод интерпретации исторических источников*

При толковании источника нельзя упускать из виду личность, которая породила его и запечатлела в нем индивидуальные особенности своего творчества; но в той мере, в какой всякий исторический источник признается продуктом более или менее цельной индивидуальности, он нуждается в особом роде интерпретации — индивидуализирующей: без такого метода легко просмотреть или ложно истолковать наиболее характерные особенности источника, в силу которых он и получил, однако, свое историческое значение.

В самом деле, лишь благодаря понятию о личности автора можно усмотреть и реальное единство его произведения, что дает возможность

¹³⁴ См. выше, с. 379 и след.; сюда можно, пожалуй, отнести исследования вроде тех, какими занимались Герман, Перон и их последователи в области древнего стихосложения: они изучали не только общие, но и частные «законы», характерные для данного рода стиха, в тот, а не иной период его развития; см.: *Bücheler F. Phil. Kr. S. 15.*

подвергнуть его индивидуальные особенности дальнейшему толкованию; и чем ярче индивидуальность автора, тем больше приходится принимать ее во внимание при интерпретации его произведения.

Впрочем, можно изучать личность автора с различных точек зрения: историк интересуется не только систематическим единством его сознания, согласованностью его мыслей, последовательностью его рассуждений и т. п., но также его ассоциациями и настроениями, общим эмоциональным тоном его душевной жизни, его волей и т. п. Во многих случаях историк только с психологической, а не с логической точки зрения и может объяснить себе наличие в его произведении таких элементов, которые в противном случае остались бы непонятными: в источнике, избыточном, например, побочными мыслями, которые, видимо, прерывают ход главной мысли, он может усмотреть единство в той мере, в какой он представляет себе автора, переживающего, в силу конкретных условий его психики, места и времени, те, а не иные ассоциации мыслей; с такой точки зрения, толкователь легко может понять соответствующие детали источника и выяснить их значение. В произведении, отличающемся менее очевидной разбросанностью мыслей, историк, конечно, легче находит и направляющую его идею; но и в данном случае он в состоянии приблизиться к пониманию его реального единства, лишь постигнув волю автора, его намерения и цели, в силу которых то, а не иное направление его мыслей, да и подбор соответствующих им средств, приемов или эффектов становятся понятными. В самом деле, толкуя такое произведение, историк стремится выяснить, что именно думал данный автор, когда он работал над своим творением, — имел он свои затаенные помыслы или мыслил то, что ему хотелось, чтобы мыслили и те, которые станут воспринимать его произведение; исследователь точнее устанавливает также тот смысл, в каком сам автор хотел, чтобы понимали его произведение, и тот именно круг публики, к которому он преимущественно обращался; полагая, например, что автор вложил свою душу в свое произведение, он усматривает в нем больше индивидуальных особенностей, чем в произведении неискреннем, условном, рассчитанном на внешний эффект; зная, что автор предназначал данный источник для специального круга читателей, он, конечно, принимает во внимание и то специальное, часто условное значение, с точки зрения которого источник только и становится понятным, и т. д. Вообще, историк исходит из индивидуальных особенностей психики автора для окончательной интерпретации соответствующих особенностей его произведения, взятого в его целостности; он изучает степень оригинальности данного автора, его чувствований, мотивов, миро-

воззрения, тенденций, личных отношений, а также степень энергии и последовательности, с которыми его оригинальность обнаружилась в данном произведении, и т. п.

Итак, можно сказать, что при помощи индивидуализирующей интерпретации историк пытается проникнуть в тайники личного творчества автора и даже хочет, в известном смысле, по возможности лучше его самого понять его произведение. Такая цель, правда, может показаться недостижимой, особенно если припомнить, что интерпретация приводит лишь к приближенным выводам; но если иметь в виду, что сам автор часто творит, не отдавая себе ясного отчета в акте своего творчества и далеко не всегда сознает посторонние влияния, налагающие, однако, свой отпечаток на его произведение, и что по объективировании творчества в последнем некоторые из его особенностей могут обозначиться гораздо яснее, то и вышеуказанная претензия не окажется чрезмерной: в известном смысле толкователь может лучше самого автора приблизиться к пониманию некоторых сторон его произведения.

Впрочем, можно стремиться к достижению такой цели с двух разных точек зрения — аналитической и синтетической.

В самом деле, можно пользоваться анализом и синтезом для понимания личности автора, а затем уже переходить и к интерпретации его произведения, т. е. источника.

При анализе личности автора историк может или исходить из биографических данных о нем, или сосредоточивает свое внимание на его произведении, восходя от него к личности автора.

Действительно, во многих случаях историк обращается к изучению личности автора по биографическим данным о нем для того, чтобы возможно более ясно представить себе ту именно индивидуальную его психику, которая в данных условиях места и времени обнаружилась в его произведении и в которой он разыскивает все то, что сам автор лишь подразумевал, но не всегда высказывал в источнике. Ввиду такой цели историку приходится иногда проделывать весьма сложную работу, основанную на пересмотре возможно большого числа разнообразных источников, автобиографических данных, биографических сведений, писем и т. п.: ему нужно знать происхождение изучаемого автора, его род, его родителей, его семью и выяснить, что у него было общего с ними, что — своего, оригинального; ему нужно изучить детство автора, ход его воспитания и образования, общественные группы, в которых он вращался, его Отечество или страну, в которой он жил, и т. п.¹³⁵ С лично-

¹³⁵ *Sainte-Beuve Ch. Portraits littéraires* и др., отдельными книжками с 1832 г. См., например, *Nouveaux Portraits*. Brux., 1836. Т. I. P. II, где автор заявляет, что он

стью Цицерона, например, историк знакомится по его переписке — по его письмам к Аттику, по письмам Цэлия к Цицерону и т. п.; о Цезаре и его пребывании в Галлии он узнает, между прочим, и из известной истории Диона Кассия; о личности Бисмарка он судит по его замечательным письмам к невесте и жене, вскрывающим такие черты его характера, о которых его мемуары не дают надлежащего понятия, а также по дневнику Буша, и т. п.

Помимо того, однако, что историк не всегда располагает такими данными, он даже при наличии их, в сущности, принимает во внимание индивидуальность автора, имея в виду ту именно комбинацию его особенностей, которая выразилась в толкуемом произведении: он интересуется личностью автора в той мере, в какой он может воспользоваться знанием его особенностей для понимания соответствующих черт его произведения; следовательно, для того чтобы составить себе надлежащее представление об этой личности, он должен изучить ее продукт-источник и может заключать о ней по его особенностям. Таким образом, историк выясняет психику данного автора, поскольку она выразилась в главной идее его произведения, отразившейся в заглавии и в содержании его труда; в сюжетах, какие он выбирает; в плане, какого он придерживается; в способах и формах, какие он употребляет для выражения своих мыслей, и т. п. С указанной точки зрения, историк изучает и памятники вещественные, и произведения письменности. При толковании памятника вещественного историк судит, например, о личности автора не только по его замыслу, но и по более или менее развитым приемам изображения: по линиям, пропорциям, размерам, украшениям его произведения, положим, храма или статуи; или по рисунку, краскам, мазкам, размещению фигур его картины и т. п.; или по метафорам и аллегориям, которые характеризуют данный памятник, положим, известные произведения Микель-Анджело в усыпальнице Медичи, и т. п. При толковании произведения письменности историк также может судить о личности писателя, принимая в расчет и его замысел, и средства его исполнения; он интересуется, например, языком данного писателя, лексическим составом и построением его речи, расположением слов и сдержанностью или эмфатичностью его тона и т. п.; он обращает внимание и на то, придерживается автор ясного или тяжелого, изысканного или грубого, спокойного или страстного стиля; придает он ему поэтический или прозаический характер, т. е. прибегает ли он к более или менее об-

изучает «le rapport de l'oeuvre à la personne même, au caractère, aux circonstances particulières...».

разным эпитетам, синекдохам, метонимиям, метафорам или гиперболам; обращается ли к аллегории, иронии и т. п.; допускает ли энтимемы с характерными недомолвками; обнаруживает ли склонность к употреблению отвлеченных терминов, к догматическим или критическим оборотам и т. п.; вообще следует он обычным правилам или оказывается своеобразным в своих мыслях, в подборе форм и слов, которым он может придавать свой собственный оттенок, и даже во второстепенных способах обозначения их, например, в правописании, размещении знаков препинания и т. п. Таким образом, историк может представить себе личность данного писателя, например, Цезаря, Тацита, Гюго, подвергнув подробному анализу их произведения¹³⁶.

Полного понимания личности автора историк не может, однако, достигнуть без особого акта собственного творчества; путем синтеза он объединяет проанализированные им элементы и остатки, не поддающиеся анализу; в последнем случае он, конечно, стремится прежде всего к научной конструкции, но часто прибегает и к интуиции, и к эстетическому построению; само собою разумеется, однако, что с научно-познавательной точки зрения, он признает такое синтетическое понимание личности автора только своего рода гипотезой, приемлемость которой оправдывается ее приложимостью. С указанной точки зрения, например, исследователь хроники Оттона Фрейзингенского пытается воссоздать его «характер» и пользуется им для интерпретации его трудов.

С вышеуказанной индивидуализирующей и объединяющей точки зрения на исторический источник, характерные его особенности дей-

¹³⁶ *Meusel H.* Lexicon Caesarianum. Vv. I–II. Berlin, 1886–1893; *Ferber A. und Greef A.* Lexicon Taciteum. Lipsiae, 1903; *Livet Ch. L.* Lexique de la langue de Molière, 3 vv. (1896–1897); *Schmidt Al.* Shakespeare Lexicon, 2-е изд. 1886 и др. Один из редакторов, издававших полное собрание сочинений Шлейермахера, указывает на его «своеобразную орфографию и interpunktuaciju»; биограф Клиффорда рассказывает о нем, между прочим, что он сознательно придерживался своей собственной системы расстановки знаков препинания; см.: *Schleiermacher F.* Sämtliche Werke. Abth. I. V. VII. S. XII; *Clifford W. K.* Lectures and Essays. V. I. P. 41; *Hennequin E.* La critique scientifique, 3 éd. Par., 1894 (русск. пер. 1892); о В. Гюго — см. там же, с. 225–243. Следуя по пути, уже намеченному Тэнном, автор преувеличивает значение изучения данного произведения. Сам Тэн, напротив, пытался комбинировать оба метода, но не со строго индивидуализирующей точки зрения. По словам одного из его биографов, например, «s'il a devant lui un écrivain ou un artiste, il induit ce qu'il a dû être de la race, du milieu et du moment; puis, quand il a saisi la faculté maîtresse de son individualité, il en déduit tous les actes et toutes ses Œuvres»; см.: *Mouod G.* Les maîtres de l'histoire. P. 154.

ствительно подвергаются интерпретации. Если не принять во внимание, например, что Тацит в своем описании «Германии» противопоставлял чистоту нравов ее обитателей испорченности римской жизни и гораздо более опасался этих варваров, чем пресловутых в то время парфян, многие места его произведения нельзя толковать правильно¹³⁷. В известных случаях без подобного рода интерпретации просто нет возможности понять изучаемый текст. Некоторые места известных «Gesta» Оттона Фрейзингенского, например, получают смысл лишь в том случае, если иметь в виду его мировоззрение: про императора Фридриха I Барбароссу, на самом деле подвергнувшего Ломбардию кровавому разорению, он говорит, что император, вернувшись в Германию, «своим присутствием возвратил мир франкам, а своим отсутствием отнял его у Италии». Такое противоречие с фактами становится, однако, понятным, если принять во внимание, что Оттон Фрейзингенский представлял себе роль Фридриха Барбароссы в особом свете — после долгих междоусобий между приверженцами и противниками Гогенштауфенов. Бог послал его для восстановления мира и вручил ему меч для того, чтобы низложить нарушителей мира и наказать тех, которые противятся его восстановлению. С такой точки зрения, и вышеприведенный текст легко поддается интерпретации¹³⁸.

Вообще благодаря понятию о личности автора, добытому при помощи вышеуказанных приемов исследования, легче достигнуть цельного понимания его произведения: если единство сознания автора в известной мере отражается в его произведении, можно рассматривать последнее как реальное целое и с такой именно точки зрения толковать отдельные его элементы, периоды, суждения, слова и т. п. Отсюда общее правило (обыкновенно не обосновываемое историками-методологами), что источник надо предварительно подвергнуть анализу в его совокупности, а потом уже толковать отдельные его части или места: лишь в качестве частей данного целого (источника) они становятся понятными. Отсюда и дальнейшее правило, также обыкновенно лишенное обоснования и широко применяемое в особенности к историческим преданиям, а именно правило об изучении текста лишь в его контексте: единство сознания, согласованность частей и их взаимозависимость, из которой и значение отдельных частей становится яснее, отражаются не только в целом источнике, но, разумеется, в еще большей мере и в отдельных периодах; следовательно, толковать текст, вы-

¹³⁷ Boissier G. Op. cit. P. 41–43; ср. Fustel Coulanges D. Rcherches. P. 235, 269–270.

¹³⁸ Bernheim E. Der Charakter Ottos von Freising und seiner Werke; см.: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 1885. Bd. VI. S. 36–38.

хватывая его из такого гнезда — контекста, значит лишать себя одного из главных средств понять автора, а потому и «правило о контексте» считается «основным правилом» интерпретации. Такое правило давно уже прилагалось, например, к толкованию закона; одно из современных законодательств также рекомендует истолковывать клаузулу данного частного акта через посредство остальных; многие тексты летописи можно понять лишь в отношении к предшествующим и последующим отрывкам той же летописи, а не к последующим вставкам, хотя бы они в позднейшем списке и оказались всего ближе к толкуемому месту, и т. п. В противном случае интерпретация может получить более или менее произвольный характер. В одном месте «Германии», например, Тацит, описывая нравы ее обитателей, говорит: «вы менее легко убедили бы их обрабатывать землю и ожидать жатвы, чем идти искать врагов»; выхватывая приведенный текст из контекста, некоторые исследователи относили его вообще к германцам; но стоит лишь прочесть всю главу для того, чтобы убедиться, что автор в данном случае едва ли говорит вообще о германцах, а скорее только о знатном юношестве («*plerique nobelium adolescentium*»), и что, значит, его отзыв нельзя приводить в пользу мнения, по которому германцы будто бы не занимались земледелием¹³⁹.

Впрочем, можно усматривать некоторое единство и в индивидуальном развитии данной личности и пользоваться понятием о нем для толкования ее произведения: последовательно пройдя стадии, через которые уже прошла чужая мысль, толкователь может лучше усвоить себе ее оттенки. С такой точки зрения, изучение индивидуального генезиса мысли автора, его черновых набросков, концептов, сделанных им переизданий его труда и т. п. может получить особенное значение. В черновых набросках, например, автор иногда свободнее и яснее выражает свою задушевную мысль, чем в отделанном, предназначенном для публики произведении, или обнаруживает такие характерные колебания мысли, которые исчезают в окончательной форме или редакции его труда. В виде примеров можно указать хотя бы на известный рисунок Рафаэля «Аполлон и Марсий», сохранивший едва ли не более сильный отпечаток его таланта, чем картина, писанная масляными красками; на многие черновые проекты законов, составленные Петром Великим и прошедшие целый ряд характерных изменений, по которым легко следить за ходом его мысли; на различные редакции «Ис-

¹³⁹ L. 24. D. 1, 3: «Incivile, est nisi tota lege perspecta, una aliqua particula proposita, judicare vel respondere»; см.: *Gauguier J.* Op. cit. P. 146–152; *Tacit. Germ.*, cap. 14; *Fustel de Coulanges D.* Recherches etc. P. 199; ср. еще P. 192, 203 и др.

тории моего времени» Фридриха Великого, по которым можно судить о том, в какой мере исторические и политические взгляды юного короля изменились ко времени его старости, и т. п.¹⁴⁰

С той же индивидуализирующей точки зрения можно рассматривать источник как один из фактов биографии его составителя, занимающий определенное положение в его развитии: ведь знание тех именно обстоятельств в жизни автора, при которых источник возник, получает иногда весьма существенное значение и для его толкования; при чтении известных мемуаров Наполеона I, например, важно знать, что он в то время уже находился в заключении на острове Святой Елены и представлял себя «мучеником», страдания которого должны возвратить его сыну царский венец, что он писал по памяти под влиянием желания вообще оправдать всю свою предшествующую деятельность, свое личное поведение и свою политику; при изучении «мыслей и воспоминаний» Бисмарка следует иметь в виду, что его «мысли» принадлежат к периоду расцвета его сил, а его «воспоминания» — ко времени его старости и т. п.

Итак, при толковании данного произведения нельзя упускать из виду ту зависимость, в какой оно находится от личности автора: ею легче выяснить, наконец, и то влияние, какое данное произведение именно в силу свойственных ему особенностей оказало на культуру данной социальной группы и с точки зрения которого можно подвергнуть его дальнейшей интерпретации. Последующее добровольное исполнение акта сторонами, например, дает материал для понимания его содержания; ученики или почитатели автора иногда также резче подчеркивают или выражают отдельные черты его мировоззрения, более или менее отразившиеся в собственном его произведении и, значит, более или менее пригодные для толкования его смысла. Впрочем, такие мнения, разумеется, могут оказаться и совершенно ошибочными: старшие французские романтики, Шатобриан и др., например, признавали Ронсара и его друзей своими предшественниками, хотя они в сущности были приверженцами классицизма и не интересовались, подобно романтикам, христианским Средневековьем.

Ввиду того что под личностью можно разуметь и коллективное лицо, и отдельного человека, круг источников, к которому индивидуализирующий метод интерпретации применяется, оказывается довольно широким; тем не менее можно сказать, что индивидуализирующий метод интерпретации прилагается, главным образом, к «произведениям культуры» и к некоторым видам «исторических пре-

¹⁴⁰ Wolf G. Einführung. S. 203–205.

даний», происхождение которых может быть поставлено в тесную зависимость от личного творчества, что уже видно из вышеприведенных примеров.

В заключение нельзя не заметить, что индивидуализирующий метод интерпретации находится в довольно тесной связи с критикой источника. В самом деле, для того чтобы исходить из личности автора и таким образом объяснять его произведение, надобно знать, что последнее действительно принадлежит данному автору, а не другому лицу, а это уже входит в задачи исторической критики источника, его подлинности или неподлинности; вместе с тем индивидуализирующая интерпретация задается целью выяснить, что именно данный автор хотел высказать в своем произведении; но если иметь в виду, что он хотел сказать правду или хотел солгать, решение такой задачи окажется в зависимости от критической оценки источника, а именно от критики достоверности или недостоверности его показаний.

§ 6. Взаимозависимость различных методов исторической интерпретации и некоторых из ее разновидностей

Ввиду вышеуказанной общей цели исторической интерпретации разнообразные ее методы, конечно, взаимно дополняют друг друга: историк не может достигнуть достаточно полного понимания источника при помощи одного из них, хотя и пользуется каждым из них в большей или меньшей степени, что и приводит к весьма разнообразным комбинациям их в зависимости от цели его работы и от особенностей того именно объекта, который подвергается исследованию. С такой точки зрения, можно, конечно, рассуждать об особом рода сложных «методах интерпретации» исторических источников; но во избежание смешения понятий еще удобнее, пожалуй, говорить об особых видах интерпретации — главным образом, в зависимости от того рода объектов, к изучению которых она прилагается. Смотри по тому, например, что именно служит ее объектом, можно различать два вида интерпретации — формальную, или рационалистическую, и реальную, или собственно историческую.

В тех случаях, когда историк желает понять источник лишь в самых общих его чертах, т. е. разыскивает общий его смысл, не вдаваясь в детальное изучение тех его оттенков, которые зависели от места и времени его составления, а также от личности составителя, он пользуется рационалистической интерпретацией; последняя, значит, связана преимущественно с теми общими методами интерпретации, которые я назвал психологическим и техническим. Рационалистическая

интерпретация прилагается к изучению изображающих и обозначающих источников, если историк имеет в виду приблизительно понять только общее их значение, без дальнейших исторических разысканий. При интерпретации изображенных памятников древности, которую можно назвать формально-археологической, историк действительно прежде всего стремится установить, какого рода идеи вообще ассоциируются с данным предметом, каковы его назначение, а также свойства и т. п.; при «словесной» интерпретации обозначающих источников (например, элементов чужой речи) историк также подыскивает, какого рода идеи обыкновенно ассоциируются с ее элементами, т. е. какое значение они имеют, взятые или в отдельности, в виде слов, или в их соотношении, в виде «частей речи»; он выясняет их назначение, а также обращает внимание на формальные их признаки, на звуки и буквы, на расположение слов и т. п.¹⁴¹ Такой же, в сущности рационалистический характер особенно резко обнаруживается при толковании текста закона исключительно с точки зрения того значения, какое содержание его, само по себе взятое и в данной его формулировке, может иметь для юриста-толкователя, т. е. для современной ему (а не источнику) юридической практики, но уже менее заметен хотя бы даже при беглом чтении какого-нибудь рассказа и т. п.¹⁴²

В случаях подобного рода историк уже пользуется, однако, и бо-

¹⁴¹ *Boeckh A.* Encyklopaedie. S. 93–111; ср. выше, с. 359, прим.; «буквальная», или «грамматическая», интерпретация применяется и при толковании закона; в таких случаях роль толкователя сводится приблизительно к тому, чтобы «дать тексту все то значение, какое позволяет дать ему его формула», согласно с «нормальными и обычными» правилами языка; впрочем, и собственно юридическая терминология должна быть, конечно, принята во внимание; см.: *Reuterskiöld C.* Ueber Rechtsauslegung. Lpz., 1899. S. 15 и др.; *Gény F.* Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Par., 1899. P. 25–26; Гогье попытался установить различие между «буквальной» и грамматической интерпретацией; см.: *Gauguier J.* Op. cit. P. 77; ср. 73. P. 113.

¹⁴² *Reuterskiöld C.* Op. cit. S. 20 ff., 22–24; *Gény F.* Op. cit. P. 227; в таких случаях юристы преимущественно настаивают на «логической» интерпретации — термине, который сам по себе довольно ясно указывает на рационалистический ее характер; еще со времен Тибо различают некоторые ее методы: «объяснительная» (*déclarative*) интерпретация ничего не прибавляет и не убавляет к данному темному выражению; распространительная (*extensive*) расширяет смысл выражений текста или, в случае нужды, добавляет к нему ту, а не иную клаузулу; ограничительная (*restrictive*), напротив, суживает его смысл или опускает ненужные выражения; см.: *Gauguier J.* Op. cit. P. 78–103.

лее сложными методами интерпретации. Он не может довольствоваться рационалистической интерпретацией, при которой понимание источника остается слишком общим или слишком отвлеченным: без типизирующего метода он рискует не понять того именно значения, какое данным предметам или словам приписывали люди, жившие в известном состоянии или периоде культуры; без индивидуализирующего метода он не поймет индивидуальных оттенков источника, который он изучает; но такие методы преимущественно характеризуют реальную или собственно историческую интерпретацию источника, т. е. толкование его содержания по возможности во всей совокупности его оттенков, в его зависимости от данных условий места, времени и личности, породившей в этих именно условиях данный источник; даже юрист-догматик, подвергая, например, частный акт «логической», а не исторической интерпретации, имеет в виду, однако, не только «разум», «справедливость», «род акта» и т. п., но и законы или обычаи данной страны и соответствующего времени, привычки, намерения и мотивы лица или сторон и т. п.¹⁴³; таким образом он уже прибегает к вышеуказанным методам — типизирующему и индивидуализирующему — для понимания акта, данного в действительности; само собою разумеется, что тот, кто читает какой-либо исторический рассказ, еще менее в состоянии ограничиться «логическим» его толкованием и обращается к реальной, или собственно исторической, его интерпретации.

Впрочем, и при реальной, или собственно исторической, интерпретации содержания источника историк пользуется (конечно, более или менее широко) всеми вышеуказанными методами: уже самое по-

¹⁴³ *Gauguier J.* Op. cit. P. 128 et ss.; 163–164, 196 и др.; *Danz E.* Op. cit. S. 38–49. При объяснительной, распространительной и ограничительной интерпретации (ср. выше, с. 392) юрист, очевидно, уже пользуется типизирующим и индивидуализирующим методами, без которых он, конечно, не мог бы что-либо прибавить или убавить к тексту частного акта; ср. *ib.* P. 141, 142; то же можно сказать и про ту интерпретацию, которая исходит из «цели», приписываемой «праву», т. е. «практическому мотиву»; см.: *von Jhering R.* Der Zweck im Recht. Leipz., 1884. Bd. I. S. VIII; Ср. *Geist des Römischen Rechts.* Bd. IV, 4-te Aufl., 1878–1888 гг. и др.; *van der Eycken P.* Méthode positive de l'interprétation juridique. Par., 1907. P. 53 et ss.; автор — сторонник Конта (р. 262, 395–396) и Иеринга (р. 56–57 и др.); но, рассуждая о «социальной цели», о ее «объективной реальности» и т. п., он недостаточно выясняет сложный характер рекомендуемой им «позитивной», или «телеологической», интерпретации, «разыскивающей» такую именно цель права; см. р. 102 и др.

нятие о содержании источника он представляет себе лишь путем психологического толкования того материального образа, в котором оно выражено и запечатлелось; но он может правильно судить о содержании источника, лишь принимая во внимание и тот, а не иной материальный образ источника, его свойства и т. п.; само собою разумеется, что он признает также связь между источником и той культурой, в которой последний возник, и с точки зрения такой связи, обращается к типизирующему методу его интерпретации, комбинируя его с индивидуализирующим, поскольку последний нужен для понимания оригинальных особенностей источника. Таким образом, и в реальной исторической интерпретации легко обнаружить наличие тех методов, которые были рассмотрены выше.

Само собою разумеется, однако, что комбинации их могут быть различны. При интерпретации, которая имеет в виду квалифицировать источник, т. е. выяснить, к какому именно роду источников он относится, например, историк преимущественно пользуется психологическим, техническим и типизирующим методами: он подводит данный источник под ту, а не иную группу источников частью с точки зрения психологии того рода творчества, которое обнаружилось в нем, частью с точки зрения его стиля, а также его принадлежности к тому, а не иному исторически сложившемуся типу произведений и т. п. Таким образом, получив возможность определить, к какому именно роду источников действительно принадлежит тот источник, который он изучает, историк подвергает его дальнейшей интерпретации. Смотря по тому, например, причисляет он надпись на надгробном памятнике к остаткам культуры или к преданиям, он может различно толковать, положим, «трогательное» ее содержание: или в смысле остатка культуры, свидетельствующего о тех чувствах, которые действительно волновали оставшихся, или в смысле предания, составленного, положим, для того чтобы вызвать соответственные чувства в читателе.

Впрочем, можно сказать, что реальная, или историческая, интерпретация характеризуется преимущественно тем, что комбинация типизирующего и индивидуализирующего методов получают в ней особенно важное значение. В самом деле, интерпретируя содержание источника, историк уже не может довольствоваться пониманием его в «общих чертах», иногда все еще очень далеким от действительности, т. е. от тех особенностей источника, которые зависят от условий места и времени, а также от личности составителя; но принимая их во внимание при толковании источника, он уже пользуется типизирующим и индивидуализирующими методами его интерпретации. При изучении, например, такого значительного остатка культуры, каким оказы-

ваются парфенонские мраморы, историк может достигнуть их понимания, лишь поставив их в связь с греческой культурой периода ее расцвета, с религиозным и национальным чувством греков того времени и с индивидуальными особенностями Фидия, сумевшего гармонически объединить в своем творчестве величавую и изящную простоту аттического искусства с силой и энергией дорийского стиля. В тех случаях, когда историк имеет дело с историческим преданием, он также редко может ограничиться одним грамматическим его толкованием: тот, например, кто стал бы довольствоваться им при чтении новозаветного греческого текста, не принимая в расчет, что он был писан евреем и что он заключает еврейскую, а не греческую мысль, и не обращая внимания, каким именно из апостолов он был писан, впал бы в целый ряд ошибок. Вообще, толкуя, положим, текст какого-либо закона, историк, подобно юристу истолкователю, должен рассматривать данное узаконение в отношении его к другим как часть более или менее значительного целого; и только выяснив такое соотношение, например, взаимозависимость или соподчиненность двух норм, а в некоторых случаях и кажущееся или действительное их противоречие, он может вполне понять данный текст. Вместе с тем правильное его понимание сопряжено с пониманием воли законодателя, которая «объявлена» или обнаружена в данном тексте и с точки зрения которой его содержание и подвергается окончательной интерпретации. При изучении крепостного права по нашему Своду законов 1832 г., например, историк не может довольствоваться одной главой о крепостном состоянии: понятие о нем выясняется только при сопоставлении весьма разнообразных и одновременных по своему происхождению статей всего Свода, что и облегчает правильное понимание каждой из них в отдельности; но историк должен, кроме того, выяснить себе и образ мыслей составителя Свода: он должен припомнить хотя бы известное рассуждение гр. М. Сперанского о «законном крепостном состоянии», с точки зрения которого понятие о полном праве собственности господ на крестьян не могло быть признано, а значит, не могло решительно повлиять и на характер Свода. Легко заметить аналогичное применение реальной, или собственно исторической, интерпретации и к историческим преданиям; они часто требуют типизирующей и индивидуализирующей интерпретации, например, хотя бы в вышеприведенных случаях истолкования летописей Григория Турского, Оттона Фрейзингенского и т. п.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Gény E. Op. cit. P. 229 ss.; p. 236–237; Гр. М. Сперанский. Историческое обозрение изменений в праве поземельной собственности и в состоянии крестьян;

Ввиду разнообразия исторического материала можно, однако, указать и на такие виды исторической интерпретации содержания источника, в которых один из только что указанных методов получает заметное преобладание. При изучении произведений народного творчества, например, историк широко пользуется типизирующим методом интерпретации: он может понять, положим, песни о Роланде в связи со средневековым рыцарством или некоторые подробности былины про Василия Буслаева, сближая ее содержание с условиями старинного новгородского быта, и т. п.; напротив, для толкования автобиографий, вроде, например, «Исповеди» Руссо, желавшего изобразить в ней «историю своей души», и для понимания того субъективного отношения, какое он, в сущности, обнаружил к своей задаче, историк пользуется возможно более индивидуализирующим методом интерпретации¹⁴⁵. Аналогичное различие можно усмотреть и в интерпретации однородных источников: историк-юрист обращается, например, к толкованию обычного права преимущественно путем типизирующего метода, а писанный закон толкует, главным образом, с точки зрения воли законодателя, т. е. при помощи индивидуализирующего метода; в указанном смысле, например, он различает интерпретацию обычая великорусских крестьян, предоставившего сонаследникам право общего владения землею или угодьями, от интерпретации известного указа Петра Великого о единонаследии¹⁴⁶. Такое же преобладание одного из вышеуказанных методов можно заметить и в толковании некоторых видов исторических преданий: понимание «аннал» в узком смысле, например, менее нуждается в индивидуализирующей интерпретации, чем понимание «хроник»; можно

см.: Арх. истор. и практ. сведений, изд. Н. Калачовым 1859 г. Кн. II. Отд. 1. С. 43. Понятие о законодателе, разумеется, строится в государственно-правовом смысле. При толковании частных актов воля или намерение сторон, наследодателя и т. п. также принимается во внимание, см.: *Gauguier J.* Op. cit. P. 75, 76. Ср. выше, с. 382, 388.

¹⁴⁵ *Glagau H.* Die moderne Selbstbiographie и проч., Marburg, 1903. S. 12, 18, 28 и др.; Гете при чтении записок Б. Челлини заявил, что он ничего не понимает в них «ohne unmittelbares Anschauen»; см. *ib.* S. 44.

¹⁴⁶ *Gény F.* Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif. Par., 1899. P. 229, 230, 236–237. П. С. З. Т. V. № 2789. Само собою разумеется, однако, что при толковании национальных особенностей, характеризующих произведения творчества или обычаи данного народа, в отличие от других народов, историк обращается к тому же индивидуализирующему методу, но в более относительном его значении.

указать, однако, и на такие произведения, которые в разных своих частях оказываются то анналами, то хроникой и, значит, подобно, например, труду известного вестфальского летописца начала XV в. Гобелина Персона, выясняются преимущественно при помощи различно комбинируемых методов типизирующей и индивидуализирующей интерпретации¹⁴⁷.

Впрочем, можно выделить еще один, особый вид интерпретации содержания источника, в котором методы типизирующий и индивидуализирующий играют видную роль: она становится очень заметной в тех случаях, когда историк при толковании содержания произведения замечает, что автор облек основную свою мысль в аллегорические образы, «прямой» или «буквальный» смысл которых еще не дает возможности понять изучаемое произведение¹⁴⁸. В таких случаях исследователь прибегает к «аллегорической интерпретации», пользуясь преимущественно типизирующим и индивидуализирующим методами: он стремится понять «скрытый» смысл, более или менее отличный от «буквального», изучая данное произведение в связи с условиями места и времени, с личностью самого автора, его взглядами и т. п. В самом деле, всякая аллегория, очевидно, рассчитана на известного рода эффект, который зависит от более или менее удачного сочетания «скрытого» смысла с конкретными образами, в известной мере намекающими на него; но «скрытый» смысл все же должен быть доступен пониманию той именно публики, которую автор имеет в виду, для чего он и подбирает образы, навязывающие ей желательный для него смысл; следовательно, смысл аллегии должен находиться в некотором со-

¹⁴⁷ См. выше, с. 381.

¹⁴⁸ *Boeckh A.* Encyklopaedie и проч. S. 88–93; впрочем, автор не дает достаточно ясно-го понятия об аллегории и, говоря об особом виде «аллегорического толкования» в своем введении к «герменевтике», слишком мало выясняет его значение. Аллегорическая интерпретация уже практиковалась, особенно применительно к толкованию религиозных образов и мифов в древности, например, Полибием, Страбоном и Палэфатом, преимущественно платоновцами-эклетикиами, новоплатоновцами и стоиками греко-римской эпохи, например Плутархом и другими; с конца XVIII в. тот же прием получает более широкое приложение, например, в трудах Жебелена и Дюпюи (*Gebelin, Dupuis*), а с 1810 и в известной «Символике» Крейцера (*Creuzer*) и др. Квинтилиан причислял к аллегии в качестве одного из ее родов и иронию, в которой «*contrarium ostenditur*»; ср. о толковании иронии и «*litotes*», которое Бёк рассматривает в «генерической» интерпретации, а Бласс — в «технической»: *Boeckh A.* Op. cit. S. 153–154; *Blass E.* Op. cit. Herm., отд. 4, § 25; об аллегории там же. § 26–31.

ответствии с пониманием данной социальной группы, ограниченной иногда довольно узким кругом посвященных, и с ее культурой, что историк и выясняет путем типизирующего метода. Вместе с тем, однако, аллегорическое произведение, а именно самые образы иносказания оказываются сами по себе лишеными реального значения: они или вне соответствия или в разногласии с ним; с такой точки зрения, содержание источника может даже противоречить историческим фактам данного периода, что иногда и наводит исследователя на мысль об аллегорическом его значении; но и такой результат получается благодаря применению того же типизирующего метода интерпретации: без него историк не был бы в состоянии обнаружить фиктивность самих образов иносказания. Легко заметить, однако, что при толковании аллегории историк не может обойтись и без индивидуализирующего метода: он не должен забывать, что автор аллегории, может быть, сам более или менее изобрел «скрытый» ее смысл и, во всяком случае, прибег к ней ввиду заранее обдуманной им цели или расчета; что скрытая цель автора обуславливает данное сочетание образов, рассчитанное на известный эффект; что особенности его личности (например, его настроение в данный момент) объясняют подбор тех, а не иных образов; что такой подбор, разумеется, в свою очередь оказывает влияние на их комбинацию, и т. п. Следовательно, можно сказать, что без типизирующего и индивидуализирующего методов историк не в состоянии подвергнуть аллегорию надлежащей интерпретации. При толковании «Божественной комедии» Данте, например, изобилующей аллегориями, историк принимает во внимание и место, и время ее возникновения, и личность самого поэта: предполагая, положим, что Данте связывал свое понятие о «высшей науке — спекулятивной теологии» с идеальным образом любимой им Беатриче и, значит, придавал ему аллегорическое значение, он с такой точкой зрения толкует и отдельные тексты его произведения; или, принимая, что в своем известном изображении входа в ад поэт также придавал ему аллегорический смысл, он догадывается, что под пантерой автор разумел Флоренцию с борющимися в ней партиями «белых» и «черных», под волчицей — иерархию, а также содействующую ей партию вельфов, под львом — Карла Валуа, что, впрочем, могло иметь скорее символическое, чем аллегорическое значение, и объясняет такие иносказания, не упуская из виду пламенного воображения автора, условий и обстоятельств его личной жизни, его борьбу с «черными», его посольство в Рим и т. п.

Подобные же оттенки можно наблюдать и при толковании символического содержания источника. Если, например, под символом разуметь такой знак, значение которого, ассоциированное с известным

образом, условно признается целой социальной группой, то и толкование его проводится преимущественно путем типизирующего метода; он получает широкое применение, например, в области церковной или светской символики, при изучении многих обрядов и обычаев, при толковании народных песен, богатых символами, и т. п.; таким образом, историк интерпретирует, например, изображения креста, якоря и рыб или стилизованного петуха, двуглавого орла и т. п., или значение хождения с образом вокруг межи, рукобитья и т. п. Если, напротив, иметь в виду, что данный символ представляет более или менее произвольную ассоциацию между мыслью автора и образом, т. е. что употребляемый им символ имеет индивидуальное значение, то и толкование его, конечно, требует преимущественно индивидуализирующего метода: историк литературы применяет его, например, при толковании многих образов в драмах Ибсена, положим, образа Еллиды с ее стремлением к морю, т. е. к свободе («Frau vom Meer»), или образа «дикой утки», существование которой после водворения ее в сытом господском доме все же оказывается своего рода тенью и символизирует жизнь опустившегося человека, вроде старого Экдаля, и т. п.¹⁴⁹

Таким образом, комбинации вышеуказанных методов интерпретации исторических источников довольно разнообразны, смотря по тому, к какого рода объекту они прилагаются. С указанной точки зрения, легко было бы, конечно, получить и многие другие разновидности интерпретации: она меняется в зависимости от того, применять ее к остаткам культуры или к историческим преданиям, к той, а не другой группе их и т. п.; но сказанного, кажется, достаточно для того, чтобы дать общее понятие о главнейших методах интерпретации исторических источников и о некоторых ее видах.

Важнее отметить, что интерпретация при всем разнообразии ее методов не может, однако, заменить критику и что полное и надежное понимание источника достигается лишь в связи с его критикой. В том случае, например, когда источник подвергся позднему искажению, можно вполне понять его, лишь предварительно обратившись к критике поправок или состава источника; выясняя, что именно автор хотел выразить, правду или ложь, нужно также знать, отличается источник достоверностью или недостоверностью и т. п. В таких случаях интерпретация, конечно, пользуется критикой источника для своих целей; но лишь признавая самостоятельное значение ее задач, историк

¹⁴⁹ *Elster E. Prinzipien der Literaturwissenschaft. Bd. II. Halle a. S., 1911. S. 139–147; об отличии символа от аллегии, имеющей, впрочем, кое-что общее с символом, см. там же. S. 147–154.*

может достигнуть надлежащей благонадежности своих выводов: ведь интерпретация стремится установить только то именно значение источника, которое автор придавал ему, а не то, какое источник действительно имеет для познания исторического факта, сведения о котором черпаются из источника: она дает возможность, например, одинаково войти в мировоззрение или отдельное показание данного автора, будет оно истинным или ложным, и предоставляет критике решить вопрос, можно ли воспользоваться таким пониманием для построения той именно действительности, которая имеет историческое значение.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ИСТОРИЧЕСКАЯ КРИТИКА ИСТОЧНИКОВ

Общее учение о критике при всем его значении до сих пор еще не получило систематической обработки и законченного построения: оно часто сводится к собранию технических правил, нужных для того, чтобы различать ценное от неценного, годное от негодного и т. п.

Впрочем, в связи с таким учением и историческая критика давно уже стала привлекать внимание филологов и историков. В древности, например, греческие и римские писатели интересовались правилами литературной критики и касались их, главным образом, в связи с рассуждениями об ораторском искусстве¹⁵⁰. В Средние века ученые Отцы Церкви

¹⁵⁰ *Scaliger J. De arte critica diatriba ex Musaeo J. Morsi, Lugduni Batavorum, 1619. P. 6, 7; «criticae principes, — по словам Скалигера, — apud Graecos sunt Aristophanes, Crates, Aristarchus, Callimachus...; apud Latinos nobilissimi critici sunt: Varro, Santra, Sisenna...».* В числе писателей древности, затрагивавших в своих рассуждениях о поэтике или о риторике кое-какие правила литературной критики, можно упомянуть Аристотеля и позднейшего ритора и критика, писавшего, вероятно, не без его влияния, Лонгина, с его любопытным учением «περί ύφους», если только оно действительно принадлежит ему (III в. по Р. X.); далее Дионисий Галикарнасский занялся оценкой греческих историков; он высоко ценил Геродота и враждебно относился к Фукидиду; Квинтилиан, стоявший в некоторой зависимости от Дионисия Галикарнасского, полнее других касался того же предмета: в десятой книге своего известного труда он дает обзор и оценку классических писателей; см.: *Quintiliani M. F. Institutiones oratoriae libri XII, ed. Lud. Radermacher. Lpz., 1907 и след.* Тацит, современник Квинтилиана и, по всей вероятности, автор известного диалога об ораторах («dialogus de claris oratoribus»), по словам новейшего его биографа, дал в нем «один из лучших трактатов по критике, какие остались нам от классической древности»; он, между прочим, указывал на социальные условия возникновения великих

придавали некоторую цену критике, главным образом, в качестве средства для установления текста Священного Писания (вulgаты и проч.); но со времени Возрождения гуманисты снова и с новой силой распространили ее на произведения классической литературы, а иногда пользовались историко-критическим методом и в его приложении к другим историческим исследованиям; вместе с тем они содействовали высвобождению критики из-под опеки Римской церкви и даже стали критиковать некоторые из ее традиций, например известное предание о «даре Константина Великого», «Псевдоисидоровы декреталии» и т. п.¹⁵¹

В настоящее время многие продолжают придавать учению об исторической критике даже чрезмерное значение; они готовы свести чуть ли не

произведений литературы и ораторского искусства; см.: *Boissier G.* Tacite. P. 6, 56. См. вообще *Egger E.* Essai sur l'histoire de la critique chez les Grecs, 1 éd. Par., 1849; 3 éd. 1887; книга начинается довольно смелыми предположениями касательно древнейшего времени и возникла из лекций, читанных автором в Сорбонне, в связи с истолкованием «Поэтики» Аристотеля, что и отразилось на задаче и плане сочинения; недавно Сэнтсбери попытался дать «историю критицизма или измененной риторики», т. е. «попыток путем рассмотрения произведений литературы выяснить, что именно делает литературу приятной»; хотя сочинение лишено единства и руководящей философско-эстетической точки зрения, но содержит много сведений по истории литературной критики, начиная с классической древности и кончая прошлым веком; см.: *Saintsbury G.* A history of criticism and literary taste in Europe, 3 vv., Ed. and Ld., 1900–1904.

¹⁵¹ *Lasch B.* Das Erwachen und die Entwicklung der historischen Kritik im Mittelalter (vom VI–XII Jahrh.), Breslau, 1887. В числе гуманистов, занимавшихся критикой или пытавшихся сообразовываться с ее правилами в своих исторических и других работах, достаточно припомнить имена Петрарки, Лоренцо Валла, Флавия Биондо, Дезидерия Эразма, Ришара Симона и проч.; можно также указать и на трактаты, в которых, например, Робортелло, Лапепелиньер и другие излагали правила критического издания текстов и «обязанности историка»; из позднейших трактатов подобного рода см. хотя бы сочинение Шоппе: *Scioppii G.* De arte critica et praecipue de altera ejus parte emendatrice, quatenus ratio in latinis scriptoribus ex ingenio emendandis observari debeat; commentariolus. Nürenberg, 1597; есть и другие издания; книга содержит выписки некоторых правил касательно критики, преподаваемых Мерулой, Фрутерием, Скалигером, Липсием и другими, и главным образом, наставления и примеры касательно исправления испорченных текстов. См. еще о заслугах Мабильона и др. (*Mabillon J.* De re diplomatica, 1681) в соч. *Rosenmund R.* Die Fortschritte der Diplomatik seit Mabillon. München und. Lpz., 1897. S. 15–21; о развитии критики в XVIII в. — сочинение Везендонка, указанное выше, на с. 27 и с. 279–280.

всю методологию источниковедения к такому учению или отводят в нем лишь подчиненное место интерпретации: в одном из новейших руководств, посвященных изложению методов исторической работы, например, интерпретация называется «истолковательной критикой»¹⁵².

Нельзя, однако, ни сливать понятия о методологии источниковедения с понятием о критике, ни смешивать интерпретацию с критикой; последняя преследует свою самостоятельную познавательную цель, которую и надо принимать во внимание при выяснении общего понятия о критике; но филологи и историки, занимавшиеся изложением учения о ней или применением ее к исследованию самых разнообразных источников, сравнительно мало обращали внимания на общее понятие о критике, хотя много содействовали ее развитию и преимущественно разрабатывали технические приложения ее принципов к данному роду материалов. Ввиду такого пробела я и попытаюсь прежде всего установить общее понятие о критике, а затем уже перейду к изложению главнейших принципов и методов критического рассмотрения источников, слагающихся в зависимости от того, каковы познавательная цель и объекты такого рассмотрения.

§1. *Общее понятие об исторической критике и главнейших ее разновидностях*

Понятие о критике вообще гораздо шире того значения, какое обыкновенно придается ему в исторической методологии источниковедения¹⁵³.

¹⁵² См. выше, с. 48, 279, 283. Вообще, кроме сочинений, указанных на с. 279–285 и др., а также статьи А. Кюенева (*Kuenen A. Die kritische Methode*, 1880 г., в его *Gesammelte Abhandlungen zur Biblischen Wissenschaft*, übersetzt von K. Budde, Fr. in B. und Lpz., 1894. S. 3–46) много ценных указаний по части критики источников письменных можно найти и в более специальных исследованиях и изданиях: припомним работы Эрнести, Михаелиса, Шлейермахера, Баура, Штрауса, Ренана, Кюнена, Ревилля, Веллгаузена и других, над текстами Священного Писания; работы Гутшмида и других над источниками, касающимися востоковедения и классической древности; работы Бенгли Лахманна, Гаупта, Ритчля, Беккера, Мадвига, Джебба и других над произведениями классических авторов; работы Шлецера, Нибура, Моммзена, Деллингера, Шеффера-Буахорста и других над летописями и многими другими историческими преданиями; наконец, работы Лахмана, Бенеке, Делиуса, Малля, Кельбинга, Зупитцы, Шаля, Мезьера, Сент-Бёва, Тэна и других над произведениями литератур германских и романских народов и т. п.

¹⁵³ *Wundt W. Logik*. Bd. III. S. 109–124; ср. S. 317–321, 373–380. Широко понимая «критику» как один из методов «наук о духе», Вундт слишком мало различает, одна-

В широком теоретико-познавательном смысле всякое суждение, устанавливающее некоторую ценность того, о чем субъект судит, можно назвать критическим; под критикою я буду разумеать, однако, только теоретическое отнесение данного объекта к общезначимой ценности, а не чисто утилитарную или произвольно-субъективную его оценку.

С такой точки зрения можно различать критики научную, моральную и эстетическую, смотря по тому, относит субъект изучаемый им объект к научной, моральной или эстетической ценности, т. е. будет он судить о нем с точки зрения истины, добра или красоты.

Понятие о научной критике, устанавливающей ценность данного объекта с точки зрения истины, всего более, конечно, подходит и к понятию об исторической критике: и она устанавливает научную ценность источника. Ввиду такой ее цели легко отличить историческую критику от моральной или от эстетической критики, иногда называемой литературной.

Впрочем, историк пользуется и остальными видами критического рассмотрения, но только он придает им подчиненное значение: задаваясь целью установить научную ценность изучаемого им объекта, он может, конечно, ввиду главной цели обсуждать, например, насколько автор данного источника считал своей нравственной обязанностью придерживаться истины или в какой мере он сумел достигнуть художественного ее воспроизведения; но в таких случаях он, очевидно, интересуется не собственно моральной или художественною ценностью его идей, а тем значением, которое они имеют для научно-исторической оценки источника, т. е. для выяснения подлинности или неподлинности его происхождения, достоверности или недостоверности его показаний и т. п.

Предлагаемое понятие о научной критике, однако, все еще слишком широко для того, чтобы остановиться на нем при определении исторической критики: научная критика может ценить данный объект и с точки зрения «абсолютной» истины, и с точки зрения истины «фактической»; историческая критика пользуется, конечно, отнесением к «абсолютной» истине, но для того чтобы установить ценность источника в его отношении к фактической истине; с последней точки зрения, она, в сущности, и выясняет ценность данного объекта — источника¹⁵⁴.

ко, теоретико-познавательную точку зрения от генетической и упускает из виду отнесение к фактической ценности, благодаря чему едва ли дает достаточно ясное понятие об исторической критике; ср. ниже, с. 405. Дальнейшие литературные указания см. выше, особенно на с. 45 и след., 279 и след.

¹⁵⁴ Понятие об исторической критике как отнесение данного источника к факти-

В самом деле, если припомнить основную задачу методологии источниковедения, то нетрудно будет построить и наиболее общее понятие об исторической критике в только что указанном смысле. Методология источниковедения стремится выяснить критерии, на основании которых историк может утверждать действительное существование того факта, которым он интересуется; но историческая критика преследует такую задачу с иной точки зрения, чем интерпретация: историк-критик входит в оценку научного значения источника, поскольку на основании сообщаемых им данных он получает право утверждать, что этот факт действительно был, вместо того чтобы, подобно историку-истолкователю, стремиться только понять, какой именно факт мог бы быть восстановлен на основании данного источника. Историческая критика, значит, определяет научную ценность источника для построения действительности, что она и может сделать только путем отнесения его к научной ценности, называемой «фактической» истиной; с такой точки зрения историк стремится установить, в какой мере данный источник может служить для познания действительности, а не только желает уразуметь его содержание.

Вышеустановленное понятие получает дальнейшую квалификацию, если принять во внимание, что главная задача историка — научно

ческой истине можно вскрыть и в прежних определениях ее задач, но без достаточно ясного выделения, с теоретико-познавательной точки зрения, основной из них. Шлейермахер полагал, например, что «die Aufgabe der historischen Kritik ist... die, aus Relationen die Tatsachen zu construiren, also zu bestimmen, wie sich die Relationen die Tatsachen zu construiren, also zu bestimmen, wie sich die Relation zur Tatsache verhalte»; см.: *Schleiermacher F. Herm. und Kr. S. 266, 271*. Бёк в отделе «Исторической критики» указывал на тройную ее задачу: «Доказать, соответствует данный памятник исторической истине или нет, в случае если он не соответствует, подыскать, что было бы более подходящим (das Angemessenere) и что окazyвается первоначальным»; см.: *Boeckh A. Encyklopaedie. S. 207*. Бернгейм замечает, что «[положительная] задача критики состоит в том, чтобы установить фактичность («die Tatsächlichkeit») данных, сообщаемых источниками, а тем самым и отмеченные в них события или решить, с какою степенью вероятности их можно признать фактическими»; и что отрицательная задача критики, соответственно, сводится к тому, чтобы установить, какие данные «не имеют фактического значения». В предлагаемом им определении Бернгейм, помимо вышеуказанного общего пробела, едва ли достаточно ясно различает познание действительности от эмпирических данных, служащих для ее познания, и слишком мало принимает во внимание понятие об исторической ценности; см.: *Bernheim E. Lehrbuch. Kap. IV. S. 324, 324–325*. Ср. еще выше, с. 149 и след. и ниже, § 3.

познать ту действительность, которая называется «исторической»; в таком именно смысле можно говорить об исторической ценности источника, т. е. о ценности его для исторической науки, поскольку она стремится научно построить историческую действительность.

На основании вышеприведенных рассуждений можно придти к заключению, что историческая критика устанавливает научно-историческую ценность источников.

Общее понятие о критике нельзя, конечно, смешивать с ее психогенезисом: вообще она возникает под влиянием сомнения в ценности того, что интересует критика. Следовательно, можно сказать, что историческая критика источника появляется при сомнении в исторической ценности или фактическом значении источника для научного построения исторической действительности: историк, не устранивший своего сомнения путем внимательной интерпретации источника, стремится выйти из него, установив посредством критики положительное или отрицательное значение данного источника для такой именно цели¹⁵⁵. Сомнение подобного рода может быть вызвано самыми разнообразными обстоятельствами: историк испытывает, например, потребность в критике источника, когда он не получает цельного впечатления от него; когда он замечает более или менее резкие отклонения от общепринятых или свойственных данному автору и уже известных его мыслей и форм изображения или речи; когда он усматривает действительные противоречия между его показаниями или заметную их односторонность; когда он вскрывает его тенденциозность или пристрастие; когда он наталкивается на разногласие между показанием данного источника и показаниями других источников, которое, в случае, когда последние заслуживают доверия, может привести к обнаружению ошибок и заблуждений автора источника, его тенденциозности или пристрастия; когда он не располагает достаточно надежными известиями о его происхождении, узнает о полемике или научных спорах, связанных с его появлением или дальнейшим исследованием и т. п.

Следует заметить, однако, что в той мере, в какой критика вообще выводит исследователя из сомнения, она имеет положительное зна-

¹⁵⁵ *Wundt W. Logik. Bd. III. S. 113*; автор говорит о «сомнении в содержании и ценности изучаемого предмета», но можно сомневаться и в подлинности источника, а самый факт его существования и содержания тоже могут представлять «ценность» для историка, только не ту, которую понимает автор, говоря об оценке человеческих «мотивов и действий», см. *S. 118*. Частные замечания и примеры см. у *Blass F. Op. cit., Kr., §1, 16–18 (S. 249–251, 274–277)*.

чение для познания; то же можно, разумеется, сказать и об исторической критике: благодаря ей историк может не только отвергнуть одно из борющихся между собою предположений, но принять другое, выводящее его из его исторического скепсиса, все равно, приведет оно к положительной или к отрицательной оценке источника; в последнем случае такое отрицание удержит его в пределах его основной задачи, не дозволив ему смешивать фикцию с исторической действительностью, к построению которой он стремится.

Всякая критика (а значит, и историческая) предполагает наличие критерия, в силу которого нечто признается ценным. В научно-исторической критике следует, конечно, принять истину (в особенности «фактическую») за такой критерий; но прилагая тот же термин и к более частному основанию, в силу которого источник оказывается ценным в каком-либо научно-историческом отношении, можно называть критерием и тот более или менее общий признак, при наличии которого историк считает себя вправе высказывать какое-либо более частное суждение о научно-историческом значении данного источника. В таком смысле можно рассуждать о критериях научно-исторической ценности источника, т. е. о критериях его подлинности или неподлинности, достоверности или недостоверности и т. п., и даже устанавливать хотя бы несколько критериев, более или менее связанных между собою и служащих рациональным основанием для признания источника ценным в каком-либо научно-историческом отношении, т. е. для признания его подлинным или неподлинным, достоверным или недостоверным.

Вообще метод такого историко-критического разбора можно назвать дедуктивным в той мере, в какой он состоит в отнесении источника к общезначимой истине и в установлении того отношения, какое обнаруживается между данным продуктом творчества и той группой, к которой он принадлежит; но нельзя не заметить и приемов индукции в том преимущественно сравнительном методе, которым исследователь пользуется для установления реальных соотношений подобного рода; впрочем, собственно исторический характер такого разбора обнаруживается, главным образом, в изучении фактического значения источника и его индивидуальных особенностей¹⁵⁶.

¹⁵⁶ Ученые, размышлявшие над задачами критики, даже сводили понятие о ней или о ее цели к «сравнению» источника с «идеями», а также к рассмотрению «единичного в его отношении к единичному» или же к изучению «отношения», в каком источник находится к индивидуальности автора или к «окружающей среде», приводящему к установлению соответствия или несоответствия между

Дальнейшее выяснение понятия об исторической критике, о ее принципах и методах можно поставить в связь с определением главных ее разновидностей.

С точки зрения различия в тех познавательных целях, какие критика преследует, можно различать и несколько ее разновидностей; но в современной литературе только что указанные принципы деления все еще слишком мало отличаются от различия в общем содержании тех объектов (источников), к которым она прилагается, что отражается и на терминологии подобного рода делений: она также часто колеблется¹⁵⁷.

Вообще, приступая к установлению разновидностей исторической критики в зависимости от ее познавательных целей, следует иметь в виду, что источник может иметь научно-историческую ценность в двойном смысле: в качестве исторического факта или в качестве показания об историческом факте¹⁵⁸. С такой точки зрения, можно различать и два рода критики: критику, устанавливающую научно-историческую ценность источника как факта, и критику, устанавливающую научно-историческую ценность показаний источника о факте.

«сравнимаемыми предметами»; см.: *Schleiermacher F. Herm. und Kr. S. 266, 269–270; Boeckh A. Encyklopaedie. S. 77, 170.*

¹⁵⁷ Разные ученые различно делят критику. Вышеуказанное деление Шлейермахера (с. 360) было уже отклонено Бёком, делившим критику так же, как и герменевтику, на «грамматическую, историческую, индивидуальную и родовую (*generische*)» (S. 170); но деление Бёка в свою очередь было оставлено Блассом: уклоняясь и от схемы, предложенной Урлихсом и тоже слишком случайной, сам Бласс, однако, скорее указывает на стадии, через которые проходит критическая работа «классика», чем на главнейшие разновидности критического рассмотрения (Einl., § 2. S. 251–252). В настоящее время мыслители и ученые большею частью принимают деление критики на: *a*) критику филологическую и историческую (отчасти Шлейермахер, Вундт); *b*) на «критику подлинности» и «критику правильности» (показаний) источника, впрочем, не устанавливаемых с достаточной ясностью в качестве основных разновидностей критики (ср. *Droysen C. Grundriss, § 29–32: «Kritik der Aechtheit», «Kritik des Früheren und Späteren», «Kritik des Richtigen»*); *c*) на критику «низшую и высшую» (Шлецер, Дройзен и мн. др.); *d*) на критику «внешнюю и внутреннюю» (Бернгейм и др.); *e*) на «критику текста» и «критику показаний» (Пауль и др.) и т. п. При установлении таких делений, кажется, или слишком мало принимают во внимание основное различие историко-познавательных задач, преследуемых при изучении источника (*a, b, c*), или различают виды критики скорее по объектам ее исследования (*d, e*).

¹⁵⁸ См. выше, с. 257, 286.

В самом деле, нельзя пользоваться данным источником для исторических целей, не выяснив, действительно ли он есть тот самый исторический факт, каковым он представляется наблюдателю. Для того, однако, чтобы иметь основание утверждать нечто подобное, надо быть уверенным в том, что источник действительно возник и сохранился в том именно виде, в каком он представляется историку, а для достижения такой уверенности последний и обращается к критическому рассмотрению источника как факта: он выясняет, действительно данный источник существовал или он подделан; действительно он возник в такое-то время и в таком-то месте, благодаря такому-то автору (в широком или узком смысле слова) или же он принадлежит не тому автору, которому, казалось, он мог быть приписан, и оказывается неподлинным; должен он быть признан копией или более или менее искусной подделкой и т. п.

Вообразим, что подлинность данного источника доказана; но достаточно ли признания источника подлинным для того, чтобы пользоваться им для построения исторической действительности? Ведь в силу понятия об источнике, установленном выше, он не есть тот факт, из-за знания которого он изучается: в самом благоприятном смысле источник может оказаться только более или менее значительным остатком изучаемого факта, по которому можно сделать более или менее вероятное заключение о последнем; в менее благоприятном смысле он только одно из последствий изучаемого факта, результат его влияния на сознание автора, повествующего о нем в данном источнике. Следовательно, не всякий подлинный источник может служить для восстановления исторической действительности; для того, чтобы признать факт, сведения о котором черпаются из показаний источника, действительно бывшего, историк должен подвергнуть критике не только самый факт существования этого источника, но и его показания о том факте, который его интересует. Лишь в той мере, в какой показания источника отличаются достоверностью, он может служить для познания исторической действительности; пользуясь достоверными показаниями и отбрасывая недостоверные, историк может построить действительно бывший исторический факт.

Вышеуказанное различие между критикой источника как факта и критикой показаний источника о факте может вызвать некоторое сомнение. В том случае, например, когда речь идет об одном и том же факте существования источника, т. е. когда источник сам дает показание о факте собственного своего существования, трудно, казалось бы, различить критику источника как факта от критики его показания о факте; но факт существования источника все же нельзя

смешивать с его показанием о факте собственного своего существования; последнее можно рассматривать или как факт дачи показания или как более или менее явно высказываемое экзистенциальное суждение о факте существования источника со стороны того, кто дает показание о факте, интересующем историка; если иметь в виду факт дачи показания, то и критиковать его придется в духе критики источника (в данном случае отождествляемого с показанием) как факта; если же обращать внимание не на факт дачи показания, а на показание хотя бы о том же факте его подачи, то и критиковать его нужно будет в духе критики показаний источника о факте.

Таким образом, с познавательной точки зрения, можно различать два рода исторической критики: критику, устанавливающую научно-историческую ценность источника как факта, и критику, устанавливающую научно-историческую ценность показаний источника о факте¹⁵⁹.

Впрочем, легко заметить, что историк может комбинировать оба вида критики: он, конечно, признает действительное существование того, кто дает показание, а значит, и самого показания о факте, что в сущности предполагает в случае нужды критику источника (показания) как факта; вместе с тем для критики источника как факта он может пользоваться и критикой показаний об этом факте.

Вышеуказанные разновидности критики получают, однако, различное применение в зависимости от различия ее объектов; но здесь достаточно указать только на те из них, которые получаются, если

¹⁵⁹ В тексте я уже выяснил значение принимаемого деления; оно выражено и в предлагаемой мною терминологии; впрочем, можно сказать, что это деление по содержанию своих частей в известной мере совпадает с вышеприведенными делениями критики на «филологическую» и «историческую», на «внешнюю» и «внутреннюю» и т. п. Деление критики на «критику подлинности» и «критику достоверности» источника, пожалуй, ближе остальных подходит и к принятой мною группировке, но я предпочитаю придерживаться иной терминологии по следующим соображениям: только что приведенные термины недостаточно ясно выражают основную задачу методологии источниковедения в применении ее к критике, да и не обнаруживают главного принципа деления; далее, они связаны с старинным их пониманием, не вполне соответствующим тому, какого я придерживаюсь; наконец, они едва ли правильны и в стилистическом отношении: критиковать «подлинный» или «достоверный» источник, конечно, излишне; вместе с тем «критика подлинности» или «достоверности» источника должна иметь в виду и его неподлинность или недостоверность, а также их различные степени и т. п., о чем см. ниже.

принять во внимание деление объектов критики, т. е. источников, на изображающие и обозначающие, на остатки культуры и исторические предания.

Вообще можно сказать, что критика в меньшей мере прилагается к источнику изображающему, чем к источнику обозначающему; личное творчество в большей мере связано данными условиями — материалом, техникой и т. п. в источнике изображающем, чем в источнике обозначающем; значит, автор источника легче может обнаружить свой субъективизм в источнике обозначающем, символы которого легче связываются с гораздо большим числом подразумеваемых представлений и оказываются гораздо более гибкими и условными знаками, пригодными для выражения настроений автора. Следовательно, вообще источник изображающий в меньшей мере нуждается в критике, чем обозначающий источник.

В дальнейших рассуждениях важнее, однако, иметь в виду деление источников на остатки культуры и на исторические предания; из самого понятия о них следует, что вышеуказанные виды критики в разной степени приложимы к ним. Остатки культуры могут, конечно, оказаться или подлинными, или неподлинными, но если подлинность или неподлинность их доказана, то и задача критики их, в сущности, исчерпана. В самом деле, между существованием одного и того же факта и его несуществованием нет и не может быть посредствующих степеней. Но остаток культуры или есть остаток некоего факта, имеющего значение более крупное, чем его собственное, и в таком смысле тоже факт; или не есть его остаток и в таком смысле не может быть этим фактом. Значит, если подлинность или неподлинность данного остатка культуры доказана, достоверность или недостоверность его в качестве остатка культуры не подлежит дальнейшему обсуждению. Самое понятие о достоверности или недостоверности прилагается не к фактам, а только к нашему знанию о них; значит, оно применимо лишь к тому источнику, который рассматривается не как факт, поскольку он оказывается остатком исторического факта, а как чужое знание или показание о нем, т. е. к историческому преданию; даже ложное известие есть объективно существующий по отношению к историку факт, но, конечно, лишь в смысле действительно бывшего состояния сознания того, кто сообщает известие, а не в смысле действительного существования того факта, о котором он сообщает; историческое предание, напротив, может оказаться подлинным в только что указанном смысле и, тем не менее, не обладать достоверностью своих показаний; или быть неподлинным и, тем не менее, содержать кое-какие достоверные известия. Титул, указывающий на принадлежность

данного произведения некоему автору, например, может быть подлинным в том смысле, что он действительно написан сочинителем, но может оказаться и недостоверным, если приписывает сочинение данного произведения какому-либо известному автору, неповинному, однако, в его составлении; или обратно — титул может оказаться неподлинным и, тем не менее, содержать достоверное показание об имени автора, который создал изучаемое произведение и т. п.

Впрочем, следует иметь в виду, что вышеуказанное ограничение относится лишь к тем остаткам культуры, которые строго подходят под чистое понятие о них, а не к тем реально данным продуктам, которые часто обнаруживают смешанные признаки и остатка культуры, и исторического предания; реально данный источник, будучи преимущественно остатком культуры, может, однако, содержать показания о факте: предмет древности, например, иногда снабжен надписью, свидетельствующей об авторе или о правителе, при котором он сделан, и т. п., но с такой точки зрения, и предмет древности подлежит критике его показаний о факте существования данного автора, правителя и т. п.; старинные документы часто содержат немало показаний, даже заимствованных из исторических преданий, и с такой точки зрения, разумеется, подлежат такой же критике, какая применяется и к показаниям, заключающимся в исторических преданиях¹⁶⁰.

Итак, критика, устанавливающая научно-историческую ценность источника как факта, приложима и к остаткам культуры, и к историческим преданиям; критика же научной ценности показаний источника о факте, в сущности, применяется только к историческим преданиям; такое различие не исключает, однако, возможности пользоваться обоими видами для исторической критики конкретно данного источника более или менее смешанного характера.

В зависимости от различия в познавательных целях, с точки зрения которых разновидности исторической критики устанавливаются, общие принципы и методы в каждой из них, конечно, получают соответствующие оттенки и осложнения, которые будут рассмотрены ниже.

Против подробного их рассмотрения, однако, можно было бы сделать возражение, аналогичное с тем, какое уже подвергалось обсуждению в отделе интерпретации; в связи с «чутьем», которое развивается у историка-толкователя и которое, казалось бы, избавляет нас от выяснения методов интерпретации, стоит и аналогичное с ним «чутье» историка-критика: историк, хорошо знакомый с данной культурой, вырабатывает в себе особого рода критическое «чутье»; он

¹⁶⁰ См. выше, с. 300–301.

непосредственно принимает то, что, казалось бы, требовало утомительных доказательств, и сомневается в том, что, казалось бы, не нуждается ни в каких доказательствах¹⁶¹. Такое постижение не может, однако, заменить систематическое рассмотрение основных положений исторической критики вообще, да и главнейших ее разновидностей. Посильно выясняя их задачи, я буду иметь в виду главным образом те принципы, которыми историк пользуется при приложении критики в каждой из указанных разновидностей к изучению объективно данных ему источников, а также главнейшие ее методы, и менее буду останавливаться на изложении тех ее технических приемов, которые легче усмотреть из специальных научных исследований, посвященных обработке данного рода источников, или усвоить на практике¹⁶².

§2. Критика, устанавливающая научно-историческую ценность источника как факта

Вообще, можно сказать, что критика источника как факта прежде всего выясняет, следует признать данный продукт существующим или мнимым источником; иными словами говоря, должно считать его действительным или поддельным.

В рассуждениях подобного рода, однако, понятие о действительном источнике оказывается довольно широким: легко подвести под него не только подлинный, но и неподлинный источник; каждый из них может служить для познания той исторической действительности, частью которой он представляется. Только подлинный источник оказывается прямым, а неподлинный источник — косвенным сред-

¹⁶¹ Boeckh A. Encyklopaedie. S. 174, 176–177, 184, 186. В связи с таким чутьем можно поставить и так называемую «divinatorische Kritik».

¹⁶² Лучший свод правил исторической критики см. в соч. E. Bernheim'a Lehrbuch. Кар. IV. Автор упустил, однако, из виду главнейшие общие критерии историко-критического рассмотрения, что отразилось и на общем построении всего его учения о критике; оно носит характер весьма обстоятельного свода правил и сведений преимущественно о технических приемах историко-критического исследования с массой хорошо подобранных примеров; он также чуть ли не смешивает понятие о неподлинном источнике с понятием об источнике поддельном или понятие о его подделке с понятием о его недостоверности или лживости, разумеется, устанавливаемых при помощи той критики, которую он называет «внутренней»; см., например, с. 273, 276, 277, 278, 286. В нижеследующем изложении я пользуюсь некоторыми из примеров, приводимых автором, не считая нужным каждый раз ссылаться на его монументальный труд.

ством для достижения такой цели: ведь и неподлинный источник, не будучи тем именно источником, которым он представляется, все же признается действительно существующим как источник и, напротив, отличается от поддельного «источника», который не считается таковым для той культуры, к которой он будто бы относится и реальное существование которого, в сущности, принимается лишь в качестве факта подделки; следовательно, неподлинный источник, более или менее отражающий в себе подлинный, все же может косвенно служить для познания той культуры, которую нельзя познать из поддельного продукта, хотя бы последний и мог пригодиться для характеристики той культуры, в которой он действительно возник¹⁶³.

Ввиду того, что действительные источники составляют главный исторический материал и что без понятия о действительном источнике нельзя говорить и о более или менее случайной подделке источника, возникающей и обнаруживаемой лишь при некотором знакомстве с действительно данным историческим источником, критика источника как факта выясняет преимущественно те принципы и методы, при помощи которых историк изучает действительные источники; но она обращает внимание и на те дополнительные соображения и приемы, благодаря которым историк признает доступный ему материал поддельным, источникомобразным продуктом.

Нельзя утверждать, однако, что данный материал есть действительный источник, без всякого основания: оно состоит в том, что мы можем отнести свое представление об источнике как таковом к истине, в особенности к фактической истине, благодаря чему источник и представляется нам данным в действительности; смотря по тому, однако, к какой именно фактической истине историк относит источник, он и придает самому факту его существования разное значение: он различает подлинный источник от неподлинного.

Понятие о подлинности источника можно формулировать следующим образом: если историк имеет основание утверждать, что действительный источник есть тот самый факт, каким этот источник пред-

¹⁶³ Впрочем, если различать термины «не подлинный» и «неподлинный», можно было бы называть «не подлинными» источники, подлинность которых отрицается, но положительное содержание которых еще не предreshается, и значит, применять тот же термин для обозначения и неподлинных, и «поддельных источников»; но во избежание смешения понятий и принимая во внимание некоторые характерные признаки последнего рода источников, их все же пришлось бы выделить в особую группу и сохранить за ними наименование «поддельных».

ставляется ему, он и признает его подлинным. В самом деле, утверждая, что источник есть действительно тот самый факт, каковым этот источник представляется ему, историк признает, что автор его есть действительно то самое лицо (единичное или коллективное), которым он представляется; что этот источник действительно возник в то время и в том месте, которые в нем означены; что этот источник действительно сохранил ту самую форму и то самое содержание, какие он получил при своем появлении; что этот источник действительно имел то самое значение, какое он сам себе приписывает, хотя бы, например, значение оригинала, а не копии. На основании таких суждений историк и приходит к заключению, что данный источник подлинный.

Соответственно с понятием о подлинности источника можно формулировать и понятие о его неподлинности: если историк имеет основание утверждать, что действительный источник есть другой факт, а не тот самый, каким этот источник представляется ему, он и признает его неподлинным. С такой точки зрения историк называет неподлинным, например, произведение, которое принадлежит не тому автору, творчеству которого оно приписывается, или возникло не в том месте и не в то время, к которым оно будто бы относится, или имеет не то значение, какое будто бы ему придается, хотя бы оно косвенно и могло более или менее служить для познания исторической действительности.

Вообще-то рациональное основание, в силу которого историк признает данный ему источник подлинным или неподлинным, помимо общего значения, уже указанного выше, может иметь и более частные: каждое из них дает особый критерий. В числе главнейших из таких критериев можно отметить понятие о единстве или разъединенности сознания, с точки зрения которого источник рассматривается, а также понятия о его соответствии или несоответствии с той культурой и той индивидуальностью, к которой он относится. Рассмотрим каждый из указанных критериев в отдельности в их применении к установлению подлинности или неподлинности источника.

Критерий единства сознания можно формулировать следующим образом. Постоянно испытывая систематическое единство своего собственного сознания, историк с той же точки зрения подходит и к источнику как продукту чужого сознания; если он с такой точки зрения может включить в систематическое единство своего собственного сознания свои представления об источнике как о едином целом, он не сомневается и в единстве чужого сознания или субъекта, породившего источник, а значит, получает основание и для признания его подлин-

ности; он пользуется принципом единства своего собственного сознания для того, чтобы в качестве предпосылки исходить и из понятия об единстве того чужого сознания, которое запечатлелось в изучаемом им источнике; если историк считает себя вправе утверждать, что это единство обнаружилось в данном источнике, т. е. что один и тот же субъект произвел его, он и получает некоторое основание признавать подлинность его продукта — источника.

Такое суждение, разумеется, можно высказать и о единичном, и о коллективном лице, творчеству которого данный источник приписывается. В самом деле, можно применять его даже в том случае, когда произведения собирательного лица или учреждения состоят из групп, каждая из которых представляет совокупность копий, снятых с одного и того же образца; можно называть «подлинными» не только образцы, но снятые с них копии в том смысле, что они действительно вышли из того учреждения, за фабрикаты которого они выдаются; в таком смысле историк говорит, например, о подлинности танагрской статуэтки или о подлинности эльзевировского издания.

Нельзя, однако, сказать, что источник, составление которого историк фактически не может приписать определенному лицу, единичному или коллективному, тем самым теряет значение подлинника: при наличии единства его элементов (и при отсутствии других поводов к сомнениям) он все же может признать его подлинным, хотя и анонимным; он не отрицает того, что автор источника, например, составитель известной древнейшей венгерской хроники, действительно существовал и т. п.; он только не знает его имени.

Итак, в качестве критерия для признания подлинности источника естественно пользоваться понятием о единстве того сознания или индивидуального творчества, которое запечатлелось в нем. Впрочем, можно судить о единстве сознания субъекта не только по логической согласованности мыслей, но по единству его цели и по единству ее исполнения в источнике.

В самом деле, единство произведения становится иногда заметным скорее с точки зрения той цели, ввиду которой автор создал его, чем в координированности содержащихся в нем частей. Можно указать на источники, подлинность которых не вызывает сомнений, несмотря на диспаратное их содержание. Судя по современному известию, например, фамилия де-Круа обладает старинной картиной, прославляющей древность их рода; она изображает всемирный потоп: «вода быстро возвышается, Ноев ковчег уже плывет, и тонущие члены семейства де-Круа, едва поддерживаясь на воде, перебрасывают свои грамоты и гербы в руки молодой невестки Ноя, урожденной девицы

де-Круа»; ввиду указанной цели картина де-Круа все же получает некоторое единство, свидетельствующее в пользу ее подлинности как остатка культуры. С такой же телеологической точки зрения, и другие источники, например фантастическая генеалогия московских царей, производивших Рюрика от Пруса, брата, «единоначальствующего на земле римского кесаря Августа», признаются подлинными¹⁶⁴.

Впрочем, единство данного произведения может обнаруживаться и в единстве его исполнения. Последнее состоит главным образом в его стиле; выдержанность стиля источника производит впечатление цельности, которая связывается с представлением о его подлинности. С такой точки зрения можно подыскать, например, новое основание для того, чтобы признать скульптурные изображения на восточном фронте Парфенона подлинными произведениями Фидия или диалог, известный под названием «Фэдон», — подлинным сочинением Платона.

Понятие о единстве сознания субъекта находится в тесной связи и с понятием о его непрерывности, а последнее понятие лежит в основе того критического рассмотрения, путем которого историк на основании предварительного своего знакомства с произведениями данного автора приходит к заключению, что он может и изучаемый им источник приписать творчеству того же автора. Ясно, что исследователь не имел бы основания сделать такой вывод, если бы он не исходил из понятия о том, что в силу непрерывности своего сознания данный автор обнаружил тождественные или весьма сходные черты творчества в целом ряде своих произведений, благодаря чему, усматривая такие же черты в новом произведении, историк признает его продуктом того же самого автора. Прием подобного рода часто употребляется, например, в тех случаях, когда историк приписывает известному автору данное произведение на основании его сходства с другими произведениями, несомненно принадлежащими тому же автору; или в том случае, когда он замечает, что сам автор в другом месте ссылается на данное произведение как на свое, и не имеет достаточных оснований сомневаться в его подлинности. Благодаря вышеуказанным признакам историк приходит к заключению, например, что «Афинская полития», текст которой был найден на оборотной стороне одного папируса, — известное произведение Аристотеля, одна из тех его «политий», материал для которых он подбирал в связи с сочинением своей «Политики».

¹⁶⁴ Голубев С. Описание и истолкование дворянских гербов южнорусских фамилий в произведениях духовных писателей XVII в., см. Труды Киев. дух. акад. 1872 г. Т. III. С. 304–307, 345–346 ср. ib. 1884 г., № 3. С. 441; П. С. Р. Л. Т. XXI. Ч. 1. С. 7.

С точки зрения непрерывности сознания, обнаруживающегося в его развитии, можно, наконец, придерживаться того же принципа и при изучении частей одного и того же произведения, возникших в разное время и не вполне согласованных друг с другом, или разновременных произведений, отличных друг от друга, но гипотетически связываемых между собою непрерывным рядом переходов, ввиду которых они и признаются подлинными продуктами одного и того же сознания; в таких случаях можно судить по одному из них, уже признанному за подлинный, и о подлинности другого, если последнее удастся связать с ним при помощи такого рода переходов, доказав, что оба они оказываются обнаружениями одного и того же сознания, но только на разных стадиях его развития. При критическом изучении диалогов Платона, например, можно возвести «Федр», «Политику» и «Законы», несмотря на их различие, к одному и тому же автору — Платону, если принять во внимание, что «Федр» относится к более раннему, юношескому, «Политика» — к зрелому, а «Законы» — к старческому периоду развития философа; или можно устранить некоторые сомнения касательно принадлежности известного «*dialogues de oratoribus*» Тациту, если полагать, что он написал его в молодости, и с последней точки зрения, значит, признать его подлинным произведением автора «Анналов».

Таким образом, критерий единства, а значит, и непрерывности сознания приписываемого автору источника получает широкое применение при решении вопроса о его подлинности; но с той же точки зрения можно установить и основной критерий неподлинности источника: если историк не может примирить в своем собственном сознании противоречивых и диспаратных элементов или частей данного источника, т. е. замечает в нем разъединенность тех элементов психики, которые обнаруживаются в изучаемом источнике, и если он не в состоянии объяснить ее, исходя из гипотезы о тех, а не иных свойствах творца, породившего источник, он получает основание сомневаться в его подлинности. Такое сомнение получает дальнейшее обоснование, если историку удастся объяснить вышеуказанную разъединенность сознания, исходя из предположения, что элементы той психики, которые обнаруживаются в данном источнике, не могли принадлежать одному и тому же субъекту, благодаря чему и оказывается, что одни элементы источника плохо согласованы с другими.

Впрочем, о разъединенности сознания можно также судить и по отсутствию единства замысла, и по отсутствию единства в исполнении источника.

В сущности, можно заметить отсутствие единства замысла уже в том источнике, составление которого приписывается лицу, которое по воз-

зрениям своим едва ли могло составить его, на что уже было указано выше. Такое же отсутствие еще более заметно в источнике, составные части которого диспаратны и который, значит, признается неподлинным в некоторых из своих частей. Античная группа, известная под наименованием «Лаокоон», не представляла, например, в позднейшем ее виде полного единства замысла, и действительно, некоторые из ее частей новейшего происхождения и оказываются результатом плохой реставрации; или «Комментарии о войне римлян с галлами», приписываемые Юлию Цезарю, также не производят однородного впечатления, между первыми семью книгами и последней — восьмой легко заметить различие, которое объясняется тем, что восьмая книга неподлинная: она не принадлежит автору остальных семи книг.

В других случаях разъединенность сознания можно обнаружить и в отсутствии единства исполнения источника, что иногда оказывается достаточным для того, чтобы сомневаться в его подлинности. На том основании, например, что скульптурные произведения, украшавшие Парфенон, не отличаются полным единством исполнения, приходится предполагать, между прочим, что «рука Фидия осталась чуждой исполнению фриза», который мог быть приготовлен мастерами старой аттической школы, работавшими, впрочем, под его же наблюдением; или ввиду того, положим, что рукопись, писанная на родине диакона Павла в IX в. и содержащая его историю лангобардов (*Cod. ecclesiae cathedralis Foro-Julienensis, civitatensis*), не лишена, однако, ошибок и представляет «отступления» в «выражении словесных форм», нельзя признать ее подлинником, надо считать ее только копией¹⁶⁵.

В связи с понятием о некоторой разъединенности сознания, обнаружившейся в данном источнике, можно поставить и отсутствие непрерывности сознания; оно также служит для установления неподлинности источника, существенные признаки которого слишком расходятся с уже известными характерными особенностями того творчества, к продуктам которого он будто бы принадлежит. В некоторых случаях можно судить об отсутствии непрерывности сознания вообще по тем отклонениям от характерных его особенностей, которые замечаются в источнике. Если историк, например, уже предвзительно знает характерные черты живописи Леонардо да Винчи, высоко ценит грацию и свежесть его фигур, изящество налагаемых на них драпировок, а также законченность и поэтичность его пейзажей, он, пожалуй, припишет ему известную картину Благовещения,

¹⁶⁵ M. G. ss. rerum Langobardicarum et italicarum. Nan., 1878. P. 28; ср. p. 38, 44.

находящуюся в одной из флорентийских галерей; но если исследователь, взглядываясь в технику и содержание картины, заметит, что она отличается некоторыми чертами от обычного стиля остальных произведений великого мастера, положим, большею отчетливостью и резкостью линий, наличием архитектурных прикрас в обстановке (античный цоколь, служащий пюпитром для Богоматери) и в пейзаже, то он сочтет себя вправе все же сомневаться в принадлежности изучаемого им произведения Леонардо да Винчи¹⁶⁶. Возьмем другой пример. На основании показаний самого Платона и Аристотеля можно составить список подлинных диалогов Платона; изучивши характерные особенности подлинных его сочинений, положим, его нравственные стремления, осуществляемые в «научном исследовании», художественную законченность их формы и т. п., историк вслед за тем пытается определить подлинность или неподлинность остальных его диалогов; в частности, замечая, например, в формах диалогов «Софист» и «Политик» общие им особенности (разговор в обоих ведется не Сократом, а иностранным гостем с педантическим схематизмом), он в силу вышеуказанного принципа должен признать оба или подлинными, или неподлинными, что гораздо более вероятно.

В других случаях можно заключать об отсутствии непрерывности сознания с точки зрения его развития во времени. В сущности, непрерывность сознания во времени (по крайней мере, при достаточной степени его оригинальности) можно усматривать в том, что оно развивается, а не повторяется; зоно, конечно, может долго искать мысль и долго подбирать подходящую форму для ее выражения, но в таком ряде опытов оно при вышеуказанном условии не может довольствоваться механической компиляцией уже высказанных мыслей и ограничиваться простым их повторением в одной и той же форме. С последней точки зрения, например, диалоги «Минос» и «Гиппарх», приписываемые Платону, но содержащие много совпадений с местами из подлинных его произведений, представляются сомнительными: принимая во внимание характер его творчества, трудно предполагать, что он сам занимался бы механическим компилированием своих мыслей, дословно выписывая их из других своих трудов; следовательно, повторение в них мест, тождественных с местами из других диалогов, не только не свидетельствует в пользу непрерывности сознания их ав-

¹⁶⁶ Müntz E. Une éducation d'artiste au XV sc.; см. Rev. Des Deux Mondes. Т. 83 (1887). Р. 669. Боде и Лифарт считают эту картину Uffizi произведением Леонардо да Винчи.

тора, а скорее, напротив, обнаруживает ее отсутствие, что и дает основание признавать их неподлинными¹⁶⁷.

В сущности, те же понятия о единстве сознания индивидуального творчества, его непрерывности и т. п. применяются и к установлению подлинности или неподлинности данного источника сравнительно с другими. В самом деле, если каждый субъект обладает некоторым единством сознания, его непрерывностью и т. п., то предположение, что два или несколько субъектов поймут, построят и изобразят один и тот же действительно бывший факт тождественным образом, весьма маловероятно. Такое совпадение, правда, возможно, если его воспринимают лица, стоящие на совершенно одинаковой ступени развития, и если самый факт чрезвычайно элементарен, но условия подобного рода вообще редко встречаются; тем менее вероятно, что они будут иметь место при наблюдении над историческими фактами. Ведь каждый человек обыкновенно воспринимает факт по-своему, каждый подходит к нему с наличием своего, отличного от других психического фонда, который всегда разное влияет на ложающееся на него новое восприятие; различно воспринимая факт, каждый воспроизводит и выражает восприятия и понятия по-своему, в свойственной ему форме. Вместе с тем реально данный объект наблюдения, в сущности, становится элементарным лишь после его отвлечения от многосложной действительности, а такое отвлечение уже находится в зависимости от субъективного состояния сознания того, кто проводит наблюдение над фактом. Даже ученый не свободен от субъективизма своих представлений: «чтобы сказать, какие мысли возникнут у физика при наблюдении того или иного оптического факта, мы должны знать его прошлые переживания, силу впечатления, которую они оставили, факты как общего, так и технического культурного развития, которые имели на него влияние, и наконец, мы должны еще быть в состоянии принять в расчет настроение его в момент наблюдения»¹⁶⁸. Если, таким образом, наблюдения ученых могут зависеть от столь разнообразных условий и, значит, легко разнятся друг от друга, даже при наличности изоцированных орудий наблюдения, то с тем большим ос-

¹⁶⁷ *Boeckh A. Encyclopaedie. S. 219–222*; не возводя этих примеров к разбираемому принципу, Бёк, впрочем, справедливо указывает на то, что данный автор может, конечно, делать более или менее обширные заимствования из других произведений и что он иногда ставит их себе даже в заслугу, подобно, например, Цицерону; в последнем случае единство сознания обнаруживается в намеренности заимствований.

¹⁶⁸ *Max Э. Анализ ощущений*; рус. пер., с. 272. Ср. еще ниже, § 3.

нованием можно сказать то же относительно наблюдений, проводившихся без ученой подготовки и при случайных обстоятельствах над объектами, обыкновенно гораздо более сложными. А между тем наблюдения над историческими фактами большею частью отличаются таким именно характером; значит, вероятность полного совпадения подобного рода наблюдений, если только предполагать, что они проводились независимо друг от друга, чрезвычайно мала; можно сказать то же самое и о тех продуктах их психики, которые мы называем подлинными источниками. Следовательно, естественно придти к заключению, что подлинный источник лишь в редких, исключительных случаях может совпасть с другими источниками и что некоторое различие в их содержании, например, в мыслях или подробностях факта, частью отмеченных в одном источнике, частью — в другом, но согласных с главным фактом и взаимно дополняющих друг друга, может даже говорить в пользу подлинности обоих. Наоборот, полное совпадение между данными источниками или весьма большое сходство в характерных их особенностях в большинстве случаев естественно вызывает сомнение в подлинности почти всех из них, т. е. всех, кроме того, который послужил образцом для остальных; историк старается объяснить совпадение подобного рода тем, что составители тождественных или очень сходных между собою источников подражали какому-либо общему образцу или один из них другому. В датском рассказе о Токо и швейцарском рассказе о Телле, например, нельзя не заметить целый ряд совпадений даже в мелких, но характерных подробностях; ввиду такого сходства можно предполагать, что старший из этих рассказов, сообщенный Саксоном Грамматиком, послужил образцом для составления позднейшего рассказа о Телле, включенного в Белую книгу, и что, значит, последний, во всяком случае, нельзя признать подлинным¹⁶⁹.

Итак, принцип единства или разъединенности сознания получает широкое применение для установления подлинности или неподлинности источника. Следует иметь в виду, однако, что такой принцип получает надлежащее свое применение лишь к изучению тех продуктов, которые возводятся к сознательной деятельности человека, реализованной в историческом источнике. Вместе с тем нельзя не заметить, что принцип единства чужого сознания, его непрерывности и т. п. представляется нам в его чистом, т. е. общем и формальном, виде лишь пу-

¹⁶⁹ Впрочем, тот же сюжет встречается и в других сказаниях; между прочим, в одной старинной исландской саге и рассказ о Токо, в свою очередь, может оказаться неподлинным, не говоря уже о сомнительной его достоверности; ср. еще *Gomme L. The handbook of Folklore. P. 143.*

тем отвлечения: в действительном ходе исследования он обыкновенно комбинируется с другими принципами критики источника как факта и всегда получает конкретное, индивидуальное содержание применительно к тому, а не иному автору рассматриваемого произведения, что уже легко заметить из вышеприведенных примеров.

В связи с критерием единства сознания можно рассматривать и критерий соответствия данного источника с характерными особенностями той культуры, к которой он будто бы принадлежит: знание, какое историк получает об источнике как о факте, он, с познавательно-объединяющей точки зрения, стремится поставить в соответствие со своим знанием о том культурном целом, к которому источник будто бы принадлежит; если он может установить такое соответствие, он признает данный источник подлинным. Впрочем, тот же принцип легко формулировать и в реалистическом духе; можно перенести понятие о единстве чужого сознания и о его непрерывности на коллективное лицо, т. е. на социальную группу, породившую ту культуру, элементом которой данное произведение оказывается, и с такой точки зрения полагать, что, значит, всякий источник, действительно принадлежащий к ней, должен находиться в некотором соответствии с нею.

Итак, ввиду того что данная культура, т. е. культура данного народа, места и времени и т. п., представляется историку в известной мере объединенным целым, он может исходить из понятия о некоторой согласованности ее элементов, отчасти уже знакомых ему, для того чтобы судить о подлинности одного из ее элементов, в данном случае источника, подлежащего исследованию. Если историк замечает согласованность между известной ему культурой и изучаемым источником, он признает его подлинным; иными словами говоря, если историк может установить, что данный источник действительно занимает то положение в системе данной культуры, какое будто бы ему принадлежит, т. е. что источник соответствует по своему характеру той культуре, частью которой он себе представляет его, то он и получает некоторое основание для того, чтобы признать его подлинность.

Такое соответствие может получить, однако, различные значения, смотря по тому, разуметь под ним фактическую согласованность источника с той культурой, к которой он будто бы относится, или соответствие его с теми правилами, которые данная социальная группа вообще признавала; в последнем случае историк выясняет фактическое значение данного источника путем отнесения его к общепризнанной в данной местности и в данное время ценности: он принимает во внимание, например, те правила составления источника, соблюдение которых говорит в пользу подлинности или неподлинности

источника. В таких случаях историк, очевидно, пользуется критерием соответствия данного источника с правилами, признание которых характеризует объемлющую его культуру.

Разбираемый критерий получает иногда довольно существенное значение: можно указать на такие случаи, когда источник обнаруживает некоторую разьединенность привходящих в него элементов и, тем не менее, признается подлинным на том основании, что отсутствие в нем полного единства сознания само оказывается признаком, характеризующим известный период культуры; в случаях подобного рода историк рассуждает о подлинности источника, главным образом, с точки зрения его соответствия с такой именно культурой¹⁷⁰. В произведениях варварского искусства, например, можно заметить немало таких, в которых единство художественного замысла еще очень слабо выражено и затемняется чрезмерным количеством орнаментальных деталей большей частью звериного стиля, далеко не согласованных между собою; но наличие подобного рода особенностей в каком-либо остатке культуры может скорее свидетельствовать в пользу его принадлежности к вышеуказанной культуре, т. е. его подлинности, чем обратно, в пользу его неподлинности. Аналогичную аргументацию позволительно прилагать и к остаткам культуры позднейшего времени. Положим, что критик замечает на старинной картине Бош'а (Bosch), представляющей бегство Святого семейства в Египет, между прочим, и изображение на заднем плане фламандского трактира с толпою сельских жителей, увеселяющихся танцами; но из-за такого отсутствия единства в композиции ему едва ли придет в голову сомневаться в подлинности картины; напротив, он воспользуется указанной подробностью для того, чтобы выяснить, в каком месте она возникла. Внимательно всматриваясь в одно из «реймских полотен», на котором представлена Иудифь у Олоферна, критик, конечно, обратит внимание на то, что Олоферн лежит на койке в полном вооружении средневекового рыцаря и что на заднем плане солдаты, осаждающие город, стреляют по нем из пушки и ружей; но такая несообразность едва ли внушит исследователю сомнения в подлинности картины: он усмотрит в ней лишь указание на время, когда она приблизительно возникла. С такой же точки зрения, можно применять критерий единства культуры и к историческим преданиям. Отсутствие единства в изложении, например, в каком-нибудь произведении церковно-полемической литературы XI–XII вв., оказывается иногда признаком, скорее характеризующим его принадлежность к данной культуре: в то время было принято щедро пересыпать свое изложение цитатами из творений Отцов

¹⁷⁰ Ср. выше, с. 416.

Церкви и т. п., служивших взамен собственной аргументации автора и постоянно прерывавших ход его мысли; следовательно, с точки зрения критерия соответствия с известной культурой, такое именно произведение, отчасти лишенное единства, но по приемам своего изложения соответствующее требованиям данного состояния культуры, все же может быть в основном его содержании подлинным.

Соответствие данного источника с известной культурой может, однако, обнаруживаться в довольно разнообразных отношениях: самое понятие об источнике находится в связи с понятием о возникновении его в том месте и в то время, которые оказываются ближайшими к изучаемому факту; следовательно, можно говорить о соответствии источника с культурой данной местности или о соответствии источника с культурой данного времени. Каждый из видов такого соответствия, взятый независимо от другого, оказывается не вполне достаточным критерием для того, чтобы на основании его судить о подлинности источника: в самом деле, источник, соответствующий культуре данной местности, хотя тем самым и признается не заимствованным из другой, но все же может быть позднейшего изделия; а источник, соответствующий культуре данного времени, может быть и заимствованным; лишь имея в виду оба вида соответствия, можно пользоваться им в качестве довольно важного критерия подлинности источника. Впрочем, для удобства изучения естественно рассмотреть каждый из указанных видов в отдельности.

Соответствие источника с культурой данной местности служит критерием для установления его подлинности, главным образом, в тех случаях, когда историк стремится установить, что источник действительно возник в пределах распространения данной культуры. В некоторых случаях место возникновения само собою обнаруживается. Остаток древности, найденный историком в соответствующей обстановке (например, погребальной), или надпись, высеченная на скале, или документ, который сохранился в ворохе бумаг, составлявших старинное делопроизводство какого-нибудь учреждения, получает в его глазах значение подлинника. Историческое предание, конечно, далеко не всегда оказывается в той среде, в которой оно возникло; правда, оно иногда само свидетельствует о месте своего возникновения и, особенно в случае если оно — памятник письменности, сообщает точные сведения о месте своего написания или издания; но произведения народной словесности редко содержат такие показания, и определение места их возникновения сопряжено иногда (например, при изучении «странствующих сказаний») с большими затруднениями, не говоря о том, что всякое показание исторического преда-

ния о факте своего возникновения в том, а не ином месте, разумеется, требует предварительной критической его проверки.

В том случае, когда историк не находит источника в соответствующей обстановке, он стремится установить место его возникновения путем исследования. При таком исследовании историк, в сущности, пользуется приемами, однородными с теми, которые ему приходится употреблять преимущественно в систематической интерпретации источника, хотя и применяет их для достижения иной цели: он устанавливает, например, место возникновения данного остатка культуры на основании соответствия его материала, техники, формы и т. п. с условиями данной местности, а также может принимать во внимание и следы позднейшего их влияния на данный остаток¹⁷¹; или он изучает место возникновения данного исторического предания на основании проверки собственных его показаний о месте его написания или печатания, а также косвенных данных, например особенностей его письма и языка, т. е. преимущественно его диалектологических особенностей и правописания, терминов и формул, стиля и литературной формы, наконец, его содержания и т. п.; на основании, например, более или менее обстоятельного знания той, а не иной местности и незнания других местностей (в частности, географической номенклатуры), обнаруживаемых составителем источника, тех, а не иных патриотических его тенденций, а также разных подробностей, можно, конечно, с большою вероятностью указать местность, в которой его произведение возникло; место возникновения какой-нибудь летописи часто определяют при помощи таких показаний, иногда случайно или произвольно высказанных летописцем.

Благодаря разысканиям подобного рода историк получает возможность установить место возникновения данного источника или его соответствие с культурой данной местности, что и дает возможность признать его подлинность. Ученый издатель грамоты короля Рупрехта городу Кельну от 25 июля 1401 г. заметил, например, что она некото-

¹⁷¹ Manuel de recherches préhistoriques, publié par la Société préhistorique de France. Par., 1906. P. 108 et ss. В числе признаков подлинности каменной поделки археолог признает, например, наличие в ее трещинах следов почвы, в которой она была найдена; или перемен, происшедших на поверхности, а также в составе изделия из кремня в зависимости от той породы, в которой он пролежал более или менее долгое время; или инкрустаций; или дендритов (маленьких кристаллов из марганца); или мха; или естественной политуры на предметах, подвергавшихся действию речной воды и действию песка; или следов ржавчины на вещах, которые, значит, пролежали в земле и подвергались ударам плуга; или отпечатков на них корней и т. п.

рыми диалектологическими признаками отличается от общеимперских актов и гораздо ближе стоит к особенностям местной кельнской культуры; с такой точки зрения, он пришел к заключению, что эта грамота возникла из проекта, поданного самими жителями г. Кельна; значит, они принимали участие в составлении грамоты, если рассматривать ее с точки зрения фактического содержания, а не юридического значения¹⁷². Такое соответствие гораздо труднее обнаружить при изучении некоторых исторических преданий, например средневековых анналов, найденных в Люнебургском монастыре св. Михаила. Эти анналы содержат преимущественно саксонские известия и предназначались для читателей, которые могли понимать имена действующих лиц без дальнейших объяснений и т. п., т. е. принадлежали к той же местности; далее, в числе приводимых летописцем известий есть такие, которые касаются графа фон Штаде, видимо, интересующего составителя, и Розенфельдского монастыря, находившегося в пределах его владений; наконец, одно из таких известий, притом относящееся к последней, 1130-й, сохранившейся части, повествует о смерти «аббата Куно», который, судя по другим источникам, и был настоятелем Розенфельдского монастыря. Ввиду вышеуказанных соображений ученые пришли к заключению, что анналы, найденные в монастыре св. Михаила, были составлены в Розенфельдском монастыре¹⁷³.

Соответствие источника с культурой данного времени также служит критерием для установления его подлинности. С такой точки зрения, исследователь интересуется временем возникновения изучаемого источника. В тех случаях, когда он не может пользоваться для его определения прямыми показаниями источника и проверить их, он обращается к изучению косвенных данных, т. е. стремится выяснить соответствие его характерных признаков с признаками других фактов, время возникновения которых уже известно. Вообще, для того чтобы решить такую задачу, историк пользуется приемами, аналогичными преимущественно с методом эволюционной интерпретации, хотя и для иной цели: он изучает материал, технику и форму, стиль и содержание источника; приемы его изображения или обозначения; обивку или полировку, краски и т. п.; или язык, бумажные знаки, письмо, правописание, аббревиатуры, термины и формулы; или его построение и изложение, его содержание в связи с фактами данного периода куль-

¹⁷² Deutsche Reichstagsakten. Bd. IV, № 372.

¹⁷³ M. G. ss. T. XVI fol. (ed. G. H. Pertz, 1859). P. 99–104; cp. *Jaffé Ph. Ueber die Rosenfelder Annalen* // Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde. Bd. XI (1858). S. 850–851, 855–858.

туры и т. п.; при исследовании остатка культуры он обращает внимание в случае нужды и на позднейшие «следы времени», оказавшиеся на нем¹⁷⁴, а при критической оценке исторического предания — и на те факты, время возникновения которых можно установить по другим данным, например на затмения; он также принимает в расчет и то, не умалчивает ли автор таких фактов, которые он должен был бы знать, или, напротив, не ссылается ли на источники или не приводит ли факты, которые он не мог знать, например такие, которые стали известны или возникли после появления его труда, не обнаруживает ли он тенденции, характеризующей данное время, и т. п.¹⁷⁵

Путем такого рода приемов, часто получающих чисто технический характер, историк пытается установить время возникновения данного источника или его соответствие с культурой данного времени, что и дает ему возможность признать подлинность источника. При изучении некоторых императорских, папских, да и частных грамот X–XIII вв., например, исследователи обратили внимание на несообразности между сведениями о том, при ком и где акт был дан и его датировкой, что и дало повод сомневаться в их подлинности; но с течением времени одному из знатоков средневековой дипломатики удалось объяснить такие несообразности неправильными приемами их составления, свойственными некоторым канцеляриям того времени, и таким образом доказать, что эти грамоты подлинные¹⁷⁶. Аналогичный случай произошел и при более пристальном изучении другого рода источника, принадлежащего к разряду исторических преданий, а именно биографии Бенно, епископа Оснабрюкского, составление которой приписывалось аббату Норберту в конце XI в.; признанная

¹⁷⁴ Manuel de recherches préhistoriques etc. P. no, 113–114; при критическом изучении поделки из кремня археолог признает ее подлинной, например, по ее корке, т. е. по переменам, происшедшим на ее поверхности или глубже в зависимости от более или менее продолжительного пребывания ее в почве или даже просто на солнце и под дождем; или по следам прежнего ее употребления, притупленности ее краев или конечности и т. п.; в аналогичном смысле историк судит об относительной древности других остатков по их ветхости, по оплывшему лаку на картине, по пятнам от сырости на бумаге и т. п. Ср. еще *Wattenbach W. Das Schriftwesen im Mittelalter*, 3 Aufl., 1896.

¹⁷⁵ См. выше, с. 350. Ср. *Westberg F. Die Frage des Toparcha Got.*, S.-Pt. 1901. S. 109–118.

¹⁷⁶ *Rosenmund R. Die Fortschritte der Diplomatie seit Mabillon*. München und Lpz., 1897. S. 86–89; главные приверженцы старого взгляда — *Vöhmer* и *Stumpf*; нового — *Фиккер*; см. в особенности *Ficker J. Beiträge zur Urkundenlehre*. Innsbruck, 1877–1878. Bd. I. S. 44–59 и др.

вслед за тем подделкою одного из гуманистов, та же биография снова рассматривается теперь как подлинное предание, главным образом на основании соображений, в сущности основанных на принципе соответствия источника с культурой данного периода; заметив, что ритм его фраз был в то время в употреблении и уже исчезает после 1450 г., некоторые из новейших исследователей и приходят к заключению, что биография Бенно, вероятно, сохранилась в более или менее подлинном виде, хотя и в позднейшем списке¹⁷⁷.

С точки зрения такого же соответствия данного источника с теми условиями места и времени, в которых он будто бы возник, можно рассматривать и следы его или упоминания о нем в источниках, относящихся приблизительно к той же местности, а главное, близких к тому же времени: ссылки на автора изучаемого источника или выдержки из него, сделанные в современных ему (подлинных) источниках, уже обнаруживают согласованность его с некоторыми другими элементами соответствующей культуры; достаточно припомнить хотя бы то значение, какое, например, цитаты Аристотеля из произведений Платона или намеки на них получают для решения вопросов о том, какие из диалогов его подлинны.

В связи с понятием о разъединенности сознания естественно рассматривать и понятие о несоответствии данного источника с характерными особенностями той культуры, к которой он будто бы принадлежит: стоит только придать отрицательное значение тому ряду понятий, которые уже были рассмотрены выше, при выяснении критерия соответствия данного источника с известной культурой, для того чтобы прийти к такому заключению. Следовательно, в более или менее резком различии между изучаемым источником и остальными элементами культуры, к которой он будто бы относится, легко усмотреть некоторое основание для того, чтобы признать его неподлинным. Само собою разумеется, что при установлении такого соотношения можно различать несоответствие фактическое от нормативного: историк принимает во внимание, что источник может оказаться в разногласии или с фактами, или с общепринятыми правилами его составления; замечая в последнем случае, что правила, которых обыкновенно держались при сочинении данного рода произведений, нарушены и не будучи в состоянии объяснить уклонения от них другими соображениями, он сомневается в его подлинности или признает его неподлинным.

¹⁷⁷ *Scheffer-Boichorst R.* Norbert's Vita Bennonis Osnabrugensis episcopi eine Fälschung?

См. *Sitzungsberichte der preussischen Akademie der Wiss.*, 1901. Bd. VII. S. 132, 159, 162;

Winterfeld P. von. Der Rythmus der Satzschlüsse in der Vita Bennonis, ib. S. 163–168.

При изучении несоответствия источника с той культурой, к которой он будто бы относится, нельзя не принять во внимание его разногласие и с культурой данной местности, и с культурой данного времени.

Само собою разумеется, что если источник или, по крайней мере, его характерные особенности не соответствуют культуре данной местности, его нельзя признать местным, туземным произведением: хотя источник нетуземного происхождения может быть и «подлинным», с точки зрения той культуры, из которой он заимствован, но в той мере, в какой он выдается за туземный в его отношении к культуре, в которой он не возник, он признается «неподлинным»; имея в виду, например, что известное сказание о Вильгельме Телле оказывается не швейцарским, сказание о верных женах в Вейнсберге — не вюртембергским, сказание об Алеше (Алекサンドре) Поповиче — не киевским, можно в вышеуказанном смысле считать их «неподлинными». Впрочем, нельзя не признать такое словоупотребление довольно условным: оно чаще применяется в тех случаях, например, когда какой-нибудь перевод, положим, славянский перевод греческой хроники Георгия Амортла, очевидно, не может быть назван подлинным его произведением.

Если прямые или косвенные показания источника о времени его возникновения или его характерные особенности не соответствуют культуре того периода, в течение которого он будто бы возник, то историк также получает некоторое основание утверждать, что данный источник неподлинный; известный бюст Афины, оказавшийся в музее города Болоньи, хотя и сохранил немало подлинных черт, однако признается позднейшей, римской копией, т. е. неподлинным произведением греческого искусства V в.; или старейшая из рукописей, в которой история Фукидида сохранилась, писана почерком XV в. и, значит, очевидно, не подлинник.

Кроме вышеуказанного рода несоответствия источника с условиями места и времени, в которых он будто бы возник, можно было бы указать и на несоответствие его с данной группой источников, относящихся к той же культуре. Следует заметить, однако, что по молчанию современных источников об изучаемом произведении можно судить о его неподлинности разве только в том случае, если будет доказано, что если бы оно действительно существовало, источники, современные ему, не могли бы не упомянуть о нем и что, значит, раз они молчат о нем, он неподлинный; но убедительно доказать нечто подобное можно, пожалуй, только в довольно исключительных случаях¹⁷⁸.

¹⁷⁸ См. ниже, § 3.

Критерий согласованности источника с известной культурой получает еще особого рода применение к сравнительному изучению нескольких источников, сходному с тем, какое уже было указано, и относительно критерия единства сознания: чем больше такая согласованность, тем менее вероятно, что источник, принадлежащий данной культуре, окажется тождественным с источником, связанным с другой культурой; следовательно, можно сказать, что тождество независимых друг от друга источников, относящихся к различным областям и различным периодам культуры, маловероятно и что его наличие при таких условиях вызывает сомнение в подлинности одного из сравниваемых источников. Впрочем, при пользовании таким принципом следует, конечно, иметь в виду, что среди народов, стоящих на низкой ступени развития, культура, сравнительно мало дифференцированная, может оказаться во многих из своих элементов сходной, что отразится и на ее продуктах-источниках, хотя бы они и возникли независимо друг от друга у разных народов; легко заметить, например, довольно значительное сходство в сюжетах народных сказок разных стран и признать, что простейшие из таких сюжетов могли возникнуть и независимо друг от друга; но при внимательном сравнении подробностей рассказа оказывается, что они обыкновенно меняются в зависимости от места и времени, примеры чего уже были приведены выше. Таким образом, можно сказать, что своеобразие разновременных и разноместных культур в известной степени должно соответственно отражаться и в источниках, а потому совершенное тождество источников, возникших независимо друг от друга в разных очагах культуры, особенно при некоторой их сложности, маловероятно. Следовательно, при наличии такого совпадения между источниками, будто бы независимыми друг от друга, или, по крайней мере, между главнейшими их частями можно сомневаться в подлинности тех, которые не находятся в достаточном соответствии с той культурой, в среде которой они будто бы возникли. В качестве примера можно, пожалуй, указать хотя бы на известные предания о сдаче города Кремы в 1160 г. и города Вейнсберга в 1140-м с позднейшими воспроизведениями последнего из них. Рассказ о взятии города Кремы Фридрихом Барбароссой, да и то не в версии кельнского летописца, производит впечатление подлинного: он содержит реальные, а не придуманные подробности, соответствующие данному месту и времени; сказание о вейнсбергских женах, возникшее под влиянием кельнской версии о взятии Кремы, напротив, отличается «абстрактной» схемой: оно повествует, главным образом, о том, каким образом верные жены вынесли своих мужей из города при сдаче его неприятелю; то же сказание

встречается с более или менее заметными изменениями и в многих других источниках применительно к весьма разновременным известиям о взятии разных городов — и немецких, и французских, и итальянских, и швейцарских; таких версий известно более 30; но составленные по «абстрактной» схеме вейнсбергского сказания, они представляются более или менее неподлинными, т. е. заимствованными¹⁷⁹.

Впрочем, следует иметь в виду, что культура, в отношении к которой данный источник рассматривается, может достигнуть полного единства разве только в момент наивысшего своего развития и, значит, в остальные его моменты представляется лишь в известной мере объединенным целым, уклонения от которого возможны; следовательно, даже тот историк, который выработал надлежащее понятие о данном типе культуры, не всегда имеет достаточное основание признавать источник, не соответствующий ему, неподлинным. Вместе с тем всякая культура создается путем индивидуальных актов творчества, продукты которого не соответствуют среднему ее уровню; но по несоответствию их с культурой историк также не может заключать о их неподлинности. Выше уже были указаны, например, такие случаи, когда принцип соответствия или несоответствия с культурой, сам по себе взятый, неприменим, когда произведение, тождественное с ней, оказывается неподлинным, а произведение, в известной мере не соответствующее ей, считается подлинным: ведь источник, обнаруживающий отсутствие индивидуального отпечатка и тождественный с данной культурой, может оказаться копией; и наоборот, источник, более или менее резко отличающийся от остальных продуктов культуры своими индивидуальными уклонениями, если только последние действительно индивидуальны, не вызывает сомнений в его принадлежности тому, кто проявил их в силу присущих ему особенностей мышления, стиля и т. п. Гениальное произведение, обнаруживающее высшую степень единства сознания, может оказаться, например, в значительном разногласии с данной культурной средой в ее ти-

¹⁷⁹ *Bernheim E. Lehrbuch. S. 352–355; существенные поправки — в статье W. Norden'a Die Weiber von Weinsberg; см. Deutsche Literaturzeitung, 1912. № 10. S. 581–608. В отличие от Бернгейма, Норден отвергает возможную достоверность вейнсбергского сказания в той именно абстрактной форме, в какой оно сообщено в кельнской королевской хронике под 140 г., вероятно, нужной, главным образом, для того, чтобы резко оттенить основной сюжет сказания; но и он приходит к аналогичному с Бернгеймом заключению, что рассказ о взятии Кремы в урезанном виде послужил кельнскому летописцу для составления сказания о вейнсбергских женах; см. S. 602, 608.*

пических признаках; сверх того, индивидуальное творчество может повести и к более частным уклонениям, которые все же не говорят в пользу его неподлинности. Многие чтения из произведений Тацита, например, казались прежде не соответствующими римской культуре его времени, т. е. неподлинными; но теперь они признаются особенностями его индивидуального стиля, что, разумеется, устраняет сомнения в их подлинности. С такой же индивидуализирующей точки зрения, легко принять и те уклонения источника, которые можно назвать индивидуальными ошибками: чтения, ошибочность которых объясняется с точки зрения особенностей самого автора, его характера, тенденций и т. п., например, все же признаются подлинными и не подвергаются исправлению даже в том случае, если они оказываются в явном разногласии с общепринятыми правилами; случай произвольных вставок или опущений, принадлежащих, однако, самому автору, можно найти, например, в труде Диогена Лаэртского и т. п.¹⁸⁰

Вообще, критерий подлинности или неподлинности источника, рассмотренные выше, находятся в тесной связи еще с одним понятием, которое до сих пор оставалось в тени, а именно с понятием о той индивидуальности, к которой он относится. В самом деле, принцип единства сознания в его применении к данному источнику, очевидно, предполагает и наличность его носителя, т. е. того именно реально данного автора, к творчеству которого источник возводится, а разъединенность сознания — существование нескольких личностей, работавших над его составлением. Принцип соответствия или несоответствия источника с известной культурой также получает возможно более точное применение лишь в комбинации его с понятием о той индивидуальности, которой составление его приписывается. В действительности можно отнести источник к определенному пункту пространства и к определенному моменту времени, лишь связав его возникновение с тою индивидуальностью, которая действовала в этом пункте и в этот момент и произвела источник; знание подобного рода дает возможность историку частью достигнуть синтеза обоих моментов в личности автора, всегда действующего в данной местности, а вместе с тем и в данное время, частью точнее определить место и время возникновения его произведения-источника. В самом деле, зная автора изучаемого источника и располагая биографическими сведениями о нем, известиями о тех людях, с которыми он имел сношения, и о событиях, в ко-

¹⁸⁰ Gercke A. und Norden E. Op. cit. S. 68–69, 72–73 и др. Ср. Gercke A. Die Analyse, als Grundlage der höheren Kritik // Neue Jahrbücher für das Klas. Altertum. Bd. VII (1901). S. 3–5, 6–7, 95, 97, 102–112.

торых он принимал участие, историк получает возможность гораздо точнее определить и то положение, которое источник занимал (или занимает) в данном культурном целом; при таких условиях он действительно может вставить данный продукт в ту, а не иную культуру, а значит, и точнее применить критерий соответствия или несоответствия его с тою именно культурой, к которой он будто бы относится. Таким образом, историк может распутать те нити, которыми данный источник будто бы связан с известной культурой, и в зависимости от того, действительно они существовали или отсутствовали, признает источник подлинным или неподлинным. Следует заметить, однако, что без знания личности автора историк не может точно установить и самый факт возникновения источника: лишь при таком знании, уже подготовленном индивидуализирующей его интерпретацией, он может определить то положение, которое источник занимал не только в пределах данной местности и данного времени, но и в пределах жизни данного лица; лишь изучив его свойства и обстоятельства его жизни, он может окончательно установить момент появления его продукта — источника, выяснить его причины и последствия, т. е. убедиться в том, что последний есть именно тот самый факт, каким он представляется, или наоборот, что он не может быть признан этим фактом, т. е. что он оказывается подлинным или неподлинным.

Итак, понятие об индивидуальности того, кому источник приписывается, служит для установления его подлинности или неподлинности: ведь понятие о подлинности или неподлинности источника связано с представлением о той индивидуальности, произведением которой источник признается или не признается; мы называем источник подлинным, если он действительно принадлежит тому автору, которому составление его приписывается, и неподлинным, если он не принадлежит тому автору, с именем которого возникновение его связывается. Всякий, кто говорит, например, что из фронтонов Парфенона, сделанных при Фидие, восточный — подлинный, понимает, что восточный фронтон действительно создан Фидием; или всякий, кто утверждает подлинность первых семи книг «Комментариев» Юлия Цезаря, в сущности, признает, что они действительно сочинены Юлием Цезарем; но для того чтобы утверждать нечто подобное, исследователь должен иметь свои основания: он должен доказать, что данный источник есть действительно произведение того, а не иного лица; что Фидий, а не кто другой действительно создал восточный фронтон Парфенона; что Юлий Цезарь, а не кто другой сочинил первые семь книг «Комментариев»; а только доказав, сверх того, что западный фронтон Парфенона исполнен не Фидием, а, по всей вероятности, его учени-

ками, или что восьмая книга «Комментариев» написана не Юлием Цезарем, а, вероятно, Гирцием, историк может придти к возможно более правильному выводу касательно подлинности или неподлинности вышеназванных источников.

Впрочем, в исследованиях подобного рода можно прибегать к весьма разнообразным понятиям и приемам, отчасти уже подготовленным исследованиями, которые основаны на вышеупомянутых принципах. В самом деле, такие исследования могут выяснить, приписывать данное произведение творчеству одной личности или нескольких, и могут дать понятие о тех типических чертах источника, по которым можно судить, например, о принадлежности его той или другой национальности или о принадлежности автора источника к той, а не иной общественной группе: уже знание того, был автор изучаемого источника духовной или светскою особой, монахом или епископом, городским писцом или полководцем и т. п., а значит, и знание типических особенностей того, а не иного круга людей, к которому он принадлежал, дает возможность исследователю оценивать его произведение с точки зрения критики, устанавливающей научную ценность источника как факта¹⁸¹. Нельзя, однако, ограничиться такими исследованиями: историк стремится изучить, какая именно индивидуальность воплотила типические черты данной культуры, какую именно комбинацию она им придала, в какой мере она, наряду с ними, обладала индивидуальными особенностями, и с такой индивидуализирующей точки зрения выясняет, соответствует им то произведение, которое приписывается ей, или не соответствует.

Само собою разумеется, что личность автора устанавливается на основании непосредственных или посредственных показаний о нем источников. Непосредственные и прямые показания об имени автора историк черпает из подписи автора или лица, от которого данный источник исходит, случайного его упоминания о самом себе и т. п.; непосредственные и косвенные — из указаний самого автора на место и время его жизни, на среду, в которой он действовал, людей, с которыми он вступал в сношения, и т. п. За отсутствием непосредственных показаний об авторе источника историк обращается к изучению посредственных данных о нем, т. е. принимает во внимание связь изучаемого источника с другими известными ему источниками. В некоторых случаях историк может пользоваться, например, посредственными и прямыми показаниями последних об имени автора, черпая их из чужих надписей на остатках древности, на рукописях или кни-

¹⁸¹ *Bernheim E. Lehrbuch. S. 406–407.*

гах, из чужих упоминаний имени автора в письмах, грамотах, летописях или рассказах, из знака фирмы или скрепы канцелярских чиновников, названия общества или редакции издания, если труд — коллективный, и т. п. Впрочем, не всегда располагая посредственными, но все же прямыми показаниями, историк может еще привлечь и косвенные данные: если он знает другие источники, автор которых уже известен ему и творчество которых обнаруживает существенное сходство с творчеством изучаемого источника, он, с точки зрения вышеизложенного понятия о непрерывности сознания, стремится установить связь между одним из таких продуктов и изучаемым им источником, что и дает ему основание приписать составление последнего тому, а не иному автору. Если же историк лишен такой возможности, он, благодаря критерию соответствия с культурой и добытым при его помощи выводам, путем сравнения стремится установить, из какой именно культуры — центра, направления, кружка, школы и т. п. данный источник вышел, т. е. к какой из порожденных, таким образом, групп источников он с наибольшей вероятностью должен быть отнесен, что и дает ему иногда основания высказать дальнейшие предположения касательно того именно автора, которому интересующий его источник принадлежит.

В исследованиях подобного рода историк пользуется большею частью теми же приемами, что и при определении единства и непрерывности сознания, а также места и времени возникновения источника, но стремится в возможно большей степени индивидуализировать их; он принимает во внимание, например, индивидуальные особенности техники и формы источника или его письма (почерка), языка и стиля; он изучает такие же особенности его содержания, мировоззрения и тенденций его составителя и т. п.¹⁸² При рассмотрении, например, большой всемирной хроники, приписываемой Эккегарду из Ауры (Aura), один из новейших исследователей пришел на основа-

¹⁸² Приемы установления подлинности почерка, играющие некоторую роль в судебной экспертизе, в последнее время рассмотрены Фрэзером и Бертильоном; последний указывает на «l'insuffisance de l'écriture comme preuve d'authenticité»; результаты такой экспертизы «условны»; см.: *Frazer P. Examination of documents*, 1894; *Bertillon A. La comparaison des écritures et l'identification graphique* // *Rev. Scient.* 1897. Decembre 18. P. 769–783. Само собою разумеется, что в той мере, в какой историк не только пользуется показаниями данного источника или других источников, но критикует их, он уже переходит в область критики таких показаний, т. е. устанавливает их достоверность или недостоверность, о чем см. ниже, § 3.

нии палеографических и других признаков к выводу, что составителем главной ее части следует признать монаха Михельсбергского монастыря Фрутольфа; другой ученый, главным образом, на основании внимательного знакомства с содержанием любопытного для истории аверроизма трактата «*Impossibilia*» восстановил принадлежность его Сигерию (Сижеру) Брабантскому¹⁸³. В прежнее время ученые приписывали продолжение летописи, известной под названием «*Annales Laurissenses majores*», одному только Эингарту, но внимательное изучение ее стиля обнаружило, что по крайней мере четыре автора последовательно работали над составлением вышеназванных анналов за время с 801 по 829 г.¹⁸⁴

Впрочем, при установлении подлинности или неподлинности источника, в связи с изучением индивидуального его генезиса каждый отдельный случай нуждается в исследовании именно тех обстоятельств, при которых данный источник возник или изменялся; следовательно, каждая из таких работ получает свой индивидуальный характер, зависящий от совокупности условий данного случая: лишь обладая хорошим знанием личности автора, можно, например, с некоторою уверенностью утверждать, что данная часть его произведения подлинная или неподлинная.

Знание индивидуальности автора, получаемое путем индивидуализирующей интерпретации, служит, таким образом, для доказательства подлинности или неподлинности приписываемого ему произведения; но знание факта, что данный источник есть продукт того именно лица, деятельности которого он приписывается, обыкновенно уже основано на показании о таком факте: ведь автор или, по крайней мере, его деятельность, породившая источник, большею частью известны историку лишь по показаниям о них, сделанным или в самом произведении, или в других источниках. Критика источника как факта не занимается, однако, рассмотрением показаний о нем: оно принадлежит критике показаний источника о факте. Лишь в том случае, если автор изучаемого источника уже известен по таким показаниям, как автор других произведений, соответствие или несоответствие с ними изучаемого источника становится основанием для признания приписываемого ему же произведения подлинным или неподлинным. В та-

¹⁸³ *Bresslau H.* Bamberger Studien; см. *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde*, 1896. Bd. 21. S. 197–226; *Mandonnet P.* Siger de Brabant et l'Averroïsme latin au XIII sc. Fribourg, 1899. P. CXL—CXLIX.

¹⁸⁴ *Monod G.* Études critiques sur les sources de l'histoire Carolingienne. Par., 1898, fasc. I. P. 102–162 (Bibl. des Hautes Études. № 119).

ком смысле можно говорить о соответствии данного источника с индивидуальностью известного автора; располагая, например, автографом Петра Великого, историк легко может признать подлинность многих его заметок, писанных тем же характерным спешным почерком, хотя бы они и не были подписаны им; зная стиль автора, его образ мыслей и т. п., он признает подлинность произведения такого же стиля, образа мыслей и т. п. И наоборот, по несоответствию с почерком, стилем, образом мыслей данного лица и т. п. историк судит о неподлинности приписываемого ему произведения.

Само собою разумеется, что разнообразные критерии подлинности или неподлинности источника употребляются обыкновенно в той или другой комбинации, а не порознь: вывод, сделанный на основании одного из них, проверяется выводом, который получается при пользовании другим применительно к тому же источнику. При рассмотрении одного из сборников городской библиотеки в Базеле, например, оказалось, что он содержит, между прочим, трактат, озаглавленный «*Quaestio Alberti de Saxonia de quadratura circuli*», а затем рассуждение под заглавием «*Item alia quaestio de proportione dyametři quadrati ad costam ejusdem*». Современный ученый, издавший оба произведения, приписывает второе из них также Альберту Саксонскому, главным образом на том основании, что автор его, подобно Альберту Саксонскому, придерживается одинакового с ним взгляда на несоизмеримость отношения между стороною квадрата и диагональю для того, чтобы опровергнуть учение о существовании неделимых, и охотно употребляет выражение «*est dare*»; но только что названное учение и выражение «*est dare*» нисколько не характеризуют стиль и образ мыслей одного Альберта Саксонского; они встречаются и в других схоластических произведениях XIV в. и, значит, не могут служить для решения того, признавать трактат с заглавием «*Item alia quaestio*» и т. д. подлинным или неподлинным произведением Альберта Саксонского¹⁸⁵.

Критерии, рассмотренные выше, часто применяются в самых разнообразных сочетаниях и для того чтобы установить группы связанных между собою источников, достигнув более или менее ясного понимания их соотношения, историк, с такой точки зрения, определяет подлинность или неподлинность целого источника или частей источника, входящего в состав данной группы.

Вообще, под группой связанных между собою источников можно разуметь совокупность источников, находящихся в некоторой зависи-

¹⁸⁵ *Duhem P. Etudes sur Léonard de Vinci. Par., 1906. T. I. P. 341–343.*

мости один от другого или друг от друга, а под зависимостью между источниками – реальное отношение между ними, действительное влияние одного из них на другой, «родство» или «генеалогическую связь» между ними и т. п.

При установлении группы связанных между собою источников историк должен иметь основание утверждать, что такая связь существует; помимо общих критериев, указанных выше, он пользуется и объективными признаками ее существования, преимущественно совпадением источников между собою в целом или в каких-либо частях; если он может объяснить такое совпадение влиянием одного источника на другой, он и приходит к заключению, что совпадающие источники связаны между собою, и пытается определить, какой из них влиял на другой, т. е. выясняет их генеалогическую связь.

В самом деле, полное совпадение исторических источников, отличающихся некоторой сложностью своего содержания, как было показано выше, уже с точки зрения критерия единства и непрерывности сознания может служить объективным признаком для заключения о том, что они, вероятно, связаны между собою¹⁸⁶; хотя предположение о том, что они возникли независимо друг от друга, возможно, но оно маловероятно; так как полное совпадение относительно сложных источников или их соответствующих частей между собою, т. е. совпадение их и по содержанию, и по форме, особенно в ошибках, сделанных в соответственно тождественных местах, маловероятно, если они независимы, то в случае их совпадения можно, значит, предполагать существование некоторой зависимости между ними; если историк замечает такое совпадение или большое сходство в характерных особенностях двух или нескольких источников или их соответствующих частей, он имеет основание заключить о вероятной зависимости одного от другого или вообще, или в некоторых их частях.

Высказанное общее положение можно выяснить хотя бы на следующем схематическом примере. Положим, что историк сравнивает источники *M* и *N*, касающиеся одного и того же сложного комплекса фактов *S*, и замечает, что авторы источников *M* и *N* (положим, *A* и *B*) при описании *S* упоминают только об одних и тех же фактах *m*, *n*, *o*, *p*, *q*,... в одной и той же последовательности. Вероятность, что *B* независимо от *A* упомянет из данного сложного комплекса фактов *S* те самые факты, положим, *m*, *n*, *o*, *p*, *q*,..., которые принял во внимание и *A*, мала, если выбор и последовательность их, в обоих случаях тождественны.

¹⁸⁶ Ср. ниже, в § 3, о совпадении показаний, которое следует отличать от совпадения исторических источников.

венные, обусловлены не только логическим ходом мыслей или фактической связью событий, но и более или менее субъективным, произвольным отношением к ним. Такая вероятность, кроме того, быстро убывает в зависимости от возрастания сложности комплекса S , от числа фактов m, n, o, p, q, \dots , которые остановили на себе внимание обоих авторов, и от степени субъективности или произвола в их выборе и расположении, а также в их оценке. Итак, совпадение N с M или M с N при вышеуказанных условиях весьма маловероятно; такое совпадение приходится толковать зависимостью N от M или M от N . Следовательно, можно в совпадении подобного рода усматривать основание для того, чтобы говорить о вероятной зависимости одного источника от другого даже при некотором различии в их форме. Полное совпадение в ошибках, сообщаемых двумя (или несколькими) источниками, если ошибочность их уже доказана, тем более может служить признаком заимствования; если B сделал в соответственно тождественных местах источника N те же самые ошибки, что и A в источнике M , то предположение, что B заимствовал свои ошибки из M или что A заимствовал свои ошибки из N , более вероятно, чем предположение, что A и B сделали те же ошибки совершенно независимо друг от друга. Степень вероятности такого заключения, конечно, зависит и от числа совпадений, и от значения, какое исследователь придает сделанным в источниках ошибкам.

Впрочем, совпадения между источниками могут иметь различные степени. Полное совпадение, конечно, предполагает тождество или, по крайней мере, большое сходство содержания и формы источников, взятых в полном их составе; но при некотором сходстве в форме, например, отдельных выражений (вроде «datum» и «actum» в грамотах или «obit» в летописях) нельзя еще говорить о зависимости их содержания; и наоборот, при некотором различии в форме можно признавать зависимость одного источника от другого по содержанию; ведь можно в известной мере изменить его форму или облечь его в иную форму, более пригодную для данной цели; в частности, хотя бы для того, чтобы скрыть его зависимость по существу от другого источника.

Таким образом, для установления зависимости, в какой источники данной группы находятся, историк принимает во внимание совпадение между источниками вообще или в некоторых их частях, различая сходство их по содержанию от сходства их по форме.

Легко заметить, однако, что совпадение источников получает значение для суждения о подлинности или неподлинности источников или составных частей каждого из них лишь в том случае, если оно объясняется предполагаемой реальной зависимостью одного источ-

ника от другого. Действительно, критический анализ состава источников опирается не только на вышеуказанные основные принципы, но и на особое понятие, а именно на понятие о реальном взаимоотношении источников, т. е. о группе источников, зависящих один от другого или друг от друга, а потому и сходных между собою. В самом деле, при критическом анализе состава источников историк уже исходит из понятия о группе источников, находящихся в таком именно взаимоотношении, и, пользуясь понятием о нем, выясняет эмпирическим путем характер той именно реальной зависимости, в какой они находятся в действительности; представляя себе целую группу источников, «родственных» между собою, историк-критик определяет подлинность или неподлинность источника, принадлежащего к этой группе, или составных его частей.

При построении группы связанных между собою источников нельзя, однако, точно установить зависимость между ними, не зная, какой из них основной, т. е. не зависит от других, и какие, напротив, стоят в более или менее близкой или отдаленной зависимости от него. Вообще, если историк может удовлетворительно объяснить весь источник *B* или некоторые части в источнике *B* лишь предположением, что его составитель пользовался источником *A* или соответствующими частями источника *A*, то он и получает основание признать зависимость источника *B* от источника *A*.

Такое заключение получает несколько большую обоснованность, если исследователь может доказать, что место возникновения основного источника *A* действительно соответствует его предположениям, т. е. что основной источник *A* появился в более культурном центре, чем производный *B*, а главное, возник раньше *B*, т. е. действительно предшествовал *B* во времени; в сомнительных случаях преемство родственных источников во времени может иметь большое значение для установления генеалогической связи между ними, т. е. для вывода, что *B* зависит от *A*, а не *A* от *B*; наконец, то же заключение получает еще большую вероятность, если исследователь имеет основание представить себе такую зависимость в смысле причинно-следственной связи, т. е. действительно подыщет те условия и мотивы, которыми он может объяснить заимствования, какие составитель *B* сделал из *A*; в последнем случае критик уже представляет себе *A* условием, при наличии которого составитель *B* испытал мотивы, побудившие его образовать продукт *B*, и действительно образовал источник *B*.

С указанной точки зрения, можно, пожалуй, формулировать и понятие о подлинности или неподлинности данного источника или его частей: тот источник, который не зависит от какого-либо другого ис-

точника, признается подлинным; и наоборот, в той мере, в какой источник оказывается зависимым, он считается неподлинным; то же, разумеется, можно сказать и о частях источника¹⁸⁷.

Установление подлинности или неподлинности составных частей источника в только что указанном смысле равносильно установлению в пределах данной группы самостоятельности или зависимости частей данного источника от соответственных частей других родственных ему источников. С такой точки зрения, можно сказать, что критический анализ состава источника сводится к определению степени зависимости его от других источников.

Возьмем схематический пример, на котором можно разъяснить сказанное.

Вообразим, например, что источники *A*, *B* и *C* по разложению каждого из них на части представляются в следующем виде:

$$\begin{aligned} A &= a_1 + a_2 + a_3 \dots + a_n \\ B &= a_1 + b_1 + a_2 + b_2 \dots + b_n \\ C &= a_1 + c_1 + a_3 + c_2 + a_4 + c_3 \dots + c_n. \end{aligned}$$

При рассмотрении *A*, *B* и *C* в их разложениях легко заметить, что между элементами одного и того же вида — *a* или *b* или *c* и т. п. — больше единства, чем между их сочетаниями вида (*a* + *b*) или (*a* + *c*) и т. п., и что, следовательно, *A* отражает большее единство сознания, чем *B* или *C*; *B* обнаруживает некоторую разъединенность сознания его составителя, так как содержит два ряда элементов, перебывающих один другой, причем каждый из рядов (*a*₁ + *a*₂ + ...) и (*b*₁ + *b*₂ + ... + *b*_{*n*}) состоит из элементов, представляющих некоторые черты сходства между собою; *C* также обнаруживает некоторую разъединенность сознания его составителя, так как сложный ряд образующих его элементов (*a*₁ + *c*₁ + *a*₃ + *c*₂ + *a*₄ + *c*₃... + *c*_{*n*}) получился путем скрещивания двух рядов, из которых один — с пробелами. Вместе с тем на основании критериев соответствия с культурой и индивидуальностью можно понять *B* и *C* в некоторых из их особенностей, положим, лишь приняв во внимание, что составители их, каждый по-своему, пользовались *A*, т. е. что составитель *B* дополнял *A*, а составитель *C* сокращал *A*; с такой точки зрения, можно, например, объяснить наличие в *B* и *C* посторонних им элементов, порядок их расположения в *B* и *C*, соответствующий в каждом из них порядку расположения тех же элементов в *A*, сходство их расположения в *B* и *C* и т. п. Заключение о зависимости их от *A*, впрочем, подкрепляется еще рассмотрением обратного предположения —

¹⁸⁷ Ср. выше, с. 438–439.

о зависимости *A* от *B* или *C* или же о зависимости *A* и от *B*, и от *C*; при указанных условиях оно хотя и возможно, но маловероятно. В самом деле, предположение, что *A* — производный источник от источника *B* или *C*, возможно лишь при том условии, если составитель *A* систематически выпускал элементы, характеризующие *B* или *C*, а в последнем случае сверх того еще вставлял элементы, недостающие для образования группы $(a_1 + a_2 + a_3 \dots + a_n)$; но такая возможность маловероятна: для получения *A* из *B* или *C* составитель *A* должен был бы восстановить единство данной группы элементов $(a_1 + a_2 + a_3 \dots + a_n)$, уже утраченное в *B*, а тем более в *C*; но при такой постройительной работе и особенно если принять, что составитель *A* не имел в виду научно восстановить группу $(a_1 + a_2 + a_3 \dots + a_n)$, а просто пользовался *B* или *C*, трудно допустить, что составитель *A* не обнаружил бы никаких признаков самостоятельной мысли и не внес бы каких-либо, хотя бы слабых изменений в группу $(a_1 + a_2 + a_3 \dots + a_n)$, т. е. что он не взял бы для составления *A*, положим, элемент вида a'_x , а не a_x из *B* или *C*, или не присовокупил бы к виду *a* какой-либо случайно захваченный или измененный элемент *b* или *c* вида b'_x , c'_x и т. п.; при вышеуказанных условиях трудно допустить и то, что источник *A* меньше соответствует данной культуре и индивидуальности его автора, чем более разьединенные по своему составу источники *B* или *C*. Наконец, еще труднее признать, что *A* зависит и от *B*, и от *C*, так как в последнем случае составитель *A* должен был бы систематически выпускать некоторые элементы, характеризующие соответственно *B* и *C*, для получения одного и того же результата, что не имело бы смысла, и следовательно, с такой точки зрения, один из источников — *B* или *C* — на основании замечаний, уже сделанных выше, все же представлялся бы зависимым от *A*. В силу подобного рода соображений можно придти к следующему заключению: гипотеза, что в данной группе источников *A*, *B* и *C* источник *A* — основной, а *B* и *C* — зависимые от него, гораздо более вероятна, чем обратная гипотеза, что *A* зависит от *B* или от *C* или же от *B* и от *C*. Если, сверх того, историк может доказать, что *A* возникло в более культурном центре, а в особенности раньше, чем *B* и *C*, он может в случае нужды подкрепить свой вывод или свое предположение относительно производного характера *B* и *C*; а зная место и время возникновения *A*, *B* и *C* и индивидуальность их составителей, он может также объяснить реальную связь их продуктов и различия в них и, таким образом, окончательно утвердить свой вывод, что *A* — основной источник, а *B* и *C* — зависимые или производные от него. При рассмотрении источников, один из которых представляет еще большую сложность и образован, положим, из элементов тройкого, а не двойкого рода, ис-

торик, конечно, опирается на те же принципы, но соответственно осложняет свое рассуждение, смотря по тому роду зависимости, какая в данном случае наблюдается¹⁸⁸.

Те же принципы принимаются во внимание и при решении аналогичной проблемы о соотношении между производными источниками. Если например, историк имеет источник $A = a_1 + a_2 + a_3 \dots + a_n$ и замечает, что из двух зависящих от него источников B содержит элементы, которых нет в C (положил, a_2 и т. п.), а C содержит элементы, которых нет в B (положим, a_k и т. п.), то он полагает, что B и C , по крайней мере в известных частях, не зависят друг от друга; при общей их зависимости от A более вероятно предположение, что различия их по a , особенно при достаточном их количестве и значении, находятся в связи с такою их зависимостью, чем предположение, что каждый из них сокращал или добавлял другой как раз теми элементами, которые уже даны в A ; но вывод подобного рода не исключает, конечно, возможности при наличии известных данных относительно B и C , сходных с теми, какие были разобраны выше, придти к гипотезе, что C зависит от B по a или по b или B зависит от C по a или по c ; если, например, C содержит заимствования из A через посредство B , то C зависит от B по a ; если C содержит заимствования из B характеризующих его элементов, C зависит от B по b или если B содержит заимствования из C характеризующих его элементов, B зависит от C по c , и т. п.

Следует заметить, однако, что число возможных случаев зависимости между источниками или их частями возрастает гораздо быстрее числа самих источников или их частей и что, значит, с увеличением последнего решение вопроса, какое из возможных сочетаний наиболее вероятно, становится все более затруднительным. Вместе с тем нельзя упускать из виду и качественное разнообразие такой зависимости, еще более осложняющее исследование: источник B может, например, быть копией с источника A , или содержать заимствования из A , или оказаться более или менее вольным подражанием A . Степень зависимости B от A также может быть различной: B может зависеть от A целиком или в некоторых частях; при составлении источника N автор может более или менее пользоваться одним из собственных своих произведений (положим, P) или чужим произведением R ; он может более или менее перерабатывать то, что он заимствует, или то, чему он подражает, соответственно видоизменяя части P или R ; он может допускать такие изменения в одной только их форме, или вкладывать несколько иное содержание в их форму, или переделывать

¹⁸⁸ См. ниже, § 2.

и содержание, и форму *P* или *R* и т. п. Ввиду такого разнообразия далеко не всегда удастся точно определить ту именно зависимость между источниками, которую можно с наибольшей вероятностью признать бывшей в действительности, и приходится довольствоваться лишь более или менее правдоподобными догадками о ее характере.

Приемы, указанные выше, применяются к изучению самых разнообразных источников, например статуи, известной по копиям; картины, написанной на основании различных исторических преданий; документа, включающего элементы традиции; хроники, отчасти заимствованной из других источников; но они чаще всего прилагаются к критике летописных сводов. В качестве частных примеров ее можно указать на исследования, установившие зависимость Магдебургских анналов от Розенфельдских, или анналов Саксона и Магдебургских от хроники Эккегарда, или зависимость первого Киево-Печерского свода и древнего Новгородского свода от древнейшего Киевского свода по различным спискам.¹⁸⁹

Таким образом, объясняя известные случаи совпадения данных источников или их частей их зависимостью, можно уже подойти и к построению группы связанных между собою источников; но для надлежащего ее построения следует иметь в виду и те более специальные задачи, которые оно себе ставит, а также те приемы, которыми оно проводится.

Вообще, можно сказать, что построение группы «родственных» источников состоит прежде всего в установлении того из них, который признается «архетипом», оригиналом или основным источником, повлиявшим на возникновение остальных производных членов группы, т. е. воспроизведенных с него копий или источников, содержащих заимствования из него, и т. п.; далее, такое построение нуждается в изучении соотношения, в каком зависимые источники находятся между собою; наконец, по выяснению того положения, какое каждый из них занимает в группе, построение ее завершается в виде схемы, наглядно обнаруживающей изученные их соотношения.

Решение таких задач достигается при помощи общего приема, который можно назвать критикой составных частей источника; она стремится выяснить, можно говорить о подлинности или неподлинности такого источника как целого или следует высказывать суждения подобного рода лишь порознь о каждой из частей, входящих в его состав; в последнем случае она и пытается определить, какие из них под-

¹⁸⁹ *Bernheim E.* Lehrbuch. S. 421 ff.; *Шахматов А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908. С. 419, 420–423, 532 и др.

линные, какие неподлинные. Критика составных частей источника и дает возможность установить архетип данной группы родственных источников, выявить род зависимости, какая существует между ее членами и облегчает построение ее схемы.

Без «архетипа» или основного источника, очевидно, нельзя дать законченного построения группы связанных между собою источников. Установление его оказывается операцией, сравнительно элементарной или сложной, смотря по тому, сохранился он в действительности или не сохранился; если он сохранился, нужно разыскать его, т. е. в сущности доказать, что один из источников данной группы и есть архетип; если он не сохранился, можно, по крайней мере в некоторых случаях, восстановить его. Следовательно, рассматриваемая операция состоит или в разыскании, или в восстановлении архетипа.

Разыскание архетипа проводится, конечно, на основании общих критериев подлинности или неподлинности источника: оно состоит в различении оригинала от его копий, или от сделанных из него заимствований, или от более или менее вольных подражаний ему и т. п.

Различие между оригиналом и копией проводится при помощи вышеуказанных критериев.

С точки зрения критерия единства сознания, например, нельзя отождествить данное оригинальное произведение с его воспроизведением, т. е. с его копией, как бы совершенна она ни была. Вообще, поскольку единство сознания, обнаружившееся в личном индивидуальном акте творчества и запечатлевшееся в данном произведении во всей полноте его индивидуальности, не приписывается составителю копии, всецело не отражается в ней, она не может быть признана оригиналом. Копия, хотя бы безупречно исполненная самим автором, очевидно, не может обнаружить той степени единства его сознания, какое отразилось в оригинале; при составлении копии творчество автора и его деятельность не могут представить того цельного и независимого состояния сознания, которое существовало при возникновении подлинника, т. е. продукта, в котором индивидуальный акт творчества и его исполнение слились воедино. Копия, даже точно воспроизведенная, тем и отличается от оригинала, что составление ее не требует такой степени единства и независимости: исполнение ее может оставлять ее составителю некоторый излишек психической энергии, благодаря которому мысль его отвлекается в сторону от исполняемой им работы. В последнем случае, однако, нетрудно заметить иногда мелкие погрешности в ее исполнении, уже явно обнаруживающие отсутствие в ней единства сознания, с точки зрения требований которого только и можно говорить о подобного рода погрешностях;

и чем сложнее объект подражания, тем менее оно в состоянии соблюсти единство оригинала и тем легче допускает индивидуальные отклонения от него¹⁹⁰. Правда, известны случаи, когда один и тот же творец повторялся в своих произведениях; но даже если вообразить, что два или несколько его произведений можно было бы признать тождественными, надобно различать повторение одного и того же акта творчества от повторения одного и того же произведения. При повторении одного и того же акта творчества его произведения не зависят друг от друга; при повторении одного и того же произведения, напротив, предшествующее служит образцом для последующего или одного из последующих. Не говоря о том, что повторение одного и того же акта творчества едва ли мыслимо (второй акт уже нетворческий в том именно смысле, в каком первый акт будет таковым, хотя бы потому, что он уже имеет свой прецедент), в действительности повторение одного и того же акта творчества едва ли может иметь место независимо от влияния на него памяти о предшествующем образце; значит, и в таких случаях можно говорить о подражании, принимающем форму самоподражания, и в известной мере применять к нему сказанное выше. С тем большим основанием можно придти к подобному же заключению относительно копии, сделанной с чужого оригинала; подражатель не производит оригинала, а только (в лучшем случае) воспроизводит чужой оригинал; наличие в его сознании представления о «чужом» образце уже делает его сознание менее объединенным, чем если бы такое представление было его собственным и по его содержанию; кроме того, раз образец уже дан, то и сознание подражающего далеко не так тесно связано с ним: оно может уклоняться в сторону, что также нарушает его единство. Следовательно, нельзя приписывать полного единства сознания составителю копии: отсутствие такого единства, надо полагать, соответственно отражается и в его продукте.

Следует заметить, что различие между оригиналом и копией проводится и при помощи критерия соответствия: произведение, в вы-

¹⁹⁰ Ввиду известной познавательной цели можно, конечно, заменять оригинал механически точным его воспроизведением, например, путем фототипии или печатания, что, однако, еще не ведет к отождествлению понятия об оригинале с понятием о его копии, хотя бы и механически точно воспроизведенной; лишь для той именно цели, которую исследователь ставит себе, он может признать значение их одинаковым; но и в последнем случае он не может отождествлять оригинал с копией: иначе он будет обращаться с копией как с оригиналом и, значит, забыв, в каком именно отношении он только и считает возможным признать значение их одинаковым, легко может, таким образом, впасть в целый ряд ошибок.

шеуказанном смысле соответствующее не той культуре и индивидуальности, к которой оно будто бы относится, вызывает предположение, что оно неподлинное, т. е. что оно не оригинал, а подражание ему, копия его, более или менее совершенная. В самом деле, историк часто называет копией тот источник, который возник не в том месте и не в то время, к которым он будто бы относится; он признает копией, например, греческую рукопись, писанную, однако, итальянским почерком позднейшего времени, или латинскую рукопись, представляющую местные или позднейшие уклонения в формах и выражениях речи. Само собою разумеется, что историк придает большое значение и индивидуальному характеру работы (в частности, почерку) и считает копией рукопись, писанную «чужим» почерком¹⁹¹.

В действительности, однако, не всегда легко определить, имеем мы дело с оригиналом или с копией. Многие итальянские художники, например, делали хорошие копии, иногда весьма близкие к оригиналам: Андреа дель Сарто сделал для Фридриха II, герцога Мантуи такую копию с известного портрета Льва X, писанного Рафаэлем, что ученик последнего Джулио Романо принял картину за подлинник и только после того, как Джуоржио Вазари указал ему на марку Андреа дель Сарто, поставленную им на оборотной стороне холста, должен был отказаться от своего мнения. Аналогичные примеры можно привести и из другой области: специалисты заявляли, что они не в состоянии отличить автографы Людовика XIV от автографов его секретаря («*secrétaire à la main*»)¹⁹².

В большинстве случаев, однако, копия (снимок или список) не может воспроизвести оригинала; она лишена свежести творчества, утрачивает «дух оригинала», допускает уклонения от него в разных деталях, более или менее характерных, отдает ремеслом, иногда носит на себе следы личных вкусов копииста и т. п. В виде примера достаточно припомнить хотя бы те старинные римские копии произведений древнегреческой пластики, по которым историку искусства нередко приходится составлять себе представление о последних, или те ошибки, в которые впадают переписчики при списывании чужого труда или типографии при его издании.

Впрочем, соотношение между оригиналом и копиями предполагает, что каждая из них повторяет оригинал или что каждая из последующих

¹⁹¹ *Rosenmund R.* Die Fortschritte der Diplomatik seit Mabillon. München und Leipzig, 1897. S. 62, 69, 79. Ср. выше, с. 351.

¹⁹² *Bertillon A.* La comparaison en écriture // *Rev. Scient.* 1897. Décembre 18. P. 783; речь идет об известных торговцах рукописями — «*les Charavay*»; один из них известный «архивист-палеограф».

повторяет предыдущую или одну из предыдущих. В повторениях подобного рода могут быть, однако, разногласия; но в той мере, в какой копия существенно отличается от оригинала, ее уже нельзя назвать копией: она оказывается источником сложного состава, который, смотря по степени и характеру уклонений от оригинала, может более или менее отличаться от копии или оказывается новым источником.

Различие между оригиналом и сделанными из него более или менее значительными заимствованиями проводится, конечно, на тех же основаниях; но оно и само по себе гораздо более заметно. Оригинал, разумеется, отличается большим единством, чем сделанные из него, часто довольно отрывочные заимствования; заимствующий, например, ссылается иногда на чужое произведение, или приводит дословно выдержки из него, или недостаточно сливает их с контекстом, или неудачно сокращает или пополняет то, что заимствует, или плохо понимает заимствуемое. Оригинал может отличаться от сделанных из него заимствований и с точки зрения меньшего несоответствия его частей с одной и той же культурой или с той индивидуальностью, которая делает заимствование, и т. п.; за исключением разве инстинктивного воспроизведения чужих рефлекторных актов, заимствующий нередко уклоняется от формы и языка, стиля и содержания оригинала; он часто вносит в свой труд собственное свое творчество; и хотя бы проявления его были ничтожны или обнаруживались всего чаще лишь в мелочах или в частностях, по ним уже можно, однако, судить о том, с чем имеешь дело — с оригинальным продуктом или с заимствованием из него и т. п. Всемирно-историческая хроника, известная под названием «Cosmidromius», содержит, например, немало заимствований, иногда довольно резко бросающихся в глаза: под 783 и 784 годами составитель ее — Гобелин Персон — явно и весьма неудачно сводит известия франкских анналов, далее сливает рассказы Титмара Мерзебургского и «Vita Meinweri» о римских путешествиях императора Генриха II воедино и, таким образом, из двух поездок делает одну; смешивает короля Людовика Дитя с королем Людовиком Сильным Бургундским и т. п., т. е. делает промахи, которые и обнаруживают следы неудачной сводки разных известий¹⁹³.

Впрочем, при исследовании подобного рода соотношений можно также встретить немало затруднений: заимствующий, например, может и не сознавать вполне ясно, что он заимствует, или даже скрывает свою зависимость. В своих комментариях к механике Аристотеля Бальди ссылается, например, на целый ряд трудов, которыми он поль-

¹⁹³ Cosmidromius Gobelini Person, ed. M. Jansen. Münster 1900. S. XLIX–L.

зовался, но не упоминает, что многими оригинальными воззрениями на механику он обязан Леонардо да Винчи, хотя он, по всей вероятности, и почерпнул их из трудов великого мыслителя¹⁹⁴.

С аналогичной точки зрения, можно рассуждать и о различии между оригиналом и о более или менее «вольным» или «манерным» подражанием ему. Сравнивая, например, два послания — к колоссянам и ефессянам и замечая между ними сходство, один из современных критиков пытается выяснить связь между ними; послание к колоссянам производит более цельное впечатление, чем послание к ефессянам; последнее более развито и высказывает те же положения в преувеличенном виде; послание к колоссянам хорошо соответствует историческим обстоятельствам, при которых оно было написано, и изобилует подробностями; послание к ефессянам, напротив, гораздо менее определено; вообще все то, что отличает послание к колоссянам от остальных посланий апостола Павла, еще более подчеркнуто в послании к ефессянам; на основании таких соображений критик и приходит к заключению, что послание к колоссянам — «оригинал», а послание к ефессянам — «подражание» ему¹⁹⁵.

Восстановление предполагаемого архетипа данной группы зависимых источников проводится, конечно, на основании общих критериев, рассмотренных выше, но представляет гораздо более затруднений, чем его разыскание: они менее значительны, когда оригинал восстанавливается по его копиям, и напротив, оказываются весьма существенными, когда приходится судить о нем лишь по заимствованиям, сделанным из него в других источниках.

Критика, восстанавливающая по копиям подлинный вид испорченных частей источника, т. е. отдельных его мест, прилагается и к остаткам культуры (например, плохим или неудачно реставрированным «репликам»), и к историческим преданиям. В том случае, когда критика стремится восстановить подлинный вид исторического предания, закрепленного письменными знаками, она может быть названа «критикою текста».

Критика текста, в сущности, изучает его историю со времени его возникновения и до того времени, когда он подвергается научному исследованию, с целью восстановить в подлинном виде испорченное его чтение. Поправки текста часто оказываются нужными ввиду того, что подлинник утрачен и что судить о нем приходится лишь по сохранившимся копиям или даже по копиям с копий, или по старин-

¹⁹⁴ *Duhem P.* Op. cit. T. I. P. 100–108.

¹⁹⁵ *Renan E.* St. Paul. Par., 1869. P. XVI–XVII.

ным изданиям, имеющим с ними аналогичное значение. Итак, задача «критики текста» состоит в том, чтобы по возможности восстановить его подлинный вид в первоначальной его «чистоте», что, разумеется, иногда сводится лишь к тому, чтобы возможно более приблизиться к ней. В одном тексте из «Законов» Платона, например, все списки дают слово «ἐνθεαστήχον»; но такое слово вообще не встречается у Платона и не подходит к данному месту; отсюда можно заключить, что чтение «ἐνθεαστήχον» не согласуется с подлинным словоупотреблением Платона; наоборот, оно оказывается любимым термином у неоплатоников и соответствует принятой ими терминологии; следовательно, можно предполагать, что чтение «ἐνθεαστήχον» неподлинное: оно, вероятно, «гlossenма» одного из неоплатоников¹⁹⁶. Впрочем, не входя в подробное рассмотрение всех приемов критики текста или поправок, достаточно лишь указать здесь на главнейшие из них.

Критика текста характеризуется особыми приемами; главнейшие из них состоят в принятии известного чтения, а в случае нужды и в его исправлении; такие операции можно назвать соответственно рецензией и эмендацией текста.

Принять чтение — значит признать его единственно возможным или наилучшим из данных.

Если известное «место» действительно сохранилось только в одном списке или старинном издании, что, впрочем, можно утверждать лишь после предварительного расследования, остается принять данное в нем чтение, хотя бы оно и требовало последующего исправления¹⁹⁷.

Если изучаемое «место» сохранилось в нескольких списках или изданиях, сделанных помимо автора, выбор наилучшего чтения становится в зависимость от целого ряда предварительных работ: нельзя выбрать наилучшее чтение, т. е. то, которое следует признать подлинным или ближе остальных подходящих к нему, не приняв во внимание внутреннего достоинства каждого из списков и предварительно не выяснив, какие из них независимы и какие, напротив, зависят друг от друга. Восстановление чтения по переводам, схолиям, цитатам и т. п. также может достигнуть значительной сложности, если произведение данного автора, например Гомера, Платона, Аристотеля, пользовалось популярностью и распространялось в большом количестве списков даже в позднейшее время.

¹⁹⁶ Boeckh A. Op. cit. S. 182; речь идет о Plat. Leges, III, 682 A.

¹⁹⁷ Gercke A. und Norden E. Einleitung in die Altertumswissenschaft. Bd. I (1910). S. 39–40; «Афинская полития» Аристотеля, 5-я декада Ливия и др. известны, например, по одной только рукописи.

В случае если принятое чтение все же вызывает некоторое сомнение в его подлинности, оно подвергается эмендации: последняя имеет в виду восстановить чтение в подлинном его виде, т. е. в том его окончательном виде, какой сам автор придал ему в своем произведении, хотя бы и с теми ошибками, которые сам он допустил в нем, если только они не случайного происхождения. Вообще, при эмендации первоначальный текст восстанавливается по сохранившемуся в источнике испорченному месту, главным образом, путем двоякого рода операций: за отсутствием лучших терминов можно назвать их конъектуральной и текстуальной эмендацией.

В той мере, в какой конъектуральная эмендация оказывается критикой, а не интерпретацией, она состоит не столько в научнообразном угадывании наиболее правильного чтения по эмпирически данному неправильному, сколько в выяснении того, насколько предполагаемое чтение отдельных слов, выражений и т. п. можно признать подлинным, т. е. первоначальным, или более близким к нему, чем данное испорченное чтение. При конъектуральной его эмендации приходится обращаться к изучению ошибок (обмолвок или описок) и дефектов (пробелов или пропусков), допущенных самим автором или писцом, их источников и последствий¹⁹⁸. С такой точки зрения, историк принимает в расчет возможные ошибки автора или писца в написании или передаче текста и те условия, которыми объясняется небрежность или непонимание того или другого из них; он объясняет ошибки переписчиков палеографическими особенностями предполагаемого оригинала, языком на котором он был написан, произношением слов и т. п.; он обращает внимание на смешение одного начертания, слова и т. п. с другим; для очистки текста от таких искажений он прибегает к сравнительному изучению рукописей и их палеографических особенностей, старейших изданий, а также схолий и цитат, в которых текст более или менее сохранился, и не упускает из виду

¹⁹⁸ *Schleiermacher F. Herm. und Kr. S. 284–322.* Происхождение таких «механических» ошибок весьма разнообразное: диктующий мог оговориться или пишущий допустил опisku, или один из них что-либо просмотрел в оригинале или прочел его ошибочно; или писец забыл, что он уже написал раз то, что он пишет, или вообразил, что он уже написал то, чего не писал (например, не повторивши слога, который следовало удвоить или допустивши другие пробелы), или переставил что-либо, или смешал одно с другим, или ошибочно раскрыл аббревиатуру или плохо разъединил, или напрасно слил слова, или небрежно расставил знаки препинания и т. п. Подробности о возникновении и родах подобного рода ошибок см.: *Blass F. Op. cit. S. 252–274.*

переводов с подлинника, пересказов и даже подражаний оригинальному тексту, иногда намекающих на то чтение, какое подражающий мог иметь перед глазами, и т. п.

В отличие от конъектуральной эмендации, текстуальная состоит в исправлении состава текста, т. е. произвольно сделанных в нем перестановок, опущений, добавлений и т. п.; она обнаруживает элиминации, возникающие, например, в тех случаях, когда ученый принимает подлинную поправку самого автора за неподлинную и опускает ее из текста или вскрывает наличие интерполяций, которые состоят большей частью из чужих толкований (глосс или глоссем), внесенных в текст¹⁹⁹. При текстуальной эмендации историк пользуется, конечно, приемами, аналогичными с только что указанными: с такою целью он обращается, например, к рассмотрению палеографических, а также стилистических признаков, отличающих собственно поправки от остального текста; он также исследует их содержание, не всегда согласованное с ним, хотя и должен иметь в виду, что последнее может быть вызвано и другими обстоятельствами, например позднейшими исправлениями самого автора, не приведенными в соответствие с прежней редакцией; само собою разумеется, что в случае нужды он обращается и к сопоставлению данного места с его переводами, пересказами или подражаниями и т. п.

Много образцов и примеров подобного рода исправлений, сделанных путем конъектуральной и текстуальной эмендации, можно найти в научной обработке, какой подвергались тексты Священного Писания, произведения классических авторов, например Гомера, Демосфена, Лукреция и других, некоторые из средневековых хроник XI–XII вв. и т. п.²⁰⁰

¹⁹⁹ Впрочем, поправки, называемые произвольными (в противоположность случайным), нельзя смешивать с произвольно, т. е. без критики, внесенными в текст, или с намеренными поправками: писец мог произвольно внести вписанное между строками или приписанное на полях в текст, не входя в рассмотрение вопроса о том, принадлежит писанное автору или не принадлежит, и без намерения «исправить» или исказить текст; произвольная поправка может оказаться, однако, и намеренной, например, может быть сделана позднейшим полуученым и получить характер элиминации или интерполяции.

²⁰⁰ *Madvigius H. N. Adversaria critica ad scriptores graecos et latinos, v. I* (Hauniae, 1871); *praemittitur artis criticae coniecturalis adumbratio* (P. 1–184). В своей «adumbratio» автор, главным образом, выясняет причины и разновидности ошибок (*mendorum*) в рукописях древних авторов и способы их исправления, а также «*probabilitatis criticae in rebus grammaticis aestimandae leges*», поясняя

Вообще, при эмендации текста историк прибегает к самым разнообразным соображениям и приемам, которые, разумеется, не всегда укладываются в вышеуказанные рамки и находятся в зависимости от всевозможных случайностей, каким данный текст подвергался в течение более или менее долговременного своего обращения; да и помимо самих текстов, приходится применять такие же приемы и к цитатам или схолиям, к далеко не всегда удачным эмендациям старинных справщиков или даже новейших ученых и т. п.

Восстановление архетипа получает еще более сложный характер, если он не сохранился не только в оригинале, но и в копиях, и если можно судить о нем лишь по заимствованиям, сделанным из него в источниках сложного состава. Следовательно, для того чтобы восстановить архетип по таким источникам, нужно каждый из них подвергнуть критике состава, т. е. выяснить, можно относить суждение о подлинности или неподлинности источника ко всему источнику, уже очищенному от искажений и поправок и взятому в его целом, или только к отдельным его частям, взятым порознь.

На основании вышеуказанных принципов историк вырабатывает признаки сложного состава источника и прибегает к техническим приемам его исследования: кроме прямых указаний на заимствования, он замечает, например, некоторую разъединенность частей или противоречия в показаниях одного и того же источника; разли-

свои правила множеством примеров их приложения. См. еще: *Gercke A. Op. cit. // Neue Jahrbücher für das Klas. Altertum. Bd. VII (1901). S. 5 ff., 80 ff.* Само собою разумеется, что при совершении подобного рода операций критик текста нуждается в широком и глубоком знакомстве с языком и его законами, в частности с правилами литературно-художественной техники, стихосложения и т. п., не говоря о знании истории, быта и т. п., что, например, легко заметить в знаменитых работах Германа, Лахмана и Ритчля над восстановлением подлинного текста Эсхила, Лукреция и Плавта, а также в трудах других ученых, например Валена (*Vahlen*) и Бюхелера, показавших, что без правильного понимания текста нельзя подвергать его надлежащей критике. В самом деле, правильная интерпретация источника предостерегает от чрезмерного увлечения эмендацией и дает возможность, между прочим, выяснить те последовательные изменения, которые сам автор вносил в свое произведение (перестановки, сокращения, вставки и т. п.) и которыми он иногда нарушал прежнее его единство и проч.; возникающие отсюда ошибки все же признаются «подлинными исправлениями» самого автора и, значит, не подлежат эмендации в качестве неподлинных; см.: *Gercke A. Op. cit. // Neue Jahrbücher für das klassische Altertum. Bd. VII (1901), особенно S. 102–112.*

чие находящихся в нем оценок одного и того же факта или однородных фактов; запутанность изложения, хотя бы, положим, непоследовательность в хронологическом порядке рассказа, вообще принятом в данном источнике; повторения одного и того же известия в разных местах; резкость стилистических переходов и т. п.; он пытается объяснить такую смесь сложным составом изучаемого источника, для чего и обращается к разложению источника на его части, разыскивает более или менее значительные совпадения его с другими источниками, изучает те его уклонения, которые без сопоставления его с другим, основным источником оказываются непонятными, и т. п.²⁰¹

При изучении такой зависимости историк, значит, стремится восстановить основной источник данной группы: путем критики состава производных источников он пытается выделить из них те элементы, которые могли быть заимствованы из основного, и, принимая во внимание связь между найденными отрывками, может иногда восстановить архетип. В самом деле, изучая каждый из производных источников, он пользуется косвенными указаниями на утраченный оригинал, например, явной связью между порванными частями в формальном, грамматическом, синтаксическом или стилистическом отношениях, внутреннюю связью между ними по содержанию, положим, естественным ходом мысли или хронологическую последовательностью рассказа, тенденцией, ссылками в одном месте на другое и т. п.; он выделяет такие части, подходящие друг к другу или неразрывно связанные между собою, и из них гипотетически восстанавливает содержание, а иногда (при благоприятных условиях) даже форму источника. В настоящее время такие приемы часто применяются для реконструкции утраченного архетипа, например, подлинной статуи или картины по современным копиям или рисункам с нее; подлинной старинной народной песни по позднейшим ее формациям в детских песнях; подлинной грамоты по позднейшим ее подтверждениям; древнейшей летописи по позднейшим редакциям, в состав которых она вошла. Для примера можно указать на попытку реконструировать античную статую Афины времен Фидия по римской копии с бюста, сохранившейся в Болонском музее, и по плохо реставрированному торсу Дрезденского музея; или на реконструкцию античной картины Полигнота по рисункам на современных ему вазах, или на восстановление утраченного текста XII в., послужившего для составления нескольких других летописей того же времени, главным образом Гильдесгеймских и Кельнских летописей, а также известного труда Саксонского летописца; или на выде-

²⁰¹ *Bernheim E. Lehrbuch. S. 421 и след.; примеры см. там же.*

ление текста трех древнейших русских летописных сводов — древнейшего Киевского, первого Печерского и Новгородского²⁰².

Само собою разумеется, что восстановление архетипа не всегда возможно: оно едва ли осуществимо, например, если заимствования из него значительно переработаны или слишком ничтожны для того, чтобы позволительно было судить по ним об оригинале, или если намеки на него сохранились только в более или менее вольных подражаниях ему. В таких случаях приходится довольствоваться предполагаемым, но неизвестным архетипом, к которому зависящие от него источники должны возводиться, и с такой точки зрения, отказываться от построения цельной группы связанных между собою источников.

Принципы и приемы подобного рода построений также применяются и в тех случаях, когда нужно разыскать или восстановить несколько основных источников, от которых данный источник зависит. Такой источник, очевидно, производный от нескольких основных, подвергается критике состава: она устанавливает подлинность или неподлинность каждой из его частей порознь; она подвергает его анализу для того, чтобы возвести его к первоисточникам, вошедшим в его состав, и в такой зависимости выяснить подлинность или неподлинность частей, из которых он образован; она определяет, что именно источник *N* заимствовал из источников *A, B, C, ...*, и т. п. Дигесты, например, не содержат системы римского права, выработанной одним и тем же творцом: они состоят из выдержек, сделанных из произведений самых разнообразных юристов, писавших на протяжении более чем четырех столетий; следовательно, научно пользоваться дигестами можно было бы, если бы сохранившиеся отрывки одного и того же автора были собраны и критически обработаны, что и привело бы к возможности правильно судить о развитии системы римского права, вместо того чтобы более или менее искусственно строить ее из разновременных отрывков²⁰³.

В некоторых случаях, однако, такая критика принуждена ограничиваться лишь приблизительным установлением места или времени возникновения соответствующих частей источника, но не имеет возможности достаточно выяснить, из каких именно других источников они

²⁰² *Furtwängler A.* Meisterwerke der griechischen Plastik. Berl. u. Lpz., 1893. S. 4–6; ср. S. 6–11; *Schefer-Boichorst P.* Annales Patherbrunnenses etc. Innsbruk, 1870. S. 4 ff., 58–61. Падерборнские анналы, между прочим, вошли в состав труда Гобелина Персона, о котором см. выше, с. 490–491; *Шахматов А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908.

²⁰³ *Usener H.* Vorträge und Aufsätze. Lpz., 1907. S. 33.

заимствованы. В таком положении историк часто находится относительно карт, летописей и т. п. Старинная карта Певтингера, например, весьма сложного состава: она образовалась, вероятно, из разнородных источников и известий, полученных из разных мест и принадлежащих разным периодам: некоторые из них восходят приблизительно к эпохе Августа («*Orbis Pictus*»), другие — к правлению Траяна, третьи — к времени сыновей Константина; значит, при пользовании Певтингеровой картой нельзя забывать, что Италия и Галлия изображены на ней, главным образом, с теми областными делениями, какие установились при Августе; что Дакия представлена такою, какою она была при Траяне; что сеть дорожных путей с городами и стоянками, которые они связывали, прибавлена не без изменений в прежних легендах уже в IV в.; нельзя упускать из виду и некоторые позднейшие известия, относящиеся к царствованию Юстиниана, да и те добавления, которые были сделаны еще позднее — в XIII в.²⁰⁴. Аналогичные случаи можно, конечно, подобрать и в области летописей: при анализе, например, «Общерусского свода» 1423 г., вошедшего в состав Новгородского свода 1448 г. и других летописных компиляций, удалось установить, что он состоит из нескольких сводных летописей, а именно Южнорусской, Владимирской, Новгородской и Московской, а также содержит выписки из местных летописей — Московских, Новгородских, Тверских, Ростовских, Нижегородских, Рязанских, Смоленских и из других источников разновременного происхождения²⁰⁵.

Итак, построение группы связанных между собою источников состоит прежде всего в установлении архетипа; но такое построение нуждается и в дальнейшем выяснении того соотношения, в каком зависимые источники находятся между собою: ведь при разыскании или восстановлении архетипа приходится уже изучать такую связь, т. е. решать, какие из источников данной группы зависят только от основного и какие, сверх того, зависят от одного или нескольких производных; каков род зависимости между этими источниками, и т. п. Вместе с тем установление того, а не иного соотношения между зависимыми источниками служит и для проверки выводов, сделанных относительно архетипа; они принимаются или отвергаются, смотря по тому, приложима данная гипотеза к объяснению изучаемого соотношения между зависимыми источниками или не приложима.

²⁰⁴ *Desjardins E.* La table de Peutinger. Par., 1874. P. 66–72, 253–254 и др.; автор относит древнейшие части карты к времени Агриппы.

²⁰⁵ *Шахматов А.* Общерусские летописные своды XIV и XV в. // Жур. Мин. нар. просв. 1900, сентябрь и ноябрь и 1901, ноябрь. С. 52, 53–58 и др.

Построение такой зависимости проводится, конечно, на основании принципов и при помощи приемов, которые уже были рассмотрены выше, при изложении учения об установлении архетипа: исследователь рассуждает о зависимости источника *C* от источника *B*, подобно тому как он рассуждает и о зависимости источника *B* от источника *A*; но он не может упускать из виду, что в таких случаях *C* зависит и от *A* через посредство *B*, и т. п.

С такой точки зрения, историк располагает источники, принадлежащие к данной группе, в иерархическом порядке их зависимости один от другого: во главе ее он ставит, конечно, архетип, т. е. источник, в большей или меньшей мере лежащий в основе остальных, и делит их на подгруппы, каждая из которых соответственно отличается от других.

Ввиду указанной цели историк и приступает к изучению соотношения между копиями или старинными изданиями данного произведения и обращает особенное внимание на общие им ошибки: он исходит, например, из предположения, что полное совпадение в ошибках нескольких переписчиков, каждый из которых воспроизводил бы архетип, если только последний свободен от них, маловероятно и что, значит, тождество в двух или нескольких списках одних и тех же ошибок, сделанных в одних и тех же местах, свидетельствует в пользу общего их происхождения или в пользу зависимости одного из них от другого. На основании подобного рода соображений историк выясняет соотношения списков, прямо списанных с оригинала или друг с друга, древнейших и позднейших, иногда более исправных, чем древнейшие, а также чистых и смешанных и т. п.²⁰⁶ Такое соотношение зависит, разумеется, от количества списков, степени уклонения их от оригинала, их взаимозависимости и т. п. При критическом изучении текста Лангобардской истории Павла Диакона, которая не сохранилась ни в оригинале, ни в первоначальных четырех списках, например, можно образовать из остальных ее списков, число которых превосходит 100, 4 основных класса, в свою очередь распадающихся на несколько подклассов различных степеней²⁰⁷.

²⁰⁶ Gercke A. und Norden F. Op. cit. S. 42, 45, 49. Сказанное в тексте относится и к памятникам народной словесности, а не только к летописям и т. п.: версия «Золушки», записанная Перро (*Perrault*) во второй половине XVII в., например, оказывается менее древней, чем версии той же сказки, известные в Карелии и Шотландии и впервые записанные лишь два века спустя; см.: *Hartland E. Mythology and Folktales. Ld., 1900. P. 29.*

²⁰⁷ M. G., *Scriptores rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI–IX*, ed. 8° G. Waitz, Hanov., 1878. P. 28–42; стемму см. p. 43. Старинные издания (XV–XVII вв.) неред-

С аналогичной точки зрения, историк изучает и соотношения между основным источником и производными от него, а также между производными источниками, каждый из которых более или менее отличается от других по содержанию и, значит, имеет некоторую самостоятельность, привносит новые известия. В отличие от главного источника или основной редакции, он называет остальные подгруппы производными редакциями или изводами, причем, разумеется, должен иметь в виду, что каждая из них может быть представлена или одним, или несколькими списками; наши исследователи говорят, например, о первоначальной летописи Южного извода, т. е. о списке Ипатьевском и сходных с ним, или о первоначальной летописи Суздальского извода, т. е. о списке Лаврентьевском и сходных с ним.

Благодаря установлению подобного рода зависимости между источниками можно построить и общую схему их родства, т. е. «стемму» рукописей, или генеалогическую таблицу источников.

Смотря по тому, каковы характер и степень зависимости источников друг от друга, схемы их родства оказываются довольно разнообразными. Рассмотрим некоторые из важнейших типов подобного рода построений в их графических изображениях.

Вообще, можно различать (по крайней мере, в теории) одностороннюю зависимость *B* от *A*, от обоюдосторонней зависимости *B* от *A* и *A* от *B*, заметной, например, в том случае, если *A* известно в нескольких разновременных списках или изданиях, а тем более если то же известно и относительно *B*.

При графическом изображении односторонней зависимости можно размещать источники, зависящие от других, под ними и связывать их вертикальными линиями; а в случае обоюдосторонней их зависимости располагать их друг за другом и связывать их горизонтальными линиями, хотя бы в следующем виде (рис. 1 и 2):



Рис. 1

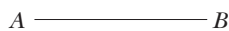


Рис. 2

ко сделаны по утраченным теперь рукописям, что и придает самим изданиям значение списков.

В группе источников, находящихся в односторонней зависимости, можно также усматривать различие, если число членов группы более двух; односторонняя зависимость между источниками *A*, *B*, *C* может быть, например, или линейной, или разветвляющейся, а последняя оказывается или односложной, или многосложной.

В самом деле, в случае линейной зависимости между *A*, *B* и *C*, положим, что при независимости *A* от *B* и *B* от *C*, *B* зависит от *A* и *C* зависит от *B*. Такие соотношения можно построить графически в схеме, представленной на рис. 3. В самом элементарном своем виде линейная зависимость уже обнаруживается между двумя источниками, если один из них зависит от другого; например, между списками истории Павла Диакона, известными под названием Ватиканского (*D*₁) и Парижского (*D*₂), или между Розенфельдскими и Магдебургскими анналами и т. п.; но в некоторых случаях такая зависимость может простирается и на большее число источников, образующих линейный ряд; она обнаруживается, например, в соотношении старейших наших летописных сводов — древнейшего Киевского, 1-го Печерского, 2-го Печерского и т. д.

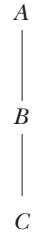


Рис. 3

В свою очередь разветвляющаяся зависимость между *A*, *B* и *C* односложна, если *B* зависит от *A* и если *C* зависит от *A*; и многосложна, если *C* зависит и от *A*, и от *B*. Графически изображая типы такого соотношения, можно получить схемы, представленные на рис. 4 и 5.

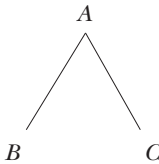


Рис. 4

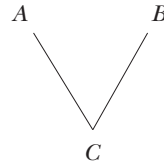


Рис. 5

Соотношения подобного рода при наличии большого числа родственных источников могут, конечно, значительно осложняться и обнаруживаются в группах самых разнообразных источников: и в остатках культуры, например, в документах; и в исторических преданиях, чаще всего, конечно, в последних. Достаточно припомнить здесь те работы, которые обнаружили филиацию коммунальных хартий средневековых французских городов, например, по образцу Лорисской, Ланской, Руанской и т. п.; или вскрыли существование древнейших летописей, послуживших источниками для анналов Ливия, Диони-

сия и др.; или обнаружили, что известия Плиния лежат в основе рассказов Плутарха и Тацита о Гальбе и Отоне, и т. п. В виде примера можно привести хотя бы результаты новейших разысканий о составе всем нам известной «Повести временных лет»: в основе ее, вероятно лежит древнейший Киевский свод, доведенный до 1039 г.; но он осложнился в 1-м Печерском своде 1073 г. и Новгородском своде XI в., вошедших в состав первого Общерусского свода – 2-го Печерского, или Начального, образовавшегося около 1095 г.; наконец, последний лег в основание «Повести временных лет» – основного источника всех позднейших летописных сводов, еще более сложных по своему составу. В тех же исследованиях над русскими летописными сводами можно найти и конкретные иллюстрации тех типов зависимости, которые были намечены выше лишь в общих чертах: односложная зависимость наблюдается, например, в соотношении между древнейшим Киевским сводом, 1-м Печерским и Новгородским XI в.; многосложная – в соотношении между 2-м Печерским сводом и двумя предшествующими, т. е. 1-м Печерским и Новгородским XI века, и т. п.²⁰⁸

Кроме односторонней зависимости между источниками, можно встретить и обоюдостороннюю: в том случае, если *A*, повлиявшее на состав *B*, известно в нескольких разновременных списках или изданиях, отличающихся между собою, причем некоторые из них возникли позднее *B*, его списков или изданий и обнаруживают на себе следы влияния *B*, его списков или изданий, можно говорить об обоюдосторонней зависимости между *A* и *B*.

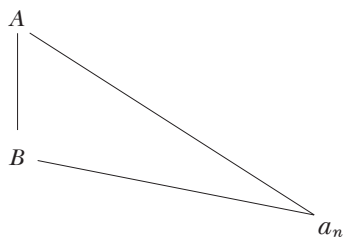


Рис. 6

Вообще, графически представляя такое соотношение согласно вышеуказанным правилам, а также разумея под a_1, a_2, a_3 списки или издания *A*, под b_1, b_2, b_3 – списки или издания *B* и приравнивая значение косых линий к значению вертикальных, можно получить схему, представленную на рис. 6.

²⁰⁸ Ficker J. Untersuchungen zur Erbenfolge der Ostgermanischen Rechte. Bd. I (1891); Luchaire A. Les communes françaises au moyen âge. P. 137, 138; Бестужев-Прюмин К. О составе русских летописей. СПб., 1868; Шахматов А. Op. cit. С. 527 и след. Ср. его же. Общерусские летописные своды XIV и XV вв. // Жур. Мин. нар. просв. 1901; Введение к изд. Радзивиловской или Кенигсбергской лет. // изд. Общ. люб. древн. письм. CXVIII и др.

Соотношение подобного рода можно заметить, например, между многочисленными списками одного и того же текста, взаимно влиявшими друг на друга (например, при изучении рукописей *Septuaginta*, т. е. 70 толковников), или между законом, его толкованием, разумеется, предполагающим самый закон, и переработкой последнего; такие случаи можно найти в современных сборниках законодательства, например в германском гражданском уложении²⁰⁹.

Впрочем, можно встретить аналогичный тип зависимости и в менее строгой, но более сложной форме хотя бы следующего вида: положим, что источник *Z* находится в некоторой зависимости от части некоего комплекса источников *M*, причем сам оказывает влияние на другую часть того же комплекса *M*; с такой точки зрения, можно сказать, что *Z* и *M* находятся в некоторой обоюдосторонней зависимости. Графически можно построить соотношение подобного рода между *Z* и *M*, замкнув в пределы одной кривой совокупность источников, образующих комплекс *M* и находящихся в известном соотношении к *Z*, положим, *A*, *B*, *C*, а также *N*, *P*, *Q*, и изобразив, согласно вышеуказанным правилам, их отношение к стоящему вне данного комплекса *Z* в схеме, представленной на рис. 7.

В виде примера можно указать на те переводные сборники повестей, которые, проникнув в состав литературы, уже получившей более или менее туземный характер, видоизменяются в своих редакциях, благодаря тому что заимствуют кое-что из ее среды, но вместе с тем сами воспринимаются ею в некоторых из своих элементов. Перевод-

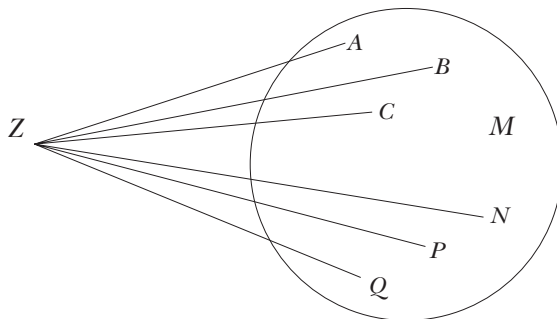


Рис. 7

²⁰⁹ Bürgerliches Gesetzbuch, erläutert von G. Planck etc. Berl., 1898. 2 Aufl., Lief 1. S. 27. § v. Auslegung des Bürgerlichen Gesetzbuchs. «Schon oben ist hervorgehoben, dass das B. G. B. eine Fortbildung (т. е. путем толкования) des bestehenden Rechtes ist und an dieses thunlichst auch dann anknüpft, wenn es neue Vorschriften giebt».

ный сборник, известный у нас под названием «Великого Зеркала», в позднейших своих редакциях, например, представляет такие именно особенности: развитие свода направляется вообще к распространенному в XVII–XVIII вв. характеру сборников повестей, в которых рядом с повестями «Великого Зеркала» помещались повести из «Пролога», «Патериков» и переводной литературы: но вместе с тем, благодаря общности многих источников (древнехристианских вообще и византийских в частности), а также общности направления (аскетического, поучительного и легендарного) «Великое Зерцало» настолько сближается с древнерусской литературой, что и самый сборник чуть ли не утрачивает характера переводного и повести его, наравне с проложными, входят в такие уважаемые древнерусские сборники, как синодики, лицевые сборники, а чрез них и в устную народную словесность, в духовные стихи, сказки и легенды²¹⁰.

Вышеуказанные главнейшие типы соотношений между источниками, разумеется, получают дальнейшие видоизменения в зависимости от возрастающей сложности и других свойств изучаемых групп источников, что ведет и к большей сложности графических схем; в них иногда можно пытаться изображать относительную разницу во времени возникновения источников, положим, различную длину связующих их линий, большую или меньшую близость между источниками – размерами образуемых ими углов, осложненные разветвления – построением генеалогического дерева, а не генеалогической таблицы (т. е. в трех, а не двух измерениях).

Итак, пользуясь вышеуказанными критериями подлинности или неподлинности и разнообразными методами, а также техническими приемами, можно выяснить степень родства или зависимости между источниками, т. е. в какой мере они близки друг к другу или далеки друг от друга и каков характер той зависимости, в которой источники данной группы находятся друг от друга; можно обозначить и степень их родства тем положением, какое сравниваемые источники занимают в генеалогической таблице или генеалогическом дереве, и принимать его во внимание при критической оценке каждого из источников данной группы, его подлинности, их степеней и т. п.

Впрочем, решение таких задач сопряжено иногда с немалыми затруднениями; не останавливаясь на подробном их рассмотрении, достаточно отметить здесь лишь те из них, которые возникают, если автор умышленно выдает чужое за свое, если он присваивает себе крупную мысль или целый ряд таких мыслей даже в той форме, в какой они были

²¹⁰ *Владимиров И.* Великое Зерцало. М., 1884. С. 56, 67.

выражены другими, для чего и старается скрыть источник своих заимствований, и т. п. Составители мемуаров, особенно с конца XVII в., например, часто выдавали чужие рассказы за свои собственные впечатления, т. е. присваивали их себе: в своих записках о «разговорах с Фридрихом Великим» де Катт не раз придерживался приемов подобного рода.

Такое присвоение может быть частичным или полным.

Частичное присвоение состоит в умышленном и тайном заимствовании какой-либо части чужого произведения и получает, конечно, различное значение, смотря по важности заимствуемой части: оно называется плагиатом в широком смысле, если заимствованная часть имеет некоторую ценность, и плагиатом в более узком смысле, если она имеет особенно важное значение; в последнем случае плагиат состоит в присвоении себе чужих открытий, изобретений или оригинальных наблюдений и выводов с намеренным укрывательством самого источника заимствований и без самостоятельной переработки хотя бы формы заимствуемого. Плагиат чаще всего обнаруживается, конечно, при сплошном и значительном по объему заимствовании того, что из данного произведения присваивается, и при соблюдении той именно формы, в которой оно выражено в нем. Плагиаты уже практиковались в древности: даже Геродот, судя по свидетельству, сохранившемуся у Порфирия, будто бы заимствовал при описании Египта довольно значительные части из труда Гекатея; то же, разумеется, бывало и в позднейшее время: Матвей из Вестминстера списывал труд Матвея Парижского, а Матвей Парижский так же обошелся с трудом Рожера, приора Вендовского (Wendoves); в своей истории Германии Барр, по словам Вольтера, повторил более 200 страниц из его истории Карла XII, впрочем, не без искажений, приписывая слова или поступки одних лиц другим, что дало повод обвинять Вольтера в заимствованиях, будто бы сделанных им из сочинения Барра, и т. п.²¹¹

Полное присвоение чужих мыслей и т. п. наступает в том случае, если кто-либо, не довольствуясь частичными заимствованиями из чужого произведения, целиком воспроизводит его под своим именем. В начале XVII в., например, Пеллье опубликовал под своим именем «Историю происхождения, возрастания и упадка Турецкой империи» (1614 г.); но подлинный автор ее — Люсенж, вопреки предположениям Пеллье, был еще жив и, будучи в то время в Париже, обратился к защите суда, который и восстановил его в правах авторства²¹².

²¹¹ *Quérard J. M. Supercherries littéraires dévoilées. Par., 1869–1871. T. 1. P. 69–84, 464.*

²¹² *Quérard J. M. Op. cit. T. 1. P. 85–92 («des vols littéraires»).* Ср. еще: *Nodier Ch. Questions de littérature légale, 2 éd. Par., 1828.* В современной уголовно-правовой доктри-

Критика источника как факта не ограничивается, однако, установлением того значения, какое он имеет в качестве действительного источника, различением подлинных источников от неподлинных, разысканием степени их оригинальности или зависимости друг от друга и т. п.: в числе продуктов человеческой психики, с которыми ей приходится иметь дело, она встречает и такие, которые оказываются результатами подделки.

В широком, преимущественно психологическом смысле, понятие о подделке можно выяснить с точки зрения ее субъекта и ее объекта²¹³.

Вообще, под субъектом подделки можно было бы разумеать всякого, кто умышленно выдает посредством лжи или обмана искусственный продукт за настоящий, т. е. за нечто такое, что он не есть в действительности, если бы предлагаемое понятие не было слишком широким: ведь не всякий лжец или обманщик, заявляющий, что данный искусст-

не, например французской, издание произведения чужого ума «в целом или в части», совершаемое путем нарушения авторских прав, называется контрафакцией; впрочем, для признания ее наличия не нужно, чтобы имя автора воспроизводимого произведения было непременно скрыто; но частная контрафакция отличается в нем от плагиата, главным образом, тем, что последний не представляет ясно выраженного характера правонарушения (деликта) и не наносит достаточно явного вреда автору для того, чтобы подвергнуть виновного в его нанесении ответственности перед законом; «плагиат в узком смысле», однако, обыкновенно признается и частичной контрафакцией. В нашем уголовном законодательстве полное воспроизведение путем издания чужого произведения под своим именем называется «подлогом в авторстве». См.: *Pandectes françaises*, S. v. «Propriété littéraire» (Par., 1894); § 664 ss., 114–1127 и др., Улож. о наказаниях, ст. 1683, 1685; ср. еще: *Фойницкий И.* Курс уголовного права, часть Особенная. СПб., 1890. С. 290–302. Бернгейм рассматривает плагиат в качестве разновидности подделки (*Fälschung*); но присвоение чужих мыслей с намеренным укрывательством источника заимствований едва ли можно отождествлять с подделкой тех самых мыслей, которые присваиваются, по крайней мере в употребленном ниже смысле; впрочем, автор касается понятия о плагиате довольно случайно, рассуждая о подделке анналов и хроник; см.: *Bernheim E.* Lehrbuch. S. 369. Кроме того, можно указать еще и на такой случай, когда произведение одного автора путем обмана присваивается другому автору третьим лицом; припомним хотя бы случай с Куршаном, который выдавал один роман И. (или I.) Потоцкого за «мемуары Кальостро», о чем см.: *Quénard J. M.* Op. cit. T. I. P. 91, 616–631.

²¹³ Известное определение Фаринация «*falsum est veritatis mutatio dolose et in alterius praeiudicium facta*» слишком широко, если брать его в фактическом смысле, и слишком узко, если принимать его в правовом смысле.

венный продукт настоящий, есть уже составитель подделки; антикварий, торгующий поддельными продуктами, может и не подделывать их. Следовательно, приходится ограничить понятие о субъекте подделки прежде всего понятием об активном участии его в ее совершении: ведь для того чтобы в известном смысле выдать свое за чужое, сам он придает некоему продукту искусственный характер, т. е. сам готовит тот продукт, который он выдает за настоящий, или по крайней мере, пользуется чужими услугами для такой именно цели и поручает, например, знающему резчику или писцу сфабриковать тот продукт, который он, т. е. сам работодатель, будет вслед за тем выдавать за настоящий, и т. п. Итак, несколько ограничивая разбираемое понятие, можно назвать субъектом подделки всякого, кто умышленно, посредством лжи или обмана выдает свой (в вышеуказанном смысле) искусственный продукт за настоящий.

Ввиду ближайшей цели подделки составитель ее обыкновенно подражает какому-либо объекту-образцу, но лишь постольку, поскольку это ему нужно для того, чтобы обмануть другого: составитель подделки обыкновенно не стремится добросовестно воспроизвести данный оригинал, т. е. не ставит себе такое воспроизведение самостоятельной целью, а пользуется им в качестве средства для подделки его и, следовательно, довольствуется более или менее внешним сходством между своим продуктом и оригиналом, достаточным, по его мнению, для того, чтобы выдать его за настоящий. С такой точки зрения, не столько содержание источника, сколько его внешняя форма служит главным объектом подражания. Согласно с тою же ближайшей целью составитель подделки не чувствует достаточного «пиетета» к своему образцу; он может задаться целью выбрать из него несколько наиболее привлекательных, по его мнению, элементов или черт и делает то же по отношению к другим, часто позднейшим оригиналам; в случаях подобного рода он подражает не одному, а нескольким образцам, наиболее эффектные элементы которых он насильственно вырывает из соответствующих целых и более или менее искусственно совмещает в одной какой-либо форме, получающей, таким образом, чисто внешнее объединяющее значение.

Понятие о подделке стоит, конечно, в тесной связи и с понятием о ее результате — поддельном продукте: в широком, преимущественно психологическом смысле под ним можно разуметь всякий продукт, искусственно созданный для того, чтобы умышленно выдавать его посредством лжи или обмана за настоящий.

С познавательной точки зрения, критерий поддельности продукта, значит, оказывается сложнее критерия неподлинности источника:

само собою разумеется, что историк имеет в виду понятие о разъединенности сознания, обнаруживающейся в продукте, составитель которого поддeldывается под чужое сознание для совершенно чуждых последнему целей; что он же принимает во внимание и несоответствие данного продукта с тою культурой и той индивидуальностью, к которой последний будто бы относится; но для того чтобы придти к заключению, что изучаемый им продукт поддельный, историк должен иметь основание утверждать, что составитель его обнаружил в нем свою злую волю, а именно желал выдать путем лжи или обмана свой искусственный продукт за «настоящий». Следовательно, критерий поддельности представляет немало проблематичного: пользуясь им, историк утверждает реальное существование такого именно намерения в чужом сознании, поскольку оно обнаружилось в самом результате подделки; но он принимает гипотезу подобного рода лишь в том случае, если он может признать ее наиболее пригодной для того, чтобы объяснить искусственность изучаемого продукта, а в особенности если он может вполне конкретно установить личность самого составителя подделки, мотивы которого и обусловили ее появление; с последней точки зрения, он получает возможность приписывать вполне реальное значение мотивам подделки и поставить самый факт подделки, а значит, и поддельный характер продукта вне сомнений.

Следует заметить, однако, что понятие о поддельном продукте можно употреблять или в историко-познавательном, или в правовом смысле.

В историко-познавательном смысле можно умышленно выдавать посредством лжи или обмана искусственный продукт за настоящий, если приписывать ему значение действительного источника. С такой точки зрения, историк признает источник поддельным, если он может приписать обманщику злое намерение подделать именно исторический источник, т. е. совершить подделку самого факта его существования как источника и выдать результат своей подделки за действительно существующий источник или за его часть.

Такое понятие о поддельном источникообразном продукте, а также о главнейших критериях его поддельности легко обнаружить и на частных примерах. Несколько лет тому назад Луврский музей приобрел за большие деньги роскошную золотую тиару, известную под названием тиары Сайтафарна; но при ближайшем рассмотрении оказалось, что она страдает отсутствием единства и цельности, что ее материал и техника отзываются современным производством; что сюжеты, представленные на тиаре, и мотивы ее орнаментики относятся к разным векам; что главный из них заимствован из релье-

фов на колонне Марка Аврелия, а большинство — из малоизвестного сборника рисунков (Weisser'a); что некоторые из них, например, летающие гении и вазы, — совсем новейшего фасона; что едва ли можно было в беспокойное время Митридата подыскать художника, который способен был бы изготовить столь сложный памятник, и т. п.; подделка была окончательно доказана, когда резчик Рушумовский был разыскан и приглашен в Париж для объяснений, между прочим, вскрывших и некоторые из способов, которыми он думал достигнуть своей цели²¹⁴. В других случаях труднее довести расследование до конца. В числе источников, на который любили ссылаться для обоснования папских претензий, Исидоровы декреталии занимали одно из видных мест. Сами декреталии не претендовали на полное единство и цельность; но выдавая себя за коллекцию старинных копий преимущественно с писем целого ряда римских пап I–VIII ст., сборник представляет организацию христианской церкви будто бы вполне уже завершившейся в течение первых веков даже на Западе, что вовсе не согласуется с тем понятием о ней, какое нам известно из других источников, да и в остальных характерных своих особенностях соответствует средневековой культуре примерно середины IX в. и написан одним и тем же стилем; значит, автор сборника составлял его в позднейшее время и его произведение нельзя признать собранием разновременных писем; если принять во внимание, сверх того, и «злую волю» составителя, т. е. ту единообразную тенденцию, которая заметна в письмах, будто бы писанных разными папами, и которая состоит, главным образом, в превознесении епископской власти, можно признать данный сборник подделкой, хотя в точности автор ее и остается неизвестным²¹⁵.

В правовом смысле можно умышленно выдавать посредством лжи или обмана искусственный продукт за настоящий, если приписывать ему правовое значение, которого он, однако, не имеет; деяние

²¹⁴ *Furtwängler A.* Die Tiara des Königs Saitapharnes., см. журн. «Cosmopolis». 1896. № 8; *Reinach S.* La tiare dite de Saitapharnès; см. Rev. Archéol. 4-me sér. T. II (1903). P. 105–112; ср. снимки с тиары, приобретенный Лувром в 1896 г., в соч. *A. Furtwaengler'a* Neuere Faelschungen der Antiken. Berl. u. Lpz., 1899. S. 30–31.

²¹⁵ *Secket E.* Pseudo-Isidor in Realencykl. für protest. Theologie und Kirche. 3-te Auflage (1905). S. 265–307. Последний из ученых, специально занимавшихся критическим изучением псевдоисидоровых декреталий, Фурнье, приходит к заключению, что сборник не мог быть закончен до 848 г. и позднее 856 г.; см.: *Fournier P.* Études sur les fausses décrétales. Louvain, 1906. Ср. предшествующее примечание.

подобного рода называется подлогом в широком смысле и характеризуется тем, что оно совершается исключительно благодаря «материализованной лжи» и направлено к тому, чтобы при помощи овеещающего ее продукта посягнуть на известные правоохраненные интересы; с указанной точки зрения, рассуждают, например, о подлоге денежных знаков, печатей документов и т. п.²¹⁶ Впрочем, термин «подлог» чаще употребляется в еще более узком смысле, применительно к одним только «документам», т. е. к таким предметам или «писаниям», которые символически удостоверяют юридические отношения, права и обязанности или события, имеющие юридическое значение. С последней точки зрения, под подлогом документа преимущественно в криминалистическом смысле можно разуметь умышленное искажение истины в «писании» с целью употребить его под видом настоящего документа для посягательства на чьи-либо правоохраненные интересы²¹⁷.

²¹⁶ *Lenz A. Die Fälschungsverbrechen in dogmatischer und rechtsvergleichender Darstellung. Stuttgart, 1897. Bd. I Urkundenfälschung; в своем «Litteraturverzeichnis» автор упустил из виду соч. Frazer P. A manual of the study of documents to detect fraud and forgery. Philad., 1895; впрочем, я не мог воспользоваться им. Жижиленко А. Подлог документов. СПб., 1900. С. 5–11, 84, 515–524 и др., ср. еще: Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Strafrechts. Bd. VII. Berl., 1907. S. 243–403 (Weismann. Urkundenfälschung). Вообще, можно сказать, что вышеустановленное понятие о подделке шире понятия о подлоге, хотя нельзя забывать и того, что не всякий подложный продукт может получить значение поддельного источника. Юристы различают обыкновенно два вида подлога — материальный и интеллектуальный; но критика источника как факта, очевидно, не может заниматься рассмотрением «интеллектуального подлога», который едва ли можно подвести под подделку, если только не понимать его в том смысле, в каком французское законодательство понимает его, говоря, что он возникает «en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties» (art. 146); интеллектуальный подлог можно было бы скорее называть фальшивым удостоверением; в последнем случае немецкие юристы говорят о «Falschbeurkundung», а не об «Urkundenfälschung»; но еще вернее, пожалуй, было бы говорить в таких случаях о словесном или письменном удостоверении ложного или лживого показания, т. е. рассуждать о них с точки зрения критики показаний источника, их достоверности или недостоверности и т. п.; об интеллектуальном подлоге см. «Vergleichung» etc. S. 250; Жижиленко А. *Op. cit.* С. 715 и след.*

²¹⁷ *Pandectes françaises. Т. 33. Р. 39.* Впрочем, и здесь понятие о подлоге не совсем ясно сформулировано, так как при подлоге «писание» выдается за настоящий

В таком смысле, но, разумеется, сообразуясь с правовыми понятиями данной страны и известного времени, можно рассуждать и о подложных исторических документах. В недавно изданном сборнике грамот Пипина, Карломана и Карла Великого (их всего 319, из них 262 — Карла Великого), например, немало подложных. «Карл Великий был популярнейшим государем Средневековья, и его именем больше, чем каким-либо другим, любили прикрывать фальшивые документы»; более трети всего числа грамот указанного сборника состоит из документов, которые оказываются неподлинными, подверглись частичным переделкам и т. п.²¹⁸

Впрочем, в разбираемом виде критики понятие о подделке, конечно, строится преимущественно в историко-познавательном, а не в правовом смысле: с такой точки зрения, подложный продукт получает особого рода интерес лишь в том случае, если ему придается значение действительного источника; тогда приходится усматривать момент злой воли, т. е. лжи или обмана, характеризующих совершение подделки, или в составителе подлога и признавать наличие поддельного источника лишь как его последствия; или еще в том, кто умышленно выдает подложный продукт за настоящий источник, пользуясь им, например, для образования какого-либо исторического предания. В качестве примера можно припомнить хотя бы известный подложный документ, которым император Константин Великий будто бы предоставил папе Сильвестру «все провинции Италии и западных областей» (*provincias, loca et civitates*), а также право назначать «патрициев и консулов», но который был сфабрикован, вероятно, в Риме вскоре после 754 г.; или подделку известия о том, будто бы некто Евд ле Мэр («*Eudes le Maire*»), живший в XI столетии, за услугу, оказанную им королю Филиппу I, получил от него привилегию, освобождавшую его и его потомство на вечные времена от податей; потомки Евда ле Мэра никогда не представляли ни мнимого подлинника, ни даже копии с него, а ссылались только на запись, редактивную тремя аббатами около 1250 г.; вслед за тем они добились нескольких официальных ее подтверждений («*vidimus*») и продолжали пользоваться своей «привилегией» вплоть до 1752 г., когда

документ (в правовом смысле). Следует заметить, что такое деяние можно совершать и путем составления поддельного писания, и путем искажения уже данного документа, т. е. его переделки; нужно также различать подлог в собственном смысле от действительного употребления подложного документа.

²¹⁸ M. G. Die Urkunden der Karolinger. Bd. I, bearb. von E. Mühlbacher unter Mitwirkung von A. Dopsch, J. Lechner, M. Tangl. Berl., 1906. S. 80 и др.

она окончательно была признана подложной²¹⁹. Итак, хотя подделку источника нельзя смешивать с подлогом и последний обыкновенно ближе поддельного источника стоит к той культуре, к которой он будто бы относится, однако, можно и подложный продукт в вышеуказанном смысле называть поддельным источником; в некоторых случаях трудно даже провести резкую грань между ними: при изучении псевдоисидоровых декреталий, например, современный исследователь может, конечно, рассматривать сборник, составленный из них, в обоих смыслах.

Понятие о подделке получает, однако, разные оттенки — частью в зависимости от того, какими мотивами объясняется факт ее появления, частью соответственно степени искусственности поддельного продукта.

В самом деле, легко заметить, что мотивы подделки могут быть чрезвычайно разнообразны: люди подделывали источники из-за «страсти» к подделке; из-за личной выгоды; из-за стремления к славе или к богатству; из-за генеалогического расчета; из-за желания услужить или повредить кому-либо; из-за партийных или других политических интересов; из-за патриотизма и т. п. Впрочем, мотивы составителя подделки не всегда совпадают с целями подделки: он может руководиться, положим, корыстными соображениями для того, чтобы составить подделку, преследующую иную цель. Известный де-Бар, например, промышлявший поддельными грамотами, сфабриковал несколько документов и для генеалогической истории Оверньского дома, главная цель которой состояла в том, чтобы доказать, что герцоги Бульонские происходят от древних графов Оверньских и могут быть поставлены наряду с царствующим домом²²⁰. Такое разнообразие мотивов следует иметь в виду при обнаружении подделки.

Вместе с тем и степень искусственности поддельного продукта принимается во внимание: проявляя разную степень активности, соста-

²¹⁹ *Loening E.* Die Entstehung der Konstantinischen Schenkungsurkunde; см.: *Hist. Zeit.* Bd. 65 (1890). S. 193–239; *Mayer E.* Die Schenkungen Constantins und Pipins; см. *Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, Dritte Folge.* Bd. XIV (1904). S. 9, 15, 35, 67. Ср. еще: *Giry A. Manuel.* P. 877–878. Поучительный образец доказательства подделки известного «*Privilegium majus*», будто бы выданного императором Фридрихом I и помеченного 17 сентября 1156 г., см. у *E. Bernheim'a.* *Lehrbuch.* S. 340–345.

²²⁰ *Giry A. Manuel.* P. 881–883; вообще, многие документы подделывались из-за генеалогических расчетов или для удостоверения прав на имущество, о чем см. там же. P. 871–872, 874–876, 880–886.

витель его может, например, прибегать к частичной или полной подделке источника²²¹.

При частичной подделке фальсификатор умышленно выдает искусственный продукт за какую-либо часть действительного источника и, заменяя им одну из его частей или вставляя его в состав действительного источника, подвергает последний искажению; он снабжает, например, подлинный предмет древности поддельным изображением или поддельною надписью, разумеется, предназначенными для того, чтобы путем лжи или обмана придать ему большее значение²²²; или подменивает в подлинном тексте одни имена, термины и т. п. другими, намеренно делает в нем произвольные вставки между строками, буквами или словами и т. п. Такие частичные подделки встречаются, например, на античных глиняных сосудах, хотя бы на древней «Нефелефой чаше», украшенной позднейшим (вероятно, поддельным) рисунком с изображением Фрикса, Геллы и проч., а также заметны в некоторых документах, например в известной «*Donatio Caroli magni*» 774 г.; но и некоторые предания, например сказание о Телле, можно считать в том же смысле поддельными, если полагать, что составитель Белой книги намеренно подменил в рассказе о Токо его имя именем Телля и принововил содержание рассказа к событиям, относящимся ко времени образования известного союза трех швейцарских кантонов на Рютли²²³.

При полной подделке обманщик целиком фабрикует исторический источник, т. е. стремится придать своему продукту значение цельного исторического источника; благодаря собственной фантазии и неко-

²²¹ Ср. выше, с. 467–468. В учении о подлоге различают «переделку», например, при подлоге удостоверения или подтверждения документа, от его «подделки» в целом его составе; последний термин, разумеется, нельзя смешивать с тем понятием о подделке в широком смысле, которое указано было выше; здесь он употребляется в более узком смысле — известного правонарушения; для того чтобы не употреблять одни и те же термины в разных смыслах, я предпочитаю говорить «о частичной» и «полной» подделке.

²²² *Clermont-Ganneau Ch. Les fraudes archéologiques en Palestine. Par., 1885. P. 95–96, 343–346*; частичная подделка иногда называется «фальсификацией».

²²³ *Furtwaengler A. Op. cit. S. 33–36; Kehr I. Die sogenannte Karolingische Schenkung von 774; см.: Hist. Zeit. Bd. 70 (1893). S. 388–389*; Зиккель и Шеффер-Буагорст усматривали в ней интерполяции; Кэр другого мнения, о чем см. S. 437 и др. *Knopau G. Meyer von. Die historische Kritik und die geschichtlichen Gedächtnisstagen der schweizerischen Eidgenossenschaft im Jahre 1891; см.: Hist. Zeit. Bd. 70 (1893). S. 215, 247; ср. S. 259*. Такие же частичные подделки, разумеется, делаются и в копиях.

торому знанию памятников данной культуры, часто тех, которые открыты недавно, он пытается сообразовать с ними свою подделку и выдает ее за исторический источник, будто бы пригодный для изучения той культуры, к которой последний, в сущности, вовсе не относится. Само собою разумеется, что и при полной подделке составитель более или менее подражает какому-либо образцу, оригиналу или копии и т. п. В некоторых случаях, например, обманщик довольствуется воспроизведением действительного источника: по возможности не изменяя его содержания и точно соблюдая его форму, он умышленно выдает, положим, свою копию за оригинал, что часто встречается при подлоге документов²²⁴; в других случаях, напротив, он только «подделывается» под данный образец и допускает изменения в его содержании и форме. Впрочем, и в подделках последнего рода можно различать несколько степеней. Составитель подделки может, например, довольно близко придерживаться данного образца: он подделывается под стиль какого-либо знаменитого автора, а затем снабжает свое произведение «псевдоэпиграфом», т. е. приписывает его составление этому автору, для чего и выставляет на своем произведении нужный ему титул или подпись, указывает на то, что оно принадлежит, положим, Аристотелю или св. Бернарду, или Вольтеру²²⁵. Далее составитель подделки может более или менее произвольно пользоваться подходящим для своей цели материалом, из которого он и фабрикует источник: монахи аббатства С.-Дени, получившего многие пожалования от короля Дагоберта, например, при подделке своих грамот черпали нужные им сведения из летописи, известной под названием «Gesta Dagoberti»; Роберт граф Бомон, около 1300 г. представил поддельные грамоты, снабженные, однако, подлинными печатями его деда и тетки, и т. п. Наконец, составитель подделки может еще менее внимательно относиться к источнику: не довольствуясь более или менее искусным подражанием настоящему типу, он сам придумывает его; на базаре в Иерусалиме, например, одно время обращались бронзовые монеты с фантастическим изображением Моисея и соответствующими еврейскими надписями, взятыми из библейских книг, но начертанными современным нам письмом; монеты имели большой ус-

²²⁴ *Rietsch K. T.* Handbuch der Urkundenwissenschaft. Berl., 2 Aufl. 1904. S. 602 («Fälschung» и «Verfälschung»); с правовой точки зрения, можно различать подлог документов без изменения их содержания, когда подлинное правовое значение приписывается не только самовольно воспроизведенному прежнему, но и новому их тексту.

²²⁵ *Quérard J. M.* Les supercheries littéraires dévoilées, 2 éd. Par., 1869–1861. T. I. P. 4–25.

пех; впрочем, такие явно придуманные произведения, как, положим, вышеназванная монета Моисея или «Cronica del rey don Rodrigo», написанная в XVI в., но выдававшая себя за летопись VIII в., не могут долго вводить в заблуждение исследователей²²⁶.

Следует также иметь в виду, что полная подделка может выдаваться или за оригинал, или за копию, или содержать только пересказ мнимого источника, ссылки на него и т. п.: составитель псевдоисидоровых декреталий, например, выдавал их за копию, Розьер включал искаженные им тексты грамот в качестве выписок будто бы из настоящих источников; в свою историю Лотарингии, напечатанную в 1580 г., потомки Эвда ле Мэра включали сохранившееся предание о данных ему льготах; Макферсон уверял, что его песни — перевод с гельского языка.

Итак, понятие о подделке оказывается довольно сложным: хотя в основе его и лежит несколько общих признаков, но оно может иметь весьма различные оттенки; пользуясь общим понятием о подделке, историк стремится выяснить, какое из более частных его значений получает свое приложение к данному случаю.

Ввиду того, что подделка есть искусственный продукт злой воли человека, «материализованной лжи» и т. п., методы ее обнаружения, во многом, впрочем, сходные с методами установления неподлинности источника, сводятся главным образом к установлению такого именно ее характера. Подделка обнаруживается, например, в искусственности общего вида продукта: он не производит достаточно цельного впечатления; его чрезмерная сохранность, не соответствующая данным условиям, или, напротив, демонстративная архаичность иногда слишком резко бросается в глаза, чтобы не вызвать подозрения, особенно в искусственности его материала, техники и стиля. В самом деле, историк признает, например, данный предмет поддельным, если он сделан из иного или нового материала и при помощи новейших технических средств, оставляющих свои следы на предмете; если его техника не выдержана; если его назначение и употребление порождают сомнения и т. п.; он также заключает иногда о подделке памятного письменности по бумажному знаку, обнаруживающему, что

²²⁶ *Clermont-Ganneau Ch.* Op. cit. P. 30, 31–32, 52; *Furtwaengler A.* Neuere Faelschungen der Antiken. Berl.-Lpz., 1899. S. 16, 25; *Kautzsch E. und Socin A.* Die Aechtheit der Moabitisehen Alterthümer Strassburg, 1876. S. 138, 187–189; *Giry A.* Manuel. P. 874, 878; ср. еще сведения о поддельной «истории завоевания Испании маврами» Абул-Касима Тарифа Абентарика, появившейся в конце XVI в. и пользовавшейся большим авторитетом до 1708 г., о чем см. в соч. *Quénard J. M.* Supercheries etc. T. I. P. 23, 170.

бумага сделана в позднейшее время, и по другим палеографическим признакам, например по характеру письма, почерка и сокращений; по невыдержанности языка и стиля, формул, правил стихосложения, приемов изложения и т. п.; вообще, он признает искусственность состава источника признаком его поддельности, если представляемая им комбинация элементов оказывается при наличии данных условий невозможной или слишком маловероятной, например, в том случае, когда он приходит к заключению, что составитель пользовался такими источниками, которые при известных условиях (в данное время и в данном месте) не могли быть доступны мнимому автору или даже вовсе не существовали, или когда он замечает, что подделыватель, видимо, не понял оригинала или каких-либо характерных подробностей его техники или стиля, часто известных ему лишь по какой-либо плохой копии, и т. п. В том случае, когда историк обнаруживает искусственность содержания источника, он также подозревает в нем подделку; с такой точки зрения, он обращает внимание, например, на анахронизмы в широком смысле, т. е. на противоречия между содержанием, положим, представлениями, чувствами и т. п., уже известными из однородных источников данного времени, и содержанием изучаемого продукта или на какие-либо другие следы искусственной работы составителя подделки, дисгармонирующих с подлинным характером того источника, который он желал бы выдать за оригинал, например на его форму или язык и стиль, которые могут прикрывать иногда вложенное в них новейшее содержание; на тенденции не одного только автора подлинника, но и предполагаемого составителя подделки, встречающиеся рядом в одном и том же источнике; на его стремление сделать свою подделку возможно более интересной для ученого или любителя и подчеркнуть с такою целью некоторые особенности мнимого подлинника, или во избежание подозрений принять слишком много предосторожностей, которые очень трудно выдержать в их совокупности, намеренно подвергнув его, например, порче, не касающейся, однако, тех его частей, которые, казалось бы, должны были всего более подвергнуться ей или оказываются наиболее ценными, и т. п.²²⁷ В некоторых случаях, наконец, историк принимает во внимание и искусственность нахождения или передачи

²²⁷ *Kautzsch E. und Socin A. Op. cit. S. 163, 165, 166–177; Furtwaengler A. Op. cit. S. II, 21, 35 и др.* По поводу поэм Ровлэя, оказавшихся подделкой Чэттертона, Вальтер Скотт заметил: «Всякий раз, как мы подставляем в них новые выражения вместо древних, мы вовсе не изменяем ни их смысла, ни энергии мысли (составителя), — результат, которого невозможно было бы достигнуть относительно

источника: он имеет в виду, например, что поддельный продукт мог быть искусственно снабжен указаниями на место и время мнимого его происхождения или даже заблаговременно помещен в соответствующую обстановку, подобно, например, части моавитских древностей, и т. п.²²⁸ В некоторых случаях исследователь легко может заподозрить такие показания, например наивное показание Жития св. Платидия, которое рассказывает, что сам святой передал его автору и даже позаботился о том, чтобы позвать живописца, который списал бы с него образ, и т. д.; но он должен иметь в виду, однако, что составитель подделки, напротив, часто прибегает, подобно Вагенфельду, и к более ловким приемам для указания мнимого места и времени нахождения источника, вскрытие которых и обнаруживает подделку, и т. п.

Само собой разумеется, что методы исследования источников, вызывающих подозрение в подделке, чрезвычайно разнообразны; принимая во внимание, смотря по нужде, приемы, употребляемые для установления неподлинности источника, историк пользуется еще и другими добавочными, часто техническими средствами для того, чтобы обнаружить следы подделки и судить о ней иногда по довольно случайным или мелким, но все же характерным признакам; он знает, например, как трудно подделать ровную и блестящую патину античной бронзы или политуру античной вазы, или выцветшие начертания древнего палимпсеста и т. п.; он заключает, что источник — поддельный по тем новейшим приемам технической его обработки, которые он возводит к личности поддельвателя. В таких случаях археолог обращает внимание, например, на признаки позднейшей обработки вещи, на следы медной окиси на каменной подделке, т. е. на те свойства ее поверхности, которые получаются, положим, путем варки подделанного предмета в котле; на искусственный характер окисления металлического изделия, не тождественного с естественным его процессом; на следы ударов, нанесенных вещи, положим, из мрамора или из золота, чтобы скрыть новейшее ее происхождение; на искусственное пропитывание стенок глиняного сосуда селитрой или такое же покрытие мраморной статуи слоем грязи, будто бы свидетельствующим о ее древности; на смазывание вещей разными составами

какого-либо другого поэта»; см.: *Thierry A. Les grandes mystifications littéraires*. Par., 1911. P. 57–58.

²²⁸ *Clermont-Ganneau Ch.* Op. cit. P. 145; ср. P. 46, 164. Везер, например, сам раскопал несколько предметов при Медебе, не подозревая, что они, по всей вероятности, были предварительно зарыты в том месте, куда его ловко направили; см.: *Kautzsch E. und Sociu A.* Op. cit. S. 32–45, 65.

или воздействие на них путем разных химических реакций, благодаря которым поверхность мрамора точно выветривается, поверхность бронзы получает архаичный вид, и т. п.²²⁹ Археограф также рассматривает свойства материала, служившего для письма, например кожи, пергамина или бумаги, а также чернил и приемы письма интересующего его произведения; в некоторых случаях он может при помощи фотографии или микроскопа увеличить данный образ и выявить то непроизвольное, хотя и не всегда заметное простому глазу дрожание почерка, который свидетельствует о непривычной руке составителя подделки; или при помощи тех же средств обнаружить подчистку, сделанную на бумаге, благодаря изменениям в ее толще и т. п.; он также обращает внимание на состояние материала, послужившего для письма, на степень сохранности бумаги и чернил, на нарочно сделанные на ней пятна и т. п.²³⁰

Во многих случаях историк принужден ограничиться вышеуказанными соображениями для того, чтобы судить о данном продукте, и конечно, не всегда может придти к положительному заключению, что он поддельный; но иногда ему удается обнаружить и личность самого составителя подделки и таким образом окончательно убедиться в том, что изучаемый продукт — подлинное его произведение, посредством лжи или обмана выдаваемое за чужое, т. е. за «настоящий источник»;

²²⁹ Manuel de recherches préhistoriques. P. 116 et ss.; *Reinach S.* La tiare de Saïtapharnès, ib. p. 108, 109; *Furtwaengler A.* Neuere Faelschungen. S. 2 ff. При исследовании моавитских древностей ученые даже сами пытались воспроизводить их для того, чтобы дать себе отчет в том, насколько трудно было сделать их и т. п.; см.: *Kautzsch E. und Socin A.* Op. cit. S. 175–177.

²³⁰ *Clermont-Ganneau Ch.* Op. cit. P. 185–266 и др.; *Bertillon A.* L'expertise en écritures; см. *Rev. Scient.* 1898. Janvier 1. P. 1–9. Вообще для установления подложности источника историк, подобно судье, мог бы пользоваться самыми разнообразными (иногда очень малозаметными) признаками: памятник вещественный или письменный, подделанный фальсификатором, в сущности носит следы его прикосновения, когда он, например, переворачивал или складывал бумагу и т. п.; между тем конечности пальцев, отпечаток которых на бумаге можно обнаружить путем известных химических реакций, могут обладать индивидуальным характером, а самый отпечаток в таком случае может, значит, указывать на личность фальсификатора и быть равносильным как бы его подписи. Историк не может, конечно, применять прием подобного рода для установления личности давно умерших фальсификаторов: но люди, занимающиеся подделками, существуют и в настоящее время; ср.: *Munro R.* Archaeology and false antiquities. Ld., 1905. P. 274.

сомнения в научном значении тиары Сайтафарна или перевода девяти книг Санхуниатона, например, окончательно разрешились, когда исследователям удалось доказать, что они возникли благодаря изобретательности Рушумонского, Вагенфельда²³¹.

Критерии, методы и технические приемы, рассмотренные выше, получают широкое применение ввиду распространенности подделок. В самом деле, следует иметь в виду, что источники издавна подделывались и продолжают подделываться. Уже древние, особенно в эпоху Птолемея, занимались подделками; со времени Возрождения можно указать на целый ряд лиц, прославившихся деяниями подобного рода; следовательно, старинная подделка может иногда носить на себе подлинный отпечаток старины, оставаясь, тем не менее, подделкой, чего, разумеется, нельзя сказать про новую.

Подделки практикуются и относительно остатков культуры, и относительно исторических преданий.

В числе остатков будто бы древнейшей культуры можно встретить поддельные орудия из камня, иногда изготовленные в особых мастерских²³². Особенно много подделок древностей на Востоке; в настоящее время целые фабрики занимаются такими работами в Египте, в Персии, в Палестине, на Кипре и т. п. Предметы, будто бы принадлежащие к остаткам классической древности или западноевропейской культуре, также далеко не все можно признать подлинными; в Афинах, Стемнице (в Аркадии), Неаполе, Риме, Париже, Брюсселе, Очакове, Одессе и других местах занимаются подделками разного рода древностей, для чего употребляют иногда древний материал или подлинные фрагменты старины²³³. Подделывают преимущественно золотые вещи, монеты и терракоты, но также и другие предметы — расписные вазы, резные камни, статуи, картины, надписи, документы,

²³¹ См. выше, с. 466; другие примеры см. в соч. *Clermont-Ganneau Ch.* Op. cit. P. 58, 106, 116, 126, 151–160; автор указывает, между прочим, на забавную подделку, будто бы древнего бюста, воспроизводившего черты самого составителя ее — Мартына Булоса; *Giry A.* Op. cit. P. 880, 881.

²³² *Manuel des recherches préhistoriques*, publ. par la Société préhistorique de France. Par., 1906. P. 117–119; *Jenks A. E.* A remarkable counterfeiter; см. *Americ. Anthropol. Journal.* N. S. № 2 (1900). P. 292–296.

²³³ *Sittl K.* *Archäologie der Kunst.* S. 802–805; там же указания на литературу; ср. еще: *Munro R.* Op. cit. P. 30 ff. В современных музеях, например, С.-Жерменском (близ Парижа), а также Руанском устроены особые витрины с поддельными орудиями. В Париже устраивается по инициативе E. Guimet даже особый музей археологических подделок.

в том числе генеалогические и крепостные акты, жалованные грамоты, статейные списки, даже соборные деяния и т. п. В качестве примеров можно указать хотя бы на те монеты, которые прекрасно подделывались Кавино из Падуи, а также Дюшулем и Ле-Пуа уже в XVI в.; или на картины различной величины, будто бы найденные в окрестностях Рима, в Помпеях или в Геркулануме и сделанные Гверрой; или на надписи, сочиненные Фурмоном; или на документы, изготовленные Шоттом, или на письма Паскаля и многих других лиц, сочиненные Врен-Люкасом, и т. п.²³⁴

В числе исторических преданий можно также отметить немало поддельных: помимо надписей, многие анналы и хроники, разные генеалогии, сказания и легенды, биографии и мемуары, народные песни и сказки и т. п. оказываются поддельными; достаточно припомнить, например, известный сборник песен Оссиана, составленный Макферсоном; перевод девяти книг Санхуниатона, сочиненный Вагенфельдом; мемуары Людовика XVIII, принца Талейрана и других, фабрикованные Ламотом; сборник «Сагуа Magalonensis», будто бы сохранивший описание нравов, обычаев и учреждений жителей Монпелье в Средние века и придуманный Мокэн-Тандоном, и т. п.²³⁵

Вышеуказанные принципы и приемы прилагаются и к обсуждению достоинства целых групп связанных между собою продуктов; сомнение в действительном значении одного из них при таких условиях естественно переносится и на остальные, так как признаки, вызывающие подозрение в его подделке, получают значение и для оценки всей группы. Впрочем, при подделке целой группы источников признаки их искусственного происхождения могут обнаружиться с большей ясностью: фабрикуя несколько источников, подделыватель не нахо-

²³⁴ Штерн Э. фон. О подделке классических древностей на юге России // Тр. X Археол. съезда в Риге. Т. I. С. 189–195; [D. Toustain et D. Tassin]. Nouveau traité de diplomatique. T. VI. Par., 1765. P. 110–208 и др.; Thierry A. Op. cit. P. 243–279; см. еще предшествующие примечания. О подделке русских монет см.: Лакиер А. История подделки монет в России до времен Петра Великого // Зап. СПб.-ого археол. общ. Т. X. 1853. С. 248–281; Гр. И. Толстой. Древнейшие монеты вел. кн. Киевского. СПб., 1883, гл. V: о грамотах князя Льва Галичского см. указания в Лаппо-Данилевский А. Печати последних галичско-владимирских князей и проч. // Болеслав-Юрий II. СПб., 1906. С. 214.

²³⁵ Thierry A. Les grandes mystifications littéraires. Par., 1911. P. 187–206, 227–241 и др.; Пытин А. Подделка рукописей и народных песен; см.: Пам. древн. письм. № СХХVII. СПб., 1898 г. Сами подделки вызывали иногда подражания, о чем см. Thierry A. Op. cit. P. 162.

дит, например, достаточно разнообразных типов для своих продуктов и слишком часто повторяется; если он оставляет их в возможно более сохранившемся виде, чрезмерная сохранность совокупности их представляется менее вероятной, чем сохранность одного из них; если же он стремится придать им архаичный стиль, ему приходится соответственно выдержать его относительно всей группы, что нередко оказывается затруднительным и ведет к несогласованности ее элементов между собой; само собою разумеется, что при таких условиях он легче может сделать и другие ошибки, по которым можно судить о подделке. Наглядные примеры применения критики к таким группам можно найти хотя бы в той литературе, которая была порождена известными подделками моавитских древностей или «арборейских пергаминов»; ученые разных специальностей подвергли их рассмотрению с самых разнообразных точек зрения – археологической, технической, палеографической, филологической, литературно-исторической, собственно исторической и т. п.²³⁶

Итак, критерий, в силу которого историк называет данный источник или какую-либо из его частей подделкой, оказывается довольно сложным и применяется к области продуктов человеческой психики, вызванных злой волей их составителей и преднамеренно выдаваемых ими за действительные источники; при помощи разнообразных методов и технических приемов, изложенных выше, историческая критика устанавливает отрицательную ценность таких источников для научного построения той исторической действительности, к которой они будто бы относятся.

Если применить все вышесказанное о критике, устанавливающей научную ценность источника как исторического факта, легко придти к заключению, что она служит весьма важным подспорьем для большинства исторических построений; но она все же не может удовлетворить всех запросов историка, стремящегося научно построить историческую действительность. В самом деле, источник может быть

²³⁶ *Clermont-Ganneau Ch.* Op. cit. P. 101–183; *Kautzch E. und Socin A.* Op. cit. S. 166–171, 177–178, 179; ср. 186–187; моавитские древности стали появляться с 1872 г.; *Foerster W.* Sull'azenticità dei codici d'Arborea; см. Atti del Congresso Internazionale die scienze storiche, v. IV. P. 53–56. «Pergamene di Arborea» (на о. Сардинии) стали известны с 1845 г.; они отличаются, например, такими особенностями языка, которые относятся к позднему времени, содержат рассуждения о происхождении неолатинских языков от латинского, о единстве Италии и т. п.; Ферстер, впрочем, замечает касательно нескольких позднейших сборников № 13 и 14: «mi parve autentico per la sua scrittura».

подлинным и, тем не менее, оказаться недостоверным; или наоборот, неподлинный источник может заключать достоверные показания. Итак, следует отличать понятие о достоверности или недостоверности источника от понятия о его подлинности или неподлинности; понятие о достоверности или недостоверности источника лежит в основе критики, устанавливающей научную ценность показаний источника.

§ 3. *Критика, устанавливающая научно-историческую ценность показаний источника о факте*

Вообще, можно сказать, что всякий, кто высказывает какое-либо суждение о факте, дает показание о нем.

Простейшее из таких показаний, казалось бы, состоит в утверждении или отрицании факта; но и оно обыкновенно оказывается довольно сложным.

В самом деле, утверждая или отрицая факт, субъект уже включает в свое показание несколько понятий, в сущности заключающих суждения, хотя бы в скрытой форме; вместе с тем он обыкновенно судит о том, что факт случился или не случился, по нескольким признакам, не выделяя каждый из них, что также осложняет содержание его показания; далее, он часто оценивает факт и, значит, включает в свое показание более или менее ясно сознаваемый критерий своей оценки, свое «настроение» и т. п.; наконец, высказывая свое мнение о факте, он, с принятой им точки зрения, понимает, строит и изображает его, далеко не всегда выделяя его из других связанных с ним фактов; следовательно, он часто дает показание не об одном, а о нескольких фактах и легко смешивает вышеуказанные суждения о них между собою. В громадном большинстве случаев историк и имеет дело со сложными показаниями: каждое из них может содержать несколько суждений, более или менее связанных между собою и касающихся одного или даже нескольких фактов.

Естественно, что при таких условиях даже то показание, которое высказывается на основании данных собственного своего чувственного восприятия, может быть истинным или неистинным и, значит, может оказаться пригодным или непригодным для познания исторической действительности: каждое из суждений, входящих в его состав, подлежит проверке, прежде чем опираться на них для построения исторической действительности.

На основании принципа систематического единства сознания каждый из нас признает показание истинным, если содержание его со-

гласуется с таким принципом, и, наоборот, считает показание неистинным, если содержание его противоречит такому принципу; в той мере, например, в какой я могу отнести содержание данного показания к какой-либо истине, уже опознанной мною, я могу включить его элементы в систематическое единство моего собственного сознания и, значит, имею основание признать показание истинным; и наоборот, если я не могу включить их, я не считаю его истинным.

Истинное показание дает основание сделать достоверный вывод, неистинное ведет к выводу недостоверному; в таком смысле можно говорить и о достоверности или недостоверности самого показания; но историк придает этим терминам особый смысл в зависимости от того рода истины или неистины, с точки зрения которой показание получает свое значение для истории: оно может быть фактически истинным или неистинным, т. е. содержать истинные или неистинные суждения о действительно бывшем, и в таком смысле давать достоверное или недостоверное знание о факте, т. е. быть фактически достоверным или недостоверным; оно может обладать также большей или меньшей степенью фактической достоверности или недостоверности, что соответственным образом отражается и на источнике, образованном из таких показаний.

В самом деле, историк приписывает достоверность источнику, если он может отнести его показания к фактической истине; и наоборот, он приписывает ему недостоверность, если он не может отнести его показания к такой истине. Следовательно, историк признает источник достоверным, если он на основании его показаний о факте может научно судить о том же факте, как если бы он сам испытал или не испытал его в своем чувственном восприятии; и наоборот, он считает источник недостоверным, если на основании его показаний он не может судить о таком факте в вышеуказанном смысле.

Действительно, можно приписывать достоверность показанию и в положительном, и в отрицательном смысле. Понятие о связи между отнесением показания к фактической истине и суждением на его основании о факте, как если бы тот, кто о нем судит, испытал его в своем чувственном восприятии, ясно само по себе; но понятие о связи между таким же отнесением и основанным на нем суждением о факте, как если бы сам судящий не испытал его в своем чувственном восприятии, пожалуй, нуждается в некотором пояснении; дело в том, что историк может приписывать достоверность и такому показанию, которое сообщает, что (мнимый) факт, интересующий историка, не существовал в действительности; в таком случае историк судит на основании показания о факте, как если бы он сам не испытал

его в своем чувственном восприятии. В соответственном, но обратном смысле те же понятия входят и в определение понятия о недостоверности показаний источника.

Понятие о достоверности или недостоверности источника формулировано мною с той теоретико-познавательной точки зрения, которая уже была обоснована выше; но оно может показаться слишком сложным, например, приверженцу позитивизма. С точки зрения последнего, пожалуй, проще всего было бы определить понятие о достоверности или недостоверности источника в смысле «соответствия или несоответствия его показаний с действительностью». Такое определение едва ли можно, однако, признать удовлетворительным: ведь всякий, кто «судит» о действительности, в сущности имеет дело со своим представлением о действительности, т. е. с построением ее, хотя бы и очень элементарным, а не с действительностью, самой по себе взятой в ее целостности. Вместе с тем легко заметить, что определение, сформулированное с той теоретико-познавательной точки зрения, которая была принята выше, покрывает собою и понятие о достоверности отрицательного показания, что не имело бы места, если бы оно было построено с реалистической точки зрения: ведь нельзя подвести понятие об отрицательном показании под понятие о достоверности показания в смысле соответствия его с действительностью.

Легко заметить, что в том случае, если показание признается безусловно истинным или безусловно неистинным, нельзя рассуждать о степени его достоверности или недостоверности; но если оно безусловно не заслуживает одной из таких квалификаций, приходится выяснять степень его достоверности или недостоверности.

Следует иметь в виду, что такое понятие прилагается не к факту, а к знанию о факте, обнаружившемся в показании о нем; но знание о факте может быть более или менее достоверным или недостоверным; значит, и знание, осложненное показыванием того, что знаешь о нем, т. е. показание, также может быть более или менее достоверным или недостоверным. В самом деле, нельзя говорить, например, о степени достоверности или недостоверности факта, который случился или не случился, но можно рассуждать о степени достоверности или недостоверности знания, показывающего о том, что факт случился или не случился в действительности, тем более что его показание часто состоит из нескольких суждений о факте и что не все они могут оказаться правильными. Следовательно, можно сказать, что в той мере, в какой всякое показание есть некоторое знание о факте, и показание источника о том, что факт случился или не случился, может иметь разную степень достоверности или недостоверности. Впрочем,

следует различать понятие о степени достоверности или недостоверности показания о том, что факт случился, от понятия о степени достоверности или недостоверности показания о том, что факт не случился; ведь и отрицательное суждение подобного рода может иметь разную степень достоверности или недостоверности. Во всяком случае, и наше знание о том, что факт случился или не случился, основано на чужом показании и, значит, может иметь соответствующую степень достоверности или недостоверности в той мере, в какой оно зависит от данного показания.

Степень достоверности показания находится в зависимости от того соотношения, в каком «верные его элементы» находятся ко всей совокупности включенных в показание элементов; но точно установить соотношение подобного рода чрезвычайно затруднительно. Простой подсчет таких элементов, очевидно, нуждается в достаточно ясном их расчленении; но нелегко различить в показании все привходящие в него понятия и суждения и точно исчислить их; далее, такой подсчет предполагает или равнозначимость элементов, или, по крайней мере, наличие групп равнозначимых элементов; но ни отдельно взятые элементы, ни группы их неравнозначимы. Следовательно, для того чтобы выяснить соотношение верных элементов показания к совокупности всех привходящих в него элементов, нельзя довольствоваться их подсчетом; приходится взвешивать значение каждого из элементов, показавшихся верными, и значение остальных, вместе с верными образующих данную совокупность, что и ведет к критике показания. Аналогичное рассуждение можно сделать, конечно, и относительно степени недостоверности показания: понятие о ней получается путем выяснения того соотношения, в каком «неверные его элементы» находятся к совокупности всех элементов, образующих показание; но и в подобного рода случае понятие о степени недостоверности выясняется не столько путем подсчета его элементов, сколько благодаря критике показания. Таким образом, можно хотя бы приближенно установить фактическое значение показания, обладающего некоторой степенью достоверности или недостоверности, подвергнув исторической критике все его элементы, что и дает возможность проверить вывод касательно степени его достоверности выводом касательно степени его недостоверности.

Все сказанное о степени достоверности или недостоверности показаний тем более применимо к показаниям о собственно исторических фактах: каждый из них представляется весьма сложным, и зна-

ние о нем, а значит, и показание о нем может иметь весьма различные степени достоверности или недостоверности.

В связи с понятиями о степени достоверности или недостоверности показания можно рассматривать и понятие о «вероятности» или «невероятности факта». Следует, конечно, иметь в виду, что в рассуждениях подобного рода речь идет не о степени вероятности или невероятности самого факта, а о степени вероятности или невероятности нашего знания о нем, т. е. нашего суждения или нашего заключения о том, что описанный факт (в том виде, в каком он описан) происходил или не происходил в действительности; но степень вероятности или невероятности такого суждения или заключения находится в зависимости от степени достоверности или недостоверности показания о том же факте. В самом деле, степень достоверности, какую мы приписываем показанию, обуславливает и степень вероятности заключения, что основанное на нем суждение об историческом факте имеет положительную ценность, т. е. приближается к фактической истине; и наоборот, степень недостоверности показания обуславливает и соответствующую степень невероятности такого заключения или вероятности погрешности, которую можно сделать, если судить об историческом факте на основании того же показания²³⁷.

Замечания, сделанные выше о степени познавательной ценности показания, разумеется, в еще большей мере относятся и к источнику: он обыкновенно состоит из нескольких показаний; в числе их могут быть показания достоверные, но могут быть и показания недостоверные; да и каждое из них может иметь отличную от других степень достоверности или недостоверности; следовательно, можно говорить о степени достоверности или недостоверности источника в двояком смысле: или в том, что источник состоит из смеси достоверных и недостоверных показаний; или в том, что он включает показания, имеющие разную степень достоверности или недостоверности; значит, можно соответственно различать и степени вероятности

²³⁷ Впрочем, под «вероятностью факта» можно было бы разуметь и вероятность наступления ожидаемого факта или степень достоверности такого ожидания и придавать соответственно обратное значение «невероятности факта» или степени недостоверности его ожидания; но если историк имеет дело с наступившими фактами, то и критика разбираемого вида должна изучать показания о таковых; понятие же о степени вероятности или невероятности нашего знания о факте по показаниям о нем сводится к понятию о степени вероятности или невероятности наших заключений о нем по таким показаниям. Ср. еще ниже, §3 и отдел второй, глава 1.

или невероятности заключений, делаемых на основании такого источника; но в обоих случаях приходится выяснять соотношение между показаниями, образующими данный источник, а не только между элементами одного и того же показания, что, разумеется, соответственно осложняет и критику источника.

При пользовании вышеуказанными понятиями следует различать основания, в силу которых показание признается достоверным или недостоверным, от причин, которыми объясняется, почему оно оказывается достоверным или недостоверным; иными словами говоря, нельзя смешивать критерии его достоверности или недостоверности с генезисом достоверного или недостоверного показания.

В самом деле, достоверность или недостоверность показания, а значит, и степень их устанавливается лишь на основании известных критериев; можно различать такие критерии в зависимости от того, решается вопрос о том, мог или не мог случиться показываемый факт, или вопрос о том, был он или не был в действительности.

При решении вопроса о том, мог или не мог случиться показываемый факт, историк, в сущности, исходит из понятия о систематическом единстве сознания вообще и с точки зрения отнесения к «абсолютной» истине данного показания судит о его значении: он придает ему положительную или отрицательную ценность, смотря по тому, может оно быть включено в такое единство или не может, соответствует оно или не соответствует «законам сознания» или «законам природы».

Критерий «абсолютной» истины показания сводится, значит, к понятию о тех законах сознания или природы, которые историк признает (разумеется, в формальном смысле) «абсолютно» истинными и согласно с которыми, по его убеждению, описываемый факт и должен был произойти: если показание или точнее его содержание, т. е. суждение показывающего о каком-либо факте, соответствует тем законам, согласно которым он должен быть представлен, то историк и признает его «возможным»; в обратном же случае он считает его «невозможным»; таким образом, он соответственно приходит к заключению, что показание может быть достоверно или недостоверно.

С указанной точки зрения, соблюдение или нарушение «законов» логики, заключаемое в данном показании, уже служит основанием для суждения о «возможности» или «невозможности» сообщаемого факта, а значит, и о научной ценности самого показания: если историк сознает, что основные правила логики соблюдены в нем, он полагает, что показание может быть достоверным; и наоборот, если он сознает, что они нарушены в нем, он полагает, что показание (по крайней мере, в его целом) не может быть достоверно; если историк на-

ходит, например, самопротиворечивое показание или показание, одновременно утверждающее и отрицающее нечто об одном и том же факте, т. е. в сущности содержащее противоречивые показания об одном и том же факте, он, разумеется, получает основание сомневаться в достоверности одного из них, может признать одно из них недостоверным и т. п.

Следует иметь в виду, однако, что критерий логического единства сознания теряет свою силу, если объекты показаний различны; нельзя искать логическое единство в показаниях одного и того же свидетеля о сложном историческом факте, не подвергнув предварительному исследованию, действительно ли объект показания оставался одним и тем же; сложный исторический факт мог представляться свидетелю в виде совокупности более мелких фактов, и, одинаково называя данную их совокупность в разных своих показаниях, он мог относить их, в сущности, к разным объектам; тогда и противоречие между показаниями данного субъекта о такой совокупности может оказаться кажущимся, или мнимым. Если, например, *A* называет *B* и правдивым, и лживым, то противоречие между показаниями *A* о *B* окажется лишь в том случае, если *A* называет *B* правдивым и лживым в одном и том же отношении; но может случиться и то, что *A* называет *B* правдивым, имея в виду, положим, строгость его научных приемов исследования в какой-либо специальной области, и называет того же *B* лживым, имея в виду его суждения о нравственных достоинствах своих конкурентов, противников и т. п. Так как источник может содержать несколько показаний его автора-свидетеля об одном и том же факте, то и вышеприведенная аргументация может с тем большим основанием получить применение, особенно в тех случаях, когда историк обсуждает достоверность или недостоверность источника.

Впрочем, предложенная выше формулировка критерия «абсолютной» истины показания предполагает возможность судить о нем и с точки зрения его соответствия или несоответствия с «законами природы»; но соответствие показания с законами природы может и не иметь значения критерия его достоверности, поскольку всякое показание в известном смысле есть естественный продукт данной совокупности условий и, значит, всегда, даже будучи недостоверным по своему содержанию, находится в соответствии с законами природы; следовательно, в данном случае под показанием нужно разуметь суждение показывающего о факте, на основании которого и историк может заключать не о факте показания, а о показываемом факте, и знание о котором считается достоверным или недостоверным, смотря по тому, соответствует оно или не соответствует «законам природы».

Соответствие показания или целого источника с законами природы, согласно с которыми описываемые факты должны были совершаться, — необходимое, хотя и недостаточное условие фактической его достоверности: если изучаемое показание по своему содержанию соответствует законам природы, оно может оказаться фактически достоверным; и наоборот, показание, не соответствующее им, признается фактически недостоверным.

В самом деле, на основании показания, которое противоречит законам природы, историк еще не может рассуждать о факте как о таком, который произошел в действительности, а только как о таком, который мог произойти в действительности; но в случае противоречия показания с законами природы он, напротив, вправе отрицать самую возможность факта и, значит, имеет основание заключить, что он не случился в действительности: ведь невозможный факт — такой (мнимый) факт, который не мог быть, а значит, и не был в действительности.

Впрочем, для того чтобы утверждать, что фактическое содержание показания противоречит законам природы, надобно обладать полным знанием законов природы; можно привести случаи, когда историк готов был бы утверждать достоверность показания лишь потому, что он слишком мало знает те законы, с которыми содержание изучаемого им показания находится в соответствии.

В самом деле, широко понимая соответствие между содержанием показания и «законами природы», можно подводить под него и понятия о соответствии его содержания с законами душевной и даже общественной жизни. Так как они, однако, далеко не все прочно установлены, то и противоречие с ними показаний не всегда можно доказать; значит, в таких случаях тем легче ошибиться в признании факта невозможным, т. е. не бывшим в действительности.

Многие явления душевной жизни далеко еще не настолько обследованы, чтобы можно было, с точки зрения категорий возможности или невозможности, принимать или отвергать известия о них, хотя бы содержание их и казалось сомнительным. В прежнее время, например, некоторые ученые готовы были признать рассказы о появлении «стигматов» на руках и ногах, на боках и на лбу мистиков плодом расстроенного воображения; но позднейшие изыскания в области истероэпилепсии доказали, что рассказы подобного рода могут быть достоверными, поскольку они констатируют наличие самого факта появления стигматов: кожа такого субъекта под влиянием проведения по ней линий или нажимания на нее каких-либо предметов может вдоль внушенных таким образом направлений покраснеть или испус-

кать кровь²³⁸; значит, и известия о фактах подобного рода, повторявшихся и в позднейшее время (ср. рассказ о стигматизированной девушке Maria Mörl в Кальтерне подле Боцена в 1830-х гг.), могут быть достоверны. Впрочем, отсюда, разумеется, еще не следует, чтобы все они действительно произошли или чтобы объяснения, которые современники давали происшедшим фактам, были приемлемы.

Тем легче ошибиться в тех случаях, когда речь идет о несоответствии данных показаний с «социологическими законами». Всем знакома, например, легенда о Ромуле и Реме, основателях Рима, будто бы вскормленных волчицею; но не всем, может быть, известно, что в ней, пожалуй, заключается зерно правды, хотя бы легенда и не имела прямого отношения к собственно римской истории. Судя по рассказам целого ряда лиц, в числе которых можно указать и очевидцев, в Индостане бывали случаи, когда дети вырастали среди волков; в их обществе будто бы находят детей четырех и даже десяти лет. Когда им предлагают пищу, они обнюхивают ее перед тем, как взять, и предпочитают сырое мясо; чтобы доставить им особенное удовольствие, стоит только предложить им кости, на которые они набрасываются с жадностью; от всех этих детей-волчат исходит специфическим запахом хищных зверей, которым они пропитаны настолько сильно, что даже самое энергичное мытье мылом не избавляет их от этого запаха. Дети-волчата представляются в высокой степени одичавшими; они не могут говорить, а лишь ворчат, подобно собакам, или взвизгивают; умственная их деятельность находится на самой низкой степени развития. Один свидетель, взявший к себе такого ребенка, рассказывает, что спустя некоторое время его пришли навестить три волка; когда они увидели своего названного брата, то бросились к нему и принялись играть с ним; дня через три они опять явились, но на этот раз уже с двумя другими волками, и т. п.²³⁹ Положим, что такие известия заслуживают некоторого доверия; тогда и содержание известной легенды о Ромуле и Реме нельзя признать безусловно баснословным: она могла возникнуть на такой же почве, хотя бы и не имела прямого отношения к собственно римской истории.

²³⁸ James W. Principles. V. II. С. 612–613.

²³⁹ Coupin H. Les enfants-loups; см.: La Nature. 1898. Т. II. P. 90–91; известия о детях-волчатах были сообщены проф. М. Мюллером, сэром Р. Мерчисоном, В. Боллем (V. Ball), членом индийского геологического общества, ген. Слимэном, кап. Эджертоном, кап. Николетсом, г. Виллоком, разными миссионерами, например г. Эрардом, и другими очевидцами. Личность Рема считается позднейшею выдумкой, о чем см.: Mommsen Th. Gesammelte Schriften. Bd. IV. S. 1–21.

Таким образом, можно говорить об отсутствии соответствия между содержанием показания и законами природы, в особенности с законами душевной и социальной жизни, только тогда, когда есть достаточное основание утверждать, что нельзя допустить их; без такой оговорки заключения подобного рода могут страдать «гиперкритикой» и оказаться ошибочными.

Во всяком случае, для того чтобы установить научно-историческое значение показания, недостаточно отнести его к «абсолютной» истине в той мере, в какой она отождествляется с какими-либо законами: показание может соответствовать им и, тем не менее, содержать суждение лишь о том, что могло быть, а не о том, что было в действительности; и хотя обратное суждение, что нечто не могло быть, ведет к отрицанию того, что действительно было; такой вывод все же не имеет положительного исторического значения, да и придти к нему далеко не всегда оказывается возможным.

В самом деле, смешение критерия абсолютной истины с критерием истины фактической ведет к ложной оценке показания (в широком смысле) о факте: если ценить такое показание с точки зрения абсолютной истины, можно признать сообщение о том, что могло быть в действительности, истинным, хотя оно, с точки зрения фактической истины, и не дает основания утверждать, что возможное в действительности произошло на самом деле и, значит, может оказаться в таком смысле неистинным. Нельзя без смешения понятий заявлять, что «свидетельство людей есть, в сущности, свидетельство моего собственного разума»: для того чтобы оценить его, недостаточно отнести его к «абсолютной» истине; нужно придать ему фактическое значение, нужно найти в последнем основание для чужого опыта, т. е. данных чувственного восприятия не моего, а чужого «Я», вызванных фактом, которого я не наблюдал в действительности; нужно установить степень доверия, с каким я могу принять такое показание. Следовательно, нет возможности смешивать и доказательства, приводимые в пользу одного рода истин, с доказательствами в пользу другого рода истин²⁴⁰.

Итак, при решении вопроса о том, был или не был показываемый факт в действительности, нельзя довольствоваться критериями «абсолютной» истины показаний: приходится устанавливать еще критерии фактической истины показаний; историк пользуется ими для того, чтобы выяснить фактическую достоверность или фактическую недос-

²⁴⁰ *Neville E.* L'importance logique du témoignage; см. Séancts et travaux de l'Académie des sciences morales et politiques. Т. 128 (1887). Р. 270. Слова, приведенные в кавычках, высказаны Руссо в его «Profession de foi du Vicaire Savoyard».

товерность показаний; он принимает только те из них, которые фактически достоверны, т. е. на основании которых он может положительно утверждать, что известный из них факт был или не был в действительности, и вместе с тем по возможности должен доказать, что остальные недостоверны, т. е. не могут служить для заключений подобного рода.

В числе главнейших критериев фактической достоверности или недостоверности показания о том, что факт был или не был в действительности, можно, в сущности, отметить те принципы, которые, с иной точки зрения, уже были затронуты выше, при рассмотрении критики источника как факта: и тут приходится иметь в виду понятие о единстве сознания, обнаружившемся в данном показании, а также понятия о соответствии его с той культурой и той индивидуальностью, которой он принадлежит²⁴¹.

Критерий единства сознания в его приложении к оценке фактической достоверности или недостоверности показания получает, однако, особое значение и находится в тесной связи с понятием о фактической истине, с точки зрения которой историк может усмотреть некоторое единство в интересующем его показании.

Само собою разумеется, что тот, кто рассматривает фактическую достоверность или недостоверность показания, опирается и на понятие о фактической истине в объединяющем для его сознания смысле: историк исходит из нее, когда он принимает или отбрасывает показание, смотря по тому, имеет он или не имеет основание включить его содержание в совокупность своих представлений о фактах, объединяемых им с точки зрения такой истины; он пользуется ею, когда стремится установить более или менее непосредственную связь между содержанием показания и теми фактами, которые он сам испытал в действительности.

Ввиду того, однако, что понятие о фактической истине предполагает наличие данного конкретного факта, в отношении к которому она кем-либо утверждается и за отсутствием которого она кем-либо отрицается, даже в том случае, если историк принимает, что свидетель высказал «абсолютную» истину, он в сущности интересуется самым фактом ее высказывания и, значит, должен признать действительное существование того именно, кто ее высказал; если же он ссылается на показание о действительно бывшем факте, он уже предполагает наличие того именно, кто испытал его в собственном своем чувственном восприятии, хотя бы показание давалось не им, а с его слов

²⁴¹ См. выше, с. 414 и след.

сторонним лицом; лишь с такой точки зрения историк может говорить о фактической достоверности показания или, при обратных условиях, о фактической недостоверности показания. В своих рассуждениях о научной ценности показания историк, значит, уже пользуется фактической истиной и в той мере, в какой он переносит общезначимые критерии своего сознания на то «чужое Я», которому он приписывает действительное существование: он полагает, что и свидетель руководился ими или нарушил их и что такое состояние его сознания соответственно отразилось и на его показании. Действительно, историк пользуется понятием о единстве или разъединенности сознания для того, чтобы путем перенесения его на составителя источника в качестве предпосылки исходить из понятия о единстве или разъединенности его сознания при критической оценке его показаний. В сущности, каждый историк рассуждает таким образом, когда пользуется критерием единства или разъединенности сознания для установления научной ценности данного показания²⁴².

Такой предпосылки, однако, недостаточно для того, чтобы установить научно-историческую ценность показания с точки зрения отнесения его к фактической истине; желая придать ему объективное значение, историк исходит еще из понятия о ценности фактической истины для человеческого сознания вообще и применяет его к тому индивидууму, который дал показание или составил источник²⁴³. Без такого критерия историк в сущности не может признать показание фак-

²⁴² Свидетель может обнаружить некоторую разъединенность сознания даже в тех способах, какие он употребляет для выражения своих мыслей: вообразим, что человек заявляет о своих чувствах привязанности к известному лицу, но в то же время сжимает кулаки; такой двойственный способ выражения, пожалуй, показывает, что мысли свидетеля диспаратны, что он, вероятно, желает скрыть свои враждебные чувства в своем показании, но невольно обнаруживает их в своих жестах и т. п., и что, значит, его показание недостоверно. Известный криминалист Гросс в качестве судебного следователя пользовался таким приемом, не возводя его, однако, к принципу единства сознания, а только пользуясь выводами из него; но историк, конечно, лишь в редких случаях может оказаться в таком положении. См. еще: *Claparède E. La, psychologie judiciaire в L'année psychologique. Par., 1906. P. 278.*

²⁴³ Даже лгун в известном смысле все же одновременно может признавать ценность истины; он сознает, например, что он лжет; или он рассчитывает на то, что его ложь будет принята другими за истину и что для других она получит ценность истины; с такой точки зрения, всякая ложь есть самопротиворечие: лжец нарушает своею ложью тот самый принцип (признание ценности истины),

тически истинным: лишь исходя из вышеуказанной предпосылки, он рассуждает о том, что автор-свидетель говорит правду или неправду, т. е. что его показание, с точки зрения рассматриваемого критерия, имеет или не имеет ценность фактической истины.

Итак, критерий единства сознания в его приложении к изучению фактической достоверности показания находится в тесной связи с признанием ценности фактической истины: последнее придает особого рода единство или связанность его мысли с опытом, т. е. сосредоточивает его мысль на эмпирически данном содержании показания и, таким образом, обуславливает фактическую достоверность самого показания; и наоборот, пренебрежение к фактической истине в лучшем случае открывает простор мысли, принимающей возможное за действительное, и ведет к недостоверному показанию.

Предпосылка подобного рода лежит в основе многих рассуждений о достоверности или недостоверности показаний, имеющих генетический характер. Историк исходит из нее, например, когда доверяет «искренности» автора, его «правдивости» и «откровенности» или «простоте» и «безыскусственности» его рассказа или когда он не доверяет автору, показание которого производит на него обратное впечатление — скрытности, искусственности и т. п.²⁴⁴ Историк пользуется тем же понятием о признании всяким ценности фактической истины и в том случае, когда ссылается на совпадение нескольких, независимых друг от друга показаний об одном и том же факте для доказательства их достоверности: он придает положительное зна-

на который он опирается в расчете на признание его лжи, например, касающейся интересующего его факта, ценностью со стороны других людей.

²⁴⁴ *Dromard G. Essai sur la sincerité. Par., 1911. P. 4–5, 44, 48–49;* впрочем, автор придерживается чисто психологической, преимущественно «интроспективной» точки зрения и едва ли достаточно обосновывает и развивает ее, а также очень мало заботится о доказательстве и об эмпирической проверке своих положений. Арнольд довольно ясно выразил значение такого критерия для историка в следующих выражениях: «first of all then, in estimating whether any history is trustworthy or no, I should not ask whether it was written by a contemporary, or by one engaged in the transactions, which it describes, but whether it was written by one who loves the truth with all his heart, and cannot endure error. For such a one, we may be sure, would never attempt to write a history if he had no means of writing it truly; and therefore although distant in time or place, or both from the events which he describes, yet we may be satisfied that he had sources of good information at his command, or else that he would never have written at all...»; см.: *Arnold Th. Introductory lectures. P. 380.*

чение подобного рода совпадению, лишь исходя из предположения, что каждый из свидетелей был способен признавать и в данном случае действительно признавал ценность некоторой фактической истины; в противном случае, т. е. предполагая совершенно случайное совпадение подобного рода, историк в сущности был бы не в состоянии доказывать им достоверность показаний; случайное совпадение может обнаружиться и между ложными показаниями; и наоборот, историк придает отрицательное значение разногласию независимых показаний относительно одного и того же факта, поскольку оно обнаруживает, что те, которые подавали их, не все признавали ценность фактической истины и, следовательно, могли дать недостоверные показания²⁴⁵.

Во многих частных случаях историк действительно пользуется критерием ценности фактической истины; с такой точки зрения, он устанавливает, например, значение мемуаров Тюрення или Наполеона I: он замечает, что Тюрень высоко ценит фактическую истину показаний, так как сам сознательно приводит факты, свидетельствующие о его промахах и ошибках, а Наполеон I, напротив, слишком мало ценит ее, так как сам старается скрыть их, хотя бы они и не наносили большого ущерба его славе; на основании рассуждений подобного рода историк приходит к заключению, что мемуары Тюрення гораздо более достоверны, чем мемуары Наполеона I²⁴⁶.

Тем не менее вышеуказанный принцип, сам по себе взятый, все же представляется во многих случаях довольно слабым основанием для суждения о достоверности данных показаний, главным образом, потому, что нельзя смешивать предпосылку о наличии в сознании вообще критерия ценности фактической истины с понятием об истинном, т. е. правдивом, в каждом отдельном показании о факте.

Прежде всего следует иметь в виду, что полное признание ценности фактической истины в сущности предполагает ее опознание: лишь сознав все различие между истинным и ложным, человек в состоянии вполне и соответственно приписать одному положительную, а другому отрицательную ценность; но человек далеко не всегда способен возвыситься до такого сознания. Далее, ведь субъект, способный признавать ценность истины вообще, все же может ошибаться при констатировании данного конкретного факта и действительно в таких случаях легко ошибается, сам того не сознавая; вот почему,

²⁴⁵ Ср., однако, ниже, с. 494 (о малой вероятности совпадения ложных показаний).

²⁴⁶ *Arnold Th. Introductory lectures*. P. 399, 399–400. Впрочем, Тюрень преследовал в своих записках и военно-педагогические цели.

формулируя основную предпосылку, можно говорить только о способности субъекта признавать ценность фактической истины в формальном ее значении, а не о том, что он в каждом конкретном случае действительно будет давать правдивые показания о факте: они могут быть и часто бывают ошибочными, хотя бы субъект и желал говорить правду. Наконец, нельзя не заметить, что субъект, дающий показание о факте, в действительности иногда сознательно извращает его по собственному желанию и даже может с мнимой силой убеждения высказывать о нем ложные суждения, сообщать лживые известия, обставляя его разными правдоподобными подробностями и т. п. Следовательно, историк может утверждать, что каждый субъект не только способен признавать ценность истины, но признает ее на самом деле, в данном конкретном случае, лишь если он в состоянии доказать, что у него нет достаточно сильных причин или мотивов для того, чтобы сказать неправду. Во многих случаях, однако, историк не в состоянии обосновать такое отрицательное суждение и должен, значит, оставить вопрос открытым или ответить на него, опираясь на другие критерии.

Хотя последнее из указанных соображений, видимо, ослабляет значение разбираемого критерия, однако оно же может придавать ему и новую силу. В тех случаях, когда историк замечает, что субъект дает такие показания о факте, которые противоречат основной его тенденции и не вызваны какими-либо другими мотивами искажения, он получает основание приписывать им некоторую достоверность именно потому, что мотивы свидетеля, казалось бы, должны были побуждать его сказать обратное. Нельзя не заметить еще, что с точки зрения мотивации показаний, вероятность совпадения ложных или лживых показаний сравнительно мала: ведь мотивы дать ложное или лживое показание о факте вообще отличаются более субъективным характером, чем мотивы дать истинное показание, так как дача ложного показания обыкновенно имеет в виду более или менее случайные личные выгоды свидетеля, а значит, и совпадение между его показаниями и показаниями других людей, вызванных такими же мотивами, об одном и том же факте менее вероятно.

Итак, можно пользоваться вышеуказанным критерием, но не без предосторожностей: следует иметь в виду, что даже целые народы обнаруживали разное отношение к фактической истине, по крайней мере в некоторых видах источников: ученые полагают, например, что ассирияне в своих исторических надписях и летописях ближе придерживались ее, чем египтяне, и конечно, стояли гораздо выше индийцев; что греки сохранили в своих исторических преданиях го-

раздо более мифических элементов, чем древние римляне — в своих анналах, и т. п.²⁴⁷

С точки зрения разбираемого критерия, наибольшее значение для исторического построения имеет, конечно, то показание, податель которого сознает ценность фактической истины, высказываемой им на основании своего собственного чувственного восприятия. Лицо, более или менее сознающее ее, называется свидетелем: строго говоря, свидетель есть тот, кто имеет ценное для сознания основание дать фактически истинное показание о факте, так как он испытал его в данных своего собственного чувственного восприятия; но и в том случае, если свидетель неясно сознает значение такого основания, он все же не может не переживать ценности фактической истины, включаемой в самый акт испытывания им данного факта. В самом деле, мы признаем свидетелем того, кто, например, сам видел или слышал именно то, о чем он показывает, и кто, значит, высказывает суждение о факте, основанное на данных своего собственного чувственного восприятия, и в форме, доступной чужому восприятию. Такое показание мы и называем «свидетельским»²⁴⁸.

Следует заметить, однако, что понятие о свидетеле может иметь различные оттенки, а в соответствии с ними и понятие о значении его показания получает разный смысл. В самом деле, мы считаем свидетелем преимущественно того, кто показывает о факте, который он ис-

²⁴⁷ *Bernheim E.* Lehrbuch. S. 490, 491; здесь указания на соответствующую литературу; впрочем, и ассирийские надписи рассказывают только о более или менее блестящих победах ассириян, что, разумеется, вызывает сомнения в их достоверности; см.: *Kuenen A.* Op. cit. S. 11.

²⁴⁸ Лейбниц уже указывал на значение свидетельских показаний для историка; см.: *Davillé L.* Leibniz-historien. Par., 1909. P. 465 et ss. Свидетель может, конечно, давать показание и о состоянии своего собственного сознания. Не поднимая здесь вопроса о том, в какой мере возможны состояния подобного рода совершенно независимо от данных чувственного восприятия, хотя бы ранее бывших, я замечу только, что такое показание, кажется, может иметь двойное значение: или оно становится своего рода свидетельским показанием, но скорее для психолога, чем для историка (ср. учение об историческом значении факта), или оно получает характер остатка культуры, а не показания источника о факте; произведение, которое показывает настроение своего автора, есть остаток культуры, применительно к которому разбираемый вид критики не применяется; но поскольку субъект судит об испытанных им состояниях своего собственного сознания, а не только переживает их, его суждение, разумеется, можно также называть свидетельским показанием.

пытал в разных своих чувственных восприятиях, взаимно дополнявших друг друга, кто проверил, например, то, что он видел, тем, что он осязал или обонял, и т. п.; но во многих случаях мы разумеем под свидетелем и того, кто показывает о факте лишь по одному роду ощущений, впечатление от которых он не мог проверить впечатлением от другого рода ощущений, вызванных тем же объектом; мы готовы, пожалуй, приписать аналогичное значение даже тому, кто испытал (в одном из вышеуказанных смыслов) хотя бы частицу факта, например, того, кто сообщает, что было сражение, на том основании, что он встретил одного из участвовавших в нем, и т. п.

Итак, нельзя упускать из виду, что «свидетельские» показания могут иметь разное значение и что, в зависимости от большей или меньшей полноты восприятия факта, свидетельское показание о нем легко может оказаться более или менее независимым, смотря по тому, в какой мере свидетель пополняет свои восприятия чужими восприятиями и, таким образом, дает показание, отчасти уже зависящее от чужих показаний.

В той мере, однако, в какой показание основано на чужом восприятии факта, оно уже, собственно говоря, не может быть признано «свидетельским» и получает название «известия»: фактическая ценность его состоит или в факте точной передачи чужого свидетельского показания о факте или в обнаружении его оценки, которая сама также оказывается фактом; следовательно, можно применять критерий фактической ценности показания и к известию для выяснения его значения в том или другом смысле, что обыкновенно и делается при помощи критики состава известия и критики достоверности или недостоверности оценки данного в свидетельском показании факта, а также самой оценки как более или менее правдивого или неправдивого обнаружения строения составителя известия в его отношении к тому же факту.

Таким образом, при помощи критерия ценности фактической истины историк может различать свидетельские показания от известий и постоянно пользуется подобного рода различием для научной оценки источников: он различно ценит, например, показания Эингарта о Карле Великом, лично знавшего его, и показания псевдо-Тюрпена, сообщавшего легендарные известия о нем; или показания Флодоарда, принимавшего участие в некоторых событиях, воспоминания о которых он записывал чуть ли не ежедневно, и показания его современника Ришера, составлявшего свои «истории», между прочим, на основании записей Флодоарда, которые он пополнял и приукрашивал²⁴⁹.

²⁴⁹ *Molinier A. Op. cit. T. I. P. 199, 208, 279, 284. О различии между «свидетельскими*

Понятие о единстве сознания, преимущественно в смысле признания фактической истины, получает еще более широкое применение к научно-критической оценке показаний, если иметь в виду тесную связь между понятиями о единстве сознания и его непрерывности, уже отмеченную выше. Последнее также имеет свое приложение в области критики фактической достоверности или недостоверности показаний и в особенности пригодно для установления некоторого единства целой их совокупности с точки зрения такой именно их достоверности или недостоверности.

В самом деле, если историк пришел к заключению, что автор источника в некоторых случаях дает фактически верные показания, то он может предполагать, что тот же автор обнаружит то же свойство и в других своих показаниях, в случае если у него нет каких-либо особых мотивов вводить в заблуждение или обманывать читателя; и обратно: если историк убедился, что ему нельзя опираться на одни показания свидетеля, оказавшиеся недостоверными, он с той же точки зрения относится и к другим его показаниям.

В основе подобного рода заключений, очевидно, лежит понятие о некотором единстве и непрерывности или, наоборот, о некоторой разъединенности и прерывчатости сознания данного субъекта в его показаниях: только на основании таких понятий можно переносить свое суждение об одних его показаниях на другие. Если, например, историк убедился, что данный субъект в ряде своих показаний обнаружил, что он ценит истину и, значит, сознательно и бережно относится к своим показаниям, то он (историк) получает некоторое основание доверять и другим его показаниям, по крайней мере больше, чем если бы он не мог сделать вышеприведенного заключения. В своих записках Токвиль, например, сознательно упоминает только о таких фактах, свидетелем которых он сам оказывался; и наоборот, Шатобриан дискредитировал свои «мемуары» тем, что довольно произвольно подбирал факты и столь же произвольно относился к ним. Если историку удалось сделать такие выводы на основании критического рассмотрения некоторых показаний Токвиля и Шатобриана, то он соответственно ценит и другие их показания, еще не проверенные или не поддающиеся проверке; он принимает во внимание ту же точку зрения даже при критическом изучении тех показаний, которые находятся в других произведениях тех же авторов.

показаниями» и «данными из вторых рук» в доказательственном праве см.: *Стифен Дж.* Очерк доказательственного права / пер. П. Люблинского. СПб., 1910. С. LXXVI–LXXXII; ср. с. 125.

Нельзя не отметить дальнейшего применения того же принципа критического рассмотрения еще к одному специальному роду случаев: достоверность или недостоверность источника можно изучать и по показаниям, фактическое содержание которых само по себе не имеет значения для собственно исторического построения, но пригодно для того, чтобы выяснить в некоторых типических или почему-либо более известных исследователю случаях фактическую достоверность или недостоверность этих показаний (например, описание какой-либо местности, упоминание о затмении и т. п.); вслед за тем суждение о их ценности он переносит и на другие показания того же источника, содержание которых уже может иметь значение и для построения исторической действительности.

Само собою разумеется, что всякое перенесение подобного рода в каждом отдельном случае нуждается в специальном исследовании. С точки зрения единства и непрерывности сознания данного автора, можно переносить суждение о ценности одного показания на другое его показание преимущественно в пределах одного и того же источника; но и в последнем случае такое перенесение делается не без предосторожностей. Свидетель иногда с большою уверенностью дает показание, которое отличается отчетливостью и, тем не менее, может содержать ошибки; автор может, например, оказаться достоверным в одном отношении и недостоверным в другом, положим, в том случае, когда он, хорошо зная обстоятельства, происходившие в местности, где он живет, и во время, когда он пишет, плохо осведомлен о том, что делается за их пределами; таковы, например, известия Ламберта фон Герсфельда об итальянских делах. Наоборот, свидетель, в одном отношении не заслуживающий доверия, может быть достойным его в других и по разным соображениям, особенно, например, в тех случаях, когда он сообщает известия, противоречащие основной его тенденции; таковы некоторые известия того же Ламберта фон Герсфельда о подвигах Генриха IV, к которому он вообще относится враждебно, и т. п.

В силу подобного же рода оснований, если историк обнаружил недостоверность одного из показаний автора, он переносит свое недоверие и на остальные, не принимая ни одного из них без предварительной проверки. Впрочем, соответственно вышесказанному, последнее требование может получить и более ограниченное приложение: при изучении хроники Ламберта фон Герсфельда историк подвергает, например, строгой проверке не все его известия, а главным образом только те, которые касаются отношений Генриха IV к Италии.

С познавательно-объединяющей точки зрения, историк постоянно пользуется еще одним критерием, пригодным для установления фак-

тической достоверности показания: знание, которое он получает о каждом новом факте, интересующем его, должно быть поставлено в соответствие с его знаниями об остальных, уже известных ему фактах. Если такая координация достигается, то и показание о факте, соответствующем остальным, представляется ему в известной степени достоверным; если же нельзя достигнуть ее, то и достоверность показания может вызвать в нем сомнения.

В таких случаях содержание показания или целого источника рассматривается в качестве некоторой части того культурного целого, к которому оно будто бы относится. В самом деле, если историк может доказать, что факт, известный из данного показания, действительно был частью того культурного целого, к которому оно будто бы относится, то он и получает основание приписывать некоторую степень достоверности показанию, а значит, и соответствующую степень вероятности своему предположению о том, что изучаемый факт действительно был; в таком именно смысле он и говорит, что «факт, известный ему по данному показанию, вероятно, был в действительности», или же, с чисто реалистической точки зрения, рассуждает о «вероятности факта». И наоборот, если историк усматривает фактическое противоречие между изучаемым показанием и тем культурным целым, к которому оно будто бы относится, он получает основание приписывать некоторую степень недостоверности данному показанию, а значит, и вероятность того, что его суждение о факте как о действительно бывшем ошибочно; в таком именно смысле он и говорит, что «факт, известный ему по данному показанию, вероятно, не был в действительности», или, уже с чисто реалистической точки зрения, рассуждает о «невероятности факта».

Ввиду того, однако, что факты прошлого известны лишь из остатков культуры или показаний других источников, независимых от изучаемого, соответствие данного показания с фактами в сущности сводится к соответствию его содержания с остатками культуры и содержанием независимых от него показаний, заключающихся в других источниках. Впрочем, следует различать два вида такого соответствия: если только сравниваемые данные не обнимают всего культурного целого, легко заметить, что они могут относиться или к разным объектам, входящим в его состав, или к одному из них; следовательно, можно устанавливать некоторую согласованность между содержанием изучаемого показания и другими фактами, т. е. различными по содержанию данными, черпаемыми из остатков культуры и из исторических традиций, поскольку каждое из таких содержаний представляется в качестве части данного культурного целого; но можно говорить и о совпа-

дении изучаемого показания о некоем факте с другими независящими от него показаниями о том же факте. Таким образом, можно различать две разновидности соответствия показаний друг другу: я назову их согласованностью показаний и совпадением показаний.

Понятие о согласованности показаний можно формулировать следующим образом: если два показания или несколько разноречивых, но непротиворечивых показаний взаимно дополняют наши знания о какой-либо совокупности фактов, связанных между собою, они и называются согласованными друг с другом; иными словами говоря, если историк может сказать, что факт, о котором он узнает из изучаемого им показания, согласуется с другими фактами, происходившими в одной и той же местности, в одно и то же время и уже известными ему по остаткам культуры или по другим проверенным показаниям, т. е. если он может включить этот факт в целое, образуемое им, вместе с остальными фактами и указать то место и тот момент, к которым этот факт вполне подходит в качестве его части, то и показание об этом факте представляется ему согласованным с остальными данными, относящимися к тому же культурному целому. На основании такой согласованности он приписывает известную степень достоверности изучаемому показанию: он принимает во внимание, например, что известие Тацита о битве между римлянами и германцами в Тевтобургском лесу соответствует вообще расположению римского «Limes», местонахождению римских «castra» и т. п., а также в особенности тем находкам костей, оружия и римских монет, которые были сделаны приблизительно в пределах той же местности, тому камню, который был найден подле Ксантена, с надписью в память погибшего в «битве Вара» легионера и т. п.; опираясь на сопоставления подобного рода, он заключает, что письменное известие о месте и времени сражения находится в некотором соответствии с сохранившимися от него остатками (костями и проч.), питает соответственно большее доверие к самому известию, получает возможность пользоваться вышеуказанными остатками для его изучения и т. п.; с аналогичной точки зрения, он может рассуждать о достоверности того же известия, поскольку оно согласуется с другими известиями Тацита, Диона Кассия и других, положим, о борьбе римлян с германцами, о походе римских легионов внутрь Германии под предводительством Вара, о херусках и их вожде Арминии и т. п.²⁵⁰

²⁵⁰ Tacit. Ann., I, I, C. 60, 61–62; Knoke F. Das Varuslager im Habichtswalde bei Stift Leeden с прибавл., 1896–1897; Eine Eisenschmelze im Habichtswalde bei Stift Leeden, 1901; Ein Urteil über das Varuslager in Habichtswalde geprüft, 1901; Das Schlachtfeld im Teutoburger Walde, 1899; Das Varuslager bei Iburg, 1900 и др.

Понятие о несогласованности показаний можно построить в соответственно обратном смысле: она обнаруживается в том случае, если показания даются о разных объектах, реально не связанных или недостаточно связанных между собою. Показания Страбона о людоедстве среди ирландцев или Цезаря о древних бриттах, прибегавших к татуировке, например, хотя и сходны с показаниями современных путешественников о диких, положим, об австралийцах и полинезийцах, но не согласованы или, по крайней мере, слишком мало согласованы с ними²⁵¹.

Пределы согласованности показаний могут быть весьма различны; историк устанавливает их в каждом отдельном случае, а в зависимости от вывода своего о большей или меньшей согласованности с остальными фактами того факта, который ему приходится изучать по данному показанию, он признает и разные степени его достоверности; и обратно, имея достаточные основания отрицать такую согласованность, он вместе с тем получает право признать известную степень достоверности данного показания.

Следует заметить, однако, что самое установление согласованности или несогласованности изучаемого показания с остальными представляет немало затруднений: ведь в случаях подобного рода историк принимает во внимание не логическое, а фактическое значение сравниваемых показаний и, следовательно, должен иметь уже более или менее обстоятельное понятие о той совокупности фактов, показания о которых признаются согласованными или несогласованными. В одной из древних пещер, в Мас-д'Азиль (Mas-d'Azil), оказались, например, какие-то предметы с начертаниями, подобными «финикийским» или «архаичным греческим» письменам; весьма трудно сказать, однако, согласованы или несогласованы показания о письменных знаках на азилийских предметах с такими же показаниями на финикийских или древнегреческих надписях: значение начертаний на предметах из Мас-д'Азиля далеко еще не выяснено, и вопрос о том, могли ли обитатели находиться в каком-либо отношении к финикийским или древнегреческим колониям или не могли, все еще остается без ответа²⁵².

Вместе с тем согласованность показаний легко переходит в совпадение показаний, если разные объекты их оказываются частями од-

²⁵¹ *Gomme G. L.* Folklore as an historical science. Ld., 1908. P. 112. Татуировка, впрочем, продолжает практиковаться и у более цивилизованных народов.

²⁵² *Piette E.* Notions complémentaires sur l'Asylien // *Rev. d'Anthropologie*. T. XIV (1903). P. 641–653; в другой статье автор указывает еще на сходство азилийских начертаний с «кипрскими», также известными по надписям; ср. p. 162, 164, 165.

ного и того же целого. Если полагать, например, что оружие, найденное приблизительно в той местности, где происходила битва между Варом и Арминием, действительно принадлежало их солдатам, можно сказать, что письменное известие об этой битве совпадает с показаниями, черпаемыми о ней из остатков культуры, так как оружие солдат, сражавшихся в Тевтобургском лесу, было частью того именно события, которое засвидетельствовано другими источниками. Аналогичное замечание можно сделать и относительно несогласованных показаний: они, конечно, не совпадают; показания даже о сходных фактах, если только они не согласованы между собою, хотя бы, например, вышеприведенные показания Страбона об ирландцах или Цезаря о бриттах и показания современных путешественников об австралийцах или о полинезийцах не совпадают между собою: исторические факты, о которых они показывают, разные²⁵³.

Тем не менее нельзя смешивать разбираемые виды соответствия или несоответствия: смешение понятия о согласованности показаний с понятием о совпадении показаний ведет иногда к ложным выводам. Источники, которые будто бы показывают об одном и том же, в сущности могут касаться различных предметов: известные рассказы Цезаря и Тацита о частной земельной собственности и землепользовании у германцев, например, противоречат друг другу, если полагать, что они относятся к одному и тому же племени; но Цезарь говорит о Свевах, а Тацит мог говорить о других племенах — Хауках, Херусках и т. п.²⁵⁴ Источники могут содержать также согласованные друг с другом, хотя и несовпадающие показания об одном и том же факте. При чтении, например, рассказов о том, как Пипин решил помочь папе Стефану против лангобардов, мы замечаем некоторое разноречие показаний в доброкачественных источниках, каждый из которых заслуживает внимания. Составитель биографии папы Стефана II повествует о том, что соглашение их состоялось в Киерси (Kiersy), продолжатель же хроники Фредегара — что оно произошло в Бернако (Braisne). Это разноречие получает свое разрешение с точки зрения согласованности, а не совпадения показаний. В самом деле, следует обратить внимание на то, что известия о съезде в Киерси и о съезде в Бернако занимают соответственно разные положения в изучаемых источниках: биограф папы Стефана II говорит о съезде, участники которого постановили оказать помощь папе; продолжатель хроники Фредегара — о съезде, решившем предпринять войну; съезд, о котором

²⁵³ Ср. выше, с. 487 и 501.

²⁵⁴ *Coulanges D. Fustel de. Recherches*, 2 éd. P. 294.

повествует биограф папы Стефана II, происходил до посольства к королю Аистульф; съезд, упоминаемый продолжателем хроники Фредегара, — после того как Аистульф отклонил предложение послов мирно окончить все дело. Таким образом, римский и франкский источники, вероятно, говорят о разных съездах и, значит, только потому, что биограф папы Стефана II не упоминает о съезде в Бернако, а продолжатель хроники Фредегара — о съезде в Киерси, можно было смешать их известия и упустить из виду возможность их согласования²⁵⁵.

Понятие о совпадении показаний можно формулировать следующим образом: если два показания или несколько показаний об одном и том же факте тождественны по содержанию и независимы друг от друга, то они совпадают. Итак, понятие о совпадении показаний получает полноту своего научного значения лишь под условием тождественности и независимости показаний.

Тождественные показания показывают одно и то же об одном и том же факте и, значит, должны совпасть; такое совпадение взаимно подкрепляет достоверность каждого из совпадающих показаний, если только они независимы; но взаимоотношение подобного рода легко разложить и на два односторонних, взаимно пополняющих друг друга отношения, каждое из которых рассматривается порознь, в зависимости от того, какое из показаний изучается; следовательно, в нижеприведенном рассуждении достаточно иметь в виду преимущественно то значение, какое совпадение показаний имеет для установления достоверности изучаемого показания.

Показания могут оказаться тождественными или в полном их составе, или в некоторых из их частей и, значит, могут совпасть вполне или отчасти, что и ведет к различению полного совпадения от частичного совпадения. Рассмотрим простейшие случаи полного и частичного совпадения показаний, поскольку оно имеет значение для установления достоверности того из них, которое изучается.

Положим, что два свидетеля, Q и R , дают показания о факте X , т. е. высказывают мысль о некоторой системе реально связанных между собою элементов вида $\Sigma (a, b, c, \dots, m, n)$; обозначим показания Q и R о факте X через Q_x и R_x , функцию показывания — через σ , общее показание содержание — через u , а части, взаимно отличающие их друг от друга, — через v и ω ; тогда при $Q_x = \sigma(u)$, $R_x = \sigma(u)$ можно сказать, что совпадение между показаниями Q_x и R_x полное; а при $Q_x = \sigma(u, v)$, $R_x = \sigma(u, \omega)$, где, впрочем, v или ω может быть равно нулю, можно сказать, что совпадение между Q_x и R_x частичное.

²⁵⁵ Bernheim E. Lehrbuch. S. 540–541.

Полное совпадение показаний, очевидно, в большей мере подтверждает достоверность изучаемого показания, чем частичное совпадение: последнее дает возможность судить лишь о некоторой степени его достоверности в вышеуказанном смысле; но историк обыкновенно принужден довольствоваться частичным совпадением показаний и, значит, пользуется им, смотря по его пределам для установления той, а не иной степени достоверности изучаемого показания.

В самом деле, трудно ожидать полного совпадения между показаниями об одном и том же, всегда относительно сложном историческом факте, взятом в его целом.

Если показания Q_x и R_x — идеально полные, исчерпывающие показания, т. е. если каждое из них может быть изображено в виде $\sigma(u_1) = \sigma(a, b, c, \dots, m, n)$, то показания Q и R о факте X , конечно, вполне совпадают во всей полноте мыслимого содержания факта; но полное совпадение идеально полных, исчерпывающих показаний само оказывается идеальным, предельным случаем; вероятность, что такое совпадение произойдет в действительности, очевидно, очень мала.

Если показания Q_x и R_x — относительно полные показания, т. е., положим, охватывают несколько элементов факта X , так что каждое из них можно изобразить хотя бы в виде $\sigma(u_2) = \sigma(a, b, d, \dots, m)$, то показания Q и R о факте X вполне совпадут в некоторой части мыслимого содержания факта X ; но вероятность такого относительно полного совпадения, т. е. того, что Q и R действительно выберут как раз те же самые элементы X и упомянут их без каких бы то ни было изменений в одном и том же порядке, так что каждое из них будет равно, положим, $\sigma(u_2)$, также мала.

Итак, при изучении исторических показаний, в большинстве случаев можно ожидать лишь частичного их совпадения, т. е. совпадения, в котором показания тождественны лишь в некоторых своих частях. Такой вывод, сделанный *a priori*, подтверждается и эмпирическим путем: экспериментальные исследования обнаружили, что несколько показаний хотя бы о сравнительно простом факте обыкновенно обнимают далеко не все его моменты и, значит, даже главные могут совпадать при показывании об одном и том же факте, в сведениях лишь о некоторых из его элементов или признаков²⁵⁶; показания, с которыми приходится иметь дело историку, кроме того, часто даются людьми, слишком мало подготовленными для производства научных наблюдений, и касаются гораздо более сложных фак-

²⁵⁶ Stern W. Wirklichkeitsversuche // Beiträge zur Psychologie der Aussage, II Folge. S. 15, 16, 27, 28.

тов, что, разумеется, делает полное или относительно полное их совпадение еще менее вероятным; и действительно, если исторические показания совпадают, совпадение их обыкновенно оказывается частичным.

При рассмотрении частичного совпадения между показаниями можно придерживаться схемы, уже приведенной выше: если Q_x и R_x суть показания об одном и том же факте X и $Q_x = \sigma(u, v)$, $R_x = \sigma(u, \omega)$, то показания Q_x и R_x совпадают лишь отчасти. С такой точки зрения, можно при известных условиях придавать тем большую достоверность изучаемому показанию, положим R_x , чем больше оно совпадает с данным показанием Q_x , т. е. чем менее значения v и ω или одно из них, в случае другого, равно нулю, имеют для различия R_x от Q_x .

В действительности, однако, не всегда легко установить, в чем именно показания совпадают. Положим, что историк имеет дело с известиями о смерти Александра Великого: Арриан сообщает, что он умер от лихорадки; Плутарх приводит известие, что он мог быть отравлен; и тот и другой в сущности не отрицают факта смерти Александра Великого от болезни (в 323 г. до Р. Х.); они только различно объясняют его, и в обоих случаях утверждая, что исход болезни был смертельным, не сходясь в ее характеристике, т. е. в утверждении факта, что Александр Великий умер от лихорадки или от яда²⁵⁷. С такой точки зрения историк может усмотреть даже некоторое совпадение между показаниями Арриана и Плутарха относительно смерти царя от какой-то внутренней болезни, а не, положим, от раны и т. п., хотя и не в состоянии точно определить род его болезни; следовательно, в указанном и, разумеется, довольно ограниченном смысле он может пользоваться показанием Плутарха вместе с показанием Арриана для соответствующего заключения о преждевременной смерти Александра Великого от болезни, но не о роде его болезни и т. п.

Частичное совпадение может обнаружиться не только в утверждении или отрицании факта, положим, хотя бы факта смерти Александра Великого от болезни, но и в суждениях о его главном, наиболее существенном содержании. В случае подобного рода совпадений показание R_x в полном своем объеме все же может и не быть тождественным с показанием Q_x ; но мелкие разногласия в показаниях, касающихся одного и того же предмета, иногда говорят в пользу достоверности главного их содержания: если, например, факт очень сложный; если наблюдатели или средства наблюдения не однородны; если раз-

²⁵⁷ Arriani expedit. L. III, cap. 25 (rec. C. Müller, 1846); Grote G. History of Greece (Ld., 1870). V. XII. P. 78–79.

норечия пополняют друг друга (а не взаимно противоречат друг другу); если разногласия можно вывести из различий авторов или их наблюдательных средств, то и вышеуказанным разногласиям нельзя придавать решающего значения — они поддаются учету. В области исторических разысканий можно указать на такие частичные совпадения: часть известного рассказа книги Царств о войнах моавитского царя Меша с Израилем подтверждается, например, надписью приблизительно середины IX в. до Р. Х., в которой царь сообщает немало подробностей о своих завоеваниях и других славных деяниях. Показание нашей летописи о том, что царь Иван Грозный «поимал кормленным окупом, с которых волостей имати всякие доходы на его государской обиход, жаловати бояр и дворян, и всяких его государевых дворовых людей, которые будут у него в опричнине», оказывается «верным, но не полным указанием на доход с опричных земель»: оно подтверждается и дополняется грамотами того времени, свидетельствующими, что в состав таких доходов входили и прямые, и разного рода косвенные налоги и т. п.²⁵⁸

С гораздо меньшей вероятностью можно ожидать совпадения показаний о факте, поскольку они содержат его более или менее субъективное объяснение или делают из него какие-либо выводы, или подвергают его какой-либо оценке и т. п. Легко представить себе, например, такие случаи, когда показания совпадают в утверждении или отрицании факта, но не в его объяснении или оценке. Совпадение может даже состоять и в дальнейшем содержании показаний хотя бы в скрытом виде, при относительно резком противоречии в оценках. В показаниях враждебных партий или сторон, каждая из которых уверяет, что она одержала верх над другой, можно иногда вскрыть совпадение; каждая из них, в сущности, полагает, что их столкновение не имело настолько решительного исхода, чтобы нельзя было истолковать его в свою пользу, т. е. что столкновение их не увенчалось решительной победой одной из них, хотя бы каждая и приписывала ее себе, подобно тому, например, как то делали русское и французское правительства по поводу сражения при Бородине.

Совпадение показаний получает, однако, надлежащее значение в качестве критерия для установления их достоверности лишь в том случае, если каждое из них признается независимым от остальных, т. е. если тождественность их не объясняется их зависимостью друг от друга.

²⁵⁸ *Clermont-Ganneau Ch. Op. cit.* P. 13–14; ср. p. 21 и другие соч. о той же стеле; *Платонов С.* Очерки по истории Смуты. СПб., 1899. С. 148–149; ср. еще *Кони А.* Свидетели на суде // *Проблемы психологии* / под ред. И. Холчева. С. 132.

Вообще понятие о независимом показании можно поставить в связь с понятием о свидетельском показании: вполне независимое показание о факте, очевидно, дается кем-либо на основании одних только собственных своих чувственных восприятий от этого факта, и значит, не зависит от других показаний о нем. Согласно с предлагаемым пониманием нельзя признать свидетелем того, кто получил свое представление о факте лишь через посредство другого лица, в зависимости от его показаний о том же факте; такое показание с чужих слов можно назвать известием; совпадение известий, разумеется, не может иметь то значение для установления достоверности источников, какое приписывается совпадению независимых показаний: они могут зависеть от одного общего им источника или друг от друга.

Итак, совпадение показаний получает достоверность лишь при независимости каждого из них от остальных. Необходимо, однако, ясно сознавать, в каком именно смысле независимость их понимается; хотя, строго говоря, независимость показания сводится к понятию о свидетельском показании, но возможны случаи, когда рассматриваемые показания, в сущности, уже не вполне независимы. Вообразим, например, что *A* и *B* — свидетели факта *X*, но что показание *B* сохранилось лишь в известии, которое *C* сообщает о нем. Если историку удастся доказать, что известие, сообщаемое *C*, не зависит от показания *A*, он может признать показания *A* и *C* независимыми относительно друг друга, хотя *C* и не был свидетелем факта *X* и его показание зависело от показания *B* об *X*. Возьмем другой пример: положим, что *A* и *B* — свидетели очень элементарного факта *X*, но что *B* предпочел дать свое показание о факте *X* в форме, принятой *A*, т. е. сам испытавши факт *X*, выразил, однако, испытанное им в форме, уже предложенной *A*; тогда можно различать два случая: или показание *B* в сущности осталось независимым от *A* по своему содержанию и зависит от него только по форме его выражения; или последняя оказала влияние на оттенки мысли *B*, и его показание уже зависит от показания *A* и по его содержанию, а не только по форме. Легко представить себе еще более сложные комбинации, например, в тех случаях, когда показание *B*, зависящее по форме от *A*, известно лишь по известию *C*²⁵⁹. Если принять, что такие показания, не будучи в строгом смысле свидетельскими, все же в известном отношении независимы

²⁵⁹ Бернгейм едва ли прав, рассматривая случай зависимости показания *B* по форме от показания *A* как исключение из общего правила совпадения независимых показаний. Показание *B* может зависеть от показания *A* не по содержанию, а только по форме его выражения, и все же может совпадать с показани-

друг от друга, то и понятию о совпадении независимых друг от друга показаний можно придать более широкое значение. Впрочем, в некоторых случаях, может быть, осторожнее было бы говорить не о независимых показаниях, а о показаниях, подтверждающих данное; ведь если *B* повторяет только форму суждения *A*, он может представить себе в виде вопроса, на который он же и отвечает утвердительно; если свидетель *A* говорит, например, что «факт *X* действительно случился», свидетель *B* может повторить то же суждение более или менее сознательно, мысленно или явно прибавляя к нему «да», т. е. говорит «да, факт *X* действительно случился», что и обнаруживает наличие вопросительной формы, в которой *B* представил себе суждение *A*, прежде чем ответить на него в утвердительном смысле, т. е. принять и повторить его. В противном случае *B*, повторяя суждение *A*, легко может перейти к заимствованию, при котором его показание потеряет некоторую независимость своего содержания и превратится в известие о факте *X*.

Нетрудно подыскать такие соотношения и в исторических источниках. В числе современников, рассказывавших о Людовике Св., например, кроме, конечно, Жуанвилля, можно пользоваться и записками духовника королевы Маргариты Прованской; Гильом де С.-Патю (St.-Pathus) не мог лично знать короля, но многое слышал от вдовствующей королевы и от свидетелей, которые давали показания по поводу канонизации короля, что и придает его сообщениям существенное значение. Составители пасхальных анналов обыкновенно отличаются очень бедным языком: описывая один и тот же факт, они употребляют одно и то же слово или выражение, которое они повторяют до пресыщения; но на основании такого сходства нельзя еще заключать о тесной зависимости предшествующего писателя от последующего и т. п.²⁶⁰

Понятие о совпадении независимых показаний может иметь разный объем, смотря по тому, разуметь под независимыми показаниями и такие, которые даются одним и тем же лицом, или ограничивать его только такими, которые даются разными лицами об одном и том же факте. Вопрос о том, в состоянии ли одно и то же лицо давать совершенно независимые друг от друга показания об одном и том же факте, едва ли можно, однако, разрешить, не считаясь со сделанным выше рассуждением о повторении одним и тем же творцом собственного

ем *A* по содержанию, которое он, т. е. *B*, испытал независимо от *A*, в собственном своем чувственном восприятии; см.: *Bernheim E. Lehrbuch. S. 526.*

²⁶⁰ *Molinier A. Les sources, fasc. v. P. XXIX, CXIII—CXIV.*

своего произведения; оно применимо и к данному роду случаев; и тут естественно придти к заключению, что сделанное показание одним и тем же лицом об одном и том же факте независимо от предшествующего показания мыслимо лишь при некотором разрыве в сознании показывающего; но в большинстве случаев маловероятно, чтобы одно и то же лицо давало показание об одном и том же факте совершенно независимо от своего же предшествующего показания о нем; между тем, показывая об одном и том же факте под влиянием памяти о прежнем показании, оно в сущности повторяет его, а не дает нового, вполне независимого от него показания о факте. Следовательно, под совпадением независимых показаний приходится преимущественно разуметь совпадение между изучаемым показанием и независимыми от его подателя чужими показаниями.

В таком смысле историк часто прибегает к принципу совпадения показаний: он придает, например, гораздо большую ценность известным показаниям Геродота о Египте, после того как они стали подтверждаться свидетельствами, черпаемыми из египетских древностей; он контролирует показания, делаемые Коминем в его мемуарах, итальянскими депешами, касающимися его посольства; он выясняет степень достоверности былин киевского или новгородского циклов, сопоставляя их с киевскими и новгородскими летописями, а также с другими источниками и различая в былинах исторически-бытовые элементы от чудесных, сказочных или заимствованных и т. п.²⁶¹

Во всяком случае, для того чтобы пользоваться критерием совпадения показаний, историк должен предварительно доказать, что они независимы: совпадение зависимых друг от друга показаний само по себе, конечно, не имеет никакого значения для установления достоверности изучаемого показания. Ведь в той мере, в какой основное показание, независимое от других зависящих от него показаний, достоверно, и суждение историка, основанное на нем, истинно; и наоборот: в той мере, в какой оно недостоверно, и суждение историка не истинно. Истинность или не истинность его суждения, значит, зависит от достоверности или недостоверности основного источника, а не от совпадения его показаний с показаниями других заимствованных из него показаний²⁶².

²⁶¹ См. Комментарий А. Wiedemann'a к II книге Геродота, труды К. de Lettenhove о Коммине, А. Н. Веселовского и В. Ф. Миллера о былинах и др.

²⁶² Совпадение показаний, которые оказываются результатом заимствования, может иметь значение для доказательства неподлинности заимствованных показаний, но не имеет значения для доказательства их недостоверности.

Следовательно, совпадение показаний, соотношение которых критически не проверено, легко может ввести исследователя в заблуждение.

В некоторых случаях, например, приходится иметь дело с показаниями смешанного характера, совпадающими частью в том, что они показывают независимо друг от друга, частью в том, что они показывают в некоторой зависимости от других. При таких условиях не всегда легко выяснить, в чем именно показания совпадают — как независимые, а не как зависимые. В виде иллюстрации тех затруднений, какие возникают в таких случаях, можно припомнить хотя бы одно старинное дело из французской уголовной практики, а именно дело Леружа. Оно возникло по поводу обвинения его в убийстве. Десять свидетелей уверяли судей, что они видели, как Леруж среди белого дня убил своего хозяина; на основании их показаний Леруж был приговорен к смерти и казнен в Эксе в 1793 г.; лишь долгое время спустя совсем другой человек, приговоренный к той же казни за другое преступление, уже на эшафоте сознался, что он совершил и убийство, за которое казнили Леружа. Преступник при совершении его нарядился в парик и передник Леружа, что при легком сходстве с ним и породило иллюзию²⁶³. Показания о Леруже (в той мере, в какой они могли быть независимыми), значит, совпадали лишь в общем признании, что парик и передник преступника действительно принадлежали Леружу; а суд, не разобравшись, в чем именно показания совпадали — как независимые, а не как зависимые, — приговорил его к смертной казни, что и было исполнено. Между тем историки очень часто находятся в гораздо худшем положении, чем судьи, судившие Леружа; они имеют дело не со свидетелями, которых можно опрашивать несколько раз, а только с теми из их показаний, которые сохранились, но не могут быть повторены, и далеко не всегда в состоянии различать независимые показания от зависимых.

В других случаях показания, по-видимому, основанные на данных собственного чувственного восприятия каждого из свидетелей, тем не менее, зависят от одного общего источника, а потому и совпадение их не может иметь значение для доказательства их достоверности; напротив: содержание их при таких условиях часто оказывается недостоверным. Под влиянием внушения, например, многие могут повторять суждения того, кто впал в иллюзию, даже несмотря на то что данные их собственного чувственного восприятия не согласны с нею. Возникшая таким образом идея может сделаться центром особого рода кристаллизации, которая завладевает вниманием

²⁶³ *Lailler M., Vonoven H. Les erreurs judiciaires et leurs causes. Par. P.15.*

и парализует всякую критическую способность: то, что тогда видит новый наблюдатель, есть уже не самый объект, а субъективный образ, вызванный в его душе пропагандистом иллюзии. Вообразим, например, что очень впечатлительный человек разыскивает дорогую ему личность и внезапно натывается на труп, хотя бы и не особенно сходный с нею, но представляющий особенность или деталь в туалете, способную вызвать идею об этой именно личности. При данных условиях он легко может впасть в иллюзию и заразить ею других. Несколько времени тому назад, например, г-жа Шавандрэ разыскивала своего сына и ошибочно признала его в трупе одного ребенка, найденном в Париже; находясь под впечатлением того, что личность ребенка была уже «удостоверена» его товарищем, она по шраму на его лбу окончательно убедилась в том, что перед нею похищенный и убитый ее сын Филибер Шавандрэ; его родственники, соседи и школьный учитель при виде трупа вынесли то же впечатление. Расследование дела обнаружило, однако, что пострадавший – совсем другой ребенок, привезенный из Бордо в Париж. В данном случае совпадение показаний целого ряда лиц не имело значения: они зависели от главного показания, а может быть, и друг от друга. Впрочем, можно привести примеры, в которых зависимость ошибочных показаний друг от друга проступает яснее. Однажды в полдень при ярком солнце фрегат «Belle Poule» кружился по морю, ища корвет «Le Verseau», с которым его разлучила сильная буря. Вдруг часовой подал сигнал о появлении судна с перебитым рангоутом. Весь экипаж устремил свои взоры по направлению сигнала, и все офицеры и матросы ясно увидели плот, нагруженный людьми; лодки тащили его на буксире и сигналили о крайней опасности. Адмирал Дефоссэ сейчас же отрядил лодку для спасения погибающих; офицеры и матросы, сидевшие в ней, утверждали, что они видели массу людей, с мольбою протягивавших руки, а также слышали глухой и неясный шум многочисленных голов. Меры, принятые адмиралом, оказались, однако, совершенно излишними; когда спасательная лодка приблизилась к мнимому плоту, то оказалось, что это просто несколько древесных веток, покрытых листьями. Таким образом, хотя показания, какие могли бы дать офицеры и матросы «Belle Poule» до того момента, когда они приблизились к плоту, совпадали бы, но они оказались бы ложными: мысли их не были независимыми, а зависели от показания часового, возникли на почве общего напряженного ожидания встречи с разыскиваемым корветом и, очевидно, взаимно и заразительно действовали друг на друга; при таких условиях ошибка в показании часового стала с убеждением повторяться и другими, что повело к совпадению зави-

симых и ошибочных утверждений²⁶⁴. Само собою разумеется, что такое внушение может принимать и другие формы. В тех случаях, например, когда судебный следователь задает вопросы свидетелю, находясь под впечатлением какой-либо предвзятой мысли, он вызывает показания, в сущности зависящие от той тенденции, которую он тем легче проводит на допросе, чем менее он следит за собою и чем более свидетель подчиняется его воле; а суд, опираясь на такие показания и считая их без предварительной критики независимыми, хотя они часто возникают под влиянием внушения, впадает в ошибку, которая может повести и к наказанию невинного. Случаи подобного рода известны из целого ряда дел, например, знаменитого в XVII в. процесса супругов Пивардьер. Историк часто находится в аналогичном положении: хотя сам он, конечно, не внушает свидетелям их ответов, но имеет дело с ответами, внушенными им другими лицами, общественным мнением, прессою и т. п., а потому и не независимыми от них. Он знает, например, что в той мере, в какой два свидетеля, показывая об одном и том же факте, связывают данные своего восприятия с какой-либо общей им точки зрения, показания их могут совпадать; но разбираемый случай он не признает полным совпадением независимых показаний, если точка зрения, общая обоим свидетелям, заимствована каждым из них хотя бы независимо от другого из одного общего источника, положим, из какого-либо учения, или сложилась под влиянием известных партийных взглядов и т. п.²⁶⁵ Многие из современников императора Генриха IV — итальянцы, швабы и саксонцы, например, писали о его «тирании»; но по ближайшем рассмотрении их показаний оказывается, что все они находились под влиянием той вражды к императору, которая порождена была клерикально-партикулярностическими тенденциями; значит, и их показания не могут быть признаны независимыми от общего их источника, тенденциозность которого, разумеется, отразилась и в их рассказах о Генрихе IV²⁶⁶.

Приемы различения независимых показаний от зависимых в сущности те же, что и критические приемы изучения состава источников,

²⁶⁴ *Le Bon G.* *Psychologie des foules*, 2 éd. P. 30–31, 33–34; там же и много других примеров.

²⁶⁵ *Lailier M. et Vonoven H.* *Op. cit.* P. 2, 18–19, 27–45, 50–51, 53–54, 80–85; уже Бинэ по другому поводу заметил: «il y a des questions qui, rien que par leur forme, sont de formidables machines à suggestions»; см.: *Binet A.* *La science du témoignage // L'Année psychologique*. T. XI. Par., 1905. P. 129; ср. еще *Schrenck-Notzing.* *Über Suggestion und Erinnerungsfälschung im Berchtold-Process.* Lpz., 1897. S. 23, 29–30, 105, 109 и др.

²⁶⁶ *Bernheim E.* *Lehrbuch.* S. 528.

уже изложенные выше; применяя их к оценке показаний, историк выделяет те из них, которые оказываются независимыми, и затем путем сравнения их содержания может придти к установлению конкретного факта совпадения изучаемых источников, который, с точки зрения вышеуказанного критерия, и признается доказательством в пользу достоверности их содержания.

В предшествующих рассуждениях совпадение показаний преимущественно рассматривалось в наиболее простых его формах, т. е. применительно к двум из них; но оно может обнаруживаться и при более значительном числе показаний. Значительного числа совпадений, очевидно, можно ожидать с большею вероятностью между показаниями о простом, элементарном факте, чем между показаниями о сложном факте; но чем проще факт, тем он менее обращает на себя внимание, по крайней мере, обыденных наблюдателей, если только такой факт не оказывается вместе с тем внезапным или необыкновенным; и наоборот: сложный факт иногда в большей мере затрагивает их; значит, вероятность того, что сложный факт вызовет несколько показаний, может быть больше, чем вероятность множественности показаний об элементарном факте, а при наличии нескольких показаний об одном и том же сложном факте совпадения между ними, хотя бы частичные, все же могут достигнуть известного числа.

С вышеуказанной точки зрения пользуясь понятием о тождественности независимых показаний, можно, значит, рассуждать и о значении числа совпадений показаний, преимущественно частичных, для установления степени достоверности изучаемого показания: чем больше показаний, имеющих некоторую ценность и совпадающих с тем, которое изучается, тем более достоверным оно представляется. Историк, определяющий, например, время вступления на царство какого-либо правителя, положим, египетского фараона, признает показание о нем тем более достоверным, чем больше число источников, которые содержат совпадающие с ним показания — прямые или косвенные — о том, в какой год изучаемого царствования каждый из них написан или обнаружен и т. п.

Впрочем, можно подсчитывать лишь такие показания, которые признаются равноценными или соизмеримыми. В действительности, однако, весьма трудно принять, что два, а тем более несколько показаний имеют совершенно одинаковое значение; частичное их совпадение в особенности уже предполагает некоторые различия в их составе, едва ли остающиеся без влияния и на те элементы каждого из них, которые, в отдельности взятые, оказались бы вполне сходными между собою. Такие показания несоизмеримы в количественном смысле, а при

различии в их качестве лучшее показание может оказаться более достоверным, чем несколько совпадающих между собою показаний об одном и том же объекте, в особенности если совпадение их состоит в забвении или отрицании некоторых его признаков²⁶⁷.

Следует также иметь в виду, что совпадение тождественных и независимых показаний не может служить безусловным критерием достоверности показуемого: нельзя отрицать, что и совпадение недостоверных показаний возможно²⁶⁸. Вообще, хотя вероятность совпадения таких показаний невелика, если только они действительно независимы друг от друга, но степень ее все же может колебаться: чем более показания зависят от общего им условия ошибки, тем более вероятно и совпадение показаний, обнаруживающих ее; и наоборот: чем менее показания зависят от условий подобного рода, тем менее вероятно совпадение между ними в их индивидуальных ошибках. С указанной точки зрения, легко заметить различие между показаниями, содержащими более или менее произвольные ошибки, и показаниями, преднамеренно ложными или лживыми: показания с невольными ошибками возникают в тех случаях, когда какое-либо общее им условие, например, привычная, но ошибочная ассоциация между двумя представлениями, естественно вызывает в каждом свидетеле склонность при показывании об одном из них упоминать и о другом; преднамеренно ложные или лживые показания, напротив, возникают при менее общих условиях: они преимущественно зависят от личных интересов; последние придают каждому из них, а следовательно, и сделанным в нем ошибкам, индивидуальный характер, благодаря которому и совпадения между ними представляются маловероятными. И действительно, трудно указать примеры совпадения ложных или лживых показаний, высказанных независимо друг от друга; преднамеренно ложные или лживые показания свидетелей на суде могут совпасть между собою, но они обыкновенно зависят от воли того, кто думает воспользоваться ими, и т. п.

Соответственно вышеуказанному понятию о совпадении показаний понятие о несовпадении или о фактическом противоречии между изучаемым показанием и другими показаниями вызывает в историке сомнение в его достоверности и может привести к заключению, что изучаемое показание недостоверно. В своих мемуарах, например, Меттерних сообщает, что в 1813 г. «29-го мая в 4 часа дня он получил

²⁶⁷ *Fribourg A. Nouvelles expériences sur le témoignage // Rev. de Synthèse Hist. T. XIV (1907). P. 164.*

²⁶⁸ *Fribourg A. Op. cit. // Revue de Synthèse hist. T. XIV (1907). P. 167 (опыты Клапареда).*

через посредство курьера из Дрездена вести о неудачном исходе сражения при Бауцене»; но уже 26 мая Гумбольдт писал из Вены: «Вчера прибыли два курьера от Стадиона с известиями о сражениях, происходивших с 19-го до 21-го», а 27 мая сообщал: «Вчера вечером я узнал от графа Меттерниха об исходе сражения 19-го — 22-го мая». Легко заметить несовпадение между показаниями Меттерниха и Гумбольдта и, в силу некоторых соображений, отдавая предпочтение последнему, придти к заключению, что показание Меттерниха недостоверно²⁶⁹.

Впрочем, вывод подобного рода можно сделать лишь в том случае, если изучаемое показание действительно противоречит другому, достоверность которого уже признана. Между тем ввиду вышеуказанных соображений об относительно разной форме соответствия показаний разноречие между ними может быть и кажущимся; оно иногда, например, сводится к согласованности, а не к совпадению показаний, что видно хотя бы из вышесделанного рассмотрения показаний биографа папы Стефана II и продолжателя хроники Фредегара о съездах в Киерси и Бернако, или ограничивается одной терминологией, положим, в том случае, когда одно и то же сражение называется различно, смотря по тому, какое из ближайших мест, при которых оно происходило, принимается во внимание, например сражение при Бауцене или при Вуршене.

В случае большого числа несовпадений последнее может получить значение и для установления степени недостоверности изучаемого показания: чем больше показаний, имеющих некоторую ценность и не совпадающих с тем, которое изучается, тем менее достоверным оно представляется. Ввиду существенных затруднений, возникающих, однако, при подсчете таких показаний, обыкновенно приходится ограничиваться научно-качественной оценкой их. С такой точки зрения историк рассматривает, например, известный (18-й) бюллетень Наполеона о сражении при Бородине, не совпадающий с показаниями Кутузова, Ермолова, Липранди и других.

Понятие о фактическом противоречии между независимыми показаниями, в сущности, лежит в основе и того доказательства недостоверности источника, которое называется «*argumentum ex silentio*». Такая аргументация могла бы иметь две формы, смотря по тому, противоречит рассматриваемый источник остальным положительным или же молчаливо-отрицательным показаниям о факте. Можно было бы представить себе, положим, что источники *A*, *B*, *C* упоминают о факте *X*, а источник *N* молчит о нем; или наоборот: что источники *A*, *B*, *C* мол-

²⁶⁹ *Baillieu P.* Die Memoiren Metternichs // *Hist. Zeit.* Bd. 44 (1880). S. 231.

чат о факте X , а N упоминает о нем; иными словами говоря, можно было бы различать два вида случаев, т. е.

$$+A_x, +B_x, +C_x \text{ и } -N_x \text{ или } -A_x, -B_x, -C_x \text{ и } +N_x.$$

Случай вида $(+A_x, +B_x, +C_x \text{ и } -N_x)$ по понятным соображениям не имеет, однако, большого значения: совпадение положительных, тождественных и независимых показаний A_x, B_x, C_x считается обыкновенно достаточным для того, чтобы пренебречь молчаливо-отрицательным показанием $-N_x$, разумеется, если его значение не превышает значения остальных показаний; но случай вида $(-A_x, -B_x, -C_x \text{ и } +N_x)$ требует более подробного рассмотрения.

В последнем смысле *argumentum ex silentio* можно формулировать следующим образом. Если историк имеет основание думать, что отсутствие в одном или нескольких источниках одного или нескольких показаний о факте X лучше всего объясняется предположением, что факта X не было, и значит, может придти к заключению, что если бы данные источники показывали о факте X , то показания их были бы отрицательными, он заключает о недостоверности положительного показания, свидетельствующего в пользу того, что факт X будто бы был в действительности.

Аргументация подобного рода основана на том, что молчание одного или нескольких данных источников о факте X признается равносильным отрицанию того, что факт X был в действительности; иными словами говоря, такие молчаливо-отрицательные показания о факте X признаются более или менее достоверными частью на том основании, что авторы, не упоминающие о факте X , не могли бы не знать о нем, если бы он действительно случился, и вместе с тем не могли бы не упомянуть о нем частью и ввиду того, что молчаливо-отрицательные показания, если их несколько, совпадают между собою. Итак, лишь полагая, что такие показания достоверны и что источник с положительным показанием о факте X или не имеет определенной ценности, или признается менее ценным, можно судить о степени недостоверности положительного его показания о том же факте; и обратно. Если, например, источники, ближайšie по времени и месту к (мнимому) факту, ничего не показывают о нем, а какое-нибудь позднейшее или иноземное сказание одно только и повествует о нем, историк может сомневаться в его достоверности; или если факт был настолько важен для современников или для ближайшего потомства, что он не мог не произвести впечатления на них и что ближайšie к нему по месту и времени источники по самому характеру своему не могли бы не упомянуть о нем, если бы он существовал, но все же не упоминают

о нем, исследователь имеет основание предполагать, что показание о его существовании сомнительно или недостоверно.

Вместе с тем *argumentum ex silentio* получает некоторое значение лишь под условием, что такое предположение обосновано применительно к отсутствию показаний в соответствующих источниках, а не к отсутствию отдельно взятых показаний; отсутствие таких показаний в источниках или молчаливо-отрицательные показания источников и говорят против достоверности положительного показания критикуемого источника; ведь без источника, в котором показание отсутствует, нельзя судить о том, действительно ли оно отсутствовало: лишь по совокупности включенных в источник показаний, положим, о фактах, близких к обсуждаемому, можно судить о действительном отсутствии показания о том факте, который известен только из изучаемого источника; да и каждый источник, умалчивающий о факте, подлежит внимательному рассмотрению прежде, чем утверждать, что он действительно обнаруживает отсутствие показания о факте, который, напротив, упоминается в разбираемом источнике.

Само собою разумеется, что чем больше источников, превышающих по своей ценности разбираемый или, по крайней мере, равноценных с ним и не содержащих показаний о факте, и чем больше времени протекло с того момента, когда факт будто бы случился, и до того момента, когда он упоминается в разбираемом источнике, тем более вероятно и заключение, что положительное его показание недостоверно. Критики библейских книг, например, между прочим, пользуются такой аргументацией при обсуждении предания о факте возникновения книги Даниила: «Иисус бен Сирах не называет ни Даниила, ни трех его товарищей, хотя упоминание их в его хвалебном песнопении было бы вполне уместно»; да и в еврейском каноне книга Даниила не оказывается среди «пророков», т. е. там, где каждый приписывающий ей древнее происхождение должен был бы разыскивать ее и куда ее переместили уже составители александрийского перевода; на основании соображений подобного рода, подкрепляемых, впрочем, еще и другими доказательствами, книга Даниила, согласно предположению критиков, признается произведением более поздним, относящимся ко времени Маккавеев, вопреки показанию составителей александрийского перевода²⁷⁰. Наиважнейший источник для истории

²⁷⁰ Kuenen A. Abhandlungen. S. 28–31. Один ученый доктор Сорбонны XVII в. — Лонуа (Lanoue) пытался установить предельный срок молчания письменных источников, по истечении которого положительное показание о факте нельзя признать достоверным, и довольно произвольно ограничивал его двухсотлетним перио-

Карла Великого, т. е. его биография, составленная Эингартом, да и некоторые другие источники не упоминают о подвигах, рассказанных в так называемой хронике псевдо-Тюрпена; ввиду молчания важнейших источников известия ее признаются легендарными²⁷¹.

Следует иметь в виду, однако, что *argumentum ex silentio* часто теряет свою силу. При дальнейшем исследовании, например, источники с молчаливо-отрицательными показаниями могут оказаться менее ценными, чем источник с положительным показанием о факте; тогда совокупность молчаливо-отрицательных показаний, каждое из которых, в отдельности взятое, сравнительно малодостоверно, но совпадает с остальными показаниями той же совокупности, может оказаться в противоречии с положительным показанием, обладающим сравнительно высшей степенью достоверности, и т. п. Ведь молчание данного источника о факте может происходить и от того, что его составитель не знал того факта, который упоминается в разбираемом источнике, или забыл упомянуть о нем, или не считал его достойным внимания или упоминания; или имел желание скрыть его и т. п. Следовательно, заключать по отсутствию показаний о факте, кроме одного — что этот факт не существовал, во многих случаях рискованно, особенно если научно-историческая ценность источника с положительным показанием еще не установлена или даже превосходит значение источников с молчаливо-отрицательными показаниями о том же факте. Помимо только что указанного затруднения, возникающего при пользовании подобного рода аргументацией, можно указать еще и на другое: правильное употребление *argumentum ex silentio* предполагает безусловное знание всех источников, умолчавших о факте и противопоставляемых одному источнику, упоминающему о том же факте; но историк не может быть уверен, что он знает все источники; а если один из утерянных также упоминал бы о том же факте и был бы найден, ему пришлось бы признать наличие совпадения двух положительных показаний о факте, что, разумеется, уже не дало бы ему основания без дальнейшего рассмотрения отрицать достоверность разбираемого положительного показания о том же факте. При таких условиях *argumentum ex silentio* более пригодно для того, чтобы вызвать сомнение в достоверности положительного показания, чем категорическое утверждение, что оно недостоверно.

дом; но положительное упоминание о факте может быть основано и на устном предании о нем, которое долго сохраняет его и не всегда становится своевременно известным историку; ср. *Smedt Ch. de Principes*. P. 216–221.

²⁷¹ *Molinier A. Les sources etc. T. I. № 648, 679 и др.*

Само собою разумеется, что изучение совпадения или несовпадения показаний распространяется и на целые совокупности связанных между собою показаний, известий и т. п., образующих целые источники. В таких случаях большая достоверность, приписываемая источнику, совпадающему в некоторых из его показаний с показаниями других источников, дает возможность на основании принципа единства сознания и других критериев, указанных выше, с большим доверием отнестись и к тем его показаниям, которые хотя и не совпадают с показаниями других источников, но связаны с остальными показаниями разбираемого источника; и обратно: недоверие к показаниям источника, не совпадающим с показаниями других источников, переносится — разумеется, не без предосторожностей — и на другие показания разбираемого источника. В основе подобного рода исследований лежат те же принципы и приемы, какие были указаны выше; но оно значительно осложняется разнообразием возможных соотношений и, конечно, редко прилагается к целым источникам, так как вероятность совпадения больших совокупностей показаний мала. С такой точки зрения критики изучают, например, евангелия: подобно Сигелию и его преемникам, они сравнивают рассказы евангелистов о земной жизни Иисуса Христа: выясняют, в чем именно и в какой мере эти рассказы совпадают или не совпадают, усматривают в первых трех синоптических евангелиях больше фактического содержания, чем в четвертом, и приписывают гораздо больше достоверности «речам» первого евангелия, чем четвертого; некоторые из них полагают даже, что последнее имеет характер не столько истории, сколько «аллегории» жизни Иисуса Христа и т. п.²⁷²

Итак, принимая во внимание все сказанное выше о соответствии или несоответствии показаний, можно придти к заключению, что оно имеет весьма важное значение для выяснения их достоверности или недостоверности. В самом деле, на основании одного показания историк не всегда может с достаточною уверенностью утверждать, что факт, о котором показание дается, действительно был; труднее установить достоверность, чем недостоверность одного показания; но из недостоверного показания нельзя даже заключить, что факт в действительности не был, ибо в последнем случае пришлось бы пользоваться отрицательным показанием, которое, однако, признавалось бы достоверным, поскольку оно отрицает, что факт был в действительности;

²⁷² *Renan E. Vie de Jésus. Par., 14-e éd. P. X–XII, XLVII–XCII, 477–541 и др.; ср. Jülicher A. Einleitung in das Neue Testament, 5–6 Aufl. Tüb., 1906. S. 328 ff., 345 ff.; о некоторой зависимости Mt и Lc от Mc см. ib. S. 306 ff.*

из недостоверного показания историк может вывести лишь то, что оно непригодно в качестве источника и что, следовательно, им нельзя пользоваться. Согласованные или совпадающие показания, напротив, взаимно подтверждают друг друга или подкрепляют одно из них, а несогласованные или несовпадающие дают возможность сразу обнаружить, что именно в некоторых из них вызывает сомнение и нуждается в дальнейшей критике.

Степень вероятности заключения о факте также возрастает, если показания источника, на основании которого оно сделано, подтверждаются благодаря соответствию их с показаниями о том же факте других источников. Вообразим, например, что ученый находит в прирейнской стране, где некогда жили аламанны, древнеримскую монету; на основании такой находки он еще не может высказать достаточно обоснованного заключения о существовании там в прежние времена какого-либо римского поселения: ведь одна древнеримская монета могла попасть сюда и по какой-либо случайности; но если такие находки сделаны в нескольких местах той же страны, он может сделать свое заключение на основании нескольких согласованных между собою данных, что, конечно, придаст его выводу больше доверия; более или менее сплошное распространение таких монет не могло быть случайным, хотя и могло быть вызвано какими-либо другими причинами, например частыми сношениями местных жителей с римлянами, а не их поселениями. Положим далее, что такие находки оказались еще более значительными и что в некоторых из указанных мест удалось наткнуться на целые клады однородных монет; в таком случае ученый может опереться на совпадение данных касательно одного и того же места и на согласованность более значительных данных относительно разных мест и, значит, будет придавать своему заключению еще большую вероятность, все еще, однако, недостаточную для того, чтобы вполне устранить сомнения. Представим себе, что вместе с монетами в тех же местах раскопки обнаружили, однако, и другие древности, относящиеся к римской культуре, — остатки стен и домов, алтари, посуду и т. п.; принимая во внимание такое соответствие, которое также может оказаться, смотря по условиям, согласованностью или совпадением данных, ученый может уже без особенных колебаний признать довольно вероятным свое заключение о существовании в таких местах в прежнее время римских поселений. Впрочем, изучая остатки римской культуры в стране аламаннов, исследователь, конечно, не упускает из виду и соответствия их с письменными показаниями, например с известиями о войнах Каракаллы с аламаннами, с рассказами Аммиана Марцелина о борьбе с ними Констанция и Юлиана, о бо-

лее или менее продолжительных походах римлян в страну аламаннов, об устройстве разных укреплений и других сооружений в подходящих местах. Такие показания также частью согласуются, частью совпадают; положим, показания, сообщаемые Дионом Кассием, Спартианом и Аврелием Виктором и т. п. Вместе с тем историк замечает соответствие между разнородными группами источников, остатками культуры и преданиями: оно еще более подтверждает его заключение о существовании римских поселений в стране аламаннов. Само собою разумеется, что чем больше число соответствующих данных в пределах каждой из качественно различных их групп, чем больше, например, было найдено монет и других римских древностей в разных местах прирейнской области, чем больше оказалось соответствующих с ними письменных показаний и т. п., тем рассматриваемое заключение о древнеримских поселениях в той же области становится более вероятным. И наоборот: несоответствие вышеприведенных данных привело бы к крушению и ту гипотезу, которая была бы высказана на основании одного или даже нескольких из них; много римских монет того же времени, например, найдено в области Днепра, но ни результаты раскопок курганов и городищ в той же области, ни показания и рассказы Диона Хризостома, Аммиана Марцелина и других писателей о движении варварских племен с востока на запад не дают основания заключать о существовании собственно римских поселений на берегах Днепра²⁷³.

Само собою разумеется, что заключение, основанное на показании, которое заслуживает некоторого доверия, теряет, однако, полноту своего значения, если оно не согласуется или не совпадает с другим показанием, которое не может быть устранено; такое заключение нельзя признать безусловно истинным, если не удастся вполне разрешить противоречие между тем показанием, которое послужило ему основанием, и тем, которое противоречит ему; следовательно, заключение подобного рода представляется при данных условиях лишь более или менее вероятным, смотря по тому значению, какое приписывается противоречивым показаниям. Впрочем, даже при наличии группы показаний, часть которых противоречит другой части, подсчет

²⁷³ *Lindenschmidt L.* Das Römisch-Germanische Zentralmuseum in Mainz etc., 1889 и др.; *Антонович В. Б.* Описание монет и медалей, хранящихся в Нумизматическом музее университета Святого Владимира. Киев, 1896; *Holländer A.* Die Kriege dei Alamannen mit den Römern in dritten Jahrhundert nach Chr. Karlsruhe, 1874; здесь можно найти указания и на других писателей, сообщающих сведения об аламаннах, Геродиане, Евтропии и т. д.; см. S. 8 ff.

их в случае разной их ценности все же оказывается фикцией, которая не может служить для точного определения сравнительной вероятности заключений, соответственно основанных на каждой из частей. В большинстве случаев притом историк имеет дело не столько со свидетельскими показаниями, сколько со сложными источниками, содержащими наряду с ними разные известия, слухи и т. п., которые также могут совпадать или не совпадать с главными показаниями или между собой; при таких условиях он часто не может высказать свое заключение иначе, как в виде более или менее вероятного предположения, которое иногда опирается не на положительные показания, а на более или менее правдоподобные намеки источников. Историк располагает, например, довольно значительным числом показаний касательно известного углицкого дела о смерти царевича Дмитрия 15 мая 1591 г., сыгравшего видную роль в политической идеологии Смутного времени; но он не может признать их одинаково ценными и принужден считаться с противоречиями между ними; зная, что «власть обьявляла Бориса святоубийцею» и что «церковь слагала молитвы новому страстотерпцу, приявшему от него смерть», исследователь замечает, однако, что почти во всех произведениях литературы XVII в., посвященных изображению Смуты и не принадлежащих к агиографическому кругу повествований, «личность Бориса получает оценку независимо от углицкого дела, которое или замалчивается, или осторожно обходится»; он сравнивает ценность показаний, заключающихся в следственном деле, которое проводилось кн. В. И. Шуйским и окольным Андреем Клешниным в «повести» 1606 г., панегирически настроенной в пользу Шуйских, во временнике дьяка Ивана Тимофеева и в речах «многих» других, говоривших, «якоже убиен благоверный царевич Дмитрий Иванович Углицкой повелением московского боярина Бориса Годунова», — с показаниями Андрея Палицина, который хотя и не принадлежал к безусловным его поклонникам, однако ограничивается сообщением, что враги и ласкатели «от многие смуты ко греху сего низводят, его же, краснейшего юношу, отсылают и не хотяща в вечный покой», с довольно аналогичным отношением к Борису и к тому же делу кн. И. А. Хворостинина и других, некогда говоривших, «яко неповинна суща Бориса закланию царского детища». Внимательно сравнивая показания во вред Борису Годунову с показаниями, авторы которых, несмотря на официальную традицию, на «житие» царевича и чин службы новому чудотворцу, не решались, однако, прямо обвинить «властодержавного правителя», хотя и писали свои сказания и повести после его смерти, исследователь полагает, что заключение, основанное на намеках тех лиц, которые состав-

ляли их, представляется более вероятным, чем вывод, который навязывается ему официальным преданием²⁷⁴.

Критика стремится, однако, применять вышеуказанные критерии фактической истины или неистины показания в связи с изучением личности его составителя: она рассматривает индивидуальные особенности его показаний с целью выяснить, какое значение они имеют для установления их достоверности или недостоверности. В самом деле, можно сказать, что понятие о личности показывающего в значительной мере обуславливает и ценность его показаний: ведь без понятия об индивидуальности нельзя реально представить себе ни единства, ни непрерывности его сознания, ни того именно положения, которое показывающий субъект занял относительно показываемого объекта в данном культурном целом. В сущности, можно составить себе надлежащее представление о свидетеле данного показания лишь в виде той личности, которая в известном пункте пространства и в известный момент времени действительно присутствовала при совершении описываемого факта и действительно восприняла его в своем чувственном восприятии; и наоборот: если затруднительно возвести данное показание к личности того именно свидетеля, который воспринял факт, приходится сомневаться в достоверности сообщаемых в нем сведений или, зная ненадежность того, кто передал известие, заключать о большей или меньшей степени его недостоверности.

Ввиду подобного рода соображений следует пользоваться критериями, рассмотренными выше, применительно к тому именно субъекту, который дает показание, для того чтобы судить о фактической его достоверности или недостоверности; но приложение такого принципа при рассмотрении фактического характера показания дает плодотворные результаты, очевидно, лишь в том случае, если можно доказать, что этот субъект был или не был свидетелем того факта, о котором он показывает, что он действительно был в том месте, где факт произошел, и в то время, когда он случился, что он действительно испытал его в собственном чувственном восприятии, действительно наблюдал этот факт и т. п.; в противном случае нельзя признать его показание более или менее достоверным.

Итак, при критически индивидуализирующем рассмотрении показаний источника нельзя не принимать во внимание личности автора; без понятия о его индивидуальности нельзя надлежащим образом вы-

²⁷⁴ Собр. гос. гр. и дог. Ч. II. № 60. Рус. ист. библ. XIII, изд. 2-е. С. 301, 475, 535, 879–884, 901–910, 970 и др.; ср. *Платонов С.* Очерки по истории Смуты. СПб., 1899. С. 210–215, 592.

яснить содержание и объем его показаний и критически отнестись к тем из них, которые отличаются более или менее субъективной окраской собственных его личных переживаний и которые, следовательно, всегда могут содержать, кроме сведений о факте, и более или менее субъективную его оценку; а последняя, конечно, обуславливает достоверность или недостоверность его показаний. При пользовании, например, мемуарами Комминя нельзя упускать из виду некоторые особенности его характера и обстоятельства его жизни, разумеется, отразившиеся и на его показаниях; умный и ловкий, он обнаруживал склонность к наживе и к интриге и не любил обращаться к насильственным средствам в тех случаях, когда можно было действовать иначе, а потому и не питал сочувствия к Карлу Бургундскому, которого он тайно покинул под стенами Э (*Eu*); будучи одним из главных конфидентов Людовика XI, он не понимал, однако, возрастающей слабости феодального режима и враждебно относился к правлению Боже; он был также недоволен тем предпочтением, какое молодой Карл VIII оказывал лицам, которые его не стоили, и враждебно относился к сенешалю Бокэру; он был решительно против экспедиции в Италию, сыграл в ней второстепенную роль и не без пристрастия оценивал главных ее приверженцев — Брисоннэ и Веска, много содействовал миру в Версейле, заключение которого он подробно описывает в своих мемуарах, и т. п.²⁷⁵

Рассмотрение индивидуальных особенностей показания с целью выяснить, какое значение они получают для определения его достоверности или недостоверности, легко переходит, как видно, в изучение генезиса показания; но исследование его происхождения имеет и свое самостоятельное значение.

В самом деле, критика фактической достоверности или недостоверности показания дополняется изучением его генезиса; такое исследование эмпирически обуславливает суждение о достоверности или недостоверности показания и дает возможность проверить вывод относительно его значения, выяснив, почему оно оказывается достоверным или недостоверным. Подробно изучая обстоятельства, обусловившие возникновение данного показания, можно, с такой точки зрения, понять, почему данный субъект сказал правду или неправду, почему он сохранил или нарушил единство своей мысли и ее последовательность, почему его показание находится в соответствии или в не-

²⁷⁵ *Mandrot B. de. Mémoires de Philippe de Commines // Collection de textes pour servir à l'étude de l'enseignement de l'histoire. T. 33. Par., 1901. P. III, VI, XI, XXIX ss., XXXVII, LXVII, XCI—C.*

соответствии с тем культурным целым, к которому оно будто бы относится, или с собственной его индивидуальностью и т. п.

Впрочем, изучение генезиса показаний получает еще особого рода значение в тех случаях, когда историк, располагающий несколькими из них, признает одни и отвергает другие; гипотетически принимая, что речь идет о том, а не ином факте, что последний совершился так, а не иначе, он объясняет, почему одни показывали о нем согласно с истиной, другие — несогласно с ней, и, таким образом, подкрепляет гипотезу, с точки зрения которой он и имеет возможность объяснить происхождение не только правдивых, но и неправдивых показаний.

При помощи генетического исследования показаний легче установить и фактическое значение их разновидностей, т. е. обнаружить, например, какие именно показания оказываются свидетельскими, какие — известиями, какие независимы друг от друга и какие, напротив, зависят друг от друга, что и дает возможность признать достоверность или недостоверность одного из них или целой их группы, соединенных в источнике.

Такое генетическое исследование тем более необходимо, что далеко не всегда можно по первому впечатлению правильно судить о значении показания. В том случае, например, когда свидетель высказывается с большими колебаниями о данном факте или характеризует его только в «общих чертах», показание его может вызвать сомнения; но тот, кто бережно относится к факту, может из боязни ошибиться обнаружить ее при подаче показания, и значит, последнее может оказаться более достоверным, чем оно казалось; или в том случае, когда свидетель с уверенностью показывает о факте или придает своему показанию «отчетливость» и «точность», его показание может произвести впечатление достоверности, которой оно, однако, не имеет. В судебной практике, например, нередко бывает, что свидетель, в особенности под конец допроса, начинает путаться и колебаться, смущенный возникшими сомнениями в правде своих слов, хотя бы они и не заключали ошибки; или наоборот: с уверенностью дает ошибочное показание, например, *bona fide*, воображает, что он узнает и хорошо узнает человека, который оказывается вовсе не тем, за кого он принимает его²⁷⁶. Такое же обманчивое впечатление получа-

²⁷⁶ Stern W. Wirklichkeitsversuche // Beiträge, II Folge. S. 12; Binet A. La suggestibilité. Par., 1900. P. 283 et ss.; ср. любопытные примеры у Lailler M. et Vonoven H. Op cit. P. 72, 83, 87–96. «Точность» старинных цифровых показаний также часто оказывается мнимой, не говоря уже об известной привычке выражать их в «круглых числах»; ср. «Проблемы психологии». С. 114, 124, 191 и ниже.

ется иногда и от сравнительно обстоятельного показания, избыливающего подробностями: полнота его сама по себе еще не свидетельствует в пользу его правдивости; подробное показание может, конечно, быть правдивым, но оно может оказаться и неправдивым; оно может содержать больше ошибок, чем скудное, но точное показание. Свидетели даже на суде иногда рассказывают, например, о подробностях, которые не существовали²⁷⁷.

В разысканиях подобного рода следует различать, однако, генезис свидетельского показания от генезиса известия или того предания, в состав которого оно входит; генезис свидетельского показания получает особенно важное значение и для выяснения достоверности зависящего от него известия или предания, хотя, разумеется, недостоверность такого показания также отражается в его передаче; генезис известия или предания, напротив, имеет интерес для выяснения не столько достоверности, сколько недостоверности, возникающей при передаче показания.

Впрочем, и при изучении свидетельского показания нельзя смешивать генезис самого показания с генезисом его подачи, т. е. безразлично говорить об образовании его в сознании свидетеля, конечно, более или менее связанном с его формулировкой, и о его высказывании под влиянием каких-либо внешних условий; в действительности оба момента, разумеется, тесно связаны между собою, но в теории, да и на практике в тех случаях, когда такая связь извращена, исследователю приходится различать два момента — образование показания и факт его подачи.

Вообще изучение образования свидетельских показаний оказывается довольно сложным, можно интересоваться их генезисом с разнообразных точек зрения. Рассмотрим хотя бы в самых общих чертах психогенезис таких показаний, разумеется, применительно к задачам собственно исторического исследования и отметим главнейшие исторические условия, под влиянием которых они слагаются.

В таком рассмотрении нельзя смешивать возможность с действительностью, т. е. вопрос о том, какое показание свидетель мог дать, с вопросом о том, какое показание он действительно дал; ответы на такие вопросы могут быть разными и далеко не всегда совпадают друг с другом. Само собою разумеется, что в области исторических разысканий приходится исходить из уже данных показаний. Генетическое изучение таких показаний сводится, конечно, к выяснению главнейших условий и факторов их образования; смотря по преобла-

²⁷⁷ *Lailler M. et Vonoven H. Op. cit. P.15.*

данию того, а не иного рода факторов легко установить и соответствующие более или менее отвлеченные виды или типы образования показаний.

В исследованиях подобного рода можно различать двойкие условия образования свидетельских показаний — нормальные и ненормальные. С генетической точки зрения, каждое из них находится в более или менее заметной связи с состоянием субъекта — больным или здоровым, особенно в психическом смысле. Душевноздоровый субъект, сохранивший единство и целостность сознания, очевидно, оказывается в таких благоприятных условиях для познания, которые недоступны душевнобольному, утратившему их в той мере, в какой его психические функции уже поражены болезнью, что соответственно отражается и на результатах их показаний. Понятия подобного рода, правда, далеко еще не вполне установлены, и в действительности, разумеется, существует ряд переходов, которые затрудняют резкое разграничение, по крайней мере в сфере душевной жизни, «нормального» от «ненормального», часто имеющего более или менее относительный характер; но с такими оговорками все же можно рассуждать о душевноздоровых или душевнобольных людях, а значит, и о нормальных или ненормальных условиях образования данных ими показаний.

С указанной точки зрения, следует несколько остановиться на изучении образования нормальных показаний, имеющих для историка, конечно, гораздо большее значение, чем ненормальные, т. е. выявить главнейшие условия и факторы — познавательные и эмоционально-волевые, под влиянием которых они образуются.

Вообще, исходя из уже данного показания и рассуждая о его генезисе, историк интересуется не тем, мог свидетель дать показание или не мог, и даже не тем, мог бы он сказать истину или не мог бы, а задается только вопросом о том, мог он в уже данном им показании сказать истину или не мог, и смотря по ответу на него, признает изучаемое показание надежным или ненадежным в той мере, в какой оно зависит от такого знания или незнания²⁷⁸.

Итак, вопрос о том, какое показание свидетель мог дать, естественно свести к вопросу о том, мог он сказать истину или не мог и в свою очередь поставить его решение, главным образом, в зависи-

²⁷⁸ Надежное показание можно было бы назвать истинным в генетическом смысле, ненадежное — не истинным в генетическом смысле; ввиду чрезмерной сложности таких выражений и во избежание смешения понятий, которое возникало бы при сокращенном их употреблении, пришлось заменить их терминами, принятыми в тексте.

мость от того, знал он истину или не знал ее. В самом деле, показывающий может сказать истину, если он знает факт, о котором он показывает; и наоборот: он не может сказать истину, если он не знает факта, о котором он показывает.

В таких случаях следует, конечно, придавать истине объективное значение, т. е. понимать ее в смысле того, что должно быть высказано о данном факте для того, чтобы иметь основание признать показание о нем фактически истинным; в соответственно обратном смысле можно, значит, рассуждать и о незнании истины. Итак, можно сказать, что знание или незнание фактической истины становится общим и необходимым условием образования надежного или ненадежного показания.

Впрочем, субъект может знать фактическую истину лишь при совокупности довольно разнообразных, более или менее частных условий. В самом деле, субъект в качестве свидетеля может обладать таким знанием, если он при наличии единства сознания и связующих его функций располагает известным запасом чувственно воспринятого, из которого он и почерпает материал для своего показания о соответствующем ему объекте²⁷⁹; если он хотя бы в некоторой мере интересуется тем фактом, который он воспринимает с теоретической, а не с практической точки зрения, т. е. инстинктивно или сознательно питая некоторый интерес к факту, все же, однако, не «заинтересован» в нем, наблюдает его, но не участвует в его совершении или, участвуя в нем, принимает во внимание свое участие в нем лишь для того, чтобы лучше понять то, что произошло, а не для того, чтобы подвергнуть происшедшее более или менее субъективной оценке. Вместе с тем свидетель может знать фактическую истину, конечно, лишь в том случае, если при таком отношении к факту он имеет возможность воспринять его в том месте, где факт происходит, и в то время, когда факт совершается; если он возможно полнее испытывает его в данных своего чувственного восприятия; если он отличается некоторым самообладанием, внимательно следит за фактом, т. е. с возможно большей объективностью «регистрирует» то, что он испытывает, преждевременно не примешивая к нему субъективную переработку или оценку

²⁷⁹ Такой запас обыкновенно превосходит материал, черпаемый из него для показания, что нетрудно заметить при сравнении самопроизвольных показаний в форме рассказа (Bericht) с показаниями, вызванными опросом свидетеля (Verhörprodukt); см.: Stern W. Die Aussage, als geistige Leistung und als Verhörprodukt (Beiträge zur Psychologie der Aussage, III Heft). Lpz., 1904. S. 10, 15, 61–63, 82–86.

воспринятого; если он располагает достаточным образованием и техническими средствами, нужными для удовлетворения требованиям подобного рода и т. п. Ввиду того что воспринятое легко поддается «действию времени», свидетель в момент показания может знать фактическую истину лишь в том случае, если он дает его на основании еще яркого и свежего впечатления от факта; если его настроение соответствует тому, что он вспоминает; если он помнит испытанное достаточно точно; если он отдает себе ясный отчет в том, что именно он знает и чего именно он не знает, что он запомнил и чего он не запомнил. Само собою разумеется, что свидетель, показывающий при подобного рода условиях, способен дать надежное показание, лишь если он владеет своим воображением и своими чувствами, не поддается действию других факторов, порождающих невольные ошибки в показаниях, в особенности если он хочет знать истину, т. е. сознательно и неуклонно стремится к некоторой познавательной цели, и т. п.²⁸⁰

При наличии обратных условий позволительно предполагать, что показывающий не может знать истину или не может обладать полным знанием ее. Само собою разумеется, что если он не испытал факта в своем чувственном восприятии, он не может дать надежное показание о нем; если он не интересуется фактом, он часто плохо воспринимает его или забывает его, смешивает то, что он испытал от его восприятия, с другими состояниями сознания, дает волю своему воображению и т. п.; если он слишком «заинтересован» в его совершении, он часто вносит свое субъективное настроение в его оценку, не хочет знать истину и т. п. В таких случаях, надо думать, он не может знать истину в объективном ее значении или не может обладать полным знанием ее.

Итак, при наличии целой совокупности условий, главнейшие виды которых были указаны выше, можно полагать, что свидетель знает фактическую истину; а в противном случае можно полагать, что он не знает ее. Само собою разумеется, что такие предположения большею частью приходится высказывать и в гораздо менее категорической форме, т. е. полагать, что свидетель более или менее знает фактическую истину или более или менее не знает ее.

Впрочем, разнообразные частные источники и примеры надежных или ненадежных показаний, обусловленных знанием или незна-

²⁸⁰ Желание или нежелание знать истину, разумеется, нельзя смешивать с желанием или нежеланием сказать правду: могут быть случаи, когда человек хочет знать истину, но не хочет выразить ее, не хочет сказать правду; ср. еще ниже, замечания о волевых показаниях.

нием истины, можно рассмотреть в связи с эмоционально-волевыми факторами их образования.

В самом деле, нельзя упускать из виду, что показание образуется не только в зависимости от знания или незнания истины; знание или незнание ее оказывается общим и необходимым, но недостаточным условием генезиса реально данного показания: ведь то именно, что свидетель показал в действительности, зависит и от других условий, имеющих ближайшее отношение к эмоционально-волевой сфере его душевной жизни; в действительности он, конечно, дает и надежное, и ненадежное показание под влиянием факторов подобного рода, т. е. импульса или воли, получающих, таким образом, решительное значение в образовании самих показаний. Смотря по тому, какого рода факторы играют преобладающую роль в генезисе показаний, можно различать два вида свидетельских показаний, которые я назову импульсивными и собственно волевыми; в импульсивных показаниях воля свидетеля не имеет решающего значения, в волевых показаниях он, напротив, сознательно хочет сказать правду или неправду²⁸¹.

Следует иметь в виду, что импульсивные показания могут оказаться более или менее верными или неверными: даже свидетель, импульсивно показывающий о факте, который он сам испытал в своем чувственном восприятии, инстинктивно говорит правду или невольно говорит неправду. В таких случаях свидетель испытывает импульс дать показание о том, что он знает, или о том, чего он в сущности не знает; при импульсивном показании свидетель, знающий истину, дает обык-

²⁸¹ В недавно напечатанной статье Кемзис предлагает свою группировку разновидностей «знания, лежащего в основе показаний вообще и ложных показаний (Lügen) в особенности»; но полагая в основу своего деления истинное (*richtige*), ошибочное (*falsch*) знание и совершенное отсутствие знания в связи с уверенностью субъекта, что его знание истинно, ложно, сомнительно и т. п., автор статьи едва ли достаточно различает установление познавательной ценности показания от его генезиса; он также пренебрегает различием между импульсивными и волевыми показаниями, на мой взгляд, весьма важным для изучения их генезиса, хотя и говорит, например, о воле «zur Unwahrheit», преувеличивает значение уверенности и т. п., которая скорее оказывается результатом оценки, какой показывающий подвергает свое показание, чем фактором его образования; в результате автор получает довольно искусственное деление показаний, в котором он, не вполне выяснив основные виды правдивых и неправдивых показаний, дробит их на мелкие разновидности числом до 27; см.: *Kemzies F. Zur Einteilung der Lügen und Aussagen // Zeit. für Pädagogische Psychologie, Pathologie und Hygiene, VIII Jahrg. Berl., 1905. S. 183–192. Ср. еще ниже.*

новенно верное показание, а свидетель, не знающий истины, дает неверное показание в той мере, в какой он не знает ее.

Действительно, в числе импульсивных показаний немало таких, которые оказываются верными; они образуются благодаря тому, что свидетель испытывает инстинктивное стремление объективировать состояния своего сознания, вероятно, тесно связанное с полнотою их переживания, завершающегося в соответственном их разряде; во всяком случае, при некоторой его напряженности он обыкновенно стремится вместе с тем выразить испытываемое жестами, голосом, словами, письменными знаками и т. п., хотя его стремление, конечно, может и не получить достаточной силы под влиянием какого-либо задерживающего процесса. Свидетель обнаруживает стремление подобного рода, например, в тех случаях, когда он дает показание о факте, который поразило его или «навязывается» его сознанию и напрашивается на полотно или на бумагу; когда он «признается» или «сознается» в чем-либо, в особенности если его «признание» или «сознание» говорит против него и т. п.²⁸² В «дневниках», например, такая потребность обнаруживается нередко: составитель дневника стремится объективировать состояния своего сознания, высказаться, «поверить свои тайны бумаге», записать некоторые факты скорее для себя, чем для публики, и т. п.

Верные показания находятся, конечно, в зависимости от степени знания субъекта, от тех эмоций, которые он более или менее ярко переживает в связи с объектом своего наблюдения, и т. п.; но такие показания зависят и от свойств объекта: показания об отношениях в пространстве, например, вернее показаний о действиях (во времени?); показания о лицах (но не о личных их признаках) и о форме предметов также более пригодны, чем показания о их числе и в особенности о их окраске; показания о других свойствах отличаются, судя по некоторым опытам, сравнительно большей верностью, чем полнотой, и т. п.²⁸³

²⁸² См. выше, с. 490–492, прим. *Стуфен Дж.* Очерк доказательственного права / пер. П. Люблинского. С. LXXXVIII–LXXXIX, 42 и след.

²⁸³ *Stern W.* Wirklichkeitsversuche // Beiträge, II Folge. S. 13, 14; *Ego же.* Die Aussage и проч. S. 32, 34, 49–52, 87; *Binet A.* La science du témoignage // L'Année psychologique. Т. XI. Par., 1905. P. 133; ср. с. 687. Ввиду того, что малые количества предметов (например, 2–3) могут восприниматься непосредственно, ошибки в показаниях о них могут иметь и качественный, а не часто количественный характер; см.: *Stern W.* Wirklichkeitsversuche // Beiträge, II Folge. S. 8. Ошибки в отождествлении личности не редки, пример чего см. у *Lailler M. et Vonoven H.* Op. cit. P. 73–80; под «признаками» лица разумеют сведения о внешнем его виде, costume, позы, росте, облике и т. п.; см.: *Larguier des Bancels J.* Op. cit., ib. P. 219, 224–225, 226–227.

Само собою разумеется, что верные показания о сложных исторических фактах образуются и под влиянием многих других условий.

Верные показания, например, могут иметь различные оттенки в зависимости от того рода исторических фактов, о которых они даются. Факты, которые при относительно меньшей сложности отличаются большею яркостью индивидуальных особенностей и резче выделяются, больше привлекают к себе внимание свидетеля и побуждают его высказаться, не давая ему времени одуматься, внести в их изображение свое толкование, переработать свои впечатления о них и т. п. Выдающиеся личности, например Карл Великий, Людовик Толстый и др., скоро находят своих биографов в лице Эингарта, Сюзера и др. Внезапно случающиеся события также не позволяют свидетелю подойти к ним с заранее подготовленной точки зрения или теории, что соответственно отражается и на его показаниях: они имеют сравнительно менее искусственный характер и большею частью явно отличаются от присоединенных к ним размышлений, нравочений и т. п. *Анналы монастыря Святого Аманд (St. Amand)* и другие возникшие с конца VII в. из приписок к пасхальным таблицам, например, содержат немало таких показаний; они обыкновенно упоминают о важнейших «событиях каждого года» — об избрании и смерти аббатов монастыря, поступлении реликвий и проч., о разных бедствиях, неурожаях, эпидемиях, пожарах и наводнениях, о землетрясениях, проливных дождях, бурях, холодах и засухах, о затмениях, северных сияниях и т. п.; наконец, в связи с интересами данного монастыря — о некоторых фактах, касающихся фамилии его покровителей, их рождениях и смертях, об их военных предприятиях и т. п.²⁸⁴ В позднейшее время аналогичные показания о выдающихся современных событиях стали появляться в «реляциях», газетах и т. п.: в 1605 г., например, антверпенский типограф Вергевен получил от эрцгерцога Альберта привилегию на то, чтобы «печатать и гравировать на дереве или металле и продавать все новости о победах, осадах и взятии городов». Факты более или менее обычные, например нравы, обычаи, учреждения и т. п., напротив, менее привлекают к себе внимание привыкшего к ним свидетеля и часто упоминаются мимоходом, как нечто естественное, само собою разумеющееся или просто подразумеваются. Составители житий, например Иона в своей биографии св. Колумбана, и другие агиографы позднейшего времени, между прочим, сообщают ценные сведения о топографии данной местности, нравах ее обитателей, их культуре и т. п.

²⁸⁴ *Molinier A. Les sources etc. T. v. P. xxvii–xxx и lvi; cf. P. lxxxii–lxxxii.*

Показания о сложных исторических фактах могут оказаться тем более верными, чем более свидетель сам испытал их или сочувственно переживал их и чем менее он скрывает свою «симпатию» (в широком смысле) к тем людям, через посредство которых факт совершился; к их действиям, к достигнутым ими результатам и т. п. В таких случаях он может инстинктивно вскрыть в своем показании внутреннюю психическую сторону факта. В своих мемуарах любознательный С.-Симон, например, обнаруживает большое чутье людей: он быстро и верно распознает их, чувствует в одном — человека высоко честного, в другом — глубокого лицемера, схватывает иногда тон и даже стиль того лица, о котором он пишет, большей частью передает читателю верное впечатление того, что он воспринял из придворной жизни времени Людовика XIV, и т. п.²⁸⁵

В образовании таких показаний инстинктивная потребность высказать истину, вероятно, играет известную роль, хотя, разумеется, может соединяться и с другими факторами, обуславливающими возникновение волевых показаний, известий и т. п.

Нельзя упускать из виду, однако, что импульсивные показания в действительности редко оказываются вполне верными. В самом деле, свидетель часто невольно говорит неправду; его показание обыкновенно содержит случайные ошибки, т. е. оказывается в некоторой мере неверным; такие ошибки легко ускользают от его внимания, но знание их необходимо для того, кто желает определить ценность его показания²⁸⁶.

²⁸⁵ Mémoires du duc de St.-Simon. T. I. Par., 1856. P. VI–VII, XXIV.

²⁸⁶ Stern W. Zur Psychologie der Aussage // Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Bd. XXI (1902). S. 315–371. Ср. *его же*. Die Aussage и проч. S. 86–112. Автор приходит к заключению, что ошибочность свободно данного показания (spontane Bericht), т. е. отношение ошибочных данных к совокупности положительных данных показания, в среднем составляет около 6 %, и считает возможным признать «постоянство» такой «средней ошибки». В своей работе, посвященной тому же предмету, Врешнер приходит к заключению, что число ошибок, обнаруживающихся в показании о виденном на картине, значительно больше того числа, которое было принято Штерном; см.: Wreschner A. Zur Psychologie, der Aussage // Archiv für gesammte Psychologie. Bd. I (1903). S. 174 и др. Ср., впрочем, ниже упоминаемые Beiträge, II Folge. S. 9; Larguier des Bancels J. La psychologie judiciaire. Le témoignage // L'Année psychologique. Par., 1906. P. 157–233. Beiträge zur Psychologie der Aussage издаются с 1903 г. под редакцией L. W. Stern'a, сборник «Проблемы психологии» — под ред. О. Гольдовского, В. Потемкина и И. Холчева. В. I: «Ложь и свидетельские показания». М. (без года) и др. До сих пор,

Ввиду того что без субъекта не может быть перцепции объекта, что последняя есть акт индивидуального его сознания и, значит, подчинена его пределам и в известной мере отражает в себе его индивидуальные особенности, колебания и т. п., можно сказать, что свидетель при совершении такого акта не застрахован от ошибок; вместе с тем при восприятии сложного объекта он едва ли может обойтись без памяти, далеко не всегда, однако, надежной; следовательно, и при рассмотрении источников верных показаний свидетеля можно прежде всего различать «ошибки восприятия» от «ошибок памяти»; они, конечно, часто переплетаются между собою и осложняются действием его воображения, а также другими состояниями его сознания²⁸⁷.

В сущности, наблюдатель, даже хорошо подготовленный, не в состоянии сразу объять в своем чувственном восприятии сложный факт во всей совокупности его элементов; в каждый данный момент он перцепирует их не вполне и не в одинаковой мере, а для апперцепции каждого из них, сверх того, нуждается в известном усилии внимания; но он часто не в силах удержать апперцепцию на каждом из них: внимание его легко отвлекается другими одновременно действующими раздражениями или «упорствующими» представлениями, аффектами и т. п.²⁸⁸

Итак, можно сказать, что наблюдатель испытывает в своем чувственном опыте не более или менее сложный факт, а апперципирует только его элементы, не всегда находится на надлежащем расстоянии от того, что он воспринимает, и редко может или умеет всецело отдаться длительному его восприятию. При таких условиях его ошибки состоят скорее в пропусках того, что дано в действительности, чем в прибавках к тому, из чего она слагается; впрочем, принимая одно за другое, он может подвергнуть ее и некоторому искажению.

Более или менее удачно связывая данные своего восприятия, свидетель подвергает, однако, свое построение схематизации, отдаляю-

однако, Бинэ, Штерн и другие исследователи, к сожалению, сосредоточивали свое внимание преимущественно на показаниях об объектах, существующих в пространстве, а не следующих во времени; между тем показания последнего рода всего более интересуют историка. Ср. «Проблемы психологии». С. 62–64, 82, 112, 157, 163, 249–258; *Stern W. Die Aussage* и проч. С. 5–6.

²⁸⁷ *Sully J. Les illusions des sens et de l'esprit*, 2 éd. P. 7, 12, 191.

²⁸⁸ *Stern W. Wirklichkeitsversuche // Beiträge*, II Folge. S. 12. Присяга, между прочим, повышает внимание, с которым показание дается, а данное под присягой показание оказывается значительно более достоверным, чем показание, данное без присяги, Штерн приходит к выводу, что ошибочность показания, данного под присягой, падает с 19 % до 7%; см. *ib. S. 9*; ср. *S. 23*.

щей его от действительности; он легко может обнаружить и некоторый произвол в упрощении действительного факта, в выборе и в сочетании его признаков: ведь свидетель, ясно не сознающий критериев такого упрощения, может выбрать несколько случайных элементов и, произвольно изменяя положение хотя бы одного из них, уже нарушает смысл целого.

Наконец, такое упрощение часто благоприятствует появлению дальнейших ошибок, вызванных какой-либо привычной ассоциацией или какой-либо временно охватившей сознание мыслью; свидетель смешивает, например, образ того, кто действовал, с образом того, кто мог действовать, или полагает, что он уже испытал то, что испытывает, и т. п.²⁸⁹

Такие ошибки наблюдаются, конечно, и в показаниях, имеющих отношение к историческим событиям, или продуктам, если только можно проверить их другими данными. Английский государственный деятель и писатель Рэлей (*Raleigh*), заключенный в Тауэр вскоре по вступлении на престол короля Иакова I, например, сидел однажды у окна своей тюрьмы и внимательно наблюдал за кровавым столкновением, происходившим в одном из ее дворов. На следующий день Рэлей принимал одного из своих друзей и рассказал ему то, что случилось на его глазах; каково же было его удивление, когда его гость, лично участвовавший в происшествии, доказал ему, что дело происходило совсем иначе. Предание повествует, что Рэлей, пораженный своим открытием, бросил в огонь только что оконченную им последнюю часть своей всемирной истории: ему казалось, что раз он столь ошибся, давая показание о том, что он видел своими глазами, он ничего не знает из того, что он написал на основании чужих показаний. Подобные случаи бывали, конечно, и с позднейшими наблюдателями. Тэн, один из выдающихся французских критиков, например, подробно описывая впечатления, вынесенные им при созерцании Мадонны Рафаэля, известной под наименованием «del Granduca» (в галерее Питти), между прочим, уверяет, что голова ее покрыта «длинным зеленым покрывалом»; но стоит только взглянуть на самую картину, чтобы убедиться, что Тэн дал ошибочное показание о его окраске²⁹⁰.

В сущности, всякое наблюдение над сложным фактом основано, однако, не на одном только чувственном восприятии. Оно нуждается еще в памяти. Наблюдатель удерживает в памяти свое представление

²⁸⁹ *Lailier M. et Vonoven H.* Op. cit. P. 74; о парамнезии см. исследования Рибо, Солье, Виньоли, Грассе и др.

²⁹⁰ *Aulard A. H.* Taine, historien de la Révolution française. Par. P. 13.

о факте хотя бы на самый краткий промежуток времени, прежде чем дать устное или письменное показание о нем; но свидетель далеко не всегда находится в условиях, благоприятствующих памяти, например, более или менее яркого переживания того, что запоминается, сочувствия к нему и т. п.; притом только научно настроенный наблюдатель проводит свои наблюдения, пользуясь строго установленным методом и более или менее совершенными орудиями, и сейчас же по наблюдении записывает его при помощи системы обозначений, смысл которых точно установлен и всеми понимается одинаково; обыденный наблюдатель, напротив, часто воспроизводит то, что он наблюдал, лишь по истечении некоторого промежутка времени, по памяти, а иногда и довольно случайно. Следовательно, такой наблюдатель легко впадает в ошибки, которые состоят в забвении воспринятого, т. е. в понижении энергии представления, в постепенной утрате свежести и ясности образов, в пропусках, которые восполняются преимущественно под влиянием воображения, и т. п. Свидетель, например, плохо помнит или забывает мимолетное представление или то, что уже поблекло; он легко спутывает представления, потерявшие свежесть или утратившие некоторые черты, в особенности если связь между этими представлениями не успела еще окрепнуть или уже разлагается; он еще легче упускает из виду такую связь, если одно из них уже исчезло, и благодаря более привычной для него ассоциации, произвольно заменяет одно из ранее связанных между собою представлений с другим, сходным или смежным с удержанным в памяти представлением или даже с тем, которое он сейчас не может точно припомнить, и смешивает его с подставным; следовательно, он принимает одно из них за то, чему оно в сущности не соответствует, и таким образом, впадает в ошибку; продолжая упрощать удержанное в памяти и выбирать из него характерные признаки, он еще более усиливает неверность показания и т. п.²⁹¹

²⁹¹ Binet A. Op. cit. // L'Année psychologique, 3-e an. P., 1897. P. 306–312; автор экспериментально доказывает, что описание факта по памяти обыкновенно менее полно, чем описание его в «натуре»; такое явление обнаруживается и в «упрощении» действительности, и в подборе признаков, нужных для ее характеристики; он приходит к заключению, что ребенок в таких случаях забывает 1/3 «предметов», обративших на себя его внимание в натуре. Разнообразные примеры ошибок, вызванных забвением и проч., см.: Фрейд З. Психопатология обыденной жизни / рус. пер. В. Медема. М., 1910. Односторонняя теория автора вызвала возражения П. Раншбурга; см.: Ranschburg P. Das kranke Gedächtniss. Lpz., 1911. S. 6–8, 14–22, 27–31 и др.

Заблуждения памяти, конечно, тем более возможны, чем больше промежуток времени, протекший между восприятием предмета или факта и показанием о нем. Такие заблуждения заметны, даже если этот промежуток равен двум секундам и в особенности если ощущения и восприятия, наполняющие интервалы, относятся к тому же самому виду ощущений и восприятий, какие мы стремимся сохранить в памяти. Само собою разумеется, что ошибочность показаний возрастает по мере увеличения того же промежутка, но в зависимости от потери впечатлений едва ли не идет все более медленным темпом. Судя по расчетам одного из исследователей касательно показаний заранее предупрежденных свидетелей, например, число сделанных ими ошибок возросло на 1,5 % в течение 5 дней, на 4,3 % в течение 14 дней, на 6,0 % в течение 21 дня. Время влияет и на полноту показания, и на его верность; они постепенно убывают, впрочем, не всегда в одинаковой мере²⁹².

Вышеуказанные ошибки получают дальнейшую спецификацию в зависимости от разновидностей памяти: свидетель может обладать смешанным или преимущественно тем, а не иным видом памяти, например зрительной, слуховой, моторной, значит, не всегда в состоянии исправлять ошибки одного рода памяти при помощи другой ее разновидности, тем более что последняя может оказаться менее пригодной для воспроизведения припоминаемого объекта²⁹³. Свидетель, который имеет, например, преимущественно слуховую, а не зрительную память, т. е. плохо воспроизводит данный объект или факт во всей полноте его линий, формы, освещения и красок, и значит, получает

²⁹² *Larguier des Bancels J.* Op. cit. P.174, 206–208. Судя по опытам Штерна, «неверность» показания, т. е. процент ошибок в нем, возрастает даже довольно равномерно: относительно наблюдаемых им случаев он пришел к заключению, что «неверность» показания увеличивается ежедневно на 0,33 %; ср. «Проблемы психологии». С. 47, 83, 111, 243. Следует иметь в виду, однако, что показание, содержание которого беднеет под влиянием времени, может сохранить то, что в нем более достоверного, и утратить лишь то, что уже в самом начале представлялось более или менее смутно и показание о чем не обладало достоверностью; в таком смысле, пожалуй, можно сказать, что верность показания может даже возрасти, но, разумеется, лишь на время, по прошествии которого и она все же падает; уверенность в верности хотя бы и неверного показания, по-видимому, не находится в столь тесной и прямой зависимости от времени, по крайней мере в тех пределах, какие принимались до сих пор при производстве опытов. Ср. еще *Ranschburg P.* Op. cit. S. 36, 49, 74 ff.

²⁹³ *Ribot Th.* Les maladies de la mémoire. P. 110.

лишь относительно бледный образ действительности, стремится восполнить его при помощи разных суррогатов, в особенности слуховых впечатлений, к которым можно причислить и слова, более или менее тесно ассоциируемые с письменными их обозначениями; но пользуясь слуховыми впечатлениями взамен зрительных, он, конечно, может впасть в новые погрешности. Следовательно, хотя вышеуказанные ошибки памяти у одного и того же лица иногда оказываются ошибками памяти одного рода и могут быть исправлены памятью другого рода, но они часто могут встречаться в зависимости от ошибок то одного, то другого рода памяти и соответственной их замены.

Следует заметить, что показание об историческом факте основано не только на памяти, но на воспоминании: субъект, дающий показание об историческом факте, должен не только знать, что он его испытал где-то и когда-то, но должен помнить ту совокупность представлений, ту обстановку, словом, то конкретное целое, в котором вспоминаемый образ был действительно испытан им, и значит, то положение, которое соответствующий ему конкретный факт занимал в пространстве и во времени, т. е. в данном коэзистенциальном или эволюционном целом. Естественно, что при воспоминании субъект легко может поместить факт, удержанный в памяти, не в то положение, какое он занимал в данном целом.

Все сказанное, конечно, объясняет происхождение тех ошибок, которые делаются и в показаниях об исторических фактах, в особенности при воспоминании о них. Достаточно припомнить, сколь долгий промежуток времени иногда протекает между моментом восприятия исторического факта и показанием о нем, например, при составлении мемуаров и т. п., чтобы придти к заключению, что в них ошибки подобного рода могут очень часто встречаться. Ксенофонт, например, писал свои воспоминания о Сократе много лет спустя после его смерти, что и отразилось на их содержании; автор воспоминаний указывает, между прочим, на такие поводы к беседам, которые относятся к позднейшему времени, когда философа уже не было в живых. В своих мемуарах Меттерних описывает некоторые факты, случившиеся лет за сорок до их составления; обладая довольно слабой памятью, он при описании фактов, даже позднейших, впадает в целый ряд ошибок; ввиду того, однако, что он составлял свои записки в разное время и степень неверности его записей в той мере, в какой она была обусловлена последним, оказывается различной; составитель мемуаров делал более или менее значительное число ошибок в некотором соответствии с тем промежуток, который отделял время, когда факты случились, от времени, когда он записывал их. В записках Меттерниха

можно встретить случаи ошибочного размещения фактов и в пространстве, и во времени; упоминая, например, о своем пребывании в Страсбурге в 1788 г., он рассказывает, что Бонапарт только что оставил город, но известно, что Бонапарт в 1788 г. стоял со своим артиллерийским полком в Оксонне (*Auxonne*), а о пребывании его в Страсбурге, хотя бы и в другое время, более надежных сведений не имеется; повествуя о своем учении в Майнце, законченном в июле 1792 г., Меттерних уверяет, что студенты записывали лекции по республиканскому календарю, очевидно, забывая, что в то время во Франции еще не было ни Республики, ни республиканского календаря, и т. п.²⁹⁴ Свидетель, показывающий о сложном историческом факте, легко может под влиянием вышеуказанных условий также исказить порядок, в каком моменты его следовали во времени, и таким образом, уже придает ложную окраску историческому факту. В одном из наших губернских городов, например, собравшиеся 17 октября 1905 г. в здании земской управы подверглись нападению разъяренной толпы; она подступила к зданию, стала бросать камнями в окна и т. п. При допросе свидетелей разногласия в показаниях касательно последовательности только что указанных фактов не было; ввиду логически необходимой связи между ними каждый из свидетелей утверждал, что сперва толпа подступила к зданию земской управы и затем стала бросать в нее камнями; но в числе фактов, происшедших во время нападения, судьи интересовались еще одним, а именно — выстрелом, сделанным из окна управы; они допрашивали свидетелей о времени, когда выстрел произошел, — до бросания или после бросания камней. Последовательность, в какой эти факты случились, далеко не представляла такой строгой необходимости, какую легко было заметить в предшествующем случае; выстрел мог произойти и до бросания камней, и после бросания камней и нельзя было *a priori*, без ясного и точного воспоминания о случившемся утверждать, что именно случилось раньше, а что позже; вместе с тем утверждение той, а не иной последовательности этих фактов связывалось и с разным толкованием их значения: отвечая на выстрел бросанием камней, толпа оказывалась менее виновной, чем в противном случае. В самом деле, рассказывая о том, что произошло, свидетели впали в разногласие; одни показывали, что выстрел был сделан до бросания камней, другие — что он наступил после бросания кам-

²⁹⁴ *Baillet P.* Die Memoiren Metternich's // *Hist. Zeit.* Bd. 44 (1880). S. 228, 229, 230 и др.; *Fribourg A.* Op. cit. // *Rev. de Syntheshist.* T. XII (1906). P. 274; автор сличил автобиографию, написанную Меттернихом в 1829, 1844 и 1852 гг., с подлинными документами, письмами, реляциями и проч.

ней; такие разноречивые показания, очевидно, получали разное значение и для суждения о степени виновности тех, которые были замешаны в дело. В результате расследования оказалось, однако, что истина лежала посередине: толпа бросала камни и до выстрела, и после выстрела.

Впрочем, при изучении заблуждений памяти и воспоминания следует иметь в виду и те ошибки, которые обнаруживаются под влиянием продуктивного воображения: оно порождает не столько пропуски в том, что дано в действительности, сколько прибавки и способствует ее извращению. Действительно, воображение может односторонне влиять на содержание воспоминания или исказить его точность, открывая широкий простор игре ассоциаций. Свидетель часто запоминает лишь то, что поразило его воображение; вместе с тем он испытывает естественную склонность при помощи воображения заполнить пробелы, образовавшиеся в его представлении о факте, и интерполирует данные своего чувственного восприятия продуктами собственной фантазии, которые он не различает, однако, от действительности, или искажает ее²⁹⁵.

В самом деле, по мере того как воспоминание о событии слабеет, свидетель под влиянием фантазии часто вносит в свое описание придуманные им дополнения, прикрасы, подробности и т. п. Такое обстоятельство чаще всего обнаруживается в том случае, если воспоминание не содержит точных указаний на конкретный факт во всей его полноте; утрачивая многое из испытанного, сам вспоминающий заполняет пробелы в схематическом и обезличенном образе конкретным содержанием, разумеется, придуманным им самим. На картинке с изображением переселяющегося живописца, которая служила для многих опытов над свидетельскими показаниями, например, изображены дроги, на них диван, а на диване «жена живописца», переезжающая со всем своим домашним скарбом. Один из опрошенных свидетелей, очевидно, помнил, что «она сидит на чем-то», но забыл на чем именно; желая восполнить образовавшийся, таким образом, пробел, он в своем показании заявил, что «жена живописца» сидит на «ящике» и т. п. Вместе с тем свидетель принимает иногда одни изображения за другие: летающий мяч — за солнце, кошку — за таксу или даже за голубя, а также увеличивает число воспринятых объектов или сливает

²⁹⁵ *Pick A.* Zur Psychologie der Confabulation; см.: *Neur. Centralblatt*, xxiv Jahrg., 1905. S. 509–516; автор называет конфабуляцией стремление заполнить пробелы памяти поддельными продуктами воспоминания, главным образом, стремление локализовать припоминаемые представления в пространстве.

их; описывая, например, вышеназванную картинку, он говорит о двух лошадях вместо одной или представляет себе, положим, метлу, на которую надета корзина и насажен горшок, вместо метлы с корзиной и палки с горшком.

Историк, разумеется, не может пренебрегать ошибками подобного рода: он постоянно должен иметь в виду те из них, которые возникают под влиянием воображения. Современный ученый, посетивший город Аделаиду, например, в следующих выражениях описывает его: «Я видел у моих ног на равнине, прорезаемой рекой, город в 150 000 жителей, из которых ни один никогда не будет испытывать ни малейшего опасения относительно того, будет ли он есть три раза в день». В действительности, однако, оказывается, что город Аделаида построен на возвышенности, что нет реки, которая протекала бы сквозь город; что численность его населения в те времена едва ли превосходила 75 000 и что значительная его часть тогда именно была накануне голода²⁹⁶.

В некоторых случаях свидетель придает своему показанию особого рода субъективную окраску: он воображает себе, что он принимал более или менее деятельное участие в совершении факта, а не только наблюдал его. В особенно резкой форме такая подстановка обнаруживается у детей; один из исследователей в области экспериментальной детской психологии сообщает, например, сведения о четырехлетней девочке, которая без всякой критики смешивала воспоминание с фантазией и с большою уверенностью приписывала себе все переживания своего старшего шестилетнего брата. Аналогичное явление нетрудно наблюдать и относительно тех, которые преувеличивают свое значение насчет других; нечто подобное можно заметить и в показаниях исторических деятелей, например Гвичиардини или Наполеона I, вызванных, впрочем, и другими мотивами, благодаря которым их записи и получили ложный характер²⁹⁷.

В связи с только что перечисленными «ошибками памяти» или воспоминаниями, возникающими под влиянием воображения, можно указать и на такие, которые проистекают от инстинктивного стремления разума дополнить или объяснить данные опыта. В таких случаях свидетель выдает свое толкование факта за испытанный им действительно бывший факт. Свидетель видит, например, человека, сидящего за столом, но не то, на чем он сидит; и тем не менее в показании своем говорит, что он видел человека, сидящего за столом

²⁹⁶ Fisher N. Modern historians // *Fortnightly Rev.*, N. S. v. 56 (1894). P. 815; речь идет о Froude'e.

²⁹⁷ Stern C. und W. Erinnerung, Aussage und Lüge. Lpz., 1909. S. 103–107.

на стуле; свидетель наблюдает, положим, трех людей, собравшихся вокруг стола и приступающих к обеду, причем один из них в вышеуказанном положении, другой сидит на скамье, а третий собирается занять стул, который стоит спереди у стола; но в своем показании о виденном говорит, что соответственно числу обедающих при столе было три стула. Свидетель замечает собаку и оглядывающуюся даму и превращает эти два ничем не связанных в действительности образа в яркую сцену нападения собаки на даму и т. п.²⁹⁸

Благодаря таким условиям свидетель, сам того не замечая, легко переходит от простого констатирования испытанного им к его объяснению или оценке, что, разумеется, может повести и к дальнейшим ошибкам в его показании. Он смешивает иногда объяснение факта с его описанием; или обобщает частный случай, не имея на то достаточных оснований, и таким образом, упускает из виду его индивидуальное значение; или сообщает иногда то, что должно быть, или то, что обыкновенно делается, а не то, что было в действительности; или подставляя свою одушевленность под данные положения и действия, вместе с тем подвергает их соответствующей оценке и т. п. В последнем случае свидетель нередко обнаруживает инстинктивное стремление объяснить и оценить факт, о котором он показывает; в описании, положим, иллюстрации к известной басне о крестьянине-земледельце и его детях он рассказывает и о чувствах, волновавших их, импульсивно относится к ним с оттенком одобрения или порицания и т. п.²⁹⁹ Само собою разумеется, что случаи подобного рода подстановок встречаются и в исторических источниках, например в записках иностранцев; маркиз Кюстин во время путешествия своего по России, присутствуя при совершении обряда бракосочетания, видел, как в то же время птица влетела в церковь, и обобщив случайный факт, вывел из него то заключение, что в России существует «трогательный обычай» выпускать птиц во время совершения этого обряда.

Впрочем, припоминаемое часто ассоциируется и с тем, а не иным субъективным чувством, которое заслоняет собою описание или объяснение факта, и приводит к более или менее субъективной его оценке. Такие настроения заметны даже в простейших показаниях: те, кото-

²⁹⁸ Stern W. Die Aussage проч. S. 94, 98; «Проблемы психологии». С. 163, 168.

²⁹⁹ Stern W. Wirklichkeitsversuche, ib. S. 28–29. Автор рассказывает, как студенты, знавшие, что нельзя уносить книг из семинарской библиотеки, засвидетельствовали, что один из них при пользовании такой книгой, которую он унес с собою, будто бы положил ее на место. Ср. еще «Проблемы психологии». С. 149.

рые не без ударения говорят, например, о выстроенной в их округе церкви, что она «большая» или «малая», или рассказывая о пожаре, называют его «ужасным» и т. п., уже привнося в свое показание субъективную оценку факта³⁰⁰; пострадавшие от какого-либо несчастного случая часто сводят свои показания о нем к «описанию борьбы личного чувства самосохранения с внезапно надвинувшейся опасностью», забывая упомянуть о многом, чего «несомненно, нельзя было не видеть или не слышать»; потерпевшие от преступления, в особенности те, которые и пострадали от него, «вполне добросовестно склонны преувеличивать обстоятельства или действия, в которых выразилось нарушение их имущественных или личных прав», и значит, часто дают ошибочные показания; самая мысль о том, что могло бы произойти, уже влияет на наиболее впечатлительных из них и на качество сообщаемых ими сведений. Показания пострадавших о народных бедствиях, вроде, например, того извержения Этны, которое описано в Энеиде, или о кровопролитных сражениях, закончившихся, подобно известному сражению при Маренго 14 июля (н. с.) 1800 г., паническим бегством пораженных, часто отличаются таким именно характером.

При изучении генезиса неверных показаний нельзя не принимать во внимание и свойств того объекта, о котором что-либо показывается; невольные ошибки чаще возникают применительно к тем, а не иным даже привычным объектам или фактам. Показания относительно некоторых предметов чувственного восприятия далеко не всегда надежны; выше мне уже приходилось указывать на то, что показания, касающиеся, например, чисел и в особенности красок, заслуживают мало доверия; хотя они преимущественно основаны на данных чувственного восприятия, многие из них, в том числе и показания о признаках данной личности, тем не менее чаще показаний о других объектах страдают ошибками³⁰¹. Само собою разумеется, что показания об объектах, в сущности, построенных на основании принципа

³⁰⁰ *Chladenius J. M.* Op. cit. S. 120, 121.

³⁰¹ *Languier des Bancels J.* Op. cit., ib. P. 224–225, 226–227. Показания количественного характера могут давать преувеличенные или преуменьшенные сведения об объективно данном числе предметов в зависимости от его величины: показания, касающиеся малой протяженности (положим, пространства < 1 метра) и в особенности малой длительности (положим, < 5 минут), обыкновенно выше действительности; показания, касающиеся относительно большой протяженности (например, > 4 метров) и большей длительности (например, > 10 минут), оказываются ниже действительности. Возможно, что аналогичные заключения позволительно было бы сделать и относительно показаний качественно-

признания чужой одушевленности, а не одних только чувственных восприятий, еще чаще оказываются неверными, особенно если они касаются чужих настроений, внутренних побуждений тех, а не иных действий, и т. п.; представляя себе настроение того лица, о котором он показывает, свидетель в сущности дает показание соответственно своему представлению о его одушевленности; он часто невольно вносит в свое показание о субъекте предполагаемый его тон, замалчивает или подчеркивает отдельные его выражения и, таким образом, уже несколько искажает действительность, а иногда подвергает ее и дальнейшим превращениям. В своих мемуарах впечатлительный С.-Симон, например, очень живо представлял себе тех людей, о которых он писал, но нередко в том именно, что его трогало и интересовало; отдаваясь своему влечению ярко изображать воспринятое, он впадал иногда в преувеличения, придавал слишком много рельефа и красок тому, что он описывал; наоборот, упускал из виду многое, что его слишком мало интересовало; представлял иногда некоторые факты в ложном освещении, в особенности факты позднейшего времени, века Вольтера и т. п.³⁰²

В связи с только что указанными соображениями не мешает принимать во внимание и то, дает свидетель показания о повторяющемся или о единичном факте. В обыденной жизни немало предметов и фактов, которые повторяются и которые, казалось бы, можно подвергать целому ряду наблюдений. В таких случаях, однако, повторяемость объекта далеко не всегда соответственно повышает ценность показания. Человек, часто воспринимавший данный объект, перестает живо интересоваться им, и если он показывает о нем после того, как внимание его к данному объекту уже притупилось, он легко отдается склонности показывать о нем по памяти, даже если наблюдает его в действительности, и может допустить много пробелов или впасть в целый ряд ошибок³⁰³. С такой точки зрения, и показания источников о нравах, обычаях страны и т. п. могут вызывать некоторые сомнения. Показания о единичных фактах часто еще менее надежны. Всякому известно по собственному опыту, что при некоторых условиях труднее описать конкретный факт, чем высказать о нем несколько общих за-

го характера, например, о степенях окраски, если бы они поддавались более точному измерению. Ср. выше, с. 528.

³⁰² *Mémoires du duc de Saint-Simon*, I. P. VII–VIII, XVIII–XIX.

³⁰³ *Stern W. Wirklichkeitsversuche*, ib. S. 15; *Friboury A. Nouvelles expériences sur le témoignage* // *Rev. de Synthèse hist.* T. XIV (1907). P. 162–165; автор ссылается на опыты Клапареда, но не дает объяснения неудовлетворительности таких показаний.

мечаний; что запоминание имени собственного требует больших усилий памяти, чем запоминание общего, часто употребляемого термина, и т. п. Такие затруднения, разумеется, возрастают при наблюдении над единичными скоропреходящими фактами: оно требует особой напряженности внимания, притом необычайные факты далеко не всегда хорошо запоминаются в подробностях, так как представления о них труднее ассоциировать с обычными представлениями; описание фактов подобного рода, а тем более целого ряда быстро сменяющихся событий обыкновенно страдает неточностями, в особенности если такие события имеют исторический характер. В своих «мыслях и воспоминаниях», например, Бисмарк не всегда точно воспроизводит даже те факты, быструю смену которых он сам пережил в сравнительно недавнее время³⁰⁴. Показания об исключительных и внезапных фактах, выходящих из ряда обыкновенных, могут страдать ошибками и потому, что они слишком «трогают» свидетелей. Под влиянием, например, чувства ужаса или отвращения, заполнившего их души, присутствующие испытывают некоторую связанность внимания и не всегда удовлетворительно излагают то, что было в действительности. Нечто подобное заметно хотя бы в рассказах очевидцев об известном убийстве купеческого сына Верещагина, происшедшего в Москве в день вступления французов в 1812 г.; «последующий ужас притупил их внимание к предшествующему». Дмитриев, Обрезков, Бестужев-Рюмин и другие различно рассказывают о том, как Ростопчин приказал «рубить» Верещагина, хотя согласно повествуют о последовавшей затем сцене расправы толпы с указанным ей «изменником»³⁰⁵.

Нельзя не заметить, что эти источники невольных ошибок осложняются еще другими, связанными со способами выражения показаний. Пробуя выразить то, что он испытал, свидетель часто затрудняется точно и ясно описать даже сравнительно простой объект своего восприятия и, пользуясь жестами, словами или письменными знаками, имеющими более или менее общее значение для изображения его индивидуальных особенностей, нередко впадает в ошибки; свидетель, кроме того, далеко не всегда вполне владеет речью, заменяет одно слово другим, противоположным ему по смыслу, не всегда умеет высказать то, что он испытал, слишком мало обладает искусством выражать свои мысли; не совсем удачным подбором слов и оборо-

³⁰⁴ *Ulman H.* Kritische Streifzüge in Bismarks Memoiren // *Hist. Vierteljahrschrift*, 1902. S. 73, 76. Ср. о дальнейшей литературе: *Wolf G.* Einführung. S. 392.

³⁰⁵ *Кони А.* Свидетели на суде // *Проблемы психологии*. С. 129–132; ср. в том же сборнике с. 164.

тов речи, метафор и т. п. вызывает в слушателе или читателе ложные впечатления; допускает обмолвки или описки и т. п. Такие ошибки еще более осложняют критику показаний, примеры чего были уже приведены выше при изложении критики поправок исторических текстов. Легко дополнить их ссылками и на другие случаи, возникающие хотя бы при обмолвках или описках, между которыми немало общего. Показывающий может, например, под влиянием предшествующего звукового представления исказить последующее и сообщает, положим: «это было на 7 год (правления) императора Фоки, в 607 году», вместо того чтобы сказать: «в 609 году»; или он смешивает данное словесное представление с другими, ассоциированными с ним, и, желая, положим, выразить, что чешская королевская корона была перенесена в Чехию, заявляет: «sie wurde nach Bro... Böhmen geführt», т. е. вероятно, смешивает три словесных представления: «Böhmen», «Prag» и «Krone» и, таким образом, собираясь начать с «Böh...», ошибочно сочетает звук «В» с звуком «г» (из «Prag») и с звуком «о» (из «Krone»), что и ведет к ошибочному «Bro....» вместо «Böh....», и т. п.³⁰⁶

При изучении образования импульсивно-неверных показаний нельзя не принять во внимание еще одного момента: повторение их иногда обуславливает и более заметное действие вышеуказанных факторов их образования.

В случае повторения показания можно наблюдать, например, явления, связанные с извращением его содержания под влиянием воображения: повторяющий показание обнаруживает склонность к его упрощению или в особенности к его преувеличению. В последовательных своих показаниях о вышеназванной картинке с изображением переселяющегося живописца один и тот же свидетель сообщает, что живописец «идет» (перед дрогами), что он «идет большими шагами» и что он «идет спешными шагами»; в других случаях свидетель при повто-

³⁰⁶ *Meringer R. und Mayer K. Versprechen und Verlesen. Stuttgart, 1895. S. 48, 69, 151, 153.* Авторы указывают и на другие виды ошибок, наблюдаемых при оговорках, но менее останавливаются на описках; о них см. с. 450. Ср. еще *Фрейд З. Op. cit., рус. пер. С. 37–69.* Свидетель может также употреблять в своем показании более или менее привычные и условные выражения своих мыслей, например «круглые цифры» или приветствия в начале письма, уверения в «совершенном уважении и преданности» в его конце и т. п.; при «буквальном» понимании таких выражений, конечно, легко впасть в ошибку, но она совершается скорее толкователем показания, чем самим показывающим; см., например: *Hirzel R. Über Rundzahlen // Berichte über die Verhandl. der Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften. Phil.–Cl. Bd. 73 (1885). S. 3–4, 69–70.*

рении показания удваивает один и тот же предмет или уснащает свой рассказ новыми, придуманными им подробностями; в вышеприведенном примере свидетель, повторяя свое показание о той же картинке, говорит уже не о «воротах», а об «узких воротах», и т. п. При повторении своего показания свидетель часто уклоняется, однако, от вторичного воспроизведения того, что он испытал, и в сущности, ограничивается повторением уже ранее сказанного: припоминая не то, что он испытал при восприятии факта, а то, что он сказал, он даже смешивает его со своим истолкованием. С некоторым трудом вспоминая, например, слова, сказанные или написанные им самим, субъект легко может придать им иное значение; один из новейших исследователей сообщает, например, что свидетель, повторяя свое показание о виденной им картинке с изображением переезжающего на другую квартиру живописца, понял собственное свое выражение, что последний выезжает («zum Thore hinaus») — не в фигуральном, а в буквальном смысле: он заявил, что живописец «проезжает сквозь узкие ворота». Случаи подобного рода могут встречаться и в области исторических показаний; Кларендон, например, показывает о некоторых фактах и в своей истории английской революции, и в автобиографии; но последняя написана лет двадцать спустя после составления истории и вообще гораздо менее достоверна: рассказ хотя бы о парламенте 1640 г., сравнительно краткий в «истории», значительно длиннее в автобиографии и полон ошибок³⁰⁷.

Само собою разумеется, что можно было бы значительно расширить обозрение факторов, влияющих на образование импульсивных показаний, если иметь в виду, что они действуют различно в зависимости от антропологического типа, темперамента и характера лица, которое дает показание, его возраста, пола, социального положения и т. п. Исследователь не может упускать из виду, например, что судя по некоторым опытам, впрочем, едва ли достаточным, женщины, пожалуй, «менее забывают, но больше искажают», чем мужчины; или что они более мужчин преувеличивают промежуток времени, которое кажется им длиннее действительно протекшего, и т. п.; с такой точки зрения, он не без некоторых предосторожностей относится, положим, к мемуарам г-жи Ролан и т. п.³⁰⁸

Итак, свидетельское показание, данное более или менее импульсивно, может оказаться верным или неверным. В обоих случаях воля

³⁰⁷ Firth C. Clarendon's Rebellion // Engl. historical Review, v. XIX (1904). P. 260–262.

³⁰⁸ Stern W. Wirklichkeitsversuche, ib. S. 24, 25. *Ego же*. Die Aussage и проч. S. 131. «Проблемы психологии». С. 118 и 190; ср. с. 249.

свидетеля не имеет, однако, решающего значения для образования самого показания: он высказывает иногда ту правду, которую ему хотелось бы скрыть; и наоборот: он ошибается в том, что ему хотелось бы выразить безошибочно; он делает такие ошибки помимо того, хочет он сказать правду или неправду: и в том, и в другом случае, например, он может впасть в одну из вышеуказанных погрешностей.

Волевое показание свидетеля также возникает, конечно, под влиянием вышеуказанных факторов; но оно характеризуется, главным образом, тесной его зависимостью именно от того, хочет свидетель сказать правду или хочет сказать неправду. В обоих случаях историк исходит, разумеется, из данного показания: рассуждая о том, хотел свидетель сказать правду или не хотел, он, согласно с вышеуказанными принципами, не отождествляет такого суждения с суждением о том, хотел свидетель дать показание или не хотел, и принимает, что свидетель свободно дал показание, но намеревался сказать в нем правду или неправду; с такой же точки зрения, историк, очевидно, не может исходить из предположения, что свидетель воздержался от показания, но может обсуждать, между прочим, и значение отрицательного показания свидетеля, заявляющего, что он не может сказать правду, что он ничего не знает о данном факте, противопоставляет его неправдovому показанию о том же факте и т. п.

Итак, принимая во внимание вышеприведенные соображения о том, что свидетель может знать истину или может не знать истины, легко получить четыре разновидности волевых показаний, имеющих разное познавательное значение:

- свидетель хочет сказать правду, зная истину;
- или он хочет сказать правду, не зная истины;
- или он хочет сказать неправду, зная истину;
- или он хочет сказать неправду, не зная истины³⁰⁹.

³⁰⁹ *Laplace P. Oeuvres*. T. VII. Par., 1886. P. 455; здесь автор делит свидетельские показания на такие, в которых «le témoin ne trompe point et ne se trompe point» и т. д.; ср. *Lacroix S. F. Traité élémentaire du calcul des probabilités*, 4 éd. Brux., 1835. P. 234. Нельзя, однако, принять схему Лапласа—Лакруа без существенных оговорок, сделанных выше, в тексте. Следует относить ее не к свидетельским показаниям вообще, а преимущественно к волевым показаниям, и при историко-критическом разборе их понимать истину в смысле фактического ее значения, в смысле того, что должно быть высказано о данном факте для того, чтобы показание получило такое же значение; да и «незнание» свидетеля приходится принимать условно: ведь если «свидетель» сам действительно ничего не знает о факте из данных собственного восприятия, показание его, собст-

Следовательно, принимая во внимание одни только свободно данные показания и различное их значение в зависимости от знаний и воли свидетеля, можно предложить и соответствующую их группировку. Если свидетель хочет сказать правду, зная истину, показание его правдиво. Если свидетель хочет сказать правду и, не зная истины, впадает в ошибки, показание его ошибочно. Если свидетель хочет сказать неправду, зная истину, т. е. в сущности не хочет сказать правду, показание его ложно. Если, наконец, свидетель хочет сказать неправду, не зная истины в вышеуказанном смысле, т. е. оказывается в сущности мнимым «свидетелем» и, например, выдает придуманный им «факт» за действительно происшедший, показание его лживо.

Во всех этих случаях «истина» понимается так же, как и в предшествующих, т. е. в объективном ее значении; если же придавать ей субъективный смысл, т. е. принимать во внимание «уверенность» самого свидетеля в том, что он знает истину, хотя бы он не знал ее, или что он не знает истины, хотя бы он знал ее, то можно свести такие случаи на разобранные выше импульсивные показания. Если, например, свидетель, не желающий сказать правду, говорит правду, которой сам он, однако, в качестве таковой «не знает», по крайней мере в момент показания, его показание можно, кажется, сблизить с инстинктивно-верным показанием; и наоборот: если свидетель воображает, что он «знает» истину, хотя бы он не знал ее, естественно ставить в связь его показание со случайно ошибочным неверным показанием. Следовательно, в дальнейшем рассмотрении генезиса волевых показаний достаточно иметь в виду понятия знания или незнания истины в объективном ее значении, указанном выше³¹⁰.

В зависимости от предлагаемой группировки волевых показаний историк при изучении их генезиса пытается с генетической точки зрения объяснить правдивость или неправдивость каждого из них; в большинстве случаев он, однако, имеет в виду не столько генезис правдивого, сколько генезис неправдивого, т. е. ошибочного, ложного или лживого показания.

Впрочем, теоретическое различие вышеуказанных разновидностей показаний далеко не покрывает всех их оттенков: одно и то же

венно говоря, нельзя назвать свидетельским; ср. выше, замечания о понятии «свидетель», и ниже.

³¹⁰ См. выше, с. 548 прим. Само собою разумеется, что с этической, а не чисто познавательной точки зрения, достаточно наличия намерения солгать, для того чтобы признать сказанное ложью; с последней точки зрения, и изучение генезиса показаний может получить иное направление.

показание может обнаружить различные свойства и в таком случае причисляется к той, а не другой разновидности лишь по преобладанию одного из них, или признается смешанным и т. п. Тем не менее при изучении генезиса волевых показаний можно различать правдивые показания от неправдивых, т. е. ошибочных, ложных и лживых, и остановиться на рассмотрении приемов исследования генезиса каждой из этих разновидностей в отдельности.

Вообще для того чтобы выяснить генезис правдивого показания, нужно принять во внимание, хотел ли свидетель, знающий истину, сказать правду.

В том случае, если свидетель хочет сказать правду, его показание может возникнуть в зависимости от довольно разнообразных мотивов. Главнейшие из них нельзя не отметить хотя бы в самых общих чертах, так как они влияют на волевое решение свидетеля и соответственно отражаются на общем состоянии его сознания, на его интересе к объекту, на направлении и степени его внимания, памяти и т. п.

В числе мотивов, вызывающих правдивые показания, можно, конечно, прежде всего упомянуть о тех, которые имеют нормативный характер. Свидетель, сознающий ценность истины, добра и красоты, стремится сказать правду или потому, что испытывает к ней чисто теоретический интерес; или потому, что считает себя нравственно обязанным сказать правду; или потому, что ценит правдивость рассказа в качестве условия, нужного для того, чтобы придать ему красоту. В своей истории Фукидид, например, стремился к «отысканию истины», чувствовал на себе нравственную ответственность за произведение, которое он желал сделать «достоянием на веки», а не временной забавой для слушателей, и в сущности, желал достигнуть художественной правды изображения прошлого³¹¹.

Впрочем, и утилитарные соображения также могут вызывать правдивые показания. Автор, пишущий о событиях, близких к нему по месту и времени своего происхождения, иногда не без влияния таких соображений обращается с ними менее произвольно, чем с событиями, более отдаленными от него по месту и времени. Тацит, например, старается по возможности получить больше сведений об изо-

³¹¹ Бузескул В. Введение. С. 51–52, 54–55; Meyer E. Forschungen. Bd. II. S. 362 ff., 379 ff. Хотя Фукидид и употреблял речи, но пользовался ими преимущественно в качестве художественного средства изображения для ознакомления читателей с общими условиями и обстоятельствами, при которых происходило действие, с мотивами действующих лиц и т. п. и отрицательно относился к преувеличениям и прикрасам.

бражаемых им фактах и чаще приводит доказательства в пользу их реконструкции, чем его предшественники; такая обстоятельность, вероятно, объясняется тем, что Тацит писал о людях, сыновья и внуки которых были еще живы, и о событиях, которые еще составляли предмет споров для его современников³¹². Свидетель, которому выгодно дать правдивое показание, конечно, по возможности стремится сказать правду; с такой точки зрения, например, показания, цель которых и состоит в том, чтобы сделать какой-либо факт общеизвестным, положим, официальные сообщения об объявлении войны или о заключении мира, представляют значительную степень правдивости. Личная выгода также может, конечно, порождать правдивые показания. Талейран, например, правдиво рассказывает о той роли, какую он играл на Венском конгрессе, так как благодаря ей он мог представить себя в самом выгодном свете перед королем и роялистами, для которых он писал свои мемуары. В некоторых случаях свидетель, даже склонный ко лжи, дает, однако, правдивое показание потому, что ему невыгодно дать неправдивое показание о «громком» факте, всем известном; например, если он опасается изобличения во лжи, что, впрочем, далеко не всегда достаточно для того, чтобы удержать его от тенденциозного его изображения и примеры чего легко заметить хотя бы в тех же мемуарах Талейрана³¹³.

Впрочем, правдивое показание даже при знании «истины» редко отличается большим богатством содержания; трудно охватить в своем показании все то, что дано в действительности, и чем точнее становится наблюдение, тем уже оказывается поле наблюдения; сознательно скудное показание может быть гораздо более правдивым, чем показание, изобилующее, казалось бы, самыми точными подробностями. Следовательно, правдивое и точное показание обыкновенно содержит лишь фрагментарные данные о его объекте; даже в том случае, если оно правдиво, оно все же бывает в известной мере односторонним, но еще чаще показание бывает не безусловно правдивым.

Правдивость показания, значит, имеет свои степени: свидетель не о всем объекте показывает одинаково правдиво.

Такие колебания вообще зависят от того, что в данном объекте считается более или менее «важным»: экспериментальные исследования обнаружили, что свидетель обыкновенно дает более доброкачественные показания о «важнейших» частях предъявленной ему картины, чем о второстепенных ее элементах, и т. п. Судя по наблюдениям над

³¹² Boissier G. Tacite. P. 69, 79–80; ср. p. 91.

³¹³ Sorel A. Lectures historiques, 2 éd. P. 89, 93–95, 97.

современными детьми школьного возраста, человек больше интересуется «бытием или небытием», чем свойствами или отношениями и т. п.; он обнаруживает гораздо больше интереса к людям и их действиям, чем к вещам, их признакам и соотношениям и т. п.³¹⁴ Свидетель может также придавать разное значение моментам данного факта и преимущественно сосредоточивать свое внимание, например, или на процессе его возникновения, или на конечном его результате: он подробно излагает все в порядке последовательной постепенности или, наоборот, спешит скорее передать «развязку».³¹⁵

Степень правдивости показания находится в зависимости и от многих других, более конкретных условий: состояние свидетеля и свойства того объекта, о котором он показывает, влияют на правдивость его показания.

В самом деле, смотря по свойствам и характеру свидетелей, показания их об одном и том же объекте могут быть весьма различны. Свидетель, обладающий трезвым умом, знанием и умением точно наблюдать и описывать факт, может дать более правдивое показание, чем человек, наделенный сильным воображением или легко поддающийся эмоциональной реакции; астроном, наблюдающий затмение солнца с высоты своей обсерватории при помощи усовершенствованных орудий наблюдения, конечно, дает гораздо более точное показание о нем, чем простой свидетель, повествующий о том же факте; известный стратег сообщает такие сведения о ходе военных действий, каких не может сообщить человек, не располагающий его средствами, и т. п. Следует иметь в виду, однако, что и свидетель, способный ярко вообразить себе или подметить состояние духа или положение, в каком находился тот, о ком он рассказывает, симпатизирующий или даже враждебный ему, может иногда лучше подметить его побуждения и ярче представить его действия; он, значит, может дать более жизненное показание и об историческом факте, в некоторых отношениях отличающееся большею правдивостью³¹⁶.

Впрочем, степень правдивости показания зависит, конечно, и от объективных условий, т. е. от того, каков именно объект показания, в какой мере он доступен чувственному восприятию и т. п. Легче регистрировать рождение или смерть человека, чем изобразить его характер и деятельность; проще констатировать вступление на пре-

³¹⁴ Stern W. Die Aussage etc. S. 82–83, 87, 124–130.

³¹⁵ Konu A. Op. cit. // Проблемы психологии. С. 124.

³¹⁶ Binet A. La description d'un objet // L'Année Psychologique, 3-e année. Par., 1897. P. 299, 318–320.

стол какого-либо правителя или его падение, чем описать государственный переворот, вызвавший его; менее затруднительно рассказать о единоборстве двух героев или рыцарей, чем представить столкновение целых масс, совокупность и комбинацию тех духовных и материальных сил, которые участвовали в сражении, разнообразные их передвижения и т. п. Само собою разумеется, что чем сложнее объект, тем он труднее поддается научному наблюдению: чрезвычайно сложные явления социальной жизни, например, борьба общественных классов или политических партий, в сущности, требует изощренных методов психологического и социологического исследования для того, чтобы надлежащим образом показывать о них.

Степень правдивости показания зависит, конечно, и от многих других свойств субъекта и объекта, но на рассмотрение их было бы слишком долго останавливаться. Достаточно заметить здесь, что историк постоянно стремится выяснить, какие из свидетельских показаний он может признать правдивыми в том смысле, что они высказаны при знании истины: он ценит, например, те показания Геродота, в которых отец истории сознательно заявляет о том, что он сам видел, в отличие от того, что он только слышал; или показания Фукидида, который был сам стратегом и обнаружил свои знания при описании пережитых им битв; или показания Комминя, хорошо знакомого с дипломатическими интригами того времени об итальянских делах; или показания знаменитого полководца Тюрення о тех многочисленных войнах, в которых он участвовал, и т. п. В других случаях историк обращает внимание и на объекты свидетельских показаний: он различно ценит, положим, показания Флодоарда, просто записывавшего изо дня в день точные сведения о Франции, Лотарингии, Германии и папстве; и показания хотя бы Оттона Фрейзингенского о борьбе между папством и императорскою властью, которую он изображает в своем «*liber de duabus civitatibus*».

Волевые показания могут быть даны, однако, и при менее благоприятных условиях: свидетель хочет сказать правду, но может и не знать истины. При изучении таких показаний следует различать два рода случаев: если свидетель хочет сказать правду о факте, относительно которого он ничего не знает, ему, очевидно, приходится воздержаться от показания или заявить самый факт своего незнания; но он может оказаться и в другом положении: желая сказать правду, он может не обладать достаточным знанием истины, в последнем случае показание его может оказаться ошибочным. Если он действительно хочет сказать правду, например, о факте, который он плохо знает, и не в состоянии ясно различить то, что он знает, от того, чего он не знает,

он часто впадает в невольные заблуждения и в своем показании³¹⁷. Свидетель, поверхностно воспринявший какой-либо факт, в особенности мелкий, ничем его не поразивший, и тем не менее показывающий о нем, легко заблуждается. Свидетель, оказавшийся в сравнительно невыгодном положении относительно наблюдаемого факта, также может ошибиться, например, тот, кто не имел возможности надлежащим образом наблюдать факт, происходивший, положим, в тайном заседании какого-либо верховного совета, или тот, кто не располагал достаточно совершенными средствами наблюдения. Свидетель, слишком «заинтересованный» в исходе дела, положим, тот, кто сам участвовал в каком-либо споре или сражении, часто вносит свое субъективное настроение в показание и т. п. Каждый из таких свидетелей легко может и при желании сказать правду, дать ошибочные показания, т. е. показания, страдающие теми невольными ошибками, примеры которых уже были указаны выше.

Впрочем, знание истины может затемняться, помимо невольных ошибок, теми предвзятыми идеями, с точки зрения которых слишком недостаточные или довольно случайные данные чувственного восприятия подвергаются истолкованию; последнее влияет на представление о факте, что и ведет к ошибочному показанию о нем.

Во многих случаях религиозные идеи или предрассудки благоприятствуют образованию ошибочных показаний. Суеверные люди, например, ожидающие «знамения», под влиянием такой идеи представляют себе некоторые факты. В старинной книге «о чудесах Божиих в природе при появлении комет» рассказывается о том, как 11 октября 1527 г. люди видели страшную комету кровавого цвета, на которой они будто бы заметили руку с мечом, готовую поразить врага, а кругом меча много человеческих голов и т. п., причем вслед затем действительно наступило несколько бедствий: турки напали на Европу, а «Бурбон» на Рим, где папе едва удалось удержаться в крепости Святого Ангела и выкупиться за 40 000 дукатов.

Предвзятые идеи более или менее наукообразного свойства также могут ослеплять свидетеля: он охотно описывает факт по об-

³¹⁷ *Cousted E.* La photographie appliquée à l'astronomie // *Rev. Scient.*, 1908. Mars, 7. P. 302 и др.; с такой точки зрения, весьма поучительно, например, сопоставить рисунки туманных пятен, сделанных для научных целей от руки, с их фотографиями; оказывается, что в большинстве случаев такие рисунки не соответствуют фотографическим снимкам, разумеется, гораздо точнее воспроизводящим действительность, и представляют, за исключением разве некоторых спиралевидных форм, более или менее фантастический вид.

щей, заранее готовой схеме и не видит того, что в нем есть, — его индивидуальных особенностей; не всегда достаточно контролируя те ассоциации, которые возникают между ранее известными ему готовыми мыслями и наблюдаемым фактом, или слишком предаваясь ходу собственных своих мыслей и не проверяя их данными своего опыта, он легко может поддаться искушению усмотреть в нем то, чего в нем нет, смешивает субъективное его истолкование с его описанием и т. п.³¹⁸ В старину, не позднее середины XIV в., например, уже говорили о существовании какого-то большого и странного существа, прозванного «*monachus marinus*». Датский летописец Гвитфельд повествует, что в Эрезунде в 1550 г. нашли такого «монаха» с «человеческой головой» и рыбьим хвостом. В тех же водах в 1853 г. действительно поймали громадную каракатицу, по цвету и по очертаниям напоминавшую монаха в монашеской рясе; прежние наблюдатели, видимо, подвели под готовый образ «монаха» несколько отрывочных признаков каракатицы и назвали ее «*monachus marinus*»³¹⁹. Подобные же ошибочные показания можно встретить и в «сказаниях» иностранцев: иностранец часто слишком мало или поверхностно знаком с тем, о чем он свидетельствует, не вполне понимает то, о чем он показывает, и т. п. Образованный Герберштейн, уже с молодых лет любивший наблюдать «обыкновения иноземцев», впал, однако, в ошибки при описании русских обычаев и нравов; впрочем, в некоторых случаях он сам различал описание факта от его толкования. Описывая, например, царское угощение, он замечает, что хлебы, имеющие вид хомута, означают, по его мнению («*mea opinione*»), «жестокое иго и вечное рабство». Но можно указать и на таких путешественников, которые не считают нужным делать оговорки подобного рода; припомним, например, приведенное

³¹⁸ Binet A. Op. cit. // L'année psychologique, 3-e an. P., 1897. P. 302, 309, 313, 315–318, 326–327; автор различает «*le type descripteur*» от «*le type observateur*»; представители последнего уже схватывают «сюжет сцены», а не только предметы, входящие в его состав; см. ib. P. 318–320, 327–328; см. еще «*le type érudit*» — ib. P. 323–324, 328–329. В вышеприведенной статье Кустэ замечает, что астрономы дают своим наблюдениям «*une trop forte part d'interprétation personnelle*», чем и объясняет, например, что «*deux astronomes, installés à tour de rôle devant le même astre, en donnent presque toujours des croquis tout à fait différents*»; см.: Coustet E. Op. cit., ib. P. 229.

³¹⁹ Lehmann A. Aberglaube und Zauberei, deutsch von D-r Petersen. Stuttgart, 1898. S. 351–364.

выше описание обряда бракосочетания, который Кюстин будто бы наблюдал в России³²⁰.

Аналогичные деформации происходят и под влиянием этических идей: свидетель-моралист воспринимает факт не во всех его существенных чертах, а преимущественно в тех, которые производят на него хорошее или дурное впечатление и соответственно показывает о факте, представляя его в более или менее светлом или темном виде. Тацит изображал германцев, вероятно, не без морализирующей точки зрения: он противопоставлял чистоту их домашних нравов римской распущенности, что, разумеется, не осталось без влияния на его показания. Щербатов также противопоставлял «весьма простую жизнь», которую вели наши предки, позднейшей роскоши и повреждению нравов, породивших упадок «духа благородной гордости и твердости в сердцах знатнорожденных россиян», и с такой точки зрения изображал многие факты из ближайшего ему прошлого и т. п.³²¹

Нельзя не заметить также, что свидетель, рассказывающий о факте, часто поддается желанию придать своему рассказу большую эстетическую ценность и стремится, таким образом, произвести большее впечатление на публику, хотя бы он и не испытывал его на самом деле. Тацит соблюдал, например, некоторые из требований ораторского искусства в своих анналах; аббат Сугерий в своей жизни Людовика VI охотно влагает в уста действующих лиц «благородные» слова и в том же духе описывает их позы и действия; Гвиччардини прибегает в своей истории Италии к «речам», содержание которых далеко не всегда правдиво и т. п.³²²

Само собою разумеется, что кроме подобного рода идей, затемняющих знание фактической истины, можно было бы указать и на другие условия, приводящие к такому же результату: свидетель, переживающий более или менее личное сильное настроение — радость или горе, любовь или вражду и т. п., — также далеко не всегда может знать истину и даже при желании сказать правду дает ошибочные показания. В случаях подобного рода свидетель или рассказчик нередко антиципирует идеи, чувства и намерения, испытанные им в позднейшее время, и переносит их на предшествующее. В своих известных мемуарах г-жа Ролан, например, обнаруживает настроение, сложившееся у нее во время ее тюремного заключения: вообще, обладая энергичным ха-

³²⁰ Корелкин И., Григорович И., Новиков И., Герберштейн С. и проч. // Сбор. студ. СПб.-го университета. СПб., 1857. С. 22 и след. Ср. выше, с. 542.

³²¹ Boissier G. Op. cit. P. 41–42; Ку. М. Щербатов. Соч. Т. II. С. 138, 150, 185, 217 и др.

³²² Ranke L. v. Werke. Bd. 34. S. 19–24.

рактором, она твердо решила до последнего вздоха геройски выдержать постигшие ее притеснения; перенося такое настроение в свое прошлое, она впала в некоторый самообман: в своих показаниях о прежней своей жизни она изобразила себя гораздо более активной, чем то видно из ее корреспонденции и было на самом деле³²³.

Во многих случаях, однако, сам свидетель хочет сказать неправду, даже если он знает истину, и при таких условиях дает ложное показание; он интересуется скорее своей оценкой факта, чем простым констатированием его, высказывает более или менее субъективное мнение о нем и т. п.³²⁴; он может, например, поддаться стремлению подвергнуть данные своего восприятия нормативной оценке, но производит ее с лично-субъективной, более или менее тенденциозной точки зрения, или часто дает свое показание под влиянием настроения или аффекта; он нередко воображает, будто бы видит, слышит то именно, что ему хочется видеть, слышать, и включает то, что ему хочется показать в свое показание; он не может не проявить симпатии или антипатии к тому, о чем сообщает, оказывается пристрастным, и т. п.

Таким образом, свидетель часто руководится в своих показаниях и утилитарными соображениями или чисто личным своим интересом, удовлетворение которого далеко не всегда благоприятствует правдивости его показания. Перечислять все в высшей степени разнообразные побуждения подобного рода было бы, конечно, излишне; достаточно лишь заметить, что в зависимости от того, а не иного рода их и показание страдает теми, а не иными недостатками.

Слаборазвитый и малообразованный свидетель, например, легко сносит противоречия и другие погрешности, вкравшиеся в его показание, или примиряется с ними, если только он не чувствует, что личные его интересы затронуты ими.

Апатичный или ленивый свидетель в случае нужды сообщает то, что ему легче всего дается, и охотно признает вероятное за действительное.

Впечатлительный свидетель, поддающийся эмоциональной реакции, припоминает скорее те чувства, которые он испытал от данного факта, чем самый факт, что и придает особого рода субъективную ок-

³²³ *Glagau H.* Die moderne Selbstbiographie als historische Quelle. Marburg, 1903. S. 91, 157, 162.

³²⁴ Ср. о различии между показанием свидетеля, констатирующего факт, и «мнением», которое признается «не относящимся», если лицо, высказывающее его, не вызвано в качестве эксперта, в соч. *Стифена Дж.* Очерк доказательственного права / пер. П. Люблинского. С. LXXXII–LXXXIV, § 48–53; ср. с. 125.

раску его рассказу, часто довольно бедному по своему фактическому содержанию.

Мечтательный свидетель с сильным воображением дает ему волю и в своем показании: он иногда с такой настойчивостью уверяет других в его истине, что, наконец, освоившись с выказываемым, сам верит в истину того, что он говорит, и с «искренней» уверенностью утверждает то, чего не было, или отрицает то, что было в действительности.

Проказливый свидетель может играть ложью и лгать из-за удовольствия лгать или тешиться над заблуждениями других.

Тщеславный свидетель, желающий играть известную роль, может дать ложное показание даже в ущерб своей собственной выгоде.

Малосамостоятельный свидетель, подверженный разного рода предрассудкам или усвоивший те, а не иные национальные или партийные интересы, разумеется, часто придает своему показанию соответствующую тенденцию, сообразуется с интересами того именно круга лиц, который он всего более ценит, или с вкусами той публики, для которой он пишет, хочет нравиться ей, приноравливается к ее страстям и предрассудкам.

Тенденциозный свидетель, чувствующий личную привязанность или вражду, соответственно искажает свое показание.

Бессовестный свидетель, преследующий свои личные выгоды, охотно льстит или злословит в своем показании и т. п.³²⁵

Такие извращения обнаруживаются, конечно, в самых разнообразных формах. Нет возможности, однако, пересмотреть здесь все разновидности подобного рода; достаточно привести несколько примеров, иллюстрирующих некоторые из типов ложных показаний, их мотивировку и их содержание.

Вообще тот, кто не хочет сказать правду, зная истину, очевидно, пренебрегает абсолютной ее ценностью и пользуется своим знанием для достижения какой-либо посторонней ей цели. В отличие от Фукидида, например, не упоминающего о некоторых общеизвестных фактах, так как он не считал возможным приписывать им достаточное историческое значение, такой свидетель часто замалчивает то, что он по совершенно другим побуждениям не желал бы, чтобы знали или помнили то, что невыгодно его партии или ему самому, и т. п. В своих мемуарах Талейран, например, обнаруживает большое умение самым беззастенчивым образом эскамотировать факты: ему невыгодно было при Людовике XVIII рассказывать об Учредительном собрании, в котором он

³²⁵ Binet A. La description d'un objet // L'année psychologique, 3-e an. Par., 1897. P. 320–322, 329; Lailler M. et Vonoven H. Op. cit. P. 34, 60–64, 527.

принимал деятельное участие, об апологии реформ 1789 г. и 10 августа и т. п., и он не упоминает о них; с такой же точки зрения он изображает многих людей и разные события 1789–1814 гг., представляет их значение в заведомо искаженном виде и т. п.³²⁶

Во многих случаях, особенно когда сам свидетель принимал участие в показываемом факте, он легко может перенести свою оценку и на собственное свое «Я»: он порицает или одобряет себя и т. п. В своих «Confessiones», например, Августин резко и довольно искусственно противопоставляет свою духовную жизнь до обращения – своей духовной жизни после обращения в христианство: великий Отец Церкви изображает время «разъединенности» своего «Я», «затерянности» его во «множественном» уже с христианской точки зрения, под влиянием которой он нашел в Боге силу и единство духовного своего существа³²⁷. Впрочем, свидетель, разумеется, чаще готов извинять, чем обвинять себя; в таких случаях он иногда склонен смешивать то, что он сказал или сделал в действительности, с тем, что он, по его мнению, должен был бы сказать или сделать, и с последней точки зрения, сообщает сведения о долженствовавшем быть под видом бывшего в действительности. В своих мемуарах Наполеон I, например, иногда «возводит свои намерения на степень уже совершенных актов»; в автобиографии Меттерних уверяет, что он «никогда не уклонялся от правил вечной справедливости» и т. п.³²⁸ Показывающий может, конечно, обнаружить аналогичное отношение и к событиям, т. е. обвинять или оправдывать людей за те действия, которые породили их. Под 1237 г., например, наш летописец рассказывает о том, как «проклятии безбожнии татарове» поразили великого князя Юрия Всеволодовича при Сити и убили его, а также Василька Константиновича у Шерньского леса. В своей известной «истории завоевания Константинополя», приведшего к основанию Латинской империи, Виллегардуэн с большим искусством старается оправдать предприятие крестоносцев, проходит молчанием факты, не благоприятствующие его тенденции, и придает правдоподобие истины произведению, которое не без основания называют «настоящим романом».

В других случаях побуждение придать своему рассказу большой драматизм также вредно отзывается на правдивости показаний и о лицах, и о событиях. Классические писатели не чуждались такого приема, даже лучшие из них, например Фукидид или Тацит, который, согласно

³²⁶ Sorel A. Lectures historiques, 2 éd. P. 77, 81, 93.

³²⁷ Harnack A. Reden und Aufsätze. Bd. I. S. 55, 63, 77.

³²⁸ Nouv. biogr. générale. T. 37. P. 448 (14) et ss.; Bailieu P. Op. cit., ib. S. 235 и др.

с вкусами своего времени, придавал иногда своим рассказам слишком драматический характер. Позднейшие мемуаристы поддавались такому же искушению. Рассказывая, например, в своих мемуарах об известной сцене, разыгравшейся на приеме Наполеоном I 15 августа 1808 г. дипломатического корпуса, Меттерних драматизирует ее, что видно хотя бы из сравнения позднейшего его описания с его же собственным донесением, составленным по свежей памяти; сдержанный разговор с Меттернихом, в котором Наполеон, по его же словам, возражал, главным образом, лишь против нового набора рекрут в Австрии, превращается в мемуарах в резкую манифестацию Наполеона против Австрии, которая встретила отпор со стороны австрийского посла. На крики Наполеона он будто бы отвечает с иронией, не изменяя тона, и ответ его производит на других впечатление «лекции», данной им Наполеону. Последовавший затем разговор Меттерниха с министром иностранных дел Шампаньи, из которого он выносит впечатление, что Наполеон не имеет в виду объявить войну Австрии, представляется в мемуарах в совсем ином свете. Через несколько часов после сцены, происшедшей на приеме, Шампаньи будто бы отправляется к Меттерниху для того, чтобы от имени императора принести ему своего рода извинение и т. п.³²⁹

В числе побуждений, вредно отзывающихся на правдивости показаний, можно было бы указать, конечно, и на многие другие, более или менее прикладного характера. В том случае, например, если свидетель или автор имеет в виду какую-либо педагогическую цель, он уже не может давать вполне правдивые показания. Составители автобиографий, даже те, которые, подобно Августину или Руссо, известны своей искренностью, не чужды были стремления поучать читателей и соответственно относились к тем фактам, которые могли служить для такой цели.

Само собою разумеется, что церковные или политические соображения также часто вызывали ложные показания. В своей «*Historia Francorum*», например, Григорий Турский, верный сын христианской церкви и достойный представитель епископата, с такой именно точки зрения интересуется многими фактами и изображает их. Он расточает похвалы или ругательства варварским князьям, например Хлодвигу и Хильпериху, смотря по тому, уважали они привилегии церкви или пренебрегали ими³³⁰. Эингарт рассказывает, что Карл Великий

³²⁹ *Boissier G. Tacite. P. 86–88; Bailieu P. Op. cit., ib. S. 245–248.*

³³⁰ *Eicken H. von. Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung. Stuttgart, 1887. S. 651–656.*

(вскоре после нашествия саксов на пограничную Гессенскую область) решил усмирить их путем обращения их в христианскую веру или окончательного их уничтожения; но монах Корвейского монастыря Видукинд в своих саксонских историях (*res gestae*) ставит те же войны в исключительную зависимость от намерения Карла Великого обратить их в христианскую веру, что, разумеется, придает другую окраску и изображению событий³³¹. Парижский буржуа, написавший известный дневник, тайный приверженец бургундской партии и решительный противник арманьяков, явно обнаруживает в нем те чувства симпатии и вражды, которые волновали людей его круга в 1410-х гг. и с такой точки зрения относится к водворению английского владычества, к возвращению Валуа и т. д. Кларендон писал свои записки об английской революции не без желания оправдать Карла I, хотя и критиковал промахи его политики, а потому изображает его отношения к парламенту в ложном свете. В тех бюллетенях, которые Наполеон I представлял нации о действиях французских войск, он часто преувеличивает свои успехи и скрывает свои неудачи, считая такое уклонение от правды одним из лучших средств действовать на общественное мнение; знаменитый 30-й бюллетень великой армии, например, повествует о некоторых ее подвигах под Аустерлицем, где будто бы до 20 000 неприятелей погибло в водах Меницкого и Затчанского прудов; многие бюллетени из России, даже 28-й, посланный уже из Смоленска 30 октября (по ст. с.), представляет, между прочим, сражения при Вязьме и Полоцке над видом блестящих побед, отступление С.-Сира — под видом движения навстречу Виктору, и т. п.³³²

В зависимости от личных побуждений, наконец, показания также нередко получают ложный характер. Исторические деятели склонны, например, из-за славолюбия или тщеславия преувеличивать свое значение и внушать, что они стояли во главе событий. В своей истории Италии Гвиччардини изображает себя главным действующим лицом при защите Реджио, Пармы и Модены, а также во время флорентинского восстания 1527 г., что в настоящее время отвергается критикой. В своих записках Меттерних охотно, хотя и не всегда осно-

³³¹ *Eicken H. v.* Op. cit. S. 657–664. Впрочем, Видукинд гордился своим народом и прославлял его храбрость: он не охотно говорит о войне Карла Великого с саксами и, может быть, сознательно уклонился от упоминания о их уничтожении.

³³² *Molinier A.* Les sources etc. T. v. P. CXLIII–CXLIV; *Firth C.* Clarendons History of the Rebellion // Engl. Hist. Rev. V. XIX (1904). P. 28–29, 38, 249 и др.; *Slovak A.* La bataille d'Austerlitz, documents inédits etc. trad. de Leroy Daragon, 1908; *Богданович М.* Ист. отеч. войны 1812 г. Т. III. С. 305–306.

вательно приписывает себе главную роль в целом ряде случаев. Он утверждает, например, что брак Наполеона I с Марией Луизой совершился благодаря его искусству и должен быть причислен к его заслугам; он совершенно напрасно придает большое значение известной сцене, происшедшей 15 августа 1808 г. на приеме у Наполеона I, во время которого сам Меттерних будто бы играл главнейшую роль, и т. п. Показывающий иногда хочет оправдать себя и обвинить противников. Гинкмар, глава галликанской церкви и аристократической партии, составляя продолжение королевских анналов IX в., стремился защитить собственную свою политику и осудить своих противников. В своих записках Талейран охотно следовал примеру реймского архиепископа. В мемуарах, которые Наполеон I диктовал своим генералам на острове Святой Елены, он пытался, не щадя ни врагов, ни даже друзей, оправдать свое личное поведение и свою политику. Г-жа де Сталь из вражды к Наполеону старалась превозносить всех его противников; и наоборот: Биньоне, преклонявшийся перед Наполеоном, отрицательно относился к ним. Личная выгода также подсказывает самые разнообразные формы ложных показаний. В своих мемуарах Талейран, например, хотел оправдать себя перед Людовиком XVIII и партией роялистов, выставить себя как самого ловкого и самого полезного из слуг монархии и убедить в том и самого короля, и его приверженцев. С такой точки зрения, Талейран и дает тенденциозное изображение эпохи революции и империи, в течение которых он будто бы все свое искусство направлял лишь к тому, чтобы давать советы, которым, однако, не следовали, и исправлять ошибки, которых он не делал. Ввиду того круга читателей, для которых он пишет, Талейран стремится придать людям и событиям то значение, какое ему желательно: он устраняет то, что ему хочется, чтобы забыли, и подчеркивает то, что ему хочется, чтобы помнили; без зазрения совести замалчивает то, что он желал бы искоренить из памяти, и нагло утверждает то, к чему он желал бы внушить доверие; он низводит великих деятелей на уровень салонных актеров и принижает значение великих событий; он льстит людской злобе своим злословием, любопытству — своими анекдотами, тщеславию — своими осуждениями. Талейран выставляет также свой талант рассказчика, свое умение соблюдать оттенки, «ловко дает понять, что в его лице говорит глубокий политик и из-за будуарной обстановки открывает широкие политические горизонты». Такие свойства Талейран обнаруживает, например, в своих рассказах о Шуазеле или об эпизоде в Эрфурте³³³.

³³³ *Ranke L. vor. Werke. Bd. 34. S. 33–36, 45–49; Serel A. Lectures historiques, 2 éd. P. 111–112.*

При ближайшем рассмотрении ложных показаний легко заметить, что не все они имеют одинаковое значение; в таких случаях свидетель, желающий сказать неправду, или изменяет истину, т. е. убавляет из того или прибавляет к тому, что он испытал, или подменяет истину, которую он знает, ложными сведениями³³⁴.

В ложном показании, изменяющем истину, можно усмотреть некоторую долю ее; но нелегко выделить ее из того, что свидетель намеренно убавил или прибавил, ослабил или усилил в своем показании. Один из средневековых писателей, например, уже различал рассказ «*in quo certum est non deesse delictum*» от рассказа, в котором «*adulationis studio rerum gestarum articulis involvunt impudenter mendacia*»³³⁵. Такие изменения легче подметить в целом комплексе показаний, например в житиях святых или героев, авторы которых (полагая, что они сами выступают в роли свидетелей) часто замалчивают то, что может повредить славе изображаемых ими лиц, и наоборот, преувеличивают то, что может содействовать ей. Впрочем, указанные виды изменений встречаются и порознь в разных источниках. Можно, например, преднамеренно допускать пробелы в изображении фактов и, следовательно, «скрывать» истину. Такие пробелы часто встречаются в официальных рассказах, бюллетенях, депешах и сборниках вроде «синих» и других книг; между тем при таких условиях самый подбор фактов уже проводится с тенденциозной точки зрения; относительное значение их, т. е. соотношение их, представляется в произвольно измененном виде; это мешает правильной их оценке, она становится односторонней³³⁶. Можно также преднамеренно прибавлять кое-что в изображении фактов. Такие прибавления, разумеется, гораздо более пробелов сообщают показанию или целой их совокупно-

³³⁴ Такое широкое понимание термина «ложное показание» может вызвать возражения; уже Августин писал: «*Non est ergo mendacium cum silendo absconditur verum, sed cum loquendo promitur falsum*»; *Augustinus A. Lib. contra mendacium*; у Migne. P. L. T. 40. P. 533. C. 23. А если свидетель хочет сказать неправду, для чего и замалчивает правду, он в сущности уже дает ложное показание, по крайней мере в том смысле, что он произвольно изменяет соотношение оставшихся в нем элементов. Ср. *Duprat G. L. Le mensonge. Par., 1909. P. 23, 25.*

³³⁵ *Schulz M. Op. cit. S. 58*; речь идет о Вильгельме Тирском, известном историке крестовых походов.

³³⁶ *Ulmann H. Über den Wert diplomatischer Depeschen als in schichtquellen. Lpz., 1874. S. 4 и др.* Официальные издания, известные под названием «синих», «красных», «желтых», «зеленых», «белых» книг и т. п., также отличаются пробелами подобного рода; ср. *Einführung G. W. S. 729–731.*

сти характер ложного источника, а при значительности их дают основание сближать его и с лживым источником. После переправы через Березину и по прибытии в Варшаву Наполеон говорил, например, в известном разговоре с прибывшими к нему польскими министрами и де Прадтом, что у него осталось 120 000 солдат, что он постоянно разбивал русских и т. п.³³⁷

В ложном показании, подменяющем истину, трудно, однако, разыскать ее элементы: свидетель, знающий истину, намеренно выдает в нем свою фантазию за действительно бывший факт. Следовательно, такое ложное показание уже близко подходит по своему содержанию к тому лживому показанию, которое дается не знающим истину; но оно все же отличается от последнего тем, что свидетель — не мнимый и что он в качестве знающего истину может воспользоваться и обыкновенно пользуется некоторыми из ее элементов, включив их в свое ложное показание, или случайно проявляет знание их, что и может придавать его показанию кое-какое положительно-познавательное значение.

Впрочем, при изучении ложных показаний, в которых истина подменяется, можно различать такие, в которых свидетель ограничивается простым отрицанием истины, от таких, в которых он выдает свою фантазию за истину. В известном показании апостола Петра, который «отрекся с клятвой», что он «не знает» Иисуса Галилеянина, можно признать простое отрицание истины³³⁸. В других показаниях, напротив, легко усмотреть гораздо более сложный акт сознательной подмены истины. Дипломатия старого времени, например, прибегала к такого рода приемам. Правительства XVI в. снабжали своих посланников двоякого рода инструкциями: предназначенными для собственного своего употребления и составленными для предъявления иностранной державе; сами дипломаты иногда оказывались на содержании иноземных правительств и, значит, сообразовывались с их интересами при составлении своих донесений или нарочно извращали их, в тех случаях когда знали, что их бумаги попадут в чужие руки, и т. п. В своих депе-

³³⁷ Любович Н. Наполеон в Варшаве в 1812 году. Варшава, 1912. С. 11. Ср. еще Fournier A. Napoleon I. Bd. III. S. 100–102; Богданович М. История царствования Александра I. Т. III. С. 366.

³³⁸ В казуистической иезуитской «морали» отрицание истины, благодаря *«reservatio mentalis»*, или «доктрине экивоков», признается дозволенным средством. Саншец писал: «Можно клясться, что не сделано того, что было сделано в действительности, если втихомолку подразумевать, что оно не сделано в известный день или до времени своего рождения», ничем, однако, не проявляя такого ограничения мысли и т. п.

шах графу Сольмсу Фридрих II имел в виду, например, не столько своего посланника, сколько русское правительство, по поручению которого они подвергались перлюстрации. В военное время такие сообщения, разумеется, часто оказываются обманчивыми. В 1812 г., например, Кутузов нарочно подсылал к французам курьеров с донесением к государю «о бедственном положении армии, об упадке духа войск и общем желании мира, составляющего будто бы единственное средство к спасению империи». В одном из своих писем от 26 мая (по н. с.) из Дрездена Наполеон писал брату своему Иерониму: «Распустите слух, что вы намерены присоединиться с 100 000-м войском к австрийцам, хотя на самом деле движение ваше будет обратным, о чем я сообщаю только вам и желаю, чтобы вы сохраняли это в строжайшей тайне, ничего не передавая об этом даже начальнику военного штаба» и т. п.³³⁹

В последнем случае легко обнаружить и ту зависимость, в какой ложное показание все же может находиться от знания истины; в вышеприведенном письме Наполеон давал и велел распространять показание, в котором он хотел сказать неправду, зная истину; он высказал в нем как раз обратное тому, что сам он считал истинным; он требовал, чтобы брат его распространял слух, что его войска двигаются в направлении, противоположном тому, в каком они должны были двигаться.

Впрочем, ложные показания получают иногда и более злонамеренный характер, благодаря которому их легко сблизить с клеветой. В своих мемуарах Барер уверяет, что Робеспьер предложил предать Марию Антуанетту суду, но Бонапарт категорически заявляет, что Робеспьер противился преданию ее суду, а «Монитор» подробно описывает, как 1 августа 1793 г. один оратор, депутат комитета общественного спасения, обратился к конвенту с речью, в которой он требовал суда над «австрийскою женщиной». Между тем сам Барер был этим депутатом; он, конечно, не мог забыть о своей инициативе в одном из первых и притом самых громких кровавых дел, в которых ему приходилось участвовать, и, надо думать, дал ложное показание, впрочем, не единственное в его мемуарах; он оклеветал Робеспьера³⁴⁰.

Ввиду соображений, приведенных выше, нельзя, однако, смешивать лживое показание с ложным: тот, кто дает лживое показание, хочет сказать неправду, не зная истины; значит, он уже лжет в том отношении, что выдает себя за свидетеля того факта, которого он не знает,

³³⁹ *Ulmann H.* Op. cit. S. 4, 7–8, 10; *Богданович М.* Op. cit. Т. III. С. 364, 366; ср. *ib.*, прим. С. 48.

³⁴⁰ *Macaulay Th.* Biographical essays. Tauch. ed. P. 195–198; ср. там же. P. 198–199.

т. е. не испытал в собственном своем чувственном восприятии; он лжет, сверх того, произвольно выдавая продукт своей фантазии за фактическую истину, т. е. за факт, будто бы происходивший в действительности. Добровольные или подставные лжесвидетели часто дают лживые показания; в американских, да и других газетах печатаются иногда сенсационные известия, придуманные репортерами, и даже будто бы подтверждаемые почтенными людьми, самое существование которых оказывается, однако, тоже фиктивным и т. п.³⁴¹ История Карла Великого и Роланда, приписываемая Тюрпену, архиепископу Реймскому, теперь признается произведением «невежественного подделывателя»; она, действительно, содержит явные выдумки, выдаваемые, однако, за факты, хотя бы, например, известный рассказ о том, как Карл Великий созвал собор в Компостелле и повелел в знак любви к св. Иакову, чтобы все духовные и светские власти, прелаты и короли христианские, настоящие и будущие, повиновались в Испании и Галиции епископу того города, в котором покоились мощи св. Иакова. Такая выдумка, очевидно, была сочинена для возвеличения епископской кафедры в Компостелле³⁴². В поддельных источниках можно также встретить лживые показания. «Агиографический роман», написанный Гильдуином о св. Дени Парижском, в настоящее время признается фальсификацией и содержит немало совершенно пустых показаний; «*Liber de compositione castri Ambaziae*», прославляющий генеалогию дома Амбуаз, оказывается «легендой»; мемуары кардинала Дюбуа, сочиненные библиофилом Жакобом, а также записки г-жи Аврильон, главной камеристки императрицы Жозефины, придуманные и написанные Виллмаре, содержат немало таких же лживых показаний, разумеется, не имеющих никакого фактического значения, и т. п.³⁴³

В действительности, однако, одно и то же показание может оказаться частью ложным, частью лживым; оба момента часто переплетаются в одном и том же источнике, например в псевдоэпиграфе, при

³⁴¹ Проблемы психологии. С. 141–142, 144. Лжесвидетели могут, конечно, сообщать и чужие показания (т. е. известия) под видом своих собственных «свидетельских» показаний, не входя в рассмотрение достоверности или недостоверности таких известий.

³⁴² *Dozy R. Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne*. Т. II, 2 éd. Leyde, 1881. P. 372, 407–408.

³⁴³ *Thierry A. Op. cit.* P. 196, 254 et ss. Ввиду тесной связи, какая оказывается между лживым показанием и подделкой, мотивы его образования и его значение уже были разобраны выше, в учении о подделке исторических источников; см. с. 464–480.

подмене на статуе какого-либо фараона прежней надписи новой, при подделке источника и т. п.

Итак, можно придти к заключению, что даже «психически нормальный» субъект часто дает показания, на которые нельзя положиться; но далеко не всегда легко выяснить, был ли свидетель в таком именно состоянии, когда он давал свое показание, и соответственно отличить нормальное показание от ненормального.

В том случае, если свидетель обладает единством и целостью сознания, хотя бы оно и страдало неполнотой его содержания, он все еще может быть назван «нормальным» в психическом смысле; но болезненные отклонения от нормального организма и его отправления, т. е. органические заболевания, могут вредно отражаться и на полноте его показаний. Если свидетель дает, например, показание в зависимости от патологического состояния стоящих в известном отношении к центральной нервной системе органов чувств, положим в зависимости от болезни органов зрения или слуха, осязания или речи и т. п., он, конечно, впадает в ошибку. Слепой свидетель, подобно Саундерсону, например, может давать точные показания о внутренних своих переживаниях и даже о предметах внешнего мира, преимущественно основываясь на тактильных восприятиях; но если он станет рассуждать о цветах, показания его не могут быть надежными; тот, кто страдает цветовой слепотою, например слепотою к красному, и не отличается наблюдательностью Дальтона, еще легче может дать ошибочное показание о соответствующей окраске предмета, сам не подозревая о сделанной им ошибке, и т. п.³⁴⁴

Аналогичное замечание можно, пожалуй, сделать и относительно тех субъектов, которые хотя и признаются психически ненормальными, но не страдают общим или постоянным расстройством сознания; ведь и душевнобольной субъект может давать верные показания в той мере, в какой его психические функции, обуславливающие показание в момент его образования и высказывания, еще не затронуты болезнью. Душевнобольные, вышедшие из состояния, называемого «*stupor*», например, с поразительной точностью воспроизводят если не все события, происходившие вокруг них в период болезни, то по крайней мере, некоторые из них; меланхолики «из категории не слишком тяжелых» также дают «самые объективные, точные, вполне достоверные показания» о некоторых простых явлениях, не касающихся сферы их нервно-психического расстройства; то же, разумеется, и с тем большим основанием позволительно сказать о людях,

³⁴⁴ *Diderot D. Oeuvres. T. I. Par., 1875. P. 302, 306.*

подверженных галлюцинациям, и т. п., если только можно установить факт, что психические их функции в момент восприятия и показывания о воспринятом не находились под влиянием болезни³⁴⁵. Жанна д'Арк, историю которой пытались рассматривать и с психиатрической точки зрения, например, давала на известном процессе довольно толковые показания о своей домашней жизни в Домреми о том, как она отличалась умением прясть и шить и т. п.; она сообщала также и другие сведения, которые совпадают с рассказами очевидцев. Ввиду того, однако, что далеко не всегда можно точно установить, в каком именно состоянии такой субъект находится, трудно пользоваться и его показаниями; Жанна д'Арк часто продолжала говорить и действовать под влиянием «голосов», испытывала галлюцинации, преследовавшие ее в Руанском замке, утверждала на суде, что она целовалась со св. Екатериной и св. Маргаритой, и т. п.³⁴⁶

Во всяком случае, если душевнобольной свидетель уже утратил единство и целостность сознания, т. е. страдает более или менее общим его расстройством, его показания в той мере, в какой они даны в зависимости от тех его психических функций, которые уже поражены болезнью, конечно, представляются ненормальными. Под влиянием той или другой душевной болезни такие функции действительно нарушаются; память, например, утрачивается («беспамятство») или заметно ослабевает, что, впрочем, бывает и без собственно душевного расстройства, хотя бы при «*amnesia senilis*»; внимание болезненно сосредоточивается на каком-либо «навязчивом» представлении или рассеивается; эмоциональный тон чрезмерно понижается или повышается; воображение оказывается слишком подвижным и подсказывает иногда больному самые ужасные события, в которых он будто бы принимал деятельное участие; продукты расстроенного воображения смешиваются с действительностью; мысли становятся бессвязными; воля сменяется абულიей, ослабляется или разлагается, уступает место своего рода автоматизму или слишком поддается чужому влиянию, и т. п.³⁴⁷ В области исторических разысканий, конечно, лишь в редких случаях приходится иметь дело с показаниями безумцев, маньяков, слабоумных и т. п.; но не всегда позволительно пренебрегать показаниями меланхоликов, ис-

³⁴⁵ Крамер А. Влияние душевных болезней и смежных с ними состояний на качество свидетельских показаний // Проблемы психологии. С. 179, 183, 188, 193, 194, 196; ср. Ribot Th. Les maladies, de la volonté, 27 éd. P. 50.

³⁴⁶ Wallon H. Jeanne D'Arc. Par., 1877. P. 238, 271 и др.; Якобий П. Иоанна Дарк // Вест. Евр. 1909, июнь. С. 479 и след.

³⁴⁷ Ср. выше, с. 535, 537, прим.

пытывающих угнетение в сфере чувств, или лиц, страдающих маниакальной экзальтацией преимущественно в той же сфере; нельзя упускать из виду и показания тех, которые находятся на границе психической болезни, например истерических субъектов, отличающихся чрезмерным преобладанием эмоций и столь подвергнутых мимолетным импульсам хотя бы при изучении того неистовства с демономаническим бредом, которое играло некоторую роль в истерических эпидемиях, распространявшихся в Средние века. Сюда же можно отнести, по крайней мере в известной степени, и те бредовые идеи и навязчивые представления, под влиянием которых свидетель дает более или менее ошибочное показание, — под давлением таких представлений он более или менее чуждается восприятий внешнего мира или обнаруживает болезненное внимание к каким-либо сторонам предмета, даже его уродливостям и т. п. и пропускает остальное, или вносит свои настроения в наблюдаемые факты, или искажает действительность и т. п. В автобиографии св. Тереза, например, подробно описывает те состояния экстаза, которые она переживала, когда душа ее «искала Бога», и рассказывает, как в то же время она испытывала сильное ослабление чувственных восприятий, как при виде букв она все же не могла «ни различить, ни соединить их», как, слыша голос, она не была в состоянии разобрать отдельные слова, и т. п. Следовательно, трудно полагаться на показания таких лиц, если они касаются не одной только их собственной душевной жизни. Сведенборг, например, полагал, что он написал основное свое сочинение («Arcana Coelestia», 1749–1756 гг.) при непрерывном внушении свыше; в приложенных к нему «Memorabilia» он сообщает, что в то время его «внутренний человек находился в средних небесах, в сердечной области Господа, в левом желудочке...»; а в несколько позднейшем произведении «de ultimo iudicio...» он утверждает, что в духовном мире Страшный суд уже совершился в 1757 г., и описывает его как «допущенный Богом свидетель»³⁴⁸.

В числе источников ошибок, чаще возникающих у душевнобольных, чем у «здоровых» субъектов, можно отметить и обманы чувств, под влиянием которых они относят свои ошибочные или мнимые восприятия к внешнему миру и соответственно дают неверные показания. Галлюцинации представляются явлениями далеко не исключительными: количество галлюцинаций, приходящееся средним числом на каждого, довольно значительно; статистика галлюцинаций, прове-

³⁴⁸ Проблемы психологии. С. 128–129; Ribot T. Les maladies de la volonté. P. 129–135; Соловьев В. Сведенборг // Энци. слов. Ф. Брокгауза и Евфрона. Т. XXIX. С. 76, 77 и 79.

денная одним американским ученым, показала, что средним числом по крайней мере один из десяти опрошенных им людей в своей жизни когда-нибудь пережил галлюцинацию; иллюзии, разумеется еще менее редки³⁴⁹. Агиографическая литература содержит немало примеров подобного рода; можно думать, что обращение Савла на пути к Дамаску сопровождалось такими состояниями сознания; что видение св. Антония — случай зрительной галлюцинации; что голос, укорявший св. Иеронима, — случай слуховой галлюцинации и т. п. Лютер и другие исторические и неисторические личности также испытывали на себе обманы чувств, преимущественно зрительные и слуховые галлюцинации или иллюзии и соответственно давали показания, важные для характеристики их душевных состояний, но не объектов внешнего мира³⁵⁰. Большинство людей способно также поддаваться внушению, а способность давать показания под его влиянием приводит иногда к самым грубым заблуждениям даже в таких показаниях, которые, казалось бы, основаны на непосредственном чувственном восприятии показывающего; он с большою уверенностью может давать ошибочные показания, изобилующие реальными подробностями; под влиянием самовнушения, например, человек может испытывать на себе указанное выше влияние навязчивых идей; он также легко может внушить себе, что то, что могло быть, должно было быть и, «значит», было в действительности, и т. п. Исторические деятели, например, склонны поддаваться мысли, что все, что они предвидели, случилось в действительности. Меттерних уже в 1798 г. писал жене из Раштатта; «tout ce que je prévoyais arrive» и в своих мемуарах под влиянием такой мысли часто дает показания, не соответствующие действительности. Впрочем, свидетельства подобного рода легко переходят в волевые ложные показания³⁵¹.

³⁴⁹ *James W.* The principles of psychology, v. II. P. 117; *Sully J.* Les illusions des sens et de l'esprit, 2 éd. P. 2–3. Впрочем, ошибочным в иллюзии оказывается не то, что непосредственно дано, а то, что из него выводится; ср. *James W.* Op. cit. V. II. P. 86. См. еще замечания о помешанных, эпилептиках и страдающих истерией в *Duprat G.-L.* Le Mensonge. Par., 1909. P. 34–46 и др.; дегенераты бывают иногда «болезненно правдивыми», а иногда и «неисправимыми лжецами»; см. *ib.* P. 47–51. О различии понятия длительности у больных см. в *Ranschburg P.* Op. cit. S. 42.

³⁵⁰ *Renan E.* Les apôtres. Par., 1866. P. 175–183. Mémoires de Luther, écrits par lui meme, traduits et mis en ordre par J. Michelet. T. II. Brux., 1840. P. 156–183; о сравнительном преобладании галлюцинаций того, а не иного рода у субъекта в болезненном состоянии см.: *Sully J.* Les illusions etc. P. 86.

³⁵¹ *Bailieu P.* Op. cit. // Hist. Zeit. Bd. 44 (1889). S. 232 ff.; о показаниях, возникающих под влиянием чужого внушения, см. ниже.

Само собою разумеется, что субъект, находящийся в ненормальном состоянии, дает ошибочные показания под влиянием таких объективных условий, которые могут не оказывать вредного действия на нормального свидетеля; в зависимости от того, а не иного объекта он может испытывать приступы того ненормального состояния, которое, между прочим, отзывается и на характере его показаний. Некоторые зрительные и слуховые иллюзии, например, находятся в довольно заметной зависимости от «окружающей обстановки», от какого-либо «исключительного обстоятельства» и т. п. Лютер следующим образом рассказывает о проделках Сатаны, которые он испытал в Вартбурге: «Я был далеко от мира в комнате, куда никто не мог проникнуть, кроме двух благородных юношей, которые два раза в день приносили мне пищу и питье. Однажды они купили мне мешок с орехами, который я спрятал в ящик. Вечером, когда я перешел в другую комнату, потушил свет и лег, мне показалось, что орехи приходят в движение, сильно постукивают друг о друга и звонко ударяются о постель...»³⁵².

Вышеуказанные болезненные отклонения от нормы могут осложняться еще и такими же расстройствами в способности высказывания показаний. Душевнобольной, хорошо воспринявший и даже запомнивший данный объект, может оказаться, однако, под влиянием болезни не в состоянии воспроизвести в своем показании испытанное им событие: он не может вымолвить ни слова или страдает одним из расстройств речи, например парафазией или аграфией, менее всего передает то, что было в действительности, совершенно произвольно описывает или изображает пережитое им впечатление и т. п. Такие болезненные отклонения от нормальной способности репродукции в особенности обнаруживаются у истеричных³⁵³. Хотя историку редко приходится иметь дело со столь извращенными показаниями, но он все же должен обращать внимание на некоторые их особенности хотя бы при изучении той глоссолалии, которая появлялась среди некоторых религиозных сект, например в той общине «конвульсионистов», которая образовалась в Кюнгейме, подле Кольмара не позднее 1844 г.³⁵⁴.

Впрочем, следует обращать внимание и на другие, более специфические факторы, играющие известную роль в образовании ненормальных показаний: на антропологический тип свидетеля, на его тем-

³⁵² *Sully J.* Les illusions etc. P. 52–67, 83; *Mémoires de Luther.* T. I. P. 97–98.

³⁵³ *Крамер А.* Op. cit., ib. С. 177, 190–192; *Wundt W.* *Volkerpsychologie.* Bd. I, 1. S. 501–508; *Meringer R. und Mayer K.* Op. cit. S. 121 ff.

³⁵⁴ *Teste A.* *Le magnétisme animal expliqué.* Par., 1845. P. 54–55.

перамент и характер, на его возраст, пол и т. п. Легко заметить, например, что женщины более подвержены истерии, чем мужчины, что соответственно должно отражаться и на их показаниях. Врачи указывают на то, что первое видение Иоанны д'Арк произошло в период полового созревания в одиночестве, в минуту религиозной экзальтации, после поста и т. п.

Предлагаемая группировка свидетельских показаний представляет, конечно, лишь довольно грубую схему и не дает понятия о постепенных переходах от одной разновидности к другой или о тех весьма разнообразных оттенках, которые могут встречаться в одном и том же показании; показание не всегда может быть безусловно нормальным или ненормальным; оно редко оказывается безусловно надежным, верным и правдивым или безусловно ненадежным, неверным и неправдивым; но при помощи таких категорий легче разобраться и в той смеси разнородных элементов, которую данное показание иногда представляет, даже в том случае, если нельзя отнести его без оговорок к одной из основных групп, а значит, легче судить и о том, почему оно достоверно или недостоверно.

Впрочем, генезис показания выясняется не только в связи с общими свойствами человеческой природы, но и в зависимости от условий той именно культуры, среди которой оно возникло, на что уже было указано выше, при рассмотрении типизирующего метода интерпретации исторических источников. Благодаря данной культуре свидетель может, например, обладать большей или меньшей образованностью или располагать более или менее совершенными средствами для наблюдения или для закрепления своего показания, что, конечно, отражается и на его содержании; он может избрать ту, а не иную форму для своих показаний; но избирая, положим, литературную форму, более или менее принятую в данном обществе, он уже ставит содержание своих показаний в некоторую зависимость от нее: общая, положим, факты из жизни Генриха IV в биографии, предназначенный для друзей покойного императора, он изображает их иначе, чем в летописи, и т. п.

Генезис показания находится в зависимости от условий данного места, т. е. от того, где именно свидетель или автор показания находился или какое именно положение он занимал в обществе, и в зависимости от таких условий становится более или менее достоверным или недостоверным. Юлий Цезарь, например, знал лишь пограничные германские племена, что не осталось без влияния на его известия о германцах. Адемар, один из лучших представителей той культуры, которая водворилась в ангулемских и лиможских монастырях

феодалного времени, дает в своей хронике много точных показаний относительно Аквитании; но говоря о том, что происходило на севере от Луары, он часто допускает крупнейшие промахи относительно действующих лиц и событий, и т. п.

Вместе с тем генезис показания находится в зависимости и от условий времени, когда оно возникло. В древности, например, свидетель вообще мог относиться более легкомысленно к своему показанию хотя бы потому, что менее теперешнего чувствовал себя ответственным за него. Гекатей хотя и считал правдоподобное критерием исторической истины, но выводил свой род в 15-м колене от божества. В Средние века довольно поверхностно относились к самым элементарным требованиям исторической критики. Даже Оттон Фрейзингенский, лично способствовавший появлению известного австрийского привилея от 17 сентября 1156 г., счел возможным передать его в труде о славных подвигах своего героя — императора Фридриха I по памяти, не справившись с подлинником, и допустил в его переделе целый ряд неточностей; но в позднейшее время, при более высоком уровне научных требований такое отношение к фактической истине со стороны образованного историка противоречило бы самым общепринятым правилам исторической критики. Само собою разумеется, что при относительно малом развитии общества свидетель находится в условиях, благоприятствующих его легкомыслию или тенденции; он гораздо более может рассчитывать на доверчивое отношение общества к сообщаемым им известиям, а в противном случае не боится оглашения своего показания через посредство печати, его критики, общественного мнения о нем и т. п. В позднейшее время с изменением таких условий и отношение свидетеля к своим показаниям начинает меняться.

Вообще национальные, племенные и бытовые особенности свидетеля играют существенную роль и в образовании его показаний. Язык той среды, к которой он принадлежит, его культура, в частности городские или сельские условия его жизни, его социальное положение и даже его обычные занятия, в отношении к которым он иногда особенно интересуется некоторыми подробностями происходившего, конечно, влияют на характер его показаний. Соответственно с данной культурой свидетель или автор преимущественно приписывает значение тому, а не иному роду фактов, стоящих внимания и сообщения, что придает его рассказу односторонний или тенденциозный характер. Тацит, например, занимаясь составлением своей «Германии», все же оставался римлянином времен империи, оценивал чужую народность и ее нравы с точки зрения римской культуры и писал свое сочинение для своих же соотечественников — римлян; яркий ка-

толик Карл IX ложно хвастался тем, что он будто бы подготовил Варфоломееву ночь; Магдебургские центурии, составление которых было предпринято под руководством Матфея Флациуса протестантскими учеными, резко расходятся в своей оценке папства с церковными анналами, писанными Цезарем Баронием в защиту католицизма; С.-Симон в своих мемуарах является противником абсолютизма Людовика XIV и убежденным аристократом, порицающим планы короля оставить престол своим незаконным сыновьям, пользуется покровительством регента герцога Орлеанского и т. д.; под влиянием интересов, соответственных тому социальному кругу, к которому он принадлежал, автор дает иногда довольно ложные показания о придворной жизни при Людовике XIV и т. п.³⁵⁵

При изучении генезиса показания нельзя, однако, принимать во внимание одни только общие условия культуры и с такой точки зрения выяснять причины и мотивы того, а не иного рода показаний; каждая данная личность свидетеля более или менее отличается от других, что соответственно отражается и на его показании; оно зависит от личности свидетеля в ее целом, а не только от отдельных его свойств. Следовательно, генетическое рассмотрение показания должно быть возможно более индивидуализировано: оно должно преимущественно сосредоточиваться на изучении личности автора показания для того, чтобы возможно точнее объяснить его происхождение. Историк должен, подобно судье, знать личность свидетеля, его индивидуальные особенности для того, чтобы пользоваться его показанием, принять или отвергнуть его³⁵⁶; он выясняет положение, которое свидетель занимал в данном обществе и его биографию, его способности и свойства его характера, его искренность или скрытность, его бережное или небрежное отношение к фактам, его образованность или невежество, его понимание или непонимание тех именно фактов, о кото-

³⁵⁵ *Mémoires de Saint-Simon*. V. I. P. XII, XV–XVI; ср. *Sorel A. Lectures historiques*. P. 42.

Доверие общества к известному рода сказаниям находится иногда в зависимости от специальных причин: в Средние века, например, благодаря твердой вере в то, что «*Deus omnia quaecumque voluerit in caelo et in terra sine ulla difficultate potest efficere*», т. е. вере в непосредственное вмешательство Бога в совершающиеся события, сказания о чудесах пользовались гораздо большим доверием, чем в позднейшее время; ср. *Schulz M. Op. cit.* S. 138–139.

³⁵⁶ *Lailler M. et Vonoven H. Op. cit.* P. 60–69; хотя авторы и не дают общей постановки проблемы генезиса показания, но приводят немало примеров того значения, какое знание биографии свидетеля имеет для правильной оценки судьей его показания.

рых он сообщает; его моральный облик, его эстетические вкусы, его беспристрастие или тенденциозность и т. п.; он обращает внимание и на те именно обстоятельства, при которых этот свидетель давал свое показание; на то место, в котором он показывал, и на тот момент его жизни, когда он показывал, и т. п. Таким образом, благодаря своему знакомству с личностью автора историк получает возможность индивидуализировать критическую оценку его показаний.

С последней точки зрения, например, можно различать показания, в которых показывающий умеет сохранить объективность возможно более бесстрастного свидетеля, от показаний с эготическим характером, т. е. таких, в которых личность свидетеля постоянно оказывается центром изображаемых событий: он всему придает значение лишь постольку, поскольку и в чем оно касается его личности; он преимущественно сосредоточивает свое показание лишь на том, что непосредственно задевает его, хотя бы оно само по себе и не имело существенного значения. Историк различно ценит, например, показания Фукидида, который заставляя факты «говорить за себя», и показания генерала Марбо, который при описании пережитых им сражений, напротив, дает понять, что он именно «был там», что он действовал на поле сражения, что он несся во главе своих солдат против неприятеля, и т. п.³⁵⁷

Само собою разумеется, что индивидуально-генетическое рассмотрение показания не ограничивается такими общими различиями, а входит в подробности характера и жизни данной личности. Лишь выяснив, например, личность Юлия Цезаря, автора известных комментариев о войне римлян с галлами, его умение наблюдать факты и судить о них, его стратегические способности, его положение во главе римских легионов, его долговременное пребывание в Галлии, наконец, самое время составления комментариев по свежей памяти вскоре по окончании гальской войны (51–46 гг. Р. X.), историк может испытывать то чувство доверия, с каким он обращается к ним для изучения географии Древней Галлии, религии и нравов ее обитателей и т. п. С аналогичной точки зрения приходится судить и об источниках позднейшего времени. Историк не может, например, критически оценить мысли и воспоминания Бисмарка, не имея понятия о его характере, о его государственном уме и в особенности о его железной воле и активности; не считаясь с тою объективностью и чувством от-

³⁵⁷ Кони А. Там же // Проблемы психологии. С. 120–121; впрочем, автор говорит лишь об «эготической памяти». Ср. Sorel A. Lectures historiques. P. 36. Об аналогичном отношении к газете см.: Wolf G. Einfurung. S. 324.

ветственности, которые он испытывал как государственный человек, но не как историк; не имея в виду, что он писал свои мемуары с национально-объединительной немецкой, а не только прусской точки зрения, и что он преимущественно останавливался лишь на тех событиях, в которых ему самому приходилось принимать личное и деятельное участие, часто умалчивая о других из-за политических соображений, хотя бы они и были нужны для понимания его собственного рассказа. Историк не может выяснить происхождение рассуждений Меттерниха о «вечной справедливости» и объяснить источник его ложных и лживых суждений о собственной своей политике, не принимая во внимание личность Меттерниха, влияние на него религиозно-библейских и научно-либеральных идей, а также его связей с тем светским кругом, в котором он вращался³⁵⁸.

В таких случаях историк прибегает, между прочим, и к индивидуализирующей интерпретации данного показания для его критики, не забывая, однако, что одно и то же показание может содержать несколько суждений разного достоинства и что, следовательно, каждое из них требует особого критического рассмотрения, которое нельзя отождествлять с исследованием его генезиса.

Итак, можно изучать генезис показания преимущественно с точки зрения его образования, но в некоторых случаях приходится еще особо рассматривать и генезис его подачи или высказывания. Свидетель может, например, мимоходом испытать известный факт, но не дать о нем положительного показания, или ограничивается иногда молчаливо-отрицательным показанием, которое остается невысказанным или незаписанным, или старается воздержаться от показания ввиду какой-либо «профессиональной тайны» и т. п.³⁵⁹ Впрочем, и в тех случаях, когда свидетельское показание налицо, генезис самого факта его подачи часто нуждается во внимательном исследовании.

Всем известны случаи, когда свидетель хотел дать показание, но под давлением внешних — преимущественно социальных и политических — условий не мог дать его в том виде, в каком он хотел или не хотел дать показание, и тем не менее под влиянием условий подобного рода принужден был дать его.

В тех случаях, когда свидетель не может свободно высказаться, так как высказывание его стеснено какими-либо внешними условиями, его показание можно назвать связанным. Свидетель дает его хотя

³⁵⁸ *Mecnecke F. Zur Geschichte Bismarcks // Hist. Zeit. Bd. 87. S. 26, 27, 33. Ср. еще выше, с. 539, прим.*

³⁵⁹ Ср. ниже, с. 579, прим. 362.

и произвольно, но не без стеснений, например, под влиянием страха порицания, преследования, наказания и т. п., а потому и не может выразить его с полной откровенностью; он искусственно порывает связь между содержанием своего показания и естественной формой его обнаружения; даже в том случае, если он хочет сказать правду, он прибегает к намекам на то, что ему хочется выразить, к разным аллегориям и т. п.; он сглаживает свой стиль, говорит «эзоповским языком» и т. п. При таких условиях он, разумеется, не может дать вполне удовлетворительное показание ввиду несоответствия между затаенным содержанием и формой умалчивания или даже легкого искажения некоторых фактов, иногда представляющих наибольший интерес; свидетель не всегда может придать полную достоверность своему показанию, хотя бы и желал избежать упрека в его недостоверности. В таких условиях часто находится тот, кто принужден высказываться под давлением цензуры: заблаговременно вызывая со стороны самого свидетеля меры к тому, чтобы прикрыть свое показание, она в обратном случае сама изменяет его. Деятельность цензуры распространяется на самые разнообразные показания. В последние годы своего правления английская королева Елисавета заботилась, например, о том, чтобы ее изображение на монетах возможно менее соответствовало оригиналу. Состарившись и подурнев, она осталась недовольна тем портретом, который и теперь еще можно видеть на одной большой серебряной монете, где королева представлена в профиль — с ее ястребиным носом, наморщенным челом и сжатыми губами. В награду за такую работу, слишком хорошо напоминавшую оригинал, Елисавета велела посадить художника-гравера, резавшего матрицу, под арест, а самую матрицу уничтожить, заменив ее более красивыми образцами. Влияние цензуры духовной и светской отразилось, конечно, на многих показаниях; доктора Сорбонны, например, долгое время применяли цензуру к трудам, касавшимся богословия, благочестия и философии; в 1848 г., по словам одного из наших благонамеренных писателей, цензура в России делалась «неслыханным бичом»... и решительно запрещала ему употреблять слова «низшие классы», «рабочий народ» или «класс», даже в тех случаях, когда он вовсе не касался русской жизни, и т. п.³⁶⁰

В тех случаях, когда свидетель не может, согласно своему желанию, воздержаться от показания, т. е. вынужден дать, требуемое показание

³⁶⁰ Duprat G.-L. Le Mensonge. P. 73 (о влиянии страха на детские неправдивые показания); Хомяков А. Сочинения. Т. VIII. С. 172. Автор имеет в виду свою статью об Англии.

можно назвать вынужденным. Дальнейшее его изучение может получить двоякое направление: или такое обстоятельство не отразилось на показаниях, и значит, исследователь может пренебречь им; или оно носит на себе следы своего искусственного происхождения, т. е. следы влияния чужой мысли. В последнем случае можно часто признать его зависимым показанием и, следовательно, пользоваться теми принципами и методами различения зависимых показаний от независимых, которые уже были указаны выше.

Впрочем, показание может быть вынуждено различными способами, например, путем внушения или насильственного давления.

Вынужденные показания часто возникают под влиянием внушения; оно прививает воспринимающему лицу идеи, чувства или эмоции без участия его воли и нередко даже без ясного с его стороны сознания, заставляет его говорить то, что хочет за него другой, хотя бы самому воспринимающему его показание и казалось самопроизвольно данным. Более или менее явно выраженное ожидание опрашиваемого и самая постановка вопроса может уже внушать свидетелю то направление, в каком он «должен» ответить. Такая форма показания часто лишает свидетеля возможности придать ему индивидуальный характер, а иногда выпытывает у него сведения, которые он хорошо не помнит или не знает и при сообщении которых он впадает в ошибки³⁶¹. Показания подобного рода можно встретить, например, в старинных и даже позднейших процессах о колдунах и ведьмах; папы, проповедники и другие лица внушали населению веру в их сношения с дьяволом или поддерживали ее, а инквизиторы принимали

³⁶¹ Binet A. La Sugestibilité. Par., 1900. P. 246–247; ср. p. 287; *Larguier des Bancel J.* Op. cit., ib. P. 184–190. Хотя историк обыкновенно имеет дело с произвольными показаниями, не вызванными вопросами, однако он должен иметь в виду, что такие «произвольные показания» сами могли возникнуть иногда путем опроса свидетелей, показания которых записывались и выдавались за произвольные, хотя могли уже быть результатом того внушения, какое оказывает тот, кто ставит вопросы, на того, кто отвечает на них; в случаях подобного рода даже интонации или жесты допрашивающего уже могут влиять на характер ответа; последний, правда, может быть полнее произвольного показания, но легко становится и менее достоверным; впрочем, восприимчивость ко внушению, очень заметная у детей, с течением лет убывает. Ср. еще выше, с. 413 и след. (критику подл. и неподл.), а также работы *Bernheim E.* Suggestion et persuasion // *Rev. Scient.* 1905, Mars 4; *Елистратов А.* и *Завадский А.* О влиянии опросов без внушения на достоверность свидетельского показания. Казань, 1905 и *Stern W.* Die Aussage. S. 44–45, 62, 67–77.

простые доносы на них, не требуя доказательств, чем и благоприятствовали появлению внушенных показаний; люди подавали их иногда из самозащиты: они обвиняли другого для того, чтобы оградить себя от такого же обвинения. В древности и в Средние века некоторые уверяли, что «видели», как благодаря чудесной силе заклинания или молитвы духи выходили вон из одержимого; остяки и тунгусы и теперь еще «видят», как духи покидают шамана, и т. п.³⁶²

Вынужденное показание вызывается и более или менее насильственным давлением. Показания, которые вымогала, например, инквизиция или наша Тайная канцелярия, уже по самому способу своей подачи далеко не всегда могут внушать доверие: сделанные под влиянием пытки и инстинктивного стремления избавиться от нее, они часто содержат недостоверные оговоры третьих лиц, даже мнимые признания в собственной виновности. Григорий Турский рассказывает, между прочим, что по случаю смерти в 580 г. двух сыновей известной Фредегунды их сводный брат Хлодвиг был обвинен в том, что он причинил их смерть при помощи двух женщин через посредство злых чар; одна из них была подвергнута пытке, пока не созналась в своей «вине», и была сожжена, несмотря на то что до смерти успела отказаться от своего признания, и т. п.³⁶³

Все сказанное выше об отдельных показаниях можно, конечно, более или менее относить и к целым совокупностям их, т. е. к рассказам. Само собою разумеется, однако, что чем сложнее рассказ, тем более он может оказаться достоверным или недостоверным: в пределах данной совокупности показания могут взаимно подкреплять или контаминировать друг друга, да и та комбинация, которая им придается, может иметь разное значение. В самом деле, комбинация показа-

³⁶² *Lehmann A. Aberglaube und Zauberei* / пер. Petersen. Stuttgart, 1898. S. 91–95, 99–101. Ср. *Snell O. Hexenprocesse und Geistesstörung*, 1891; *Soldan W. Geschichte der Hexenprozesse*, neu bearb. von Heppe. Stuttgart, 1880. Bd. 1–2.

³⁶³ *Hansen J. Zaubervahn, Inquisition und Hexenprozess im Mittelalter*. München und Lpz., 1900. S. 113 и др. «Слово и дело государевы», материалы изд. под ред. Н. Новомбергского. Томск, 1909–1911. Т. I–II и др. В числе вынужденных показаний можно отметить еще такие, которые возникают путем законного принуждения; по мнению некоторых английских юристов, например, и врачи и (вероятно) духовные лица могут быть принуждаемы к открытию сообщений, сделанных им конфиденциально при отправлении профессии (см.: *Стуифен Дж. Op. cit.* P. 125); но такие специальные случаи не представляются особенно характерными для рассматриваемого рода показаний и едва ли часто встречаются в области исторических разысканий.

ний может быть правильной, но она часто оказывается и неправильной. В том случае, например, если свидетель стремится, не искажая правды, представить ее, однако, в таком виде, чтобы произвести большее впечатление на воспринимающего, он уже придает рассказываемому обманчивую форму, способную ввести его в некоторое заблуждение; тот, кто определяет, например, военные силы, может произвести разное впечатление, смотря по тому, исчисляет он их по дивизиям, батальонам или еще менее значительным частям войск, которых соответственно окажется больше в итоге, и т. п. Самая форма рассказа может усиливать источники ошибок, рассмотренных выше. Действительно, в рассказе о факте свидетель может относиться к нему более «свободно», чем в отдельном показании о нем; менее сосредоточивает свое внимание на чем-либо одном, легче переходит от одного к другому, больше опирается на память, дает больший простор своему воображению и т. п. Вообще, рассказывая о факте, свидетель должен, например, начать его с описания того, а не иного из его моментов, затем перейти к следующему и т. д.; но при таких условиях он может допустить большее число пробелов в запоминании своих восприятий и их высказывании, чаще вносит в рассказ свои собственные переживания или оценку, легче искажает факт под влиянием тех или иных побуждений, тенденций и т. п. С такой точки зрения, например, отрывочные записи, делаемые изо дня в день в дневниках, оказываются более надежными, чем целые рассказы, встречающиеся в автобиографиях; в последнем случае свидетель сливает многие показания в одно целое, что и может породить новые ошибки, обусловленные самой формой принятого им рассказа.

Итак, при изучении генезиса показаний или образованных из них рассказов приходится обращать особенное внимание на те из них, которые называются свидетельскими, — ведь их происхождением легко объяснить достоверность, а отчасти и недостоверность зависящих от них известий или пересказов. В самом деле, верность передачи состоит в возможно более точном воспроизведении и правдивого, и неправдивого показания или рассказа; следовательно, известие или пересказ сами по себе не могут отличаться большею достоверностью или недостоверностью, чем то показание или тот рассказ, содержание которого передается, если только сам посредник не внес каких-либо изменений в известие или пересказ, не обнаружил своего отношения к содержанию передаваемого и т. п.

Такая оценка может иногда оказаться довольно удачной. В самом деле, некоторые известия, пожалуй, обладают самостоятельным значением в качестве правдивых оценок передаваемых в них фактов.

Возьмем хотя бы известное предание о том, как Аттила со своею ордою явился перед стенами Рима, как он грозил ему разрушением и как он отступил перед римским епископом Львом I, который вышел к нему навстречу, окруженный своим причтом. Предание повествует, что в то время, когда Лев I уговаривал Аттилу отказаться от осады города, царь внезапно увидал рядом с ним апостолов Петра и Павла с обнаженными мечами и в ужасе велел отступить. Приведенное сказание, конечно, — легенда, но оно содержит правдивую оценку могучей личности Льва I, твердо убежденного в том, что он — преемник св. Петра, и такую же оценку преимуществ римско-христианской культуры над полудикою ордой³⁶⁴.

В большинстве случаев, однако, известие может в зависимости от передачи оказаться гораздо менее достоверным, чем свидетельское показание; следовательно, выяснение генезиса известия получает некоторое значение преимущественно для лучшего понимания его недостоверности. Главная причина, порождающая ее, состоит, конечно, в небрежной или недобросовестной передаче чужого показания; в силу естественной склонности человека верить тому, что передается, тот, кто передает чужое показание, редко относится к нему критически и, впадая в погрешности, уже указанные выше, часто обращается с ним более поверхностно или произвольно, чем тот, кто повторяет собственное свое показание. Посредник легко может при самой передаче чужого показания извратить его и без умысла или с умыслом внести в него какие-либо изменения; следовательно, в зависимости от той, а не иной передачи он может сообщить неверное или неправдивое известие³⁶⁵.

Невольное извращение чужого показания часто касается только одной его формы, что, впрочем, может уже отразиться и на его со-

³⁶⁴ *Harnack A. Legenden als Geschichtsquellen // Reden und Aufsätze. Bd. I (1904). S. 14; другие примеры собраны там же. S. 13–16.*

³⁶⁵ *Chladenius J. M. Op. cit. S. 297, 301; в шестой и седьмой главах своего труда автор дает и до сих пор еще бесполезное обозрение тех разнообразных метаморфоз, которым рассказ часто подвергается при его передаче; см. S. 115–202. Ср. выше, о разновидностях неумышленных ошибок, с. 451. Средневековые писатели отмечали, например, вслед за Иеронимом, что «aliter enim narrantur visa, aliter audita» (Regino v. Prüm), что «solent enim visa auditis notiora esse cordique tenacius adhaerere» (Anonymus Haserensis) и т. п.; см.: *Schulz M. Die Lehre von der historischen Methode bei den Geschichtsschreibern des Mittelalters. Berl. u. Lpz., 1909. S. 17, 18, 22. Ошибки часто оказываются, например, при передаче имен собственных и цифровых показаний, о чем см.: Boekh A. Encyklopaedie. S. 208.**

держании. В самом деле, случайное искажение чужого показания, например, нередко состоит в тех «ослышках» или оговорках, недосмотрах или описках, которые ведут к образованию неверного известия; посредник может неверно передать слова малознакомой ему речи или письма. Плиний жалуется, например, на иллирийские «*nomina ineffabilia*»; Мела заявляет, что он будет приводить лишь те имена, которые римлянин может выговорить; Герберштейн пишет «Хева» вместо «Нева», и т. п. Передаваемое показание может, конечно, подвергаться самым разнообразным метаморфозам. Достаточно припомнить те ошибки, которые возникают благодаря невежественным писцам и особенно наглядно обнаруживаются также при передаче имен собственных; переписчики географии Птолемея, например, превратили чтение «*Ἀστούριανοί*» в «*Ἀστούριχοί*»; переписчики известного сочинения Плиния переделали чтение «*Utn Aorsi Anoterae*» в «*Utitorsi Aroteres*» и т. п.³⁶⁶ Сюда же можно отнести и те ошибки, которые бывают при переделке туземных имен на иностранный лад; передающий их сообразуется с законами своего языка и искажает чужеземное имя, что так часто встречается у старинных писателей в особенности при передаче имен собственных; они вносили иногда и довольно произвольные толкования в передаваемые ими термины и под влиянием известных ассоциаций превращали, например, слово «славяне» в слово «*sclavi*» или слово «татары» в слово «*tartari*» и т. п.

Впрочем, невольное извращение показания при его передаче может распространяться и на его содержание: опыты пересказа чужих показаний обнаружили, что передающий часто невольно опускает или прибавляет, а также искажает то, что он слышал или читал. В своих реляциях о разных событиях эпохи реформации Цазий, например, едва ли точно передавал сведения, которыми он хотел занять своих читателей³⁶⁷.

Вместе с более или менее невольными извращениями чужого показания известие нередко содержит и более или менее произвольные или преднамеренные его изменения.

В последнем случае известие становится ложным или лживым; генезис преимущественно такого известия, в особенности ложная или лживая передача чужого показания или рассказа, заслуживает несколько более внимательного рассмотрения.

³⁶⁶ Meringer R. und Mayer K. Op. cit. S. 101, 152, 157, 220; Schlozer A. L. Nord. Geschichte. Halle, 1771. S. 106–108; Ptolemaer C. Geographia X, 8, 12; rec C. Mullerus. Par., 1883. V. I. P. 428, 918.

³⁶⁷ Проблемы психологии. С. 90–91. Hist. Zeit. Bd. 95 (1905). S. 228 ff.

Ложное известие нередко возникает так же, как и ложное свидетельское показание: посредник может кое-что убавить из него или прибавить к нему, ослабить или усилить некоторые его черты и т. п. Передавая чужое показание не в полном его виде, т. е. скрывая часть его, посредник может, конечно, и не вполне извратить, а только урезать его содержание. После сражения при Бородине, например, Кутузов прислал императору Александру I донесение, в котором он сообщил, что «неприятель нигде не выиграл ни на шаг земли с превосходными силами», но что вместе с тем ввиду значительных потерь он «взял намерение отступить» за Можайск. При чтении донесения Кутузова в Невском монастыре перед молебном, а затем и при напечатании его в «Северной пчеле» последние его слова были исключены, что придало несколько иной смысл всему донесению³⁶⁸. Передача может еще более извратить чужое показание путем разного рода произвольных добавлений к нему. Посредник нередко включает в известие свою собственную субъективную оценку сообщаемого им факта. В некоторых случаях, например, субъект, передающий чужое показание о факте, вместе с тем предлагает и научную его оценку, т. е. объясняет его, не имея на то достаточно данных, придумывает свое объяснение данному факту и, присоединяя его к известию, может придать ему такое фактическое значение, какого чужое показание не имело. Особый вид источников, а именно «этиологические сказания», возникает под влиянием желания объяснить значение какого-либо имени собственного, названия лица или места, прозвища или геральдического знака и т. п. В виде примера можно припомнить хотя бы возникновение известной тюрингенской легенды о графе Глейхене. Легенда повествует о том, как граф Глейхен в 1227 г. отправился в Святую землю, как он был взят в плен и женился на дочери султана, как он возвратился с нею к прежней жене и мирно прожил свой век двоеженцем; но легенда о графе Глейхене возникла из желания народа объяснить значение одного надгробного камня, на котором изображен мужчина между двумя женщинами, причем одна из них имеет своеобразный головной убор и, значит, едва ли заслуживает доверие. Рассказчик-моралист также охотно примешивает к сообщаемым известиям свою оценку. При составлении известных своих жизнеописаний Плутарх пользовался многими источниками и с морализирующей точки зрения оценивал черпаемые из них сведения; желая выставить в лице своих героев образцы известных качеств, он идеализировал их, смягчал темные их стороны, касался лишь тех фактов, которые нужны были ему для достижения

³⁶⁸ Шильдер Н. История императора Александра I. Т. III, 108–109.

его цели, и опускал многие другие, даже важные; один из писателей XII в., Павел из Бернридского монастыря, составил биографию папы Григория VII, которого он представляет мучеником, и биографию императора Генриха IV, которого он изображает односторонне в виде своего рода Нерона, и т. п. Рассказчик, желающий при передаче придать эстетическую ценность или интерес своему рассказу, также прибегает к соответствующим приемам изображения передаваемых фактов, особенно в тех случаях, когда он комбинирует несколько известий и пересказывает их. Для того, например, чтобы придать больше единства пересказу, касающемуся целой группы или целого ряда фактов, он концентрирует их вокруг одного какого-нибудь лица или события, что и порождает известное впечатление внешнего единства. Легенда охотно прибегает к персонификации или к концентрации; она переносит действия целых групп или поколений на одно лицо или сосредоточивает целую совокупность фактов (группу или ряд) в одном центральном событии. Легенда приписывает, например, существование греками письменных знаков у финикийян Кадму; она представляет завоевание греками малоазиатских берегов в виде осады Илиона, вековую борьбу между французами и сарацинами — в битвах при «Алискансе» и «Ронсево», целые сражения — в виде единоборств между двумя героями, описываемых в тех же и многих других сказаниях, и т. п.³⁶⁹ Впрочем, для того чтобы придать большую живость рассказу, составитель подвергает его содержание и драматизации; он дает яркие характеристики своих героев, хорошо знает мотивы их действий, а в случае нужды дополняет их, нарочно придумывает эффектные положения и сцены, вводит в свой рассказ много подробностей и т. п.; например, хотя бы в известном сказании о Вильгельме Телле и о его подвигах. Рассказчик часто приноравливает, сверх того, свой рассказ к требованиям той литературной формы, которую он избрал для своего рассказа, что, разумеется, также влияет на степень его достоверности или недостоверности. Мотивы искажений в таких случаях находятся в зависимости от тех целей, какие преследуются данным литературным родом; автор лирического произведения подкупает читателя откровенностью и интимностью своих сообщений, но они иногда мнимые; творец драматического произведения стремится растрогать читателей и соответственно изображает ход действия, хотя бы оно в таком виде и не происходило; оратор стремится своей речью произвести эффект, который рассчитан, однако, лишь на данный момент и на то, чтобы склонить слушателя к действию, и т. п. Аналогичные приемы

³⁶⁹ *Vedel V. Heldenleben. Lpz., 1910. S. 22, 91, 94, 97.*

литературного изложения могут отражаться и в историческом предании; образцы подобного рода были уже приведены выше, например, из сказаний о Роланде и т. п.

Вообще, для того чтобы поднять значение какого-либо лица или описываемого факта или поддержать интерес к рассказу, передающий его привносит в него разные эффектные известия из других рассказов и, следовательно, одному лицу или событию приписывает свойства или деяния совсем другого, что часто встречается в легендах о святых, о героях и т. п. В Средние века, например, Карл Великий приобрел славу законодателя; ему же стали приписывать составление многих законодательных актов, происхождение которых, в сущности, было неизвестно, и т. п.

Передача известий или рассказов, разумеется, может затемняться еще более субъективными настроениями посредника, аналогичными с теми, какие обнаруживаются и у свидетеля. Биньон, например, преклонялся пред личностью Наполеона I, что отразилось и в сообщаемых им сведениях; де Прадт, напротив, не сочувствовал Наполеону I и придавал некоторым сведениям о нем соответственную окраску, и т. п.

Пересказ, т. е. передача рассказа или целой совокупности известий, представляет, конечно, еще более удобный случай для преднамеренных его изменений, чем передача отдельно взятого известия. Такой пересказ может содержать, например, урезки или добавления, часто затемняющие или искажающие смысл передаваемого. Процесс редукации рассказа встречается хотя бы у средневековых писателей, заявляющих, что они не могут всего рассказывать «по порядку», опасаясь впасть в чрезмерное многословие; в своей жизни Анскария Римберт заявляет, что он сообщает только один пример «преступного» восстания народа, и т. п. Процесс амплификации рассказа наблюдается также, например, в пересказах, попавших в Густынскую летопись, и т. п.³⁷⁰

³⁷⁰ Schulz M. Op. cit. S. III и др. Процесс «сгущения» мысли замечается также в тех случаях, когда рассказ или басня превращается в пословицу, т. е. когда все ее типическое содержание сосредоточивается в пословице, или когда конечное ее изречение путем ее инверсии получает такой же характер. Простонародная пословица «Счастье лучше богатства» возникла, по предположению одного из наших исследователей, из сказки о Фомке Беренникове, который оказался счастливее богатырей Ильи Муромца и Алеши Поповича; но в таких случаях содержание рассказа уже теряет свой конкретный характер; см.: Пошебня А. Из лекций по теории словесности. Харьков, 1894. С. 86 и след., 93 и след.; Иконников В. Опыт. Т. II. С. 1520–1526.

В числе пересказов можно отметить, между прочим, и особый вид, возникающий в том случае, если кто-либо передает об ожидаемом факте как о случившемся. Саксонский летописец Видукинд рассказывает, например, о коронации Оттона I отчасти со слов одной грамоты, предписывавшей порядок предстоящей коронации; некоторые средневековые анналисты описывают иногда маршрут короля на праздник, руководствуясь предварительно сделанными распоряжениями, а не действительным ходом путешествия; современные репортеры при составлении своих известий часто пользуются предварительно изданными программами разных торжеств, не справляясь с тем, что из них действительно было осуществлено, и т. п.³⁷¹

Итак, ложная передача чужого показания или рассказа, хотя бы содержание их было правдиво, может породить ложное известие или ложный пересказ.

Передача показания, рассказа и т. п. может оказаться, однако, частью ложной, частью живой, например, при частичной его подделке — или становится преимущественно живой, по мере того как фабрикация его приближается к полной подделке. Макферсон, например, пользовался шотландскими легендами, впрочем, не старше XII в., для составления своего эпического цикла «Оссиана»; но он не сохранил в своем произведении часто попадающихся в них перечислений оружия и разных предметов обстановки и, наоборот, вставил описания ландшафтов, вовсе не встречающихся в песнях старинных бардов; он совершенно переделал их, изменил хронологию, имена героев и характер быта; вместо прославления героев и их подвигов он умилялся перед красотами природы; вместо изображения диких и жестоких нравов он представлял людей того времени чувствительными, утонченными и изысканно-вежливыми; вместо того чтобы изображать факты в той последовательности, в какой они представлялись бардами, он перетасовывал их: он превращал ирландских наемников в шотландских героев, вместо VIII в. заставлял их появляться на берегах Ирландии в III и т. п. Само собою разумеется, однако, что подделки, вроде указанной выше хроники короля Родриго, содержат не столько живую передачу чужих показаний или рассказов, сколько продукты фантазии тех, которые их подделывали³⁷².

Критика чужих показаний или рассказов становится еще более сложной, если они прошли несколько передаточных инстанций и бла-

³⁷¹ *Bernheim E.* Lehrbuch. S. 488–490; автор называет такие пересказы «Nachbildungen».

³⁷² *Thierry A.* Op. cit. P. 20–22. Ср. выше, с. 464 и след.; 565 и след.

годаря такому процессу превратились в повторяющиеся пересказы: ведь вероятность ошибки возрастает пропорционально возрастающему числу передаточных инстанций, по крайней мере, до известного предела, т. е. до того времени, когда данное предание получает общепризнанную форму, в которой оно и продолжает повторяться. Таким образом, нельзя пользоваться известиями или пересказами, не попытавшись выяснить, через посредство каких именно передаточных инстанций они возникли.

В самом деле, известия или пересказы, достигающие до нас через посредство целого ряда передаточных инстанций, путем повторения часто подвергаются дальнейшим изменениям. Более тонкие оттенки мысли при таких условиях могут совершенно исчезнуть в последующей ее передаче. *A* высказывает, например, предположение, что факт *X* мог случиться. *B* при передаче показания *A* уже сообщает, что факт *X* вероятно случился. *C* при передаче известия *B* идет еще дальше, он уже прямо утверждает, что факт *X* действительно случился и т. п.³⁷³ Повторение рассказа, разумеется, чаще приводит к преувеличению, чем к преуменьшению его содержания. В песне о Роланде полугодовой поход Карла Великого в Испанию превратился в семигодовой, а в позднейших песнях растягивается на двадцать семь лет и т. п. По мере изменения условий культуры повторяющийся пересказ может придавать и иное значение излагаемым фактам: многие мифы, например, превратились в народные или даже детские сказки; такой процесс и теперь еще можно наблюдать у некоторых народов, например у тодасов (*todas*); он приводит к образованию таких наших сказок, как, положим, «Мальчик-с-пальчик» и др. Предание вносит иногда и субъективную оценку в изображение фактов и таким образом искажает их. Сказания о походе Карла Великого в Испанию, например, представляют его поражение при Ронсево в совсем другом свете: он возвращается из Испании после целого ряда завоеваний, а не отступает после неудачного похода; он сражается с многочисленными полчищами сарацинов, а не с мелкими баскскими племенами; потерпев поражение при Ронсево, вызванное постыдной изменой, он, однако, страшно мстит изменникам, и т. д.³⁷⁴

В тех случаях, когда религиозная санкция или обычай поддерживает неприкосновенность рассказываемого, оно, конечно, довольно быстро кристаллизуется в известную общепризнанную форму, кото-

³⁷³ Stern W. Op. cit. // Zeit. für gesamte Strafrechtswissenschaft. Bd. xxii. S. 326–365 (конкретный опыт подобного рода перделки).

³⁷⁴ Vedel V. Heldenleben. Lpz., 1910. S. 24; ср. S. 32, 33; Gomme G. L. Op. cit. P. 148–149, 150.

рая сама содействует его сохранению, например, при помощи ритма, напева или рифмы, да и сами слушатели готовы исправить того, кто уклоняется от общепринятого содержания и такой же формы предания; но повторение «из уст в уста» одного и того же сказания, разумеется, может вносить в него и большие изменения. По мере увеличения передаточных инстанций содержание рассказа может сокращаться или нарастать. Сокращение рассказа можно наблюдать хотя бы при письменной передаче устных народных легенд. Григорий Турский заявляет, например, что он нашел одну древнюю легенду об Андрее, отличавшуюся, однако, «излишним многословием», и желая вернуть ей прежнее значение, выпустил из нее те чудеса, которые были «менее интересны». Гинкмар рассказывает, что легенда о св. Ремигии существовала в пространном пересказе и вытеснена была краткой ее переработкой, которая сделана была Фортунатом, и т. п.³⁷⁵ Процесс нарастания также часто встречается. В Гренландии, например, эскимосы — сказители «древних» преданий сочиняют и новейшие сказания, пользуясь рассказами стариков о приключениях их ближайших предков и примешивая к ним немало сверхъестественного или чудесного; арабы-рассказчики часто включают в предания при передаче их продукты своей фантазии, и т. п. В образовании исторических легенд можно заметить аналогичный процесс нарастания: древнейшие версии сказания об основании Рима, уже известные в середине V столетия до Р. Х., например, касаются одного только Ромула; с течением времени, однако, и, может быть, под влиянием желания при основании Вечного города усмотреть то двоевластие, которое развилось в консулате, легенда в позднейших своих редакциях рассказывает о близнецах Ромуле и Реме и локализирует auspicii Рема на Авентинском холме, что нельзя не признать «чистой выдумкой»³⁷⁶. Такой процесс нарастания может обнаруживаться и в других формах, хотя бы в виде слияния или смешения двух различных сказаний; полагают, например, что известная сказка о Синей Бороде сложилась из сказания о Жиле де Ретце, сире де Лавале, бывшем маршале Франции, и из легенды о проклятом Коморе, графе Поэрском. Малейшего сходства между именами и событиями достаточно для того, чтобы дать повод к самым

³⁷⁵ *Schulz M.* Op. cit. S. 110–111. Целый эпос или роман может дать пословицу, а пословица может сократиться до одного слова вроде «сдуру», «везет» и т. п.; но и тут следует иметь в виду оговорку, сделанную выше, на с. 585, прим.; ср. *Потебня А.* Там же. С. 102, 111.

³⁷⁶ *Hartland S.* The Science of fairy tales. Ld. (1891). P. 12–13, 16 ff.; *Mommsen Th.* Gesammelte Schriften. Bd. IV. S. 1–21.

разнообразным комбинациям подобного рода. Различные лица, носившие имя Карла, а также франкские Теодорихи и Теодеберты смешиваются друг с другом; различные французские Вильгельмы, в течение нескольких веков сражавшиеся с сарацинами, и их битвы сливаются в образе Вильгельма Оранского и в изображении сражения при Алискансе, и т. п.

Пересказ, состоящий в посредственной передаче известия или предания, получает особенно характерные формы в тех случаях, когда оно становится анонимным «слухом», который распространяется через средство «молвы». Передача «слуха», к которому «толпа» вообще относится с доверием, и многократное его повторение может привести к смешению его с воспоминанием о будто бы бывшем и породить, наконец, веру в достоверность его содержания, заразительно действующую на большинство, хотя бы такое содержание возросло до чрезвычайных размеров³⁷⁷. Весьма поучительный пример можно привести из недавнего нашего прошлого. «В одном из восточных уездов Самарской губернии крестьяне двух соседних сел подрались между собой на сенокосе, заспорив о меже. Побитые, удаляясь, похвалялись, что нагонят в отместку орду. Эта угроза смутила победителей, и призрак идущей орды до такой степени овладел их воображением, а равно и всего окрестка, что все население — с детьми, женами, стариками, с возами, нагруженными домашним добром, двинулось к Самаре. Весть о нашествии орды произвела всеобщую панику, которой отдались не одни крестьяне, но даже некоторые помещицы, а один из священников послал, кажется, приглашение к уральским или оренбургским казакам явиться на защиту. Более 40 тыс. человек спасающегося от орды населения появилось у самой Самары, и едва-едва удалось губернским властям успокоить их и убедить возвратиться восвояси»³⁷⁸.

«Слухи» проникают, конечно, и в письменное предание. Геродот, например, многое заимствовал из устной традиции. Средневековые летописцы Павел Диакон, Беда, Гинкмар и другие считали возможным передавать те слухи, которые они черпали из «*fama vulgante*», и хотя иногда в общих выражениях снимали с себя ответственность за достоверность таких пересказов, однако в других случаях, подобно Фольквину, считали возможным принимать их без всяких оговорок; еще Фруассар довольно безразлично пользовался слухами наряду с другими источниками³⁷⁹. Рассказы, образованные на основании «слухов»,

³⁷⁷ *Le Bon G. Psychologie des foules*, 2 éd. P. 27–37.

³⁷⁸ Хомяков А. С. Сочинения. Т. VIII. С. 289–290, прим. И. С. Аксакова.

³⁷⁹ *Schulz M. Op. cit.* S. 36–38.

нередко служат для тенденциозного изображения фактов, например легенды, которыми окутана ранняя история христианской церкви, легенды о Карле Великом, о Фридрихе Великом, о Наполеоне I и т. п.³⁸⁰ В таких случаях, однако, «слух» уже закрепляется в письменном предании, что и может задержать дальнейшее его искажение.

В самом деле, устное предание получает более или менее окончательную форму лишь по превращении его в письменное, если только само оно не подвергается дальнейшим метаморфозам в последующих его редакциях. Фруассар, например, закрепил в своей хронике многие рассказы своих современников Эспена (*Espaing de Lyon*), Спенсера, Брюса и других; но многие из таких рассказов подвергаются более или менее продолжительному обращению прежде, чем в виде повторяющихся пересказов попадают в письменное предание и закрепляются в нем³⁸¹.

Нельзя не заметить, однако, аналогичный процесс и в передаче письменных известий; один из участников в сражении при Сольферино рассказывает, например, что официальные донесения о нем, образованные, конечно, на основании множества свидетельских показаний, подверглись, однако, целому ряду изменений со стороны тех, через руки которых они проходили, пока они не достигли до начальника штаба и самого маршала, которые также не преминули «исправить» их, так что от первоначального их текста «почти ничего не осталось», и т. п.³⁸²

Все сказанное выше о свидетельских показаниях, известиях, пересказах, слухах и т. п., разумеется, относится и к источникам сложного состава³⁸³. Даже «первоисточники» редко состоят из одних только свидетельских показаний; многие источники содержат преимущественно или исключительно одни только известия и пересказы, например история Тита Ливия, большие французские хроники, составленные Приматом и другими авторами в XIII–XV вв., наш «общерусский свод» 1423 г., не говоря уже о таких компилятивных сборниках, которые, подобно «*Theatrum Europaeum*», передают много разных слухов и т. п.³⁸⁴ Ввиду того, однако, что такие источники заключают данные далеко не одинаковой ценности, изучение их генезиса становится еще более затруднительным: оно не всегда может привести к объяснению причин и мотивов их достоверности или недостоверности.

³⁸⁰ *Harnack A. Legenden als Geschichtsquellen // Rede und Aufsätze. Bd. I (1904). S. 6 ff.*

³⁸¹ *Molinier A. Op. cit. P. cxxxviii – cxxxix; ср. P. lxxx.*

³⁸² *Le Bon G. Op. cit. P. 35.*

³⁸³ Ср. выше, с. 457–463.

³⁸⁴ *Molinier A. Les grandes chroniques de France // Études d'histoire du Moyen âge, dédiées à Gabriel Monod». Par., 1896. P. 307–316. Ср. выше, с. 455.*

Вышеуказанные принципы и способы исследования достоверности или недостоверности источников применяются, конечно, в различной мере и в разных комбинациях, смотря по тому, к какому именно виду данный источник преимущественно относится. В той мере, например, в какой источник, принадлежащий к числу остатков культуры, содержит элементы исторического предания, он уже нуждается в критике показаний; автор дневника или письма, высказывающий в нем свои настроения, далеко не всегда оказывается искренним и может, например, льстить тому, для кого или кому он пишет; сочинитель автобиографии или мемуаров нередко поучает потомство, восхваляет или оправдывает себя и своих близких и, наоборот, принижает или осуждает своих врагов и их поступки; сооружающий надпись также придает ей один из таких оттенков и возвеличивает или умаляет чьи-либо деяния; дипломатический агент часто включает в свою депешу разные известия или передает слухи, подлежащие внимательной проверке, и т. п.³⁸⁵ Само собою разумеется, что чем ближе источник к историческому преданию, тем более он требует такой же проверки. Составитель погодных записей или анналов, например, уже делает некоторый подбор интересующих его фактов и часто смешивает достоверное с недостоверным; подвергая такие сведения несколько более систематической обработке, летописец часто обнаруживает в своей хронике и то мировоззрение, под влиянием которого он писал ее; слагатель мифа или сказания или тот, кто передает их, часто прибегает к персонификации, концентрации или какой-либо иной переработке, что вызывает необходимость подвергать их в целом их объеме самой строгой критике, и т. п.³⁸⁶

Такие разнообразные оттенки следует, конечно, принимать во внимание при критическом изучении данного рода источников. Но общие его начала уже были рассмотрены выше, а изложение специального их приложения к каждому из таких типов порознь все же не удовлетворило бы запросов специальной историко-критической работы,

³⁸⁵ *Ulmann H.* Op. cit. S. 5; здесь можно припомнить, например, донесения папских нунциев и венецианских послов XVI–XVIII столетий; о них см.: *Wolf G.* Einführung. S. 605–613, 620–621.

³⁸⁶ *Bernheim E.* Lehrbuch. Kap. IV, § 4, 1. S. 465–506. Впрочем, автор смешивает здесь несколько задач, а именно: 1) исследование генезиса показаний, основное теоретическое значение которого для настоящего отдела все же слишком мало выяснено им; 2) приложение такого исследования к историческому материалу в зависимости от его разновидностей и 3) значение их для исторического построения, о чем см. ниже, глава пятая.

в сущности, предполагающей исследование каждого отдельного случая; лишь подвергнув его детальному критическому рассмотрению, можно сделать достаточно прочный вывод относительно достоверности или недостоверности изучаемого показания, «вероятности» или «невероятности» изучаемого факта, а тем более целой совокупности показаний, образующих источник.

Возможны и такие случаи, когда историк в результате своего исследования должен отказаться от какого-либо окончательного вывода и не может произнести ни оправдательный, ни обвинительный приговор, но он не всегда способен оставаться в таком выжидательном положении. Ввиду естественного стремления поскорее успокоиться на каком-либо выводе, он часто не воздерживается от него, не удовлетворяется суспензивным суждением и, давая определенное заключение, впадает в ошибку. Такие заключения могут быть вызваны и недостатком критики, и ее избытком, т. е. «гиперкритикой»; но в обоих случаях они оказываются ошибочными, так как исследователь преждевременно ищет в одном из них разрешения своих сомнений, на которых он не хочет остановиться.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

Вообще можно сказать, что исторические источники имеют и теоретическое, и практическое значение; в теоретическом отношении они важны для познания исторической действительности, в практическом нужны для того, чтобы действовать в ней и соучаствовать в культурной жизни человечества.

С общей теоретико-познавательной точки зрения, исторический источник получает особого рода значение. В той мере, в какой он содержит показание о каком-либо действительном факте, познание которого нельзя в достаточной степени удовлетворить на основании другого источника, т. е. одного только собственного разума или собственного опыта, он не только подтверждает и контролирует истину, опознанную разумом и добытую путем чувственного восприятия, но становится самостоятельным источником познания действительности³⁸⁷. В самом деле, легко заметить, что даже в том случае, если источник содержит какую-либо абсолютную истину, значение его как исторического материала состоит, главным образом, в том, что

³⁸⁷ *Neville E.* L'importance logique du témoignage // Séances et travaux de l'Académie des Sciences morales et politiques. T. 128 (1887). P. 273–281.

он свидетельствует об особом роде фактической истине, т. е. о самом факте высказывания содержащейся в нем абсолютной истины; с собственно исторической точки зрения, такое показание, главным образом, тем и интересно, что по нему можно судить об историческом факте, т. е. о том, где и когда известная истина была действительно высказана, кто открыл ее, кто делал соответственные наблюдения и опыты и т. п., а не тем, что оно будто бы может доказать истину, в сущности постигаемую лишь разумом и только подтверждаемую или контролируруемую чужими свидетельствами³⁸⁸. Аналогичное замечание, разумеется, с тем большим основанием можно сделать о тех исторических источниках, которые содержат показания о фактической истине, т. е. показывают о том, что происходило в действительности: они, очевидно, служат для познания исторических фактов и дают понятие о том, каким образом произошло то, что действительно случилось и что имеет историческое значение.

В сущности, каждый из нас пользуется историческими показаниями или источниками в широком смысле, примешивая их даже к собственному наблюдению фактов, происходящих в действительности. «Однажды, — пишет один из женеvских философов, — я был в Париже и видел на набережной подле Тюльери императора Наполеона III; он проезжал в кабриолете, которым сам правил. Вот факт, который я сам констатировал. Сведем, однако, этот факт к элементам, которые состоят из личных моих восприятий, отделив их от идей, которые проистекают из другого источника. Я видел большое здание; но каким образом узнал я, однако, что это здание называется Тюльери и что оно служит резиденцией императора французов? Благодаря показаниям других. Я видел проезжавшего мимо человека; но каким образом узнал я, что этот человек называется Наполеоном и что он император французов? Благодаря показаниям других»³⁸⁹. Этот факт, очевидно, не заинтересовал бы наблюдателя или утратил бы для него значительную долю своего интереса, если бы наблюдавший его не воспользовался чужими показаниями: благодаря им он мог пополнить свое наблюде-

³⁸⁸ Впрочем, чужие показания играют роль и в генезисе научных обобщений, в употреблении личного разума и пользовании личным опытом; но ученый прибегает к чужим обобщениям не для того, чтобы установить истину, а для того, чтобы установить тот факт, что и другие рассуждают так же, как и он, и ими контролировать или подтвердить собственную свою теорию; математик обращается для проверки своих вычислений к чужой помощи, физик ищет подтверждения своего опыта в экспериментах, сделанных другими, и т. п.

³⁸⁹ *Neville E. Op. cit., ib. P. 272–273.*

ние над фактом и придать ему то индивидуальное значение, в силу которого этот факт и стал для него «интересным».

Само собою разумеется, что исторические источники получают тем большее значение в суждениях о фактах, которые сами по себе давно перестали существовать. Лишь на основании исторических источников можно говорить, например, о Тутмесе III или Рамзесе II, о составлении Ахмесом или Амазисом учебника геометрии во втором тысячелетии до Р.Х., может быть, при помощи еще более древнего образца, о постройке в XIII столетии до Р.Х. канала между Нилом и Красным морем, об обнаружении вавилонским царем Хаммураби законов и т. п.

Итак, без исторических источников нельзя конструировать историю человечества, о которой можно узнать только из них; ведь прошлое развитие человечества в его полноте не существует в настоящем, оно известно только по более или менее явным следам, какие оно оставляет в настоящем, последние доступны непосредственному научному исследованию в исторических источниках. С такой точки зрения, можно, пожалуй, сказать, что история есть научная гипотеза, при помощи которой мы объясняем эмпирически данные исторические источники; гипотеза подобного рода возникает применительно к тем источникам, которые объясняются ею; и обратно: те теории, которые не соответствуют источникам и не оправдываются ими, исключаются из истории; они не могут служить для ее построения³⁹⁰. Впрочем, и с другой точки зрения можно придавать историческим источникам в узком смысле самое решительное значение для реконструкции истории человечества; без них исторические факты были бы известны лишь по влиянию их на последующие факты; но не говоря о том, что такое влияние за известными пределами ускользает от нашего внимания, исторический факт, еще не отошедший в прошлое и непосредственно обнаруживающий данную психику в самом процессе ее обнаружения, хотя и может служить объектом для познания другого, связанного с ним факта, однако еще не обладает некоторыми признаками, характеризующими понятие об историческом источнике в узком смысле: скоро преходящий факт сам нуждается в каком-либо закреплении, для того чтобы стать объектом научного исследования; собственно исторический источник, напротив, отличается обыкновенно большим постоянством формы, благодаря чему он и поддается более длительному изучению, к которому исследователь может возвращаться любое число раз.

³⁹⁰ *Kuenen A. Gesammelte Abhandlungen, S. 24, 41.*

В какой мере, однако, историческое знание, основанное на исторических источниках, достоверно? Вообще можно сказать, что с теоретической точки зрения, такое знание могло бы иметь характер достоверного знания о фактической необходимости, если бы историк был в состоянии располагать достаточным количеством ценных источников и мог подвергнуть их исчерпывающей интерпретации и критике; но в действительности знание его оказывается лишь более или менее вероятным — частью ввиду того, что материал, которым он располагает, довольно случайного происхождения, частью и потому, что ему редко удастся достигнуть полного его понимания и надлежащей его оценки.

Действительно, историческое знание зависит от случайно сохранившегося материала, случайно уцелевших обломков или отрывков старины и т. п. Может ли, однако, такой материал иметь серьезное научное значение³⁹¹?

Нельзя не заметить, что поставленный выше вопрос уже предполагает со стороны историка некоторое знание, хотя бы в самых общих, но и в главнейших очертаниях, того целого, по отношению к которому данный материал признается «случайным»; а так как самое понятие о целом основано на том же материале, то и его «случайность» окажется относительной; в противном случае историк даже не будет в состоянии решить, представляется ли он относительно случайным.

В самом деле, можно привести несколько соображений против такого чрезмерного скепсиса. Следует иметь в виду, например, что благодаря тесной связи между проявлениями культуры, т. е. частями данного культурного целого, случайные пробелы одного рода источников иногда несколько восполняются данными, черпаемыми из других источников; с последней точки зрения, данное культурное целое и изучается по совокупности относящихся к нему источников. Такая связь, правда, гораздо менее заметна в древнейшей культуре, чем в позднейшей; но древнейшая культура — положим, «доисторическая» — отличается гораздо большим однообразием своих проявлений, благодаря чему и случайность материала при изучении его менее чувствуется; и наоборот: чем более развита в данном обществе культура, тем большими и лучшими средствами оно обладает для воспоминания и оценки значительных фактов; оно все более сознает их «важность», что не может не повести и к воспоминанию о них или к их оценке, закрепленных в каком-либо источнике; оно располагает все более разнообразными способами закреплять данный факт и все бо-

³⁹¹ Meyer E. Zur Theorie der Geschichte. S. 35 и след.

лее ценит такие источники, т. е. принимает меры для охраны памятников старины, для сохранения их в музеях и архивах, для воспроизведения их в изданиях, слепках и снимках и т. п. Можно также заметить, что понятие о «случайности материала» более применимо к остаткам культуры (в строгом смысле слова), чем к историческим преданиям: чем важнее факт для данной социальной группы с ее точки зрения, тем более вероятно, что он как-либо отразится в сознании современников или даже нескольких поколений и вызовет со стороны их какое-либо воспоминание или какую-либо оценку — положительную или отрицательную. Помимо только что указанных соображений, следует принять во внимание, что случайные пробелы, образовавшиеся в данной группе источников или в одном из них, иногда восполняются и путем реконструкции недостающего источника или его частей; благодаря восстановлению архетипа по зависимым от него источникам, или реставрации, историк получает возможность пользоваться и теми источниками, которые были утрачены или лишены некоторых из своих частей, и т. п. В некоторых случаях такая техника может получить дальнейшее развитие и бороться с исчезновением или разрушением исторических источников³⁹².

Нельзя не признать, однако, что материал, которым историк располагает, действительно оказывается иногда довольно случайным. Многие произведения древней культуры погибли или сохранились

³⁹² В области истории античного искусства, например, копии имеют весьма существенное значение. Многие из древних оригиналов утрачены, но можно судить о них по позднейшим их копиям — рельефам, изображениям на монетах, резным камням и т. п. При известных условиях можно прибегать, помимо вышеуказанных способов, к особому рода реконструкции памятников письменности. Можно узнать, например, содержание листка рукописи по тем следам ее письма, какие отпечатываются на внутренней стороне конверта, на противоположном данному листе записной книги, на страницах книги, в которую листок был вложен, и т. п. Благодаря тому, что чернила содержат сахаристые и смолистые вещества, сохраняющие некоторую вязкость и после того как чернила «высохли», стоит листку, написанному хотя бы несколько дней тому назад, полежать несколько часов под слабым давлением в соприкосновении с другим, чистым листом бумаги, чтобы чернила, а значит, и письменные знаки впитались в него; правда, они бывают недоступны простому глазу; но весьма простые способы (например, умеренное нагревание, неспособное, однако, вызвать соответствующее разложение целлюлозы) дают возможность вскрыть такие следы на бумаге, а затем и прочесть утраченный текст; см.: *Bertillon A. La comparaison des écritures // Rev. Scient., 1898. T. I. P. 8–9.*

только отчасти, и такие пробелы иногда очень чувствительны. Целые языки, а не только отдельные слова исчезли из обращения, например языки фригийский, фракийский и скифский. В числе памятников вещественных достаточно припомнить хотя бы судьбу храма Афины на острове Эгине или самого Парфенона и т. п. То же можно сказать и про некоторые памятники письменные: во время взятия крепости Александрии Юлием Цезарем множество драгоценных рукописей ее библиотеки погибло от пожара; наибольшая часть анналов и истории Тацита не сохранилась; значительное число книг знаменитого труда Полибия исчезло и т. п. Даже источники Нового времени далеко не всегда достаточны: богатое собрание рисунков, собранных Булем (Boule), сгорело в 1720 г., весьма ценные бумаги парижских секций, сыгравших очень крупную роль в разных событиях Французской революции, особенно в 1792–1795 гг., большей частью подверглись такой же участи во время Коммуны, не будучи еще надлежащим образом использованы; значительная часть весьма ценных мемуаров Георгия Шателэна также утрачена, и т. п.³⁹³

Такие пробелы, конечно, весьма ощутительны; но они все же обнаруживаются не во всей совокупности материала, а в отдельных случаях; нельзя распространять на всю его совокупность скепсис, вызванный дефектами в некоторых его частях.

Помимо вышеуказанных затруднений, следует иметь в виду, что каждый источник получает полное свое значение лишь по предварительной его научной обработке, т. е. главным образом благодаря его интерпретации и критике; но во многих отношениях интерпретация не может достигнуть вполне точных результатов и принуждена довольствоваться пониманием источника, лишь более или менее приближающимся к истине, т. е. такими выводами, которые более или менее вероятны. То же можно сказать и о критике: лишь под условием знания той фактической истины, к которой источник относится, он и получает надлежащую ценность; но большей частью трудно предполагать наличие безусловно точного знания той именно фактической истины, с точки зрения которой источник ценится, особенно если иметь в виду, что оно часто черпается в большей или меньшей мере из того самого источника, который ценится; следовательно, и выводы, получаемые путем критики источника, легко могут оказаться лишь более или менее вероятными. При таких условиях да-

³⁹³ *Кареев Н.* Неизданные документы по истории парижских секций в 1790–1795 гг. // Зап. ист.-фил. отд. Академии наук. 1912. Т. XI. № 2. С. 3; *Molinier A.* Op. cit. P. XLII.

леко не всегда можно точно установить его значение и приходится судить о нем лишь с большей или меньшей вероятностью; историки часто различно судят об одном и том же источнике, например об истории Фукидида или о произведении Григория Турского и т. п.³⁹⁴

Во многих случаях, однако, возможно, более непосредственное и глубокое переживание источников, контролируемое интерпретацией и критикой, дает достаточно надежный материал для научного построения действительности, разумеется, не тождественного с целостным переживанием ее самой; впрочем, приходится иногда довольствоваться тем «впечатлением» от действительности, которое получается от источников, и конструировать ее лишь в общих чертах для выяснения ее исторического значения. С такой точки зрения можно сказать, что исторический материал все же пригоден для познания исторической действительности. Вообще, чем шире круг источников, к которым историк обращается, тем более он может рассчитывать на достижение своей цели; при изучении прошлого он стремится использовать самые разнообразные источники: и данные языка, и пережитки, и предметы древности, и произведения фантазии, и теоретические трактаты, и документы, и законы, и полемические сочинения, и публицистику, не говоря уже о собственно повествовательной литературе и т. п.

Не все источники, однако, имеют одинаковую ценность для построения исторической действительности. С такой точки зрения историк и пытается выяснить, какое именно значение данный род источников имеет для исторической конструкции тех фактов, которые интересуют его, и какого рода источники всего более пригодны для изучения их характерных особенностей.

Выше мне уже пришлось заметить, что источники изображающие и источники обозначающие получают различное значение в глазах историка: благодаря источникам изображающим он непосредственно переживает остаток факта в данных своего чувственного восприятия, а при пользовании источниками обозначающими он конструирует свое представление о факте лишь на основании условных знаков. С такой точки зрения, источники изображающие имеют особенно большое значение для наглядного ознакомления с конкретными проявлениями культуры, а источники обозначающие — для изучения обобщенных и отвлеченных ее продуктов. В самом деле, источники изображающие могут давать наглядное представление о чужой мысли; они иногда любопытны и по той наивности и грубо-

³⁹⁴ См. выше, с. 318, 405, 592.

ватости, с которой она выражается. На одном из расписных стекол Шартрского собора Святого Илария Пинэгрие представил, например, в виде аллегорической сцены благие последствия Искупления: тело Спасителя лежит на виноградных тисках; кровь из него льется со всех сторон; евангелисты собирают ее; Отцы Церкви наполняют ею бочонки, которые они перевозят на телеге, руководимой ангелом; папы, короли, епископы и кардиналы складывают бочонки в погребях или раздают их народам; на заднем плане патриархи возделывают виноградную лозу, пророки собирают виноград, а апостолы приносят его к виноградным тискам, кроме, впрочем, апостола Петра, который давит его. Картина Пинэгрие имела большой успех и послужила образцом для целого ряда копий³⁹⁵. Напротив, источники обозначающие могут дать понятие о таких общих течениях мысли, которые плохо поддаются изображению; трактаты Сижера Брабантского «*De anima intellectiva*» и о других предметах метафизики и логики, например, конечно, лучше всяких картин, знакомят нас с зарождением и развитием в средневековых школах Аверроизма, т. е. со стремлением его приверженцев познакомиться с подлинным учением Аристотеля, не «исправленным» Фомаю Аквинским³⁹⁶. Аналогичные замечания можно высказать и относительно других источников, но в несколько ином смысле: изображение римской виллы на помпеянском ландшафте, например, дает наглядное представление о типически реальных внешних ее чертах, но не может заменить тех сведений, которые мы черпаем хотя бы из произведений Горация, для характеристики землевладения в римском мире при самом появлении принципата, для ознакомления с устройством сабинского поместья поэта и т. п.³⁹⁷ Следовательно, можно сказать, что изображающие и обозначающие источники взаимно дополняют друг друга. Портретные бюсты римских императоров, например, иллюстрируют их характеристики, сделанные Тацитом, но последние содержат такие черты, которые резец скульптора не мог воспроизвести; знаменитая помпейская мозаика дает наглядное представление о битве при Иссе между Александром и Дарием, описанной Арриа-

³⁹⁵ *Curiosités de l'archéologie et des beaux arts*. Par., 1855. P. 212. Аналогичные сюжеты встречаются и на других рисунках; ср. *Спенсер Г.* Изуч. соц. Т. I. С. 202–203.

³⁹⁶ *Mandonnet P.* Siger de Brabant et l'Averoisisme latin au XIII sc. Fribourg, 1899. P. CLIV–CLIX.

³⁹⁷ *Ростовцев М.* Эллинистическо-римский архитектурный пейзаж. СПб., 1908. С. 50–58; *Гревс И.* Очерки из истории римского землевладения. Т. I. СПб., 1899. С. 63–72, 124–131 и др.

ном³⁹⁸; произведения Дюрера и Гольбейна существенно облегчают понимание реформации, известной нам по трудам Слейдана и других писателей, и т. п.³⁹⁹

Впрочем, взвешивая относительное значение источников изображающих и обозначающих, легко заметить, что они и в другом отношении не одинаково пригодны для построения исторической действительности.

Источник изображающий обыкновенно дает представление о данном факте или культуре в моментальном ее разрезе, а значит, и о том соотношении элементов, которые одновременно даны в таком разрезе. В самом деле, памятник вещественный представляется нам, главным образом, как бы в виде картины; но «картина не слово; она дает одну минуту, и в этой минуте должно быть все: взглянул — и все...; а нет этого — нет и картины»⁴⁰⁰. Таким образом, памятник вещественный дает понятие, главным образом, о соотношении элементов данного явления в пространстве, а не во времени; стадии развития одного и того же явления не могут быть в полной мере осуществлены в одном и том же вещественном образе; он может представить только одну из таких стадий, а не эволюцию данного явления; один из ее моментов, а не их совокупность, т. е. не процесс их следования во времени.

Источник обозначающий или памятник письменности, напротив, воспроизводит явление путем символического его описания; последнее может дать историку понятие и о соотношении элементов данного явления во времени, т. е. о его развитии. Впрочем, историк может найти в памятнике письменности лишь построение эволюционного процесса в том его виде, в каком последний представлялся составителю памятника, и не может таким построением заменить действительно бывшей эволюции; но во многих случаях при соблюдении нужных предосторожностей он может воспользоваться чужим представлением о данном процессе для его понимания. В таком случае изучение соответственного памятника письменности облегчает историку его дело: принимая во внимание и другие источники, он легче и с большей надеждой на некоторый успех строит свое собственное научное представление о том же эволюционном процессе.

³⁹⁸ Неапол. музей (№ 10020); припомним еще чудесный надгробный рельеф с изображением римлянина и римянки в Ватиканском музее (№ 388), портреты булочника *Paquius' a Proculus' a* и его жены в неаполитанском музее (№ 9058) и др.

³⁹⁹ *Réville A. Prolegomènes etc.* P. 17 и др.

⁴⁰⁰ *Сухотина-Толстая Т.* Друзья и гости в Ясной Поляне // Вест. Евр. 1904. Ноябрь. С. 16; это мнение принадлежит художнику Н. Ге.

Вышеприведенным рассуждением обосновывается предпочтение историков, вероятно, у большинства бессознательное, к памятникам письменности⁴⁰¹.

Среди памятников вещественных, правда, можно указать и на такие, которые дают некоторое представление о последовательности культурных наслоений. Собор Святого Марка в Венеции, например, в основе своей представляет древнюю христианскую базилику в романском стиле, но перестройки его делались уже по византийским образцам и украшались произведениями византийского искусства или подражаниями ему; его фасад был дополнен декорациями в готическом виде; наконец, еще позднее собор был украшен произведениями старейшего и позднейшего Ренессанса и т. п. По мере осложнения такого процесса памятник, изображающий его, теряет, однако, в наглядности: последовательные моменты непрерывной эволюции, отразившиеся в нем, в сущности, расположены в пространстве, отделены друг от друга известными пробелами и связываются между собою во времени только в мысли творца памятника или наблюдателя, а не в самом явлении. Даже совокупность памятников вещественных не дает вещественного изображения непрерывного процесса эволюции: ведь они все же остаются размещенными в пространстве, а не следуют во времени. Город Рим, например, отражает целый ряд наслоений культуры: и Древний Рим — в части форума, и императорский Рим — в дворцах на Палатине, в Колизее, в банях Каракаллы и т. п., и христианский Рим — в церквях Святой Агнесы и Сабины, Козьмы и Дамиана и т. д.; но они не дают еще того понятия об истории Рима, какое мы черпаем из трудов Тацита, из «*Liber pontificalis*» и т. п.

Впрочем, если брать памятники вещественные не порознь, а целыми сериями, научно построенными, они также могут дать наглядное представление о некоторых сторонах эволюционного процесса, в особенности об эволюции форм разных предметов быта материаль-

⁴⁰¹ Хотя памятники письменности, конечно, относятся ко времени, сравнительно более позднему, чем памятники вещественные, однако не следует упускать из виду, что зачатки письма могли восходить к переходному времени, предшествовавшему четвертичному периоду, и что произведения письменности содержат также некоторые из древнейших преданий человеческого рода. Пиетт нашел в пещере «*Mas d'Azul*» (Пиренеи) валуны с начертаниями в виде линий и кружков, имеющих, может быть, значение цифр, а также с знаками, похожими на некоторые буквы финикийского и греческого алфавитов; таких знаков до 11; см.: *Piette E. Notions complémentaires sur l'Asylien // L'Anthropologie. T. XIV (1903 г.). P. 641–653; ср. p. 655–660 и др.; ср. выше, с. 502.*

ного и духовного, например, об эволюции форм разного рода орудий, письменных знаков, украшений, художественных типов и т. п., но такая эволюция отчасти предварительно реконструируется самим историком на основании разных источников, а затем уже воспроизводится в серии материальных образов, представляющих скорее известного рода последовательность, чем непрерывность изучаемого ряда. С такой же точки зрения, и памятники письменности, также взятые не порознь, а сериями могут дать понятие об эволюционном процессе и становятся в особенности ценными для изучения истории идей, например эволюции понятий, эволюции литературных родов и т. п. Такие серии, образуемые из источников, т. е. памятников вещественных или письменных, часто имеют, однако, типическое, а не чисто реальное, конкретно-историческое значение.

Во всяком случае, можно сказать, что преимущественно те вещественные памятники, которые уже оказываются в известном смысле историческими преданиями, лучше других сами по себе могут отражать последовательные стадии развития данного конкретного факта; припомним, например, серии картин Рубенса или Пуссена, или даже серию сцен, изображаемых каким-нибудь кинематографом. Тем не менее памятники письменности, имеющие такой же характер, сохраняют преимущественное значение для изучения непрерывности в последовательном ряде конкретно данных моментов, поскольку между ними, т. е. между каждым предшествующим и последующим за ним звеном такого ряда, приходится устанавливать причинно-следственное соотношение, понимаемое в смысле исторической связи, а не одно только внешнее преемство; ряд картин, которые представляли бы, например, битву при Пуатье, все же не мог бы заменить ясного и обстоятельного рассказа, в котором Фруассар с большою последовательностью изображает битву в ее целом и в мельчайших ее подробностях дает понятие об общем ее плане и об отдельных столкновениях, приведших к поражению французов, описывая вместе с тем характеры действующих лиц, их отношения друг к другу и т. п.⁴⁰²

Остатки культуры и исторические предания также имеют разное значение для познания исторической действительности.

Ввиду того что остаток культуры оказывается лишь частью бывшего факта и, собственно говоря, как таковая, часто не предназначается для потомства, он более нуждается в интерпретации, чем в критике; но в случае его подлинности он уже тем самым имеет и достоверность: в подлинном остатке культуры чувствуется остаток прошлой жизни, он

⁴⁰² *Sainte-Beuve C.-A. Causeries du Lundi. T. IX. Par., 1855. P. 83–95.*

дает историку представление хотя бы о части действительно бывшего, а не его построение. Историческое предание, напротив, составляется ввиду потомства с тем намерением, чтобы быть понятным последующим поколениям, и с такой точки зрения, легче понимается, что важно и для интерпретации остатка культуры, но в большей мере требует критики показаний о факте, примеры чему уже были приведены выше.

Вместе с тем, однако, остаток культуры дает понятие лишь о части факта, а не о целом факте; историческое предание, напротив, может дать более или менее цельное понятие о факте, которое автор имел о нем. Остаток культуры не имеет достаточных указаний на положение факта в данной совокупности; историческое предание, напротив, содержит обыкновенно сведения о целой совокупности фактов, в которой данный факт и получает известное положение. С такой точки зрения можно указать и на некоторое различие между остатками культуры и историческими преданиями: документ, например, не дает понятия о целом, а только о какой-либо его части, нередко довольно формального свойства; рассказ, напротив, обыкновенно касается целого. Следовательно, документ часто оказывается более отрывочным и менее понятным, чем рассказ, что, впрочем, еще не предрешает вопроса о степени его достоверности или недостоверности. Стела Мешы, например, содержит лишь отрывочные сведения о войне между царем моавитским и израильским, подробно рассказанной в книге Царств. Трактат, датированный в Кампо-Формио 17 октября 1797 г., не дает понятия о последовательности крупных и мелких событий, наступивших со времени обмена ратификации в Леобене и обусловивших заключение мира, о чем Наполеон I подробно повествует в своих записках, и т. п.⁴⁰³

Впрочем, некоторые остатки культуры почти исключительно служат для изучения целого ее состояния; например, доисторические древности, благодаря которым историк может проводить некоторые аналогии между современным дикарем и доисторическим человеком для восстановления его быта и понимания его остатков; но последние оставались бы малопонятными без таких аналогий и играют исключительную роль лишь за отсутствием исторических преданий. В других случаях, напротив, исторические предания получают преобладающее значение; например, книги Ветхого Завета для построения древней истории израильского народа⁴⁰⁴.

⁴⁰³ *Freeman E.* The methods of historical study, 170; *Clermont-Ganneau Ch.* Op. cit. P. 13–14. Correspondance de Napoléon I. T. XXIX. P. 367–386.

⁴⁰⁴ *Kuenen A.* Gesammelte Abhandlungen etc. S. 432, 444. В свое время Клермон-Гано, между прочим, указывал на то, что финикийская и еврейская археология отли-

В большинстве случаев, однако, вышеуказанные разновидности источников взаимно дополняют друг друга. Наглядную иллюстрацию такого соотношения можно усмотреть в остатках и преданиях, относящихся к римской истории. В области последней остатки культуры и в особенности документы эпиграфического характера, конечно, важные и для истории Вечного города, получили, однако, особого рода значение для ознакомления с прошлой жизнью его провинций; изучение эпиграфического материала привело к эмансипации от того взгляда на нее, который основывался на литературном предании и сводился к изображению республиканского строя города Рима; надписи дали возможность ознакомиться и с развивавшейся жизнью провинций, входивших в состав Римской империи. Остатки и предания ввиду различного их значения, разумеется, могут взаимно дополнять друг друга и при изучении одного и того же факта, что видно хотя бы из вышеприведенных примеров касательно заключения кампоформийского мира, и т. п.

Наконец, источники получают различное значение для исторического построения и по своему содержанию.

В числе остатков культуры можно указать на такие, которые отличаются весьма разнообразным содержанием, более или менее общим целой социальной группе, например на языке. В самом деле, по языку можно судить и о душевной жизни человека вообще, и о принадлежности его к данной народности, и о душевном складе народа, и о географических границах его распространения, и о его культуре и ее наслоениях, и о его культурном влиянии на другие народы и т. п.; кроме того, если признавать язык «организмом, который в каждом индивидууме развивается особым, свойственным ему путем»⁴⁰⁵, можно даже, пожалуй, выяснить на основании данных языка и некоторые признаки, характеризующие личность, например, поскольку они обнаружились в ее «стиле». В последнем случае, однако, изучение языка обыкновенно связано с изучением того ее продукта, в котором стилистические особенности ее речи запечатлелись, т. е. источника письменности. В числе источников, относимых к разряду исторических преданий, также легко встретить произведения с разнообразным содержанием, например мемуары; они дают понятие о внутреннем

чается большою бедностью эпиграфического материала; см.: *Clermont-Ganneau Ch.* Op. cit. P. 270.

⁴⁰⁵ *Whitney W. D.* The life and growth of language. Ld., 1875; *Darmsteter A.* La vie de mots. Par., 2 éd., 1887; *Nurof K.* Das Leben der Wörter, übers. von R. Vogt. Lpz., 1903; *Paul H.* Principien der Sprachgeschichte, 3-te Aufl. S. 25.

мире человека, его побуждениях и мотивах, симпатиях и антипатиях, мнениях и доктринах, о его действиях и поступках, об интимной стороне жизни людей данного круга, их характерах, нравах и привычках; о событиях, иногда рассказываемых на основании собственных чувственных восприятий, а иногда сообщаемых и по чужим показаниям, рассказам или слухам; об оценках изображенных в них лиц и событий, и т. п.⁴⁰⁶

При менее разнообразном содержании источник может отличаться, однако, более специальным его характером. Например, многие заговоры, заклинания, причитания и т. п. имеют большое значение для изучения переживающих в них религиозных поверий и обрядов; специальные сочинения по разнообразным отраслям знания дают понятие об уровне их развития в данном обществе; музыкальные произведения выражают иногда такие глубокие настроения, которые «невыразимы» другими средствами; отдельные повести и сказания знакомят нас с единственными в своем роде более или менее сложными историческими событиями и т. п.

Впрочем, источники получают разное значение для исторического построения и в зависимости от того, оказывается их содержание преимущественно фактическим или нормативным. Такое деление можно применять к разным видам источников, но оно в меньшей мере приложимо к источникам изображающим, чем к источникам обозначающим.

В самом деле, источники изображающие преимущественно характеризуются их фактическим содержанием; например материальные остатки культуры с идейным или бытовым содержанием, предметы культа, техники, домашнего обихода, военного искусства и т. п. Рисунки, между прочим, получают иногда, подобно автобиографическому материалу, значение для выяснения более или менее интимных переживаний человека, его настроений, обычаев и нравов; картины часто дают сведения, аналогичные с повествовательной литературой; иконы и карикатуры наряду с легендами и памфлетами нередко предлагают оценку лиц или событий и т. п. Детские рисунки, например, обнаруживают иногда элементарные состояния сознания, пригодные для заключения по аналогии и о первобытных людях; рисунки «доисторических» обитателей Пиренейских и других пещер указывают на некоторые из их настроений; рисунки Леонардо да Винчи ярко характеризуют круг интересовавших его идей; наброски Луи Буллонь (Boullongne) вскрывают интимные переживания его времени,

⁴⁰⁶ Wolf G. Einführung. S. 334–404; указания на литературу см. там же; ср. еще Sorel A. Lectures historiques. Par., 1894. P. 33–46.

столь мало соответствующие его картинам, написанным еще в строгом, натянутом стиле начала XVIII в.⁴⁰⁷; помпеянские пейзажи отражают типы реальной эллинистическо-римской архитектуры — между прочим, архитектуру сакрально-гробничного характера, или изображают помпеянские виллы⁴⁰⁸; картины Джиготто возвеличивают св. Франциска Ассизского, в особенности та из них, которая представляет славу святого и его торжество над науками и искусствами; политические карикатуры выставляют смешные стороны выдающихся деятелей, например одного из министров Людовика XVI, Калонна, Тьера и Гамбетты, Дизраели и Глэдстона и т. п.⁴⁰⁹

Впрочем, можно указать и на такие изображающие источники, которые ближе подходят к источникам с нормативным значением. Сюда можно причислить некоторые изображающие остатки культуры, воплощающие какую-либо форму, например, религиозные символы (крест и т. п.); или такие продукты, как телескоп Галилея, «Страшный суд» Микель Анджело, «Сикстинская Мадонна» Рафаэля; или обряды и учреждения, осуществляющие известные общественные или политические нормы, положим, передачу куска дерна из рук в руки при продаже недвижимой собственности, помазание елеем царя на царство, «зерцало» в качестве символа государственной справедливости и т. п. Впрочем, можно указать и на некоторые изображающие предания с нормативными элементами, например, на изображение астрономической обсерватории Тихо де Браге, на старинную картину Бордоне, представляющую заседания «совета десяти» в Венеции и т. п.

Вышеуказанное деление получает, однако, большее приложение при выяснении значения источников обозначающих, в особенности письменных; а потому в качестве иллюстрирующих его примеров достаточно указать здесь несколько подробнее хотя бы на некоторые раз-

⁴⁰⁷ *Lamprecht K.* De l'étude comparée des dessins d'enfants // *Rev. de Synth. hist.* Т. XI (1905). P. 54–57; *Cartailhac E.* et *Breuil H.* Les peintures et gravures murales des cavernes Pyrénéennes; см.: *L'Anthropologie.* Т. XV (1905). P. 629, 637–638 и др.; *Marcel P.* L'étude des desseins dans l'histoire de l'art français // *Rev. de Synth. hist.* Т. XVI (1908). P. 26–27.

⁴⁰⁸ *Ростовцев М.* Эллинистическо-римский архитектурный пейзаж. СПб., 1908. С. 59 и след.; *Rodenwaldt G.* Die Komposition der Pompejanischen Wandgemalde. Berl., 1909. S. 48 ff.

⁴⁰⁹ *Curiosités de l'archéologie et des beaux arts.* P. 167. Ср., между прочим, *Taine H.* Notes sur l'Angleterre. Par., 1872. P. 265 и след., где автор, основываясь на карикатурах Punch'a, дает характеристику английских нравов.

новидности памятников письменности с более или менее фактическим или нормативным содержанием.

В числе таких источников произведения литературы едва ли не отличаются наиболее разносторонним значением, т. е. наибольшим разнообразием своего содержания, частью фактического, частью нормативного характера и могут служить для построения весьма различных сторон исторической действительности. Произведения фантазии или вымысла вводят исследователя во внутренний мир человека известной культуры и дают возможность хотя бы отчасти пережить те настроения, аффекты, стремления и идеи, которые оказывались фактами его душевной жизни и обуславливали его действия. Один из представителей романтизма давно уже придавал большое значение, например, «голосам народов в их песнях» в качестве «древнейших документов человеческого рода» и усердно занимался изучением «духа еврейской поэзии»⁴¹⁰. Впрочем, следует заметить, что произведения литературы, в особенности эпической, могут иметь, подобно, например, песням Гомера, и более фактическое значение; они важны для историка частью тем общим впечатлением, какое они могут дать об отразившейся в них действительности, частью содержащимися в них реальными подробностями. В самом деле, произведение литературы может порождать такое впечатление даже в том случае, если оно не отличается особенною точностью в деталях. Шекспир, например, собственно говоря, ценен для историка не тем, что он изображает действительность, а тем, что он ярко выражает то впечатление, какое она на него производила, и сообщает его другим. То, что он описывает, не только представляется читателю, но чувствуется им. Таким образом, произведение Шекспира способно непосредственно вызвать в читателе чувство действительности, хотя бы содержание его и не вполне точно соответствовало данной конкретной действительности, не давало точного ее описания. Вместе с тем можно указать, конечно, и на такие произведения литературы, которые содержат ценные фактические сведения, например стихотворения Пиндара и Горация, поэмы Данте, романы Гете и т. п. Произведения литературы нередко содержат также указания и на то субъективное оценочное отношение, с точки зрения которого факты изображаются; достаточно припомнить Книгу Иова, в высоко поэтических образах противопоставляющую бедствиям земной жизни ту справедливость, какой жаждет человеческая душа; известную поэму Байрона («Каин») и т. п.; или «Персы» Эсхила, написанные под влиянием подъема чувств, которые были вы-

⁴¹⁰ Herder J. G. Sämtliche Werke, herausgegeben von B. Suphan. Bd. XI–XII и др.

званы победой при Саламине; или «Всадники» Аристофана, или социальные романы Тэккерей и т. п. Произведения литературы отражают также культурные идеалы данного общества или писателя, нормы, которые признаются им, и т. п. На основании, например, средневековых эпических поэм и «*chansons de geste*» можно представить себе идеал воина, на основании романов и лирической поэзии — идеал рыцаря, на основании легенд и житий — идеал монаха, на основании произведений Джиотто и Ганса Сакса — идеал буржуа того времени и т. п.⁴¹¹

Впрочем, большинство важнейших разновидностей письменных источников характеризуется преобладанием одного из вышеуказанных моментов: источник оказывается ценным преимуществом по фактическому или по нормативному своему содержанию.

Письменные источники с фактическим содержанием могут служить для самых разнообразных познавательных целей: можно пользоваться ими, например, и для того, чтобы проникнуть во внутренний мир человека и постигнуть мотивы его действий, и для того, чтобы изучить их результаты или собственно исторические факты, и для того, чтобы принять во внимание те оценки, которым последние подвергались и которые в свою очередь оказывали влияние на последующие факты, и т. п.

С точки зрения изучения внутреннего мира человека и мотивов человеческих действий в более узком смысле, особенно важное значение получают, например, произведения автобиографического характера: сам автор-деятель сообщает в них сведения о своих побуждениях, в сущности не поддающихся наблюдению сторонних лиц. Следовательно, дневники, автобиографии и т. п. имеют единственное в своем роде значение и не могут быть заменены другими источниками, в особенности если автобиограф сам стремится, подобно, например, Августину, Кардано или Морицу, сказать правду. Такие источники дают тем более важные показания, что не всегда эти цели или идеалы осуществляются в фактах, подлежащих чужому наблюдению, или воплощаются в них лишь отчасти, в более или менее искаженном виде и т. п. Между тем историк должен иметь понятие о них для того, чтобы правильно истолковать поведение данного лица при данных обстоятельствах; лишь с такой точки зрения он может судить, например, о том, в какой мере человек остался верен своему идеалу даже в том случае, когда ему не удалось осуществить его; как он пострадал за него, как такое страдание, в свою очередь, получило историческое значение

⁴¹¹ *Vedel V. Mittelalterliche Ideale. Bd. I, Heldenleben. Lpz., 1910; Bd. II, Ritterromantik. Lpz., 1911. Ср. выше, с. 313–314.*

и т. п. Само собою разумеется, что историк может найти в автобиографии и другие ценные известия и подробности, на перечислении которых слишком долго было бы останавливаться. Заметим только, что составитель автобиографии может оказаться (например, подобно Челлини) типическим представителем той социальной группы, к которой он принадлежит, и давать в своем произведении понятие о настроении, внутренних побуждениях и мотивах, целях и идеалах этой группы; или (подобно Руссо) обладать особенно характерной индивидуальностью, переживания которой, если только она имела историческое значение, объясняют многое из происшедших под ее влиянием событий⁴¹². Близкое к автобиографическим источникам значение имеют и письма: письмо также отражает личность писавшего, его первые впечатления, его минутные настроения и т. п. Но последние определяются и отношением его к своему корреспонденту: настоящий представитель эпистолярного стиля пишет не только так, как он один мог писать, но и так, как он мог писать лишь тому именно, кому он писал в данном, специальном случае. В своих письмах Цицерон, например, живо и непосредственно передает свои чувства и сообразно с личностью своего корреспондента меняет тон своих писем и т. п.⁴¹³ Мемуары и некоторые другие произведения литературы, в некоторых отношениях довольно сходные с предшествующими, дают возможность выяснять (подобно, например, запискам Токквилля) и мотивы отдельных лиц, а также правительственной деятельности и ее роль в событиях и т. п.

⁴¹² *Misch G. Geschichte der Autobiographie. Bd. I. Das Altertum. Lpz., 1907; Glagau H. Die moderne Selbstbiographie als historische Quelle. Marburg, 1903.* К числу наиболее известных автобиографий можно отнести автобиографии Августина, Петрарки, Эннея Сильвия, Челлини, Кардано, Платера, Берлихингена, Швейнихена (Schweinichen), Застрова (Sastrow) и др.; из автобиографий Нового времени в особенности известны автобиографии Руссо — «Confessions», Морица (Karl Philipp Moritz) — «Anton Reiser», Гете — «Bekenntnisse einer schönen Seele», впрочем, относящиеся скорее к разряду поэтических произведений, г-жи Ролан (Roland) — «Mémoires» и др.

⁴¹³ *Boissier G. Cicéron et ses amis, 5 éd. P. 1–23.* Кроме писем Цицерона можно припомнить еще письма Иеронима, который, благодаря яркому темпераменту и большой чуткости к чужой личности, стал одним из лучших представителей раннего христианского эпистолярного стиля; письма г-жи де Севинье, в которых отразились ее живое воображение и большая отзывчивость к людям и событиям, и др. Ср. еще *Steinhausen G. Geschichte des deutschen Briefes. Berl., 1889–1891. T-le I–II.*

Впрочем, кроме источников письменных с более или менее идейным содержанием особенно важным для выяснения мотивов человеческих действий, можно указать и на такие, которые пригодны скорее для ознакомления с их результатами, т. е. на источники с бытовым содержанием. Источники делового характера, например, знакомят нас преимущественно с историей человеческой деятельности; таковы разные документы, счета, каталоги, административные распоряжения, дипломатические депеши и т. п. «Domesday book» и тому подобные описи весьма важны для истории хозяйства, матрикулы старейших университетов — для истории просвещения, списки архонтов или *consularia* — для истории правительства в государствах Древнего мира и т. п. Впрочем, такие источники не дают того представления о целой совокупности фактов, какое историк может получить на основании памятников повествовательной литературы: деловые бумаги могут отличаться большею надежностью своих показаний, но имеют меньшее значение для синтетического изображения прошлого.

Действительно, во главе письменных источников с фактическим содержанием, заключающих сведения о собственно исторических фактах, взятых в более или менее сложной их совокупности, следует поставить произведения с повествовательным содержанием, например анналы и хроники, биографии, разного рода повести, сказания и записки, в особенности те, которые принадлежат иностранцам, официальные известия и т. п. Само собою разумеется, что такие источники могут иметь самое разнообразное фактическое значение. Хроника, например, может быть всемирно-исторической, подобно знаменитому труду Евсевия Кесарийского, или местной городской, подобно известной аугсбургской хронике Буркарда Цинка; церковной или «гражданской», подобно произведениям Барония или Лейбница и т. п.; составитель записей может давать сведения об одном роде фактов или касаться разнообразных сторон внутренней и внешней жизни данного общества, подобно, например, папским нунциям, нередко изо дня в день доносившим папской курии о всем, что происходило в стране, куда они были посланы, венецианским послам и т. п.⁴¹⁴

В числе источников с фактическим содержанием можно указать, однако, и на такие, которые преимущественно интересны их точкой зрения на излагаемые факты: они оценивают их, и значит, уже приближаются к источникам с нормативным содержанием. Человек редко передает факт, не обнаруживая своего отношения к нему и даже часто оценивает его, не позаботившись о его проверке или о точной его пе-

⁴¹⁴ См. выше, с. 382, 591.

редаче: житие, иногда сопровождаемое изложением посмертных чудес святого; героическое сказание, легенда или произведение прессы нередко представляет именно интерес подобного рода.

Легенда, например, получает особенное значение в той мере, в какой она отражает чью-либо оценку исторических фактов; такая оценка тоже факт, но факт из истории идей, обращавшихся в среде данной социальной группы, а не из истории ее деятельности. В самом деле, легенда преимущественно дает оценку выдающихся личностей или событий, а не описание их; она может непосредственно и долго отражать жизнь идей, возникших по поводу фактов, которые давно уже миновали. Могила апостола Иоанна в Ефесе все еще поднимается и опускается соответственно дыханию уснувшего в ней евангелиста; император Карл все еще живет в Унтерсберге и т. п. Известный рассказ о том, как папа Лев III возложил царский венец на главу Карла Великого на праздник Рождества Христова в 800 г., также получил особого рода значение благодаря тому, что происшедшую тогда церемонию стали рассматривать как акт пожалования; с такой точки зрения, легенда о пожаловании приобрела особый политический смысл и служит весьма важным источником для истории отношений между авторитетами духовным и светским в Средние века⁴¹⁵.

Более или менее субъективная оценка фактов, в особенности имеющих общественное или политическое значение, отражается также в прессе — в летучих листках, памфлетах, газетах и т. п. Газета не только осведомляет общество, но стремится выразить его мнение или воздействовать на него; она хочет открыто и возможно скорее обнаружить свое отношение к тому, что оказывается в данный момент наиболее важным или интересным для разных кругов общества, и старается сделаться возможно более общедоступной им. Уже Цазий общал свои корреспонденции в довольно пикантной форме; Ренодо стал, согласно с видами французского правительства, давать в своей «газете» политические вести; Визэ в своем «*Mercur galant*», напротив, стремился забавлять парижскую публику разными известиями и слухами; Шлецер придал своему органу (*Staatsanzeigen*) явно публицистический характер и т. п.⁴¹⁶

Письменные источники с нормативным содержанием непосредственно заключают норму, которая в них устанавливается, или самый акт подчинения себя данным лицом (физическим или юридическим)

⁴¹⁵ *Ключевский В.* Курс русской истории. Ч. II. С. 319–323; *Harnack A.* Reden und Aufsätze. Bd. I. S. 10 ff., 17.

⁴¹⁶ *Wolf G.* Einführung. S. 248–281.

или данными контрагентами общепризнанной норме. Источники с таким содержанием имеют большое значение для одной из главнейших операций всякой исторической конструкции, т. е. для отнесения изучаемого факта к объективно данной относительной ценности, каково и оказывается норма, более или менее признаваемая социальной группой и выраженная в соответствующем источнике. Факт, обнаруживающий соблюдение или нарушение нормы, известной по данному источнику, некоторую степень приближения к ней или уклонения от нее, получает, с такой точки зрения, относительную ценность для историка — положительную или отрицательную; пользуясь соответствующими источниками, он судит, например, о несколько отсталых «астрономических» воззрениях Платона с точки зрения учения пифагорейцев, о безнравственном облике Нерона — с точки зрения морали ранних христиан, о «варварском» слоге Григория Турского — с точки зрения литературных требований римских стилистов, и т. п.

Помимо указанных выше источников с чисто нормативным — научным, этическим или эстетическим содержанием, можно отметить здесь и источники с утилитарно-нормативным содержанием, например памятники законодательства и частные акты. Они служат для ознакомления с теми правилами, которые государство предъявляло своим членам и под условием которых они имели право действовать, а также об их правоотношениях. Из законов вавилонского царя Хаммураби, начертанных на большом диоритовом камне за несколько тысячелетий до Р. X., например, мы узнаем о целом ряде норм, главным образом, относившихся к гражданскому и уголовному праву; из него видно, что в вавилонском царстве население делилось на свободных и рабов, что господин признавался собственником раба, так как он мог отыскивать его в случае бегства и т. п.; законы Хаммураби, значит, служат для ознакомления с существованием в древней Вавилонии норм, устанавливавших институт рабства и обуславливавших заключение разного рода сделок, например договоров касательно продажи и покупки рабов и т. п.⁴¹⁷

Таким образом, источник с нормативным содержанием дает понятие об общих нормах, которые более или менее признавались данным обществом, но не о том, в какой мере они действительно соблюдались. С последней точки зрения, подобного рода источник может иметь гораздо меньшее значение. Английские юридические теории XIII в. дают, например, представление об английском виллане, очень сходное с тем,

⁴¹⁷ *Dareste R. Nouvelles Études d'histoire de droit, 3-me série. Par., 1906. P. 37.* Кодекс Хаммураби, найденный в Сузе, относят ко времени около 2250 до Р. X. или несколько позднему.

какое мы имеем о юридическом положении римского раба; но если перейти от рассмотрения юридического трактата и углубиться в чтение любой описи английского поместья того же XIII в., отчета управляющего поместья или протокола поместной судебной курии, где тот же виллан изображается в его действительной повседневной обстановке, легко будет заметить, до какой степени теория, подвергшаяся сильному влиянию римских юридических доктрин, не совпадает с практикой, с действительными условиями Англии XIII в. В то время виллан во многих отношениях уже являлся свободным человеком и даже в известной мере гражданином государства; его отношения к сеньору были регулированы всемогущим обычаем, едва ли уступавшим по своей обязательной силе закону; да и сам закон далеко не всегда был для него безмолвен⁴¹⁸.

Впрочем, кроме источников с более или менее чистым нормативным содержанием, и другие могут служить для выяснения общепризнанных ценностей. Апологетика и полемика или критика, дают, например, немало для их изучения, хотя они так же, как сатира и публицистика, окрашены более или менее субъективным отношением к ним. Апологетика (*Apologeticum*) Тертуллиана, например, имеет большое значение для истории раннего христианского мировоззрения; полемика Беллярмина — для характеристики римского католицизма; критические опыты Монтеня — для рассмотрения того скептического настроения, которое стало обнаруживаться в 1580-х гг., и для суждения о нравах того времени; сатирические «письма» Монтескье — для оценки современного ему общества; «*Defensio pro populo anglicano*» Мильтона — для понимания политических идеалов либеральных приверженцев парламента (*Rumpparliament*) и того общего движения, которое его «защита» вызвала в европейской публицистике, и т. п.

Предлагаемая группировка, разумеется, далеко не дает надлежащего понятия о всем богатстве исторического материала, а только оттеняет то значение, какое некоторые группы источников имеют для познания некоторых категорий фактов; но каждая из них изучается, конечно, и при помощи других групп. Внутренний мир человека и, в частности,

⁴¹⁸ *Петрушевский Д.* Очерки из истории средневекового общества и государства // Научное слово. 1904. Кн. III. С. 98. Само собою разумеется, что и исторические предания могут служить для ознакомления с общепризнанными нормами. Они иногда содержат более или менее точный пересказ таких норм, весьма ценный в том случае, когда оригинальный текст их утрачен. Древние договоры русских с греками, например, 912 и 945 гг. известны из летописи по Ипатьевскому и Лаврентьевскому спискам и т. п.; но сами они все же не оказываются источниками с нормативным содержанием, по крайней мере в вышеуказанном смысле.

мотивы его действий познаются, например, не только из автобиографического материала, но и из летописей, житий, легенд, законодательных актов, в прежнее время охотно указывавших на мотивы установления тех, а не иных норм и т. п.; фактические сведения, положим, об историческом прошлом данного монастыря или о ходе какой-либо реформы и последствиях принятых мероприятий также часто встречаются и в «исторических хартулариях», и в законодательных актах; более или менее резкая оценка лиц и событий, чужой и своей политики придает особый интерес некоторым официальным нотам, указам и т. п.; но такие комбинации слишком разнообразны для того, чтобы можно было остановиться здесь на подробном их рассмотрении.

Все сказанное выше, разумеется, относится к действительным источникам; можно, однако, приписывать некоторое значение и мнимым, т. е. поддельным, источникам, с известной точки зрения принимая их за действительные: ведь и они оказываются остатками культуры, только не той, к которой составители хотели причислить их, а той, под влиянием которой сами они совершали свои подделки. В самом деле, историк может иногда пользоваться поддельным источником для понимания той культуры, в которой подделка действительно была совершена. Например, для характеристики господствующих интересов данного времени или той степени исторических знаний, т. е. знания той культуры, к которой подделка будто бы относится, что обнаруживается и в степени искусства, с которым подделка была сделана, и в отношении к ней современных ей ученых; или для выяснения материальных средств данной социальной группы, ее стремления к роскоши и т. п. Историк пользуется подделкой и для изучения личности поддельвателя, если он имел значение в историческом отношении, и т. п. Сборник песен Оссиана, подделанных Макферсоном, например, все же представляет и положительный интерес: в нем отразилось то литературное движение, представители которого стремились освободиться от господства псевдоклассицизма и искали вдохновения в меланхолически-мечтательном и сентиментальном настроении, находившем пищу и в природе, и в источниках народного творчества. Другие подделки имеют не столько культурное, сколько политическое значение. Достаточно припомнить, например, поддельную генеалогию дома Бульонов, в свое время наделавшую много шума; или историю эльзасского, лотарингского и австрийского домов, в которой известный Винье старался возвести их происхождение к св. Одиле, для чего и подделал ее житие⁴¹⁹; или «Любушин суд» и «Краледвор-

⁴¹⁹ Giry A. Manuel. P. 881–884; Havet J. Questions. Т. I. P. 19–90.

скую рукопись», которые хотя и не могут быть причислены к древнейшим памятникам и признаются «новейшими» произведениями «древнечешской литературы», однако очень любопытны для характеристики возникшего в то время национального возрождения Чехии, и т. п. Поддельный источник получает иногда значение и для истории тех более или менее известных лиц, которые были заинтересованы в подделке, например Бульонов, Балузия, Мериме, Нодье и других. Следует иметь в виду, однако, что в таких случаях поддельные источники признаются в известном смысле действительными лишь в качестве остатков культуры, а не исторических преданий, что, впрочем, не мешает различать их значение и по их содержанию.

Впрочем, ценность источников может оказаться различной и с точки зрения индивидуального их значения, уже затронутого несколько выше; она определяется не только тем, к какому виду источник принадлежит, но, разумеется, и тем, кто был его творцом; чем более источник отражает в себе личное творчество, тем более индивидуально и его значение. При помощи такого принципа можно судить об индивидуальной ценности действительных источников для построения исторических фактов, например о пригодности хотя бы мемуаров С.-Симона для изображения «века Людовика XIV» и т. п. Благодаря тому же принципу можно ценить даже мнимые источники: некоторые из подделок представляют настолько переработанные продукты индивидуальной мысли, что они могут получить значение самостоятельных произведений того именно автора, который действительно создал их; поэмы, которые Чэттертон обнародовал под именем мнимого поэта Ровлея, например, обратили на себя серьезное внимание английской критики; она связывает их с последующим поэтическим возрождением, представленным Бернсом и другими писателями⁴²⁰.

В рассуждениях о значении источников для познания и построения исторической действительности нельзя также упускать из виду, что сами они оказываются фактами из истории культуры, возникшими под ее влиянием, и что они могут более или менее существенно действовать на ее последующее развитие. Такое значение источников выясняется при помощи методов, изложенных выше; можно указывать и на те заимствования, какие автор сделал из чужих сочинений (*fontes*), и на то влияние, какое его произведение в свою очередь оказало на последующую литературу, в виде сделанных на него цитат (*testimonia* или *testes*) и т. п. В некоторых случаях легко обнаружить действие данного источника на целый круг произведений или на литера-

⁴²⁰ *Thierry A. Op. cit. P. 28–29, 59.*

турное движение известного времени: «Исповедь» Руссо, например, вызвала немало подражаний, «поэмы Оссиана» произвели заметное впечатление на лирические настроения и поэтические формы раннего романтизма и т. п.⁴²¹ Исследования подобного рода уже входят, однако, в область построения исторической действительности; в таких случаях источник рассматривается в качестве факта из истории культуры, вызванного известными причинами и в свою очередь порождающего известные следствия⁴²².

Итак, на основании замечаний, сделанных выше, можно придти к заключению, что не следует чрезмерно принижать значение исторического материала для познания и построения исторической действительности. Он страдает, конечно, существенными пробелами и не всегда поддается успешной интерпретации и критике, но он содержит и такие сокровища человеческой мысли, исследование которых достаточно для того, чтобы конструировать историю нашей культуры, по крайней мере, в главнейших ее чертах и содействовать ее развитию в будущем.

С последней точки зрения, исторические источники имеют весьма важное значение и в практическом отношении. В самом деле, не обращаясь к помощи исторических источников, никто из нас не может хотя бы несколько удовлетворить свой интерес к действительности и к тому положению, какое он занимает в ней. Ведь самый факт своего рождения человек узнает в значительной мере из «предания»; он знает, что родился от тех, а не иных родителей, по рассказам, подтверждающим то смутное чувство родства, которое он испытывает при общении с ними. Без помощи исторических источников человек лишился бы возможности переживать действительность в той ее полноте, которая получается лишь при связывании настоящего с прошедшим; великие памятники прошлой культуры превратились бы для него в груды камней, тряпок, бумажек и т. п., он страшно обездолил бы свою духовную жизнь и лишил бы ее самой значительной части ее содержания. Без обращения к историческим источникам человек во многих случаях не мог бы испытывать на себе благотворного влияния и поддерживать преемство той культуры, в которой он родился и непрерывному развитию которой он служит. Вообще без постоянного пользования историческими источниками человек не может соучаствовать в полноте культурной жизни человечества.

⁴²¹ *Thierry A.* Op. cit. P. 10–18, 141; cf. p. 184. Гете, например, заставляет говорить своего героя за несколько дней до самоубийства «Оссиан занял в моей душе место Гомера...» и т. д.

⁴²² См. выше, отдел второй, глава вторая.

ДОПОЛНЕНИЯ

К с. 278, прим. 27.

Ср. еще *Gercke A. und Norden E. Einleitung in die Altertumswissenschaft*, Bd. I. Lpz. u. Berl., 1910; *Methodik von A. Gercke*; особенно ss. 26–93, а также отделы под заглавием: *Quellen und Materialien, Gesichtspunkte und Probleme zur Erforschung der griechischen und römischen Literaturgeschichte*, написанные *E. Bethé, P. Wendland*’ом и *E. Norden*’ом; *ib.* SS. 399–450 и 547–588. Руководство Герке и Нордена интересно преимущественно частными указаниями и примерами.

К с. 308, после 15-й строки сверху.

Впрочем из источников с фактическим содержанием, кроме тех, которые отличаются идейным или деловым содержанием, можно выделить в особую группу и источники с повествовательным содержанием, т. е. источники, преимущественно рассказывающие о событиях: анналы и хроники, биографии и мемуары, повести и сказания и т. п.; сюда можно отнести, например, анналы Флодоарда, Повесть временных лет, быть может принадлежавшую (в первоначальной своей редакции) Нестору, Повесть об экспедиции императора Фридриха I в Святую землю, Сказание о Мамаевом побоище, мемуары С.-Симона и т. п. Ср. еще с. 604–605.

К с. 309, прим. 47.

До последнего времени принадлежность трактата «*Περὶ ἑρμηνείας*» Аристотелю подвергалась большим сомнениям, но Г. Майер приписывает его составление Аристотелю; см.: *Maier H. Die Echtheit der Aristotelischen Hermeneutik* // *Archiv für die Geschichte der Phil.*, Bd. XIII (1900), S. 23–72.

К с. 372, прим. 126.

Лёнинг уже указал, однако, на то, что союз «*seu*» употребляется в источниках того времени то в смысле «и», то в смысле «или»; см.: *Loening E. Die Entstehung der Konstantinischen Schenkungsurkunde* // *Hist. Zeit.*, Bd. 65 (1890), S. 232.

К с. 482, прим. 239.

Предлагаемая гипотеза — одна из возможных, что еще не предрешает, однако, степени ее вероятности. Можно указать и на другие объяснения того

же предания, не придающие его содержанию такого реального значения. Новейшие исследователи признают, например, наиболее вероятным этиологическое происхождение этого сказания: в «Iupercii» усматривали волчат, что и привело к образованию известной легенды; см.: *Энман А.* Легенда о римских царях, СПб., 1896, с. 26–27; ср. ниже с. 576–577. Современные фольклористы указывают на то, что предания о происхождении от волка встречаются и у других народов, что волк получает иногда значение «тотема», оказывающего помощь или содействие своей родне и, пожалуй, могли бы сблизить такие представления, а также то, что уже было сказано мною касательно мифа о Персее, на с. 366, с рассказами о зачатии Реи Сильвии, встретившей волка в роще и бежавшей в пещеру, где ею овладел бог Марс, о волчице, вскормившей Ромула и Рема, и т. п.; но такие предположения, разумеется, потребовали бы дальнейшей проверки и обсуждения. Сведения о волке-тотеме и проч. см.: *Gomme G. L.* Folklore etc., pp. 276–278, 283; изложение самой легенды у *Niebuhr B. G.* Römische Geschichte, 2-te Aufl, Berl. 1827, S. 223–226.

К с. 497, строке 12-й сверху.

Совпадение показаний имеет значение, аналогичное с тем, какое приписывается повторению одного и того же наблюдения или ответа. Подобно тому как я проверяю или контролирую свое наблюдение чужими наблюдениями, положим наблюдениями *A* и *B*, я могу проверять и контролировать чужое наблюдение *A* чужим наблюдением *B*: имея в виду, что каждое из них выразилось в соответствующем показании, я, значит, могу проверять или контролировать показание *A* показанием *B* и т. д. Каждое из них оказывается в сущности чрезвычайно сложным продуктом; следовательно, если независимые показания *A* и *B* совпадают, случайное их совпадение маловероятно, а вероятность того, что оно обусловлено истинностью показаний, больше вероятности того, что оно обусловлено ложностью показаний. С такой точки зрения, историк и пользуется принципом совпадения показаний. Ср. с. 507–508; 585–586.

К с. 513, перед 1-й строкой сверху.

Принцип, разъясняемый здесь, конечно, получает свое приложение и к научной оценке составных элементов показаний: доверие к части показания в случае ее совпадения с другими показаниями может в известной мере распространяться и на другие части того же показания, если они не противоречат другим показаниям; но степень вероятности таких заключений, разумеется, подлежит в каждом отдельном случае самому внимательному обсуждению.

ПРИЛОЖЕНИЕ¹

ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ Александр Сергеевич (15.1.1863, имение Удачное Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губ.—7.2.1919, Петроград), социальный мыслитель, историк, общественный деятель, академик Императорской АН (1905). Из дворян. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1886), преподавал там же (с 1890—приват-доцент), был также профессором Историко-филологического и Археологического институтов в Санкт-Петербурге. Автор трудов по истории государства, права, политической системы России, теории, истории и методологии науки. Создатель научной школы, оказавшей влияние на ряд социальных мыслителей, философов, социологов, историков науки и историков России первой четверти XX века, которую характеризует единство философских представлений об объекте гуманитарного познания и междисциплинарность научной методологии. В сфере влияния Лаппо-Данилевского и его школы—автор «Системы социологии» П. А. Сорокин, экономист Н. Д. Кондратьев, философ Н. И. Лапшин, филолог С. Ф. Ольденбург, историк-медиевист И. М. Гревс, историк науки Т. И. Райнов, историки А. Е. Пресняков, А. И. Андреев, С. Н. Валк, М. А. Полиевктов, Л. П. Карсавин и др.

Лаппо-Данилевский исследовал и творчески переосмыслил философские и теоретико-познавательные концепции, прежде всего—позитивизм О. Конта, неокантианскую философию В. Виндельбанда и Г. Риккерта, социологические взгляды Н. К. Михайловского. В работе «Основные принципы социологической доктрины О. Конта» (1902) Лаппо-Данилевский предпринял попытку критического анализа социологии позитивизма, уделил особое внимание критике рецепции контовской идеи коллективной воли человечества в современном общественном сознании, усмотрел в этом феномене опасную тенденцию растворения воли личности в массовом сознании, диктат «общей воли» над выбором свободного индивида. Анализируя работы Виндельбанда и Риккерта, Лаппо-Данилевский не разделял в неокан-

¹ Медушевская О. М. Лаппо-Данилевский // Общественная мысль России XVIII—начала XX века: Энциклопедия / Отв. ред. В. В. Журавлев. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. С. 249–250.

тианстве его противопоставление двух познавательных стратегий, а именно – выявление закономерностей (номотетический подход) в естественных науках и выявление способов организации неповторяющихся, специфических явлений (идеографический подход) в науках о духе. В своем труде «Методология истории» (1910-13) Лаппо-Данилевский показал, что оба эти подхода сосуществуют по отношению к историческому процессу, начиная с античности и до современности. Обращение к этой теме дало повод считать ученого приверженцем неокантианской философии (Н. И. Кареев). Однако это неверно, поскольку для неокантианства характерно противопоставление двух подходов: в естественных науках – номотетического, в науках о культуре – идеографического. Лаппо-Данилевский, напротив, доказывал, что оба подхода могут применяться в науках о культуре, равно как и в науках о природе. Оптимальным ученый считал применение к изучаемым объектам обоих подходов, позволяющих выявлять общее и специфическое в истории.

Философская концепция Лаппо-Данилевского близка к феноменологии Э. Гуссерля, поскольку он исходил из представления о мировом целом как предельном объекте науки, из представления о человечестве как об особой, наделенной сознанием, части мирового целого. История человечества, в свою очередь, цельна и обладает единством на всем своем временном протяжении (эволюционное целое человечества) и единством на каждый данный момент (коэксистенциальное целое человечества). История народа, страны, личности может быть интерпретирована лишь как часть этого целого. Философская концепция Лаппо-Данилевского испытала воздействие идей Михайловского, придававшего решающее значение в воздействии на среду активной творческой личности. Отсюда полемика мыслителя с учениями, сводившими социальные процессы к стихийности.

А. Е. Пресняков отмечал, что Лаппо-Данилевский был «убежденным представителем такой концепции истории, которая творческую силу процесса видит в человеческих сознаниях и, стало быть, активным носителем в нем движения определяет человеческую личность – индивидуальную и коллективную, в ее разуме и свободе».

В центре внимания историка – российский исторический процесс и русская общественная мысль периода перехода от культурно-исторического типа Московской Руси к новым формам общественной жизни, складывавшимся во взаимодействии с политическими и культурными процессами Западной Европы. Сам Лаппо-Данилевский определял главный предмет своих научных исследований как историю русской общественной мысли и культуры при ее переходе от цель-

ности средневекового (преимущественно религиозного) сознания к освоению западных политических идей и выработке новой идентичности. Отчасти в традициях государственной школы Лаппо-Данилевский прослеживал роль государства в российском политическом и даже культурном развитии. Этой теме посвящен его доклад на Международном конгрессе историков в Лондоне («Идея государства и главнейшие моменты ее развития в России со времен Смуты до эпохи Преобразований»). Исследователи творчества ученого подчеркивают мысль о том, что он видел переход к новым формам политической жизни и культуры не как процесс слепого заимствования западных форм и идей, но как их активную переработку. Одну из главных проблем ученый видел в недостаточном развитии правового сознания общества и в своей общественной, педагогической и научно-академической деятельности уделял этой проблеме преимущественное внимание. В ряде работ Лаппо-Данилевский прослеживал историю формирования главнейших разрядов крестьянского населения в России, в университетском преподавании уделял особое внимание детальному рассмотрению частноправовых актов как источнику для изучения правового сознания общества. В ходе своей общественной деятельности ученый затрагивал практические проблемы права. Так, избранный в Государственный совет от академической и университетской курии, он выступал в нем за отмену смертной казни (1906), а в период подготовки к созыву Учредительного собрания работал в юридической комиссии Ф. Ф. Кокошкина по подготовке проектов будущей российской Конституции.

Как ученый-историк и организатор академической науки Лаппо-Данилевский был активным участником (почетным председателем, вице-председателем) всех Международных конгрессов историков начала XX века, членом Бюро Международной организации Академий, членом Комиссии по созданию института социальных наук (1918), считал науку, деятельность научного сообщества важной движущей силой общественного развития страны. По свидетельству Преснякова, ученый мечтал «о свободном сотрудничестве России, как органичной части человечества, с другими народами: таков был завет русского мыслителя накануне великого кризиса всей мировой и русской жизни».

АРХИВЫ: Архив РАН (С.-Петербург). Ф. 113. Оп. 1, 2.

СОЧИНЕНИЯ: Организация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи Преобразований. СПб., 1890; Основные принципы социологической доктрины О. Конта // Проблемы идеализма. М., 1902;

ПРИЛОЖЕНИЕ

Очерк истории образования главнейших разрядов крестьянского населения в России // Крестьянский строй. СПб., 1905. Т. 1; Методология истории. СПб., 1910–1913. Вып. 1–2; История русской общественной мысли и культуры XVII–XVIII вв. М., 1990; The Development of Sciences and Learning in Russia // Russian Reality and Problems / Ed. by J. D. Duff. Cambridge, 1917.

ЛИТЕРАТУРА: *Кондратьев Н. Д.* Теория истории А. С. Лаппо-Данилевского // Историческое обозрение. 1915. Т. 20; Памяти академика А. С. Лаппо-Данилевского // Русский исторический журнал. 1920. Кн. 6; *Болдырев Н. В.* А. С. Лаппо-Данилевский // Мысль. 1922. № 1; *Пресняков А. Е.* Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Пг., 1922; К 75-летию со дня кончины академика А. С. Лаппо-Данилевского // АЕ за 1994 г. М., 1996; *Медушевская О. М.* Феноменология культуры: Концепция А. С. Лаппо-Данилевского в гуманитарном познании новейшего времени // ИЗ. М., 1999. Т. 2 (120); *Чернобаев А. А.* Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич (1863–1919) // Историки России: Биографии. М., 2001; *Малинов А. В., Погодин С. Н.* Александр Лаппо-Данилевский: историк и философ. СПб., 2001.

Краткая опись рукописей А. С. Лаппо-Данилевского в Библиотеке Академии наук СССР // Материалы для биографии А. С. Лаппо-Данилевского. Л., 1929.

О. М. Медушевская

А. С. Лапто-Данилевский

Методология истории

Корректор *Л. Трифонова*
Оформление серии *В. Коршунов*
Верстка *С. Зиновьев*

Формат 70 × 100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 50,3. Уч.-изд. л. 34,5. Тираж 1100 экз.
Заказ №

Издательский дом «Территория будущего»
125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, 7/5, стр. 2

Отпечатано в ГУП ППП «Типография «Наука»»
121099 Москва, Шубинский пер., 6